

ПРОСПЕР  
МЕРИМЕ







*Mr. Merimé*

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ШЕСТИ ТОМАХ

**П**  
**М** **РОСПЕР**  
**ЕРИМЕ**  
**ТОМ 1**

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» • ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»  
МОСКВА • 1963

Издание выходит  
под редакцией  
Н. М. Любимова,

Оформление художника  
Д. Бисти.  
Гравюры  
А. Гончарова, Д. Бисти.



## ПРОСПЕР МЕРИМЕ

(1803—1870)

Если характеристику всякого большого художника трудно свести к нескольким кратким формулировкам, то по отношению к Просперу Мериме это особенно трудно. Все, кто хочет познакомиться с его жизнью и литературными произведениями, то и дело сталкиваются с загадками. Эти загадки не сводятся к пресловутым «мистификациям» Мериме, блестящими образцами которых служат его «Театр Клары Гасуль» и «Гузла». Сама личность писателя и общий характер его творчества нередко озадачивают исследователей и читателей, как в свое время озадачивали и его друзей.

Вольнодумец, атеист до мозга костей, ненавистник всего реакционного — и свой человек в семье императора Наполеона III, сенатор Второй империи; светский денди, чувствующий себя как рыба в воде в аристократических гостиных, — и самозабвенный работяга; сдержанный, холодно-любезный собеседник, казалось бы, старательно оправдывающий свое прозвище «англомана», — и корреспондент «Незнакомки» и «Другой незнакомки», двух женщин, с которыми его связывала долголетняя дружба, — корреспондент откровенный, полный милой непринужденности и трогательно сердечный; плодовитый автор работ по истории, истории искусства, истории литературы, археологии, этнографии и пр. — и создатель лишь очень немногочисленных художественных произведений, порой на долгие годы уходивший от

творчества; смелый, ядовитый и прозорливый критик французского общества XIX века, с убийственной ясностью изобразивший социальную неправду,— и единственный из крупных писателей Франции XIX века, воздерживавшийся от какого-либо прямого отклика на политическую борьбу своего времени; человек, опасливо, а то и враждебно сторонившийся народной толпы,— и художник, с особенной любовью и даже восхищением, с тонким и глубоким пониманием воспроизводивший внутренний мир, характеры и судьбы людей из народа,— весь этот противоречивый облик Проспера Мериме, с первого взгляда загадочный, складывался постепенно, в условиях очень сложной социальной действительности, и, если вдуматься, вполне закономерно.

Богато одаренная натура, умный, наблюдательный, любознательный и трудолюбивый, наделенный большим художественным вкусом, Мериме с юности приобщился к передовой культуре своего времени. Отцом его был Жан-Франсуа-Леонор Мериме (1757—1836), талантливый художник и знаток искусства, увлекающийся и литературой, и историей живописи, и археологией, и лингвистикой, и даже химией. Он был непрямым секретарем парижской Школы изящных искусств, занимался изобретением новых, особенно прочных составов масляных красок, новых способов производства бумаги и т. п. В 1830 году он издал свою книгу «О живописи маслом». Мать будущего писателя Анна Моро разделяла художественные интересы своего мужа и сама была недурной рисовальщицей, о чем можно судить по сделанному ею и дошедшему до нас портрету П. Мериме в детстве. Она обучала рисованию и своего сына. Родители дали будущему писателю прекрасное воспитание. С юных лет познакомился он с идеями французских просветителей XVIII века, что потом дало себя знать в его художественных произведениях. П. Мериме еще в детстве воспринял атеистические убеждения своих родителей — атеистом он так и оставался всю жизнь, до самой смерти. Рано усвоил он свободное, критическое отношение ко всему, что сковывает человека,— к религиозной догме, ко всевозможным видам лицемерия, фарисейства и мракобесия. Еще мальчиком П. Мериме с увлечением читал Шекспира и Байрона, притом в подлиннике, так как уже в те годы владел английским языком. Здоровая атмосфера напряженных художественных и умственных интересов, господствовавшая в семье, оказала на него самое благотворное влияние. Уже тогда были заложены основы того обширного образования, благодаря которому Мериме впоследствии славился своей эрудицией. Уже тогда стали проявляться в нем редкостная трудоспособность и неиссякающая жажда все новых и новых знаний. Правда, предметы, преподаваемые в коллеже и в Юридической школе, куда он поступил затем, мало интересовали П. Мериме, но не потому, чтобы он был ленив, а лишь потому, что он с головой уходил в изучение литературы, искусства, истории, археологии, греческого языка, да еще и потому, что много времени отнимало знакомство с литера-



турно-художественной средой. В студенческие годы он стал одним из основных участников кружка Этьена Делеклюза, художника, критика искусства и теоретика поэзии, и кружка литератора Эмманюэля-Николя Виоле Ле Дюка, отца будущего известного архитектора и археолога Эжена-Эмманюэля Виоле Ле Дюка.

Молодость Мериме совпала со временем ожесточенной борьбы, объявленной литературной молодежью, а также писателями старшего поколения, стремившимися обновить французскую литературу, против эпигонов классицизма, упорно цеплявшихся за его омертвелые традиции. К этой борьбе примкнул и молодой П. Мериме, уже насчитывавший среди поборников нового искусства немало друзей и единомышленников.

Борьба за освобождение французского искусства от рутины классицизма объединяла в те годы далеко не однородных писателей: в 1823 и 1825 годах Стендаль обнародовал двумя выпусками свою литературную декларацию «Расин и Шекспир», а в 1827 году Виктор Гюго выступил со своим литературным манифестом — предисловием к драме «Кромвель». Хотя оба писателя именовались романтиками, понятие романтизма было поначалу чрезвычайно емким и неопределенным. Романтическим называлось тогда всякое искусство, противопоставлявшее себя классицизму, а термин «реализм» даже и не существовал в литературном обиходе, куда он был введен лишь с начала пятидесятых годов, и то в очень ограниченном смысле. Уже одно сопоставление «Расина и Шекспира» Стендаля с предисловием к «Кромвелю» Гюго показывает, что Гюго действительно шел к созданию романтического искусства, в то время как Стендаль закладывал основы реализма. В ближайшее время это со всей наглядностью подтвердилось художественным творчеством обоих писателей. Почти одновременно, в 1830 году, Гюго ставит драму «Эрнани», которая производит переворот во французской драматургии и кладет начало новому, романтическому периоду французского театра, а Стендаль издает «Красное и черное», хотя и не первый свой роман (в 1827 году вышла «Арманс»), но роман, впервые отчетливо выявивший творческий метод великого реалиста и вошедший в золотой фонд реалистической литературы.

Мериме общался со многими молодыми писателями-романтиками, от души сочувствуя их стремлению сокрушить обветшалые трафареты классицизма и в литературе и на театре. Он был в дружеских отношениях с Гюго — главой и признанным вождем романтической молодежи, но самые заветные литературные убеждения, эстетические взгляды и творческие замыслы связывали его все-таки не с Гюго, его сверстником, а со Стендалем, который был на двадцать лет старше своего друга и единомышленника и успел к тому времени выпустить в свет немалое количество книг. Несмотря на разницу в возрасте и в литературном опыте, сорокалетний Стендаль и двадцатилетний Мериме

в 1823 году как соавторы дружески работают над драмой (которая, впрочем, так и не была ими закончена). Это свидетельствует о реалистических вкусах и взглядах Мериме. Но еще убедительней о них свидетельствуют первые же его художественные произведения.

Новелла по справедливости считается коронным жанром Мериме. Именно как мастер новеллы, как автор «Маттео Фальконе», «Взятия редута», «Таманго», «Этрусской вазы», «Партии в триктрак», «Двойной ошибки», «Венеры Илльской», «Коломбы», «Арсены Гийо», «Кармен» и др. занял он почетное место среди французских реалистов XIX века. Но Мериме начал свой литературный путь не с создания новелл. Впервые выступил он в художественной литературе как драматург. В 1825 году, двадцатидвухлетним юношей, он опубликовал сборник своих пьес под общим заглавием «Театр Клары Гасуль», заключавший в себе шесть по преимуществу небольших комедий: «Испанцы в Дании», «Женщина-дьявол», «Африканская любовь», «Инес Мендо, или Посрамление предрассудка», «Инес Мендо, или Торжество предрассудка», «Небо и ад». (В издании 1830 года «Театр Клары Гасуль» пополнился еще двумя пьесами — «Случайность» и «Карета святых даров».) В 1827 году он публикует собрание своеобразных баллад на славянские темы «Гузля», но в следующем же году опять обращается к драматургии и издает две пьесы — «Семейство Карвахалья» и «Жакерию». В ранней драматургии Мериме с полным блеском проявился его литературный талант, ядовитое и вместе с тем тонкое остроумие, сюжетное мастерство, лаконичность и меткость языка, незаурядная наблюдательность, умение скупыми штрихами живо и верно обрисовать разнообразные характеры, способность проникать в самые затаенные человеческие чувства и помыслы. Словом, знакомясь с юношеской драматургией Мериме, уже можешь почувствовать в нем будущего создателя прославленных новелл.

Ранняя драматургия Мериме, созданная в период Реставрации, свидетельствует о том, как ненавистен был писателю этот режим, как отвратительна была ему политическая и церковная реакция, все усиливавшаяся при Бурбонах. В молодом сознании Мериме еще были живы заветы передовой мысли XVIII века, идеи французских энциклопедистов, впитанные им, можно сказать, с молоком матери, укрепившиеся в нем, несомненно, и при общении со Стендалем — этим убежденным последователем просветителей. Ирония Мериме еще была полна боевого задора, еще не начала осложняться все возрастающим в более поздние годы политическим скепсисом, яркость гражданских чувств еще не заволакивалась пессимистической дымкой.

Среди французских читателей и даже литераторов довольно широко распространено отношение к «Театру Клары



Гасуль» как к своеобразной литературной забаве Мериме. Повод к этому подал сам автор той дерзкой мистификацией, которую осуществил он в своей книге: он выпустил сборник не под своим именем, а приписав авторство некоей испанской актрисе Кларе Гасуль, совершенно вымышленному лицу. Мериме, конечно, питал вкус к литературным мистификациям, — это подтверждается, кроме «Театра Клары Гасуль», еще и другими его произведениями. Тонкие, лукавые мистификации Мериме не могли не забавлять его самого, его друзей и читателей. Но с такой же достоверностью можно утверждать, что его мистификации не сводились к одной лишь литературной забаве. Это утверждение относится к большинству мистификаций Мериме, а к «Театру Клары Гасуль» — и подавно. Важно выяснить, какой серьезный смысл таит в себе эта забавная с виду мистификация. Самый верный способ ответить на такой вопрос — это внимательно вчитаться в «Театр Клары Гасуль» и ознакомиться с обстоятельствами его выхода в свет.

Для того, чтобы придать как можно больше правдоподобия фигуре вымышленного автора книги, Мериме предпосылает пьесам своего сборника «Заметку о Кларе Гасуль». При этом Мериме и заметку-предисловие дает не от своего имени, а выступает здесь под именем Жозефа Л'Эстранжа — якобы друга, переводчика и издателя Клары (дополнительная мистификация!); он подробно излагает ее биографию, рассказывает о театральных выступлениях, о постановках ее пьес, об их издании на испанском языке, о цензурных преследованиях, постигших пьесы. Вспоминает он и о своих личных встречах с актрисой-драматургом, описывает ее внешность. Наряду с этим составитель «Заметки» упоминает об исторических обстоятельствах испанской жизни первой четверти XIX века — о партизанской войне испанцев с войсками Наполеона, об испанской революции 1820 года, о реставрации испанской абсолютной монархии в 1823 году, приводит имена реально существовавших лиц — испанских революционеров Риго и Кирога, короля Фердинанда VII и проч. и проч. Наконец, Жозеф Л'Эстранж касается даже вопроса о точности своего перевода предлагаемых испанских пьес на французский язык, рассказывает об условиях, в которых он осуществлялся.

Такие сообщения, сделанные к тому же в подчеркнуто научнообразном тоне, представляли собою очень ловко осуществленную мистификацию. В первом издании «Театра Клары Гасуль» некоторые экземпляры снабжались даже портретом «сочинительницы» этих пьес, — в действительности на портрете был изображен Мериме в испанском женском наряде. Первоначально предполагалось снабдить таким портретом все издание, но озорной замысел не при-

шлось осуществить в полной мере из-за технических трудностей.

В «Заметке о Кларе Гасуль» можно впрямь залюбоваться мистификаторским мастерством Мериме. Однако смысл «Заметки» не исчерпывается мистификацией. В самом образе Клары Гасуль, находчивой, ловкой, проказливой, умело пользующейся своим женским обаянием, мужественной в испытаниях жизни, смелой и вольнолюбивой, Мериме достигает не только мистификаторского правдоподобия, но и большой художественной правды. В Кларе Гасуль можно усмотреть как бы предвестие другой, более поздней героини Мериме — испанской цыганки Кармен. В «Заметке» уже проявляется повествовательный дар автора, ее можно рассматривать как своеобразную самостоятельную новеллу.

Вместе с тем весь облик Клары Гасуль имеет прямое отношение к общему характеру пьес, собранных в книге. Избрав именно такой персонаж в качестве их мнимого автора, Мериме не только поддерживает этим их испанский колорит, но и акцентирует все их идейное содержание. Мериме наделяет Клару не только вольнолюбием, но и вольномыслием, притом вольномыслием политическим, сообщает, что у нее в доме собирались конституционалисты, то есть враги испанского абсолютизма, что за ней укрепилась репутация «крайней», чуть было не принесшая ей гибель от руки реакционеров, а затем, с началом Реставрации, вынудившая Клару бежать в Англию. Подобного рода сведения о сочинительнице комедий, естественно, побуждали читателей и в самих комедиях искать проявления авторского вольномыслия, с глубокой остротой воспринимать их политический смысл. Той же цели еще более прямо способствуют рассказы о впечатлении театральных зрителей от испанской постановки пьесы «Женщина-дьявол», о требованиях святош запретить эту пьесу, наконец, о внесении всех пьес Клары Гасуль в индекс запрещенных книг.

В самих пьесах сборника удельный вес чистой мистификации еще меньше, чем в «Заметке» Жозефа Л'Эстранжа, точнее, мистификация еще крепче связана с их идейно-художественным смыслом.

Правда, Мериме заботливо соблюдает в них «испанский» дух. С Испанией связаны эти пьесы сюжетно. Действие развивается либо в самой Испании, либо в каких-нибудь испанских владениях. Исключение составляет лишь пьеса «Испанцы в Дании», но и она изображает один из эпизодов испанской истории. Даже эпиграфы к комедиям взяты из испанских авторов (Лопе де Вега, Кальдерона, Сервантеса) и даются по-испански. Мало того, в текст комедий вкраплены кое-где испанские слова, строчки испанских стихов и т. п., сопровождаемые пояснительными примечаниями и переводами. Но самое главное, Мериме с большим правдоподобием передает в своих пьесах испанский колорит, черты



испанского быта, национальные черты своих испанских героев, национальные мотивы в изображаемых событиях и ситуациях.

Впечатление подлинности находило мощную поддержку в разнообразии характеров испанских персонажей, в психологической правдивости, с какой изображены были их чувства и все их поведение. Испанские патриоты, во имя национальной чести рискующие головой ради осуществления побега из армии Наполеона к себе на родину для участия в восстании против наполеоновских оккупантов («Испанцы в Дании»); монах-аскет, забывший о своих инквизиторских обязанностях из-за черноглазой Марикиты и зарезавший своего соперника в любви, собрата по религиозному судилищу («Женщина-дьявол»); набожная дама, убивающая своего духовника ради спасения возлюбленного, которого она сама же из ревности предала в руки властей («Небо и ад»); дворянин, который женился на плебейке, бросая вызов аристократическим предрассудкам, а затем разлюбил свою жену из-за того, что она плохо усваивает аристократические манеры («Инес Мендо, или Посрамление предрассудка» и «Инес Мендо, или Торжество предрассудка»), — все эти образы настолько правдивы психологически, что придают и особую, дополнительную достоверность изображенным в комедиях нравам и быту различных кругов испанского общества. То же можно сказать и о персонажах двух комедий, присоединенных к сборнику в издании 1830 года, — о легкомысленной и хитрой актрисе, жертвующей церкви свой экипаж, только что подаренный ей отнюдь не с благочестивой целью ее богатым покровителем («Карета святых даров»); о духовнике женского монастыря, днем исповедующем и наставляющем юных воспитанниц монастырской школы, а по ночам приходящем к одной из них на свидания («Случайность»). Особняком стоит коротенькая пьеса «Африканская любовь», где, изображая душераздирающие страсти своих персонажей — арабов, Мериме и не стремится к психологической правдивости, но и эта пьеса укрепляет испанский колорит сборника благодаря подбору действующих лиц — арабских завоевателей Испании.

Мистификация удалась: немало читателей и литературных критиков поверили в авторство Клары Гасуль. Так, например, критик газеты «Журналь де деба» даже хвалит «перевод» Жозефа Л'Эстранжа. Если некоторые рецензенты тех времен и приоткрывают тайну книги, то эту заслугу следует, вероятно, приписать не их литературной прозорливости, а просто-напросто хорошей осведомленности: среди друзей Мериме, французских писателей 20-х годов, тайна Клары Гасуль стала «секретом полишинеля», так как еще до выхода книги в свет автор читал свои комедии в литературном кружке Делеклюза. Отсюда, из кружка Делеклюза, и распространились сведения об авторстве Мериме — сначала устным путем и лишь затем через печать. Рецензент «Пандоры» в статье от 7 июня 1825 года сам ссылается на устный

источник своих сведений об авторе. «Как говорят,— сообщает он,— под псевдонимом Клары Гасуль скрывается писатель, возраст которого заставляет вдвойне удивляться тому дару наблюдательности, что обнаруживает себя в каждой строчке этих пьес». Намеки на авторство Мериме встречаются и в других рецензиях того времени.

Когда знакомишься с этими рецензиями или читаешь воспоминания современников, особенно Делеклюза, об устных выступлениях автора «испанских» комедий в кругу литературных друзей, постепенно создается уверенность, что драматург-мистификатор вел себя в высшей степени двойственно: столько труда было им положено на то, чтобы осуществить свою мистификацию, а вместе с тем так мало заботился Мериме о соблюдении литературной тайны, необходимой, казалось бы, при подобной мистификации. Чем объясняется такая непоследовательность, такая двойственность в поведении мнимого Жозефа Л'Эстранжа?

Объяснения, думается, надо искать в том, что мистификация в «Театре Клары Гасуль» далеко не была самоцелью, далеко не исчерпывалась литературной забавой,— книга была органически связана с мировоззрением молодого Мериме, со всей обстановкой социальной жизни Франции незадолго до революции 1830 года, с условиями литературной борьбы того времени.

Мировоззрение Мериме, опиравшееся на передовые традиции французских просветителей XVIII века, еще в юности усвоенные писателем и получившие поддержку в дружеском общении со Стендалем, не могло не прийти к резкому столкновению со всей политической обстановкой во Франции середины 20-х годов, когда и создавался «Театр Клары Гасуль». В 1824 году на французский престол вступил Карл X, «эмигрантский король», не только продолживший реакционную политику Людовика XVIII, своего предшественника, но и придавший ей еще более резкий характер, к торжеству ультрароялистов. Это стало обнаруживаться с первых же дней его власти. Уже в своей тронной речи Карл X возвестил о задуманных им мероприятиях, диктуемых «священными интересами» религии и старинного дворянства. Подобные мероприятия стали осуществляться одно за другим. Восстановлены были прежние, дореволюционные титулы членов королевской семьи, средневековые придворные должности. 20 апреля 1825 года был принят «закон о святотатстве», каравший смертной казнью за «преступления» против католической религии. За ним 27 апреля последовал закон об ассигновании целого миллиарда франков на вознаграждение дворян-эмигрантов за убытки, понесенные ими при конфискации их имущества во время Французской революции XVIII века. Готовилось торжественное коронование Карла X в Реймсе, по средневековому обряду, с соблюдением пышной религиозной церемонии. Это, естественно, ободрило церковных мракобесов. Сторонники иезуитов праздновали победу,



надеясь на восстановление иезуитского ордена во Франции. И в самом деле, Карл X откровенно поощрял деятельность иезуитов, их стремления захватить в свои руки огромные материальные средства, преподавание в школах, печать. Реакционная политика Карла X проявлялась и во все усиливавшейся строгости цензуры. Возбуждены были суровые преследования против газет за «неуважение к государственной религии». Политический и религиозный обскурантизм достигал своего апогея.

Первая книга Мериме всем своим существом и была направлена против нового варианта того мракобесия, основы которого подрывали французские просветители, и в этом смысле автор «Театра Клары Гасуль» — прямой их наследник.

Как же такая серьезная идеологическая задача комедий сочеталась с литературной мистификацией? Прежде всего надо иметь в виду, что в политических и, в частности, цензурных условиях Франции 20-х годов Мериме не мог не опасаться за судьбу своей книги, направленной против абсолютизма, дворянства и церковников. Уже в этом отношении мистификация могла сослужить ему большую службу. Переноса действие своих пьес в другие страны, удаляя его хронологически от современности и, наконец, приписывая их авторство испанке, не стремился ли Мериме создать для книги возможность легче проскользнуть через многочисленные цензурные препятствия? Не стремился ли он уберечь и себя самого от опасности? Достаточно представить себе хотя бы такие пьесы, как «Женщина-дьявол» или «Небо и ад», лишенными своей испанской оболочки и переведенными на язык французских образов 20-х годов XIX века, достаточно при этом вспомнить про существование «закона о святотатстве», чтобы вполне реально представить себе и злободневную остроту этих антицерковных фарсов и тот риск, какому подвергал себя их сочинитель. Реакционные круги французского дворянства, спешившие, с соизволения своего коронованного покровителя, повернуть страну вспять, к старорежимным порядкам, и восстановить былые дворянские привилегии, тоже вряд ли простили бы драматургу хотя бы комедию «Инес Мендо, или Торжество предрассудка». Вспомним, что Беранже, выступавший против эмигрантского дворянства иезуитов и полицейских шпионов, был в 1828 году подвергнут за свои песни тюремному заключению и приговорен к уплате штрафа в 10 тысяч франков. А ведь тематика «Театра Клары Гасуль» во многом совпадала с тематикой песен Беранже.

Мистификация, осуществляемая в «Театре Клары Гасуль», давала Мериме возможность пользоваться эзоповским языком и тем самым предоставляла ему защитное средство от цензурных и политических преследований. Но, кроме того,

намеки, разгадываемые читателем, придают произведению особую остроту и язвительную зазорность.

Любопытны усилия дружественной Мериме прессы, направленные к тому, чтобы подчеркнуть для читателей злободневный смысл комедий и вместе с тем по возможности уберечь книгу от преследований со стороны реакционных блюстителей литературного благочиния, лишить их формального повода к нападкам. Еще до выхода в свет «Театра Клары Гасуль» журнал «Глоб» в своем номере от 25 мая 1825 года поместил весьма сочувственную заметку о книге Мериме. 4 июня 1825 года тот же «Глоб» дает довольно подробную рецензию на вышедшую книгу Мериме. В связи с комедиями «Женщина-дьявол» и «Небо и ад», изображающими лицемерие и изуверство инквизиторов, рецензент в деланно благонамеренном тоне пишет: «Быть может, пьесы эти кое-чем и заденут чьи-нибудь почтенные чувства, однако автором настолько верно соблюден местный колорит, так тщательно воспроизведены своеобразные особенности испанского быта, наше духовенство так мало похоже на испанское духовенство, что никак не соблазнишься возможностью увидеть его изображение там, где изображать его автор не намеревался». В разгар борьбы оппозиционных кругов Франции, в том числе и журнала «Глоб», с наступлением реакционных церковников такие строчки, формально защищая Мериме от возможных обвинений в неблагонадежности, в то же время умело фиксировали внимание читателей на злободневно-политическом содержании «Театра Клары Гасуль».

Старший друг драматурга — Делеклюз в своем дневнике не чувствовал необходимости вторить эзоповской речи «Театра Клары Гасуль», как это делает рецензент «Глоб». Делеклюз изъясняется откровенно. Заноса в дневник свои впечатления от комедий Мериме, с которыми он познакомился в авторском чтении еще до их выхода из печати, и излагая отзывы других слушателей, Делеклюз недвусмысленно отмечает злободневную политическую остроту «Театра Клары Гасуль».

Сам Мериме как-то высказал мысль, что литературными мистификациями можно заниматься лишь в том случае, если они не стоят автору слишком большого труда. Между тем и при чтении «Театра Клары Гасуль» и при знакомстве с работой Мериме в годы, когда создавалась его первая книга, убеждаешься в том, какой огромный труд вложил он в свои пьесы. Мериме знал испанский язык, испанскую драматургию. Двадцатилетним юношей он серьезно увлекся изучением «страны Сервантеса». В 1824 году Мериме публикует в «Глоб» ряд содержательных статей по испанской драматургии и театру. Если на «портрете Клары Гасуль» писатель облачился в одежды испанки лишь из юношеского озорства, то его литературное выступление в облике испанской писательницы носило глубоко принципиальный характер и служило целям борьбы за новое, реалистическое искус-

ство, против литературных староверов, эпигонов французского классицизма. Недаром Стендаль в статье «Театр Клары Гасуль, испанской комедиантки» так горячо приветствовал сборник первых комедий Мериме, провозгласив их началом нового французского театра. «Произведение это ближе к природе и оригинальнее, чем любое из появившихся во Франции в течение многих лет», — писал Стендаль.

Обращение Мериме к традициям испанского театра было связано с борьбой за новое, по существу, реалистическое искусство. Стендаль в своей работе «Расин и Шекспир» противопоставлял обветшалым традициям классицизма могучую жизненность и реализм шекспировской драматургии, а создатель «Театра Клары Гасуль» в своей художественной практике противопоставлял этим обветшалым традициям жизненность и реализм драматургии испанской — и прежде всего великого испанского драматурга Лопе де Вега.

Ориентация Мериме на испанскую драматургию проявляется уже в ряде его критических статей, посвященных испанскому театру. В статье «Драматическое искусство в Испании» Мериме приводит следующее высказывание Лопе де Вега: «Чтобы утолить жадное любопытство испанца к театральным зрелищам, ему нужно за два часа представить все — от сотворения мира до страшного суда». В шутливой форме Лопе де Вега, ссылаясь на требование театрального зрителя, выдвигает здесь возражение против «единства времени» — требования классицистов, ссылавшихся на авторитет Аристотеля, ограничивать сюжет пьесы событиями только одного дня. Приведя эти слова испанского драматурга, Мериме замечает: «Несмотря на эту насмешку, которая может навести на мысль, что Лопе не одобрял жанра, бывшего тогда в моде, он оставил нам несколько сот комедий, начисто отвергающих правила Аристотеля».

Требования реалистического искусства отстаивает и созданная фантазией Мериме сочинительница его комедий Клара Гасуль. В прологе к пьесе «Испанцы в Дании» сама Клара, выступая там в качестве одного из действующих лиц, дает меткую ироническую характеристику драматургии классицистов и смеется над их пренебрежением к жизненной правде, при этом явно имея в виду французский театр: «Я, чтобы судить о пьесе, не стану справляться, происходит ли событие в двадцать четыре часа и все ли действующие лица собираются в одном месте: одни — чтобы составить заговор, другие — чтобы дать себя зарезать, третьи — заколоться над хладным трупом, как это водится по ту сторону Пиренеев». Таким образом, Клара Гасуль, вымышленная драматургом испанская актриса и писательница, становится его союзницей в борьбе за французский реалистический театр.

Но участие Клары Гасуль в этой борьбе не ограничивалось, конечно, прямыми высказываниями о театре «по

ту сторону Пиренеев». Сами комедии ее сборника по всему своему идейно-художественному характеру могли служить наглядным образцом реалистической драматургии.

В середине 20-х годов прошлого века, когда появился «Театр Клары Гасуль», термин «реализм» не был еще в ходу в применении к литературному стилю, но показательно, что рецензенты книги Мериме отмечают в ней прежде всего правдивость, естественность, близость к жизни, отсутствие погони за эффектными контрастами и за преувеличениями, простоту и сдержанность языка. Один из читателей в письме по поводу «Театра Клары Гасуль», помещенном в «Глоб», писал: «Впервые в персонажах комедий можно узнать людей нашего времени, которые говорят и действуют так, как они говорят и действуют в жизни».

Действующие лица комедий Мериме в подлинном смысле действуют, а не разглагольствуют о своих чувствах и поступках, сюжет этих комедий определяется не игрою случая, не волею судьбы, а столкновением человеческих воль или внутренним борением человеческих чувств,—отсюда драматическая напряженность, свойственная «Театру Клары Гасуль», и вместе с тем меткость и наглядная убедительность психологических наблюдений автора над своими героями. Образы комедий не однолинейны, не служат воплощением одного какого-либо чувства или идеи, а воспроизводят человека во всем многообразии его духовного мира, его побуждений и интересов. Язык пьес свободен и от условной гладкости, свойственной драматургии классицистов, и от пышного красноречия романтической драмы. Он способствует реалистической характеристике персонажей и с удивительной отчетливостью передает смену чувств, настроений, интересов каждого действующего лица.

Через три года после «Театра Клары Гасуль», в 1828 году, Мериме выступает с пьесой, в которой социальная тема разработана с большой реалистической глубиной: это «Жакерия». Герой «Жакерии» — сам народ, восставший против феодалов, французские крестьяне XIV века, «жаки-простаки», как их в средние века пренебрежительно именовали гордые феодалы.

Конец 20-х годов XIX века отмечен был во Франции усилением дворянской и клерикальной реакции, а вместе с тем ростом противоправительственных настроений. В 1826 году министры Карла X разработали законопроект о майорате, то есть об обязательном переходе крупных имений в порядке наследования от отца к старшему сыну в ущерб другим наследникам. Законопроект имел целью закрепление земельной собственности за дворянством. Однако общественный отпор, вызванный им, был настолько силен, что Палата его отвергла. Такой же реакционный характер носил и законопроект о печати, устанавливавший жестокие



цензурные условия и в случае их нарушения издателями грозивший конфискациями, штрафами, тюремным заключением.

Законопроект провалился. Правительство стало настолько непопулярным, что в 1827 году на смотре национальной гвардии из ее рядов раздавались громкие крики: «Долой министров! Долой иезуитов!» Осенью того же года сторонники министерства потерпели поражение на выборах в Палату. По этому поводу в Париже были устроены уличные манифестации против правительства, сопровождавшиеся вооруженными столкновениями и постройкой баррикад. Экономически усилившаяся промышленная буржуазия встала на защиту своих классовых интересов от политического режима Реставрации и ее экономической политики, делавших ставку на крупное землевладение. Все ухудшалось положение широких народных масс Франции. Деревня была отягощена непомерными налогами, а районы, занятые кустарным текстильным производством, страдали от конкуренции машин. Реальный заработок рабочих по сравнению с 1790 годом уменьшился в три раза, рабочий день достигал 15—16 часов, а то и более. Все это, естественно, содействовало росту революционного движения. Возглавлялось оно либеральной буржуазией, — политическое развитие французских рабочих было в эти годы еще недостаточно высоким.

Революционной ситуацией во Франции конца 20-х годов XIX века и была подсказана драматургу тематика его «Жакерии». Мериме скромно назвал свою пьесу «сценами из феодальных времен», однако сам жанр «Жакерии» тесно связан с мыслями о создании французской национальной драмы, высказанными Стендалем во второй брошюре «Расин и Шекспир» (1825). В этой брошюре Стендаль ратует за обращение драматургов к истории средних веков, насыщенной драматическими эпизодами, отсылая за ними к трудам французского средневекового хрониста Фруасара и в качестве особенно интересных сюжетов упоминая, между прочим, ряд эпизодов Столетней войны во Франции и восстание Уота Тайлера в Англии. Разработка подобных исторических сюжетов не должна была означать, по мысли Стендаля, бегство от действительности, а, наоборот, должна была отвечать «умственным запросам и господствующим страстям» современных французов. В связи с этой целью Стендаль и считал необходимым отказаться от форм классицистской трагедии и следовать за Шекспиром, у которого, однако, нужно было «перенимать только искусство, только способ изображения, но не предмет изображения».

Среди событий времен Столетней войны как возможных сюжетов национальной драмы Стендаль не называет прямо Жакерии — французского крестьянского восстания 1358 года, но он упоминает аналогичный эпизод английской истории XIV века — восстание Уота Тайлера. И любопытно отметить,

что Мериме в предисловии к «Жакерии» говорит о Джоне Болле, одном из руководителей восстания Уота Тайлера, а в качестве эпиграфа к своей пьесе приводит слова: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, где был тогда дворянин?» — крылатое выражение, распространенное в XIV веке среди восставших английских крестьян.

С мыслями Стендаля о французской национальной драме связана «Жакерия» Мериме и общей своей направленностью. Это была и историческая драма и вместе с тем, в условиях французской жизни накануне Июльской революции, драма глубоко современная.

Мериме с юности живо интересовался историей. Он рано приобрел вкус к изучению исторических материалов, которое нередко позволяло писателю обнаружить какой-нибудь эпизод, быть может, малозначительный для восстановления общего хода исторических событий, но характеризующий людей далекого прошлого, их психологию, их нравы и быт. Однако Мериме, усердно изучая материалы для своей «Жакерии», вовсе не смотрел на себя как на иллюстратора исторических трудов своего времени или исторических документов прошлого. И историки и французский автор исторических хроник Фруасар, современник восстания «жаков», изображали это восстание как бессмысленный и жестокий бунт темного народа. К такому толкованию автор «Жакерии» отнесся с трезвой недоверчивостью. «Экцессы феодального строя должны были повлечь за собою другие экцессы», — осторожно пишет он в предисловии к своей исторической драме. Не только это замечание — вся драма «Жакерия» прямо противоположна пристрастной трактовке Фруасара, искажавшего в своей хронике историческую правду в угоду своим покровителям — в угоду феодальной знати.

Мериме смело пошел вразрез с традиционными взглядами на Жакерию. Не случайность мужицкого бунта, а закономерность народного протеста против феодалов-угнетателей изображает он в своей драме. Без прикрас, с поразительной правдивостью воспроизвел Мериме одну из трагических страниц жизни французского народа. Эпизоды пьесы, сменяя друг друга, постепенно создают широкую историческую картину, очерчивают подлинную историческую обстановку, в которой вспыхнуло восстание «жаков». Сцены, изображенные Мериме, происходят главным образом в окрестностях города Бове, в пьесе имеется около сорока действующих лиц, но за ними видишь всю Францию, опустошенную длительной войной с англичанами, французский народ, изнемогающий от вражеских контрибуций и отечественных податей, доведенный до отчаяния жестокостью и жадностью своих сеньеров.

В образах средневековой Франции нашли свое выражение не только исторические взгляды Мериме, но и его тревожные думы о Франции его современной, о французском народе, разоренном длительными войнами Наполеона, уни-

женном в своем национальном чувстве политикой Священного союза и его ставленников — Бурбонов, изнывающим под бременем налогов, под игом дворянской реакции и буржуазной эксплуатации. В «Жакерии» чувствуется революционное брожение, поднимавшееся во Франции в конце 20-х годов XIX века.

Хотя в последних сценах «Жакерии» и давал себя знать социальный пессимизм Мериме, получивший развитие в позднем его творчестве, однако пессимистические ноты не заглушали общего боевого тона, господствовавшего в «Жакерии» и в «Театре Клары Гасуль».

В 1827 году, работая над пьесой «Жакерия», Мериме издает свою книгу «Гузла, или сборник иллирийских песен, записанных в Далмации, Боснии, Хорватии и Герцеговине». Эта книга была второй, после «Театра Клары Гасуль», мистификацией Мериме. В предисловии к своему сборнику он сообщает, что собранные здесь «безыскусственные песни» исполняются в иллирийских провинциях не только народными певцами, но почти всем славянским населением, стариками и молодежью. Мериме описывает и музыкальный инструмент (гузлу), под аккомпанемент которого поются эти песни, характеризует напевы, особенности исполнения песен, бытовую обстановку выступлений певцов. Говорит он и об обстоятельствах своей жизни, способствовавших его знакомству с иллирийским народным творчеством; приписывает своей матери далматинское происхождение; выдает себя за итальянца, которому в юности чаще приходилось изъясняться по-иллирийски, чем по-итальянски; вспоминает о своих многочисленных поездках по славянским селам; наконец, выказывает даже некоторое смущение по поводу того, что, не будучи французом и не умея поэтому писать по-французски «с изяществом истинного литератора», решается опубликовать свои французские переводы собранных им славянских песен. Все эти ложные сведения и притворное смущение должны были содействовать коварному намерению мистификатора выдать песни, сочиненные им самим, за произведения славянского фольклора. Этой цели способствовала и «Заметка» о совершенно вымышленном лице — Иакинфе Маглановиче, народном певце-поэте, якобы лично известном составителю сборника и познакомившем его как с традиционными фольклорными песнями, так и с собственными своими произведениями. В многочисленных примечаниях к песням наряду со справками исторического, этнографического и лингвистического характера, что уже само по себе придает изданию наукообразный вид, даются в таком же стилизованно-ученом тоне мелкие заметки об обстоятельствах возникновения и записи той или иной песни.

Приемы мистификации, к каким прибегает автор «Гузлы» в «Предисловии», «Заметке» и примечаниях, представляют собою полное подобие тех приемов, к которым мистификатор Мериме прибегал в «Театре Клары Гасуль».

Но — опять-таки как в «Театре Клары Гасуль» — все это создает лишь своего рода «обрамление» подделанных текстов, составляющих основной материал мистификатора. В «Предупреждении» к книге «Гузла» при ее новом издании в 1840 году Мериме сообщает, что собранные в ней песни сочинены им самим. Он вспоминает о характерном для романтиков конца двадцатых годов интересе к «местному колориту» и в связи с этим к старинным образцам иноземного народного творчества, говорит и о том, что сам он увлекался «местным колоритом», мечтал побывать в Триесте и на побережье Адриатического моря, в тех местах, где обычно не бывают туристы. С этим замыслом Мериме в своем «Предупреждении» и связывает мистификацию, осуществленную в книге «Гузла». Если верить его объяснениям, то он и его друг Ж.-Ж. Ампер, собиравшийся поехать вместе с ним, столкнулись с трудностями денежного характера и, чтобы раздобыть себе средства для поездки, решили описать ее заранее, а потом и совершить ее в действительности на деньги, вырученные за этот литературный труд. Вот для такого описания Мериме якобы и сочинил свои «иллирийские песни» в течение каких-нибудь двух недель, воспользовавшись материалами из книги аббата Фортиса «Путешествие по Далмации» и книги некоего статистика, имя которого он даже запомнил. В «Предупреждении», таким образом, Мериме всячески подчеркивает шуточный, легковесный характер своей мистификации. Ту же тенденцию можно обнаружить и в адресованном С. А. Соболевскому письме Мериме, где он разъясняет для осведомления Пушкина, как возникли песни, собранные в книге «Гузла». Здесь уже упоминаются — как впоследствии в издании 1840 года — и денежные затруднения в связи с задуманным путешествием и изобретенный Мериме совместно со своим другом хитроумный способ раздобыть денег на поездку. Мало того, здесь еще больше, чем в «Предупреждении», подчеркивается легковесность всей работы автора над песнями. «Я брал на себя сбор и перевод народных песен,— пишет Мериме.— Мой попутчик заявил, что я с этим не справлюсь, но на следующий же день я принес ему пять-шесть таких переводов. Осенью я жил в деревне. Там завтракали в полдень, а я вставал в десять часов утра. Выкурив одну-две сигары и не зная, чем заняться до прихода дам в гостиную, я писал балладу. Из них составилась томик, который я опубликовал, окутав свое имя непроницаемой тайной...»

Однако вопреки утверждениям Мериме, всячески старавшегося представить книгу «Гузла» как результат литературной проказы, не потребовавшей от автора ни особенных творческих усилий, ни серьезных изысканий, в настоящее время с достоверностью установлено знатоками народной песни, что Мериме порядком потрудился, изучая для своей книги фольклорные и этнографические источники. В этом плане саморазоблачение мистификатора следует считать как бы вторичной мистификацией, мистифика-



цией «наизнанку», которая должна была придать еще большую остроту и сенсационность литературной проделке Мериме.

Свое письмо к С. А. Соболевскому Мериме заканчивает словами: «Передайте, пожалуйста, г-ну Пушкину мои извинения. Я горжусь и вместе с тем стыжусь, что мне удалось обмануть его». Уверенность Мериме в том, что он «обманул» Пушкина, покоилась все же на шатких основаниях. Правда, С. А. Соболевский утверждает, что первоначально Пушкин не допускал мысли о подделке песен их «издателем», — вот почему и пришлось Соболевскому просить своего приятеля Мериме письменно это удостоверить. Согласно же сообщению самого Пушкина в предисловии к «Песням западных славян», его интересовало, «на чем основано изобретение странных сих песен». Между этими двумя свидетельствами огромная разница и большое противоречие: по сообщению Соболевского, Пушкин не хотел верить, что песни сборника «Гузла» были сочинены французским писателем, из слов же самого Пушкина видно, что он не сомневался в самом факте «изобретения» (то есть сочинения) песен, но его интересовал материал, которым пользовался «изобретатель» (сочинитель). Значит, Пушкин сомневался только в том, что песни, якобы записанные Мериме, — сплошная выдумка. Чтобы преодолеть такие сомнения, Соболевский и просил Мериме письменно подтвердить их необоснованность. Мериме это и сделал, погрешив против истины и изобразив свою работу над книгой «Гузла» как легковесное развлечение в часы досуга. Пушкин же, человек в высшей степени правдивый, а потому и доверчивый, не мог позволить себе заподозрить неправду в ответе Мериме на прямо поставленный ему вопрос, и ему ничего не оставалось, как признать свою ошибку. Таким образом, Пушкин пал жертвой не основной мистификации Мериме, а лишь второй, дополнительной мистификации — мистификации «наизнанку». Ссылка же Мериме в подтверждение успеха своей основной мистификации на то, что Пушкин перевел некоторые из его «вещиц», ничуть не подтверждает, что Пушкин поддался основной мистификации. Он действительно включил многие произведения Мериме из книги «Гузла» в свои «Песни западных славян», ибо верно почувствовал ее подлинно славянскую народную основу. Именно эта народнославянская основа единственно и нужна была Пушкину в данном случае, так как его «Песни западных славян» задуманы были отнюдь не как собрание переводов из славянского фольклора, а как самостоятельное произведение поэта в духе народных славянских песен, подобно тому, как «Сказка о рыбаке и рыбке» была самостоятельным произведением Пушкина в духе русской народной сказки. Иначе как же объяснить, что в своей песне «Воевода Милош» Пушкин опирался, кроме книги В. Караджича, и на устные рассказы, ходившие в Кишиневе, что на тех же кишиневских рассказах основана, по-видимому, и песня о Георгии Черном, что подлинные сербские тексты даны Пушкиным в явных переделках? В переделках

и очень вольных переводах даны Пушкиным и песни Мериме.

Однако как в отношении к «Театру Клары Гасуль», так и в отношении к книге «Гузла» речь может идти не только об основательности, так сказать, добротности самой мистификации, но и о художественной ценности, независимой от чисто мистификационных целей. Сам Мериме отчасти наводит на эту мысль в «Предуведомлении» 1840 года, вспоминая о царившем в 1827 году увлечении романтиков «местным колоритом». «...я мог хвастать тем, что удачно справился с *местным колоритом*», — пишет Мериме по поводу своей книги. Забота Мериме о «местном колорите» явственно видна во всем его произведении. Но «местный колорит», составлявший, как известно, предмет увлечения романтиков, носит у Мериме совсем не тот характер, какой он носил в романтической литературе его времени. В песнях Мериме все изложено очень скупое, без тех пространных и эффектных описаний, при помощи которых романтики передавали «местный колорит». Многие песни Мериме драматичны по своим сюжетам, но автор дает почувствовать этот драматизм без всякого романтического пафоса, предельно просто и вместе с тем необычайно правдиво и психологически убедительно. В песне «Боярышник рода Вёлико» Тереза, давшая обещание спасти от «восточных беев» маленького Алексу, чтобы тот мог потом отомстить за своего убитого отца, жертвует во имя данного ею обещания своим собственным сыном, — казалось бы, типично романтический сюжет. Мериме ограничивается только одной деталью, реалистически лаконичной: Тереза верна данному обещанию, но когда беи схватывают ее сына, приняв мальчика за Алексу, и обращаются к ней за подтверждением, что это действительно сын их врага, она не опровергает этого, но отвечает им только: «Не проливайте невинной крови». В этом уклончивом ответе героини Мериме дает почувствовать и мучения матери, уже готовой на жертву, но не находящей в себе силы произнести роковые слова, и ее последнюю попытку спасти этим призывом к милосердию свое дитя.

Песня «Ссора Лепы и Черногора», рассказывающая о похищениях красавиц, о продаже их туркам и т. п., тоже построена, казалось бы, на типично романтическом сюжете, но и этот сюжет разработан в реалистической манере. Не говоря уже о бытовых черточках, обильно рассеянных по всему повествованию, надо отметить и очень любопытную концовку песни: после рассказа о том, как Лепа и Черногор освободили красавиц, ими же самими проданных туркам, в песне следует заключение: «Забрали они своих жен, но забыли вернуть за них деньги».

Такой юмористической деталью окончательно снимается романтическая трактовка сюжета; недаром Мериме, не утратив, еще фиксирует внимание читателя на своей концовке.

«Эта последняя черточка весьма характерна», — пишет он в примечании.

Не только отдельные особенности, но и вся книга в целом свидетельствует о реалистическом замысле автора, о его стремлении передать черты народной жизни, мировоззрения, характеров, и передать как можно правдивее, во всем их многообразии, без романтической идеализации, без приподнятости стиля, столь свойственной романтизму. Эта общая тенденция книги особенно наглядно воспринимается при чтении «Заметки об Иакинфе Маглановиче». Пушкин находил в ней «необыкновенную прелесть оригинальности и правдоподобия».

Как в свое время Гасуль, так и Магланович в этой новой «мистификации» писателя приобрел, помимо своего служебного, мистификационного значения, еще и самостоятельную художественную ценность; и опять-таки, подобно Кларе Гасуль, он может быть назван предвестником реалистических образов людей из народа, впоследствии занявших столь важное место в новеллах Мериме, составляя предмет особой любви и часто даже восхищения автора. Да и самый интерес Мериме к народной песне и этнографии не раз проявляется и в дальнейшем, не только в специальных работах, но и в художественных произведениях.

В первых же своих книгах он решительно утверждает на позициях реалистического искусства, подчеркивая свое расхождение с романтиками и в многочисленных пародиях и в своей новой трактовке выдвинутых романтиками тем. Но уже в этот период реализм Мериме на своем пути к широким социальным обобщениям сталкивается со скептицизмом писателя, что особенно явственно дает себя знать в «Жакерии».

В 1829 году Мериме выступил со своим первым повествовательным произведением (если не считать «Сражения» — коротенького рассказа из времен англо-американской войны 1812 года, написанного в 1824 году, но опубликованного лишь посмертно). Это был исторический роман «Хроника царствования Карла IX».

«В истории я люблю только анекдоты», — заявляет Мериме в начале предисловия к «Хронике». Эту фразу, запавшую в память его читателей, не следует, однако, истолковывать как знак пренебрежения к истории, — от такого толкования предостерегает хотя бы «Жакерия», основанная на вдумчивом и самостоятельном изучении одного из сложнейших событий французского средневековья. Слово же «анекдот» во времена Мериме означало малоизвестный, но любопытный случай, живо характеризующий какое-либо историческое лицо, быт и нравы эпохи и т. п. Сам Мериме не оставляет сомнений, что он вкладывает в слово «анекдот» именно такой смысл. «...а из анекдотов предпочитаю такие, — продолжает он свою фразу, — в которых, как мне подсказывает воображение, я нахожу правдивую картину нравов и характе-

ров данной эпохи». Таким образом, Мериме вовсе не признается в поверхностном интересе к историческому прошлому, но, напротив, декларирует свою реалистическую требовательность, особенную заботу о надежности, достоверности исторического материала, свое внимание к широкой картине жизни былых времен, а не к одним только событиям официальной истории. В этом отношении Мериме следует за Вальтером Скоттом, точнее — за теми достижениями его исторических романов, которые выходили за пределы романтизма, оказали благотворное влияние на Бальзака и вызвали восхищенный отзыв Пушкина.

Стремясь воспроизвести в своем романе нравы и характеры XVI столетия, а не одни лишь исторические события, Мериме внимательно изучал мемуары, дневники, исторические труды и художественные произведения людей того времени — Монлюка, Брантома, Д'Обинье, Лану, Этуала и др. Несомненно, помог ему разобраться в людях далекого XVI века и великий гуманист Франсуа Рабле, современник Карла IX (недаром Мериме и цитирует его роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» в эпиграфах «Хроники»).

В сюжете романа жизнь вымышленных персонажей, частных, неисторических лиц — по преимуществу молодого дворянина Бернара де Мержи — сплетается с историческими событиями, главным образом с теми, в которых отражается борьба между католиками и последователями протестантского вероучения, носившими во Франции название гугенотов. Существует мнение, что основное место в романе принадлежит любовной истории Бернара де Мержи и придворной красавицы Дианы де Тюржи, а борьба между католиками и гугенотами и события Варфоломеевской ночи, одного из кровавых эпизодов этой борьбы, отодвинуты здесь на второй план. Такая мысль, однако, не оправдывается всем построением «Хроники». Нельзя, правда, отрицать, что ее фабула любовная, но нужно присмотреться и к функции этой фабулы в общем идейно-художественном плане романа. И тогда обнаруживается, что эпизоды книги не только складываются в единую фабулу, связанную с Бернаром де Мержи, но и служат последовательному раскрытию исторической темы. Так, первое приключение Бернара по дороге в Париж знакомит нас с героем любовной фабулы, а вместе с тем и вводит, можно сказать, в самую гущу происходящих во Франции событий. Из придорожной гостиницы «Золотой лев», в которой находит приют молодой путешественник, словно открывается вид на жизнь всей страны, объята гражданской войною. Собеседники и собутыльники Бернара — и прежде всего великолепно изображенный здесь капитан Дитрих Горнштейн — не только ошеломляют юношу своими нравами и рассказами, не только очищают его кошелек и уводят его лошадь, но вносят с собою в роман бурное дыхание событий, сотрясающих Францию, сразу дают почувствовать разорение страны и авантюризм рейтаров — наемных немецких солдат, вовлеченных гугенотами в борьбу против



католиков. Даже подробности внешнего портрета Дитриха Горнштейна, упоминание о его широком шраме, теряющемся в густых усах, или о камзоле из венгерской кожи, вытертом дочерна оружием, вводят читателя в историческую обстановку. Повествователь кое-где сам осторожно, словно мимоходом, подчеркивает в подобных случаях свою тему. Так, упоминая о том, что капитан Горнштейн и за столом, во время пирушки, сохранял при себе широкий кинжал, Мериме вскользь добавляет, что с оружием «человек благоразумный расставался тогда, только ложась спать». Еще более явственно подчеркивает автор свою тему уже при первом описании дома, в котором помещается «Золотой лев»: «Надписи на его стенах говорили о превратностях гражданской войны». В приводимых у Мериме надписях, сделанных на наружной стене гостиницы проходившими солдатами гугенотов или католиков, упоминаются и принц Конде, предводитель гугенотов, и герцог Гиз, глава католической партии, один из организаторов Варфоломеевской ночи. Имя Гаспара де Шатильона (адмирала Колиньи, главы гугенотов) тоже впервые упоминается при описании дома; оно сопровождается в виде пояснения чей-то сделанный углем угрожающий рисунок, на котором изображена виселица с повешенным. Так уже с первых страниц книги один из эпизодов частной жизни Бернара де Мержи сплетается с темой гражданской войны.

Особенно тесно сплетены любовная фабула и историческая тема в главе двадцать первой, где рассказывается о свидании Бернара с Дианой де Тюржи. В дом Дианы, куда юноша приходит, предвкушая радость разделенной страсти, врывается в окно гул возбужденной толпы, крики раненых, торжествующие вопли убийц, проникает запах разогретой смолы от тысячи зажженных факелов, освещающих резню Варфоломеевской ночи. Но еще глубже раскрыта историческая тема в той сцене, где Диана, догадываясь по вспышке от залпа, что избиение гугенотов уже началось, закликает гугенота Бернара обратиться в католичество и тем спастись от гибели. В ее словах звучат и торжество фанатичной католички, и изуверская радость по поводу истребления инаковерующих, и страх за судьбу возлюбленного, и приверженность устроителям Варфоломеевской ночи, связавшим ее клятвой, и страсть женщины, заставившая Диану в конце концов склониться перед упорством прямодушного Бернара, не согласившегося менять свою веру, и воскликнуть со слезами на глазах: «Таким я люблю тебя еще больше, чем если бы ты стал католиком!» В этой сцене, насыщенной драматизмом, обнаруживается умение Мериме не только изобразить человеческий характер, но и передать в нем характер эпохи.

Как исторические события и политическая обстановка времен Карла IX, так и исторические лица тех времен — Карл IX, адмирал Колиньи, герцог Гиз и другие — изображены у Мериме преимущественно в связи с теми или иными

событиями в жизни Бернара де Мержи. Читатель словно видит их его глазами. Этот способ изображения придает им дополнительную реалистическую убедительность и жизненность.

Таким образом, вымышленная фабула не только сочетается в «Хронике» с исторической темой, но и помогает ее раскрытию. И вопреки внешнему впечатлению не историческая тема уступает первый план любовной фабуле, но, напротив, любовная фабула — исторической теме. Недаром, рассказав о битве под Ла-Рошелю, о смерти капитана Жоржа, подводящего в свой последний час скептические итоги братоубийственной распри католиков и гугенотов, Мериме заканчивает свой роман словами: «Утешился ли Бернар? Появился ли новый возлюбленный у Дианы? Это я предоставляю решить читателям,— таким образом, каждый из них получит возможность закончить роман, как ему больше нравится». В этих словах подчеркивается небрежность автора в отношении любовной фабулы романа и, мало того, выражается ирония по адресу читателей, сверх меры заинтересованных фабулой.

Историчность «Хроники» не сведена, разумеется, только к исторической теме и материалам исторических событий. Мериме не мог этим ограничиться после романов Вальтера Скотта, после своих же собственных произведений, где он уже достиг мастерства в передаче колорита времени и места. И действительно, Мериме недаром говорил в предисловии к роману о том, как его привлекает «правдивая картина нравов и характеров данной эпохи». Эту картину он и воспроизводит в своей книге. Поражает своей реалистичностью изображение самой вражды между католиками и гугенотами. Религиозное ослепление, низкие инстинкты убийц и грабителей, личные интересы, политические расчеты — все это спутывается в один клубок. Характеры изображены во всей своей сложности: и исторические лица — расчетливый предатель и трусливый циник Карл IX, прямолинейный и доверчивый адмирал Колиньи — и многочисленные вымышленные лица: честный и пылкий юноша Бернар, полный здорового отвращения к гнусностям религиозной вражды, но не очень утруждающий себя раздумьями по поводу происходящих событий; убежденный атеист и скептический наблюдатель братоубийственной бойни Жорж де Мержи; холодная и неприступная придворная дама Диана де Тюржи, готовая, однако, на самые рискованные авантюры ради вспыхнувшей в ней страсти; храбрый, способный на великодушные порывы, но не очень разборчивый в вопросах совести капитан рейтаров Дитрих Горнштейн; по-звериному жестокий, однако тщательно соблюдающий требования светского этикета дуэлянт-убийца де Коменж; монах-францисканец брат Любен, на пари вставляющий в свою церковную проповедь крепкие словца вперемешку с цитатами из священного писания. Притом все обрисовано не при помощи развернутых характеристик, пространных описаний, а в действии, в движении, в поступках. Автор «Хроники» созна-

тельно пренебрег сложившимися в романтической литературе традициями, ведущими начало от Вальтера Скотта. Об этом свидетельствует и «разговор между читателем и автором», составляющий восьмую главу книги, — он весь, от начала до конца, полемически направлен против длиннот и против условности характеристик в исторических повествованиях романтиков.

Как в своей книге «Гузла» Мериме, примыкая к романтикам в их стремлении соблюдать колорит места и времени, осуществлял это стремление средствами реалистического искусства, так в своем романе он и примыкает к Вальтеру Скотту и отталкивается от него. Подобно Вальтеру Скотту, он изображает людей далекого прошлого без ложной героизации, в повседневном их поведении, в их живой связи с бытом и исторической обстановкой их времени. Однако — уже в противоположность Вальтеру Скотту, уже наперекор идущей от него романтической традиции — такую связь он дает увидеть, не увлекаясь подробными описаниями, а лишь лаконично отмечая по ходу рассказа какую-нибудь характерную деталь. Вальтер Скотт в романе «Айвенго» дает широкую панораму турнира, сообщая, как разместились на трибунах зрители, как расположились бойцы на турнирном поле, описывает со всеми подробностями наряды женщин, оружие и щиты рыцарей и т. п. Мериме, давая представление о королевской охоте, лишь вскользь упоминает о богатых одеждах кавалеров и дам, о горячей андалусской лошадке графини Дианы, о звуках рога, доносящихся из кустарника, о собаках, которых олень поддевает на рога, и т. п. Вальтер Скотт описывает все перипетии турнирных схваток — Мериме воспроизводит лишь один краткий эпизод охоты, рассказывая, как король убивает оленя. И в этой краткой главе, посвященной королевской охоте, и в других главах Мериме при помощи метко избранных деталей живописует эпизоды, в которых естественно объединяются и психология действующих лиц, и быт, и нравы, и историческая обстановка эпохи.

Мериме остается верен жизненной правде и в общем осмыслении основного исторического материала «Хроники» — борьбы католиков и гугенотов. Ему ясен и отвратителен не только человекоубийственный фанатизм католиков, но и человекоубийственный фанатизм гугенотов — в этом смысле изображению Варфоломеевской ночи вполне соответствует данное в конце романа изображение гугенотской вылазки из осажденной Ла-Рошели. В такой трактовке религиозной войны реалистическая правдивость сочетается у Мериме с ненавистью ко всяческому мракобесию, в ком бы оно ни проявлялось. Близость писателя к традициям просветителей XVIII века сказалась в «Хронике» еще более существенно, чем в «Театре Клары Гасуль». Вместе с тем здесь очень ощутимо влияние Франсуа Рабле — если не в художественной манере, то в презрении к тупому фанатизму и католиков и гугенотов, — вспомним, как в своем романе «Гаргантюа

и Пантагрюэль» Рабле одинаково зло издевается над «папманами» и «папефигами». И достойно внимания, что умница Жорж де Мержи не только говорит своему наивному брату: «Паписты! Гугеноты! И тут и там суеверие», — но и протягивает ему свою любимую книгу — «Повесть о преужасной жизни великого Гаргантюа, отца Пантагрюэля». Переключка с Франсуа Рабле — уже не только в понимании изображаемого, но и в стиле изображения — особенно сильна в главе «Проповедь», где и весь облик циничного монаха-балагура Любена и его шутовская проповедь так и дышат раблезианским комизмом. От главы «Два монаха» тоже веет духом гуманистической пародии XVI века. Притом не только пародии Рабле, но и «Писем темных людей», — близость к этой немецкой гуманистической сатире XVI века на ханжескую схоластику особенно дает себя знать в той сцене, когда переодетый монахом капитан рейтаров Горнштейн совершает в кабачке обряд крещения над двумя курами, нарекая их Форелией и Макрелией, чтобы посетители кабачка не оскоромились в постный день.

В обстановке реакции конца 20-х годов, все усиливавшейся во Франции накануне событий 1830 года, исторический роман Мериме, направленный против политического и религиозного обскурантизма, приобретал вполне актуальное значение. Автор сам осторожно подчеркивает это в предисловии к «Хронике». «Что в государстве с развитой цивилизацией считается преступлением, то в государстве менее цивилизованном сходит всего лишь за проявление отваги», — пишет он по поводу зверств, изображаемых в романе, а затем, применяя свою мысль к французской современности, приводит в пример «одного министра», который уже не прибегает к убийствам, но, пользуясь своей властью, смецает или запугивает либеральных избирателей — мелких чиновников министерства — и таким образом добивается выборов в Палату по своему вкусу. Мериме намекает здесь на премьер-министра Виллея, лишь в конце 1827 года ушедшего в отставку, и на его действия при выборах в 1824 году, способствовавшие победе ультрароялистов со всеми ее последствиями.

В связи с явной подготовкой правительства Карла X к полной отмене конституции и новому усилению королевской власти большой политически актуальный смысл приобретало и то, как в романе Мериме изображен был король Карл IX. Антимонархическая тенденция романа не оставляет никаких сомнений. Правда, Мериме осторожно вуалирует ее в предисловии, как он многое вуалировал и в авторских пояснениях к «Театру Клары Гасуль», но изображение Карла IX в «Хронике» все насыщено авторским отвращением к этому персонажу. Глава «Аудиенция», где Карл IX, раздувая в капитане Жорже чувство обиды на адмирала Колиньи, пытается подтолкнуть молодого человека на убийство адмирала из-за угла; глава «Легкоконный отряд», где капитан Жорж получает предписание именем короля занять-



ся со своим отрядом массовым убийством гугенотов, согласно прилагаемому «Списку еретиков, подлежащих умерщвлению в Сент-Антуанском квартале», — все это достаточно характеризует Карла IX как коварного, жестокого и циничного деспота. Глава «Охота», не имеющая на первый взгляд прямого отношения к политическим замыслам Карла, содержит в себе, однако, маленькую, но многозначительную сценку: король, прежде чем убить загнанного оленя, подбирается к нему сзади и перерезает у него сухожилия, а затем вонзает нож оленю в бок, злобно бросая ему при этом кличку «парпайо», которой католики презрительно обзывали гугенотов. Такая сценка, изображенная в спокойной, почти протокольной манере, концентрирует в себе, однако, все омерзение, внушаемое автору его коронованным персонажем. По этому поводу можно вспомнить, что аналогичную сцену изображает Мериме в «Письмах из Испании», изданных в следующем году после опубликования «Хроники». Описывая здесь бой быков в Испании и различные случаи, возникающие во время боя, Мериме рассказывает, что если бык на арене избегает встречи с матадором, то один из участников боя умерщвляет быка — «предательски перерезает ему коленные связки, и когда бык валится, его добивают ударом кинжала». К такому описанию автор «Писем» прибавляет: «Это единственный эпизод боя, вызывающий у всех отвращение. Это своего рода убийство». Описывая аналогичное убийство оленя Карлом IX, автор «Хроники» не только характеризует предательскую натуру короля и выражает свое отвращение к нему, — злобный крик «парпайо!», издаваемый Карлом, превращает этот охотничий эпизод в своего рода символический прообраз охоты на гугенотов в ночь св. Варфоломея. Наконец, в тексте романа, в главе двадцать четвертой, имеется и прямое указание на то, как Мериме расценивал роль Карла IX в избиении гугенотов. Рассказывая о гугенотском полководце Лану, повествователь сообщает: «После того как потоки пролитой крови вызвали у Карла IX нечто похожее на угрызения совести, король вытребовал Лану и сверх ожидания принял его необычайно любезно. Этот не знавший ни в чем меры правитель вдруг ни с того ни с сего обласкал протестанта, а незадолго перед этим вырезал сто тысяч его единоверцев».

Таким образом, хотя в предисловии при помощи довольно пространных исторических рассуждений о степени участия Карла в подготовке Варфоломеевской ночи и несколько сглаживается вопрос о его ответственности за избиение гугенотов, в самом романе вопрос этот поставлен и разрешен со всей остротой. В развитии фабулы Карл IX — лишь эпизодическая фигура, в развитии темы — фигура центральная. В нем обобщена вся бесчеловечность мракобесия, поставленного на службу низкому политиканству. На нем сосредоточены презрение и ненависть писателя, хотя Мериме прямо и не выражает своих чувств, но это уж один из секретов его реалистического мастерства.

Однако народ, его жизнь, его отношение к происходящим событиям — все это почти не отражено в историческом романе Мериме.

Пессимизм, сказавшийся и в «Жакерии» и в «Хронике царствования Карла IX», наложил отпечаток и на все дальнейшее творчество Мериме. Делать ставку на победоносную силу философских доказательств, на возможность создать новое, достойное человека общество при помощи одних лишь передовых идей, как это мыслили просветители XVIII века, любимые учителя Мериме, он, сын своего времени, уже не мог: подобные иллюзии были грубо разбиты действительностью. А вместе с тем Мериме не видел и реальной исторической силы, созревающей в недрах капиталистического общества как гневная угроза социальной неправде и как светлая надежда на раскрепощение человека, на новый, справедливый общественный строй. Молодого рабочего класса Мериме не знал, не понимал, в глубины современной ему народной жизни заглянуть не мог, а в революции видел поэтому лишь разрушительную силу.

Среди крупных французских писателей XIX века у одного лишь Проспера Мериме нельзя найти хотя бы попытки изобразить в художественном произведении революционную борьбу своего времени. Его современники — Стендаль, Бальзак, Беранже, Гюго, Жорж Санд — при всем различии в их убеждениях, взглядах, творческих методах и вкусах не обошли этого острого и сложного материала, в изобилии предлагаемого Францией XIX столетия каждому художнику, сколько-нибудь чуткому к творимой вокруг него истории своего народа, своей страны. Революция 1830 года, народные восстания начала 30-х годов, революция 1848 года — каждое из этих событий или хотя бы одно из них находит себе отклик в сюжетах и отдельных мотивах «Красного и черного» Стендаля, «Утраченных иллюзий» Бальзака, песен Беранже, «Ораса» Жорж Санд, «Отверженных» Гюго. Мериме был современником всех этих событий, но в его творчестве прямого отражения они не нашли.

Наглядевшись ужасов у себя во Франции, Жорж де Мержи говорит брату, что он охотнее жил бы среди дикарей, чем среди французов. Можно усмотреть некоторую связь между этим горьким резюме автобиографического героя «Хроники» и пристрастием Мериме-новеллиста к людям, живущим среди природы, вдали от европейской цивилизации.

Милых своему сердцу героев Мериме-новеллист охотнее всего показывает за пределами обычной жизни буржуазного общества — на полудикой Корсике, как Маттео Фальконе или Колумбу, в кругу испанских контрабандистов, как Кармен и ее возлюбленного Хосе, и т. п. Герои таких новелл Мериме — люди больших чувств, сильных страстей, их души не запорошены пылью житейской суеты, мелких расчетов, эти люди умеют любить, ненавидеть, желать, действовать. Изображая их, новеллист внушает читателю вос-

хищенное внимание к глубоким и цельным человеческим натурам.

Весной 1829 года, через два месяца после опубликования «Хроники», Мериме печатает в журнале «Ревю де Пари» свою новеллу «Маттео Фальконе», начавшую собой целый ряд его так называемых «экзотических» новелл. Сюжет новеллы переносит читателя на полудику Корсику с ее почти непроходимыми зарослями, с ее полуцивилизованным населением, примитивным бытом, суровыми и простыми нравами. Подобный «экзотический» материал был излюбленным предметом изображения для романтиков; именно романтиками он был широко введен в литературу, — достаточно вспомнить хотя бы «восточные» поэмы Байрона. Тем не менее, обращаясь в новелле «Маттео Фальконе» к экзотике, Мериме не сворачивает со своего реалистического пути в сторону романтизма. Можно даже считать, что в этой новелле его реализм обнаруживает еще большую отточенность, еще большую собранность, чем это было в пьесах или в «Хронике». Немногими, но верными чертами обрисован характер Маттео, прямого, мужественного человека, не привыкшего колебаться при исполнении того, что он считает своим долгом. Изображенная в новелле ситуация по своему подчеркнутому драматизму, по своей исключительности, так сказать, просится на страницы романтического произведения: Маттео Фальконе убивает своего маленького сына за то, что он нарушил неписаный закон корсиканцев и выдал полиции беглеца, скрывавшегося во дворе у Маттео. Но эта исключительная ситуация изображена у Мериме как закономерное, естественное проявление всей цельной, по-своему героической натуры корсиканца, всего уклада корсиканской жизни, столь далекого от европейской цивилизации.

Местный колорит дан также лишь при помощи лаконичных упоминаний той или иной особенности быта и нравов. Сделанное как бы между прочим замечание рассказчика, что, возвращаясь с Маттео домой, его жена согнулась под тяжестью мешка с собранными каштанами, между тем как Маттео шел налегке, только с двумя ружьями — одним на перевязи, другим в руках, «ибо никакая ноша, кроме оружия, недостойна мужчины», — заменяет собою подробную картину нравов. Эти скупые слова дают понятие о подчиненном положении корсиканской женщины и о постоянной опасности кровавых схваток, требующей от каждого корсиканца не расставаться с оружием и во время самых мирных занятий. Лаконичность чисто реалистической передачи местного колорита усиливается еще и тем, что немногие мотивы, из которых здесь складывается его характеристика, непосредственно вводятся в действие, определяют собою развитие сюжета и сами при этом углубляются и расширяются. Когда Джузеппа по приказу мужа, обеспокоенного появлением солдат у себя во дворе, сбрасывает со спины мешок каштанов и следует по пятам за Маттео,

неся запасное ружье и патроны, в ней начинаешь видеть уже не только отягощенную работой женщину, но и подругу своего мужа, разделяющую его взгляды, исполняющую то, что она считает своим долгом. «Долг хорошей жены — во время боя заряжать ружье для своего мужа», — поясняет Мериме. Такая черта корсиканских нравов помогает понять и все поведение Джузеппы в дальнейшем, когда она узнает о предательском поступке своего сына. Она не пытается оправдать маленького подлеца. Заметив у Фортунато часы, полученные в награду за предательство, она строго спрашивает мальчика, откуда они. Когда муж уводит Фортунато в заросли, она плачет и молится, но неистребимое материнское чувство все же не заглушает в ней корсиканского понятия о долге чести, который исполняет ее муж. У нее не вырывается ни слова протеста или возмущения. Дело тут не в рабской покорности, — ведь возмутилась Джузеппа, когда Маттео стал сомневаться в том, что Фортунато — его сын: «Опомнись, Маттео! Подумай, кому ты это говоришь!» Кратким диалогом между нею и Маттео, когда она выбегает ему навстречу при звуке выстрела, завершается образ этой корсиканки, которая даже в своем материнском горе не посягает на то, что она вместе со своим мужем считает велением долга.

Так «местный колорит», введенный в литературу романтиками и получивший у них особенно широкое развитие в связи с их экзотической тематикой, приобретает в новелле Мериме иной, уже ничуть не самодовлеющий характер, объединяется в одно художественное целое с персонажами и их поступками, со всем сюжетом. «Местный колорит» романтиков претерпевает здесь такие же изменения, какие исторический колорит претерпел в «Хронике царствования Карла IX».

Да и сам Маттео Фальконе и похож и не похож на романтических героев. Мериме не придает ему титанических черт, как это сделал бы романтик. Писатель даже с некоторым юмором упоминает о том, что Маттео «жил честно, то есть ничего не делая», что он был в глазах полиции человеком благонадежным. Не наделяет его Мериме ни эффектной внешностью, ни эффектной речью. Убийство мальчика совершается корсиканцем спокойно, почти деловито, он предусмотрительно пробует землю прикладом ружья, желая убедиться, что ее легко можно будет вскопать для могилы. Но тем убедительней и правдивей впечатление от сильного характера этого человека.

Пессимистически расценивая социальную жизнь современной ему Франции, эту развернутую перед его глазами «хронику царствования Карла IX», и устремляя свое творческое внимание за пределы цивилизованного общества, Мериме уподобляется романтикам, но тем и ограничивается уподобление. Не идеализируя в противоположность романтикам своего экзотического героя, реалист Мериме видит в нем лишь отдельные проявления душевного благород-



ства, лишь яркие осколки того прекрасного человеческого образа, без мысли о котором невозможно подлинное искусство.

Через полгода после «Маттео Фальконе», опять в журнале «Ревю де Пари», Мериме публикует новеллу «Таманго». Здесь жанровые черты его «экзотической» новеллы выказываются еще более отчетливо. Описаний природы или нравов здесь совсем нет, даже таких кратких, как в «Маттео Фальконе», хотя берега Африки и их население были еще менее знакомы читателям Мериме, чем корсиканская природа и нравы корсиканцев. «Местный колорит» еще более сливается с развитием сюжета.

Герой повествования негритянский царек Таманго совсем не идеализирован. В 1826 году, за три года до «Таманго», вышел из печати вторым изданием, заново переработанным, роман В. Гюго «Бюг-Жаргаль». Главный персонаж этого романа — тоже негр, как Таманго, но он наделен одними лишь достоинствами: он бескорыстно руководит восстанием своих черных братьев на острове Сан-Доминго, это благородный герой, у него светлый ум и доброе сердце. Герой новеллы Мериме наделен чертами необычайной жестокости, он бессердечен к своим подданным, он продает их в рабство, беря по бутылке водки за человека. Мериме нужна была большая реалистическая смелость, чтобы в сочетании с этим изобразить Таманго во всем великолепии его сильной натуры, когда он, уже сам оказавшись в качестве невольника на корабле того же работорговца, которому он продал своих негров, поднимает среди них восстание и овладевает кораблем.

В «Маттео Фальконе» сильная и яркая личность корсиканца была лишь молчаливо противопоставлена тому цивилизованному миру, который послужил для Мериме источником социального скептицизма и горького разочарования, люди цивилизованного мира там не действовали. В новелле «Таманго» противопоставление осуществляется самим сюжетом: рядом с негритянским царьком изображен капитан Леду, европеец, француз, сверху вниз смотрящий на «черное дерево» — негров, которыми он торгует. И сравнение с Таманго не в пользу капитана. Непросвещенный ум дикаря оказывается способным на быстрые и верные решения, на тонкий расчет, когда Таманго поднимает бунт на корабле; свирепый, дикарский нрав не заглушает в нем истинного чувства любви, когда он, забыв об осторожности, догоняет корабль, увозящий его жену, или когда, почти умирая от голода в утлой лодке, делится с женою последним сухарем. Мелкая, торгашеская душонка цивилизованного Леду утратила всякую человечность. Спокойный тон повествования, присущий Мериме, уступает место саркастическим интонациям, памфлетной язвительности, как только речь заходит о капитане-работорговце. Иронически изображен Леду и как носитель прогресса — он вводит новую систему наручников и цепей для негров, добивается переоборудования междупа-

лубных помещений, чтобы втиснуть туда побольше невольников. Высокопарные фразы о гуманности, которые порой произносит капитан, и романтическое название «Надежда», которым Леду окрестил плавучую тюрьму для черных рабов, делают эту фигуру еще более отвратительной. И Мериме подчеркивает ее обобщающий смысл: рассказывая о том, как на чернокожих надевают ошейники, он замечает, что в этом «неоспоримое доказательство превосходства европейской цивилизации». Таким образом, повествование о моряке-авантюристе превратилось в обвинительный акт против цивилизованной Европы, имевший притом самое актуальное значение. В новелле «Таманго» автор присоединился к передовым людям своего времени, поднявшим голос против работорговли, которая при возмутительной снисходительности властей продолжала существовать и после ее официального запрета.

Так уже в первых своих новеллах Мериме реалистически осваивает «экзотику», считавшуюся до тех пор неоспоримым достоянием романтиков. Нечто подобное происходит в его новеллистическом творчестве и с военной героикой. Почти одновременно с «Таманго» вышла в свет его новелла «Взятие редута», где на нескольких страницах рассказывается об одном из эпизодов Бородинской битвы — сражении за Шевардинский редут. Героика войны изображена здесь без всяких батальных эффектов — без живописных схваток, без ярких красок, без торжественных слов, без призывных кликов, даже без примеров особой храбрости кого-либо из сражающихся. Рассказ о сражении вложен в уста офицера, который в нем участвовал. Значение этого обстоятельства не ограничивается тем, что рассказу придается характер особой достоверности. Человек, впоследствии вспоминающий о шевардинских событиях, участвует в них еще новичком, только что выпущенным из военной школы. Под безобидными пока еще ядрами пушек, не попадающими в хорошо укрытый полк, молодой офицер восхищается своим героическим бесстрашием, предвкушает удовольствие рассказывать о сражении своим парижским друзьям в салоне знакомой дамы. Его романтические представления о войне вытесняются жизненной правдой. Длинный ряд неподвижных русских grenадер, смотрящих на французов только левым глазом, потому что правый у всех скрыт за наведенным ружьем; бой врукопашную среди густого дыма, не позволяющего видеть своего противника; брызги мозга и крови, летящие на новичка-офицера, который перед самым боем с подчеркнутым спокойствием очищал на себе рукав, забрызганный грязью от далеко упавшего ядра; кровь на сабле этого офицера, только и помогающая ему сообразить, что, значит, и он наносил удары в общей схватке, — из подобных немногочисленных подробностей, полных суровой правды, складывается рассказ о сражении. В новелле «Взятие редута» Мериме предвосхищает Стендаля, давшего значительно позднее, в 1839 году, в романе «Пармская обитель», то ясное, трезвое, свободное от романтической услов-

ности и декоративности описание боя под Ватерлоо, которое так нравилось Л. Толстому. Впрочем, Мериме предвосхитил Стендаля не без помощи его самого: есть основания допустить, что Мериме опирался в своей новелле на устные рассказы своего старшего друга о Бородинской битве,— ведь Стендаль был участником наполеоновского похода в Россию.

В новеллах «Этресская ваза» и «Партия в триктрак» (обе вышли в 1830 году) писатель снова противопоставляет большие и сильные чувства, живые душевные стремления мелкотравчатой буржуазной действительности, но противопоставляет по-иному, чем раньше. Здесь впервые у Мериме-новеллиста носители драгоценных для него человеческих качеств принадлежат к тому же самому обществу, которое этим качествам враждебно. А это обстоятельство ставит перед художником, особенно перед художником-реалистом, существенно новые задачи. Другой вариант темы, другие герои требуют от писателя и новых средств изображения. В этих новеллах еще большее место занимает психология героев — психология особенно сложная: противоборствующие силы переносят свою борьбу и во внутренний мир.

«Этресская ваза» начинается с характеристики Сен-Клера, молодого человека, принадлежащего к парижскому светскому обществу. Принято считать — и, по-видимому, с полным основанием,— что этот главный персонаж новеллы общим своим духовным обликом похож на самого автора. Однако автобиографичность персонажа не служит для Мериме поводом нарушить реалистическую объективность изображения. Новелла не превращается в эмоциональную исповедь автора, как это случилось бы с ней под пером романтика. Мериме и в этом отношении, как во многих других, становится на путь Стендаля, реалистическое дарование которого проявлялось и тогда, когда материалом для анализа служил он сам.

Мериме и в новелле «Этресская ваза» на реалистический лад осваивает достояние романтиков.

Герой, непонятый и гонимый «светом», — излюбленный персонаж романтической литературы. Но в Сен-Клере не остается и следа от того титанического начала, которым наделены герои романтиков. Он обыкновенный человек своей среды, сам несвободный от слабостей и предрассудков; необыкновенно в нем лишь то, что и в светской среде, суетной, пустой и циничной, он сохраняет свежесть и глубину чувства, душевное целомудрие и прямоту.

В изображении конфликта своего героя с обществом писатель углубляет тему, прибегая к психологическому анализу и вскрывая в самом Сен-Клере ту особенность его душевного склада, которая содействует его гибели. Скрытность и недоверчивость Сен-Клера, выработавшаяся в нем как защитная реакция человека, оберегающего свой внутренний мир от не-

дружелюбного любопытства, сама становится для этого внутреннего мира враждебной, губительной силой. Привычная недоверчивость Сен-Клера обращается и на Матильду — единственного человека, душевно ему близкого. Застольных врак нескольких шалопаев оказывается достаточно, чтобы убить в Сен-Клере доверие к его возлюбленной-другу. Привычная скрытность Сен-Клера роковым образом отдаляет и объяснение его с Матильдой, когда она великолепным в своей простоте движением бросает об пол этрусскую вазу, сочтенную Сен-Клером за любовный сувенир, и тем доказывает, как неосновательна его ревность. Если бы это объяснение произошло раньше, не дошел бы Сен-Клер до отчаяния, не обжег бы хлыстом лошадь де Темина, давая выход кипящему в душе гневу, и не погиб бы из-за этого на дуэли.

Растлевающее действие буржуазного общества на благородную человеческую натуру еще сильнее выдвинуто на первый план в новелле «Партия в триктрак». Весь ее сюжет построен вокруг одного психологического казуса, который и приводит героя к гибели. Изображенный в новелле морской офицер Роже в противоположность Сен-Клеру из «Этрусской вазы» прекрасно чувствует себя среди своих товарищей по военной службе. Он окружен друзьями. Ссора с пехотными офицерами в счет не идет, более того — она еще резче подчеркивает дружеские отношения между Роже и его товарищами: все они, как один, становятся на его сторону и вызывают на дуэль его противников. Молодой моряк не чуждается окружающих, да они и не подают к тому повода — в этой новелле Мериме не изобразил прожженных циников и пустопорожних шалопаев, как те, что одним своим существованием оскорбляют в Сен-Клере чувство порядочности. Конфликт между благородными человеческими чувствами и обществом развивается здесь без столкновения героя с ближайшей к нему средой. Стяжательский расчет, определявший собой в новелле «Таманго» весь гнусный облик работоторговца Леду, здесь маленьким червячком заполз в душу самого героя: Роже сплутовал, поставив свои последние деньги и выбрасывая игральные кости. Он сразу же опомнился, но признаться в плутовстве у него не хватило духу, а его нарочито неловкая игра и попытки отказаться от выигрыша не достигают цели. Душевные муки Роже после того, как он узнал о самоубийстве своего проигравшегося партнера, объясняются не только чувством вины перед самоубийцей, но еще в большей степени презрением к себе. Сознание того, что он своим поступком обесчестил себя, и заставляет Роже искать смерти.

В новеллах Мериме те человеческие ценности, которые противопоставляются буржуазному строю, сами не изображены как общественно-творческая сила, хотя бы потенциальная.

Мериме видел в жизни лишь единичные проявления душевной силы и благородства, из ярких разрозненных

проявлений человечности и складывался для него образ человека, достойного так именоваться. Не знаменательно ли в этом смысле, что сборник 1833 года, где были объединены повеллы, написанные Мериме до Июльской революции, был назван «Мозаикой»?

Весть об Июльской революции застала Мериме в Испании, где он пробыл около полугода. По пути в Испанию писатель познакомился с испанским аристократом Сиприаном Монтихо, дочь которого, Евгения Монтихо, тогда еще маленькая девочка, стала впоследствии женой Наполеона III, французской императрицей. Мериме сблизился со всем их семейством, жил у них в доме. Но не жизнь и типы испанских аристократов, а жизнь и типы испанского народа поглощают все внимание будущего автора «Писем из Испании». Именно при общении с людьми из народа расцветали в сердце Мериме дружелюбие и доверчивость, которыми он лишь очень редко дарил своих светских и литературных знакомых.

К концу 1830 года Мериме вернулся во Францию и застал там в полном разгаре все то, что принесла с собой Июльская монархия: власть финансовой аристократии — крупных дельцов и банкиров, ожесточенную погоню за наживой, господство денег, олицетворенное в короле Луи-Филиппе, ставленнике банкира Ж. Лаффита. Однако на первых порах, еще не приглядевшись к сложившейся обстановке, Мериме питал, по-видимому, некоторые иллюзии относительно Июльской монархии. Революция 1830 года вызывала в нем чувство удовлетворения тем, что ненавистные ему Бурбоны были свергнуты, что пришел конец связанной с ними дворянско-клерикальной реакции.

Мериме поступает на государственную службу — он получает довольно крупное назначение по министерству иностранных дел, затем переходит в министерство торговли. Кипучая литературная деятельность его в связи с этим несколько затихает. Лишь в 1833 году он, опубликовав в июне сборник своих старых новелл «Мозаика», печатает в августе новую большую новеллу «Двойная ошибка».

К этому времени Мериме имел уже возможность приглядеться к Июльской монархии и распрощаться окончательно с первоначальными своими иллюзиями. Об этом свидетельствуют его биографы, об этом же свидетельствует и новая его новелла.

«Двойную ошибку» иногда называют романом, имея, очевидно, в виду ее большие размеры, немалое количество изображенных в ней персонажей и довольно широко развернутую картину обстановки, в которой происходят события. Все же в центре произведения лежит лишь один эпизод. Остальное — предыстория, психологически и социально этот эпизод объясняющая.

Основной эпизод новеллы — встреча дипломата Дарси с некогда им любимой Жюли де Шаверни, закончившаяся гибелью этой женщины. К гибели привело Жюли отчаяние:



она поняла, что Дарси теперь совсем ее не любит, не уважает и что она бросилась в объятия человека, который смотрит на отношения с ней как на очередную интригу с обеих сторон. Драматизм этого эпизода, однако, сосредоточен не столько на страданиях женщины, обманувшейся в своем любовном порыве, сколько на ее мучительном чувстве своей униженности. Жюли тем острее чувствует унижительное отношение к ней Дарси, что встретила она с ним в тяжелое для себя время, когда ей стали мучительно невыносимы те унижения, каким она подвергалась в своей семейной жизни. Самодовольный, тупой, грубый муж оскорбляет ее своим невниманием, а еще больше своим вниманием, когда вдруг заметит, что и в ней есть «пикантность», или похвастает перед гостями красотой ее ног. Именно оскорбленное женское достоинство заставляет ее разрыдаться наедине с Дарси, заставляет ее искать утешения у человека, который, как она думает, ее любит. Любовный порыв Жюли возник из горькой неудовлетворенности унижительным для нее браком. Такая трактовка любовной темы потребовала от новеллиста особенно тонкого психологического анализа. Вместе с тем еще больше, чем в прежних новеллах, психологический анализ связан здесь с изображением социальной среды — той богатой, преуспевающей среды, к которой Жюли принадлежит. Пошлость и душевная грубость этого общества, пустота его интересов, вращающихся около денег, холостяцких пирушек, полезных знакомств, придворных званий, особенно наглядно изображена в муже героини — господине де Шаверни. Сама Жюли не восстает против своей среды, она лишь глубоко страдает в этой среде.

Как Жюли не поняла Дарси, так и он не понял ее. Причиной ее ошибки была болезненная экзальтация, заставившая ее в иллюзии любви искать исцеления для уязвленной женской гордости. Причиной его ошибки был скептицизм, убивший в нем способность поверить в подлинное чувство, — вот почему Дарси и увидел в Жюли развращенную даму, искательницу любовных приключений.

Мериме обратился здесь к теме скептицизма не впервые, — вспомним хотя бы Жоржа де Мержи из «Хроники Карла IX».

Однако тема скептицизма поставлена в «Двойной ошибке» по-иному, чем в «Хронике». Там скептицизм Жоржа помогал Мериме осуществлять суд над социальной действительностью, здесь скептицизм Дарси сам подвергается суду.

В «Этрусской вазе» изображается главным образом, как недоверчивость чувствительного и легко ранимого сердца Сен-Клера губит его самого, — гибель его возлюбленной составляет лишь дополнительный мотив новеллы. В «Двойной ошибке» все внимание автора устремлено на то, как недоверчивость скептического ума Дарси губит другого человека.

Через год после «Двойной ошибки» вышла в свет новел-

ла Мериме «Души чистилища». Ее сюжет Мериме создал на основе легендарных рассказов об испанском графе де Маньяра, который действительно жил в XVII веке, и некоторых версий известной легенды о Дон Жуане. Но Мериме придает образу Дон Жуана и особую, глубоко оригинальную трактовку. У Мериме он жестокий хищник, лишенный всякого обаяния, наслаждающийся не любовью женщин, а своей властью над ними, которую считает принадлежащей ему по праву, как «существу высшему, чем другие люди». Индивидуализм, нередко выступающий у романтиков как протест против общества, враждебного людям, в новелле Мериме обнаруживает и свою враждебную людям сущность.

В мае 1834 года Мериме назначается на должность главного инспектора исторических памятников и национальных древностей, которой он очень добивался. В самом деле, она была ему и по нраву и по плечу. Обладая большим вкусом и солидными знаниями в разных областях искусства, будучи связан — и через отца и благодаря личным знакомствам — с художественными кругами Франции, живо интересуясь историей, совмеща в себе усидчивого эрудита и легкого на подъем путешественника, Мериме, казалось, был создан для такой работы и отдался ей, не жалея ни сил, ни времени.

А работа была огромная. Мериме надлежало руководить разысканием, охраной и реставрацией драгоценных памятников искусства, созданных Францией в течение столетий. В тридцатые годы они пришли в плачевное состояние. Как острят французы, режим Реставрации отнюдь не занимался реставрированием памятников искусства, — напротив, по подсчетам исследователей, эти памятники пострадали гораздо меньше от разрушения в бурные годы Французской революции, чем от вандализма монархии и церкви во времена Реставрации.

После революции 1830 года передовые деятели французской культуры добились того, что правительство приняло меры по охране исторических и художественных памятников, но Мериме в качестве их главного инспектора приходилось тратить огромную энергию, чтобы добиваться кредитов, необходимых административных распоряжений и т. п. Одно время, служа в министерстве иностранных дел, он подумывал о дипломатической карьере, — теперь все свои дипломатические способности он посвятил защите памятников старины от равнодушия или невежества чиновников, городского управления, церкви. Когда дипломатия не помогала, он прибегал к более решительным мерам, резко критиковал неумелую перестройку архитектурных памятников средних веков, безвкусное подновление старинной живописи; местные власти, допускавшие варварскую порчу художественных и исторических ценностей, не раз по настоянию Мериме подвергались денежным штрафам.

Как хорошо ни был образован Мериме, но ему по роду его деятельности приходилось постоянно пополнять свои знания в области археологии, архитектуры, скульптуры, живописи, мозаики, нумизматики, керамики, искусства эстампа и т. п., даже в области фортификации.

Работа инспектора требовала постоянных разъездов. За восемнадцать лет, отданных ей писателем, он исколесил всю Францию вдоль и поперек, совершая длительные поездки часто по два, а то и по три раза в год. Так, вскоре по своем назначении Мериме, заняв место в почтовой карете, отправляется на четыре месяца на юг Франции, посещает Бургундию, Прованс, Лангедок, Русильон. В 1835 году почти столько же времени он занят разъездами по западу Франции (Мен, Бретань, Пуату). Май — август 1836 года Мериме проводит в разъездах по Восточной Франции (Шампань, Франш-Конте, Эльзас), в мае — сентябре 1837 года посещает Овернь, в июне — июле 1839 года — запад Франции, в августе того же года — Лангедок и Верхние Пиренеи и т. д., и т. д. Так на протяжении многих лет Мериме, главный инспектор исторических памятников и национальных древностей, объезжает всю Францию, от Ламанша до Пиренеев и Средиземного моря, от Атлантического океана до восточных границ. Если к поездкам по Франции присоединить еще путешествия в Англию, Германию, Италию, Испанию, Грецию, Малую Азию, Голландию, притом в некоторые из этих стран — неоднократные путешествия, часто тоже сопряженные с научно-служебными задачами, то можно себе представить, сколько на все это ушло времени и сил.

Деятельный и любознательный путешественник, энтузиаст взятой им на себя миссии по охране художественных и исторических ценностей, наблюдательный и пытливый писатель-реалист, Мериме весь отразился в своих «Заметках о путешествии по югу Франции», «Заметках о путешествии по западу Франции», «Заметках о путешествии по Оверни», «Заметках о путешествии по Корсике», изданных им отдельными книгами в 1835—1840 годах. Эти служебные отчеты Мериме, щедро дополненные для печати личными впечатлениями от местной природы, людей, быта, этнографическими сведениями, путевыми эпизодами, раздумьями по поводу виденного и т. п., превратились в своего рода путеводители по разным местам Франции, насыщенные богатыми и разнообразными материалами. Информация сочетается в них с художественным очерком. «Заметки» во многих своих частях обнаруживают большую близость к «Письмам из Испании» непринужденным тоном беседы с читателем, живостью изображений и вместе с тем почти педантической точностью сообщаемых сведений.

Сами по себе обладая художественной ценностью, книги Мериме о его путешествиях и «Письма из Испании» вместе с его личной перепиской могут служить источником для изучения творческой истории его новелл «Венеры Ильской», «Коломбы», «Кармен». Обращаясь к этому

источнику, убеждаешься в том, какое множество внимательных наблюдений над страной, над типами людей, над бытом и всей обстановкой жизни легло в основу художественных образов Мериме, и вместе с тем видишь, с какою творческой свободой передает и сочетает он в новеллах свои наблюдения, никогда не прибегая к простой копировке действительности.

В 1837 году Мериме опубликовал «Венеру Илльскую». Убийство, совершенное бронзовой Венерой, сохраняет в новелле сказочно-символический характер, и с этим сказочным, а не реальным убийцей связан замысел автора. Богиня любви и красоты мстит за поругание любви и красоты выродившемуся человеку буржуазного общества — именно с этой местью внутренне объединен весь материал новеллы. В новеллах «Мозаики» Мериме изображал силу, любовь и красоту человеческую либо как нечто противопоставленное буржуазному обществу где-то за его пределами, либо как жертву буржуазного общества. В «Венере Илльской» красота и человечность, символически воплощенные в статуе античной богини, восстают на это общество, действуют как враждебная ему сила. Старая тема Мериме получает здесь новый поворот, сочетается с мыслью о мятеже, о возмущении. Но изобразить возмущенную красоту и силу человеческую в сколько-нибудь конкретных социальных формах Мериме, разумеется, не мог, слишком далек он был от понимания классовой борьбы своего времени, выразившейся за несколько лет до выхода «Венеры Илльской» в рабочих восстаниях Парижа и Лиона. Отринув безоговорочный скептицизм в области человеческих отношений, автор «Двойной ошибки» все же продолжал оставаться скептиком в своих взглядах на революцию, на социальную борьбу.

Тема красоты и силы человеческой, восставших против общества, которое уродует и уничтожает человека, возникшая у Мериме впервые в «Венере Илльской», подсказывает ему и замысел следующей новеллы — «Коломбы», опубликованной в 1840 году.

В августе — октябре 1839 года Мериме в качестве инспектора исторических памятников совершил поездку по Корсике. Он, как всегда, серьезно подготовился к поездке, изучил нужную литературу, обратился за советами и информацией к людям, связанным с Корсикой, запасся рекомендательными письмами к местным жителям, которые могли бы облегчить ему знакомство со страной. На Корсике он не чувствует себя одиноким путешественником. Корсиканцы, с которыми он устанавливает приятельские отношения, нередко сопровождают его в дороге, вводят в свои семьи, рассказывают о корсиканской жизни и нравах, знакомят его с искусством, архитектурой Корсики и т. п. Мериме часто совершает свой путь верхом на лошадке местной мелкой породы, — медленные передвижения при всех неудобствах облегчают ему, однако, возможность внимательно наблюдать

природу и людей. Отсутствие гостиниц и необходимость пользоваться в пути гостеприимством корсиканцев вводят его в повседневную жизнь острова. Нет ничего удивительного в том, что плодом этого интенсивного изучения Корсики были не только «Заметки о путешествии по Корсике», опубликованные в апреле 1840 года, но и опубликованная в июле того же года повесть «Коломба».

Еще в «Маттео Фальконе», ранней новелле Мериме, действие происходит на Корсике. Но в пору создания «Маттео Фальконе» писатель знал Корсику только по литературе да с чужих слов. Автор «Коломбы» повидал Корсику своими глазами; впечатления от страны и ее жителей, и даже местные рассказы о Корсике восприняты были им, конечно, с особою остротой. Вот почему в «Коломбе» так разносторонне изображена жизнь Корсики, так тонко обрисована героиня этого произведения, вот почему Мериме мог тут ввести в действие столько разнообразных персонажей. Вот почему, самое главное, Мериме смело обратился к замыслу, подсказанному всем ходом идейно-художественного осмысления буржуазной действительности, которое он производил в своем творчестве.

Толчком к созданию сюжета «Коломбы» явилась подлинная история корсиканской вендетты. С участницей этой жестокой вендетты, Коломбой Бартоли, Мериме познакомился на Корсике в сентябре 1839 года через ее брата, своего приятеля Орсо Карабелли. В это время Коломба Бартоли была уже старухой; с ней жила ее дочь Катерина, молодая красивая женщина, в которую Мериме сразу влюбился и, кажется, не на шутку, если судить по его письмам. Она-то и послужила прототипом для молодой героини новеллы,— Мериме лишь приписал ей в своем произведении некоторые черты характера ее матери и ту роль, какую сыграла Коломба Бартоли в необычайно кровавой вендетте своей семьи. С самой этой вендеттой, продолжавшейся уже полвека, Мериме тоже имел возможность познакомиться в последней ее стадии, так как при нем в августе 1839 года на суде разбиралось дело ее участника, а в качестве прокурора выступал один из друзей писателя.

Строя сюжет «Коломбы», Мериме не ограничился историей родовой мести. Распря двух семейств осложнена тем, что она развивается в условиях буржуазной цивилизации. Коломба, проникнутая духом старой Корсики, борется с противниками, крепко связанными с буржуазным строем. Уже не бронзовая Венера Илльская, а полная жизни и энергии славная дочь Корсики восстает в этой повести на преуспевающего мещанина, и восстает уже не в символическом, а в прямом смысле слова.

В марте 1844 года Мериме был избран во Французскую академию, заняв кресло, освободившееся после смерти Ш. Нодье. Звание академика было ему дано не столько за художественные произведения, сколько за работы в различных областях истории, архитектуры и т. п. Через день в мартовском номере «Ревю де де Мوند» появляется



его новелла «Арсена Гийо». Мериме с лукавым удовольствием говорил, что, выйди она в свет чуточку раньше, и его бы провалили на выборах,— так велико было негодование, вызванное новеллой в академических кругах.

Негодование Французской академии времен Луи-Филиппа вполне закономерно. Новелла посвящена парижской гризетке Арсене Гийо, женщине из народа, изведавшей и нищету и унижение, опустившейся, переходившей из рук в руки, но сохраняющей черты душевного благородства и способность к сильной, глубокой, самозабвенной любви. Самое же главное — она не изображена здесь как предмет игривого любопытства или сентиментального сострадания, а поставлена выше в своей нравственной ценности, чем благодетельствующая ей добропорядочная светская дама госпожа де Пьен. Этим и объясняется негодование академиков. Демократичность, всегда составлявшая привлекательное свойство Мериме и как человека и как писателя, до сих пор проявлялась им либо при изображении людей далекого прошлого, либо при создании «экзотических» персонажей его новелл. В «Арсене Гийо» демократичность Мериме проявляется при изображении персонажа отнюдь не «экзотического», ибо вся судьба новой героини Мериме определена природой буржуазного общества, жестокого к бедняку, готового завладеть его последним достоянием да еще требующего, чтобы бедняк смиренно склонял перед ним голову.

Мериме всегда ненавидел и презирал ханжество и лицемерие. Он изобличал их и в «Театре Клары Гасуль» и в «Хронике царствования Карла IX». В «Арсене Гийо» изображение тартюфства достигает наибольшей социальной остроты. Для госпожи де Пьен религия служит отмычкой, помогающей проникнуть в сердце Арсены, поработить это истстрадавшееся сердце для вящей славы поработительницы. В заглавии новеллы стоит имя Арсены Гийо, на этой несчастной женщине сосредоточено сочувственное внимание автора, и, пожалуй, с такой сердечностью Мериме еще не говорил ни об одном из своих персонажей. Однако вся композиция новеллы подчеркивает и немалое значение другого персонажа — госпожи де Пьен. Сама история Арсены вводится в новеллу как эпизод из жизни госпожи де Пьен, первая же глава начинается с молитвы этой дамы в церкви св. Роха, последнюю главу заканчивает строчка на могильном камне Арсены, выведенная карандашом все той же дамы. Но жизнь светской филантропки никак нельзя здесь рассматривать лишь в качестве обрамления для истории главной героини; госпожа де Пьен — активно действующий персонаж, и в основном эпизоде Мериме уделяет ей не меньше внимания, чем Арсене, только его внимание не сочувственное, как к Арсене, а враждебное.

Повествование о госпоже де Пьен можно назвать тонким этюдом, посвященным психологии ханжества и лицемерия. Сам Мериме говорит в одном из своих писем, что в

своей новелле он главным образом метил в ханжей и иезуитов. Психологическая задача, осуществляемая здесь автором, усложняется и углубляется тем, что изображаемая им лицемерка — не просто Тартюф в юбке, она в отличие от Тартюфа лицемерит и перед самой собою. Из-под покрыва религиозно-нравственной опеки явственней всего начинают проглядывать эгоистические побуждения опекуни, когда вдруг в камерке умирающей она встречается с беспутным Максом, своим светским знакомым и, как сразу же она понимает, бывшим любовником Арсены. Тут особенно изощряется Мериме в изображении целой системы лицемерных уловок, к которым прибегает под предлогом спасения уже не одной, а двух заблудших овец ревнительница добродетели, чтобы отдалить Макса от Арсены. Неспроста еще раньше в новелле рассказывается, как, только что вернувшись в Париж после долгого отсутствия, Макс первым делом является с визитом к госпоже де Пьен и та, ведя с ним беседу, по своему обыкновению, в проповедническом духе, не без удовольствия обнаруживает, что этот беспутный Макс влюблен в свою проповедницу. И читатель вместе с рассказчиком иронически следит за тем, как после встречи с Максом у Арсены ее покровительница с удвоенной энергией принимается за свою душеспасительную деятельность: ее побуждает к этому уже не только ханжеское тщеславие, но и ревность к Арсене, желание целиком завладеть своим поклонником, не оставляя в его сердце места даже для простой человеческой жалости к некогда близкой ему женщине.

Лицемерием, с помощью которого госпожа де Пьен обкрадывает свою жертву, еще более оттеняется прямота характера и внутреннее благородство, пронесенные Арсеной сквозь все испытания нищеты и своей далеко не безупречной жизни. Характерно, что, услышав от госпожи де Пьен похвалу за свое благочестие, Арсена, рискуя потерять богатую покровительницу, все же не хочет пользоваться ее заблуждением. Она честно признается, что поставила свечу святому Роху из суеверия: этот святой, говорят, помогает продажным женщинам находить себе любовников. Догадавшись о любви Макса и своей покровительницы, она не в пример ей подавляет в себе ревнивое чувство и, умирая, желает счастья влюбленной паре.

Лаконичная концовка добавляет последнюю, самую ядовитую каплю к иронии, которой наполнена новелла: «Бедная Арсена! Она молится за нас!» — вывела карандашиком госпожа де Пьен на могильной плите Арсены, не упуская возможности даже в кладбищенской обстановке щегольнуть своим христианским состраданием да, кстати, и успокоить слегка встревоженную совесть Макса, внушая ему фарисейскую мысль о том, что его новый любовный союз был угоден самой умирающей. Новелла, таким образом, заканчивается апофеозом ханжества и лицемерия.

Мериме и раньше нередко прибегал к язвительной иро-

нии, но иронию «Арсены Гийо» мало назвать язвительной,— это ирония клеймящая. То, что действие новеллы отнесено ко временам Реставрации, не притупляет ее актуального значения. Хронология устанавливается здесь чисто формально, для отвода глаз. Да и все памфлетное содержание новеллы и пророческий эпиграф потеряли бы смысл, если бы относились к режиму, уже получившему свое историческое возмездие, а не к французскому обществу времен Луи-Филиппа. Будь «Арсена Гийо» не столь актуальна по содержанию, не приняло бы ее на свой счет буржуазное общество сороковых годов, не выражало бы оно того негодования, каким сопровождался ее выход в свет.

Действие следующей новеллы — «Кармен», опубликованной в 1845 году, Мериме переносит в Испанию, но это не нарушает ее внутренней, идейной связи с новеллой «Арсена Гийо».

Арсена кротко подчинилась своим поработителям, покорно позволила себя обездолить,— дух бунтарства, присущий новелле, исходит только от рассказчика, вступающего при помощи всех средств иронии и сатиры за это благородное, но слабое существо. Создавая следующую новеллу, Мериме вкладывает дух бунтарства уже в самое героиню. Кармен в противоположность Арсене — сильная натура, Кармен непокорна, она не даст себя поработить.

Нередко в своих новеллах Мериме ведет повествование от первого лица, кое-где даже обращаясь непосредственно к читателю или слушателю. Этим создается как бы обрамление новеллы, усиливающее иллюзию ее жизненной достоверности. Но нигде обрамление еще не было таким прочным, как в новелле «Кармен». Ее начало, где автор рассказывает о своей поездке по Андалусии с целью уточнить местоположение древнего города Мунды, порождает у читателя впечатление, что ему предстоит познакомиться с очерком, чем-то в духе «Писем из Испании». Появление двух главных персонажей новеллы — Кармен и Хосе — воспринимается сперва в этом очерковом плане.

Иллюзию жизненной достоверности новеллы усиливает и щедро, но ненавязчиво даваемый автором местный колорит. В августе — октябре 1840 года, то есть за пять лет до опубликования «Кармен», Мериме вторично побывал в Испании. Хотя события новеллы отнесены им к 1830 году, то есть ко времени первого своего путешествия в эту страну, но богатство оттенков в передаче испанского быта, свобода, с какой выбирает писатель нужную ему деталь, а главное, совершенная неотделимость местного колорита от всего содержания новеллы свидетельствуют о том, что в ее основу положены не только впечатления пятнадцатилетней давности. К классическим образцам такой передачи местного колорита можно причислить, например, рассказ о ночевке автора вместе с разбойником доном Хосе в андалусской венте. Бытовые подробности включаются в действие. Мандо-

лина вызывает у рассказчика желание послушать песню, а печальная баскская песня дон-Хосе внушает рассказчику смутную догадку о тяжелом раздумье, охватившем певца, внушает и чувство симпатии к дону Хосе. Неудобства жалкой постели заставляют рассказчика досыпать ночь под открытым небом, благодаря чему он видит проводника, тайком выводящего лошадь из ближней конюшни, узнает о его намерении выдать разбойника и из чувства симпатии к дону Хосе предупреждает его об опасности.

Как установлено исследователями, в основу сюжета «Кармен» положены подлинная история одной испанки, рассказанная писателю графиней де Монтихо еще в 1830 году, и впечатления самого писателя от его встречи в том же году с некоей Карменситой в маленьком захолустном кабачке.

Наряду с этим справедливо усматриваются в «Кармен» литературные влияния «Дон Кихота» и «Назидательных новелл» Сервантеса, «Манон Леско» аббата Прево, пушкинских «Цыган».

Но ни прекрасное знание местного колорита, ни обращение к подлинным материалам жизни, ни помощь литературных традиций не объясняют совершенства этой новеллы.

Кармен принадлежит к тем персонажам мировой литературы, которые как бы выходят за пределы художественного произведения, живут в сознании читателя самостоятельной жизнью. Может позабыться сюжет новеллы Мериме, а сама Кармен останется в памяти. Запомнится впечатление чего-то вольного, неукротимого, полного дикой прелести — как ветер, вдруг ворвавшийся в дом.

Своеобразие этой героини Мериме прежде всего в причудливом сочетании хороших и дурных свойств. Кармен способна испытывать чувство благодарности к ефрейтору Хосе, который помог ей избежать тюрьмы и сам за это попал в тюрьму, она посылает запеченный в хлеб английский напильник и золотую монету. Она считает своим долгом вызволить из тюрьмы своего отвратительного мужа Гарсию и добивается этого ценою немалых усилий. Уже охладев к дону Хосе, она две недели не отходит от него после того, как его ранили, самоотверженно выхаживает его. Контрабандисты не раз убеждаются в ее преданности товарищам. Но она же бросает дон-Хосе как ненужную ветошку. Она же, мечтая избавиться от Гарсии Кривого, хочет подстроить так, чтобы Гарсия во время разбойничьего нападения на англичанина угодил под его пулю. Она же, убегая вместе с другими контрабандистами от конной стражи, велит дону Хосе оставить без помощи раненого Ремендадо, их товарища. Она — лгуныя, воровка, преступница. Она врывается в жизнь дон-Хосе как разрушительная, гибельная сила; его, исполнительного солдата, который надеется дослу-

житься до офицерского чина, она сбивает с пути, вовлекает в шайку контрабандистов и разбойников, доводит до петли.

Историю своей роковой любви к Кармен, закончившуюся смертью героини, передает рассказчику новеллы сам дон Хосе, ожидающий в тюрьме своей казни. Таким образом, возникает второе обрамление новеллы, которое уже не только поддерживает впечатление подлинности происходящих в новелле событий, но и придает ей яркую эмоциональную окраску. То, что историю своей любви к Кармен рассказывает Хосе накануне казни, уже с самого начала бросает на его рассказ трагический отсвет, уже заранее дает читателю возможность почувствовать ту губительную силу, которая, по мере того как развивается повествование дона Хосе, все больше и больше выявляется в Кармен.

Придя в «Арсене Гийо» к выводу о жестокости и несправедливости законов буржуазного общества, помогающих его «верхам» всячески поработать себе на пользу народные «низы», Мериме в следующей новелле отвергает и такой путь борьбы с этими законами, который избрала Кармен, — путь своеволия. Не видя вместе с тем другого, революционного пути к социальному обновлению, писатель оказался в тупике. Уже в новеллах 1846 года — «Аббат Обен» и «Переулок госпожи Лукреции» — можно обнаружить признаки, свидетельствующие о начавшемся кризисе его художественного творчества.

До сих пор новеллы Мериме, хотя и очень разнообразные по своему характеру, по изображенным в них человеческим типам и судьбам, по обстановке, в которой разворачивается их действие, представляли собой некое идейно-художественное единство: их тематика вытекала из убеждения писателя в том, что современное ему общество враждебно всему лучшему в человеке.

В «Аббате Обене» и «Переулке госпожи Лукреции» дает себя знать отточенное мастерство реалиста, но оно лишено здесь той большой обобщающей силы, какая свойственна ему в предшествующих новеллах. Антиклерикальная тема «Аббата Обена» дается в мягком юмористическом освещении и разработана без того разоблачительного пафоса, который был присущ «Театру Клары Гасуль». Веселая сюжетная путаница в новелле «Переулок госпожи Лукреции» тоже имеет главным образом развлекательный смысл. Вряд ли сам Мериме придавал новелле большое значение — она при его жизни так и не была опубликована.

Кризис художественного творчества, испытанный писателем незадолго до революции 1848 года, так и не нашел себе разрешения и впоследствии.

В первые дни Февральской революции 1848 года, осуществленной при решающем участии пролетариата, многолетнее, закоренелое неверие Мериме в революционное обновление французского общества было несколько поколеблено.



24 февраля буржуазная монархия Луи-Филиппа окончила свое существование, король отрекся от престола; 25 февраля в результате политической активности пролетариата была провозглашена республика, и вот на следующий же день, 26 февраля, Мериме, испугавшийся было первых раскатов революционного гнева, пишет Женни Дакен (женщине, с которой он позволял себе быть искренним и откровенным), о благородстве победивших революционеров, об их организованности. С уважением отзывается он в эти дни о бескорыстии восставшего народа, о том, что люди, взявшие штурмом королевский дворец Тюильри, ничего себе не присвоили, что рабочие в лохмотьях, без гроша в кармане не соблазнялись предметами огромной ценности и сдавали их куда надлежит. «Если так будет и впредь,— признается он Женни Дакен,— то я решительно стану республиканцем». Однако июльские дни его пугают: в восстании парижского пролетариата, вызванном предательскими действиями буржуазно-республиканской части Учредительного собрания, Мериме увидел только проявление разрушительной силы. Но и буржуазная контрреволюция не пробуждала, да и не могла пробудить никакого энтузиазма у автора «Арсены Гийо». Государственный переворот 2 декабря 1851 года, поставивший у власти Луи-Наполеона Бонапарта, содействовал углублению социального пессимизма писателя. С горькой и злой иронией отзывался Мериме о Луи-Наполеоне и его правительстве. Внешнюю и внутреннюю политику Второй империи он расценивал в своей переписке как глупую и бездарную. Результаты двух революций, происшедших во Франции при жизни Мериме, обернулись для него лишь одною стороною. Он видел только, что революция 1830 года привела Францию к мещанскому фарсу Луи-Филиппа, а революция 1848 года — к бонапартистской буффонаде Луи-Наполеона. Но он не видел, что эти революции были для французского пролетариата драгоценным опытом политической борьбы, что в революционных боях крепнул и спланивался пролетариат, призванный историей построить новые общественные отношения взамен тех, гнусность которых ясно сознавал и Мериме.

В 50-е годы Мериме жил, в сущности, очень одиноко. После смерти отца он более пятнадцати лет прожил вдвоем с матерью. В 1852 году Анна Мериме умерла. У Мериме не было ни сестер, ни братьев. Он не был женат. Поредел круг его друзей. Еще в 1842 году Мериме схоронил Стендаля, с которым целое двадцатилетие был связан тесной дружбой и общностью эстетических убеждений. В 1851 году с Мериме резко порывает Виктор Гюго, не без оснований обвиняя его в измене прежним передовым идеям. Роман с Валентиной Делесер, женой крупного чиновника, продолжавшийся около двадцати лет, приносит ему все больше огорчений и страданий, а в 1852 году Валентина Делесер окончательно расходится со своим возлюбленным, нанеся ему глубокую сердечную рану. Мериме чувствовал насту-

пающую старость. Его энергия, прежде такая кипучая, стала быстро иссякать. Художественное его творчество оскудело. После «Аббата Обена» и «Переулка госпожи Лукреции», почти за два с половиной десятилетия, он написал только три новеллы — «Голубую комнату», «Джуман» и «Локис».

Все три последние новеллы Мериме подтверждают, что идейно-художественный кризис писателя, ощутимый уже в «Аббате Обене» и «Переулке госпожи Лукреции», углубился.

«Голубая комната», написанная в 1866 году и опубликованная лишь посмертно, напоминает своей темой рассказы Эдгара По и Э. Т. А. Гофмана, но не достигает того мастерства в изображении всяческих загадочных событий, каким владели По и Гофман. Довольно меткие, но мелкие психологические наблюдения, занятно построенная фабула, комизм ситуаций, изящная непринужденность повествования не могут все же придать художественную значительность этой литературной безделушке.

В новелле «Джуман», написанной, по-видимому, в 1868 году и опубликованной тоже посмертно, повествуется о таинственном приключении французского офицера в Алжире; здесь и горные пещеры с запутанными переходами, и заклинатель змей, и человеческое жертвоприношение, и кальян, и курильница, и золоченый поднос на низеньком столике, и полулежащая на диване красавица в шальварах, и прочие аксессуары арабской «экзотики». Можно было бы подивиться тому, как решительно сдал автор в этой новелле свои прежние позиции в области местного колорита, впадая здесь в ту самодовлеющую декоративность, которой тщательно избегал раньше, но к концу новеллы вдруг выясняется, что таинственное приключение приснилось офицеру, что Мериме морочил читателя, мистифицировал его. Однако это мистификация ради мистификации, она лишена того боевого значения, какое имели мистификации в «Театре Клары Гасуль» или в «Гузле».

«Локис» — последняя новелла, написанная Мериме. Она была опубликована в 1869 году, то есть за год до его смерти.

Своеобразие литовского колорита придает «Локису» немалую свежесть. Как всегда у Мериме, созданию новеллы предшествовало собирание разнообразных сведений: прежде чем написать «Локиса», Мериме по литературным источникам, среди которых был и «Пан Тадеуш» Мицкевича, познакомился с литовским языком, с бытом и фольклором литовцев.

Снижение реалистического искусства определяется в «Локисе» особенностями замысла. Как ни толковать новеллу — в фантастическом или в реальном плане, изображаемые в ней события воспринимаются лишь как некий казус, свидетельствующий о том, что в человеке иногда может пробудиться дремлющее в нем звериное начало. Этому казусу

не придано ни социального, ни психологического освещения,— вот почему вся новелла приобретает натуралистический характер.

«Голубая комната», «Джуман» и «Локис», новеллистическая продукция Мериме без малого за двадцать пять последних лет его жизни, несомненно, отражает упадок его искусства.

Между тем официальная карьера Мериме развивалась во время Второй империи довольно успешно. В пятидесятые—шестидесятые годы Мериме был принят как свой человек при императорском дворе,— этому способствовало то обстоятельство, что дочь его старого друга — графини Монтихо — стала женой французского императора. Императрица Евгения, еще с детских лет знавшая Мериме, всячески привлекала его к жизни двора, тем более что его разносторонние познания, его остроумие, его такт и светская общительность делали его там желанным гостем. Наполеон III постоянно обращался к нему за консультацией по своей работе о Юлии Цезаре. Императрица Евгения прочила его на пост министра просвещения, но он от этого поста отказался. В 1853 году Мериме был назначен сенатором. Он принял назначение, но был огорчен тем, что ему пришлось оставить полюбившуюся ему должность инспектора исторических памятников и национальных древностей,— впрочем, Мериме и в сенате не раз выступал с речами в защиту интересов французского искусства. Ни сенаторское звание, ни председательство во многих правительственных комиссиях не сделали из Мериме сановника. И. С. Тургенев, близко его знавший в пятидесятые и шестидесятые годы, отмечает необычайную скромность Мериме и в отношении к своим литературным заслугам и в отношении к своей официальной карьере: «Я не знал [...] большего врага частицы я. Я не знал также человека менее тщеславного: Мериме был единственный француз, не носивший в петличке розетки Почетного легиона (он был командором этого ордена)». Не утехами честолюбия стремился Мериме возместить свои утраты.

Последние двадцать лет своей жизни он с увлечением занимается русской литературой и историей русского народа. В 1862 году он был избран почетным членом московского Общества любителей российской словесности. И подлинно он был любителем российской словесности, ее восторженным читателем, ее усердным и пытливым исследователем, ее убежденным пропагандистом. В русской литературе Мериме нашел золотую жилу, которая обогатила и его духовную жизнь и культуру его страны. Разработке этой золотой жилы Мериме и посвятил себя почти безраздельно на последней стадии своего литературного пути.

Первоначальный интерес Мериме к России возник, должно быть, еще в самые молодые годы, когда его отец Леонор Мериме занимался древнеславянской живописью. У писателя постепенно вырос довольно обширный круг русских зна-

комых. Он встречался с братьями А. И. и Н. И. Тургеневыми, с женой дипломата Лагрене — В. И. Дубенской, с Е. А. Баратынским, П. А. Вяземским, А. И. Герценом, с Л. С. Пушкиным, братом поэта, с секретарем русского посольства К. Лабенским и др. Многолетняя дружба связывала его с С. А. Соболевским и И. С. Тургеневым. Содействовал развитию его интереса к России и двоюродный его брат Анри Мериме, который побывал в России в 1839—1840 годах и выпустил в 1847 году книгу об этом путешествии — «Год в России». Долго и настойчиво изучал Мериме русский язык и достиг в этом немалых успехов. Правда, образцы его попыток писать по-русски, сохранившиеся в письмах к В. И. Дубенской или к С. А. Соболевскому, содержат много курьезных ошибок, но читал по-русски он довольно свободно, так что мог, пользуясь еще неизвестными на Западе подлинными материалами, заняться вплотную русской историей и художественной литературой. Работы Мериме в этой области не только приносили удовлетворение самому писателю, но и отвечали тому интересу к России, который начиная с двадцатых годов все углублялся во Франции в связи с возросшим политическим значением России и с бурным развитием ее передовой литературы. В укреплении культурных связей между двумя странами большая заслуга, несомненно, принадлежит Мериме. Недаром в статье, написанной по поводу смерти французского писателя, И. С. Тургенев, воздав должное его редкостному повествовательному таланту, добавляет к этому: «...мы, русские, обязаны почтить в нем человека, который питал искреннюю и сердечную привязанность к нашему народу, к нашему языку, ко всему нашему быту,— человека, который положительно благоговел перед Пушкиным и глубоко и верно понимал и ценил красоты его поэзии, Лично я теряю в нем друга...»

В отличие от работ Мериме по русской истории его статьи о русской литературе, пускай и несвободные от ошибочных оценок, предвзятых суждений, а то и попросту фактических ошибок, представляют и сейчас большой интерес. Работы Мериме о Тургеневе и о Пушкине содержат немало верных и порою глубоких суждений не только о русской литературе, но и о самой природе литературного искусства. К Пушкину Мериме испытывал совершенно исключительную любовь. Вряд ли кто во Франции так ясно сознавал тогда величие Пушкина, как Мериме.

Мериме увлеченно и усердно переводил произведения русских писателей. Начиная с 1849 года и до марта 1870 года, то есть почти до самой своей смерти, Мериме публикует перевод за переводом. Он перевел из Пушкина «Пиковую даму», «Выстрел», «Цыганы», стихотворения «Гусар», «Анчар», «Пророк», «Опричник»; из Лермонтова (совместно с Тургеневым) — «Мцыри»; из Гоголя — «Ревизора» и отрывки из «Мертвых душ»; из Тургенева — рассказы «Призраки», «Жид», «Петушков», «Собака» и «Странная история».

Мериме открыл для себя в русской литературе новый, чистый и прекрасный мир, где он нашел последнее прибежище для своей пытливой мысли и требовательного эстетического вкуса. В беседе с Тургеневым он однажды сказал: «Ваша поэзия ищет прежде всего правды, а красота потом является сама собой». В этих словах выразилось верное понимание русской литературы.

Мериме, уже смертельно больной, пережил разгром Франции прусскими войсками и позорный провал Второй империи, который он предсказывал в своих письмах, с презрением говоря о бездарности ее правительства. Он умер в Ницце 23 сентября 1870 года. За несколько часов до смерти, задыхаясь от астмы, он написал записку Тургеневу по поводу его очерка «Казнь Тропмана», написал дрожащей рукою, — Тургенев говорил, что с трудом мог разобрать эти строки, «до того изменился его красивый и четкий почерк». Любви к русской литературе Мериме был верен до последнего дыхания.

*Валентина ДЫННИК*





**Гузла,  
или  
сборник  
илирийских песен,  
записанных  
в Далмации, Боснии,  
Хорватии  
и Герцеговине**



## ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

В 1827 году я был романтиком. Мы говорили классикам: «Ваши греки вовсе не греки, ваши римляне вовсе не римляне. Вы не умеете придавать вашим образам местный колорит. Все спасение — в местном колорите». Под местным же колоритом подразумевали мы то, что в XVII веке именовалось *н р а в а м и*; но мы очень гордились этим выражением и полагали, что сами выдумали и это слово и то, что им выражалось. Что касается стихов, то мы восхищались только произведениями иноземными и, возможно, более древними: баллады шотландского рубежа, романсы о Сиде представлялись нам несравненными шедеврами, и все из-за того же *местного колорита*.

Я умирал от желания поехать туда, где он еще сохранился, ибо сохранился он далеко не везде. Увы! Для путешествий мне не хватало только одного — денег; но поскольку мечтать о путешествиях ничего не стоит, я и предавался этому со своими друзьями.

Нас интересовали не те страны, которые посещали туристы; Ж. Ж. Ампер и я желали уклониться от дорог,

наводненных англичанами; поэтому, быстро миновав Флоренцию, Рим и Неаполь, мы должны были отплыть из Венеции в Триест и оттуда медленно двигаться вдоль побережья Адриатики до Рагузы. Это был действительно самый оригинальный, самый прекрасный, самый необычайный план. Оставался только денежный вопрос!.. Размышляя о способах, которыми его можно было разрешить, мы напали на мысль заранее описать наше путешествие, продать свой труд повыгоднее и с помощью вырученных денег убедиться, насколько верны были наши описания. Тогда эта идея была нова, но, к сожалению, мы от нее отказались.

Когда мы разрабатывали этот проект, занимавший нас некоторое время, Ампер, знающий все европейские языки, поручил, уж не знаю почему, мне, полнейшему невежде, собрать подлинные произведения поэтического творчества иллирийцев. Готовясь к этому, я прочел *Путешествие по Далмации* аббата Фортиса, а также довольно хорошую работу по статистике старых иллирийских провинций, составленную, кажется, одним из видных чиновников министерства иностранных дел. Я выучил пять-шесть славянских слов и в течение каких-нибудь двух недель написал все свои баллады.

Сборник был тайком отпечатан в Страсбурге и снабжен примечаниями и портретом автора. Тайна тщательно сохранялась, успех был огромный.

Правда, было продано всего двенадцать экземпляров, и у меня до сих пор сердце обливается кровью, когда я думаю о несчастном издателе, за чей счет проделана была вся эта мистификация, но если французы читать меня не пожелали, зато иностранцы и некоторые компетентные лица отдали мне должное.

Через два месяца после выхода в свет *Гузлы* господин Бауринг, автор славянской антологии, написал мне и попросил дать ему возможность ознакомиться с оригиналами песен, так прекрасно мною переведенных.

Затем господин Гергардт, советник и доктор в одном из германских государств, прислал мне два толстых тома славянских песен, переведенных на немецкий язык; он включил в них и перевод *Гузлы*, переложенный им также в стихи, что сделать ему, как он писал в предисло-

вии, было вовсе не трудно, так как в моей прозе он уловил метрику иллирийского стиха. Как известно, немцы часто делают удивительные открытия; этот же просил меня прислать ему еще новых баллад, чтобы составить из них третий том.

Наконец, господин Пушкин перевел на русский язык некоторые из моих вещиц, и это можно сравнить с *Жиль Бласом*, переведенным на испанский язык, или с *Письмами португальской монахини* в португальском переводе.

Такой блестящий успех не вскружил мне голову. Опираясь на отзывы господ Бауринга, Гергардта и Пушкина, я мог хвастать тем, что удачно справился с местным колоритом; но это было так просто и легко, что я стал сомневаться в достоинствах этого местного колорита и охотно простил Расину, что он цивилизовал диких героев Софокла и Эврипида.

1840.

## ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Когда я занимался составлением предлагаемого читателю сборника, мне казалось, что я, пожалуй, единственный француз (да так оно и было тогда на деле), которому могут нравиться эти безыскусственные песни, творения полудикого народа, и потому я был далек от мысли опубликовать их.

С тех пор, однако, наблюдая растущий с каждым днем интерес к иноземным произведениям, и в особенности к таким, которые по самой форме своей далеки от шедевров, какими мы привыкли восхищаться, я вспомнил о своем сборнике иллирийских песен. Я перевел некоторые из них для своих друзей и по их совету решился выбрать кое-что из своей коллекции и представить эти образцы на суд публики.

Быть может, мне более чем кому-либо другому подобало сделать этот перевод. В ранней юности я жил в иллирийских провинциях. Мать моя была морлачка \* из Спалатто, и в течение нескольких лет мне приходилось чаще

---

\* Морлаки обитают в Далмации и говорят по-славянски и по-иллирийски. (Прим. автора.)



говорить по-иллирийски, чем по-итальянски. Будучи с малых лет большим любителем путешествий, я тратил все время, оставшееся у меня после выполнения не особенно сложных обязанностей, на основательное изучение страны, в которой я жил; поэтому мало найдется между Триестом и Рагузой сел, гор или долин, которых бы я не посетил. Я даже совершал довольно длинные экскурсии в Боснию и Герцеговину, где иллирийский язык сохранился во всей своей чистоте, и там я нашел несколько любопытнейших образчиков древнего песенного творчества.

Теперь мне следует сказать, почему я выбрал для перевода именно французский язык. Я итальянец, но вследствие некоторых событий, происшедших у меня на родине, я живу теперь во Франции, которую всегда любил и гражданином которой я стал с некоторых пор. Мои друзья — французы; я привык считать Францию своим отечеством. Я не претендую — это было бы смешно для иностранца — на то, чтобы писать по-французски с изяществом истинного литератора; однако же полученное мною воспитание и продолжительное пребывание в этой стране позволяют мне, кажется, писать без особого труда; особенно же это относится к переводу, главное достоинство которого, на мой взгляд, заключается в точности.

Полагаю, что иллирийские провинции, долгое время находившиеся под управлением французов, всем достаточно хорошо известны и что нет никакой необходимости предпосылать этому сборнику сведения о географии, политике и т. д.

Скажу лишь несколько слов о славянских бардах, или *гуэзарах*, как их там называют.

В большинстве своем это старики, очень бедные, одетые зачастую в лохмотья; они бродят по городам и селам, распевая свои песни под аккомпанемент инструмента вроде гитары, называемого *гуэла* и имеющего только одну струну из конского волоса. Люди, ничем не занятые — а морлаки не очень-то любят работать. — обступают их толпой; и когда песня кончается, певец ожидает награды от щедрот своих слушателей. Иногда он прибегает к хитрой уловке и прерывает исполнение на самом интересном месте, чтобы воззвать к их щедрости; бы-

вает даже, что он сам назначает сумму, за которую согласен рассказать конец своей повести.

Впрочем, баллады распеваются не только гузларами; почти все морлаки, старики и молодежь, тоже занимаются этим делом. Некоторые — правда, таких немного — сочиняют стихи, часто импровизируя их (см. заметку о Маглановиче).

Они поют слегка в нос. Напевы баллад очень однообразны, и аккомпанемент гузлы мало их оживляет; только привыкнув к этой музыке, можно ее выносить. В конце каждой строфы певец выпускает громкий крик, или, вернее, какой-то вопль, похожий на вой раненого волка. В горах эти крики слышны издалека, и нужно свыкнуться с ними, чтобы признать их исходящими из уст человека.

1827.

#### ЗАМЕТКА ОБ ИАКИНФЕ МАГЛАНОВИЧЕ

Иакинф Магланович едва ли не единственный из встречавшихся мне гузларов, который сам является поэтом. Большинство из них только перепевает старые песни или, самое большее, мастерит новые из кусков старых: берут два десятка стихов из одной баллады, два десятка из другой и соединяют их плохоньким стишком собственного изготовления.

Наш поэт родился в Звониграде, как он сообщает в своей балладе *Боярышник рода Вёлико*. Его отец был сапожником, и родители не особенно заботились о его образовании, так как он не умеет ни читать, ни писать. Восьми лет он был украден цыганами, которые увели его в Боснию. Там они обучили его всем своим штукам и без труда обратили в ислам, который они по большей части исповедуют<sup>1</sup>. Аян, иначе сказать, мэр Ливно, освободил мальчика из рук цыган и взял к себе в услужение; Иакинф прожил у него несколько лет; мальчику было лет пятнадцать, когда один католический монах обратил его в христианство, рискуя быть посаженным на кол в случае, если бы это открылось, ибо турки не очень-то поощряют деятельность миссионеров. Юный Иакинф без колебаний решил покинуть своего хозяина, довольно су-

рового, как большинство босняков. Но, убегая из дому, он решился отомстить за дурное с ним обращение. Воспользовавшись бурной ночью, он ушел из Ливно, унеся с собой шубу и саблю своего хозяина, а также несколько цехинов, которые ему удалось украсть. Иакинфа сопровождал монах, вернувший его в лоно христианства и, быть может, сам уговоривший его бежать.

От Ливно до Синя в Далмации каких-нибудь двенадцать миль. Вскоре беглецы оказались под покровительством венецианских властей, преследования аяна были им здесь уже не опасны. В этом городе Магланович сложил свою первую песню: он воспел свой побег в балладе, которая нашла ценителей и положила начало его известности<sup>2</sup>.

У него, однако, не было никаких средств к существованию; кроме того, он по природе своей не имел склонности к труду. Морлаки — народ гостеприимный, и некоторое время он жил подаванием сельских жителей, отплачивая им исполнением под аккомпанемент гузлы каких-нибудь заученных наизусть старых песен. Вскоре он сам начал сочинять песни для свадеб и похорон и сумел стать столь необходимым, что праздник был не в праздник, если на нем не присутствовал Магланович.

Так он жил в окрестностях Синя, мало беспокоясь о своих родных, о которых ему и доныне ничего не известно, ибо он не был в Звониграде с того времени, как его похитили.

Когда он достиг двадцати пяти лет, это был красивый молодой человек, сильный и ловкий, отличный охотник, вдобавок ко всему прославленный поэт и музыкант; все к нему благоволили, в особенности же девушки. Ту, которую он предпочел другим, звали Еленой; ее отец был богатый морлак по имени Зларинович. Иакинф легко добился ее благосклонности и, согласно обычаю, похитил девушку. У него оказался соперник по имени Ульян, нечто вроде местного владельца, которому заранее стало известно о задуманном похищении. Иллирийские нравы таковы, что отвергнутый поклонник быстро утешается и не питает враждебных чувств к счастливому сопернику. Но Ульян упорствовал в своей ревности и задумал помешать счастью Маглановича. В ночь похищения он явился в сопровождении двух своих слуг в тот самый

момент, когда Елена уже села на коня, чтобы следовать за своим возлюбленным. Ульян грозным голосом закричал, чтобы они остановились. Оба соперника были вооружены. Магланович выстрелил первым и убил Ульяна. Имей он родственников, они стали бы на его сторону, и ему не пришлось бы покидать страну из-за таких пустяков. Но родичей у него не было, и он оказался один против жаждущей мести семьи убитого. Поэтому он быстро принял решение и бежал с женою в горы, где присоединился к гайдукам<sup>3</sup>.

Долго жил он с ними; однажды в стычке с пандурами<sup>4</sup> он даже был ранен в лицо. Под конец, собрав некоторую сумму денег, насколько мне известно, не слишком честным путем, он спустился с гор, накупил скота и обосновался в Котаре с женою и детьми. Дом его стоит у Смоковича, на берегу речки или горного потока, впадающего в озеро Врана. Жена и дети Маглановича заняты своими коровами и небольшой фермой. Сам же он постоянно отсутствует. Часто навещает он своих бывших приятелей гайдуков, не принимая, однако же, участия в их опасных предприятиях.

В первый раз я встретился с ним в Заре в 1816 году. Я был тогда великим любителем иллирийского языка, и мне очень хотелось послушать какого-нибудь известного певца. Мой друг, уважаемый воевода Никола \*\*\*, встретил в Биограде, где он всегда живет, Иакинфа Маглановича, с которым был знаком еще раньше. Зная, что тот отправляется в Зару, он дал ему для меня письмо. В этом письме говорилось, что, если я хочу добиться чего-нибудь от Маглановича, мне следует его напоить, ибо он ощущает прилив вдохновения только тогда, когда хорошо выпьет.

Иакинфу было тогда около шестидесяти лет. Это высокий человек, очень крепкий и сильный для своего возраста, широкоплечий и с бычьей шеей. Лицо его, покрытое темными загаром, маленькие, немного раскосые глаза, орлиный нос, довольно красный от постоянного употребления крепких напитков, длинные белоснежные усы и густые черные брови — все это создает облик, который, раз увидев, трудно забыть. Прибавьте к этому длинный шрам, пересекающий бровь и тянущийся вдоль щеки. Голову он брил по обычаю всех почти морлаков и носил

черную барашковую шапку. Одежда его была довольно ветхая, но очень опрятная.

Войдя в комнату, он подал мне письмо воеводы и без стеснения уселся. Когда я кончил читать, он спросил меня с несколько презрительным сомнением: «Так вы говорите по-иллирийски?» Я тотчас же ответил ему на этом языке, что достаточно хорошо понимаю по-иллирийски, чтобы оценить его песни, которые мне очень хвалили. «Хорошо, хорошо,— сказал он,— но я голоден и хочу пить; я буду петь, когда поем». Мы вместе пообедали. Ел он с такой жадностью, что мне казалось, будто он голодал по крайней мере четверо суток. По совету воеводы я позаботился о том, чтобы он хорошенько выпил, и мои друзья, которые, узнав о его появлении, собрались у меня, ежеминутно наполняли его стакан. Мы надеялись, что, когда эти необычайные голод и жажда будут утолены, наш гость соблаговолит что-нибудь спеть. Однако наши расчеты не оправдались. Внезапно он встал из-за стола и, свалившись на ковер у пылавшего камина (дело было в декабре), заснул меньше чем через пять минут, да так крепко, что невозможно было его разбудить.

В другой раз я был удачливее: я постарался напоить его в меру, чтобы он только воодушевился, и тогда он спел нам некоторые из баллад, которые помещены в этом сборнике.

В свое время у Маглановича, вероятно, был прекрасный голос, но, когда мы слушали его пение, он уже немного срывался. Когда он пел под аккомпанемент гузлы, глаза его разгорались и лицо принимало выражение дикой красоты, которое с удовольствием запечатлел бы на полотне художник.

Он довольно странно расстался со мною. Прожив у меня дней пять, он однажды утром вышел, и я тщетно прождал его до вечера. После я узнал, что он покинул Зару и отправился к себе домой. Но тогда же я заметил, что у меня пропала пара английских пистолетов, висевших в моей комнате. Должен прибавить, к его чести, что он мог унести также мой кошелек и золотые часы, которые стоили раз в десять дороже пистолетов.

В 1817 году я провел два дня у него в доме, где он принял меня со всеми признаками живейшей радости.



Его жена, дети и внуки обнимали меня как родного. Когда же я расстался с ними, его старший сын в течение нескольких дней был моим проводником в горах, и я так и не смог заставить его принять какое-либо вознаграждение.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Все эти подробности в 1817 году рассказал мне сам Магланович.

<sup>2</sup> Я тщетно старался разыскать эту балладу. Сам Магланович забыл ее, а может быть, постеснялся исполнить передо мною свой первый поэтический опыт.

<sup>3</sup> Нечто вроде бандитов.

<sup>4</sup> Солдаты, исполняющие полицейские обязанности. См. дальнейшие примечания.

### БОЯРЫШНИК РОДА ВЕЛИКО<sup>1</sup>

#### I

Боярышник рода Вèлико, песня Иакинфа Маглановича, рожденного в Звониграде, искуснейшего гузлара. Слушайте все!

#### II

Бей Иво Велико, сын Алексы, покинул свой дом и родную землю. Набежали враги с востока, сожгли его дом и завладели всей страной.

#### III

У бея Иво Велико, сына Алексы, было двенадцать сыновей; пять из них пали у Обравского брода, пять других — на равнине Ребровья.

#### IV

Был у Иво Велико, сына Алексы, еще один сын, самый любимый. Враги увели его в Кремен, заточили его в темницу и замуровали дверь.

## V

Но бей Иво Велико, сын Алексы, не пал у Обравского брода, не пал на равнине Ребровья: слишком стар уже стал он для войны, и глаза его были слепы.

## VI

И двенадцатый сын его тоже не пал у Обравского брода и не пал на равнине Ребровья: слишком молод он был для войны, молоко еще на губах не обсохло.

## VII

Бей Иво Велико, сын Алексы, ушел со своим сыном за желтую реку Мресвицу. Он сказал Джордже Естиваничу: «Расстели надо мной свой плащ, чтобы укрылся я под его сенью»<sup>2</sup>.

## VIII

Расстелил свой плащ Джордже Естиванич. Вкусил он хлеба и соли вместе с беем Иво Велико<sup>3</sup>. И Иво он называл сына, которого родила ему жена<sup>4</sup>.

## IX

Но Никола Яньево, и Иосиф Спалатин, и Тодор Аслар сошлись вместе на пасху в Крени. И там была у них общая трапеза.

## X

Сказал Никола Яньево: «Род Велико истреблен». Сказал Иосиф Спалатин: «Жив еще враг наш Иво Велико, сын Алексы».

## XI

Сказал Федор Аслар: «Над ним Джордже Естиванич простирает свой плащ. Мирно живет он за Мресвицей с Алексой, своим последним сыном».

## XII

И сказали они все вместе: «Смерть Иво Велико и сыну его Алексе!» Взялись они за руки и пили сливовую водку<sup>5</sup> из одной чарки.

### XIII

На другой день после Троицы спустился Никола Яньево на равнину Ребровья. За ним шли двадцать человек с саблями и мушкетами.

### XIV

В тот же день Иосиф Спалатин спустился с сорока гайдуками<sup>6</sup>. Подошел к ним и Тодор Аслар, а с ним сорок всадников в черных барашковых шапках.

### XV

Миновали они пруд Маявода,— вода в нем черна и не водится рыб. Лошадей своих там поить они побоялись, напоили их из Мресвицы.

### XVI

«Что вам нужно, восточные беи? Что вам нужно в этих краях, у Джордже Естиванича? Или вы направляетесь в Сенью изъяснить почтение новому подестà?»

### XVII

«Мы не в Сенью направляемся, сын Естивана,— отвечал Никола Яньево,— ищем мы Иво Велико и его сына. Двадцать коней турецких, если ты нам его выдашь».

### XVIII

«Не выдам я Иво Велико за всех турецких коней, которыми ты владеешь. Он мой гость и друг. Именем его я назвал своего единственного сына».

### XIX

Сказал тогда Иосиф Спалатин: «Лучше выдай нам Иво Велико, а не то прольется кровь. На боевых конях мы приехали с Востока, и наши мушкеты заряжены».

### XX

«Не выдам я тебе Иво Велико. Если же ты хочешь, чтобы пролилась кровь, знай, что на той горе у меня есть сто двадцать всадников: стоит мне свистнуть в серебряный свисток — и они сразу же сюда спустятся».

## XXI

Тогда Тодор Аслар, не говоря ни слова, саблей раскроил ему череп. Подошли они к самому дому Джордже Естиванича, а жена его все это видела.

## XXII

«Спасайся, сын Алексы! Спасайся и ты, сын Иво! Убили моего мужа восточные беи. Убьют они и вас!»

Так сказала Тереза Желина.

## XXIII

Но старый бей ответил: «Я слишком стар, чтобы бегать». И он добавил: «Спасай Алексу, он последний из нашего рода».

Отвечала ему Тереза Желина: «Да, я его спасу».

## XXIV

Увидели Иво Велико восточные беи. «Смерть ему!» — закричали они. Пули из их мушкетов вылетели разом, и острые сабли срезали седые кудри Иво.

## XXV

«Скажи нам, Тереза Желина, это ли сын Иво?»<sup>7</sup>. Но она ответила беям: «Не проливайте невинной крови». Тогда они воскликнули: «Это сын Иво Велико!»

## XXVI

Иосиф Спалатин хотел увести мальчика с собою, но Тодор Аслар вонзил в сердце мальчика свой ятаган<sup>8</sup>. И он убил сына Джордже Естиванича, приняв его за Алексу Велико.

## XXVII

Прошло десять лет, и Алекса Велико стал сильным и ловким охотником. Сказал он Терезе Желине: «Мать! Почему висят на стенах эти окровавленные одежды?»<sup>9</sup>.

## XXVIII

«Это — одежда отца твоего Иво Велико, который еще не отомщен; а это — одежда Джордже Естиванича, за которого нет мстителя, ибо не осталось после него сына».

## XXIX

Помрачнел смелый охотник. Он не пьет больше сливовой водки, закупает он в Сенье порох. Собирает гайдуков и своих всадников.

## XXX

На другой день после троицы переправился он через Мресвицу и увидел черное озеро, где не водится рыба, и застал он трех восточных беев в то время, как они пировали.

## XXXI

«Господари! Господари! Посмотрите, к нам скачут вооруженные всадники и гайдуки. Лоснятся их кони. Они уже переправились вброд через Мресвицу. Это Алекса Велико!»

## XXXII

«Лжешь ты, старый гузлар! Алекса Велико мертв, я сам заколол его кинжалом».

Тут вошел Алекса и крикнул: «Я Алекса, сын Иво!»

## XXXIII

Одна пуля уложила Николу Яньево, другая — Иосифа Спалатина. А у Тодора Аслара Алекса отрезал правую руку и потом только отрубил ему голову.

## XXXIV

«Снимайте, снимайте со стены окровавленные одежды. Умерли восточные беи. Иво и Джордже отомщены. Снова расцвел боярышник рода Велико, не увянет больше его стебель!<sup>10</sup>

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Это заглавие находит объяснение в последней строфе песни. По-видимому, боярышник был отличительным или геральдическим знаком рода Велико.

<sup>2</sup> То есть возьми меня под свою защиту.

<sup>3</sup> Известно, что на Востоке два человека, вкушившие вместе хлеба и соли, тем самым уже становятся друзьями,



<sup>4</sup> Дать высшее доказательство уважения к кому-либо — это пригласить его в крестные отцы своего ребенка.

<sup>5</sup> Слизовица.

<sup>6</sup> Гайдуками называются морлаки, живущие без крова и промысляющие разбоем. Слово «гайдук» значит «начальник отряда».

<sup>7</sup> Чтобы стало понятнее, здесь следовало бы добавить: «...сказали они, указывая на сына Джордже Естиванича».

<sup>8</sup> Длинный турецкий кинжал, слегка искривленный острием внутрь.

<sup>9</sup> Иллирийский обычай.

<sup>10</sup> У морлаков месть считается священным долгом. Их любимая поговорка: «Кто за себя не мстит, тот не может очистить свою душу» — «Ко не се освети, он се не посвети». По-иллирийски тут игра слов: «освета» значит и «месть» и «очищение души».

## СМЕРТЬ ФОМЫ II, КОРОЛЯ БОСНИИ<sup>1</sup>

### Отрывок

. . . . .

Тогда басурманы срубили им головы, вздели голову Стефана на копье, и татарин понес ее к стенам, крича: «Фома, Фома! Видишь голову сына? Что мы сделали с твоим сыном, то же сделаем и с тобой!»

И король разорвал свои одежды, лег на кучу золы и три дня не вкушал пищи...

Ядра так изрешетили стены крепости Ключа, что стали стены похожи на медовые соты. И никто не смел поднять голову, чтобы поглядеть вверх, столько стрел и ядер летало, убивая и раня христиан. А греки<sup>2</sup> и те, что зовут себя «угодными богу»<sup>3</sup>, изменив нам, перешли на сторону Махмуда и стали подкапываться под стены. Но неверные псы еще не решались идти на приступ, — боялись они наших остро отточенных сабель. Ночью, когда король без сна лежал в постели, некий призрак проник сквозь половицы его горницы и сказал ему:

— Стефан! Узнаешь ты меня?

И король, трепеща, ответил ему:

— Да, ты отец мой Фома.

Тогда призрак простер руку и потряс окровавленными одеждами своими над головой короля. И молвил король:

— Когда же ты перестанешь мучить меня?

И призрак ответил:

— Когда ты сдашься Махмуду...

И король направился в шатер этого демона <sup>4</sup>. Тот посмотрел на него своим дурным глазом и сказал:

— Прими обрезание, или ты погибнешь.

Но король гордо ответил:

— Жил я по милости божьей христианином и умру в вере христовой.

Тогда злой басурман созвал палачей, и они схватили Фому и содрали с него кожу; и из кожи этой сделали седло. А лучники избрали тело короля мишенью для стрел, и злой смертью погиб он из-за проклятья своего отца.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Фома I, король Боснии, был в 1460 году тайно умерщвлен своими сыновьями Стефаном и Радивоем. Первый из них стал царствовать под именем Стефана-Фомы II, он и является героем этой баллады. Радивой, обозленный тем, что его отстранили от престола, раскрыл преступление Стефана и свое, а затем бежал под защиту султана Мухаммеда.

Мадрушский епископ, папский легат в Боснии, убедил Фому II, что лучший способ искупить отцеубийство — это начать войну с турками. Война сказалась для христиан роковой. Мухаммед разорил королевство и осадил крепость Ключ в Хорватии, куда укрылся Фома. Находя, что военные действия недостаточно быстро приводят к цели, султан предложил Фоме заключить с ним мир при условии, что он будет продолжать выплачивать прежнюю дань. Фома II, доведенный до крайности, согласился на эти условия и отправился в лагерь неверных. Его тотчас же схватили, и, так как он отказался подвергнуться обрзанию, варвар-победитель велел содрать с него живого кожу, а затем прикончить выстрелами из лука.

Песнь эта весьма древняя; я мог достать только этот ее отрывок. Вначале, по-видимому, рассказывалось о битве, которая предшествовала взятию Ключа и была проиграна Стефаном, сыном Фомы II.

<sup>2</sup> Православные и католики в Боснии и Далмации ненавидят друг друга. Они обзывают друг друга *паса вьера*, что значит «песья вера».

<sup>3</sup> По-иллирийски — *богомилы*. Так называли себя патарены. Их еретическое учение считало человека созданием дьявола, отвергало почти все библейские книги и не признавало священства.

<sup>4</sup> Мухаммед II. Греки до сих пор считают его воплощением дьявола.

# ВИДЕНИЕ ФОМЫ II, КОРОЛЯ БОСНИИ<sup>1</sup>

## *Песня Иакинфа Маглановича*

### I

Король Стефан-Фома ходит по своей горнице, ходит из угла в угол большими шагами. А воины его спят, лежа на своем оружии. Но король не может заснуть: басурманы осадили город, и султан Махмуд хочет отрубить ему голову и послать ее в большую мечеть Стамбула.

### II

Часто он подходит к окну. Высунувшись наружу, слушает, нет ли где шума. Но тихо кругом; только сова плачет над крышей дворца: знает она, что скоро в другом месте придется ей устраивать гнездо для своих птенцов.

### III

Вот доносится странный шум — но то не совиный крик. Отворяются окна церкви Ключа — но осветила их не луна. То барабаны и трубы в церкви Ключа, то от света факелов ночь превратилась в день.

### IV

А вокруг великого короля Стефана-Фомы спят его верные слуги, и только его ухо ловит странные звуки. Он один выходит из своей палаты, сжимая в руке саблю, ибо ясно ему, что это — знамение неба.

### V

Твердой рукой он отпер церковные врата. Но когда увидел, что было на клиросе церкви, мужество едва не изменило ему. Сжал он в левой руке ладанку чудесной силы и спокойней вошел в церковь Ключа.

### VI

И странное он увидел в церкви: трупами были усеяны плиты пола, кровь текла, как текут потоки, что сбегает осенью в долины Пролога. Королю приходилось пересту-

пать через мертвых, и ноги его были по щиколотку в крови.

## VII

То лежали трупами верные его слуги, то текла кровь христианская. И холодный пот струился по спине короля, и зубы его стучали от ужаса. Посреди клироса он увидел вооруженных воинов турецких и татарских и вместе с ними проклятых отступников — богомилов<sup>2</sup>.

## VIII

А сам Махмуд стоял у оскверненного алтаря. Смотрел он своим дурным глазом, сжимая саблю, красную от крови до рукоятки. Преклонял перед ним колени король Фома I<sup>3</sup>, смиренно протягивал свой венец врагу христианского люда.

## IX

И Радивой<sup>4</sup>-изменник тоже стоял на коленях, с тюрбаном на голове. В одной руке у него была веревка, которой удавил он отца, другая подносила к губам одежду наместника сатаны<sup>5</sup>. Он целовал ее, словно раб, наказанный палкой.

## X

Махмуд соизволил улыбнуться; принял он королевский венец, а потом разломал его, бросил наземь, растоптал и молвил: «Радивой! Ты будешь править за меня в моей Боснии. И пусть эти псы называют тебя своим беглербеем»<sup>6</sup>. Радивой же простерся у ног его и облобызал окровавленную землю.

## XI

И сказал Махмуд своему визирю: «Пусть дадут Радивою кафтан<sup>7</sup>. Будет этот кафтан драгоценней венецианской парчи. Содрать кожу со Стефана-Фомы и в нее облечь его брата». И визирь ему ответил: «Слушаю и повинуюсь»<sup>8</sup>.

## XII

Тут почудилось доброму королю: басурманы разрывают его одежду, ятаганами надрезают кожу, тянут ее

пальцами и зубами. Так они содрали с него кожу до самых ногтей на пальцах ног<sup>9</sup>. Ликуя, надел ее на себя Радивой.

### XIII

И воскликнул Стефан-Фома: «Праведен суд твой, боже! Ты караешь сына-отцеубийцу. Казни же его тело, как судил ты. Только смилуйся над моей душой, господи Иисусе!» Лишь призвал он силу господню — задрожала церковь, призраки исчезли, факелы внезапно погасли.

### XIV

Кто не видел, как быстрым полетом проносится в небе звезда, освещающая вдалеке землю? Но огненный блеск метеора гаснет мгновенно в ночи, и еще темнее сгущается мрак — так исчезло и видение короля Стефана-Фомы.

### XV

Ощупью добрался он до церковных врат. Воздух был чист, и луна серебрила крыши. Было тихо, и король мог подумать: в Ключе все спокойно и мирно. Но упала перед ним бомба<sup>10</sup>, пущенная басурманом, и неверные пошли на приступ.

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> См. примечание к предыдущей балладе, в котором кратко изложены обстоятельства, приведшие боснийское королевство к гибели.

<sup>2</sup> Патарены.

<sup>3</sup> Фома I, отец Фомы II.

<sup>4</sup> Брат Фомы II, его соучастник в отцеубийстве.

<sup>5</sup> Мухаммед II.

<sup>6</sup> Это слово означает «владыка владык». Таков титул боснийского паши. Радивой никогда не носил его, ибо Магомет был слишком предусмотрителен, чтобы оставить в Боснии хотя бы одного из потомков королевского рода.

<sup>7</sup> Известно, что повелитель правоверных дарит богатый кафтан или шубу высшим сановникам, когда они вступают в должность.

<sup>8</sup> Обычный ответ турецких рабов, получающих приказание.

<sup>9</sup> Со Стефана-Фомы была действительно живьем содрана кожа.

<sup>10</sup> Магланович видел бомбы и мортиры, но не знал, что эти орудия разрушения были изобретены уже после смерти Мухаммеда II.



## МОРЛАК В ВЕНЕЦИИ<sup>1</sup>

### I

Когда Параскева меня бросила и сидел я, печальный и без единого гроша, лукавый далматинец пришел ко мне в горы и молвил: «Поехал бы ты в этот большой город, стоящий на водах. Там цехины валяются, что камни у вас в горах.

### II

В шелк и золото одевают там солдат, жизнь у них — сплошная радость и веселье. Заработав в Венеции денег и вернешься к себе на родину с золотыми галунами на куртке да с ханджаром<sup>2</sup> в серебряных подвесках.

### III

Тогда, Димитрий, любая девушка подзовет тебя к своему окошку и любая бросит тебе цветы, когда тыстроишь свою гузлу. Садись на корабль, поверь мне, поезжай в великий город — там уж наверно разбогатеешь!»

### IV

Я ему, пустоголовый, поверил и вот живу на этом каменном корабле. Здесь мне нечем дышать, и хлеб для меня, словно яд. Не могу я идти, куда желаю, не могу делать того, что хочу. Живу, как собака на привязи.

### V

На родном языке заговорю я — женщины надо мной смеются. Земляки мои — горцы — разучились говорить по-нашему, позабыли старые обычаи; гибну я, засыхаю, словно дерево, пересаженное летом.

### VI

Когда я встречал кого в наших горах, говорил он, бывало, с поклоном и улыбкой: «Да поможет тебе бог,

сын Алексы!» Здесь же нет мне ни от кого привета, и живу я, словно муравей, занесенный ветром на середину огромного озера.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Венецианская республика содержала наемное войско, так называемое славонское. Эти отряды, презираемые в Венеции, как и все, относящееся к военному делу, состояли из морлаков, далматинцев и албанцев. Сюжет этой баллады — видимо, история молодого морлака, страдающего от несчастной любви и завербованного в минуту отчаяния.

Песня принадлежит к числу весьма древних, судя по ряду выражений, в настоящее время вышедших из употребления, смысл которых могут растолковать лишь немногие старики. Впрочем, для гузлара самое обычное дело — петь слова, которых он не в состоянии объяснить. Они в юности заучивают наизусть то, что пели их отцы, и повторяют, как попугай, заученное. К сожалению, сейчас можно очень редко встретить иллирийских поэтов, которые никого не копируют и стараются сохранить прекрасный язык, с каждым днем все более выходящий из употребления.

<sup>2</sup> Большой нож, который заменяет кинжал.

## ПОГРЕБАЛЬНАЯ ПЕСНЯ<sup>1</sup>

### I

Прощай, прощай, добрый путь! Нынче ночью — полнолуние, дорогу хорошо видно. Добрый путь!

### II

Лучше пуля, чем лихорадка. Вольным ты жил, вольным и умер. Сын твой Иво отомстил за тебя; пятеро пали от его руки.

### III

Гнали мы их от Чаплиссы до самой равнины. Ни один не смог оглянуться, чтоб еще раз увидеть нас.

### IV

Прощай, прощай, добрый путь! Нынче ночью полнолуние. Дорогу хорошо видно. Добрый путь!

## V

Передай моему отцу, что я в добром здоровье.<sup>2</sup> и рана давно не болит. Елена, моя жена, родила мальчика.

## VI

Я его назвал Владин, по имени деда. Когда он вырастет, я научу его стрелять из ружья, научу быть храбрецом.

## VII

Старшую дочь мою умыкнул Хрузич. Носит она под сердцем уже шестой месяц. Надеюсь, дочка мне родит красивого сильного внука<sup>3</sup>.

## VIII

Тварк оставил родину, ушел в море. Нет от него известий; может, повстречаешь его там, куда ты уходишь.

## IX

Сабля твоя с тобою, трубка набита табаком, на тебе плащ из козьей шерсти<sup>4</sup>. Что еще нужно в долгий путь туда, где не страшны ни холод, ни голод?

## X

Прощай, прощай, добрый путь! Нынче ночью полнолуние, дорогу хорошо видно. Добрый путь!

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Песню эту сочинил Магланович для похорон гайдука или какого-нибудь родственника, повздорившего с правосудием и убитого пандурами.

<sup>2</sup> Родные и друзья умершего дают ему поручения в загробный мир.

<sup>3</sup> Отец никогда не сердится на того, кто умыкает его дочь, если, конечно, не было насилия (см. прим. 1 к *Возлюбленной Даничи*).

<sup>4</sup> Гайдука погребают с его оружием, трубкой и в одежде, которая была на нем в момент смерти.

## ГОСПОДАРЬ МЕРКУРИЙ

### I

По земле нашей ходят басурманы, похищают женщин и детей. Детей сажают они в седла перед собой, а женщин усаживают сзади, держа в зубах пальцы этих несчастных<sup>1</sup>.

### II

Господарь Меркурий поднял свой стяг. С ним трое его племянников и тринадцать двоюродных братьев. Все они увешаны блестящим оружием, а поверх одежды у них святой крест и ладанка от злосчастья<sup>2</sup>.

### III

Когда господарь Меркурий уже сидел на коне, он сказал жене своей Ефимии, державшей его узду: «Вот, возьми янтарные четки. Если ты сохранишь мне верность, с ними ничего не случится, а если изменишь, нитка разорвется и янтарные зерна рассыплются»<sup>3</sup>.

### IV

Он уехал, и никто не имел от него вестей; и жена со страхом думала: он убит, арнауты взяли его в плен и увели в свою землю. Но к концу третьего месяца вернулся Спиридон Пьетрович.

### V

Одежда его в лохмотьях и запачкана кровью. Бьет он себя в грудь кулаками и говорит: «Брат мой двоюродный пал. Басурманы захватили нас врасплох и убили твоего мужа. Я видел, как арнаут отрубил ему голову, а сам я лишь с большим трудом спасся».

### VI

Криком закричала Ефимия, повалилась на землю, стала рвать на себе одежду. Но Спиридон сказал ей: «Зачем тебе так убиваться? Разве не осталось в нашей стране добрых людей?» Поднял ее, подлый, и утешил.

### VII

Пес Меркурия выл о господине, и конь его жалобно ржал. А Ефимия осушила слезы и в ту же ночь пере-

спала с предателем Спиридоном. Но довольно о вероломной жене, споем об ее муже.

## VIII

Молвил король господарю Меркурию: «Поезжай в мой замок, что у Клиса<sup>4</sup>, передай королеве, чтобы она ехала ко мне в лагерь». Меркурий двинулся в путь и ехал без отдыха три дня и три ночи.

## IX

У Цетиньского озера он остановился, приказал своим оруженосцам раскинуть шатер и спустился к озеру напиться. А над озером словно пар клубился, и из этого тумана доносились какие-то неясные крики.

## X

Вода волновалась и кипела, словно водоворот Емицы, когда она уходит под землю. Потом встала луна, и туман рассеялся, и вот по озеру, будто оно сковано льдом, скачет целое войско всадников-гномов<sup>5</sup>.

## XI

Но, выйдя на берег, каждый всадник со своим конем вырастали, и гномы становились ростом с дуарских горцев<sup>6</sup>. Войско выстраивалось рядами и двигалось в полном порядке. Всадники мчались по равнине, кони их весело скакали.

## XII

То они становились серыми, как туман, и тогда сквозь тела их видно было траву; то их оружие начинало ярко блистать, и тогда казалось, будто они из огня. Но вот выступил из их рядов воин на вороном коне.

## XIII

Он подъехал к Меркурию, гарцуя и вызывая его на битву. Тогда Меркурий осенил себя крестным знаменiem и, прищпорив доброго коня, устремился на призрака, отпустив поводья и с копьем наперевес.

#### XIV

Восемь раз сшибались они на всем скаку, и, ударяясь о брони, гнулись острия копий, словно лепестки ириса. Но конь призрака был сильнее, и конь Меркурия каждый раз припадал на колени.

#### XV

«Сойдем с коней,— молвил Меркурий,— и сразимся еще раз пешими». Призрак соскочил с коня и бросился на храброго Меркурия; но хоть и был он выше и сильнее, а сразу же был свален на землю.

#### XVI

«Меркурий, Меркурий, Меркурий, ты меня победил! — молвил призрак.— Вместо выкупа я дам тебе совет: не возвращайся в свой дом, ибо там тебя ожидает гибель». Месяц скрылся за облаком, и исчезли внезапно и призрачный всадник и войско.

#### XVII

«Дурак, кто связывается с чертом,— молвил тогда Меркурий.— Вот я одолел беса, а какая мне от этого прибыль? Лошадь, подбившая колени, и зловещее предсказание. Ну, да оно мне не помешает возвратиться домой к Ефимии, милой моей жене».

#### XVIII

Ночью, при лунном свете, он добрался до Погощамского <sup>7</sup> кладбища. Там он увидел священников, плакальщиц и чауша <sup>8</sup> у свежей могилы. А рядом с ямой лежал мертвец; на боку у него сабля, на голове черный башлык.

#### XIX

И Меркурий остановил лошадь. «Чауш! — сказал он.— Кого вы здесь хороните?» И чауш ответил: «Господаря Меркурия, который сегодня скончался». Засмеялся на это Меркурий. Месяц скрылся за облаком,— и все сразу исчезло.



## XX

Вернулся он в свой дом, обнял жену свою Ефимию. «Принеси мне, Ефимия, четки, что я дал тебе в день отъезда. Этим янтарным зернам я верю больше, чем женским клятвам». Отвечала Ефимия: «Сейчас принесу».

## XXI

Но волшебные четки давно рассыпались, а Ефимия сделала другие, совсем похожие, пропитав их ядом. «Это не те»,— сказал Меркурий. «Сосчитай хорошенько зерна,— отвечала жена,— ты ведь помнишь, что их было шестьдесят семь».

## XXII

Меркурий начал считать зерна, смачивая пальцы слюной, а яд незаметно проникал в его тело. Когда он сосчитал до шестьдесят шестого зерна, то испустил глубокий вздох и мертвым упал на землю.

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Этим варварским способом увода пленных особенно часто пользуются арнауты во время своих внезапных набегов. При малейшем крике своей жертвы они откусывают ей палец. Судя по этой подробности и ряду других в том же роде, я полагаю, что автор баллады имеет в виду одну из войн, которые велись древними королями Боснии против мусульман.

<sup>2</sup> Большей частью это полоски бумаги с евангельскими текстами, перемешанными с какими-то непонятными письменами, в футлярчиках красной кожи. Морлаки глубоко верят в силу этих талисманов, которые у них называются *запись*.

<sup>3</sup> На каждом шагу видишь доказательства презрения, которое иллирийцы питают к своим женам.

<sup>4</sup> Клис часто бывал резиденцией боснийских королей, владевших также значительной частью Далмации.

<sup>5</sup> Рассказы о целых армиях привидений часто встречаются на Востоке. Всем известна история о том, как однажды ночью город Прага был осажден призраками, которых прогнал один ученый человек, крича: «*Véselé! Véselé!*»

<sup>6</sup> Они славятся своим высоким ростом.

<sup>7</sup> Вероятно, дом господаря Меркурия был в этом селении.

<sup>8</sup> Слово это, по-видимому, заимствовано из турецкого языка; оно означает «церемониймейстер».

## ХРАБРЫЕ ГАЙДУКИ<sup>1</sup>

В пещере на острых каменьях лежал храбрый гайдук Христич Младин. Рядом с ним жена его, прекрасная Катерина, у ног его двое храбрых сыновей. Третий день уже проводят они без пищи в этой пещере, ибо враги их стерегут все горные тропы, и, если вздумается им поднять головы, сотня ружейных дул направляется на них. От нестерпимой жажды языки их почернели и распухли, ибо для питья у них есть лишь немного воды, застоявшейся в расщелине скалы. И все же ни один из них не посмел пожаловаться или застонать<sup>2</sup>, так как они боялись прогневить Христича Младина. Три дня миновало, и Катерина воскликнула: «Да сжалится над нами святая дева и да воздаст твоим недругам!» Она вздохнула и умерла. Христич Младин глядел на ее тело сухими глазами, но сыновья потихоньку утирали слезы, когда отец их не видел. Наступили четвертые сутки, солнце высушило воду, застоявшуюся в расщелине скалы. Тогда Христич, старший сын Младина, обезумел: он выхватил из-за пояса свой ханджар<sup>3</sup> и смотрел на труп матери, как волк глядит на ягненка. Младший брат его, Александр, с ужасом взглянул на него. Выхватил и он свой ханджар и проколол себе руку. «Выпей моей крови, Христич, только не совершай преступления<sup>4</sup>. Когда все мы умрем с голоду, будем выходить из могилы и сосать кровь наших врагов». И Младин вскочил и крикнул: «Дети! Вставайте! Лучше добрая пуля, чем голодная смерть». Все трое ринулись вниз, словно голодные волки. Каждый убил десятерых и получил в грудь десять пуль. Подлые враги отрубили им головы, но когда несли их, праздную победу, то едва осмеливались на них смотреть: так боялись они Христича Младина и его сыновей<sup>5</sup>.

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Говорят, Иакинф Магланович сложил эту прекрасную балладу, когда сам вел жизнь гайдука, то есть почти что жизнь разбойника с большой дороги.

<sup>2</sup> Гайдуки переносят физические страдания с еще большим мужеством, чем даже морлаки. Я видел, как умирал юноша, упавший со скалы; ноги были у него переломаны в пяти или шести местах. Три дня длилась его агония, и за все это время он не издал ни одной жалобы. Только раз, когда какая-то старушка, искусная,

как уверяли, в хирургии, захотела приподнять его перебитые ноги, чтобы приложить к ним какое-то снадобье, я заметил, как сжались его кулаки и как ужасно сдвинулись его густые брови.

<sup>3</sup> Большой нож, который морлаки всегда носят за поясом.

<sup>4</sup> Эти слова напоминают слова бретонского оруженосца во время битвы Тридцати: «Пей свою кровь, Бомануар!»

<sup>5</sup> Солдаты, сражающиеся с гайдуками, называются пандурами. Они пользуются не лучшей репутацией, чем те, с кем они борются; их обвиняют в том, что они часто обворовывают путешественников, которых должны защищать. Вся страна презирает их за трусость. Бывает, что десяти или двенадцати гайдукам удается прорваться через сотню пандуров. Правда, этим несчастным нередко приходится голодать, и это возбуждает у них решимость отчаяния.

Когда пандурам удастся захватить пленного, они уводят его довольно странным способом. Разоружив гайдука, они только обрезают шнур, стягивающий его штаны, которые, таким образом, спускаются у него до колен. Понятно, что несчастному гайдуку приходится идти очень медленно, чтобы не упасть и не разбить себе нос.

## ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ДАНИЗИЧА

### I

Евсевий подарил мне резной золотой перстень <sup>1</sup>; Владимир подарил мне красную шапочку <sup>2</sup> с золотыми бляхами. Но тебя, Данизич, я люблю больше всех.

### II

У Евсевия волосы черные и курчавые; Владимир лицом бел, как женщина горных селений. Но для меня, Данизич, ты прекраснее всех.

### III

Евсевий поцеловал меня, и я улыбнулась; Владимир поцеловал меня, и его дыхание было сладким, как запах фиалки. Когда целует меня Данизич <sup>3</sup>, сердце мое замирает от наслаждения.

### IV

Евсевий знает много старых песен; Владимир хорошо играет на гузле. Я люблю песни и гузлу, но только когда играет и поет Данизич.

Евсевий попросил своего крестного быть его сватом; Владимир завтра пошлет к отцу моему священника<sup>4</sup>. Но приди под окно мое, Данизич,—и я убегу с тобой.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> До замужества женщины могут получать подарки от кого угодно, и это не имеет значения. Нередко у девушки бывает пять или шесть поклонников, из которых она чуть ли не каждый день вытягивает подарки, не будучи обязанной давать им взамен что-либо, кроме надежд. Это продолжается некоторое время, затем поклонник, которому оказывалось предпочтение, просит у нее разрешения умыкнуть ее, и она всегда сама указывает время и место похищения. Репутация девушки от этого ни в малейшей степени не страдает, и добрая половина морлакских браков заключается именно таким образом.

<sup>2</sup> Красная шапочка на голове женщины — признак девственности. Девушка, которая, согрешив, осмелилась бы публично появиться в красной шапочке, рискует тем, что священник может сорвать шапочку у нее с головы, после чего кто-либо из родственников обрежет ей волосы в знак бесчестия.

<sup>3</sup> Самая обычная манера приветствия. Встречаясь с мужчиной, которого она однажды уже видела, девушка целуется с ним. Когда вы просите гостеприимства у ворот чьего-нибудь дома, жена или старшая дочь хозяина принимает у вас уздечку и целует вас, как только вы спешились. Когда вас встречает таким образом девушка, это очень приятно. Но когда вас встречает замужняя женщина, это имеет свои отрицательные стороны. Надо вам знать, что, должно быть, из чрезмерной скромности и в знак презрения к свету, замужняя женщина почти никогда не моет лицо; поэтому все они невыносимо грязны.

<sup>4</sup> Очевидно, тоже для того, чтобы сватать ее.

## КРАСАВИЦА ЕЛЕНА

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

#### I

Собирайтесь вокруг Иво Бьетко, все желающие послушать жалостную повесть о красавице Елене и о Тодоре Конопке, ее муже. Лучшего гузлара, чем Иво Бьетко, вы не слышали и никогда не услышите.

## II

Эту повесть я слышал от деда. В дни его Тодор Конопка был смелый охотник. Он женился на красавице Елене, которая отвергла Пьеро Стамати<sup>1</sup>, потому что Тодор был хорош собой, а Пьеро зол и уродлив.

## III

Однажды Пьеро Стамати явился в дом Тодора Конопки. «Правда ли, Елена, что муж твой уехал в Венецию на целый год?» — «Это правда, и тоска меня снедает, что я осталась одна в этом большом доме».

## IV

«Не плачь, Елена, ты не одна. Найдется у тебя собеседник. Пусти меня спать с тобой, и за это я подарю тебе горсть блестящих цехинов, чтобы ты украсила ими свои черные косы».

## V

«Прочь от меня, негодный! . . . . . ?» — «Нет,— промолвил ей злой Стамати,— пусти меня спать с тобой, а за это я подарю тебе бархатное платье и столько цехинов, сколько поместится в моей шапке».

## VI

«Прочь от меня, негодный! Не то я расскажу своим братьям про твою подлость, и они с тобой покончат»...

А Стамати был старикашка курносый, тщедушный, Елена же сильная и высокая.

## VII

И счастье ее, что была она сильная и высокая...

Навзничь повалился Стамати; домой он возвратился, плача, подгибая колени и шатаясь.

## VIII

Пошел он к нечестивому еврею и спросил у него совета, как бы лучше отомстить Елене. И еврей сказал ему: «Ищи под могильным камнем до тех пор, пока не отыщешь большую черную жабу<sup>2</sup>; положи ее в глиняный горшок и принеси мне».

## IX

Нашел Стамати под могильным камнем большую черную жабу и принес еврею, а тот полил ей голову водою и нарек гадину Иоанном. Великий грех — назвать черную жабу именем святого апостола.

## X

Тогда они стали колоть ту жабу остриями своих ятаганов, пока не выступили из всех ранок капли сильного яда. Собрали они этот яд в склянку и опоили им жабу. А потом дали ей облизать красивое и спелое яблоко.

## XI

И молвил Стамати мальчику, что был у него в услуженье: «Снеси это яблоко Елене и скажи, что прислала моя жена». Мальчик отнес яблоко, как ему велели, а красавица Елена взяла и с удовольствием съела опоганенный плод весь целиком.

## XII

И только она доела румяное и сочное яблоко, как смутно стало у нее на сердце, и показалось красавице Елене, что в чреве у нее шевелится змея.

Хотите дослушать эту повесть, дайте что-нибудь Иво Бьетко.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### I

Когда красавица Елена съела поганое яблоко, сотворила она крестное знамение, но все же у нее под сердцем продолжало что-то шевелиться. Позвала она свою



сестру, и та велела ей пить молоко. Но все же Елене казалось, будто носит она под сердцем змею.

## II

Стал расти у нее живот, с каждым днем раздувался он все больше и больше. И начали женщины шептаться: «Вот, Елена ходит брюхатая. Как же это с нею случилось? Ведь мужа ее нет дома. Пошел уже одиннадцатый месяц, как он уехал в Венецию».

## III

Стыдно было красавице Елене, головы она не смела поднять — не то что выйти на улицу. Днем она сидела и плакала да и по ночам обливалась слезами. Говорила она своей сестре: «Муж вернется — что тогда со мной будет?»

## IV

Проведя на чужбине целый год, подумал Тодор Конопка, что пора ему возвращаться. Сел он на золоченую галеру и счастливо прибыл на родину. Друзья его и соседи вышли ему навстречу, нарядившись в свои лучшие платья

## V

Он глядел и направо и налево, но не видел нигде красавицы Елены. И тогда он спросил: «Что случилось с моей женой, красавицей Еленой? Почему она не с вами?» Соседи стали улыбаться, а друзья его покраснели, но никто не ответил ни слова<sup>3</sup>.

## VI

Он вошел в дом свой и видит: жена сидит на подушке. «Встань, Елена». И Елена встала. Он увидел, что она брюхата. «Что это значит, Елена? Ведь я не спал с тобой больше года».

## VII

«Именем пречистой девы клянусь тебе, господин мой, что я была верной женой. Но злодеи меня околдовали —

и чрево мое набухло». Но он не поверил Елене, выхватил саблю и с размаху срубил ей голову.

### VIII

Упала голова ее, а он сказал: «Нет вины на ребенке, что у ней под коварным сердцем; выну его из чрева, воспитаю как своего. Посмотрю, на кого он похож, узнаю, от кого зачат, накажу злодея смертью».

### VIII (вариант) <sup>4</sup>

Упала голова ее, а он сказал: «Выну живым ребенка из-под лживого ее сердца, положу его на дороге, словно выбросив на верную гибель. Отец, наверно, за ним явится, тогда я узнаю, кем он зачат, и накажу злодея смертью».

### IX

Распорол он ее белое тело и увидел вместо ребенка большую черную жабу. «Горе, горе мне! Что я сделал! — вскричал он. — Погубил я красавицу Елену, а ведь она сохранила мне верность. Но злодеи околдовали ее, опоганили черной жабой!»

### X

Поднял он голову своей милой жены и поцеловал ее в губы. И вдруг глаза ее открылись, холодные губы дрогнули, и сказала она: «Я невинна. Но колдуны-злодеи колдовали черною жабой и наслали на меня порчу!»

### XI

Я хотела остаться верной женой, и за это Пьеро Стамати с помощью злого еврея, что живет в кладбищенской долине, навел на меня порчу». Молвила, и глаза ее закрылись, и язык снова окоченел, и она навеки умолкла.

### XII

Разыскал Тодор Конопка Пьеро Стамати и срубил ему голову. Убил он и злого еврея. А потом велел отслужить тридцать обеден за упокой души красавицы Елены. Да смилуется господь над ним и над всеми нами.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Итальянское имя. В морлакских повестях итальянцам часто отводится мерзкая роль. *Паса вьера* (песья вера) и *лацманска вьера* (итальянская вера) — два синонимичных бранных выражения.

<sup>2</sup> Во всех странах существует поверье, что жаба — ядовитое животное. Из английской истории известно, что одного короля отравил монах, опоив его элем, в котором он предварительно утопил жабу.

<sup>3</sup> Этот отрывок примечателен своей простотой и энергичной сжатостью.

<sup>4</sup> Я слышал, как это место баллады пелось и на тот и на другой манер.

## О СГЛАЗЕ

### ВВЕДЕНИЕ

На ближнем Востоке, и особенно в Далмации, распространена вера в то, что некоторые люди обладают способностью наводить порчу своим взглядом. Влияние, которое дурной глаз может оказать на человека, очень велико. Если такой человек проигрывает в карты или спотыкается о придорожный камень, это еще пустяки; бывает, что несчастный, которого сглазили, теряет сознание, заболевает и в скором времени умирает от истощения сил. Мне пришлось дважды видеть жертву сглаза. В долине Книна к молодой девушке подходит один из тамошних жителей, чтобы спросить у нее дорогу. Она смотрит на него, издает ужасный крик и падает без чувств. Незнакомец убегает. Я находился неподалеку и, решив сперва, что он убил девушку, бросился со своим проводником к ней на помощь. Бедняжка вскоре пришла в себя и заявила нам, что у говорившего с ней человека был дурной глаз и что он ее сглазил. Она попросила нас проводить ее к священнику; священник дал ей поцеловать какие-то реликвии и повесил ей на шею завернутую в шелк бумажку, на которой написаны были какие-то странные слова. После этого девушка несколько успокоилась, а через два дня, когда я уезжал, она была уж совершенно здорова.

Другой раз, в селении Погощами, я видел, как молодой человек лет двадцати пяти побледнел и упал на зем-

лю от страха при виде старого гайдука, который смотрел на него. Мне сказали, что он находится под влиянием сглаза, но что гайдук не виноват: дурной глаз у него от природы, и он сам удручен тем, что обладает такой зловредной силой. Я пожелал сам проделать опыт: заговорил с гайдуком и попросил его смотреть на меня некоторое время. Но он решительно отказывался и был, по всей видимости, так огорчен моей просьбой, что мне пришлось отказаться от опыта. У этого человека была отталкивающая внешность, глаза огромные и выпученные. Обычно он старался не поднимать их, но если по рассеянности ему случалось пристально взглянуть на кого-либо, он, как меня уверяли, уже не мог отвести взгляда, пока его жертва не падала. Потерявший сознание молодой человек столь же пристально смотрел на него, отвратительно вытаращив глаза и выказывая все признаки сильнейшего страха.

Слышал я раньше о людях, у которых было по два зрачка в каждом глазу, и вот они-то, по мнению кумушек, рассказавших мне эту сказку, были опаснее всего.

Предохранить себя от сглаза можно разными способами, но почти все они недостаточно надежны. Кто носит на себе рога животных, кто куски коралла, направляя их в сторону того, у кого предполагается дурной глаз.

Говорят также, что в тот момент, когда вы замечаете, что на вас устремлен дурной глаз, надо дотронуться до железа или швырнуть несколько зерен кофе в голову того, кто на вас смотрит. Иногда можно разрушить злые чары, выстрелив в воздух из пистолета. Часто морлаки пользуются еще более верным средством: они целят из пистолета прямо в предполагаемого колдуна.

Другой способ сглаза состоит в расточении похвал человеку или предмету. Не все обладают этой опасной способностью и не всегда применяют ее по своей воле.

Нет человека, путешествовавшего по Далмации или Боснии, который не оказался бы в таком положении, как и я. В одном селении на реке Требиньце (название я позабыл) я увидел красивого мальчика, игравшего на траве перед домом. Я приласкал его и наговорил приятных вещей его матери, которая на меня смотрела. Мои

похвалы ей, по-видимому, не очень понравились, и она пресерьезно попросила меня плюнуть в лоб ее ребенку. Я еще не знал, что этим способом можно разрушить злые чары от чрезмерных похвал, и потому, крайне удивленный этой просьбой, упорно отказывался; тогда мать позвала своего мужа, чтобы он, приставив мне пистолет к горлу, вынудил меня это сделать. Тут вмешался мой проводник, молодой гайдук. «Сударь! — сказал он. — Я всегда считал вас человеком добрым и порядочным. Почему же вы отказываетесь снять порчу, которую, я уверен, вы навели, совсем того не желая?» Тогда я понял причину упорных просьб матери и немедленно удовлетворил ее желание.

Словом, для понимания нижеследующей баллады и ряда других надо представить себе, что иные люди наводят порчу взглядом, иные — словами и что эта пагубная способность передается от отца к сыну; наконец, следует поверить тому, что зачарованные таким образом люди, в особенности дети и женщины, чахнут и очень быстро умирают.

## МАКСИМ И ЗОЯ<sup>1</sup>

### *Песня Иакинфа Маглановича*

#### I

О Максим Дубан, о Зоя, дочь Елавича! Да воздаст вам богородица за вашу любовь! Да возрадуется вы на небесах!

#### II

Солнце закатилось в море, и воевода заснул. Сладостный звон гузлы раздается под окнами Зои, старшей дочери Елавича

#### III

Встает прекрасная Зоя, бежит на цыпочках к окошку, открывает его и видит: статный юноша сидит на земле и, вздыхая, играет о любви своей на гузле.

#### IV

Всего милее ему самые черные ночи. А при полной луне он прячется в тени, и только Зоино око может узнать его под черной овчиной.

#### V

Кто же этот юноша с таким сладким голосом? Кто может сказать? Говорит он по-нашему, хотя прибыл издалека; и никому он не ведом, одна только Зоя знает его имя.

#### VI

Но лица его не видала даже сама Зоя: на заре он берет ружье, вскидывает на плечо и уходит далеко в леса на охоту за диким зверем.

#### VII

И всегда он оттуда приносит рога горного козленка и говорит Зое: «Носи эти рожки, и пускай дева Мария охранит тебя от сглаза».

#### VIII

Голова его обернута шалью, словно он арнаут<sup>2</sup>. И заблудившийся путник, встречавший его в лесу, никогда не видел его лица под складками золотистой кисеи.

#### IX

Но однажды ночью Зоя сказала: «Подойди, я хочу тебя коснуться». Провела она по его лицу белой рукою, а затем дотронулась до своего лица. И тотчас же поняла: красивей лица его нет.

#### X

И сказала тогда Зоя: «Наши парни мне надоели. Все они ходят за мною, но люблю я одного тебя. Приходи завтра в полдень, когда все они будут у обедни.



## XI

Сяду я на твоего коня, примощусь у тебя за спиной, ты увезешь меня к себе, чтобы там назвать своей женой: уж давно ношу я о п а н к и, пора мне обуться в вышитые туфли»<sup>3</sup>.

## XII

Молодой гузлар вздохнул и молвил: «Чего ты у меня просишь? Днем мне нельзя тебя видеть. Но спустись ко мне этой же ночью, я увезу тебя в прекрасную Книнскую долину; там и станем мы мужем и женою».

## XIII

Но она ему возразила: «Нет, увези меня завтра. Я хочу забрать свои наряды, а ключ от сундука у отца. Завтра я достану ключ и тогда поеду с тобой».

## XIV

Вздохнул он еще раз и промолвил: «Пусть будет так, как ты хочешь». Потом он поцеловал ее; но тут запели петухи, небо порозовело, и чужеземец удалился.

## XV

А когда наступил полдень, он подъехал к дому воеводы на скакуне, белом как молоко. За седлом была привязана бархатная подушка, чтоб удобнее было красавице Зое.

## XVI

Но голова чужеземца обернута плотной тканью, еле видны только рот да усы. А одежда сверкает золотом, пояс вышит жемчугом<sup>4</sup>.

## XVII

Легко вспрыгнула Зоя и уселась у него за спиной. Скакун, белый как молоко, заржал, гордясь своею ношей, и помчался во весь опор, поднимая облака пыли.

## XVIII

«Зоя! Скажи мне, взяла ты красивый рог, что я подарил тебе?» — «Нет,— отвечала она.— На что мне такие безделушки? Я взяла одежды, шитые золотом, ожерелья свои и бляхи».

## XIX

«Зоя! Скажи мне, взяла ты ладанку, что я подарил тебе?» — «Нет,— отвечала она,— я повесила ее на шею моему младшему брату. Он болен, она ему поможет».

## XX

Грустно вздыхал чужеземец. И сказала прекрасная Зоя: «Вот мы уж далеко от дома. Останови же коня, сними свое покрывало. Дай, Максим, я тебя поцелую»<sup>5</sup>.

## XXI

Но он ей ответил: «Нынче ночью в моем доме нам будет удобней: много там атласных подушек. Нынче ночью мы будем покоиться под шелковым пологом ложа».

## XXII

«Что же это? — сказала прекрасная Зоя.— Так-то ты меня любишь? Почему ты ко мне не повернешься? Почему пренебрегаешь мною? Разве есть в нашей стране девушки красивей меня?»

## XXIII

«О Зоя! — сказал он.— По дороге кто-нибудь пройдет и увидит. Братья твои бросятся в погоню и вернут тебя в отцовский дом». Так говорил он Зое, подгоняя скакуна плеткой.

## XXIV

«Стой, Максим, стой! — закричала она в ответ.— Вижу я, ты меня не любишь. Если ты ко мне не повернешься, если ты на меня не взглянешь, я соскочу с коня, даже если разобьюсь насмерть при этом».

## XXV

Тогда чужеземец одной рукой задержал коня, а другой сбросил башлык. И обернулся он, чтобы поцеловать Зою. Да спасет нас святая дева! В каждом его глазу было по два зрачка! <sup>6</sup>

## XXVI

И взгляд его ранил смертельно! Раньше, чем губы его прижались к губам Зои, голова ее склонилась набок; побледнела прекрасная Зоя и бездыханная упала с коня.

## XXVII

«Проклятье отцу моему,— воскликнул Максим Дубан,— давшему мне роковые глаза! <sup>7</sup> Не хочу я больше причинять зло!» И тотчас же он выколол себе очи ханджаром.

## XXVIII

Он устроил прекрасной Зое пышные похороны, а сам ушел в монастырь. Но недолго прожил он в обители, ибо скоро пришлось разрыть могилу прекрасной Зои, чтобы рядом с ней положить тело Максима.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Эта баллада может дать представление о современных вкусах. В ней имеются элементы жеманства, примешивающиеся к простоте старинных иллирийских песен. Впрочем, ее очень любят и считают одной из лучших песен Маглановича. Может быть, надо принять во внимание также и чрезвычайную склонность морлаков ко всему чудесному.

<sup>2</sup> Зимой арнауты обертывают себе уши, щеки и большую часть лба натянутым на голову башлыком, концы которого завязываются под подбородком.

<sup>3</sup> Намек на обычай, предписывающий девушкам носить этот грубый род обуви до замужества. После свадьбы они могут носить туфли (*пашмаки*), как турецкие женщины.

<sup>4</sup> Эта часть мужской одежды украшается особенно роскошно.

<sup>5</sup> Здесь мы видим, как иллирийский поэт переделывает миф об Орфее и Эвридике, хотя, я уверен, он никогда не читал Вергилия.

<sup>6</sup> Вернейший признак дурного глаза.

<sup>7</sup> Не следует забывать, что дурной глаз — свойство, часто передающееся по наследству.

## ДУРНОЙ ГЛАЗ

Спи, бедный малютка, спи спокойно. Святой Евсевий да сжалится над тобою!

### I

Проклятый чужеземец, чтоб тебя медведь разорвал, чтоб тебе жена изменила!

Спи, и т. д.

### II

Льстивыми словами хвалил он красоту моего ребенка, светлые кудри его гладил.

Спи, и т. д.

### III

«Голубые глазки,— говорил он,— голубые, как летнее небо». И смотрел он в голубые глазки своими серыми глазами.

Спи, и т. д.

### IV

«Счастлива мать этого ребенка,— говорил он,— счастлив его отец». И он хотел отнять у нас ребенка.

Спи, и т. д.

### V

Ласковыми словами сглазил он бедного мальчика. День за днем чахнет мое дитя.

Спи, и т. д.

### VI

Он хвалил голубые глазки, и вот они потускнели от его колдовских слов.

Спи, и т. д.

### VII

Белокурые волосы поседели, как у стариков,— столько силы было в зловедных чарах.

Спи, и т. д.

## VIII

Ах, попался бы мне в руки этот проклятый чужеземец, — я б заставила его плюнуть на милый твой лобик! Спи, и т. д.

## IX

Мужайся, дитя, мужайся, твой дядя уехал в Старый Град; оттуда он привезет землицы с могилы святого. Спи, и т. д.

## X

А двоюродный брат мой, епископ, дал мне святую ладанку; я ее повешу тебе на шею, чтобы ты скорей поправился. Спи, и т. д.

## ПЛАМЯ ПЕРРУШИЧА

### *Песня Иакинфа Маглановича*

#### I

Почему бей Янко Марнавич не бывает у себя на родине? Почему блуждает он в диких горах Воргорода, не проводя двух ночей сряду под одной крышей? Преследуют ли его враги, поклялись ли они, что не примут выкупа за пролитую кровь?

#### II

Нет. Могуч и богат бей Янко. Кто посмеет назваться его врагом? Стоит ему крикнуть — двести сабель вылетят из ножен. Но он стремится в пустынную местность; хорошо ему в горных пещерах, где скрываются гайдуки, ибо сердце он предал печали со дня смерти своего побратима<sup>1</sup>.

#### III

Чирило Перван погиб на пиру. Водка лилась рекой, и люди обезумели. Между двумя славными беями разгорелась жестокая ссора, и Янко Марнавич выстрелил в своего брата из пистолета. Но от хмеля рука его дрожала, и убил он своего побратима Чирила Первана.

#### IV

Поклялись они в церкви Перрушича вместе и жить и умереть. Но прошло только два месяца, и лежит один из побратимов, сраженный рукою брата. И с этого дня бей Янко не пьет ни вина, ни водки, питается одними кореньями и не находит себе места, словно бык, которого преследует слепень.

#### V

Под конец он вернулся на родину и зашел в церковь Перрушича. Целый день молился он в церкви, распростершись крестом на плитах и проливая горькие слезы. А когда наступила ночь, он возвратился в свой дом и казался спокойней, чем был раньше. Жена и дети подали ему ужин.

#### VI

Отужинал он и улегся, позвал жену и сказал ей: «Видишь ли ты отсюда, с Пристежской горы, церковь в Перрушиче?» Посмотрела она в окно и ответила: «Морполаца окутана туманом, и того берега не видно». И бей Янко промолвил: «Хорошо, ложись со мной рядом». И стал он, лежа, молиться о душе Чирила Первана.

#### VII

Помолившись, он обратился к жене: «Открой еще раз окошко, посмотри в сторону Перрушича». Поднялась жена его и сказала: «На том берегу Морполацы я вижу среди тумана бледный мерцающий свет». Улыбнулся бей и промолвил: «Хорошо, ложись со мной рядом». Взял он четки и снова начал молиться.

#### VIII

Прочитал он молитву, снова позвал жену и сказал ей: «Параскева, открой окошко, что ты там видишь?» Встала она и сказала: «Господин мой! Я вижу яркое пламя посреди реки<sup>2</sup>; оно быстро приближается к нам». Тотчас же у нее за спиной раздался глубокий вздох, и что-то упало на пол. Бей Янко лежал мертвый.



## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Дружба высоко чтится среди морлаков, и донныне довольно часто случается, что два человека связывают себя чем-то вроде новых братских уз. В иллирийском религиозном ритуале есть молитвы, благословляющие этот союз двух друзей, дающих клятву всю жизнь оказывать друг другу помощь и защиту. Двое мужчин, связанных этой религиозной церемонией, называются *побратимы*, две женщины — *посестримки*, то есть полубратья, полусестры. Часто можно наблюдать случаи, когда побратимы жертвуют жизнью друг для друга, а если бы между ними возникла ссора, это было бы принято всеми с возмущением, как у нас — дурное обращение сына с отцом. Но так как морлаки очень любят крепкие напитки и во хмелю иной раз забывают о своих обоюдных дружеских клятвах, то присутствующие всегда стараются разъединить побратимов, чтобы предупредить ссоры, всегда приводящие к роковой развязке в стране, где все мужчины ходят вооруженными.

Я видел, как в Книне одна молодая морлачка умерла от горя, когда потеряла подругу, которая погибла, выпав из окна.

<sup>2</sup> Представление о том, что синеватый огонек, мерцающий на могилах, свидетельствует о присутствии души умершего, встречается у многих народов и очень распространено в Иллирии.

Стиль этой баллады трогателен в своей простоте, которая является качеством довольно редким в иллирийской поэзии наших дней.

## БАРКАРОЛЛА

### I

Пизомбо <sup>1</sup>, пизомбо! Море синее, небо чистое, луна взошла, и ветер не раздувает наших парусов. Пизомбо, пизомбо!

### II

Пизомбо, пизомбо! Пусть каждый возьмется за весло. Если он сумеет покрыть его белой пеной, этой же ночью доберемся мы до Рагузы. Пизомбо, пизомбо!

### III

Пизомбо, пизомбо! Справа берег, не теряйте его из виду. Берегитесь пиратов с их длинными ладьями, полными мушкетов и сабель <sup>2</sup>. Пизомбо, пизомбо!

#### IV

Пизомбо, пизомбо! Вот часовня святого Стефана, покровителя нашего судна. Великий святой Стефан<sup>3</sup>! Пошли нам ветер, мы устали грести. Пизомбо, пизомбо!

#### V

Пизомбо, пизомбо! Эх, славное судно, как оно слушается руля! Я бы не отдал его и за ту большую карраку, которой нужна целая неделя, чтобы повернуться другим бортом<sup>4</sup>. Пизомбо, пизомбо!

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Это слово не имеет никакого смысла. Иллирийские матросы все время повторяют его нараспев, когда гребут, чтобы придать своим движениям размеренность. У моряков всех стран есть свои особые словечки или возгласы, которыми они сопровождают все свои движения во время работы.

<sup>2</sup> Многие из этих ладей вмещают до шестидесяти человек, но и они так узки, что два человека, сидящие друг против друга, чувствуют себя не вполне свободно.

<sup>3</sup> Каждое судно, как правило, носит имя святого, являющегося покровителем капитана.

<sup>4</sup> Эта глупая шутка в ходу у всех приморских народов,

#### БИТВА У ЗЕНИЦЫ ВЕЛИКОЙ<sup>1</sup>

Великий бей Радивой повел своих храбрецов, чтобы дать басурманам битву. Когда увидели далматинцы<sup>2</sup> наши желтые шелковые стяги, закрутили они усы, заломили шапки и молвили так: «Мы тоже пойдем на басурман и головы их принесем в нашу страну». И ответил бей Радивой: «Да поможет вам бог». Переправились мы через Цетинье и стали жечь города и села этих обрезанных собак; а когда находили евреев, вешали их на деревьях<sup>3</sup>. Беглербей выступил из Бани Луки<sup>4</sup> и с ними две тысячи босняков, чтобы помериться с нами силой. Но как только блеснули на солнце их кривые сабли, как только их кони заржали на холмах Зеницы Великой, далматинцы, жалкие трусы, бросили нас и побежали. Тогда мы построились в круг, обступив со всех сторон великого бея Радивоя. «Господин! Мы не покинем тебя, как эти подлые трусы. Но с помощью господ бога и святой девы мы

вернемся на родину и будем рассказывать нашим детям об этой битве». А затем мы сломали ножны сабель<sup>5</sup>. Каждый из наших стоил десятка басурман, и наши сабли окрасились кровью от острия и до самой рукоятки. Но когда мы уже надеялись переправиться обратно через Цетинье, налетел селихтар<sup>6</sup> Мехмет и с ним тысяча всадников. «Храбрецы мои! — молвил Радивой. — Слишком много этих собак, и нам от них не уйти. Те, кто остался невредим, постарайтесь укрыться в лесах; так вам удастся спастись от всадников селихтара». Когда он кончил говорить, оставалось с ним двадцать человек, но то были его родичи. И они защищали вождя своего бея, покуда их всех не перебили. А когда девятнадцать пали, самый юный, Фома, сказал бею: «Вот белоснежный конь. Он переплывет через Цетинье и доставит тебя на родину». Но бей отказался бежать, сел на землю и скрестил ноги. Тут подъехал селихтар Мехмет и отрубил ему голову.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Мне неизвестно, в какую эпоху произошло событие, послужившее сюжетом этой маленькой поэмы. Гузлар, исполнявший ее для меня, смог сообщить мне только одно — что он слышал ее от отца и что она принадлежит к числу древнейших.

<sup>2</sup> Морлаки терпеть не могут далматинцев, которые отвечают им тем же. Дальше мы увидим, что поражение автор приписывает измене далматинцев.

<sup>3</sup> В этой стране евреев ненавидят и хрисгиане и турки; во всех войнах те и другие поступали с ними исключительно жестоко. Они и были и доныне остались несчастными, как «летающая рыба», — пользуюсь остроумным сравнением сэра Вальтера Скотта.

<sup>4</sup> Баня Лука долгое время была столицей боснийского беглербея. Теперь столица этого пашылака — Босна Серай.

<sup>5</sup> Иллирийский обычай. равносильный клятве победить или умереть.

<sup>6</sup> Селихтар — турецкое слово, в переводе означающее «меченосец». Это одна из главнейших должностей при дворе паши.

#### О ВАМПИРИЗМЕ

В Иллирии, в Польше, в Венгрии, в Турции и в некоторых частях Германии вам бросили бы упрек в безверии и безнравственности, если бы вы стали публично отрицать существование вампиров.

Вампиром (по-иллирийски — *вукодлак*) называется мертвец, выходящий, обычно по ночам, из своей могилы, чтобы мучить живых. Часто он высасывает кровь из шеи, а иногда сжимает горло и душит до полусмерти. Те, кто погибает жертвой вампира, сами становятся после смерти вампирами. По-видимому, вампиры совершенно теряют всякое чувство привязанности к близким людям, ибо установлено, что они гораздо чаще мучат своих друзей и родственников, чем посторонних.

Некоторые полагают, что человека делает вампиром божья кара, другие — что это проклятие рока. Наиболее распространено мнение, что еретики и отлученные от церкви, которых похоронили в освященной земле, не могут найти в ней покоя и мстят живым за свою муку.

Признаки вампиризма следующие: труп сохраняется дольше, чем обычно, — тогда, когда всякое другое тело разложилось бы; кровь не свертывается, члены тела сохраняют гибкость и т. д. Говорят также, что вампиры лежат в могиле с открытыми глазами, что ногти и волосы у них растут, как у живых. Иногда их можно узнать по тому, что из могил доносятся звуки, ибо они грызут все, что их окружает, даже свое собственное тело.

Призраки эги перестают появляться, если, вскрыв их могилы, отрубить им голову, а затем сжечь тело.

Самое обычное лекарство после первого нападения вампира — обмазать себе все тело и в особенности то место, из которого он сосал, кровью его жил, смешанной с землей, взятой с его могилы. Рана, которую находят на теле больного, представляет собой маленькое синеватое или красное пятнышко, похожее на след от укуса пиявки.

Вот несколько рассказов о вампирах, приведенных доктором Кальме в его *Трактате о явлениях духов, о вампирах и т. д.*

«В начале сентября в деревне Кизилова, в трех милях от Градиша, умер старик шестидесяти двух лет. Через три дня после похорон он явился ночью своему сыну и попросил, чтобы ему дали поесть; тот подал ему, он поел и исчез. На другой день сын рассказал соседям о случившемся. В эту ночь отец не появлялся, но на следующую опять явился и попросил есть. Неизвестно, дали ему сын поесть, но наутро сына нашли мертвым в постели. В тот же день в деревне заболели пять или шесть

человек, которые и умерли один за другим через несколько дней.

Местный судья или староста, будучи извещен об этом деле, сообщил о нем в Белградский суд, а суд прислал в деревню двух своих чиновников и палача, чтобы расследовать это дело.

Имперский чиновник, рассказавший нам об этом случае, выехал туда из Градиша, чтобы лично наблюдать явление, о котором он так часто слышал.

Были разрыты могилы всех умерших за последние полтора месяца; когда дошли до могилы старика, увидели, что он лежит с открытыми глазами, с румяным лицом и дышит, как живой, хотя и недвижим, как полагается мертвецу, из чего заключили, что он явный вампир. Палач вбил ему в сердце кол. Затем зажгли костер, и труп был обращен в пепел. Ни на трупе сына, ни на трупах других умерших не обнаружили никаких признаков вампиризма.

Около пяти лет тому назад некий гайдук, житель Медрейги, по имени Арнольд Павел, был раздавлен опрокинувшейся на него телегой с сеном. Месяц спустя после его смерти четыре человека внезапно умерли, причем именно так, как, согласно местным поверьям, умирают замученные вампирами. Тогда вспомнили, что этот Арнольд Павел часто рассказывал о том, как в окрестностях Косова и на границах турецкой Сербии его мучил вампир (ибо местные люди также верят, что те, кто при жизни был пассивным вампиром, становятся после смерти активными, то есть те, кого сосал вампир, сами начинают сосать), но что он излечился, поев земли с могилы вампира и натершись его кровью. Эта предосторожность, однако, не помешала ему самому стать после смерти вампиром, ибо когда через сорок дней после погребения его вырыли, то нашли на нем все признаки самого явного вампира. Лицо его было румяно, волосы, ногти и борода отросли, а жилы были полны свежей кровью, вытекавшей из всех частей его тела на саван, в который он был завернут. Хаднаджи, или местный староста, в присутствии которого была разрыта могила, человек весьма сведущий в вампиризме, приказал, согласно обычаю, воткнуть в сердце покойного Арнольда Павла острый кол, и пронзил его тело насквозь; говорят, что при этом он

испустил ужасный вопль, как если бы был живой. После этого ему отрубили голову и сожгли труп. Затем то же самое проделали с трупами четырех людей, после него умерших от вампиризма, для того чтобы они, в свою очередь, не умертвили других.

Однако, несмотря на все эти предосторожности, в конце прошлого года, то есть спустя пять лет, эти прискорбные явления снова повторились, и несколько жителей той же деревни трагически погибло. На протяжении трех месяцев семнадцать человек обоего пола и разного возраста умерли от вампиризма, причем некоторые из них совсем не болели, а другие мучились два или три дня. Передают, между прочим, что некая Станоска, дочь гайдука Иотвильцо, легшая спать совершенно здоровой, среди ночи проснулась, дрожа и издавая ужасные вопли; она утверждала, что сын гайдука Милло, умерший девять недель назад, чуть не задушил ее во время сна. С тех пор она стала чахнуть и через три дня умерла. То, что девушка сказала о сыне Милло, сразу же заставило признать его вампиром; его вырыли из земли и обнаружили, что так оно и есть. Местные власти, лекари и врачи стали расследовать, каким образом вампиризм мог возродиться, после того как несколько лет назад были приняты такие меры предосторожности.

Наконец после долгих поисков было установлено, что покойный Арнольд Павел убил не только четырех человек, о которых мы говорили, но также несколько животных, мяса которых отведали новые вампиры и между ними сын Милло. На основании этих данных было решено вырыть всех тех, кто умер недавно, и соответственно поступить с ними. Примерно из сорока вырытых трупов на семнадцати были обнаружены самые явные признаки вампиризма. Поэтому всем им пронзили сердца и отрубили головы, а затем их тела были сожжены и пепел брошен в реку.

Расследование это было произведено и меры, о которых мы сейчас говорили, были приняты с соблюдением всех правил и в надлежащей форме и засвидетельствованы многими офицерами местных гарнизонов, главными полковыми врачами и наиболее почтенными из местных жителей. Протокол был в конце января этого года представлен императорскому военному совету в Вене, и

совет назначил военную комиссию для проверки означенных фактов» (д. Кальме, т. II).

Я закончу рассказом об одном происшествии в том же роде, свидетелем которого я сам был; предоставляю судить о нем читателям.

В 1816 году я предпринял экскурсию пешком в Воргораз и остановился в деревушке Варбоска. Мой хозяин был довольно состоятельный для этой местности морлак по имени Вук Польонович, человек весьма гостеприимный и любящий выпить. Жена его была молода и еще хороша собой, а шестнадцатилетняя дочь просто очаровательна. Мне захотелось прожить несколько дней у него в доме, чтобы зарисовать древние развалины, находившиеся по соседству с деревней. Но за деньги получить комнату было невозможно, и мне пришлось остаться у него на положении гостя. Это обязывало меня проявлять благодарность, довольно тягостную, ибо мне приходилось выпивать с моим другом Польоновичем до тех пор, пока он не благоволил подняться из-за стола. Всякий, кто обедал в обществе морлака, поймет всю трудность моего положения.

Однажды вечером, примерно через час после того, как обе женщины оставили нас, в то время, как я, чтобы не пить вино, пел моему хозяину песни его родины, до нас донеслись из спальни ужасные вопли. Обычно в доме бывает только одна спальня, где спят все. Схватив оружие, мы бросились туда и увидели ужасное зрелище. Бледная и растрепанная мать поддерживала свою потерявшую сознание дочь, которая была еще бледнее ее и лежала на охапке соломы, служившей ей постелью. Мать кричала: «Вампир! Вампир! Моя бедная дочь умерла!»

Общими усилиями мы привели в чувство несчастную Каву. По ее словам, она видела, как открылось окно и какой-то бледный, закутанный в саван человек набросился на нее, укусил и попытался задушить. Когда она стала кричать, призрак обратился в бегство, а она лишилась чувств. Однако ей показалось, что в вампире она узнает одного из местных жителей, по имени Вечнанный, умершего две недели тому назад. На шее у нее было небольшое красное пятнышко; но это могла быть и родинка или во время кошмара ее укусило какое-нибудь насекомое.



Когда я осторожно высказал такое предположение, отец резко отверг его. Девушка плакала и ломала руки, беспрерывно повторяя: «Увы! Умереть такой молодой, еще до замужества!» А мать осыпала меня бранью, называла нечестивцем и утверждала, что собственными глазами видела вампира и узнала Вечнаного. Я решил молчать.

Вскоре на шею Кавы повешены были все ладанки, какие только нашлись в доме и во всей деревне, а ее отец клялся, что завтра же выроет труп Вечнаного и сожжет в присутствии всех его родичей. Так прошла ночь, и успокоить их не было никакой возможности.

На рассвете вся деревня пришла в движение. Мужчины вооружились ружьями и ханджарами; женщины несли раскаленное железо; дети — камни и палки. Все отправились на кладбище, крича и осыпая бранью покойника. С большим трудом удалось мне пробиться через эту остервенелую толпу и стать около могилы.

Тело вырывали долго. Все хотели принять в этом участие и мешали другу другу. Не обошлось бы без несчастных случаев, если бы не вмешались старики, они велели, чтобы извлечением трупа занялись только двое мужчин. В тот момент, когда снимали простыню, покрывавшую тело, раздался пронзительный вопль, от которого волосы встали у меня дыбом. Это кричала женщина, стоявшая рядом со мною: «Вампир! Его не тронули черви!» Возглас этот был повторен сотнею уст.

Двадцать одновременных ружейных выстрелов, сделанных в упор, раздробили голову трупа, а отец и родичи Кавы принялись, кроме того, наносить ему удары своими длинными ножами. Женщины пропитывали тряпки красной жидкостью, струившейся из искромсанного тела, чтобы обмазать ею шею больной.

Тем временем молодые люди вытащили труп из могилы и, хотя он был изуродован ножами и пулями, из предосторожности крепко привязали его к еловому бревну и в сопровождении детворы поволокли к фруктовому садку перед домом Польоновича, где были уже заранее приготовлены вязанки хвороста с соломой. Развели костер, бросили труп в огонь, и вся толпа принялась плясать вокруг него, стараясь кричать как можно громче и все время подбрасывая топливо. От костра распростра-

нялось зловоние, вскоре заставившее меня уйти и вернуться к моему хозяину.

Дом был полон народу; мужчины курили трубки; женщины говорили все сразу и осыпали вопросами больную, а та, все еще очень бледная, едва им отвечала. Шея ее была обернута тряпками, вымазанными красной зловонной жидкостью, которую они принимали за кровь и которая представляла ужасающий контраст с полуобнаженной грудью и плечами бедной Кавы.

Мало-помалу толпа разошлась, и из чужих в доме остался один я. Болезнь оказалась длительной. Кава очень боялась наступления ночи и все время требовала, чтобы кто-нибудь бодрствовал около ее постели. Так как родителям ее, уставшим от дневной работы, тяжело было не спать по ночам, я предложил свои услуги, и они были с благодарностью приняты. Я знал, что, по понятиям морлаков, в моем предложении не было ничего неприличного.

Никогда не забуду я ночей, проведенных подле этой несчастной девушки. Она вздрагивала от треска половицы, от свиста ветра, от малейшего шума. Когда ей удавалось задремать, ее мучили ужасные видения, и часто она внезапно с криком просыпалась. Ее воображение было поражено привидевшимся ей сном, а местные кумушки окончательно свели ее с ума страшными рассказами. Часто, чувствуя, что у нее слипаются глаза, она говорила мне: «Не засыпай, прошу тебя. Держи в одной руке четки, а в другой ханджар. Стереги меня хорошенько». Иногда же она не соглашалась засыпать иначе, как крепко держа обеими руками мою руку, и так сжимала ее, что на ней долго оставались следы ее пальцев.

Ничто не могло отвлечь ее от преследовавших ее мрачных мыслей. Она ужасно боялась смерти и, несмотря на все наши попытки утешить и успокоить ее, считала себя безвозвратно погибшей. За несколько дней она ужасно похудела, губы ее совсем побелели, а большие черные глаза казались еще более блестящими, чем обычно; на нее действительно было жутко глядеть.

Я попытался подействовать на ее воображение, притворившись, что разделяю ее мысли. К несчастью, я не мог рассчитывать на ее доверие, так как вначале смеял-

ся над ее легковерием. Я сказал ей, что у себя на родине изучил белую магию, что мне известно могущественное заклинание против злых духов и что, если она хочет, я произнесу его на свой страх и риск из любви к ней.

Сперва, по доброте душевной, она побоялась, как бы это не поссорило меня с господом богом. Но вскоре страх смерти пересилил эти опасения, и она попросила меня испытать мое заклинание. Я знал наизусть несколько французских стихов из Расина; я прочел их громким голосом перед бедной девушкой, которой казалось, что она слышит язык дьявола. Затем я стал растирать ее шею на все лады и сделал вид, что извлекаю оттуда маленький красный агат, который предварительно спрятал у себя между пальцами. После этого я с серьезным видом уверил ее, что вынул камень у ней из шеи и что теперь она спасена. Но она грустно поглядела на меня и сказала: «Ты меня обманываешь. Этот камешек был у тебя в маленькой коробочке, я сама видела. Ты не волшебник». Таким образом, моя хитрость принесла ей больше вреда, чем пользы. С этого момента девушке делалось все хуже и хуже.

В ночь перед смертью она сказала: «Я сама виновата, что умираю. Один человек (она назвала мне одного парня из ее деревни) хотел умыкнуть меня. Я не захотела и потребовала от него серебряную цепочку за согласие бежать с ним. Он поехал в Мкараску, чтобы купить ее, а в это время явился вампир. Впрочем,—прибавила она,—если бы меня не было дома, он, может быть, убил бы мою мать. Так все-таки лучше».

Наутро она позвала отца и заставила его обещать, что после ее смерти он сам перережет ей горло и поджилки, дабы она, в свою очередь, не стала вампиром; она ни за что не соглашалась, чтобы это бесполезное надругательство над ее телом произвел кто-нибудь другой. Затем она поцеловала мать и попросила ее освятить четки у могилы одного святого, неподалеку от деревни, и принести их ей освященными. Меня тронула деликатность этой крестьянки, которая нашла предлог, чтобы помешать матери присутствовать при ее последних минутах. Меня она заставила снять с ее шеи одну ладанку. «Возьми ее,—сказала она,—надеюсь, что тебе она больше пригодится, чем мне». Затем она с благоговением

причастилась. Через два или три часа после этого ее дыхание участилось, а глаза уставились в одну точку. Вдруг она схватила руку отца и сделала такое движение, словно хотела броситься ему на грудь; ее жизнь преклась. Она проболела одиннадцать дней.

Через несколько часов я уехал из этой деревни, от всей души посылая к чертям вампиров, призраков и всех тех, кто о них рассказывает.

## ПРЕКРАСНАЯ СОФЬЯ<sup>1</sup>

### *Лирическая сцена*

#### ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Нё ч и ф о р.	С о ф ь я.
Бей Мойна.	Х о р ю н о ш е й.
О т ш е л ь н и к.	Х о р с в а т о в <sup>3</sup> .
К у м <sup>2</sup> .	Х о р д е в у ш е к.

#### I

#### Ю н о ш и

Юноши Врачина! Седлайте вороных коней, надевайте вышитые чепраки на вороных коней. Одевайтесь нынче в новое платье, каждый нынче должен нарядиться, взять ятаган свой с серебряной рукояткой и пистолеты, украшенные филигранью. Не сегодня ли богатый бей Мойна женится на прекрасной Софье?

#### II

#### Нё ч и ф о р

Мать моя, мать! Оседлана ли моя вороная кобыла? Мать моя, мать! Ржет моя вороная кобыла. Дай мне золоченые пистолеты, что я отнял у одного бим-баші. Дай мне ятаган с серебряной рукояткой. Слушай, матушка! У меня в шелковом кошельке осталось десять цехинов; я хочу их бросить музыкантам на свадьбе. Не сегодня ли богатый бей Мойна женится на прекрасной Софье?

### III

#### С в а т ы

О Софья! Надевай свою красную фату, свадебный поезд приближается. Слышишь, как они стреляют в твою честь из пистолетов? <sup>4</sup> Музыкантши! Спойте нам песню об Иво Валачано и прекрасной Агате. Вы, старики, играйте на гузлах. Ты, Софья, бери решето, кидай орехи <sup>5</sup>. Пусть у тебя родится столько же сыновей! Богатый бей Мойна женится на прекрасной Софье.

### IV

#### С о ф ь я

Иди справа от меня, матушка; иди слева, сестрица. Старший братец! Веди под уздцы коня. Младший братец! Держи наспинный ремень! — Кто этот бледный юноша на вороной кобыле? Почему он сторонится молодых сватов? Ах, я узнаю Нечифора: не вышло бы какой беды! Нечифор полюбил меня еще раньше, чем богатый бей Мойна.

### V

#### Н е ч и ф о р

Пойте, музыкантши, пойте, словно стрекозы! Есть у меня десять золотых червонцев: пять я дам музыкантам, пять — гузларам. — О бей Мойна! Почему ты глядишь на меня со страхом? Разве не тебя полюбила красавица Софья? Разве у тебя не столько цехинов, сколько седых волос в бороде? Не для тебя приготовлены мои пистолеты. Но, но, черная кобыла! Скачи в долину скорби! Я сниму с тебя нынче вечером седло и уздечку. Нынче вечером ты станешь свободной, не будет у тебя больше хозяина.

### VI

#### Д е в у ш к и

Софья, Софья, да благословят тебя все святые! Бей Мойна, да благословят тебя все святые! Народить вам

двенадцать сыновей, светлокудрых красавцев, смелых и отважных. Солнце садится, бей тебя поджидает под войлочным пологом своего шатра. Спеши, Софья, прощайся с родимой матушкой, следуй за кумом. Нынче вечером ты будешь покоиться на шелковых подушках; ты — супруга богатого бей Мойна.

## VII

### Отшельник

Кто смеет стрелять подле моей кельи? Кто смеет убивать ланей, которых охраняет святой Златоуст и его отшельник? Но не лань убита этим выстрелом. Человек пал от этой пули, и вот его вороная кобыла бежит на воле. Да смилостивится господь над твоей душой, бедный путник! Я тебе вырою могилу на песчаном берегу потока.

## VIII

### Софья

О господин мой, руки твои — ледяные! О господин мой, волосы твои влажны! Дрожу я в твоей постели под твоими персидскими покрывалами. Поистине, господин мой, тело твое — как лед. Холодно мне, дрожу я и трепещу. Ледяным потом покрыты все мои члены. Ах, да сжалятся надо мной богородица пресвятая! Чую, близка моя смерть.

## IX

### Бей Мойна

Где же она, моя любимая, где прекрасная Софья? Почему она не приходит под войлочный полог шатра? Рабы! Ступайте за ней и скажите музыкантам, чтобы они громче играли. Завтра я брошу им орехов и золотых червонцев. Пусть моя мать передаст прекрасную Софью куму! Давно уж я жду ее в своем свадебном шатре!

## Х

### К у м

Благородные сваты! Пусть каждый наполнит свою чару, пусть каждый ее осушит! Невеста забрала наши цехины, стащила наши серебряные цепочки<sup>6</sup>. А мы ей в отместку не оставим в их доме ни кружки водки. Новобрачные удалились к себе. Я развязал пояс супруга. Будем же веселиться! Прекрасная Софья выходит замуж за богатого бея Мойна.

## ХІ

### С о ф ь я

Господин мой! Чем я провинилась? За что ты сдавил так мою грудь?словно мертвое тело навалилось на меня свинцовой тяжестью, богородица пресвятая! Горло мое сжато; мне чудится, я задыхаюсь. О подруги, помогите мне! Душит меня бей Мойна! Матушка, матушка, помоги мне! Прокусил он мне жилу на шее и сосет мою кровь!

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Эта очень старинная баллада, облеченная в драматическую форму, редко встречающуюся в иллирийской поэзии, считается образцом хорошего стиля у морлакских гузларов. Говорят, что основанием для нее послужило истинное происшествие, и в долине Синя до сих пор еще показывают старинную могилу, в которой покоятся Софья и бей Мойна.

<sup>2</sup> Кум — это крестный отец одного из молодых. Он сопровождает их в церковь и следует за ними до спальни, где развязывает пояс новобрачному, который, согласно старинному суеверию, не должен ничего разрезать, связывать или развязывать. Кум имеет даже право потребовать, чтобы супругов раздели в его присутствии. Когда, по его мнению, брак уже свершился, он стреляет в воздух из пистолета, и вслед за тем все сваты начинают издавать радостные крики и стрелять в воздух.

<sup>3</sup> Это члены обоих семейств, собравшихся на свадьбу. Глава одной из семей является как бы старшиной сватов и называется *старисват*. Двое молодых людей, называемых *дивери*, сопровождают невесту и покидают ее лишь тогда, когда кум передает ее мужу.

<sup>4</sup> Во время пути невесты сваты все время стреляют из пистолетов — таков обычный аккомпанемент всех праздников — и издают ужасные вопли. Прибавьте к этому гузларов и музыкантш, которые поют эпиталамы, зачастую импровизированные, и вы получи-



те представление о невероятном шуме, которым сопровождается морлакская свадьба.

<sup>5</sup> Входя в дом мужа, невеста получает из рук свекрови или одной из родственниц (со стороны мужа) полное решето орехов; она кидает их через голову, а затем целует порог дома.

<sup>6</sup> Женщина получает в приданое только одежду и иногда еще корову, но она имеет право требовать подарков у каждого из сватов, а кроме того, ей принадлежит все, что она сумеет у них стащить. В 1812 году я утратил таким образом прекрасные часы; к счастью, невеста не знала их цены, и я смог выкупить их за два цехина.

## ИВКО

### I

Возвращался Ивко ночью из города, а дорога проходила через кладбище. Был он изрядным трусом — хуже бабы — и дрожал точно в лихорадке.

### II

Дошел Ивко до погоста, стал поглядывать направо, налево, и слышалось ему, будто поблизости что-то грызут. Сразу же пришло ему в голову: брукалак<sup>1</sup> ест в своей могиле.

### III

«Горе мне, горе! — сказал он. — Пропала моя головушка! Как только он меня завидит, сразу же захочет сожрать, я ведь такой жирный! Надо бы мне поесть землицы с его могилы<sup>2</sup>, а не то наверняка погибну».

### IV

Он нагнулся, чтобы взять земли. А на могиле собака грызла баранью кость. Показалось ей, хочет Ивко отнять у нее косточку. Кинулась она на него и до крови прокусила ему ногу.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Нечто вроде вампира (см. заметку *О вампиризме*).

<sup>2</sup> Этим предохранительным средством пользуются очень часто. Считается, что оно очень помогает.

# ИМПРОВИЗАЦИЯ ИАКИНФА МАГЛАНОВИЧА<sup>1</sup>

## I

Чужеземец! Чего ты просишь у старого гузлара? Чего ты хочешь от старика Маглановича? Или ты не видишь, что усы его поседели? Или не видишь, что высохшие руки его дрожат? Как он сможет, больной старик, извлечь хоть один звук из своей гузлы, такой же старой, как сам он?

## II

Черными были когда-то усы Иакинфа Маглановича. Умела его рука метко наводить пистолет. Окружали его парни и девушки, разевавшие от восторга рты, когда соглашался он сидеть за столом на пиру и играть на звонкой своей гузле.

## III

Для того ли я стану петь, чтобы молодые гузлары смеялись промеж собой: помер, мол, Иакинф Магланович, гузла его фальшивит, и сам не знает, что болтает дряхлый старик? Пусть уступит он место другим, кто поискусней его, услаждать ночные часы своими песнями, чтобы время летело незаметно.

## IV

Ну что ж! Идите сюда, молодые гузлары, послушаем ваши мелодичные песни. Старик Магланович бросает вам вызов. На состязаниях он побеждал ваших отцов, одолеет и вас. Ибо Иакинф Магланович подобен развалинам старых замков...<sup>2</sup> Разве новые дома лучше их?

## V

Гузла Иакинфа Маглановича так же стара, как он сам; еще ни разу она себя не опозорила, подыгрывая пло-

хому певцу. Когда умрет старый певец, кто осмелится взять его гузлу, кто решится на ней играть? Воина хоронят с его саблей: Магланович ляжет в могилу с гузлой на груди.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Все заставляет думать, что эта песня действительно представляет собой импровизацию. Среди своих соотечественников Магланович пользовался большой славой как импровизатор. По словам знатоков, этот его экспромт — один из самых удачных.

<sup>2</sup> Намек на древние сооружения, величавые развалины которых попадаются там на каждом шагу.

### КОНСТАНТИН ЯКУБОВИЧ

#### I

Константин Якубович сидел на скамье у дверей своего дома. Сын перед ним резвился, играя с его саблей. Жена его Мильяда сидела на корточках у его ног<sup>1</sup>. Вышел из лесу чужеземец, приблизился и подал ему руку.

#### II

Лицо у него молодое, но волосы уже поседели, глаза потускнели, щеки ввалились, и он шатается на ходу. «Брат! — говорит он Константину. — Меня томит жажда; дай испить». Поднялась тотчас же Мильяда, принесла ему водки и молока.

#### III

«Скажи, брат, что это там за холмик с зелеными деревьями?» — «Видно, ты никогда здесь не был, — ответил Константин Якубович. — Это кладбище нашего рода». — «Значит, там вы и положите меня на покой, ибо жить мне осталось недолго».

#### IV

Развязал он свой алый широкий пояс — и открылась кровавая рана. «Со вчерашнего дня уже грудь мою рывает пуля собаки-басурмана: нет мне ни жизни, ни смерти». Мильяда его поддержала, и Константин осмотрел рану.

#### V

«Горькой была моя жизнь, горькой будет и кончина. Но пускай меня похоронят на вершине того холма, под солнышком. Был я великий воин в дни, когда легкой казалась руке моей любая сабля».

#### VI

На губах его заиграла улыбка, глаза вышли из орбит; и вдруг голова склонилась набок. Мильяда крикнула мужу: «Константин, помоги мне! Этот чужеземец слишком тяжел, одной мне держать его трудно». Понял тогда Константин, что чужеземец умер.

#### VII

Положил он его на лошадь и отвез на кладбище, не подумав о том, что телу иноверца-грека не годится лежать в земле, освященной по латинскому обряду<sup>2</sup>. Вырыли они могилу на хорошем солнечном месте и похоронили чужеземца, положив с ним ханджар и саблю, как хоронят доброго воина.

#### VIII

Но прошла неделя — и заболел у Константина ребенок: губы его побелели, и от слабости он едва мог ходить. Печальный, лежал он на циновке, а раньше так любил бегать и резвиться! Но волею providения пришел к Константину отшельник, который жил по соседству.

#### IX

«Не простая болезнь у твоего сына. Видишь красное пятно на его белой шейке? Это укус вампира». Положил он в мешок свои книги, пошел на кладбище и велел разрыть могилу, в которой похоронили чужеземца.

## X

А тот лежал румяный и свежий, борода его отросла, ногти стали длинные и заострились, как птичьи когти. Рот был кроваво-красный, а могила полна крови. Константин поднял острый кол, чтобы пронзить ему сердце. Но мертвец закричал и убежал в лес.

## XI

Даже конь быстрее не мчится, когда стремя режет ему бока<sup>3</sup>. Чудовищный призрак бежал так, что сгибались молодые деревья, а большие ветки ломались, словно стали хрупкими от мороза.

## XII

Взял отшельник из ямы земли, смешанной с кровью, и натер ею тело ребенка. То же самое сделали Константин и Мильяда. А вечером они сказали: «В этот час умер злой чужеземец». И когда они говорили, собака завывала и спряталась в ногах своего хозяина.

## XIII

Распахнулась дверь и, нагнувшись, вошел в горницу великан. Сел он, скрестив ноги, и голова его касалась потолка. Он смотрел, улыбаясь, на Константина, а тот глядел на вампира, околдованный его взглядом.

## XIV

Но отшельник раскрыл книгу и бросил в огонь веточку розмарина. Потом он дунул на пламя и, направив на призрака дым, заклил вампира именем Иисуса. Вскоре вампир задрожал и бросился к двери, словно отравленный волк.

## XV

На вторые сутки, в тот же час, снова завывала собака. Вошел человек и сел. Ростом он был, как бравый

рекрут, и в упор смотрел он на Константина, чтобы околдовать его взглядом. Но заклиал его отшельник, и вампир убрался восвояси.

## ХVI

А на третьи сутки в горницу вошел маленький карлик, который мог бы сидеть верхом на крысе. Все же горели глаза его, словно факелы, и зловещим был взгляд. Но отшельник в третий раз прочитал заклятья, и он исчез навсегда.

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> В морлакских семьях муж спит на кровати, если таковая имеется, а жена на полу. Это — одно из доказательств того презрения, с которым относятся в этой стране к женщинам. Муж никогда не упоминает имени своей жены перед чужими, не извинившись: «Да простите, моя жена».

<sup>2</sup> Православный, похороненный на католическом кладбище, становится вампиром, и наоборот.

<sup>3</sup> Турецкие стремяна плоски, похожи на башмаки и остры по краям, поэтому они служат шпорами.

### ЭКСПРОМТ<sup>1</sup>

Снег на вершине Пролога не белее, чем твоя грудь. Безоблачное небо не синее твоих глаз. Золото твоего ожерелья не так сверкает, как твои косы, и лебяжий пух не так нежен на ощупь, как они. Когда ты открываешь рот, я вижу, что зубы твои подобны миндалинам без кожуры. Счастлив твой муж! Народи ему сыновей, похожих на тебя!

### ПРИМЕЧАНИЕ

<sup>1</sup> Этот экспромт был сочинен по моей просьбе старым морлаком в честь одной англичанки, посетившей Трогире в 1816 году. В книге полковника барона фон Мейендорфа, где описывается его путешествие в Бухару, я нашел песню киргизской девушки, очень похожую на эту. Позволяю себе привести ее здесь.

Видишь снег? Тело мое белей его. Видишь на снегу кровь зарезанного барана? Щеки мои алей ее. Взойди на эту гору, ты найдешь там обгорелый ствол дерева; но косы мои черней его. Около султана всегда есть муллы, которые много пишут, но мои брови черней их чернил,

## ВАМПИР<sup>1</sup>

### I

В болотах Ставилы, у ручья, лежит на спине мертвец. Это проклятый венецианец, который обманул Марию, который сжег наши дома. Пуля пробила ему горло, ятаган пронзил его сердце; но уже три дня лежит он на земле, и из ран его все еще течет алая и горячая кровь.

### II

Глаза его потускнели, но они глядят вверх. Горе тому, кто пройдет мимо этого трупа! Ибо кто может противиться его очаровывающему взгляду? Растут у него и ногти и борода<sup>2</sup>. В страхе улетают от него вороны, хоть обсели они храбрых гайдуков, лежащих тут же кругом.

### III

Улыбаются окровавленные губы, словно у спящего человека, мучимого нечистой страстью. Подойди, Мария, и посмотри на него, ради кого ты отвергла свой дом и семью! Если посмеешь, поцелуй эти бледные окровавленные губы, которые лгали так умело. Много слез из-за него было пролито при его жизни. Еще больше прольется после его смерти.

. . . . .

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Этот отрывок баллады интересен прекрасным описанием вампира. По-видимому, он связан с одной из мелких войн, которые вели гайдуки с венецианским подестой,

<sup>2</sup> Явные признаки вампиризма.



# ССОРА ЛЕПЫ И ЧЕРНОГОРА<sup>1</sup>

## I

Да будет проклят Остоич! Да будет проклят и Николо Дзиани, Николо Дзиани с дурным глазом! Пусть изменят им жены, и пусть дети их будут уродами! Пусть погибнут они как подлые трусы! Погубили они двух славных вождей.

.....

## II

Кто умеет читать и писать, кто любит сиднем сидеть, пусть торгует в городе тканями. У кого смелое сердце, пусть берет острую саблю и идет на войну. На войне богатеет молодежь...

## III

О Лепа! О Черногор! Поднимается ветер, ставьте все паруса. Святая дева и святой Евсевий охраняют ваши легкие ладьи. Ладьи ваши — словно два орла, что спустились с черной горы похищать в долине ягнят.

## IV

Лепа доблестен в битве, Черногор тоже храбрый воин. Отнимают они драгоценности в городах у богатых бездельников. Но щедры они с гузларами, как подобает храбрецам, и много жертвуют беднякам<sup>2</sup>.

## V

Зато им и отдали сердце первейшие из красавиц. Лепа женился на прекрасной Ефимии, Черногор женился на светлокудрой Настасье. Возвращаясь из морского похода, призывали они искусных гузларов и веселились, попивая вино и водку.

## VI

Захватили они однажды богатую ладью, вытащили ее на берег и нашли в ней прекрасную парчовую одежду<sup>3</sup>. Верно, прежний владелец жалел о такой потере. Но из-за этой богатой ткани едва не вышло большой беды, ибо Лепе она приглянулась и Черногору тоже.

## VII

«Первым я вошел в эту ладью,— сказал Лепе.— Я возьму парчовую одежду для жены моей Ефимии». Но Черногор ему ответил: «Нет, забирай все остальное, а в это платье я наряжу мою жену Настасью». И оба они вцепились в платье и стали тянуть к себе, так что оно едва не порвалось.

## VIII

Черногор побледнел от гнева. «Ко мне, мои молодцы! Помогите мне взять одежду!» Выхватил он пистолет, но не попал в Лепу, а убил его оруженосца<sup>4</sup>. Тотчас сабли вылетели из ножен: страшно было смотреть на это дело, страшно о нем и рассказывать.

## IX

Тогда старый гузлар бросился между ними. «Стойте! — крикнул он.— Разве можно затевать братоубийство из-за парчовой одежды?» Схватил он ее и разорвал на куски<sup>5</sup>. Первым вложил свою саблю в ножны Лепе, а за ним то же сделал и Черногор. Но искоса глядел он на Лепу, ибо с его стороны пало одним воином больше<sup>6</sup>.

## X

Не пожали они друг другу руки, как делали это обычно, но разошлись, полные гнева и помышляя о мести. Лепе ушел в горы, Черногор двинулся вдоль побережья. И Лепе думал про себя: «Он убил моего любимого оруженосца, который разжигал мою трубку. Но он за это поплатится.

## XI

Я приду в его дом, возьму его любимую жену и продам ее туркам, чтобы он никогда ее больше не увидел». Взял он двенадцать дружинников и пошел к дому Черногогора. Позже я расскажу, почему он не застал Черногогора дома.

## XII

Подошел Лепа к дому Черногогора и увидел прекрасную Настасью, которая готовила мясо молодого ягненка<sup>7</sup>. «Добрый день, господин! — молвила Настасья. — Выпей стакан водки». — «Не затем я пришел, чтобы пить водку, я пришел забрать тебя с собою: быть тебе у турок рабыней, и никто тебя не выкупит из рабства».

## XIII

Взял он светлокудрую Настасью и, хотя она громко кричала, отнес ее в свою ладью и продал на турецкую каравеллу, что стоит на якоре у берега. Вот и все о делах Лепы; спою теперь про Черногогора. Был он взбешен тем, что с его стороны пало одним воином больше. «Будь проклята моя рука! Не попал я в злого недруга.

## XIV

Но раз уж я не смог его убить, захвачу я его любимую жену и продам ее на каравеллу, что стоит на якоре у берега. Вернется он к себе домой, не увидит своей Ефимии и, наверно, умрет от горя». Вскинул Черногогор ружье на плечо и пошел к прекрасной Ефимии.

## XV

«Вставай, Ефимия, вставай, жена Лепы, и ступай со мной вон к тому кораблю». — «Как, государь, ты хочешь предать своего друга?» Но он схватил ее за длинные черные косы, вскинул ее на плечи и отнес в свою ладью, а потом на турецкую каравеллу.

## XVI

«Хозяин! За эту женщину я хочу шестьсот червонцев». — «Дорого, — ответил хозяин. — Только что за пятьсот купил я женщину красивей этой». — «Ладно, пусть будет пятьсот червонцев, но покажи мне ту женщину». Получил он пятьсот червонцев и отдал прекрасную Ефимию, а Ефимия горько плакала.

## XVII

Вошли они вместе в каюту, и хозяин поднял чадру прекрасной Настасьи. И, увидев свою любу, криком закричал Черногор, и впервые покатались слезы из его черных глаз. Захотел он выкупить жену, но турок отказался продать.

## XVIII

Сжав кулаки, Черногор прыгнул в свою ладью. «Гребите, мои молодцы, гребите к берегу, живо! Соберу я всю свою дружину и захвачу корабль, на котором томится любя моя Настасья!» Ладья летела по волнам, словно дикая утка; нос ее обдавало пеной.

## XIX

У берега увидел он Лепу; тот рвал на себе волосы. «Ах, жена моя Ефимия, ты в плену на этой каравелле! Но я тебя освобожу или погибну сам!» Черногор спрыгнул на землю, подошел прямо к Лепе и пожал ему руку.

## XX

«Я похитил твою жену, ты похитил мою; я убил твоего любимого оруженосца, а ты у меня — одним дружинником больше. Вот мы теперь расквитались; да исчезнет наша вражда. Объединимся, как прежде, и вызволим наших жен». Лепа пожал ему руку и молвил: «Правильно, брат!»<sup>8</sup>.

Кликнули они своих молодых матросов; кладут в ладю ружья и пистолеты, гребут прямо к каравелле, верные братья, как бывало. Радостно было это видеть! Сцепились они с большим кораблем: «Наших жен, или жизнь!» Забрали они своих жен, но забыли вернуть за них деньги<sup>9</sup>.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Очевидно, эта интересная баллада не дошла до нас целиком. Можно предположить, что предлагаемый отрывок составлял раньше часть поэмы о жизни двух пиратов, Лепы и Черногора, от которой сохранился лишь один эпизод.

В первой строфе содержатся проклятия тем, кто стал виновником гибели обоих героев. Судя по их именам, один из тех, кого поэт, по всей видимости, обвиняет в предательстве, был морлак, а другой — далматинец или итальянец.

Вторая строфа написана другим размером, — не знаю, имел ли основание старик, который исполнял эту песню для меня, присоединить ее ко всему остальному. Впрочем, выраженные в ней чувства разделяются всеми морлаками. Рассказ о ссоре двух друзей начинается лишь с четвертой строфы.

<sup>2</sup> Здесь автор наивно выдает причину своего восхищения этими двумя разбойниками.

<sup>3</sup> Как известно, в Венеции изготавливались в большом количестве золотые и серебряные парчовые ткани восточных стран.

<sup>4</sup> При вождях всегда состоят своего рода пажи, которые в мирное время носят их трубки и варят им кофе, а во время войны заряжают ружья и пистолеты. В этом состоят главные обязанности морлакского пажа.

<sup>5</sup> По этой черточке можно судить, каким уважением пользуются старики и поэты.

<sup>6</sup> Когда бывает убит один из членов рода, сородичи стараются умертвить кого-либо из членов рода убийцы. Этот последний тоже находит мстителей, и нередко случается, что в течение года погибает человек двадцать из-за ссоры, к которой они не имели никакого отношения. Мир может быть заключен лишь тогда, когда с обеих сторон насчитывается равное количество убитых. Мириться, имея одним убитым больше, — значит признать себя побежденным.

<sup>7</sup> Буквально — копченую баранину с капустой: кушанье, называемое иллирийцами *паштерма*.

<sup>8</sup> «Брат» употреблено здесь как синоним слова «друг».

<sup>9</sup> Эта последняя черточка весьма характерна.

# ЛЮБОВНИК В БУТЫЛКЕ

## I

Девушки плетут циновки и слушают мою песню. Правда, девушки, вы были бы рады прятать, как прекрасная Кава<sup>1</sup>, своих возлюбленных в бутылку?

## II

Великое чудо можно было видеть в городе Требинье: самая прекрасная из девушек отвергла всех своих поклонников, молодых и храбрых, богатых и красивых.

## III

Но висит у нее на шее серебряная цепочка, а на цепочке склянка, и целует она склянку и целый день говорит с ней, называя своим любимым.

## IV

Сестры ее повыводили замуж за трех могучих и смелых беев. «Пора бы и тебе, Кава! Или ты, состарившись, хочешь слушать речи влюбленных юношей?»

## V

«Зачем мне выходить замуж за какого-нибудь бея? Есть у меня друг и сильнее и богаче. Какую ни пожелаю драгоценность — все он приносит по моему слову.

## VI

Захочу жемчужину со дна морского — он ее достает оттуда. Ни вода, ни земля, ни огонь не могут его остановить, если я прикажу ему.

## VII

И измены его я не боюсь: войлочный шатер, стены из дерева или камня держат не так крепко, как стеклянная бутылка».

## VIII

Из Требинье, да и изо всей округи, собирались люди поглядеть на такое чудо. И правда, когда она просила жемчужину, она тотчас же ее получала.

## IX

А когда просила цехинов<sup>2</sup>, чтобы украсить ими косы, стоило ей подставить подол — и они сыпались пригоршнями. Если бы она захотела герцогскую корону, то наверно бы и ее получила.

## X

Епископ, узнав о таком чуде, сильно разгневался. Захотел он изгнать беса, который преследовал прекрасную Каву. И велел он отнять у нее склянку.

## XI

«Верные христиане, молитесь со мною вместе, чтобы изгнать злого демона!» Сотворил он крестное знамение и сильно ударил по склянке молотком.

## XII

Склянка разбилась, и из нее брызнула кровь. Вскрикнула прекрасная Кава и упала мертвая. Вот жалость, что такую красавицу погубил демон!<sup>3</sup>

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Ева.

<sup>2</sup> Женщины украшают цехинами свои волосы, заплетенные в косы, спадающие на плечи. Эта мода особенно распространена в районах, примыкающих к турецким провинциям.

<sup>3</sup> В *Мире волшебства* знаменитого доктора Бальтазара Беккера я нашел одну историю, весьма сходную с этой:

«Около 1597 года произволением божием явился по молитвам верующих некий дух (сперва нельзя было сказать, злой он или добрый), из-за которого совершили отступничество несколько человек. Среди них была некая девица по имени Бьетка, за которой ухаживал юноша, звавшийся Захарием. Оба они были уроженцы Вецлама и воспитывались там. И вот этот юноша, хотя и принадлежал к духовному званию и собирался стать священником, тем не менее обручился с нею и дал обещание жениться. Но отец отговорил его, указав ему на его сан, и юноша, видя, что с женитьбой у него ничего не выйдет, впал в такую меланхолию, что покусился на собственную жизнь и повесился. Вскоре после его смерти к девице явился дух, притворившийся, что он есть душа повесившегося Захария, и сказал, что бог послал его, дабы он искупил свое



преступление, и что он явился сочетаться с нею и выполнить свое обещание, ибо она была главной причиной его смерти. Дух этот сумел так обольстить несчастную девушку, обещая сделать ее богатой, что ему удалось убедить ее: она поверила, что он дух ее покойного возлюбленного, и обручилась с ним. Слух о таком небывалом бракосочетании Бьетки с духом Захария с каждым днем все шире и шире распространялся по всей Польше, и любопытные начали стекаться отовсюду.

Многие дворяне, поверившие словам этого духа, вступили с ним в сношения, и некоторые даже стали его к себе приглашать. Таким способом Бьетка собрала много денег, тем более что дух не соглашался давать ответы, говорить с кем-либо или предсказывать что-либо иначе, как с ее согласия. Он прожил целый год в доме господина Трепки, правителя города Кракова. Затем, переходя из дома в дом, он под конец обосновался у одной знатной вдовы по имени Влодкова; там он прожил два года, причем проявлял все свое искусство и проделывал все, на что только он был способен.

Вот главное из того, что он умел делать. Он разъяснял прошлое и настоящее. Он ловко превозносил римско-католическую религию и громил евангелистов, утверждая, что все они осуждены. Он даже не подпускал ни одного из них к себе, считая, что они недостойны с ним беседовать. Но он позволял приближаться тем из них, относительно которых был уверен, что их соблазнила не столько сама эта вера, сколько ее новизна, и таким способом многих из них вернул папизму. До того времени никто не думал, что дух этот от дьявола, и этого так бы и не узнали, если бы в июле месяце 1600 года некоторые поляки, отправившиеся в Италию, не распространили слухов о духе Захария среди тамошнего населения. Узнал об этом некий итальянец, занимавшийся магией: пять лет тому назад дух этот, которого он держал в заточении, бежал от него, и теперь этот итальянец отправился в Польшу к госпоже Влодковой и потребовал, к великому удивлению присутствующих, чтобы бес, скрывшийся от него, был ему возвращен. Дама эта согласилась, и он снова заключил злого духа в кольцо и увез с собою в Италию. Означенный бес, по словам этого итальянца, наделал бы в Польше немало бед, если бы он оставил его там».

## КАРА-АЛИ, ВАМПИР

### I

Кара-Али перешел желтую реку<sup>1</sup>. Поднялся он к Василию Каимису и поселился в его доме.

### II

У Василя была красавица жена по имени Юмели. Посмотрела она на Кара-Али и влюбилась в него.

### III

Кара-Али — в дорогих мехах, оружие у него золотое, а Василь беден.

### IV

Обольстило Юмели богатство. Есть ли на свете женщина, которая устояла бы перед золотом?

### V

Насладился Кара-Али неверной женою, и захотелось ему взять ее с собой в басурманскую землю.

### VI

И Юмели на это согласилась. Ух, скверная баба! Гарем басурмана ей милее, чем ложе супруга.

### VII

Обнял Кара-Али ее стройный стан, посадил перед собой на коня, а добрый конь его был белей ноябрьского снега.

### VIII

Где ты, Василь? Гостем был Кара-Али в твоём доме. И вот он похитил твою Юмели, которую ты так любишь!

### IX

Бросился Василь к берегу желтой реки и видит: изменники переправляются через нее на белом коне.

### X

Взял он свое ружье, украшенное слоновой костью и красными кистями<sup>2</sup>, выстрелил — и Кара-Али покачнулся в седле.

### XI

«Юмели, Юмели! Дорогой ценой заплатил я за твою любовь. Убил меня неверный пес, убьет он и тебя.

## XII

Чтобы он оставил тебе жизнь, дам я тебе драгоценный талисман, который будет за тебя выкупом.

## XIII

Вот, прими от меня алькоран в золоченом футляре красной кожи<sup>3</sup>. Тот, кто по нему гадает, всегда бывает богат и любим женщинами.

## XIV

Пусть тот, кто владеет этой книгой, откроет ее на шестьдесят шестой странице, он будет повелевать всеми духами вод и земли».

## XV

Тут упал он в желтую реку, и поплыло его тело по воде, оставляя кровавый след.

## XVI

Подбежал Василь Каимис, схватил за узду коня и поднял руку, чтобы убить жену.

## XVII

«Оставь мне жизнь, Василь, я за это тебе подарю драгоценный талисман. Кто владеет им, бывает богат и любим женщинами.

## XVIII

Пусть тот, кто владеет этой книгой, откроет ее на шестьдесят шестой странице<sup>4</sup>, и он будет повелевать всеми духами вод и земли».

## XIX

И простил Василь неверную жену и взял от нее эту книгу, которую всякий добрый христианин должен был бы с омерзением бросить в огонь.

## XX

Настала ночь, поднялся сильный ветер, и желтая река вышла из берегов. Выбросили волны на берег тело Кара-Али.

## XXI

Открыл Василь нечестивую книгу на странице шестьдесят шестой. И вдруг задрожала земля и разверзлась с ужасным грохотом.

## XXII

Из-под земли вышел окровавленный призрак: то был Кара-Али. «Василь! Ты отрекся от своего бога и теперь ты мой».

## XXIII

Схватил он несчастного Василя, прокусил ему шейную жилу и оставил его лишь тогда, когда высосал из него всю кровь.

## XXIV

Эту песню сложил Никола Коссевиц, а узнал он эту повесть от бабки несчастной Юмели.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> По всей вероятности, Замарню, воды которой осенью ярко-желты.

<sup>2</sup> Это украшение часто встречается на ружьях иллирийцев, и турок.

<sup>3</sup> Почти все мусульмане носят на себе алькоран в маленьком футляре красной кожи.

<sup>4</sup> Число «шестьдесят шесть» считается могущественным при заклинаниях.

## ПОБРАТИМЫ<sup>1</sup>

### I

Иво Любович, родом из Трогира, пришел однажды к горе Воргораз. Чирил Збор принял его в своем доме и угощал целую неделю.

### II

А потом Чирил Збор пришел в Трогир и поселился в доме у Любовича, и целую неделю они пили вино и водку из одного кубка.

### III

Когда собрался Чирил Збор возвращаться на родину, Иво Любович взял его за рукав и сказал: «Пойдем к священнику и побратаемся».

### IV

И пошли они вместе к священнику, и тот прочитал молитвы. Вместе они причастились и поклялись быть братьями до самой смерти.

### V

Однажды Иво сидел, скрестив ноги<sup>2</sup>, перед своим домом и курил трубку. Подходит к нему юноша и здоровается; издалека шел он, ноги у него в пыли.

### VI

«Прислал меня, Иво Любович, брат твой Чирил Збор. Есть в горах неверный пес, что желает ему зла. Просит он, чтобы ты ему помог одолеть проклятого басурмана».

## VII

Взял Иво Любович из дома ружье, положил в мешок четверть ягненка и, притворив за собой дверь<sup>3</sup>, направился в горы Воргораза.

## VIII

И когда побратимы стреляли, пули попадали прямо в сердца врагов. И ни один человек, даже самый сильный и ловкий, не решался с ними сразиться.

## IX

И набрали они много добычи — коз и козлят, и драгоценное оружие, и богатые ткани, и деньги. Захватили они также красавицу турчанку.

## X

Поделили они коз и козлят, и оружие, и ткани: половину взял Любович, другую — Чирил Эбор. Только женщину не смогли они поделить.

## XI

Оба они хотели отвезти ее в свою землю, потому что обоим она полюбилась, и в первый раз в жизни возникла меж ними ссора.

## XII

Но Иво Любович промолвил: «Напились мы с тобою водки и сами не знаем, что делаем. Вот проспимся — завтра утром спокойней потолкуем об этом деле...» Улеглись они на одну циновку и проспали до самого утра.

## XIII

Первым проснулся Чирил Эбор; принялся он расталкивать Любовича. «Ну, теперь ты, верно, протрезвился.

Отдаешь мне эту женщину?» Не ответил Иво Любич, сел он, и слезы покатались из его чёрных глаз.

#### XIV

Тогда и Чирил сел, и смотрел он то на турчанку, то на своего друга, а порой смотрел на ханджар, что был у него за поясом.

#### XV

А дружинники, которые воевали вместе с ними, говорили промеж себя: «Что-то теперь будет? Разорвут ли побратимы дружбу, в которой они поклялись перед богом?»

#### XVI

Долго они сидели, потом встали оба зараз. И схватил Иво Любич рабыню за правую руку, а Чирил Збор — за левую.

#### XVII

Из глаз их струились крупные слезы, словно капли грозового дождя. Выхватили они свои ханджары, и оба зараз вонзили в грудь молодой рабыни.

#### XVIII

«Лучше басурманке погибнуть, чем нашей дружбе!» И пожали они друг другу руки, и с тех пор уже никогда не бывало между ними вражды.

Добрую эту песню сложил Степан Чипила, молодой гузлар.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Слово это объяснено в примечании к балладе *Пламя Перрушича*.

<sup>2</sup> Самая обычная манера сидеть.

<sup>3</sup> В этих немногих словах довольно хорошо описано, как морлаки собираются на войну.



# ГАДАНЬИ<sup>1</sup>

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### I

Между Сералем и Островичем распря: мечи вынуты из ножен, земля уже шесть раз пила кровь храбрецов. Много вдов успели уже осушить слезы, не одна мать еще рыдает.

### II

И в горах и в долине бьются Сераль и Острович, словно два оленя из-за самки. Два племени истекают кровью, а вражда их все не утихает.

### III

Старый вождь, один из знатнейших в Серале, призывает свою дочь: «Подымись к Островичу, Елена, зайди в самое селенье, подсмотри за нашими врагами. Я хочу закончить войну, которая длится уже целых шесть лун».

### IV

Надела Елена свою шапочку с серебряным позументом и красный расшитый плащ<sup>2</sup>. Обула она прочные башмаки бычьей кожи<sup>3</sup> и на закате солнца пошла в горы.

### V

Островичские беи собрались у костра. Одни чистят ружья, другие набивают патроны. Гузлар сидит на охапке соломы, помогает им коротать время.

### VI

Самый молодой из беев, Гаданьи, устремил свой взор на долину. Видит он, идет кто-то оттуда подглядеть, что у них творится. Вскочил он и схватил свое длинное ружье, украшенное серебром.

## VII

«Смотрите, друзья, там враг крадется к нам в ночи! И если бы отсвет костра не блеснул на его шапке<sup>4</sup>, он остался бы не замечен нами. Но теперь-то ему несдобровать,— только бы я не промахнулся».

## VIII

Он нацелился и спустил курок, и отзвук выстрела прокатился в горах. И тотчас же послышался другой, резкий и тонкий звук. И воскликнул старик Бьетко, отец Гаданьи: «Это крикнула женщина!»

## IX

«Горе нам, горе! Позор на племени нашем! Он убил женщину, а не мужчину, вооруженного ружьем и ятаганом!» Схватил каждый из них по головешке, чтобы лучше рассмотреть, в чем дело.

## X

Увидели они бездыханное тело прекрасной Елены, и краска бросилась им в лицо. А Гаданьи воскликнул: «Позор мне, я убил женщину! Горе мне, я убил свою милую!»

## XI

Мрачно взглянул на него Бьетко. «Уходи отсюда, Гаданьи, ты обесчестил наше племя. Что скажут серальцы, когда им станет известно, что мы убиваем женщин, как бандиты-гайдуки?»<sup>5</sup>

## XII

Тяжко вздохнул Гаданьи. Посмотрел он в последний раз на отцовский дом, вскинул на плечо свое ружье и спустился с родимых гор, чтобы поселиться в дальних краях.

### XIII

Эту песню сложил Иво Вески, лучший из гузларов. А кто хочет узнать конец повести о Гаданьи, пусть вознаградит гузлара за нелегкий его труд.

#### ЧАСТЬ ВТОРАЯ<sup>6</sup>

##### I

Опираясь на длинное ружье<sup>7</sup>, стерег я своих коз. Стояла большая жара; пес мой улегся в тени, и под каждой травинкой весело стрекотали кузнечики.

##### II

И увидел я: из ущелья выходит красивый юноша. Порвано его платье, но сквозь лохмотья виднеются остатки золотого шитья. За плечами — длинное ружье, украшенное серебром, а на поясе ятаган.

##### III

Подошел он ко мне, поклонился и молвил: «Скажи мне, брат: не это ль земля Островичского племени?» Тут не смог я удержаться от слез и от тяжелого вздоха. «Да», — ответил я.

##### IV

Тогда он сказал: «Процветал некогда Острович, горы были покрыты его стадами, четыреста ружей его воинов блистали на солнце. А теперь не видно здесь никого, кроме тебя да нескольких жалких коз».

##### V

И тогда я ответил: «Да, богат был Острович. Но постиг его великий позор, а с позором пришла беда. Одо-

лел Островича Сераль с тех пор, как юный Гаданьи убил прекрасную Елену».

## VI

«Расскажи мне, брат, об этом деле». — «Серальцы нахлынули, как поток; перебили они наших всинов, разорили наши посевы, продали наших детей басурманам. Прошла наша слава!»

## VII

«А скажи мне, какая участь постигла старого Бьетко?» — «Как увидел он гибель родного племени, поднялся он на ту скалу и стал звать своего сына Гаданьи, что ушел в дальние края.

## VIII

Один из беев Сералья — да проклянут его все святые! — выстрелил в него из ружья, а потом ятаганом перерезал его горло; и пинком ноги сбросил его в пропасть».

## IX

Как услышал это чужеземец, упал он лицом на землю. Словно раненая серна, покатился он в ту самую пропасть, куда упал его отец. Ибо это был Гаданьи, сын Бьетко, виновник всех наших бедствий.

## ПРИМЕЧАНИЯ.

<sup>1</sup> Говорят, что эту песню очень любят в Черногории; в первый раз я ее слышал в Наренте.

<sup>2</sup> В Черногории женщины всегда выполняют роль шпионов. Однако их щадят те, чьи военные силы они разведывают, хотя бы намерения этих женщин им были известны. Причинить малейшую обиду женщине враждебного племени — значит обесчестить себя навеки.

<sup>3</sup> По-иллирийски — *опанки*: подошва сыромятной кожи, при-

крепленная к ноге ремешками; ступня ноги прикрыта полосатой вязаной материей. Таковую обувь носят женщины и девушки. Как бы богаты они ни были, до замужества им полагается носить опанки. А после свадьбы они, если желают, могут носить другую обувь, называемую *пашмаки*, то есть сафьяновые туфли, как у турецких женщин.

<sup>4</sup> Шапки украшаются золотыми бляхами и блестящим галуном.

<sup>5</sup> Имя гайдука для жителей богатых сел звучит почти как оскорбление.

<sup>6</sup> Думают, что эта вторая часть сложена другим певцом.

<sup>7</sup> Мужчины никогда не выходят из дому безоружными.

## ЧЕРНОГОРЦЫ <sup>1</sup>

### I

Сказал Наполеон: «Что это за люди, посмевшие мне сопротивляться? Пусть они сложат к моим ногам свои ружья и ятаганы, украшенные чернью» <sup>2</sup>. И он послал в горы двадцать тысяч солдат.

### II

Идут драгуны, идет пехота, тащат они пушки и мортиры. «Что ж, пожалуйста в наши горы, вы найдете там пятьсот храбрых черногорцев. Для пушек у нас есть пропасти, для драгун — обломки скал, а для пехоты — пятьсот добрых ружей».

### III

. . . . . <sup>3</sup>

### IV

Выступили они в поход. Их оружие сверкало на солнце. В боевом порядке двинулись они в горы, чтобы сжигать наши селения, забирать в плен наших жен и детей <sup>4</sup>. Дойдя до серой скалы, они подняли глаза и увидели наши красные шапки.

## V

Тогда их командир сказал: «Пусть каждый прицелится, пусть каждый убьет одного черногорца». Они тотчас же выстрелили и сбили наши красные шапки, которые мы надели на пики<sup>5</sup>. А сами мы, лежа в тылу на земле, открыли огонь по врагу.

## VI

«Слушайте, это эхо наших выстрелов», — сказал командир. Но не успел он оглянуться, как пал мертвым, а с ним еще двадцать пять человек. Остальные обратились в бегство и с той поры уже не смели больше взглянуть на красную шапку.

Тот, кто сложил эту песню, был вместе со своими братьями у серой скалы; зовут его Гунцар Воссерач.

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Нет такого народа, который не воображал бы, что весь мир смотрит на него. Наполеон, мне кажется, мало думал о черногорцах.

<sup>2</sup> Чеканные украшения на рукоятках дорогого оружия, особенно на ятаганах. Вырезанные углубления заполняются пастой иссиня-черного цвета; говорят, что сейчас секрет ее приготовления на Востоке утрачен.

<sup>3</sup> Тут не хватает одной строфы.

<sup>4</sup> Привыкши к войнам с турками, черногорцы полагают, что все другие народы совершают во время войны такие же зверства.

<sup>5</sup> Эта хитрость часто применялась с большим успехом.

## КОНЬ ФОМЫ II

Почему плачешь ты, прекрасный мой белый конь? Почему так жалобно ржешь? Разве сбруя на тебе не богатая? Разве у тебя не серебряные копыта с золотыми гвоздями? Разве на шее твоей не висят серебряные бубенцы? Разве не носишь ты на себе короля плодородной Боснии? — Плачу я, мой хозяин, потому, что басурман сорвет с меня серебряные подковы, и золотые гвозди, и серебряные бубенцы. И оттого я жалобно ржу, мой хозяин, что проклятый басурман сделает мне седло из кожи боснийского короля.

## ВОЛШЕБНОЕ РУЖЬЕ

Кто видел ружье великого бея Савы, тот видел настоящее чудо. На нем дюжина золотых блях и дюжина серебряных блях, а приклад выложен перламутром, и у ложа висят три кисточки красного шелка.

Есть и на других ружьях золотые бляхи и кисточки красного шелка. В Бане Луке оружейники умеют украшать приклады перламутром. Но где отыщется мастер, что смог бы прочесть заклинания, от которых становятся смертельными все пули из ружья Савы?

Бился он с Дели, одетым в тройную кольчугу, бился и с арнаутом в войлочном казакине на семи шелковых подкладках. Но кольчуга разорвалась, как паутина, казакин был пробит, словно лист чинары.

Давуд, первый красавец среди босняков, взял из своих ружей то, что украшено побогаче, и вскинул себе за плечи. Набил он цехинами пояс и выбрал самую звонкую гузлу из десятка тех, что у него были. В пятницу он покинул Баню Луку, в воскресенье был в землях бея Савы.

Вот он сел и тронул струну, и девушки окружили его. Жалобные песни пел он — и все грустно вздыхали; пел он любовные песни — и Настасья, дочь бея, бросила ему охапку цветов и, вся зардевшись от стыда, убежала к себе домой.

Ночью она распахнула окно и внизу увидела Давуда: он сидел на каменной скамье у двери ее дома. Чтобы разглядеть его, наклонилась она, и упала с головы ее красная шапочка. Давуд поднял шапочку и, наполнив ее цехинами, вернул прекрасной Настасье.

«Знаешь, спускается с горы туча, тяжелая от дождя и града. Неужели ты оставишь меня во власти грозы, дашь мне погибнуть у себя на глазах?»

Сняла она свой шелковый пояс, привязала к решетке балкона. И тотчас же красавец Давуд очутился подле нее.

«Говори как можно тише, не то отец мой услышит и убьет нас обоих».

Сперва они тихо шептались, а потом и вовсе замолкли. Красавец Давуд спустился с балкона раньше, чем



хотела бы Настасья; заря уже занималась, и он укрылся в горах.

И каждую ночь Давуд возвращался в селение, а с балкона свисал шелковый пояс. Оставался он со своей подругой, пока не начинали петь петухи. А когда раздавалось пение петуха, он уходил и укрывался в горах. На пятую ночь пришел он бледный и весь в крови.

«Гайдуки на меня напали и теперь поджидают в ущелье. Когда наступит рассвет и придется мне с тобой расставаться, они покончат со мной. В последний раз я целую тебя. Но будь у меня в руках волшебное ружье твоего отца, кто посмел бы меня подстеречь? Кто смог бы мне противиться?»

«Ружье моего отца! Но как добыть мне его для тебя? Днем оно у него за спиной, а ночью лежит под кроватью. Если утром он его не найдет, наверняка срубят мне голову».

Горько плакала она и поглядывала на восточный краешек неба.

«Принеси мне ружье отца, а мое положи на его место. Он не заметит подмены. На моем ружье двенадцать золотых блях и двенадцать серебряных блях, а приклад выложен перламутром, и у ложа висят три кисточки красного шелка».

На цыпочках, еле дыша, вошла она в комнату отца, взяла отцовское ружье, а на его место положила ружье Давуда. Бей глубоко вздохнул и сквозь сон воскликнул: «Иисусе!» Но он не проснулся, и девушка отдала волшебное ружье красавцу Давуду.

И Давуд осмотрел ружье от приклада до мушки; по очереди рассматривал он курок, кремь и шкив. Нежно поцеловал он Настасью и поклялся, что вернется ночью.

В пятницу он ее покинул, в воскресенье прибыл в Баню Луку.

А тем временем бей Сава вертел в руках ружье Давуда.

«Видно, стар становлюсь я,— говорил он,— ружье мне что-то кажется тяжелее. Но убьет оно еще много неверных».

И каждую ночь пояс Настасьи свисал с балкона. Но коварный Давуд не появлялся.

Вступили в нашу страну обрезанные собаки, и никто противиться не может их вождю Давуду-аге. Кожаный мешок привязан за его седлом, и рабы наполняют мешок отрезанными ушами тех, кого он убил. Все жители Воштины объединились тогда вокруг старого бея Савы.

Настасья взошла на крышу своего дома, чтобы оттуда увидеть жестокую битву, и узнала она Давуда, когда своего коня он направил на ее отца. Бей, уверенный в победе, выстрелил первым, но зажегся только запал, и бей вздрогнул от ужаса.

А пуля Давуда пробила броню Савы. Вошла она в его грудь и вышла из спины. Вдохнул бей и пал мертвым. Тотчас же черномазый раб отрезал ему голову и подвесил за белые усы к луке Давудова седла.

Когда увидела Настасья голову отца, не заплакала она, не вдохнула, но взяла одежду своего младшего брата, вороного коня своего младшего брата и бросилась в гущу схватки, чтобы найти и убить Давуда. И Давуд, завидев юношу-всадника, прицелился в него из волшебного ружья. И смертельной оказалась его пуля. Вдохнула прекрасная Настасья и пала бездыханной. Тотчас же черномазый раб отрезал ей голову. Но усов у нее не было, и снял он с нее шапку и взял за длинные кудри, и узнал Давуд волосы прекрасной Настасьи.

Соскочил он с коня и поцеловал окровавленную голову.

«Заплатил бы я цехин за каждую каплю крови прекрасной Настасьи! Дал бы руку себе отрезать за то, чтобы живой отвезти ее в Баню Луку».

И швырнул он волшебное ружье в колодезь Воштины.

## БАН ХОРВАТИИ

Жил да был в Хорватии бан, кривой на правый глаз, глухой на левое ухо. Правым глазом глядел он на нищету народа, левым ухом слушал жалобы воевод. У кого было много богатств, того он судил, а кто бывал осужден, тот

умирал. Так-то велел он обезглавить Гуманай-бея и воеводу Замболича, да и захватил их богатства. Под конец прогневили бога его злодеяния, и позволил он призракам мучить бана во сне. Каждую ночь в ногах его постели появлялись Гуманай и Замболич, стояли они перед ним и глядели на него взором тусклым и мрачным. В час, когда звезды бледнеют, когда розовеет небо, тогда — говорить об этом страшно — оба призрака склонялись, словно приветствуя его в насмешку. Падали их призрачные головы и катились по коврам, и только тогда бан мог заснуть. Но однажды ночью, холодной зимней ночью, заговорил Гуманай и сказал ему так: «Прошло уже много времени, как мы тебе кланяемся. Почему же ты еще ни разу не ответил нам на поклон?» Тогда поднялся бан, дрожа всем телом. И пока он кланялся им, оторвалась его голова и покатилась по ковру.

### УМИРАЮЩИЙ ГАЙДУК

Ко мне, старый, седой орел, я Гаврила Заполь. Часто кормил я тебя мясом пандуров, моих заклятых врагов; а теперь я ранен и умираю. Ты можешь отдать своим орлятам мое сердце, мое смелое сердце, но сперва окажи мне услугу. Возьми в свои когти мой пустой патронташ, отнеси его брату моему Джордже, пусть он за меня отомстит. Двенадцать патронов было в моем патронташе, и двенадцать мертвых пандуров ты увидишь вокруг меня. Но всего их было тринадцать, и тринадцатый, по имени Боцай, подло выстрелил мне в спину. И еще возьми в свои когти вышитый платок; отнеси его прекрасной Каве, чтобы она им утирала слезы, которые по мне проливает.

И орел отнес патронташ брату его Джордже и видит: сидит Джордже и попивает водку. И отнес он платок прекрасной Каве — а она справляла свадьбу с Боцаем<sup>1</sup>.

### ПРИМЕЧАНИЕ

<sup>1</sup> В прошлом году в Афинах я прочел одну греческую песню, конец которой представляет некоторое сходство с концом этой баллады. Вот ее перевод.

Как они счастливы, эти горы! Как хорошо разделаны эти поля, они не знают Харона, они не ждут Харона! Летом на них овцы, а зимой снега. Трое храбрецов хотят уйти из подземного царства. Один говорит, что выйдет в мае, другой — что летом, третий — что осенью, когда поспеет виноград. И сказала им в подземном царстве белокурая девушка: «Возьмите и меня, храбрецы; выведите меня на вольный воздух и свет». — «Девочка! Твое платье шуршит, ветер свистит в твоих волосах, туфли твои скрипят; Харон услышит». — «Я сниму платье, я обрежу волосы; маленькие туфли я оставляю на лестнице. Возьмите меня, храбрецы, возьмите меня наверх, — я хочу увидеть свою мать, которая скорбит обо мне; я хочу увидеть своих братьев, которые обо мне плачут». — «Девочка! Братья твои пляшут на веселом празднестве. Девочка! Твоя мать болтает на улице с прохожими».

## ГРУСТНАЯ БАЛЛАДА О БЛАГОРОДНОЙ СУПРУГЕ АСАНА-АГИ<sup>1</sup>

Что белеет на зеленых холмах? Снег ли это? Или белые лебеди? Снег бы уже растаял, лебеди бы давно улетели. Это не снег и не лебеди: это шатры Асана-аги. Он лежит и стонет, жестоко болит его рана. Ухаживают за ним мать его и сестра. Только любимая жена, оробев, не посмела прийти<sup>2</sup>, и нет ее с ним у его ложа.

Когда утихла немного боль, велел он передать своей верной супруге: «Не смей на меня смотреть в белом моем доме, в белом моем доме и перед моими родичами». И, услышав эти слова, заперлась жена аги в своей половине, полная печали и скорби. Вот услышала она у дома топот конских копыт, и подумала несчастная супруга: муж подъезжает к дому; и бросилась она на балкон, чтобы скорей его увидеть. Но обе ее дочери поспешили за нею: «Стой, милая матушка! Это не отец приехал, это не Асана-ага. Это наш дядя, бей Пинторович».

Остановилась несчастная женщина. Обняла она родного брата. «О брат мой, позор великий! Он меня отвергает, а ведь я родила ему пятерых детей!»

Угрюмо молчит бей. Из красной шелковой сумки вынимает он ту бумагу, что расторгает брачные узы<sup>3</sup>. Те-

перь она сможет надеть венец нового брака, как только увидит снова дом своей матери.

Прочитала супруга аги бумагу. Целует она в лоб обоих своих сыновей, а дочерей своих целует в алые губы. Но не в силах она расстаться с последним своим ребенком, который еще лежит в колыбели. Безжалостно, хоть и с трудом, оторвал ее брат от дитяти — посадил на коня своего и вернулся с нею в свой дом. Но недолго она оставалась в отцовском доме, ибо красива была и знатного рода, и стали свататься к ней благородные люди округа. Выделялся среди них кади селенья Имоски.

Умоляет бедная женщина брата: «Хоть бы мне, милый брат, умереть раньше тебя. Молю тебя, не выдавай меня замуж<sup>4</sup>. Разорвется мое сердце от горя, когда увижу своих детей сиротами». Али бей не хочет ее слушать: он предназначил свою сестру в супруги имоскскому кади.

В последний раз обратилась она к нему: пусть хотя бы письмо пошлет он имоскскому кади и напишет в этом письме: «Госпожа тебе шлет привет и великую просьбу. Как приедешь ты за невестой со своими благородными сватами, привези ей длинное покрывало, такое, чтобы всю ее укутать, чтобы она не видела своих сирот, проезжая мимо дома аги».

Прочитал кади письмо и собрал благородных сватов. Отправились они за невестой и вывезли ее из дома, полные радости и веселья.

Вот они проезжают мимо дома аги. Обе дочери, глядя на свадьбу с балкона, узнали свою мать. Оба сына выбежали к ней навстречу и зовут родную к себе: «Мать, оставайся с нами, пойдем вместе к столу!» И несчастная мать крикнула старисвату: «Во имя неба молю тебя, братец мой старисват: останови лошадей у этого дома, хочу я одарить моих сирот». Лошади остановились у дома, и дала она детям подарки. Сыновьям она подарила золотом шитые туфли, дочерям — пестрые платья. А младенцу, что еще лежит в колыбели, послала на рубашку.

Асана-ага видел все это, стоя в стороне. Подзывает он к себе сыновей: «Идите ко мне, сиротки; оставьте бессердечную мать, которая бросила вас».

Побледнела несчастная мать, голова ее ударилась о землю, и рассталась она с жизнью от горя, что сиротами пришлось ей увидеть милых своих детей.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Известно, что знаменитый аббат Фортис перевел эту прекрасную балладу итальянскими стихами. В качестве его преемника я не претендую на состязание с ним. Мой перевод сделан иначе: он буквален, и это — его единственное достоинство.

Действие происходит в Боснии, все персонажи — мусульмане, о чем свидетельствуют такие слова, как ага, кади и т. д.

<sup>2</sup> Нам трудно понять, каким образом скромность может помешать хорошей жене ухаживать за больным мужем. Жена Асана-аги — мусульманка, и, сообразно своим представлениям о приличии, она не может появиться перед ним без зова. Но, по-видимому, стыдливость эта чрезмерна, ибо Асана-ага возмущен ею. Относящиеся сюда иллирийские стихи очень сжаты, а потому несколько темны по смыслу:

Облази га мать и сестрица;  
А любовца от стыда не могла.  
(Пришли мать и сестра;  
А любимая от стыда не посмела.)

<sup>3</sup> Книгу *опрашенья*, буквально — бумагу освобождения, то есть акт о разводе.

<sup>4</sup> Пинторович-бей в качестве главы семьи располагает своей сестрой, как лошадью или стулом.

Эта баллада, замечательная тонкостью выраженных в ней чувств, действительно *переведена*. Аббат Фортис опубликовал се оригинал, приложив перевод, или, точнее, стихотворное переложение на итальянский язык. Я считаю свой перевод более точным, так как он сделан с участием одного русского, который продиктовал мне подстрочник.

Шарль Нодье также опубликовал перевод этой баллады, напечатанный в качестве приложения к его прелестной поэме *Смарра*.

#### МИЛОШ ОБИЛИЧ

Нижеследующей поэмой обязан я любезности покойного графа де Сорго, нашедшего сербский оригинал в одной рукописи парижской библиотеки Арсенала. Он полагал, что поэма эта написана кем-либо из современников Милоша.

Ссора между дочерьми Лазаря, поединок между двумя его зятьями, предательство Вука Бранковича и преданность Милоша

описаны в ней с подробностями, в точности соответствующими историческим данным.

Рассказ начинается около 1389 года, когда Лазарь Гребиянович, король Сербии, собирался отразить нашествие полчищ Муроада I.

Хороши алые розы в белом дворе Лазаря! И никто не может решить, какая из них прекрасней, какая из них больше, какая из них румяней.

Это не алые розы, это дочери Лазаря, господаря Сербии широкоравнинной, славного витязя, князя древнего рода.

Лазарь выдал своих дочерей за великих господарей: Вукосаву за Милоша Обилича, Марию за Вука Бранковича, Милицу за царя Баязета<sup>1</sup>.

А Елену выдал он далеко, за благородного господаря Джордже Черноевича, молодого воеводу Зеты<sup>2</sup>.

Немного прошло времени, и приехали три сестры повидать свою мать. Только нет султанши Милицы: не пускает ее царь Баязет.

Ласково поздоровались сестры, но, увы, вскоре разгорелся между ними спор: каждая хвалила своего мужа в белом дворце Лазаря. Молвила госпожа Елена, жена Черноевича: «Какая другая мать, кроме матери Джордже Черноевича, могла родить подобного сына, благородного, доблестного, смелого?» Сказала жена Бранковича: «Какая другая мать, кроме матери Вука Бранковича, родила подобного сына, доблестного, смелого?»

Засмеялась супруга Милоша, засмеялась Вукосава и воскликнула: «Довольно вам хвастать, бедные мои сестрички! Ну, что Вук Бранкович? Это не настоящий витязь. Ну, что Джордже Черноевич? Не храбрец он и не сын храбреца. А вот Милош Обилич, из знати Нови-Пазара,— это доблестный витязь, сын храброго витязя, а мать его родом из Герцеговины»<sup>3</sup>.

Рассердилась жена Бранковича, подняла она руку и ударила по лицу Вукосаву. Легок был удар, а из носа у ней хлынула кровь<sup>4</sup>. Вскочила юная Вукосава и, плача, вернулась в свой дворец. В слезах зовет она Милоша, но говорит с ним спокойно:

«Если бы знал ты, господин мой любезный, что сказала жена Бранковича! Что ты не благородный и не сын

благородного, а бездельник и сын бездельника. И еще она хвастает, жена Бранковича, что не посмеешь ты выйти на поединок с ее господином Бранковичем, ибо нет в тебе настоящей доблести».

Горькими показались эти слова Милошу. Вскочил храбрец на ноги, мчится на боевом коне, вызывает Вука Бранковича:

«Друг мой Вук Бранкович! Коль рожден ты достойной матерью, выходи со мной на честное поле, и узнаем мы, кто из нас отважней».

И Вук не мог отказаться, на боевом коне он устремился, выехал на гладкую равнину и вступил на поле состязаний<sup>5</sup>.

Там они скрестили свои боевые копья, но в куски разлетелись копья. Выхватили они сабли, что висели у них на боку, но поломались сабли.

Стали они тогда биться тяжкими палицами своими, и перья<sup>6</sup> попадали с палиц. Счастье улыбнулось Милошу, обезоружил он Вука Бранковича.

И сказал Милош Обилич: «Попробуй-ка хвастать теперь, что не посмел я выйти с тобой на поединок! Я мог убить тебя, Вук, в черное мог нарядить я милую твою супругу. Потому ступай себе с богом, только впредь не хвастай».

Прошло немного времени, и нагрянули на Лазаря турки. Ведет их Мурад-Солиман. Разоряют они и жгут селенья и города.

Лазарь не в силах больше терпеть такое разоренье; собирает он свое войско. Призывает он Вука Бранковича, призывает и славного витязя Милоша Обилича.

Готовит он княжеский пир, ибо гости его — князья. Напились они доброго вина, и сказал господарям Лазарь:

«Слушайте, витязи мои, князья и владыки, верные мои храбрецы: завтра мы нападём на турок. Поведет нас Милош Обилич.

Ибо Милош доблестный витязь: страшен он и туркам и христианам. Будет он первым воеводой<sup>7</sup>, а за ним — Вук Бранкович».

Горько было Вуку слушать такие слова, ибо Милоша он видеть не может. Отзывает он Лазаря в сторону и тайно ему шепчет:



«Иль не знаешь ты, милостивый владыка, что напрасно собираешь свое войско? Предаст тебя Милош Обилич, изменил он своей вере».

Промолчал Лазарь на это, ничего не ответил. Но в конце пира поднял золотой кубок. Обильно текут его слезы, и он тихо говорит:

«Пью не за царя, не за кесаря<sup>8</sup>, но за зятя моего Обилича, который хочет меня предать, как Иуда предал создателя!»

Клянется Милош Обилич всемогущим, что нет в его сердце предательства и коварства. Смело вскочил он на ноги и ушел в свой белый шатер. Там он до полуночи плакал, а в полночь совершил молитву.

Когда занялась заря, когда денница показала яснее свое чело, вскочил он на лучшего коня и помчался в лагерь султана.

Просит он стражей султанских: «Пустите меня к султану. Выдам я ему Лазаря, предам его в ваши руки».

Поверили турки Обиличу и привели к султану. Бросается Милош на колени на землю сырую, лобызает он полу султанской одежды, обнимает султану ноги. Но вдруг хватает он ханджар и поражает Мурада в сердце. А затем, вытащив саблю, что висела у него на боку, косит визирей его и пашей<sup>9</sup>.

Но участь Милоша тоже была печальна, ибо турки зарубили его саблями. Пусть ответит Вук Бранкович, пусть ответит он перед богом за гнусное свое дело!

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Баязет — второй сын Мурада. Он тогда еще не был царем, то есть императором; он занял престол только после битвы при Косове.

<sup>2</sup> Черногория.

<sup>3</sup> На самом деле Милош был незнатного происхождения и возвышением своим обязан был лишь совершенным им подвигам.

<sup>4</sup> По данным других авторов, Вукосава ударила Марию.

<sup>5</sup> Поединок был разрешен Лазарем.

<sup>6</sup> Под перьями следует понимать железные острия, которыми усеяны палицы.

<sup>7</sup> Главнокомандующий.

<sup>8</sup> По всей вероятности, провозглашая тосты, сперва пили за своего короля, затем за германского императора.

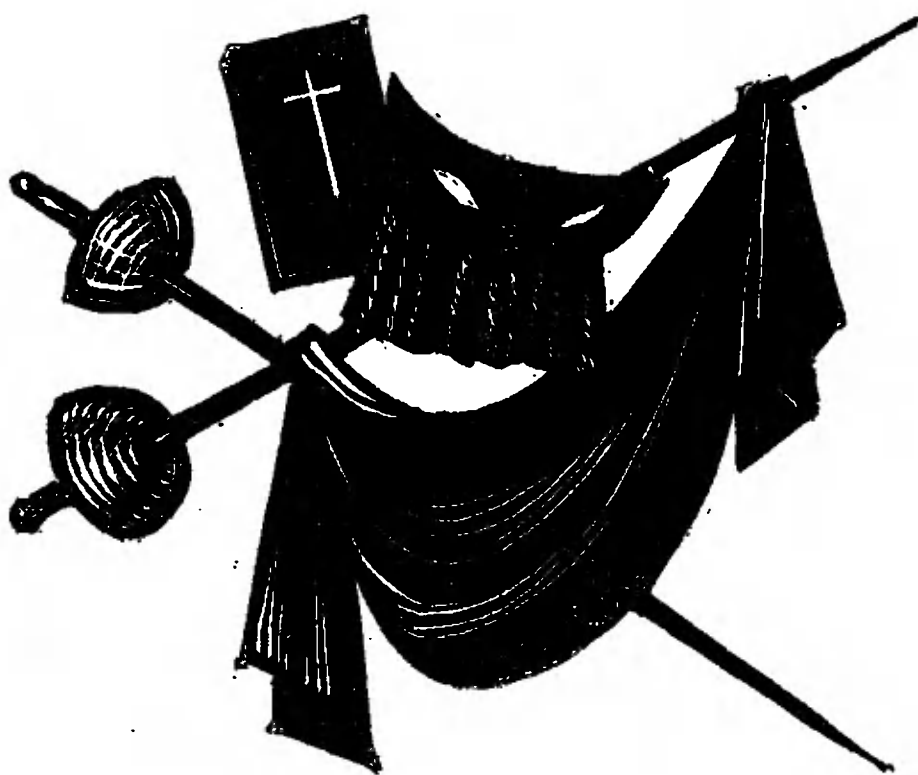
<sup>9</sup> Мурад успел еще перед смертью узнать об удачном для него исходе битвы при Косове.

Некоторые авторы рассказывают о его смерти иначе. Они сообщают, что после разгрома сербов султан, проходя пешком по полю сражения, с удивлением отметил крайнюю молодость христианских воинов. «Только юные безумцы,— сказал один из его визирей,— осмеливаются сопротивляться твоему оружию». Один раненый серб узнал султана, приподнялся с отчаянным усилием и смертельно ранил его кинжалом. Он был немедленно растерзан янычарами.

Говорят также — поддерживая ту версию, согласно которой Мурад умер от руки Милоша,— что именно с этого времени послы должны были являться безоружными перед повелителем правоверных. Насколько я знаю, генерал Себастиани был первым, отказавшимся отцепить шпагу перед тем, как его представили султану Селиму.

Вук Бранкович сдался туркам вместе с той частью войска, которой он командовал. Лазарь сражался с большой отвагой. Но его серый в яблоках конь убежал и был захвачен турками, которые с торжеством провели его между рядами своих войск. Сербь, увидев его и решив, что их король убит или попал в плен, утратили мужество и стали сражаться менее упорно. Увлеченный бегущими, Лазарь был захвачен живым и вскоре убит по приказанию Баязета, как бы для того, чтобы успокоить дух его покойного отца Мурада.

Есть предание о том, что правая рука Милоша Обилича, опавшая в серебро, была прикреплена к гробнице Мурада.



# **Хроника царствования Карла IX**



## ПРЕДИСЛОВИЕ

За последнее время я прочитал довольно много мемуаров и памфлетов, относящихся к концу XVI века. Мне захотелось сделать экстракт прочитанного, и я его сделал.

В истории я люблю только анекдоты, а из анекдотов предпочитаю такие, в которых, как мне подсказывает воображение, я нахожу правдивую картину нравов и характеров данной эпохи. Страсть к анекдотам нельзя назвать особенно благородной, но, к стыду своему, должен признаться, что я с удовольствием отдал бы Фукидида за подлинные мемуары Аспазии или Периклова раба, ибо только мемуары, представляющие собой непринужденную беседу автора с читателем, способны дать изображение человека, а меня это главным образом занимает и интересует. Не по Мезре, а по Монлюку, Брантому, д'Обинье, Тавану, Лану́ и др. составляем мы себе представление о *французе XVI века*. Слог этих авторов не менее характерен, чем самый их рассказ.

У Этуала сказано мимоходом:

«Деву́ща Шатонеф, одна из милашек короля до его отъезда в Польшу, увлеклась флорентинцем Антино́тти,

начальником галер в Марселе, выскочила за него замуж, а потом, обнаружив, что он впал в блуд, взяла да собственными руками его и убила».

При помощи этого анекдота и множества других — а у Брантома их полно, — я мысленно воссоздаю характер, и передо мной оживает придворная дама времен Генриха III.

Мне представляется любопытным сравнить тогдашние нравы с нашими и обратить внимание на то обстоятельство, что сильные чувства выродились, зато жизнь стала спокойнее и, пожалуй, счастливее. Остается решить вопрос: лучше ли мы наших предков, а это не так легко, ибо взгляды на одни и те же поступки с течением времени резко изменились.

Так, например, в 1500 году убийство и отравление не внушали такого ужаса, как в наши дни. Дворянин предательски убивал своего недруга, ходатайствовал о помиловании и, испросив его, снова появлялся в обществе, причем никто и не думал от него отворачиваться. В иных случаях, если убийство совершалось из чувства правой мести, то об убийце говорили, как говорят теперь о порядочном человеке, убившем на дуэли подлеца, который нанес ему кровное оскорбление.

Вот почему я убежден, что к поступкам людей, живших в XVI веке, нельзя подходить с меркой XIX. Что в государстве с развитой цивилизацией считается преступлением, то в государстве менее цивилизованном сходит всего лишь за проявление отваги, а во времена варварские, может быть, даже рассматривалось как похвальный поступок. Суждение об одном и том же деянии надлежит, понятно, выносить еще и в зависимости от того, в какой стране оно совершилось, ибо между двумя народами такое же точно различие, как между двумя столетиями<sup>1</sup>.

Мехмет-Али, у которого мамелюкские беи оспаривали власть над Египтом, в один прекрасный день приглашает к себе во дворец на праздник их главных военачальников. Не успели они войти, как ворота за ними захлопываются. Спрятанные на верхних террасах албанцы расстреливают их, и отныне Мехмет-Али царит в Египте единовластно.

Что же из этого? Мы ведем с Мехметом-Али переговоры, более того: он пользуется у европейцев уважением, во всех газетах о нем пишут как о великом человеке, его называют благодетелем Египта. А между тем что может быть ужаснее совершенного с заранее обдуман- ным намерением убийства беззащитных людей? Но все дело в том, что подобного рода ловушки узаконены местными обычаями и объясняются невозможностью выйти из положения иначе. Ну как тут не вспомнить изречение Фигаро: *Ma, per Dio, l'utilita!* \*

Если бы в распоряжении одного министра, которого я здесь называть не стану, находились албанцы, готовые по его приказу кого угодно расстрелять, и если бы во время одного из званых обедов он отправил на тот свет наиболее видных представителей оппозиции, то фактически его деяние ничем бы не отличалось от деяния египетского паши, а вот с точки зрения нравственной оно в сто раз более преступно. Убивать — это уже не в наших нравах. Но тот же самый министр уволил многих либеральных избирателей, мелких правительственных чиновников, запугал других, и выборы прошли, как ему хотелось. Если бы Мехмет-Али был министром во Франции, он бы дальше этого не пошел, а французский министр, очутись он в Египте, непременно начал бы расстреливать, оттого что увольнения не произвели бы на умы мамелюков должного действия<sup>2</sup>.

Варфоломеевская ночь была даже для того времени огромным преступлением, но, повторяю, резня в XVI веке — совсем не такое страшное преступление, как резня в XIX. Считаем нужным прибавить, что участие в ней, прямое или косвенное, приняла бóльшая часть нации; она ополчилась на гугенотов, потому что смотрела на них как на чужестранцев, как на врагов.

Варфоломеевская ночь представляла собой своего рода национальное движение, напоминающее восстание испанцев 1809 года, и парижане, истребляя еретиков, были твердо уверены, что они действуют по воле неба.

Я — рассказчик, и я не обязан последовательно излагать ход исторических событий 1572 года. Но уж раз я

---

\* Черт с ним, наплевать, зато польза! (итал.)

заговорил о Варфоломеевской ночи, то не могу не поделиться мыслями, которые пришли мне в голову, когда я читал эту кровавую страницу нашей истории.

Верно ли были поняты причины резни? Была ли она подготовлена заранее или же явилась следствием решения внезапного, быть может — делом случая?

На все эти вопросы ни один историк не дал мне удовлетворительного ответа.

В качестве доказательства историки приводят городские слухи и воображаемые разговоры, которые очень мало значат, когда речь идет о решении столь важной исторической проблемы.

Иные утверждают, что Карл IX — это воплощение двуличия, другие рисуют его человеком угрюмым, взбалмошным и вспыльчивым. Если он задолго до 24 августа грозил протестантам, — значит, он исподволь готовил их избиение; если он обласкал их, — значит, он двуличен.

В доказательство того, как легко подхватываются самые неправдоподобные слухи, я хочу рассказать только одну историю, которую вы можете найти везде.

Будто бы уже приблизительно за год до Варфоломеевской ночи был составлен план резни. Вот в чем он заключался: в Пре-о-Клер должны были построить деревянную башню; туда решено было поместить герцога Гиза с дворянами и солдатами-католиками, а адмирал с протестантами должен был разыграть атаку — якобы для того, чтобы король поглядел, как происходит осада. Во время этого своеобразного турнира по данному знаку католикам надлежало зарядить свое оружие и перебить врагов, прежде чем они успеют изготавиться к обороне. Чтобы разукрасить эту историю, рассказывают еще, будто фаворит Карла IX Линьероль из-за собственной неосторожности разоблачил заговор, — когда король словесно изничтожал протестантских вельмож, он ему сказал: «Государь! Потерпите немного. У нас есть крепость, и она отомстит за нас всем еретикам». Прошу, однако, заметить, что никто еще не видел ни одной доски от этой крепости. Король велел казнить болтуна. План этот будто бы составил канцлер Бираг, а вместе с тем ему приписывают фразу, свидетельствующую о совершенно иных



намерениях: дабы избавить короля от его врагов, ему, Бирагу, нужно, мол, всего несколько поваров. Последнее средство было гораздо более доступным, тогда как план с башней в силу своей необычности представляется почти неосуществимым. В самом деле: неужто у протестантов не возбудили бы подозрений приготовления к военной игре, в которой два стана, еще недавно — враждебных, столкнулись бы лицом к лицу? Да и потом, кто хочет расправиться с гугенотами, тот вряд ли станет собирать их всех в одном месте и вооружать. Ясно, что если бы заговорщики ставили своей задачей истребление всех протестантов, то насколько же целесообразнее было бы перебить их, безоружных, поодиночке!

По моему глубокому убеждению, резня была непреднамеренной, и мне непонятно, что заставляет придерживаться противоположного мнения авторов, которые, однако, сходятся на том, что Екатерина — женщина очень злая, но что это один из самых глубоких политических умов XVI века.

Оставим пока в стороне нравственные принципы и рассмотрим этот мнимый план только с точки зрения его выгоды. Так вот, я стою на том, что план этот был невыгоден двору; к тому же осуществлен он был в высшей степени бестолково, из чего приходится сделать вывод, что составляли его люди весьма недалекие.

Рассмотрим, выиграла бы или проиграла королевская власть от такого плана и в ее ли интересах было согласиться на то, чтобы он был приведен в исполнение.

Франция делилась тогда на три крупные партии: на партию протестантов, которую после смерти принца Конде возглавил адмирал, на королевскую партию, слабейшую из трех, и на партию Гизов — тогдашних ультрароялистов.

Ясно, что король, у которого было ровно столько же оснований опасаться Гизов, сколько и протестантов, должен был постараться укрепить свою власть, сталкивая между собой эти два враждебных лагеря. Раздавить один из них — значило отдать себя на милость другому.

Система балансирования была уже тогда достаточно известна и применялась на деле. Еще Людовик XI говорил: «Разделяй и властвуй».

Теперь посмотрим, был ли Карл IX набожен. Ревностное благочестие могло толкнуть его на неосторожный шаг, но нет: все говорит о том, что если он и не был вольнодумцем, то, с другой стороны, не был и фанатиком. Да и руководившая им мать, не задумываясь, принесла бы в жертву свои религиозные убеждения, если только они у нее были, ради своего властолюбия<sup>3</sup>.

Предположим, однако, что сам Карл, или его мать, или, если хотите, его правительство решили вопреки всем правилам политики истребить протестантов во Франции. Если бы они такое решение приняли, то уж, конечно, взвесив все способы, остановились бы на наиболее верном. Тогда первое, что пришло бы им на ум как наиболее надежное средство, это одновременное избиение реформатов во всех городах королевства, дабы реформаты, подвергшись нападению численно превосходящих сил противника<sup>4</sup>, нигде не могли оказать сопротивления. Для того чтобы с ними покончить, потребовался бы всего один день. Именно так замыслил истребить евреев Ассуэр.

Между тем мы знаем из истории, что первый указ короля об избиении протестантов помечен 28 августа, то есть он был издан четыре дня спустя после Варфоломеевской ночи, когда весть об этой страшной бойне давно уже опередила королевских гонцов и должна была всколыхнуть протестантов.

Особенно важно было захватить крепости протестантов. Пока они оставались в их руках, королевская власть не могла чувствовать себя в безопасности. Следовательно, если бы католический заговор действительно существовал, то ясно, что католикам надлежало принять две наиболее срочные меры: 24 августа захватить Ла Рошель и держать целую армию на юге Франции с целью помешать объединению реформатов<sup>5</sup>.

Ни того, ни другого сделано не было.

Я не могу допустить, чтобы люди, замыслившие чреватое столь важными последствиями преступление, так неумело его совершили. В самом деле, принятые меры оказались настолько слабыми, что спустя несколько месяцев после Варфоломеевской ночи война разгорелась с новой силой, и вся слава в этой войне досталась, ко-

нечно, реформатам, и они извлекли из нее новые выгоды.

Далее: за два дня до Варфоломеевской ночи произошло убийство Колиньи,— не отмечает ли оно окончательно предположение о заговоре? К чему убивать главаря до всеобщего избиения? Не значило ли это испугнуть гугенотов и заставить их быть начеку?

Я знаю, что некоторые авторы приписывают убийство адмирала только одному герцогу Гизу. Однако, не говоря о том, что общественное мнение обвинило в этом преступлении короля<sup>6</sup> и что убийца получил от короля награду, я бы извлек из этого факта еще один аргумент против предположения о наличии заговора. В самом деле, если бы заговор существовал, герцог Гиз непременно принял бы в нем участие, а в таком случае почему бы не отложить кровную месть на два дня, чтобы уж отомстить наверняка? Неужели только ради того, чтобы ускорить на два дня гибель своего врага, надо было ставить на карту успех всего предприятия?

Итак, по моему мнению, все указывает на то, что это великое избиение не явилось следствием заговора короля против части своего народа. Варфоломеевская ночь представляется мне непредвиденным, стихийным народным восстанием.

Попытаюсь в меру моих скромных сил разгадать эту загадку.

Колиньи трижды вел переговоры со своим государем на равных правах — уже это одно могло возбудить к нему ненависть. Когда умерла Жанна д'Альбре, оба юных принца — и король Наваррский и принц Конде — были еще слишком молоды, никто бы за ними не пошел, а потому Колиньи был действительно единственным вождем партии реформатов. После смерти Колиньи оба принца оказались как бы пленниками во враждебном лагере, участь их теперь всецело зависела от короля. Значит, только смерть Колиньи, только его одного, была нужна для укрепления власти Карла IX, который, вероятно, помнил слова герцога Альбы: «Голова одного лосося стоит больше, чем десять тысяч лягушек».

Но если бы король одним ударом мог избавиться и от адмирала и от герцога Гиза, то он стал бы неограниченным властелином.

Вот что ему следовало предпринять: прежде всего он должен был возложить убийство адмирала на герцога Гиза или, во всяком случае, свалить на него это убийство, а затем объявить, что он готов выдать его головой гугенотам, и начать против него преследование как против убийцы. Мы не можем ручаться, был герцог Гиз соучастником Морвеля или не был, но что он с великою поспешностью покинул Париж и что реформаты, которым король для вида покровительствовал, угрожали принцам Лотарингского дома,—это мы знаем наверное.

Парижский люд был тогда до ужаса фанатичен. Горожане создали нечто вроде национальной гвардии, которая представляла собой настоящее войско и готова была взяться за оружие, едва лишь заслышит набат. Насколько парижане любили герцога Гиза — и в память отца и за его личные заслуги,—настолько гугеноты, дважды их осаждавшие, были им ненавистны. В ту пору, когда одна из сестер короля была выдана замуж за принца, исповедовавшего их веру, они пользовались при дворе некоторым расположением, но от этого они стали еще заносчивее и еще ненавистнее своим врагам. Словом, для того, чтобы эти фанатики бросились резать своих впавших в ересь соотечественников, нужно было кому-нибудь стать во главе их и крикнуть: «Бей!», только и всего.

Опальный герцог, которому угрожали и король и протестанты, вынужден был искать поддержки в народе. Он собирает начальников городского ополчения, сообщает им, что существует заговор еретиков, требует перебить заговорщиков, пока они еще не начали действовать, и только после этого решено было учинить резню. Строгость тайны, в которую был облечен заговор, а также тот факт, что, хотя в заговор было втянуто множество людей, никто этой тайны не выдал, объясняется весьма просто: после возникновения замысла и до его осуществления прошло всего лишь несколько часов. Если бы дело обстояло иначе, это было бы нечто из ряда вон выходящее, ибо в Париже любой секрет распространяется мгновенно<sup>7</sup>.

Теперь трудно определить, какое участие принял в резне король; если он ее и не одобрил, то уж, вне всякого сомнения, допустил. Спустя два дня, в течение ко-

торых совершались убийства и насилия, он от всего отрекся и попытался остановить бойню<sup>8</sup>. Но ярости народной дай только волю — небольшим количеством крови ее тогда уже не утолить. Ей понадобилось шестьдесят с лишним тысяч жертв. Монарх вынужден был плыть по течению. Он отменил указ о помиловании и вскоре издал другой, вследствие которого волна убийств прокатилась по всей Франции.

Вот каков мой взгляд на Варфоломеевскую ночь, но, изложив его, я повторю слова лорда Байрона:

*I only say, suppose this supposition.*

*D. Juan, cant I, st. LXXXV \*.*

1829

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### РЕЙТАРЫ

*The black band came over  
The Alps and their snow,  
With Bourbon the rover  
They passed the broad Po.*

*Lord Byron. «The deformed  
transformed» \*\*.*

Когда едешь в Париж, то неподалеку от Этампа еще и сейчас виднеется большое квадратное здание со стрельчатыми окнами, украшенное грубыми изваяниями. Над входом — ниша; прежде там стояла каменная мадонна, но во время революции она разделила участь многих святых мужского и женского пола: ее торжественно раз-

---

\* Я говорю одно: предположим. «Дон Жуан», песнь 1, строфа LXXXV (англ.).

\*\* Черная шайка

Во главе с разбойником Бурбоном,  
Перевалив снежные Альпы,  
Перешла через По.

Лорд Байрон «Преображенный урод» (англ.).

бил председатель ларсийского революционного клуба. Впоследствии ее заменили другой статуей девицы Марии,— правда, из гипса, но благодаря шелковым лоскуткам и стекляшкам она выглядит даже нарядно и облагораживает находящийся в самом здании кабачок Клода Жиро.

Более двухсот лет тому назад, а именно — в 1572 году, это здание тоже служило приютом для жаждущих, но тогда у него был совсем другой вид. Надписи на его стенах говорили о превратностях гражданской войны. Тут можно было прочесть: *Да здравствует принц!*<sup>9</sup>, а рядом: *Да здравствует герцог Гиз! Смерть гугенотам!* Поодаль какой-то солдат нарисовал углем виселицу и повешенного, а во избежание недоразумений подписал внизу: *Гаспар де Шатильон*. Вскоре, однако, в том краю взяли верх, по-видимому, протестанты, так как имя их предводителя кто-то зачеркнул и написал: *Герцог Гиз*. Другие надписи полустерты и прочтению поддаются с трудом, а еще труднее передать их смысл в выражениях пристойных, однако из них явствует, что о короле и его матери отзывались в ту пору столь же непочтительно, как и о главарях сбоих станов. Но особенно, должно быть, пострадала от разбушевавшихся гражданских и религиозных страстей несчастная мадонна. Следы пуль, повредивших статую местами в двадцати, свидетельствовали о той ярости, с какой гугеноты разрушали «языческие кумиры», — так они называли подобные изображения. Набожный католик, проходя мимо статуи, из чувства благоговения снимал шляпу, а всадник-протестант почитал своим долгом выстрелить в нее из аркебузы, и если попадал, то испытывал такое же точно удовлетворение, как будто он сокрушил апокалиптического зверя или же искоренил идолопоклонство.

Несколько месяцев тому назад между двумя враждовавшими вероисповеданиями был заключен мир, но клятвы произносились при этом не от чистого сердца. Озлобление и в том и в другом лагере не ослабевало. Все напоминало о том, что военные действия прекратились совсем недавно, все предсказывало, что мир не может быть прочным.

Гостиница *Золотой лев* была набита солдатами. Выговор и особая форма одежды обличали в них немец-

ких конников, так называемых *рейтаров*<sup>10</sup>, которые являлись предлагать свои услуги протестантам чаще всего именно тогда, когда протестанты бывали в состоянии щедро вознаградить их. Ловкие наездники и меткие стрелки, рейтары представляли собой грозную силу в бою, но они стяжали себе еще и другую славу — неумолимых победителей, грабивших все подряд, и вот эта слава была ими, пожалуй, в большей мере заслужена.

Отряд, разместившийся в гостинице и состоявший из пятидесяти конников, выступил накануне из Парижа, чтобы нести в Орлеане гарнизонную службу. Одни чистили привязанных к стене лошадей, другие разводили огонь, поворачивали вертела, — словом, готовили себе еду. Несчастный хозяин гостиницы мял шапку в руках и со слезами смотрел на беспорядок в кухне. Его птичник был уничтожен, погреб разграблен; солдаты не давали себе труда откупоривать бутылки, а прямо отбивали у них горлышки. К умножению всех бедствий, хозяин отлично знал, что от людей, которые обходятся с ним как с неприятелем, возмещения убытков он не дождетсЯ, хотя против нарушителей воинской дисциплины король издал свирепые указы. В то жестокое время — все равно, мирное или военное, — вооруженное войско всегда находилось на иждивении местных жителей, и это установление никто не решался оспаривать.

За дубовым столом, потемневшим от жира и копоти, сидел рейтарский капитан. Это был высокий тучный человек лет пятидесяти, с орлиным носом, багровым лицом, редкими седеющими волосами, не закрывавшими широкого рубца, начинавшегося от левого уха и пропадавшего в густых усах. Панцирь и каску он снял; его камзол из венгерской кожи почернел, оттого что об него постоянно терлось оружие, а в некоторых местах был тщательно зачищен. Сабля и пистолеты лежали на скамейке, — в случае чего капитан легко мог до них дотянуться, а на себе он оставил широкий кинжал: с этим оружием человек благоразумный расставался тогда только ложась в постель.

Слева от него сидел молодой человек, румяный, высокий и довольно стройный. Его камзол был вышит, да и весь его костюм отличался несколько большей изыс-

канностью, нежели костюм соседа. Между тем он был всего только штандарт-юнкером, а сосед — капитаном.

С ним разделяли компанию сидевшие за тем же столиком две молодые женщины, обе — лет двадцати с небольшим. Их одежда, явно с чужого плеча, которую они, по-видимому, взяли в добычу, представляла собой странную смесь роскоши и нищеты. На одной был лиф из камки, шитый золотом, которое давным-давно потускнело, и простая холщовая юбка; на другой — лилового бархата платье и мужская, серого войлока, шляпа с петушиным пером. Обе были миловидны. Их смелые взгляды и вольные речи указывали на то, что они привыкли жить среди солдат. Они выехали из Германии, не ставя перед собой определенных целей. Женщина в бархатном платье была цыганка — она гадала на картах и играла на мандолине. Другая имела кое-какие познания в хирургии и, по всем признакам, пользовалась особым расположением штандарт-юнкера.

Перед каждым из сидевших за столиком стояла большая бутылка и стакан, и в ожидании ужина все четверо болтали и потягивали винцо.

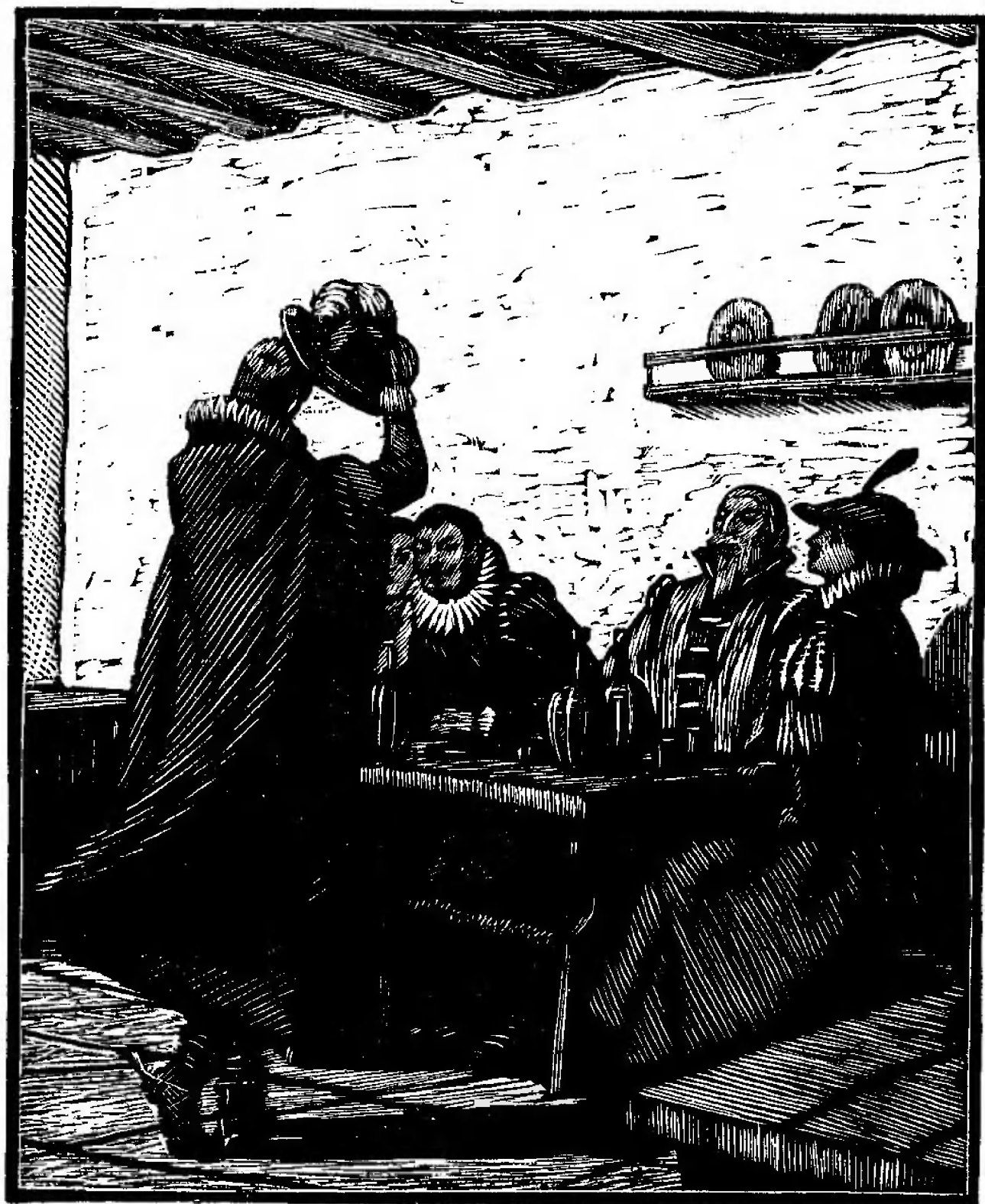
Голод, однако, брал свое, и собеседники вяло поддерживали разговор, но в это время у ворот гостиницы остановился молодой человек высокого роста, довольно нарядно одетый, верхом на добром соловом коне. Со скамьи встал рейтар-трубач и, приблизившись к незнакомцу, взял его коня под уздцы. Незнакомец, приняв это за проявление учтивости; хотел было поблагодарить трубача, но очень скоро понял, что заблуждался, так как трубач разжал коню зубы и с видом знатока осмотрел их, затем отошел на несколько шагов и, проведя глазами по ногам и по крупу благородного животного, в знак удовлетворения закивал головой.

— Знатный у вас конь, *каспадин!* — сказал он на ломаном языке и добавил несколько слов по-немецки, вызвавших взрыв хохота у его товарищей, в кругу которых он поспешил снова усесться.

Бесцеремонный этот осмотр не понравился путнику. Однако он ограничился тем, что бросил на трубача презрительный взгляд, а потом без посторонней помощи слез с коня.

Хозяин, как раз в эту минуту вышедший во двор, по-





«Хроника царствования Карла IX»



чтительно взял у него из рук поводья и сказал ему на ухо, так, чтобы рейтары не могли услышать:

— Милости просим, молодой барин! Но только не в добрый час вы к нам прибыли: эти безобразники, чтоб им святой Христофор шею свернул,—не очень приятная компания для таких добрых христиан, как мы с вами.

Молодой человек насмешливо улыбнулся.

— Это что же, протестантская конница? — спросил он.

— Еще того чище — рейтары,—пояснил трактирщик.— Приехали час тому назад, а уже, чтоб им ни дна, ни покрышки, половину вещей успели у меня переломать. Такие же лихие разбойники, как их атаман, чертов адмирал Шатильон.

— У вас борода седая, а до чего же вы неосторожны! — заметил молодой человек.— А ну как вы напали на протестанта? Ведь за такие речи он вас по головке не погладит!

Произнося эти слова, молодой человек похлопывал хлыстом по своим сапогам из белой кожи.

— Как?.. Что такое?.. Вы — гугенот?.. То есть протестант?.. — в полном изумлении воскликнул трактирщик.

Он отступил на шаг и с головы до ног оглядел ново-прибывшего,—он словно хотел отыскать в его одежде какой-нибудь признак, по которому можно было бы определить, какую веру тот исповедует. Одежда и открытое, улыбающееся лицо молодого человека несколько успокоили трактирщика, и он заговорил еще тише:

— Протестант в зеленом бархатном камзоле! Гугенот в испанских брыжах! Нет, это вздор! Меня, молодой барин, не обманешь: еретики так нарядно не одеваются. Пресвятая дева! Камзол из самолучшего бархата — это будет слишком жирно для таких голодранцев, как они!

В ту же минуту со свистом разрезал воздух хлыст и ударил бедного трактирщика по щеке — так его собеседник выразил свой символ веры.

— Нахальный болтун! Я тебя выучу держать язык на привязи! А ну, веди моего коня в стойло! Да смотри, чтобы у коня всего было вдоволь!

Трактирщик, понутив голову, повел коня в некое подобие сарая, шепотом посылая проклятья и немецким и французским еретикам. И если бы молодой человек не

пошел за ним поглядеть, как он будет обращаться с конем, бедное животное, вне всякого сомнения, было бы не накормлено на том основании, что конь еретика тоже еретик.

Незнакомец вошел в кухню и, изящным движением приподняв широкополую шляпу с изжелта-черным пером, поздоровался. Капитан ответил ему на поклон, а затем оба некоторое время молча рассматривали друг друга.

— Капитан! — заговорил юный незнакомец. — Я дворянин, протестант, я рад, что встретил моих единоверцев. Если вы ничего не имеете против, давайте вместе отужинаем.

Богатое одеяние незнакомца, а также его изысканная манера выражаться произвели на капитана благоприятное впечатление, и он сказал, что почтет это за честь. Молодая цыганка Мила, о которой мы уже упоминали, поспешила подвинуться. Будучи от природы услужливой, она даже уступила незнакомцу свой стакан, а капитан немедленно наполнил его.

— Меня зовут Дитрихом Горнштейном, — чокаясь с молодым человеком, сообщил капитан. — Вы, уж верно, слышали о капитане Дитрихе Горнштейне? Это я водил Бедовых ребят в бой под Дре, а затем под Арне-ле-Дюк.

Незнакомец сообразил, что у него не прямо спрашивают, как его зовут.

— К сожалению, капитан, я не могу похвастаться таким славным именем, как ваше, — отвечал он. — Я говорю только о себе, потому что имя моего отца во время гражданской войны стало широко известно. Меня зовут Бернаром де Мержи.

— Мне ли не знать это имя! — воскликнул Дитрих Горнштейн и налил себе полный стакан. — Я, господин Бернар де Мержи, знал вашего батюшку. Мы с ним познакомились еще в первую гражданскую войну, мы были закадычными друзьями. За его здоровье, господин Бернар!

Дитрих Горнштейн поднял стакан и сказал своему отряду несколько слов по-немецки. Как скоро он поднес стакан ко рту, все конники подбросили в воздух шапки и что-то при этом прокричали. Хозяин, вообразив, что это знак к избиению, упал на колени. Самого Бернара не

сколько удивили необыкновенные эти почести. Со всем тем он почел своим долгом в ответ на это изъявление немейкой вежливости выпить за здоровье капитана.

Бутылки еще до его прихода подверглись ожесточенной атаке, а потому на новый тост вина не хватило.

— Вставай, ханжа! — обратившись к хозяину, который все еще стоял на коленях, приказал капитан. — Вставай и сходи за вином! Ты что, не видишь, что в бутылках пусто?

Штандарт-юнкер для пущей убедительности запустил в него бутылкой. Хозяин побежал в погреб.

— Он изрядный наглец, — заметил де Мержи, — однако ж если б вы в него попали, то ему бы не поздоровилось!

— Наплевать! — с громким хохотом отозвался штандарт-юнкер.

— Голова паписта крепче бутылки, — вмешалась Мила. — Но зато в ней уж совсем пусто.

Штандарт-юнкер захохотал еще громче и заразил всех остальных, даже Мержи, хотя его заставила улыбнуться не столько язвительная шутка цыганки, сколько ее премилый ротик.

Принесли вина, затем подали ужин, и после некоторого молчания капитан заговорил снова, но уже с полным ртом:

— Как мне не знать господина де Мержи! Когда начался первый поход принца, он был уже в чине полковника и служил в пехоте. Во время первой осады Орлеана мы с ним два месяца стояли на одной квартире. А как он сейчас себя чувствует?

— Слава богу, для его преклонного возраста недурно! Он много рассказывал мне о рейтарах и об их лихих наскоках во время сражения под Дре.

— Я знал и его старшего сына... вашего брата, капитана Жоржа... то есть знал до того, как он...

Мержи приметно смутился.

— Это был отчаянный храбрец, — продолжал капитан, — но, черт его дери, больно горячая голова! Мне было так обидно за вашего батюшку! Я думаю, отступничество сына его очень огорчило.

Мержи покраснел до корней волос. Он что-то пролепетал в оправдание своему брату, однако легко можно

было заметить, что в глубине души он строже судит своего брата, нежели рейтарский капитан.

— Я вижу, вам этот разговор неприятен,— молвил Дитрих Гориштейн.— Ну что ж, поговорим о другом. Это потеря для протестантов и ценное приобретение для короля,— как слышно, он у короля в большом почете.

— Ведь вы только что из Парижа,— постарался переменить разговор Мержи.— Адмирал уже там? Вы его, конечно, видели? Ну, как он теперь?

— Когда мы выступали, он вместе с двором возвратился из Блуа. Чувствует он себя превосходно, свеж и бодр. Такой молодчина, как он, еще двадцать гражданских войн выдержит и не охнет! Его величество так к нему благоволит, что все папошки готовы лопнуть с досады.

— Он это заслужил! Король перед ним в неоплатном долгу.

— Послушайте: я вчера был в Лувре и видел, как король пожимал адмиралу руку на лестнице. Гиз плелся сзади с видом побитой собаки. Знаете, что мне в эту минуту почудилось? Будто какой-то человек показывает на ярмарке льва: заставляет подавать лапу, как делают собачки. Но хоть вожак и храбрится и не показывает виду, а все-таки ни на секунду не забывает, что у этой лапы, которую он держит, страшные когти. Да, да, не сойти мне с этого места, если король тогда не почувствовал адмиральские когти.

— У адмирала длинная рука,— вставил штандарт-юнкер. (В протестантском войске это выражение вошло в поговорку.)

— Для своих лет он мужчина хоть куда,— заметила Мила.

— Если б мне пришлось выбирать между ним и молодым папистом, я бы взяла себе в любовники адмирала,— подхватила подружка штандарт-юнкера Трудхен.

— Это оплот нашей веры,— сказал Мержи: ему тоже захотелось принять участие в славословии.

— Вот только насчет дисциплины он уж чересчур строг,— покачав головой, сказал капитан.

Штандарт-юнкер многозначительно подмигнул, и его толстую физиономию исказила гримаса, которая должна была изобразить улыбку.

— Этого я от вас не ожидал, капитан,— молвил Мер-

жи,—старому солдату не к лицу упрекать адмирала в том, что он требует от своего войска неуклонного соблюдения дисциплины.

— Да, конечно, дисциплина нужна. Но ведь и то сказать: доля солдата нелегкая, так если ему в кои-то веки представится случай весело провести время, то запрещать ему веселиться не следует. А впрочем, у каждого человека свои недостатки, и хотя адмирал меня повесил, я предлагаю выпить за его здоровье.

— Адмирал вас повесил? — переспросил Мержи.— Однако выглядите вы молодцом и на повешенного нисколько не похожи.

— Да, шорт *восми*, он меня повесил. Но я на него зла не держу. Выпьем за его здоровье!

Мержи хотел было продолжать расспросы, но капитан, наполнив стаканы, снял шляпу и велел своим конникам троекратно прокричать «ура». Когда же стаканы были осушены и воцарилась тишина, Мержи снова обратился к рейтару:

— Так за что же вас повесили, капитан?

— За чепуху. В Сентонже был сначала разграблен, а потом случайно сгорел паршивый монастырь.

— Да, но все монахи оттуда не вышли,—ввернул штандарт-юнкер и залился хохотом — так ему понравилась собственная острота.

— Велика важность! Раньше ли, позже ли — все равно этой сволочи не избежать огня! Со всем тем, вы не поверите, господин де Мержи,—адмирал рассердился на меня не на шутку. Он велел меня схватить, а главный профос нисколько не медля исполнил его приказание. Вся свита адмирала, дворяне, вельможи, сам Лану, а Лану, как известно, солдатам поблажки не дает, недаром его прозвали *Долбану*,—все полководцы просили адмирала помиловать меня, а он — ни за что. Вот до чего, волк его заешь, обозлился! Всю зубочистку изжевал от бешенства, а вы же знаете поговорку: «Избави нас, боже, от четок Монморанси и от зубочистки адмирала!» Говорит: «Мародерку,—прости, господи, мое согрешение,—надо уничтожить, пока она еще девочка, а если она при нашем попустительстве превратится в важную даму, то она всех нас уничтожит». Тут как из-под земли вырастает священник с евангелием под мышкой, и

нас с ним ведут к дубу... Дуб я как сейчас вижу: один сук торчит, словно нарочно для этого вырос. На шею мне накидывают петлю. Всякий раз, как представляю ее себе, в горле становится сухо, точно это не горло, а трут...

— Здесь есть чем его промочить,— сказала Мила и налила рассказчику полный стакан.

Капитан опорожнил его единым духом и продолжал:

— Я уже смотрел на себя, как на желудь, и вдруг меня осенило. «Ваше,— говорю,— высокопревосходительство! Неужто вам не жаль повесить человека, который командовал под Дре Бедовыми ребятами?» Гляжу: вынул зубочистку, берется за другую. «Отлично,— думаю себе,— это добрый знак!» Подозвал он одного из военачальников, по имени Кормье, и что-то прошептал ему на ухо. А потом говорит профосу: «Ну-ка, вздерни его!» — и зашагал прочь. Меня вздернули по всем правилам, но славный Кормье выхватил шпагу и разрубил веревку, а я, красный как рак, грянулся оземь.

— Поздравляю вас,— сказал Мержи,— вы дешево отделались.

Он пристально смотрел на капитана и, казалось, испытывал некоторое смущение оттого, что находится в обществе человека, который вполне заслужил виселицу, но в то страшное время преступления совершались на каждом шагу, и за них нельзя было судить так же строго, как судили бы мы за них теперь. Жестокости одного лагеря до известной степени оправдывали ответные меры, ненависть на религиозной почве почти совершенно заглушала чувство национального единства. Притом, откровенно говоря, Мила с ним украдкой заигрывала, а она ему все больше и больше нравилась, да тут еще винные пары, которые на его юные мозги оказывали более сильное действие, нежели на чугунные головы рейтаров,— все это заставляло его сейчас относиться к своим собутыльникам в высшей степени снисходительно.

— Я недели полторы прятала капитана в крытой повозке, а выпускала только по ночам,— сказала Мила.

— А я приносила ему попить-поесть,— добавила Трудхен.— Он может это подтвердить.

— Адмирал сделал вид, что распалился гневом на Кормье, но это они оба разыгрывали комедию. Я потом долго шел за войском и не смел показываться на глаза



адмиралу. Наконец во время осады Лоньяка он наткнулся на меня в окопе и говорит: «Друг мой Дитрих! Раз уж тебя не повесили, так пусть расстреляют!» И тут он показал на пролом в крепостной стене. Я понял, что он хочет сказать, и смело пошел брать Лоньяк приступом, а на другой день подхожу к нему на главной улице, в руке у меня простреленная шляпа. «Ваше,— говорю,— высокопревосходительство! Меня расстреляли так же точно, как и повесили». Адмирал усмехнулся и протянул мне кошелек. «Вот тебе,— говорит,— на новую шляпу!» С тех пор мы с ним друзья... Да уж, в Лоньяке мы пограбили так пограбили! Вспомнишь — слюнки текут.

— Какие красивые шелковые платья нам достались! — воскликнула Мила.

— Сколько хорошего белья! — воскликнула Трудхен.

— Какого жару мы дали монашкам из большого монастыря! — вмешался штандарт-юнкер. — Двести конных аркебузирова — на постое у сотни монашек!..

— Более двадцати монашек отреклись от папизма — до того пришились им по вкусу гугеноты, — сказала Мила.

— Любо-дорого было смотреть на моих аргулетов!<sup>11</sup> — воскликнул капитан. — Они в церковном облачении коней поить водили. Наши кони ели овес на престолах, а мы пили славное церковное вино из серебряных чаш!

Он повернул голову и хотел было потребовать еще вина, но увидел, что трактирщик с выражением непередаваемого ужаса сложил руки и поднял глаза к небу.

— Болван! — пожав плечами, проговорил храбрый Дитрих Горнштейн. — Только круглые дураки могут верить рассказам католических попов. Послушайте, господин де Мержи, в бою под Монконтуром я выстрелом из пистолета уложил на месте дворянина из свиты герцога Анжуйского. Стащил я с него камзол, и что же бы вы думали, я нашел у него на брюхе? Большой лоскут шелка, на котором были вытканы имена святых. Он надеялся, что это убережет его от пули. Черта лысого! Я ему доказал, что нет такой ладанки, через которую не прошла бы протестантская пуля.

— Да, ладанки, — подхватил штандарт-юнкер. — А у меня на родине продают куски пергамента, предохраняющие от свинца и от железа.

— Я предпочитаю на совесть сработанную кирасу из лучшей стали, вроде тех, какие выделывает в Нидерландах Якоб Леско,— заметил Мержи.

— А все-таки я стою на том, что человек может сделаться неуязвимым,— снова заговорил капитан.— Я собственными глазами видел в Дре дворянина,— пуля попала ему прямо в грудь. Но он знал рецепт чудодейственной мази и перед боем ею натерся, а еще на нем был буйволово́й кожи нагрудник, так на теле у него даже кровоподтека, как после ушиба, и того не осталось.

— А вы не находите, что одного этого нагрудника оказалось достаточно, чтобы защитить дворянина от пули?

— Ох, французы, французы, какие же вы все маловеры! А если я вам скажу, что при мне один силезский латник положил руку на стол и кто ни полоснет ее ножом — хоть бы один порез? Вы улыбаетесь? Вы думаете, что это басни? Спросите у Милы, вот у этой девушки. Она родом из такого края, где колдуны — обычное явление, все равно что здесь монахи. Она может вам рассказать много страшных историй. Бывало, длинным осенним вечером сидим мы у костра, под открытым небом, а она рассказывает нам про всякие приключения, так у нас у всех волосы дыбом.

— Я бы с удовольствием послушал,— сказал Мержи.— Прелестная Мила! Сделайте одолжение, расскажите!

— Правда, Мила,— подхватил капитан,— нам надо это допить, а ты пока что-нибудь расскажи.

— Коли так, слушайте со вниманием,— проговорила Мила.— А вы, молодой барин, вы ничему не верите, ну и не верьте, только рассказывать не мешайте.

— Почему вы обо мне такого мнения? — вполголоса обратился к ней Мержи.— По чести, я уверен, что вы меня приворожили: я в вас влюблен без памяти.

Мержи потянулся губами к ее щеке, но Мила мягким движением отстранила его и, окинув беглым взглядом комнату, чтобы удостовериться, все ли ее слушают, начала с вопроса:

— Капитан! Вы, конечно, бывали в Гамельне?

— Ни разу не был.

— А вы, юнкер?

— Тоже не был.

— Как? Неужели никто из вас не был в Гамельне?

— Я прожил там целый год,—подойдя к столу, объявил один из конников.

— Стало быть, Фриц, ты видел Гамельнский собор?

— Сколько раз!

— И раскрашенные окна видел?

— Ну, еще бы!

— А что на окнах нарисовано?

— На окнах-то? На левом окне, сколько я помню, нарисован высокий черный человек; он играет на флейте, а за ним бегут ребятишки.

— Верно. Так вот я вам сейчас расскажу историю про черного человека и про детей.

Много лет тому назад жители Гамельна страдали от великого множества крыс — крысы шли с севера такими несметными полчищами, что земля казалась черной; возчики не отваживались переезжать дорогу, по которой двигались эти твари. Они все пожирали в мгновение ока. Съесть в амбаре целый мешок зерна было для них так же просто, как для меня выпить стакан этого доброго вина.

Мила выпила, вытерла рот и продолжала:

— Мышеловки, крысоловки, капканы, отравы — ничто на них не действовало. Из Бремена тысячу сто кошек прислали на барже, но и это не помогло. Тысячу крыс истребят — появляются новые десять тысяч, еще прожорливей первых. Словом сказать, если б от этого бича не пришло избавление, во всем Гамельне не осталось бы ни зерна, и жители перемерли бы с голоду.

Но вот однажды — это было в пятницу — к бургомистру приходит высокий мужчина, загорелый, сухопарый, пучеглазый, большеротый, в красном камзоле, в остроконечной шляпе, в широченных штанах с лентами, в серых чулках, в башмаках с огненного цвета бантиками. Сбоку у него висела кожаная сумочка. Он как живой стоит у меня перед глазами.

Все невольно обратили взоры к стене, с которой не сводила глаз Мила.

— Так вы его видели? — спросил Мержи.

— Я сама — нет, его видела моя бабушка. Она так ясно представляла себе наружность этого человека, что могла бы написать его портрет.

— Что же он сказал бургомистру?

— Он предложил за сто дукатов избавить город от этой напасти. Бургомистр и горожане, понятно, без всяких разговоров ударили с ним по рукам. Тогда незнакомец вышел на базарную площадь, стал спиной к собору, — прошу вас это запомнить, — достал из сумки бронзовую флейту и заиграл какую-то странную мелодию — ни один немецкий флейтист никогда ее не играл. Едва заслышав эту мелодию, из всех амбаров, из всех норок, со стропил, из-под черепиц к нему сбежались сотни, тысячи крыс и мышей. Незнакомец, не переставая играть, направился к Везеру, снял на берегу штаны и вошел в воду, а за ним попрыгали гамельнские крысы и, разумеется, утонули. В городе еще оставалась только одна крыса, — сейчас я вам объясню, почему. Колдун, — а ведь это был, конечно, колдун, — спросил отставшую крысу, которая еще не вошла в воду: «А почему еще не пришла седая крыса Клаус?» «У нее, сударь, от старости лапы отнялись», — отвечала крыса. «Ну так сходи за ней!» — приказал ей колдун. Крысе пришлось тащиться обратно в город, вернулась же она со старой жирной седой крысой, и до того эта крыса была стара, до того стара, что уже не могла двигаться. Крыса помоложе потянула старую за хвост, обе вошли в Везер и, как все их товарки, утонули. Так город был очищен от крыс. Но когда незнакомец явился в ратушу за вознаграждением, бургомистр и горожане, приняв в соображение, что крыс им теперь нечего бояться, а что за этого человека заступиться некому и его можно поприжать, не постеснялись предложить ему вместо обещанных ста дукатов всего только десять. Незнакомец возмутился — его послали ко всем чертям. Тогда он пригрозил, что если они не сдержат данного слова, то это им обойдется дороже. Горожане ответили на угрозу дружным хохотом, вытолкали его из ратуши, вдобавок обозвали крысиных дел мастером, кличку эту подхватили ребятишки и гнались за ним по улицам до Новых ворот. В следующую пятницу ровно в полдень незнакомец снова появился на базарной площади, но на этот раз в шляпе пурпурного цвета, лихо заломленной набекрень. Он вынул из сумки флейту, не похожую на ту, с которой он был в прошлый раз, и стоило ему заиграть, как все мальчишки от шести до пятнадцати лет пошли следом за незнакомцем и вместе с ним вышли из города.

— А что же обитатели Гамельна, так и позволили их увести? — один и тот же вопрос задали одновременно капитан и Мержи.

— Они шли за ними до самого Коппенберга — в этой горе была тогда пещера, потом ее завалили. Флейтист вошел в пещеру, дети — за ним. Первое время звуки флейты слышались явственно, затем все глуше, глуше, наконец все стихло. Дети исчезли, и с той поры о них ничего не известно.

Цыганка обвела глазами слушателей, — ей хотелось угадать по выражению лиц, какое впечатление произвел ее рассказ.

Первым заговорил рейтар, побывавший в Гамельне:

— Это самая настоящая быль, — когда в Гамельне заходит речь о каком-нибудь необыкновенном событии, жители говорят так: «Это случилось через двадцать или там через десять лет после того, как пропали наши дети... Фон Фалькенштейн разграбил наш город через шестьдесят лет после того, как пропали наши дети».

— Но вот что любопытно, — снова заговорила Мила, — в это же время далеко от Гамельна, в Трансильвании, появились какие-то дети: они хорошо говорили по-немецки, только не могли объяснить, откуда они пришли. Все они женились на местных уроженках и научили родному языку своих детей, — вот почему в Трансильвании до сих пор говорят по-немецки.

— Так это и есть те гамельнские дети, которых перенес туда черт? — улыбаясь, спросил Мержи.

— Клянусь богом, что все это правда! — воскликнул капитан. — Я бывал в Трансильвании и хорошо знаю, что там говорят по-немецки, а кругом только и слышишь какую-то чертову тарабарщину.

Объяснение капитана отличалось не меньшей достоверностью, нежели все прочие.

— Желаете, погадаю? — обратилась Мила к Мержи.

— Сделайте одолжение, — ответил тот и, обняв левой рукой цыганку за талию, протянул ей правую.

Мила молча разглядывала ее минут пять и время от времени задумчиво покачивала головой.

— Ну так как же, прелестное дитя: женщина, которую я люблю, будет моей любовницей?

Мила щелкнула его по ладони.

— И счастье и несчастье,— заговорила она.— От синих глаз всякое бывает: и дурное и хорошее. Хуже всего, что ты свою кровь прольешь.

Капитан и юнкер, видимо, одинаково пораженные зловещим концом предсказания, не проронили ни звука.

Трактирщик, стоя в отдалении, истово крестился.

— Я поверю, что ты настоящая колдунья, только если ты угадаешь, что я сейчас сделаю,— молвил Мержи.

— Поцелуешь меня,— шепнула Мила.

— Да она и впрямь колдунья! — воскликнул Мержи и поцеловал ее.

Затем он продолжал вполголоса беседовать с хорошенькой гадалкой,— видно было, что их взаимная склонность растет с каждым мгновением.

Трудхен взяла что-то вроде мандолины, у которой почти все струны были целы, и начала наигрывать немецкий марш. Потом, заметив, что ее обступили конники, спела на своем родном языке солдатскую песню, рейтары во все горло подхватывали припев. Глядя на нее, и капитан затаил так, что стекла зазвенели, старую гугенотскую песню, напев которой был не менее дик, чем ее содержание:

Принц Конде убит,  
Вечным сном он спит.  
Но врагам на страх  
Адмирал — в боях.  
С ним Ларошфуко  
Гонит далеко,  
Гонит вон папошек  
Всех до одного.

Рейтаров разобрал хмель, каждый пел теперь свое. Пол был усыпан осколками и объедками. Стены кухни дрожали от ругани, хохота и вакхических песен. Вскоре, однако ж, сон при поддержке паров орлеанских вин одолел большинство участников вакханалии. Солдаты разлеглись на лавках; юнкер поставил у дверей двух часовых и, шатаясь, побрел к своей кровати; сохранивший чувство равновесия капитан, не давая крена ни в ту, ни в другую сторону, поднялся по лестнице в комнату хозяина, которую он выбрал себе как лучшую в гостинице.

А Мержи и цыганка? Еще до того, как капитан запел, они оба исчезли.

УТРО ПОСЛЕ ПОПОЙКИ

Н о с и л ь щ и к

Сию минуту давайте деньги, вот что!

*М о л ь е р. «Смешные жеманницы».*

Мержи проснулся уже белым днем, и в голове у него все еще путались обрывки воспоминаний о вчерашнем вечере. Платье его было разбросано по всей комнате, на полу стоял раскрытый чемодан. Мержи присел на кровати; он смотрел на весь этот беспорядок и словно для того, чтобы собрать мысли, потирал лоб. Лицо его выражало усталость и в то же время изумление и беспокойство.

За дверью на каменной лестнице слышались тяжелые шаги, и в комнату, даже не потрудившись постучать, вошел трактирщик, еще более хмурый, чем вчера, но глаза его смотрели уже не испуганно, а нагло.

Он окинул взглядом комнату и, словно придя в ужас от всего этого кавардака, перекрестился.

— Ах, ах! — воскликнул он. — Молодой барин! Вы еще в постели. Пора вставать, нам с вами нужно свести счеты.

Мержи устрашающе зевнул и выставил одну ногу.

— Почему здесь такой беспорядок? Почему открыт мой чемодан? — заговорил он еще более недовольным тоном, чем хозяин.

— Почему, почему! — передразнил хозяин. — А я откуда знаю? Очень мне нужен ваш чемодан. Вы в моем доме еще больше беспорядка наделали. Но, клянусь моим покровителем — святым Евстафием, вы мне за это заплатите.

Пока трактирщик произносил эти слова, Мержи натягивал свои короткие ярко-красные штаны, и из незастегнутого кармана у него выпал кошелек. Должно быть, кошелек стукнулся об пол не так, как ожидал Мержи, потому что он с обеспокоенным видом поспешил поднять его и раскрыть.

— Меня обокрали! — повернувшись лицом к трактирщику, крикнул он.

Вместо двадцати золотых экую в кошельке оставалось всего-навсего два.

Дядюшка Эсташ пожал плечами и презрительно усмехнулся.

— Меня обокрали! — торопливо завязывая пояс, повторил Мержи. — В кошельке было двадцать золотых экую, и я хочу получить их обратно: деньги у меня вытащили в вашем доме.

— Клянусь бородой, я очень этому рад! — нахально объявил трактирщик. — Было б вам не путаться с ведьмами да с воровками. Впрочем, — понизив голос, добавил он, — рыбак рыбака видит издалека. Всех, по ком плачет виселица, — еретиков, колдунов, жуликов, — водой не разольешь.

— Что ты сказал, подлец? — вскричал Мержи, тем сильнее разъяряясь, что в глубине души чувствовал справедливость упреков трактирщика. Как всякий виноватый человек, он хватал за вихор представлявшийся ему удобный случай поругаться.

— А вот что, — возвышая голос и подбочиваясь, отвечал трактирщик. — Вы у меня в доме все как есть переломали, и я требую, чтобы вы мне уплатили все до последнего су.

— Я заплачу только за себя — и ни лиара больше. Где капитан Корн... Горнштейн?

— У меня выпито, — еще громче завопил дядюшка Эсташ, — больше двухсот бутылок доброго старого вина, и я с вас за них взыщу!

Мержи был уже одет.

— Где капитан?! — громовым голосом крикнул он.

— Два часа назад выехал. И пусть бы он убирался к черту со всеми гугенотами, пока мы их не сожгли!

Вместо ответа Мержи закатил ему увесистую оплеуху.

От неожиданности и от силы удара трактирщик на два шага отступил. Из кармана его штанов торчала костяная ручка большого ножа, и он уже за нее схватился. Не справься трактирщик с первым порывом ярости, беда была бы неотвратима. Благоразумие, однако, пересилило злобу, и от его взора не укрылось, что Мержи потянулся к длинной шпаге, висевшей над изголовьем. Это сра-



зу же заставило трактирщика отказаться от неравного боя, и он затопал вниз по лестнице, крича во всю мочь: — Разбой! Поджог!

Поле битвы осталось за Мержи, но в том, что победа принесет ему плоды, он был далеко не уверен, а потому, застегнув пояс, засунув за него пистолеты, заперев и подхватив чемодан, он принял решение идти к ближайшему судье. Он уже отворил дверь и занес ногу на первую ступеньку, как вдруг глазам его внезапно представилось вражеское войско.

Впереди со старой алебардой в руке поднимался трактирщик, за ним — трое поварят, вооруженных вертелами и палками, а в арьергарде находился сосед с аркебузой. Ни та, ни другая сторона не рассчитывала на столь скорую встречу. Каких-нибудь пять-шесть ступенек разделяли противников.

Мержи бросил чемодан и выхватил пистолет. Это враждебное действие показало дядюшке Эсташу и его сподвижникам, насколько несовершенен их боевой порядок. Подобно персам под Саламином, они не сочли нужным занять такую позицию, которая позволила бы им воспользоваться всеми преимуществами своего численного превосходства. Если бы единственный во всем их войске человек, снабженный огнестрельным оружием, попробовал его применить, он неминуемо ранил бы стоявших впереди однополчан, а между тем гугенот, держа под прицелом всю лестницу, сверху донизу, казалось, мог одним пистолетным выстрелом уложить их всех на месте. Чуть слышное щелканье курка, взведенного гугенотом, напугало их так, словно выстрел уже грянул. Вражеская колонна невольно сделала поворот «кругом» и, ища более обширного и более выгодного поля битвы, устремилась в кухню. В суматохе, неизбежной при беспорядочном отступлении, хозяин споткнулся на свою же собственную алебарду и полетел. Будучи противником великодушным, Мержи счел неблагоприятным прибегать к оружию и ограничился тем, что швырнул в беглецов чемодан; чемодан обрушился на них, точно обломок скалы, и, от ступеньки к ступеньке все ускоряя свое падение, довершил разгром вражеского войска. Лестница очистилась от неприятеля, а в виде трофея осталась сломанная алебарда.

Мержи сбежал по лестнице в кухню,— там уже враг построился в одну шеренгу. Аркебузир держал оружие наготове и раздувал зажженный фитиль. Хозяин, падая, разбил себе нос, и теперь он, весь в крови, как раненый Менелай за рядами греков, стоял позади шеренги. Махаона или Подалирия заменяла ему жена: волосы у нее растрепались, чепец развязался, грязной салфеткой она вытирала мужу лицо.

Мержи действовал решительно. Он пошел прямо на владельца аркебузы и приставил ему к груди дуло пистолета.

— Брось фитиль, а не то я тебя пристрелю! — крикнул он.

Фитиль упал на пол, и Мержи, наступив сапогом на кончик горящего жгута, загасил его. В ту же минуту союзники, все как один, сложили оружие.

— Что касается вас,— обратившись к хозяину, сказал Мержи,— то легкое наказание, которому я вас подвергнул, надеюсь, научит вас учтивее обходиться с постояльцами. Стоит мне захотеть — и здешний судья снимет вашу вывеску. Но я не злопамятен. Ну, так сколько же с меня?

Дядюшка Эсташ, заметив, что Мержи, разговаривая с ним, спустил курок своего грозного пистолета и даже засунул пистолет за пояс, набрался храбрости и, вытираясь, сердито забормотал:

— Переколотить посуду, ударить человека, разбить доброму христианину нос... поднять дикий грохот... Я уж и не знаю, чем можно вознаградить за все это порядочного человека.

— Ладно, ладно,— усмехнувшись, молвил Мержи.— За ваш разбитый нос я вам заплачу столько, сколько он, по-моему, стоит. За переколоченную посуду требуйте с рейтаров — это дело их рук. Остается узнать, сколько с меня причитается за вчерашний ужин.

Хозяин посмотрел сперва на жену, потом на поварят, потом на соседа — он как бы обращался к ним и за советом и за помощью.

— Рейтары, рейтары!.. — сказал он. — Не так-то просто с них получить. Капитан дал мне три ливра, а юнкер дал мне пинка.

Мержи вынул один из остававшихся у него золотых.

— Ну, расстанемся друзьями,— сказал он и бросил монету дядюшке Эсташу, но трактирщик из презрения не протянул за ней руку, и монета упала на пол.

— Одно экую! — воскликнул он. — Одно экую за сотню разбитых бутылок, одно экую за разоренный дом, одно экую за побои!

— Одно экую, за все про все одно экую! — не менее жалобно вторила ему супруга. — У нас останавливаются господа католики, ну, иной раз и пошумят, да хоть расплачиваются-то по совести.

Будь Мержи при деньгах, он, разумеется, поддержал бы репутацию своих единомышленников как людей щедрых.

— Очень может быть,— сухо возразил он,— но господ католиков не обворовывали. Как хотите,— добавил он,— берите экую, а то и вовсе ничего не получите.

И тут он сделал такое движение, словно собирался нагнуться за монетой.

Хозяйка мигом подобрала ее.

— Ну-ка, выведите моего коня! А ты брось свой вертел и вынеси чемодан.

— Вашего коня, сударь? — скорчив рожу, переспросил один из слуг дядюшки Эсташа.

Как ни был расстроен трактирщик, а все же при этих словах он поднял голову, и в глазах его вспыхнул злорадный огонек.

— Я сам сейчас выведу, государь мой, я сам сейчас выведу вашего доброго коня.

Все еще держа салфетку у носа, хозяин вышел во двор. Мержи последовал за ним.

Каково же было его удивление, когда вместо прекрасного солового коня, на котором он сюда приехал, ему подвели старую пегую клячку с облысевшими коленями да еще и с широким рубцом на морде! А вместо седла из лучшего фламандского бархата он увидел кожаное, обитое железом, обыкновенное солдатское седло.

— Это еще что такое? Где мой конь?

— А уж об этом, ваша милость, спросите у протестантов, у рейтаров,— с притворным смирением отвечал хозяин. — Его увели эти знатные иностранцы. Лошадки-то похожи,— они, верно, и дали маху.

— Хорош конь! — молвил один из поварят. — Больше двадцати лет ему нипочем не дашь.

— Сейчас видно боевого коня, — заметил другой. — Глядите, какой у него на лбу шрам от сабельного удара!

— И какой красивой масти! Черной с белым! Ни дать ни взять — протестантский пастор!

Мержи вошел в конюшню — там было пусто.

— Кто позволил увести моего коня? — закричал он в иступлении.

— Да как же, сударь, не позволить? — вмешался слуга, ведавший конюшней. — Вашего коня увел трубач и сказал, что вы с ним поменялись.

Мержи задыхался от бешенства; он не знал, на ком сорвать зло.

— Я разыщу капитана, — проворчал он, — а уж капитан не даст спуску тому негодю, который меня обокрал.

— Конечно, конечно! Правильно сделаете, ваша милость, — одобрил хозяин. — У капитана — как бишь его? — на лице написано, что он человек благородный.

Но Мержи в глубине души сознавал, что его обворовали если не по прямому приказу капитана, то уж, во всяком случае, с его соизволения.

— А заодно спросите денежки у той барышни, — ввернул хозяин, — она укладывала свои вещи, когда еще чуть брезжило, и, верно, по ошибке прихватила ваши монеты.

— Прикажете приторочить чемодан вашей милости к седлу вашей милости? — издевательски-почтительно спросил Конюх.

Мержи понял, что эта сволочь перестанет над ним потешаться не прежде, чем он отсюда уедет. А потому, как только чемодан был приторочен, он вскочил в скверное седло, но лошадь, почуяв нового хозяина, проявила коварство: она вздумала проверить его познания в искусстве верховой езды. Однако она скоро удостоверилась, что имеет дело с опытным наездником, сейчас меньше, чем когда-либо, расположенным терпеть ее шалости. Несколько раз подряд взбрыкнув, за что всадник наградил ее по заслугам, изо всех сил всадив в нее острые шпоры, она рассудила за благо смириться и побежала крупной рысью. Однако часть своих сил она израсхо-

вала в борьбе с седоком, и ее постигла та же участь, какая неизменно постигает в подобных обстоятельствах всех кляч на свете: она, как говорится, свалилась с ног. Наш герой тотчас же вскочил; ушибся он слегка, но был сильно раздосадован насмешками, которыми его не замедлили осыпать. Он было вознамерился отомстить за это мощными ударами сабли плашмя, однако, по зрелом размышлении, решил сделать вид, будто не слышит долетавших к нему издали оскорблений; и снова двинулся, но уже не так быстро, по дороге в Орлеан, а за ним на известном расстоянии бежали мальчишки, и те, что постарше, пели песню про Жана П...унка<sup>12</sup>, а малыши орали истошными голосами:

— Бей гугенота! Бей гугенота! На костер его!

Уныло протрусив с полмили, Мержи умозаклучил, что рейтаров он нынче едва ли догонит и что его конь, вне всякого сомнения, продан, а если даже и не продан, то вряд ли эти господа соблаговолят его вернуть. Постепенно он свыкался с тем, что конь потерян для него безвозвратно. А как скоро он в этой мысли утвердился, то, сделав дальнейший вывод, что по Орлеанской дороге ему ехать незачем, свернул на Парижскую, но не на большую, а на проселочную: проезжать мимо злополучной гостиницы, свидетельницы его несчастий, ему не хотелось. Мержи сызмала привык видеть во всем хорошую сторону, и теперь ему тоже стало казаться, что он еще счастливо отделался: ведь его могли ободрать до нитки, могли даже убить, а ему все-таки оставили один золотой, почти все пожитки, оставили коня, правда, убогого, однако способного передвигать ноги. Сказать по совести, воспоминание о хорошенькой Миле не раз вызывало у него улыбку. Когда же он, проведя несколько часов в пути, позавтракал, то уже с умилением думал о том, как деликатно поступила эта честная девушка, вытащившая у него из кошелька, в котором лежало двадцать экю, всего лишь восемнадцать. Труднее было ему примириться с потерей превосходного солового коня, однако он не мог не признать, что закоренелый грабитель на месте труба-ча увел бы у него коня без всякой замены.

В Париж Мержи прибыл вечером, незадолго до закрытия городских ворот, и остановился в гостинице на улице Сен-Жак.

ПРИДВОРНАЯ МОЛОДЕЖЬ

*Jachimo*

*...The ring is won.*

*Posthumus*

*The stone's too hard to come by.*

*Jachimo*

*Not a whit,*

*Your lady being so easy.*

*Shakespeare. «Cymbeline» \*.*

Мержи полагал, что в Париже важные особы замолвят за него словечко адмиралу Колиньи и что ему удастся вступить в ряды войска, которому, как говорили, предстояло сражаться во Фландрии под знаменами этого великого полководца. Он тешил себя надеждой, что друзья его отца, которым он вез письма, помогут ему и представят его и ко двору Карла и адмиралу, а у Колиньи было тоже нечто похожее на двор. Мержи знал, что его брат — человек довольно влиятельный, но стоило ли его разыскивать — в этом он был далеко не уверен. Своим отречением Жорж Мержи почти окончательно отрезал себя от семьи, он стал для нее чужим человеком. То был не единичный случай семейного разлада на почве религиозных взглядов. Отец Жоржа уже давно воспретил произносить при нем имя отступника, и в суровости своей он опирался на слова евангелия: *Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его*. Хотя юный Бернар подобной непреклонностью не отличался, тем не менее вероотступничество брата представлялось ему позорным пятном на семейной чести, что, естественно, повлекло за собой охлаждение братских чувств.

Прежде чем решить, как он будет вести себя с братом, прежде чем вручить рекомендательные письма, надо было подумать о том, как пополнить пустой кошелек, и

\* Я к и м о

...Вот перстень мой.

П о с т у м

Трудненько вам добратсьа до него.

Я к и м о

Супруга ваша труд мне облегчила.

Шекспир. «Цимбелин» (англ.).

с этим намерением Мержи, выйдя из гостиницы, направился к мосту Сен-Мишель, в лавочку ювелира — тот задолжал его семейству известную сумму, а у Мержи была доверенность на ее получение.

При входе на мост он столкнулся с щегольски одетыми молодыми людьми, — молодые люди держались за руки и загорали почти весь и без того узкий проход между двумя рядами бесчисленных лавчонок и мастерских, закрывавших вид на реку. За господами шли лакеи, каждый из которых нес длинную обоюдоострую шпагу в ножнах, именуемую *дуэлью*, и кинжал с такой широкой чашкой, которая в случае чего могла заменить щит. По всей вероятности, молодые люди решили, что им тяжело нести это оружие, а быть может, им хотелось показать, как богато одеты у них лакеи.

Молодые люди, должно полагать, были сегодня в духе, — по крайней мере они все время хохотали. Если мимо них проходила хорошо одетая дама, они кланялись ей с почтительной дерзостью. Иным из этих вертопрахов доставляло удовольствие грубо толкать именитых граждан в черных плащах, и те шарахались от них, шепотом посылая проклятия нахальным придворным. Только один из всей компании шел, понутив голову, и, видимо, не принимал участия в общих развлечениях.

— Черт бы тебя взял, Жорж! — хлопнув товарища по плечу, воскликнул один из его спутников. — Что ты такой скучный? За четверть часа рта не раскрыл. Или ты дал обет молчания?

При имени «Жорж» Мержи вздрогнул, но что ответил человек, которого так называли, — этого он не разобрал.

— Ставлю сто пистолей, — продолжал первый, — что он влюблен в какую-нибудь недотрогу. Бедняжка! Мне жаль тебя. Наскочить на неподатливую парижанку — это уж особое невезенье.

— Сходи к колдуну Рудбеку, — посоветовал другой, — он тебе даст приворотного зелья.

— Не врезался ли часом наш друг капитан в монашку? — высказал предположение третий. — Эти черти гугеноты, и обращенные и необращенные, житья не дают Христовым невестам.

Голос, который Мержи мгновенно узнал, с грустью ответил:

— Стал бы я вешать голову из-за любовных похождений! Нет, дело не в этом,—понижив голос, добавил он.— Я попросил де Понса передать письмо моему отцу, де Понс вернулся и сказал, что отец по-прежнему слышать обо мне не хочет.

— Твой отец старого закала,—вмешался еще один молодой человек.— Он из тех гугенотов, которые собирались захватить Амбуаз.

При этих словах капитан Жорж случайно обернулся и заметил Бернара. Он вскрикнул от изумления и бросился к нему с распростертыми объятиями. Бернар, не задумываясь, протянул ему руки и прижал его к своей груди. Будь встреча не столь неожиданной, он, пожалуй, попробовал бы напустить на себя холодность, но именно благодаря ее нечаянности природа вступила в свои права. Они встретились, как друзья после долгой разлуки.

Отдав дань объятиям и первым расспросам, капитан Жорж обернулся к тем из своих приятелей, которые остановились посмотреть на эту сцену.

— Господа! — сказал он.— Видите, какая неожиданная встреча? Уж вы меня простите, я принужден вас покинуть, мне хочется побеседовать с братом: ведь мы с ним лет семь не видались.

— Ну нет, нелегкая тебя побери, лучше и не думай. Обед заказан, и ты должен с нами отобедать.

Молодой человек говорил это, а сам держал Жоржа за плаш.

— Бевиль прав,—молвил другой,—мы тебя не отпустим.

— Да что ты дурака валяешь?—продолжал Бевиль.— Твой брат тоже с нами отобедает. Вместо одного доброго собутыльника у нас будет два, только и всего.

— Извините, пожалуйста,—заговорил Бернар,— но у меня сегодня много дел. Мне нужно передать письма...

— Завтра передадите.

— Нет, я непременно должен доставить их сегодня... А потом,—улыбаясь слегка сконфуженной улыбкой, добавил Бернар,—по правде говоря, я без денег, мне нужно еще их достать...

— Вот так отговорка!—воскликнули все вдруг.— Вместо того, чтобы пообедать с истинными христианами, идти занимать у евреев? Мы этого не допустим.



— Глядите, дружище,— хвастливо потряхнув длинным шелковым кошельком, привязанным к поясу, сказал Бевиль.— Возьмите меня к себе в казначей. Последние две недели мне лихо везло в кости.

— Идем, идем! Чего мы тут стоим? Идем обедать к *Мавру!* — закричали другие.

Капитан обратился к своему брату, все еще пребывавшему в нерешимости:

— Да успеешь ты передать письма! А деньги у меня есть. Идем с нами. Посмотришь, как живут в Париже.

Бернар согласился. Брат познакомил его по очереди со своими приятелями:

— Барон де Водрейль, шевалье де Ренси, виконт де Бевиль и т. д.

Они наговорили своему новому знакомому уйму приятных слов, и Бернару пришлось со всеми по очереди целоваться. Последним сжал его в объятиях Бевиль.

— Эге-ге! — воскликнул он.— Прах меня побери! Да от вас, приятель, пахнет еретиком. Ставлю золотую цепь против одной пистолы, что вы протестант.

— Вы правы, милостивый государь, я протестант, но только не такой, каким бы следовало быть.

— Я гугенота из тысячи узнаю! Шут их возьми, этих господ протестантов! Какой важный вид они на себя напускают, когда речь заходит об их вере!

— Мне кажется, о таких вещах шутя говорить нельзя.

— Господин де Мержи прав,— сказал барон де Водрейль.— А вот вы, Бевиль, когда-нибудь поплатитесь за неуместные шутки над предметами священными.

— Вы только посмотрите на этого святого,— сказал Бернару Бевиль.— По части распутства всех нас за пояс заткнет, а туда же суется читать наставления!

— Я таков, каков есть,— возразил Водрейль.— Да, я распутник — я не в силах победить свою плоть, но то, что достойно уважения, я уважаю.

— А я глубоко уважаю... мою мать,—это единственная порядочная женщина, которую я знал. Да и потом, милый мой, что католики, что гугеноты, что паписты, что евреи, что турки — мне все равно. Меня занимают их распри не больше, чем сломанная шпора.

— Безбожник! — проворчал Водрейль и, прикрываясь носовым платком, перекрестил себе рот.

— Надобно тебе знать, Бернар,— заговорил капитан Жорж,— что среди нас таких спорщиков, как ученейший Теобальд Вольфстейниус, ты не найдешь. Мы богословским беседам большого значения не придаем,— слава богу, у нас есть куда девать время.

— А я думаю, что тебе было бы полезно прислушаться к поучениям просвещенного и достойного пастыря, которого ты только что назвал,— не без горечи возразил Бернар.

— Полно, братец! Потом мы еще с тобой, пожалуй, к этому вернемся. Я знаю, какого ты мнения обо мне... Ну, все равно... Сейчас не время для таких разговоров... Я полагаю о себе как о человеке порядочном, и ты в том рано или поздно уверишься... А пока довольно об этом, давай веселиться.

Словно для того, чтобы отогнать от себя тягостную мысль, он провел рукой по лбу.

— Милый мой брат! — тихо сказал Бернар и пожал ему руку. Жорж ответил Бернару тем же, а потом оба прибавили шагу и нагнали товарищей.

Из Лувра выходило множество нарядно одетых господ, капитан и его друзья почти со всеми здоровались, а с некоторыми даже целовались. Тут же они представляли им младшего Мержи, и таким образом Бернар в одну минуту перезнакомился с целой тьмой знаменитостей. При этом он узнавал их прозвища (тогда прозвище давалось каждому заметному человеку), а заодно и не красивые истории, которые про них рассказывались.

— Видите этого бледного, желтого советника? — говорили ему.— Это мессир *Petrus de finibus* \*, по-французски Пьер Сегье: что бы он ни затеял, он за все горячо берется и всякий раз добивается своего. Вот маленький капитан Жох, иначе говоря, Торе де Монморанси. Вот *Бутылочный архиепископ*,— этот, пока не пообедает, сидит на своем муле более или менее прямо. Вот один из ваших героев, отважный праф де Ларошфуко, по прозванию *Капустоненавистник*: во время последней войны он принял сослепу за отряд ландскнехтов злополучные капустные грядки и велел по ним палить.

---

\* Петр, цели достигающий (лат.).

Меньше чем за четверть часа Бернар узнал имена любовников почти всех придворных дам, а также число дуэлей, происшедших из-за их красоты. Он понял, что репутация дамы тем прочнее, чем больше из-за нее погибло людей. Так, например, у г-жи де Куртавель, присяжный возлюбленный которой убил двух соперников, было гораздо более громкое имя, нежели у бедной графини де Померанд, из-за которой произошла только одна пустячная дуэль, окончившаяся легким ранением.

Внимание Бернара обратила на себя стройностью своего стана женщина, ехавшая в сопровождении двух лакеев на белом муле, которого вел под уздцы конюший. Ее платье, сшитое по последней моде, под тяжестью отделки оттягивалось вниз. Вероятно, она была красива. Известно, что дамы тогда выходили на улицу непременно в масках. Маска, скрывавшая лицо этой дамы, была черная, бархатная. Благодаря прорезам для глаз, было видно или, скорее, угадывалось, что у нее ослепительной белизны кожа и синие глаза.

Завидев молодых людей, она приказала конюшему ехать медленнее. Бернару даже показалось, что она, увидев незнакомое лицо, пристально на него посмотрела. При ее приближении перья всех шляп касались земли, а она грациозно наклоняла голову в ответ на беспрерывно несшиеся к ней приветствия выстроившихся шпалерами поклонников. Когда же она удалялась, легкий порыв ветра приподнял край ее длинного атласного платья, и из-под платья блеснули зарницей туфелька из белого бархата и полоска розового шелкового чулка.

— Кто эта дама, которой все кланяются? — с любопытством спросил Бернар.

— Уже влюбился! — воскликнул Бевиль. — Впрочем, тут нет ничего удивительного: гугеноты и паписты — все влюблены в графиню Диану де Тюржи.

— Это одна из придворных красавиц, — прибавил Жорж, — одна из самых опасных Цирцей для молодых кавалеров. Но только, черт возьми, взять эту крепость не так-то просто.

— Сколько же из-за нее было дуэлей? — спросил со смехом Бернар.

— О, она их считает десятками! — отвечал барон де Водрейль. — Но это что! Как-то раз она сама решилась

драться: послала картель по всей форме одной придворной даме, которая перебила ей дорогу.

— Басни! — воскликнул Бернар.

— Это уже не первый случай, — заметил Жорж. — Она послала госпоже Сент-Фуа картель, написанный по всем правилам, хорошим слогом, — она вызывала ее на смертный бой, на шпагах или на кинжалах, в одних сорочках, как это водится у записных<sup>13</sup> дуэлистов.

— Я бы ничего не имел против быть секундантом одной из этих дам, чтобы посмотреть, какие они в одних сорочках, — объявил шевалье де Ренси.

— И дуэль состоялась? — спросил Бернар.

— Нет, — отвечал Жорж, — их помирили.

— Он же их и помирил, — сказал Водрейль, — он был тогда любовником Сент-Фуа.

— Ну уж не ври! Такой же, как ты, — возразил явно скромничавший Жорж.

— Тюржи — одного поля ягода с Водрейлем, — сказал Бевиль. — У нее получается мешанина из религии и нынешних нравов: она собирается драться на дуэли, — а это, сколько мне известно, смертный грех, — и вместе с тем ежедневно выстаивает по две мессы.

— Оставь ты меня с мессой в покое! — вскричал Водрейль.

— Ну, к мессе-то она ходит, чтобы показать себя без маски, — заметил Ренси.

— По-моему, большинство женщин только за тем и ходит к мессе, — обрадовавшись случаю посмеяться над чужой религией, ввернул Бернар.

— А равно и в протестантские молельни, — подхватил Бевиль. — Там по окончании проповеди тушат свет, и тогда происходят такие вещи!.. Ей-ей, мне смерть хочется стать лютеранином.

— И вы верите этим вракам? — презрительно спросил Бернар.

— Еще бы не верить! Мы все знаем маленького Ферана, — так он ходил в Орлеане в протестантскую молельню на свидания с женой нотариуса, а уж это такая бабочка — ммм! У меня от одних его рассказов слюнки текли. Кроме молельни, ему негде было с ней встречаться. По счастью, один из его приятелей, гугенот, сообщил ему пароль. Его пускали в молельню, и вы легко можете

себе представить, что в темноте наш общий друг даром времени не терял.

— Этого не могло быть,— сухо сказал Бернар.

— Не могло? А, собственно говоря, почему?

— Потому что ни один протестант не падет так низко, чтобы провести паписта в молельню.

Этот его ответ вызвал дружный смех.

— Ха-ха! — воскликнул барон де Водрейль.— Вы думаете, что если уж гугенот, значит, он не может быть ни вором, ни предателем, ни посредником в сердечных делах?

— Он с луны свалился! — вскричал Ренси.

— Доведись до меня,— молвил Бевиль,— если б мне нужно было передать писульку какой-нибудь гугенотке, я бы обратился к их попу.

— Это потому, конечно, что вы привыкли давать подобные поручения вашим священникам,— отрезал Бернар.

— Нашим священникам? — побагровев от злости, переспросил Водрейль.

— Прекратите этот скучный спор,— заметив, что *каждый выпад приобретает остроту обидную*, оборвал спорщиков Жорж.— Не будем больше говорить о ханжах, какой бы они ни были масти. Я предлагаю — кто скажет: «гугенот», или «папист», или «протестант», или «католик», тот пускай платит штраф.

— Я согласен! — воскликнул Бевиль.— Пусть-ка он угостит нас прекрасным кагором в том трактире, куда мы идем обедать.

Наступило молчание.

— После того как беднягу Лануа убили под Орлеаном, у Тюржи явных любовников не было,— желая отвлечь друзей от богословских тем, сказал Жорж.

— Кто осмелится утверждать, что у парижанки может не быть любовника? — вскричал Бевиль.— Ведь Коменж-то от нее ни на шаг!

— То-то я гляжу, карапуз Наварет от нее отступился,— сказал Водрейль.— Он убоялся грозного соперника.

— А разве Коменж ревнив? — спросил капитан.

— Ревнив, как тигр,— отвечал Бевиль.— Он готов убить всякого, кто посмеет влюбиться в прелестную гра-

финю. Так вот, чтобы не остаться без любовника, придется ей остановиться на Коменже.

— Кто же этот опасный человек? — спросил Бернар. Незаметно для себя, он с живым любопытством стал относиться ко всему, что так или иначе касалось графини де Тюржи.

— Это один из самых славных наших записных, — отвечал Ренси. — Так как вы из провинции, то я вам сейчас объясню значение этого слова. Записной дуэлист — это человек безукоризненно светский, человек, который дерется, если кто-нибудь заденет его плащом, если в четырех шагах от него плюнут и по всякому другому столь же важному поводу.

— Как-то раз Коменж привел одного человека на Пре-о-Клер<sup>14</sup>, — заговорил Водрейль. — Оба снимают камзолы, выхватывают шпаги. Коменж спрашивает: «Ведь ты Берни из Овèрни?» А тот говорит: «Ничуть не бывало. Зовут меня Вилькье, я из Нормандии». А Коменж ему: «Вот тебе раз! Стало быть, я обознался. Но уж коли я тебя вызвал, все равно нужно драться». И он его за милую душу ухлопал.

Тут все стали приводить примеры ловкости и задиристости Коменжа. Тема оказалась неисчерпаемой, и разговору им хватило на все продолжение пути до трактира *Мавр*, стоявшего за чертой города, в глубине сада, поблизости от того места, где с 1564 года строился дворец Тюильри. В трактире собрались дворяне, друзья и хорошие знакомые Жоржа, и за стол села большая компания.

Бернар, оказавшийся рядом с бароном де Водрейль, заметил, что барон, садясь за стол, перекрестился и с закрытыми глазами прошептал какую-то особенную молитву:

— *Laus Deo, pax vivis, salutem defunctis, et beata viscera virginis Mariae quae portaverunt aeterni Patris Filium! \**

— Вы знаете латынь, господин барон? — спросил Бернар.

— Вы слышали, как я молился?

---

\* Хвала господу, мир живущим, спасение души усопшим, блаженно чрево приснодевы Марии, носившее сына предвечного отца (лат.).

— Слышал, но, смею вас уверить, решительно ничего не понял.

— Откровенно говоря, я латыни не знаю и даже не знаю толком, о чем в этой молитве говорится. Меня научила ей моя тетка, которой эта молитва всегда помогала, и на себе я уже не раз испытал благотворное ее действие.

— Мне думается, это латынь католическая, нам, гугенотам, она непонятна.

— Штраф! Штраф! — закричали Бевиль и капитан Жорж.

Бернар не противился, и стол устали новым строем бутылок, не замедливших привести всю компанию в отличное расположение духа.

Голоса собеседников становились все громче, Бернар этим воспользовался и, не обращая внимания на то, что происходило вокруг, заговорил с братом.

К концу второй смены блюд их *a parte* \* был нарушен перебранкой между двумя гостями.

— Это ложь! — кричал шевалье де Ренси.

— Ложь? — переспросил Водрейль, и его лицо, и без того бледное, стало совсем как у мертвеца.

— Я не знаю более добродетельной, более целомудренной женщины, — продолжал шевалье.

Водрейль ехидно усмехнулся и пожал плечами. Сейчас все взоры были обращены на участников этой сцены; каждый, соблюдая молчаливый нейтралитет, как будто ждал, чем кончится размолвка.

— Что такое, господа? Почему вы так шумите? — спросил капитан, готовый, как всегда, пресечь малейшее поползновение нарушить мир.

— Да вот наш друг шевалье уверяет, будто его любовница Силери — целомудренная женщина, — хладнокровно начал объяснять Бевиль, — а наш друг Водрейль уверяет, что нет и что он за ней кое-что знает.

Последовавший за этим взрыв хохота подлил масла в огонь, и Ренси, бешено сверкая глазами, взглянул на Водрейля и Бевиля.

— Я могу показать ее письма, — сказал Водрейль.

— Только попробуй! — крикнул шевалье.

---

\* Разговор между собой (лат.).

— Ну что ж,— сказал Водрейль и злобно усмехнулся.— Я сейчас прочту этим господам одно из ее писем. Уж, верно, они знают ее почерк не хуже меня — ведь я вовсе не претендую на то, что я единственный, кто имеет счастье получать от нее записки и пользоваться ее благоволением. Вот записка, которую она мне прислала не далее, как сегодня.

Он сделал вид, будто нащупывает в кармане письмо.

— Заткни свою лживую глотку!

Стол был широк, и рука барона не могла дотянуться до шеваляе, сидевшего как раз напротив него.

— Я тебе сейчас докажу, что лжешь ты, и ты этим доказательством подавишься! — крикнул он и швырнул ему в голову бутылку.

Ренси увернулся и, второпях опрокинув стул, бросился к стене за шпагой.

Все вскочили: одни — чтобы разнять повздоривших, другие — чтобы отойти в сторонку.

— Перестаньте! Вы с ума сошли! — крикнул Жорж и стал перед бароном, который был к нему ближе всех.— Подобаает ли друзьям драться из-за какой-то несчастной бабенки?

— Запустить бутылкой в голову — это все равно что дать пощечину,— рассудительно заметил Бевиль.— А ну, дружок шеваляе, шпагу наголо!

— Не мешайте! Не мешайте! Освободите место! — закричали почти все гости.

— Эй, Жано, затвори двери! — лениво проговорил привыкший к подобным сценам хозяин *Мавра*.— Чего доброго, явится дозор, а от него и господам помеха и чести моего заведения урон.

— И вы будете драться в таверне, как пьяные ландскнехты? — стараясь оттянуть время, продолжал Жорж.— Отложите хоть на завтра.

— На завтра, так на завтра,— сказал Ренси и совсем уж было собрался вложить шпагу в ножны.

— Наш маленький шеваляе трусит,— сказал Водрейль.

Тут Ренси, растолкав всех, кто стоял у него на дороге, кинулся на своего обидчика. Оба дрались яростно. Но Водрейль успел тщательно завернуть левую руку



в салфетку и теперь ловко этим пользовался, когда ему нужно было парировать рубящие удары, а Ренси не позаботился о том, чтобы принять эту предосторожность, и при первых же выпадах был ранен в левую руку. Дрался он, однако ж, храбро и наконец крикнул лакею, чтобы тот подал ему кинжал. Бевиль, остановив лакея, сказал, что раз у Водрейля нет кинжала, то и противник не должен к нему прибегать. Дружья шевалье возразили, произошел крупный разговор, и дуэль, без сомнения, превратилась бы в потасовку, если бы Водрейль не положил этому конец: он опасно ранил противника в грудь, и тот упал. Тогда Водрейль проворно наступил на шпагу Ренси, чтобы тот не мог поднять ее, и уже занес над ним свою шпагу, намереваясь добить раненого. Правила дуэли допускали подобное зверство.

— Убивать безоружного противника! — воскликнул Жорж и выхватил у Водрейля шпагу.

Рана, которую Водрейль нанес шевалье, была не смертельна, но крови он потерял много. Ему натуго перевязали рану салфетками, и во время перевязки он, смеясь неестественным смехом, бормотал, что поединок еще не кончен.

Немного погодя явились лекарь и монах; некоторое время они препирались из-за раненого. Хирург все же одолел; он приказал доставить больного на берег Сены, а оттуда довез шевалье в лодке до его дома.

Лакеи уносили перепачканные в крови салфетки, замывали кровавые пятна на полу, а другие тем временем ставили новые бутылки на стол. Водрейль тщательно вытер шпагу, вложил ее в ножны, перекрестился, а затем, как ни в чем не бывало, достал из кармана письмо. Попросив друзей не шуметь, он прочел первую строку, и ее покрыл громовой хохот собравшихся:

«Мой дорогой! Этот несносный шевалье, который мне надоед...»

— Уйдем отсюда! — с отвращением сказал брату Бернар.

Капитан вышел следом за ним. Все внимательно слушали чтение письма, так что их исчезновения никто не заметил.

ОБРАЩЕННЫЙ

Д о н Ж у а н

Неужели ты за чистую монету принимаешь то, что я сейчас говорил, и думаешь, будто мои уста были в согласии с сердцем?

*Мольер. «Каменный гость».*

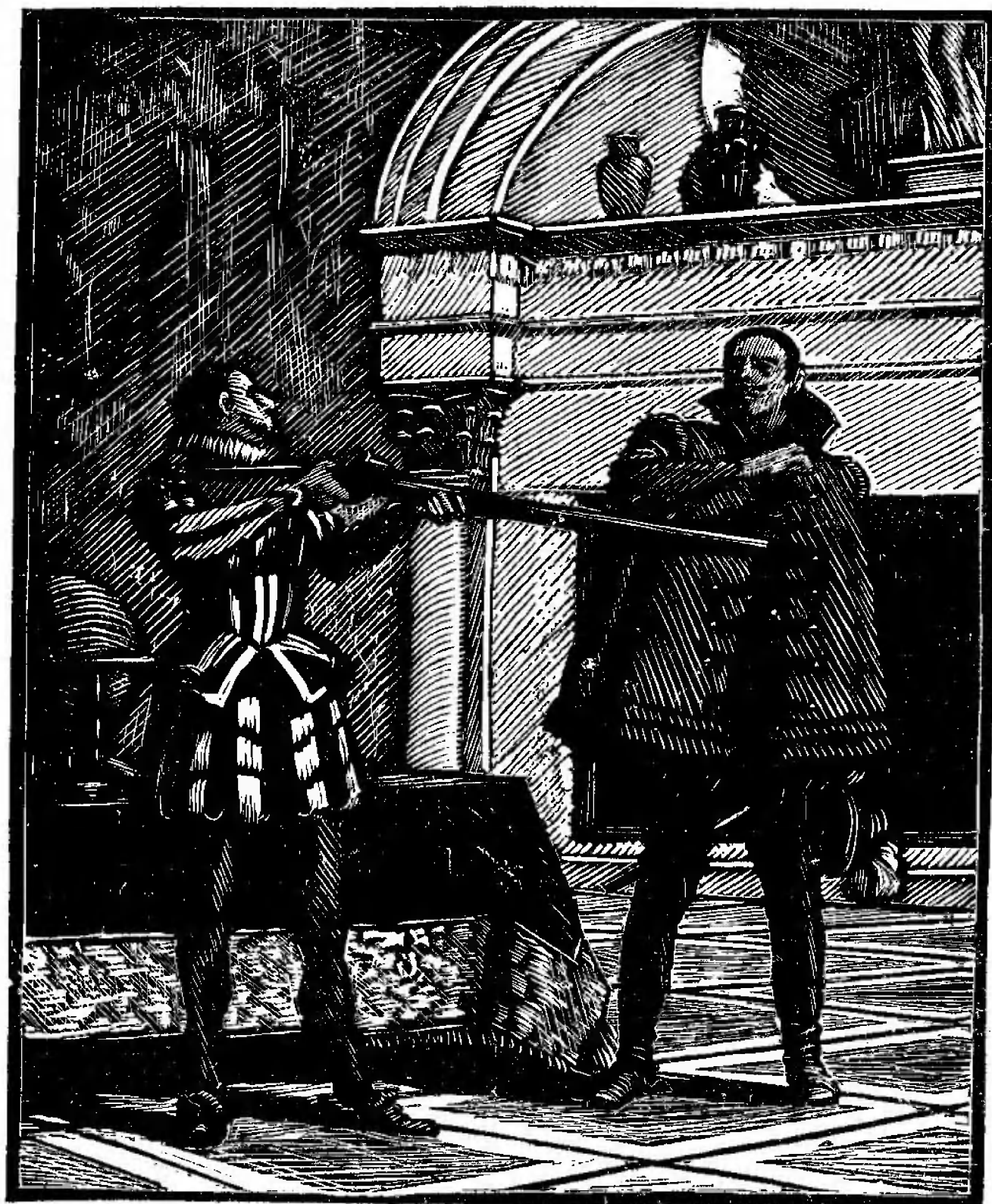
Капитан Жорж возвратился в город вместе с братом и привел его к себе. По дороге они и двух слов не сказали друг другу: они только что оказались свидетелями сцены, которая произвела на них тяжелое впечатление, и им обоим не хотелось сейчас говорить.

Ссора и последовавшая за ней дуэль не по правилам были для того времени явлением обычным. Обидчивая чувствительность дворянства приводила всюду во Франции к роковым последствиям: при Генрихе III и Генрихе IV дуэльное бешенство отправляло на тот свет больше дворян, нежели десятилетняя гражданская война.

Убранство помещения, где жил капитан, носило отпечаток тонкого вкуса. Внимание привыкшего к более скромной обстановке Бернара прежде всего привлекли шелковые с разводами занавески и пестрые ковры. Бернар вошел в кабинет, который его брат называл своей *молельней*,— слово «будуар» тогда еще не было придумано. Дубовая скамеечка с красивой резьбой, мадонна кисти итальянского художника, чаша со святой водой и с большой веткой букса — все как будто подтверждало, что эта комната предназначена для благочестивых целей; в то же время обитый черной каймой диван, венецианское зеркало, женский портрет, оружие и музыкальные инструменты свидетельствовали о более или менее светских привычках хозяина.

Бернар бросил пренебрежительный взгляд на чашу и ветку букса — на это печальное напоминание об отступничестве брата. Низенький лакей принес варенье, конфеты и белое вино — чай и кофе тогда еще не были в ходу: вино заменяло нашим неприхотливым предкам изысканные напитки.

Бернар, держа в руке стакан, перебегал глазами с мадонны на чашу, с чаши на скамеечку. Затем он глубоко-



«Хроника царствования Карла IX»



ко вздохнул и, взглянув на брата, небрежно раскинувшегося на диване, сказал:

— А ведь ты настоящий папист! Что бы сказала сейчас наша матушка!

Эти слова, видимо, задели капитана за живое. Он сдвинул густые свои брови и сделал рукой такое движение, словно просил Бернара не затрагивать этого предмета, но брат был неумолим:

— Неужели ты и сердцем отрекся от веры, которую исповедует наша семья, как отрекся устами?

— От веры, которую исповедует наша семья?.. Но ведь я-то ее никогда не исповедовал!.. Чтобы я... чтобы я поверил той лжи, которой учат ваши гнусавые проповедники?.. Чтобы я...

— Ну, конечно, куда приятнее верить в чистилище, в таинство исповеди, в непогрешимость папы! Куда лучше преклонять колена перед пыльными сандалиями капуцина! Скоро ты каждый раз, садясь обедать, будешь читать молитву барона де Водрейля!

— Послушай, Бернар: я ненавижу всякие споры, а тем более споры о религии, но рано или поздно мне все равно пришлось бы с тобой объясниться, и коль скоро мы об этом заговорили, так уж давай выскажем друг другу все. Я буду с тобой откровенен.

— Значит, ты не веришь дурацким выдумкам папистов?

Капитан пожал плечами и, спустив ногу на пол, звякнул одною из своих широких шпор.

— Паписты! Гугеноты! И тут и там суеверие. Я не умею верить в то, что моему разуму представляется нелепостью. Наши литании, ваши псалмы — одна бессмыслица стоит другой. Вот только, — с улыбкой прибавил он, — в наших церквах бывает иногда хорошая музыка, а у вас — заткни уши, беги вон.

— Нечего сказать, существенное преимущество твоей веры! Есть из-за чего в нее переходить!

— Не называй эту веру моей, я не верю ни во что. С тех пор как я научился мыслить самостоятельно, с тех пор как мой разум идет своей дорогой...

— Но...

— Не надо мне никаких проповедей. Я знаю заранее, что ты мне будешь говорить. У меня тоже были свои

надежды, свои страхи. Ты думаешь, я не делал огромных усилий, чтобы сохранить отрадные суеверия моего детства? Я перечел всех наших богословов — я искал у них разрешения обуревавших меня сомнений, но сомнения мои после этого только усилились. Словом, я не мог, я не могу больше верить. Вера — это драгоценный дар, и мне в нем отказано, но я ни за что на свете не стал бы лишать его других.

— Мне жаль тебя.

— Ну что ж, по-своему ты прав... Когда я был протестантом, я не верил проповедям; когда же я стал католиком, я не уверовал в мессу. Да и потом, разве ужасов гражданской войны, черт бы ее побрал, не достаточно для того, чтобы искоренить самую крепкую веру?

— Эти ужасы — дело людских рук, их творили люди, извратившие слово божие.

— Ты повторяешь чужие слова, и, представь себе, они меня не убеждают. Я не понимаю вашего бога, я не могу его понять... А если бы я в него верил, то, как говорит наш друг Жодель, *постольку поскольку*.

— Раз ты к обеим религиям равнодушен, зачем же ты отрекся от одной из них и этим так огорчил и родных и друзей?

— Я чуть не двадцать писем послал отцу, я хотел объяснить ему мои побуждения и оправдаться перед ним, но он бросал их в печку не читая, он обходился со мной, как с великим преступником.

— Мы с матушкой не одобряли крайней его суровости. Если б не его приказания...

— В первый раз слышу. Ну, уж теперь поздно. Меня вот что толкнуло на этот необдуманый шаг, — вторично я бы его, конечно, не сделал...

— То-то же! Я был уверен, что ты раскаиваешься.

— Раскаиваюсь? Нет. Я же ничего плохого не сделал. Когда ты еще учил в школе латынь и греческий, я уже надел латы, повязал белый<sup>15</sup> шарф и пошел на нашу первую гражданскую войну. Ваш принц-карапузик, из-за которого вы наделали столько ошибок, ваш принц Конде уделял вам только то время, которое у него оставалось от любовных походов. Меня любила одна дама — принц попросил меня уступить ее ему. Я не согласился,

он сделался моим ярым врагом. Он задался целью во что бы то ни стало сжить меня со свету.

Красавчик-карапузик принц  
С милашками лизаться любит.

И он еще смел указывать на меня фанатически верующим католикам как на олицетворение распутства и неверия! У меня была только одна любовница, и я не изменял ей. Что касается неверия... так ведь я же никого не соблазнял! Зачем тогда объявлять мне войну?

— Никогда бы я не поверил, что принц способен на такую низость.

— Он умер, и вы сделали из него героя. Так всегда бывает на свете. Он был человек не без достоинств, умер смертью храбрых, я ему все простил. Но при жизни он был могуществен, и если такой бедный дворянин, как я, осмеливался ему перечить, он уже смотрел на него как на преступника.

Капитан прошелся по комнате, а затем продолжал, волнуясь все более и более:

— На меня сейчас же накинулись все пасторы, все ханжи, какие только были в войске. Я так же мало обращал внимания на их лай, как и на их проповеди. Один из приближенных принца, чтобы подольститься к нему, при всех наших полководцах обозвал меня потаскуном. Я ему дал пощечину, а потом убил на дуэли. В нашем войске ежедневно бывало до десяти дуэлей, и военачальники смотрели на это сквозь пальцы. Мне же дуэль с рук не сошла,— принц решил расправиться со мной в назидание всему войску. По просьбе высоких особ, в том числе — к чести его надо сказать — по просьбе адмирала, меня помиловали. Однако ненависть ко мне принца не была утолена. В сражении под Жизнейлем я командовал отрядом конных пистолетчиков. Я первым бросался в бой, мои латы погнулись в двух местах от аркебузных выстрелов, мою левую руку пронзило копье — все это доказывало, что я себя не берег. Под моим началом было не более двадцати человек, а против нас был брошен целый батальон королевских швейцарцев. Принц Конде приказывает мне идти в атаку... я прошу у него два отряда рейтаров... а он... он называет меня трусом!

Бернар встал и взял брата за руку. Капитан, гневно сверкая глазами, снова заходил из угла в угол.

— Он назвал меня трусом при всей этой знати в золоченых доспехах,— продолжал Жорж,— а несколько месяцев спустя под Жарнаком знать взяла да и бросила принца, и он был убит. После того, как он меня оскорбил, я решил, что мне остается одно: пасть в бою. Я дал себе клятву, что если я по счастливой случайности уцелею, то никогда больше не обнажу шпаги в защиту такого несправедливого человека, как принц, и ударил на швейцарцев. Меня тяжело ранили, вышибли из седла, и тут бы мне и конец, но мне спас жизнь дворянин, состоявший на службе у герцога Анжуйского,— этот шалый Бевиль, с которым мы сегодня вместе обедали, и представил меня герцогу. Со мною обошлись милостиво. Я жаждал мести. Меня обласкали и, уговаривая поступить на службу к моему благодетелю, герцогу Анжуйскому, привели следующий стих:

*Omne solum forti patria est, ut piscibus aequor* \*.

Меня возмущало то, что протестанты призывают иноземцев напасть на нашу родину... Впрочем, я тебе сейчас открою единственную причину, заставившую меня перейти в иную веру. Мне хотелось отомстить, и я стал католиком в надежде встретиться с принцем Конде на поле сражения и убить его. Но мой долг уплатил за меня один негодяй... Это было до того отвратительно, что я забыл про свою ненависть к принцу... Его, окровавленного, отдали на поругание солдатам. Я вырвал у них его тело и прикрыл своим плащом. Но я уже к этому времени связал свою судьбу с католиками. Я командовал у них эскадроном, я уже не мог уйти от них. Но я рад, что мне удалось, по-видимому, оказать некоторые услуги моим бывшим единоверцам: я, сколько мог, старался смягчить жестокости религиозной войны и имел счастье спасти жизнь кое-кому из моих прежних друзей.

— Оливье де Басвиль всюду говорит, что он обязан тебе жизнью.

— Ну так вот: стало быть, я католик,— более спо-

---

\* Храброму, как для рыбы — море, любая земля — родина (лат.).



койным тоном заговорил Жорж.— Религия как религия. С католическими святошами ладить легко. Посмотри на эту красивую мадонну. Это портрет итальянской куртизанки. Ханжи приходят в восторг от моей набожности и крестятся на мнимую богоматерь. С ними куда легче торговаться, нежели с нашими пасторами,— это уж ты мне поверь. Я живу, как хочу, и лишь время от времени делаю весьма незначительные уступки черни. От меня требуется, чтобы я ходил в церковь? Я и хожу кое-когда, чтобы посмотреть на хорошеньких женщин. Надо иметь духовника? Ну уж это дудки! У меня есть славный францисканец, бывший конный аркебузир, и он за одно экую не только выдаст мне свидетельство об отпущении грехов, но еще и передаст от меня любовные записки своим очаровательным духовным дочерям. Черт побери! Да здравствует месса!

Бернар не мог удержаться от улыбки.

— На, держи, вот мой молитвенник,— сказал капитан и бросил Бернару книгу в красивом переплете и в бархатном футляре с серебряными застежками.— Этот часослов стоит ваших молитвенников.

Бернар прочитал на корешке: *Придворный часослов*.

— Прекрасный переплет!— с презрительным видом сказал он и вернул книгу.

Капитан раскрыл ее и, улыбаясь, снова протянул Бернару. Тот прочел на первой странице: *Повесть о преужасной жизни великого Гаргантюа, отца Пантагрюэля, сочиненная магистром Алькофрибасом, извлекателем квинтэссенции*.

— Вот это книга так книга!— со смехом воскликнул капитан.— Я отдам за нее все богословские трактаты из женеvской библиотеки.

— Автор этой книги был, говорят, человеком очень знающим, однако знания не пошли ему на пользу.

Жорж пожал плечами.

— Ты сначала прочти, Бернар, а потом будешь судить.

Бернар взял книгу и, немного помолчав, сказал:

— Обидеться ты был, конечно, вправе, но мне досадно, что чувство обиды заставило тебя совершить поступок, в котором ты рано или поздно раскаешься.

Капитан опустил голову и, уставив глаза в ковер, казалось, внимательно рассматривал рисунок.

— Сделанного не воротишь,— подавив вздох, проговорил он.— А может, я все-таки когда-нибудь вновь обращусь в протестантскую веру,— уже более веселым тоном добавил он.— Ну, довольно! Обещай не говорить со мной больше о таких скучных вещах.

— Я надеюсь, что ты сам к этому придешь без моих советов и уговоров.

— Возможно. А теперь поговорим о тебе. Что ты намерен делать при дворе?

— У меня есть рекомендательные письма к адмиралу, я думаю, что он возьмет меня к себе на службу, и я сделаю с ним поход в Нидерланды.

— Затея никчемная. Если дворянин храбр и если у него есть шпага, то ему незачем так, здорово живешь, идти к кому-то в услужение. Вступай лучше добровольцем в королевскую гвардию, если хочешь — в мой легкоконный отряд. Ты будешь участвовать в походе, как и все мы, под знаменем адмирала, но по крайней мере не будешь ничьим лакеем.

— У меня нет ни малейшего желания вступать в королевскую гвардию,— это противно моей душе. Служить солдатом в твоем отряде я был бы рад, но отец хочет, чтобы первый свой поход я сделал под непосредственным начальством адмирала.

— Узнаю вас, господа гугеноты! Проповедуете единение, а сами держите камень за пазухой.

— То есть как?

— А так: король до сих пор в ваших глазах тиран, Ахав, как называют его ваши пасторы. Да нет, он даже и не король — он узурпатор, после смерти Людовика Тринадцатого<sup>16</sup> король во Франции — Гаспар Первый.

— Плоская шутка!

— В конце концов будешь ли ты на службе у старика Гаспара или у герцога Гиза — это безразлично. Шатильон — великий полководец, он научит тебя воевать.

— Его уважают даже враги.

— А все-таки ему повредила история с пистолетным выстрелом.

— Он же доказал свою невиновность. Да и вся жизнь Шатильона опровергает слухи о том, что он был соучастником подлого убийцы Польтро.

— А ты знаешь латинское изречение: *Fecit cui profuit?* \* Если б не этот пистолетный выстрел, Орлеан был бы взят.

— В католической армии одним человеком стало меньше, только и всего.

— Да, но каким человеком! Разве ты не слышал двух дрянных стишков, которые, однако, стоят ваших псалмов?

Пока гизары не переведутся,  
Мерё во Франции всегда найдутся <sup>17</sup>.

— Детские угрозы, не более того. Если бы я сейчас стал перечислять все преступления гизаров, ох, и длинная вышла бы ектенья! Будь я королем, то для восстановления во Франции мира я бы велел посадить всех Гизов и Шатильонов в добротный кожаный мешок, накрепко завязать его и зашить, а затем с железным грузом в сто тысяч фунтов, чтобы ни один не убежал, бросить в воду. И еще кое-кого я бы с удовольствием побросал в мешок.

— Хорошо, что ты не французский король.

Затем разговор принял более веселый оборот. О политике больше уже не говорили, равно как и о богословии, братья теперь рассказывали друг другу о всяких мелких происшествиях, случившихся с ними после того, как они расстались. Бернар в припадке откровенности поведал брату свое приключение в гостинице Золотой лев. Жорж смеялся от души и подшучивал над братом и по поводу пропажи восемнадцати экю и по поводу пропажи знатного солового коня.

В ближайшей церкви заблаговестили.

— Пойдем, черт возьми, послушаем проповедь! — вскричал капитан. — Я убежден, что тебя это позабавит.

— Покорно благодарю, но я еще пока не намерен обращаться в другую веру.

— Пойдем, милый, пойдем, сегодня должен проповедовать брат Любен. Этот францисканец до того смешно

---

\* Совершил тот, кому это было на руку (лат.).

толкует о религии, что люди валят на его проповеди толпами. Да и потом нынче весь двор будет у святого Иакова,— стоит 'посмотреть.

— А графиня де Тюржи там будет? И без маски?

— Ну еще бы, как же ей не быть! Если ты желаешь вступить в ряды ее вздыхателей, то не забудь, когда будешь уходить, стать у двери и подать ей святой воды. Вот еще один премилый обряд католической религии. Боже мой! Сколько я, предлагая святой воды, пожал прелестных ручек, сколько передал любовных записок!

— Святая вода вызывает во мне такое неодолимое отвращение, что я, кажется, ни за что на свете одного пальца бы в нее не окунул.

Капитан расхохотался. Затем оба надели плащи и отправились в церковь св. Иакова, где уже собралось многолюдное и приятное общество.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### ПРОПОВЕДЬ

Горластый, мастак отбарабанить часы, отжарить мессу и отвалять вечерню,— одним словом, самый настоящий монах из всех, какими монашество когда-либо монашественнейше омонашивалось.

*Р а б л е*

Когда капитан Жорж и его брат шли по церкви в поисках более удобного, поближе к проповеднику, места, их слух поражен был долетавшими из ризницы взрывами хохота. Войдя туда, они увидели толстяка с веселым и румяным лицом, в одежде францисканского монаха. Он оживленно беседовал с кучкой нарядно одетых молодых людей.

— Ну, ну, дети мои, шевелите мозгами!— говорил он.— Дамам невтерпеж. Скорей дайте мне тему!

— Расскажите о том, как дамы водят за нос своих мужей,— сказал молодой человек, которого Жорж сей же час узнал по голосу,— то был Бевиль.

— Что и говорить, мой мальчик, мысль богатая, да что мне остается прибавить к тому, что уже сказал в своей проповеди понтуазский проповедник? Он воскликнул: «Сейчас я наброшу свою камилавку на голову той из вас, которая особенно много наставила мужу рогов!» После этого женщины, все до одной, словно защищаясь от удара, прикрыли головы рукой или же накинули покрывало.

— Отец Любен!— обратился к нему еще один молодой человек.— Я пришел только ради вас. Расскажите нам сегодня что-нибудь поигривей. Поговорите о любовном грехе: он теперь особенно распространен.

— Распространен! Да, господа, среди вас он распространен,— ведь вам всего двадцать пять лет,— а мне стукнуло пятьдесят. В моем возрасте о любви не говорят. Я уж позабыл, какой такой этот грех.

— Не скромничайте, отец Любен. Вы и теперь не хуже, чем прежде, можете об этом рассуждать. Кто, кто, а уж мы-то вас знаем!

— Поговорите-ка о любострастии,— предложил Бевиль.— Все дамы сойдутся на том, что вы в этой области знаток.

Францисканец в ответ на эту шутку хитро подмигнул, и в его прищуре лучились гордость и удовольствие, которые он испытывал оттого, что ему приписывают порок, присущий людям молодым.

— Нет, об этом мне нет смысла говорить в проповеди, а то придворные красавицы увидят, что я слишком по этой части строг, и перестанут ходить ко мне исповедоваться. А, по совести, если б я и стал обличать этот грех, то лишь для того, чтобы доказать, что люди обрекают себя на вечную муку... ради чего?.. ради минутного удовольствия.

— Как же быть?.. А, вот и капитан! Ну-ка, Жорж, придумай нам тему для проповеди! Отец Любен обещал сказать проповедь, какую мы ему присоветуем.

— Какую угодно,— сказал монах,— но только думайте скорей, черт бы вас подрал! Мне давно пора быть на кафедре.

— Ах, чума вас возьми, отец Любен! Вы ругаетесь не хуже короля!— вскричал капитан.

— Бьюсь об заклад, что в проповедь он не вставит ни единого ругательства,— сказал Бевиль.

— А почему бы и не ругнуться, коли припадет охота? — расхрабрился отец Любен.

— Ставлю десять пистолей, что у вас не хватит смелости.

— Десять пистолей? По рукам!

— Бевиль! Я вхожу к тебе в половинную долю,— объявил капитан.

— Нет, нет,— возразил Бевиль,— я хочу один слупить деньги с честного отца. А если он чертыхнется, то я, клянусь честью, десяти пистолей не пожалею. Ругань в устах проповедника стоит десяти пистолей.

— Я вам наперед говорю, что я уже выиграл,— молвил отец Любен.— Я начну проповедь с крепкой ругани. Что, господа дворяне? Вы воображаете, что если у вас на боку рапира, а на шляпе перо, стало быть, вы одни умеете ругаться? Ну нет, это мы еще посмотрим!

Он вышел из ризницы и мгновение спустя уже очутился на кафедре. Среди собравшихся тотчас воцарилась благоговейная тишина.

Проповедник пробежал глазами по толпе, теснившейся возле кафедры,— он явно искал того, с кем только что поспорил. Когда же он увидел Бевиля, стоявшего, прислонясь к колонне, прямо против него, то сдвинул брови, упер одну руку в бок и гневно заговорил:

— Возлюбленные братья мои! Чтоб вас растак и разэтак...

Изумленный и негодующий шепот прервал проповедника, или, вернее, заполнил паузу, которую тот сделал нарочно.

— ...не мучили бесы в преисподней,— вдруг елебно загнузил францисканец,— вам ниспослана помощь: это — сила, смерть и кровь господина нашего. Мы спасены и избавлены от ада.

На сей раз его остановил дружный хохот. Бевиль достал из-за пояса кошелек и в знак проигрыша из всех сил, чтобы видел проповедник, потрянул им.

— И вот вы, братья мои, уже возликовали, не так ли? — с невозмутимым видом продолжал отец Любен.—

Мы спасены и избавлены от ада. «Какие прекрасные слова! — думаете вы. — Теперь нам остается только сложить ручки и веселиться. Этого гадкого адского пламени нам бояться нечего. Правда, есть еще огонь чистилища, ну, да это все равно, что ожог от свечки, его можно залечить мазью из десятка месс. А коли так — давай жрать, пить, путаться с девками!»

О закоренелые грешники! Вот вы как рассчитали! Ну, а я, брат Любен, говорю вам: считали вы, считали, да и просчитались!

Стало быть, вы воображаете, господа еретики, гугенотствующие гугеноты, вы воображаете, что спаситель наш изволил взойти на крест ради вашего спасения? Нашли какого дурака! Нет уж, держите карман шире! Стал бы он из-за такой сволочи проливать свою святую кровь! Это все равно, что, извините за выражение, метать бисер перед свиньями. А спаситель наш, как раз наоборот, метал свиней перед бисером: ведь бисер-то находится в море, а спаситель наш ввергнул в море две тысячи свиней. *Et esse impetu abiit totus grex praeseps in mare*\*. Счастливого пути, господа свиньи! Вот бы всем еретикам последовать за вами!

Тут оратор закашлялся, обнял взором слушателей и насладился впечатлением, какое произвело на верующих его красноречие. А засим продолжал:

— Итак, господа гугеноты, обращайтесь в нашу веру, да не мешкайте, а иначе... а иначе вам пропадать! Вы не спасены и не избавлены от ада. Стало быть, покажите вашим молельням пятки, и да здравствует месса!

А вы, возлюбленные мои братья-католики, вы уж потираете руки и облизываете пальчики при мысли о преддверии рая? Положа руку на сердце, скажу вам, братья мои: от королевского двора, где вам живется, как в раю, дальше (даже если идти напрямиком), чем от ворот Сен-Лазар до ворот Сен-Дени.

Вас спасли и избавили от ада сила, смерть и кровь господа... Да, в том смысле, что вы очищены от первородного греха, с этим я согласен. Но смотрите, как бы вас снова не сцапал сатана! Предостерегаю вас: *Circuit quarens quem devoret*\*\*.

---

\* И вот внезапно все стадо бросилось в море (лат.).

\*\* Бродит вокруг и ищет, кого бы сожрать (лат.).

О возлюбленные братья мои! Сатана — фехтовальщик искусный, он и Жану Большому, и Жану Маленькому, и Англичанину — всем нос утрет. Истинно говорю вам: он силен в нападении.

Как скоро мы сменим детские наши платица на штаны, то есть как скоро мы приходим в тот возраст, когда можно впасть в смертный грех, его превосходительство сатана уже зовет нас на Пре-ю-Клер жизни. Оружие, которое мы берем с собою туда, — это священные таинства, а он приносит целый арсенал, то есть наши прехи, каковые служат ему и оружием и доспехами.

Я вижу, как он входит на место дуэли: на животе у него *Чревоугодие* — вот его панцирь; шпоры заменяет ему *Леность*; у пояса — *Любострастие*, это опасная шпага; *Зависть* — его кинжал; на голове он носит *Гордыню*, как латник — шлем; в кармане у него — *Скупость*, так что он всегда может воспользоваться ею в случае надобности; что же касается *Гнева* купно с поношениями и тем, что гнев обыкновенно порождает, он держит все это во рту, из чего вы можете заключить, что он вооружен до зубов.

Когда господь бог подает знак к началу, сатана не обращается к вам, как учтивые дуэлянты: «Милостивый государь! Вы уже стали в позицию?» Нет, он бросается на христианина с налету, без всякого предупреждения. Христианин же, заметив, что его сейчас ударят в живот *Чревоугодием*, парирует удар *Постом*.

Тут проповедник отстегнул распятие и для большей наглядности давай им фехтовать, нанося и парируя удары, — ни дать ни взять учитель фехтования, показывающий наиболее трудные приемы.

— Сатана после отхода обрушивает на вас сильный прямой удар *Гневом*, а затем, прибегнув к обману при помощи *Лицемерия*, наносит вам удар с кварты *Гордыней*. Христианин сперва прикрывается *Терпением*, а затем отвечает на удар *Гордыней* ударом *Смирения*. Сатана, в бешенстве, колет его сперва *Любострастием*, однако ж, видя, что его выпад отпарирован *Умерщвлением плоти*, стремительно кидается на противника, дает ему подножку с помощью *Лености*, ранит его кинжалом *Зависти* и



в то же время старается поселить в его сердце *Скупость*. Тут христианину нужно твердо стоять на ногах и смотреть в оба. *Труд* предохранит его от подножки *Лени*, от кинжала *Зависти* — *Любовь* к ближнему (весьма трудный парад, братья мои!). А что касемо поползновений *Скупости*, то одна лишь *Благотворительность* способна от них защитить.

Но, братья мои, если бы на вас напали и с терца и с квалты и пытались то кольнуть, то рубнуть, многие из вас оказались бы в силах отразить любой удар такого врага? Я на своем веку видел немало низринутых бойцов, и вот если боец в это мгновение не прибегнет к *Раскаянию*, то он погиб. Сим последним средством лучше пользоваться до, нежели после. Вы, придворные, полагаете, что на то, чтобы сказать: *грешен*, много времени не требуется. Увы, братья мои! Сколько несчастных умирающих хотят произнести: *грешен*, но успевают они сказать: *греш*, тут голос у них прерывается: фюить! — и душу унес черт — ищи теперь ветра в поле!

Брат Любен еще некоторое время упивался собственным красноречием. Когда же он сошел с кафедры, какой-то любитель изящной словесности заметил, что его проповедь, длившаяся не более часу, заключала в себе тридцать семь игр слов и бесчисленное количество острот вроде тех, какие я приводил. Проповедник заслужил одобрение и католиков и протестантов, и он долго потом стоял у подножья кафедры, окруженный толпою подобострастных слушателей, прихлынувших из всех приделов, чтобы выразить ему свое восхищение.

Во время проповеди Бернар спрашивал несколько раз, где графиня де Тюржи. Брат тщетно искал ее глазами. То ли прелестной графини вовсе не было в церкви, то ли она скрывалась от своих поклонников в каком-нибудь темном углу.

— Мне бы хотелось, — сказал Бернар, выходя из церкви, — чтобы те, кто пришел на эту дурацкую проповедь, послушали сейчас задушевные беседы кого-нибудь из наших пасторов.

— Вот графиня де Тюржи, — сжав руку Бернара, шепнул капитан.

Бернар оглянулся и увидел, что под темным порталом мелькнула, как молния, пышно одетая дама, которую вел за руку белокурый молодой человек, тонкий, щуплый, с женоподобным лицом, одетый небрежно — пожалуй, даже подчеркнуто небрежно. Толпа расступалась перед ними с пугливой поспешностью. Этот ее спутник и был грозный Коменж.

Бернар едва успел бросить взгляд на графиню. Он не мог потом ясно представить себе ее черты, и все же они произвели на него сильное впечатление. А Коменж ему страшно не понравился, хотя он и не отдавал себе отчета, — чем именно. Его возмущало, что этот хилый человечек уже составил себе такое громкое имя.

«Если бы графине случилось полюбить кого-нибудь в этой толпе, мерзкий Коменж непременно бы его убил, — подумал Бернар. — Он поклялся убивать всех, кого она полюбит».

Рука его невольно взялась за эфес шпаги, но он тут же устыдился своего порыва.

«Мне-то что в конце концов? Как я могу ему завидовать, когда я, можно сказать, и не разглядел той женщины, над которой он одержал победу?»

Тем не менее от этих мыслей ему стало тяжело на сердце, и всю дорогу от церкви до дома капитана он хранил молчание.

Когда они пришли, ужин был уже подан. Бернар ел неохотно и, как скоро убрали со стола, стал собираться к себе в гостиницу. Капитан согласился отпустить Бернара с условием, что завтра он переберется к нему.

Вряд ли стоит упоминать о том, что капитан снабдил своего брата деньгами, конем и всем прочим, а сверх того — адресом придворного портного и единственного торговца, у которого всякий дворянин, желавший нравиться дамам, мог приобрести перчатки, брыжи «Сумбур» и башмаки на высоких каблуках со скрипом.

В гостиницу Бернара по совсем уже темным улицам провожали два лакея его брата, вооруженные шпагами и пистолетами: дело в том, что после восьми вечера ходить по Парижу было тогда опаснее, нежели в наше время по дороге между Севильей и Гранадой.

ВОЖАК

*Jacky of Norfolk, be not so bold,  
For Dickon thy master is bought and sold.*

*Shakespeare. «King Richard III» \*.*

Возвратившись в скромную свою гостиницу, Бернар де Мержи печальным взором осмотрел потертую и потускневшую ее обстановку. Стоило ему мысленно сравнить стены своей комнаты, когда-то давно выбеленные, а теперь закопченные, потемневшие, с блестящими шелковыми обоями помещения, откуда он только что ушел; стоило ему вспомнить красивую мадонну и сопоставить ее с висевшим у него на стене облупившимся изображением святого, и в душу к нему закралась нехорошая мысль. Роскошь, изящество, благосклонность дам, милости короля и множество других соблазнительных вещей — все это Жорж приобрел ценой одного-единственного слова, которое так легко произнести: важно, чтобы оно изшло из уст, а в душу никто заглядывать не станет. Ему тотчас пришли на память имена протестантов-вероотступников, окруженных почетом. А так как дьявол всегда тут как тут, то Бернару припомнилась притча о блудном сыне, но только заключение вывел он из нее престранное: обращенному гугеноту возрадуются более, чем никогда не колебавшемуся католику.

Одна и та же мысль, принимавшая разные формы и приходившая ему в голову как бы помимо его воли, осаждала его и в то же время вызывала у него отвращение. Он взял женевского издания библию, ранее принадлежавшую его матери, и начал читать. Когда же чтение несколько успокоило его, он отложил книгу. Перед самым сном он поклялся не оставлять веры отцов своих до конца жизни.

Несмотря на чтение и на клятву, сны его отражали приключения минувшего дня. Ему снились шелковые пурпурные занавески, золотая посуда, затем опрокинутые

---

\* Сбавь спеси, Джон Норфольк, сдержи свой язык:  
Знай, куплен и продан хозяин твой Дик.

*Шекспир. «Король Ричард III» (англ.).*

столы, блеск шпаг, кровь, смешавшаяся с вином. Затем ожила нарисованная мадонна,— она вышла из рамы и начала перед ним танцевать. Он силился запечатлеть в памяти ее черты и вдруг заметил, что на ней черная маска. А эти синие глаза, эти две полосы белой кожи, выглядывавшие в прорези!.. Внезапно шнуры у маски развязались, показался небесной красоты лик, но очерк его расплывался,— это напоминало отражение нимфы в тронутой рябью воде. Бернар невольно опустил глаза, но тотчас поднял их и больше уже никого не увидел, кроме грозного Коменжа с окровавленной шпагой в руке.

Он встал спозаранку, велел отнести свои нетяжелые вещи к брату, отказался осматривать вместе с ним достопримечательности города и пошел один во дворец Шатильонов передать письмо от отца.

Двор был запружен слугами и лошадьми, и Мержи еле протиснулся к обширной прихожей, где было полно конюхов и пажей, вооруженных только шпагами и тем не менее составлявших надежную охрану адмирала. Привратник в черной одежде, пробежав глазами по кружевному воротнику Мержи и по золотой цепи, которую дал ему надеть Жорж, без всяких разговоров провел его в галерею, где в это время находился адмирал. Более сорока вельмож, дворян и евангелических священников, приняв почтительные позы, с непокрытыми головами стояли вокруг адмирала. Адмирал одет был чрезвычайно скромно, во все черное. Он был высокого роста, слегка сутулился, тяготы войны прорезали на его лбу с залысинами больше морщин, нежели годы. Длинная седая борода спускалась ему на грудь. Щеки, впалые от природы, казались еще более впалыми из-за раны, глубокий след которой едва прикрывали длинные усы. В бою под Монконтуром пистолетный выстрел пробил ему щеку и вышиб несколько зубов. Выражение лица его было не столько сурово, сколько печально. Про него говорили, что после смерти отважного Дандело<sup>18</sup> он ни разу не улыбнулся. Он стоял, опершись на стол, заваленный картами и планами, среди которых возвышалась толстая библия ин-кварто. На картах и бумагах были разбросаны зубочистки, напоминавшие о его привычке, над которой часто посмеивались. За столом сидел секретарь.

углубившийся в писание писем, которые он потом передавал адмиралу на подпись.

При виде великого человека, в глазах своих единоверцев стоявшего выше короля, ибо он объединял в одном лице героя и святого, Мержи преисполнился благоговения и, приблизившись к нему, невольно преклонил одно колено. Адмирал, озадаченный и возмущенный таким необычным почитанием, сделал ему знак встать и с некоторой досадой взял у восторженного юноши письмо. Прежде всего он взглянул на печать.

— Это от моего старого товарища, барона де Мержи,— сказал он.— А вы, молодой человек, удивительно на него похожи,— уж, верно, вы его сын.

— Господин адмирал! Если бы не преклонный возраст, мой отец не преминул бы лично засвидетельствовать вам свое почтение.

— Господа! — прочтя письмо, обратился к окружающим Колиньи.— Позвольте вам представить сына барона де Мержи — он проехал более двухсот миль только для того, чтобы примкнуть к нам. Как видно, для похода во Фландрию у нас не будет нужды в добровольцах. Господа! Надеюсь, вы полюбите этого молодого человека. К его отцу вы все питаете глубочайшее уважение.

При этих словах человек двадцать бросились обнимать Мержи и предлагать ему свои услуги.

— Вы уже побывали на войне, друг мой Бернар? — спросил адмирал.— Аркебузную пальбу слышали?

Мержи, покраснев, ответил, что еще не имел счастья сражаться за веру.

— Вы должны радоваться, молодой человек, что вам не пришлось проливать кровь своих сограждан,— строго сказал Колиньи.— Слава богу,— добавил он со вздохом,— гражданская война кончилась, верующим стало легче, так что вы счастливее нас: вы обнажите шпагу только против врагов короля и отчизны.

Положив молодому человеку руку на плечо, он продолжал:

— Вы своего рода не посрамите, в этом я убежден. Прежде всего я исполню желание вашего отца: вы будете состоять в моей свите. Когда же мы столкнемся с испанцами, постарайтесь захватить их знамя — вас произведут в корнеты, и вы перейдете в мой полк.

— Клянусь,— с решительным видом воскликнул Мержи,— что после первой же схватки я буду корнетом, или мой отец лишится сына!

— Добро, храбрый мой мальчик! Ты говоришь, как когда-то говорил твой отец:

Адмирал подозвал своего интенданта.

— Вот мой интендант, Самюэль. Если тебе понадобятся деньги на экипировку, обратись к нему.

Интендант изогнулся в поклоне, но Мержи поблагодарил и отказался.

— Мой отец и мой брат ничего для меня не жалеют,— объявил он.

— Ваш брат?.. Капитан Жорж Мержи, тот самый, который еще в первую войну отрекся от нашей веры?

Мержи понурил голову; губы его шевелились беззвучно.

— Он храбрый солдат,— продолжал адмирал,— но что такое смелость, если у человека нет страха божьего? Молодой человек! У вас в семье есть пример, достойный подражания, и есть пример, недостойный подражания.

— Мне послужит образцом доблесть моего брата... а не его измена.

— Ну, Бернар, приходите ко мне почаще и считайте меня своим другом. Здесь, в Париже, легко сбиться с пути истинного, но я надеюсь скоро отправить вас туда, где перед вами откроется возможность покрыть себя славой.

Мержи почтительно наклонил голову и замешался в толпу приближенных.

— Господа! — возобновив разговор, прерванный появлением Мержи, сказал Колиньи.— Ко мне отовсюду приходят добрые вести. Руанские убийцы наказаны...

— А тулузские — нет,— перебил его старый пастор с мрачным лицом фанатика.

— Вы ошибаетесь. Я только что получил об этом известие. Кроме того, в Тулузе учреждена смешанная комиссия<sup>19</sup>. Его величество каждый день предъявляет нам все новые и новые доказательства, что правосудие — одно для всех.

Старый пастор недоверчиво покачал головой.

Какой-то седобородый старик в черном бархатном одеянии воскликнул:

— Да, его правосудие для всех одно! Карл и его достойная мамаша были бы рады свалить одним ударом Шатильонов, Монморанси и Гизов!

— Выражайтесь почтительнее о короле, господин де Бонисан,— строго заметил Колиньи.— Пора, пора забыть старые счеты! Нам не к лицу подавать повод для разговоров о том, что католики ревностнее нас соблюдают заповедь Христову — прощать обиды.

— Клянусь прахом моего отца, это им легче сделать, чем нам,— пробормотал Бонисан.— Двадцать три моих замученных родственника не так-то скоро изгладятся из моей памяти.

Он все еще говорил горькие слова, как вдруг в галерее появился дряхлый старик с отталкивающей наружностью, в сером изношенном плаще и, пробившись вперед, передал Колиньи запечатанную бумагу.

— Кто вы такой? — не ломая печати, спросил Колиньи.

— Один из ваших друзей,— хриплым голосом отвечал старик и тут же вышел.

— Я видел, как этот человек утром выходил из дворца Гизов,— сказал кто-то из дворян.

— Это колдун,— сказал другой.

— Отравитель,— сказал третий.

— Герцог Гиз подослал его отравить господина адмирала.

— Отравить? — пожав плечами, спросил адмирал.— Отравить через посредство письма?

— Вспомните о перчатках королевы Наваррской! <sup>20</sup>— вскричал Бонисан.

— Я не верю ни в отравленные перчатки, ни в отравленное письмо, но зато я верю, что герцог Гиз не способен на низкий поступок!

Колиньи хотел было взломать печать, но тут к нему подбежал Бонисан и выхватил письмо.

— Не распечатывайте! — крикнул он.— Иначе вы вдохнете смертельный яд!

Все сгрудились вокруг адмирала, а тот силился отделаться от Бонисана.

— Я вижу, как от письма поднимается черный дым! — крикнул чей-то голос.

— Бросьте его! Бросьте его! — закричали все.

— Да отстаньте вы от меня, вы с ума сошли! — отбиваясь, твердил адмирал.

Во время этой кутерьмы бумага упала на пол.

— Самюэль, друг мой! — крикнул Бонисан. — Докажите, что вы преданный слуга. Вскройте пакет и вручите его вашему господину не прежде, чем вы удостоверитесь, что в нем нет ничего подозрительного.

Интенданту это поручение не пришлось по душе. Зато Мержи поднял письмо, не рассуждая, и разломал печать. В то же мгновение вокруг него образовалось свободное пространство — все расступились, словно в ожидании, что посреди комнаты вот-вот взорвется мина. Но из пакета ядовитый пар не вырвался, никто даже не чихнул. В страшном конверте оказался лишь довольно грязный лист бумаги, на котором было написано всего несколько строчек.

Как скоро опасность миновала, те же самые люди, которые первыми поспешили отойти в сторону, сейчас опять-таки первыми поспешили выдвинуться вперед.

— Что это за наглость? — высвободившись наконец из объятий Бонисана, в запальчивости крикнул Колиньи. — Как вы смели распечатать письмо, адресованное мне?

— Господин адмирал! Если бы в пакете оказался тонкий яд, вдыхание которого смертельно, то лучше, чтобы жертвой его пал юноша вроде меня, а не вы, ибо ваша драгоценная жизнь нужна для защиты нашей веры.

При этих словах вокруг Мержи послышался восторженный шепот. Колиньи ласково пожал ему руку, молча поглядел на него добрыми глазами и сказал:

— Раз ты отважился распечатать письмо, так уж заодно и прочти.

Мержи начал читать:

«Небо на западе объято кровавым заревом. Звезды исчезли, в воздухе были видны пламенные мечи. Нужно быть слепым, чтобы не видеть, что эти знамения предвещают. Гаспар! Препоясывая мечом, надень шпоры, а не то малое время спустя твоим мясом будут питаться *лисы*».

— Он пишет *лисы* вместо *Гизы*, — догадался Бонисан.

Адмирал презрительно повел плечами. Окружающие хранили молчание, но видно было, что все находятся под впечатлением пророчества.



— Сколько народу в Париже занимается всякой чепухой! — холодно сказал Колиньи. — Кто-то верно заметил, что в Париже тысяч десять шалопаев живут тем, что предсказывают будущее.

— Как бы то ни было, этим предостережением пренебрегать не должно, — заговорил пехотный капитан. — Герцог Гиз открыто заявил, что не уснет спокойно, пока не всадит вам шпагу в живот.

— Убийце ровно ничего не стоит к вам проникнуть, — добавил Бонисан. — Я бы на вашем месте, прежде чем идти в Лувр, всегда надевал панцирь.

— Пустое, мой верный товарищ! — возразил адмирал. — Убийцы на таких старых солдат, как мы с вами, не нападают. Они нас больше боятся, чем мы их.

Потом он заговорил о фландрском походе и о делах вероисповедания. Некоторые передали ему прошения на имя короля. Адмирал всех просителей принимал радушно, для каждого находил ласковые слова. В десять часов он велел подать шляпу и перчатки, — пора было в Лувр. Иные простились с ним, но большинство составило его свиту и в то же время охрану.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### ВОЖАК

(Продолжение)

Завидев брата, капитан издали крикнул ему:

— Ну что, видел ты Гаспара Первого? Как он тебя принял?

— Так ласково, что я никогда этого не забуду.

— Очень рад.

— Ах, Жорж! Что это за человек!

— Что за человек? Приблизительно такой же, как все прочие: чуточку больше честолюбия и чуточку больше терпения, нежели у моего лакея, разница только в происхождении. Ему очень повезло, что он сын Шатильона.

— Значит, по-твоему, происхождение обучило его военному искусству? Значит, благодаря происхождению он стал первым полководцем нашего времени?

— Конечно, нет, однако его достоинства не мешали ему быть многократно битым. Ну, да ладно, оставим этот разговор. Сегодня ты повидался с адмиралом, — очень хорошо. Всем сестрам нужно дать по серьгам. Молодец, что отправился на поклон прежде других к Шатильону. А теперь... Хочешь поехать завтра на охоту? Там я представлю тебя одному человеку, с которым тоже не мешает повидаться: я разумею Карла, французского короля.

— Я буду принимать участие в королевской охоте?

— Непременно! Ты увидишь прекрасных дам и прекрасных лошадей. Сбор в Мадридском замке, мы должны быть там рано утром. Я дам тебе моего серого в яблоках коня; ручаюсь, что прищипоривать его не придется, — он от собак не отстанет.

Слуга передал Бернару письмо, которое только что доставил королевский паж. Бернар распечатал его, и оба брата пришли в изумление, найдя в пакете приказ о производстве Бернара в корнеты. Приказ был составлен по всей форме и скреплен королевской печатью.

— Вот так раз! — воскликнул Жорж. — Неожиданная милость! Но ведь Карл Девятый понятия не имеет о твоём существовании, — как же, черт побери, он послал тебе приказ о производстве в корнеты?

— Мне думается, я этим обязан адмиралу, — молвил Бернар.

И тут он рассказал брату о таинственном письме, которое он так бесстрашно вскрыл. Капитан от души посмеялся над концом приключения и вволю поиздевался над братом.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### РАЗГОВОР МЕЖДУ ЧИТАТЕЛЕМ И АВТОРОМ

— Господин автор! Сейчас вам самое время взяться за писание портретов! И каких портретов! Сейчас вы поведете нас в Мадридский замок, в самую гущу королевского двора. И какого двора! Сейчас вы нам покажете этот франко-итальянский двор. Познакомьте нас с несколькими яркими характерами. Чего-чего мы только сей-

час не узнаем! Как должен быть интересен день, проведенный среди стольких великих людей!

— Помилуйте, господин читатель, о чем вы меня просите? Я был бы очень рад обладать такого рода талантом, который позволил бы мне написать историю Франции, тогда бы я не стал сочинять. Скажите, однако ж, почему вы хотите, чтобы я познакомил вас с лицами, которые в моем романе не должны играть никакой роли?

— Вот то, что вы не отвели им никакой роли,— это с вашей стороны непростительная ошибка. Как же так? Вы переносите меня в 1572 год и предполагаете обойтись без портретов стольких выдающихся людей? Полноте! Какие тут могут быть колебания? Пишите. Я диктую вам первую фразу: *Дверь в гостиную отворилась, и вошел...*

— Простите, господин читатель, но в Мадридском замке не было гостиной; гостиные...

— А, ну хорошо! Обширная зала была полна народу... и так далее. В толпе можно было заметить...

— Кого же вам хотелось бы там заметить?

— Дьявольщина! *Primo* \*, Карла Девятого!..

— *Secundo*? \*\*

— Погодите. Сперва опишите его костюм, а потом опишите его наружность и, наконец, нравственный его облик. Теперь это проторенная дорога всех романистов.

— Костюм? Он был одет по-охотничьи, с большим рогом на перевязи.

— Вы чересчур немногословны.

— Что же касается его наружности... Постойте... Ах ты господи, да посмотрите его бюст в Ангулемском музее! Он во второй зале, значится под номером девяносто восьмым.

— Но, господин автор, я провинциал. Вы хотите, чтобы я нарочно поехал в Париж, только чтобы посмотреть бюст Карла Девятого?

— Ну, хорошо. Представьте себе молодого человека, довольно статного, с головой, немного ушедшей в плечи; он вытягивает шею и неловко выставляет вперед лоб; нос у него великоват; губы тонкие, рот широкий, верхняя губа оттопыривается; лицо бледное; большие зеленые глаза никогда не смотрят на человека, с которым

---

\* Во-первых (лат.).

\*\* Во-вторых? (лат.).

он разговаривает. И все же в глазах его не прочтешь: **ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ** или что-нибудь в этом роде. Нет, нет! Выражение лица у него не столько жестокое и свирепое, сколько глупое и беспокойное. Вы получите о нем довольно точное представление, если вообразите какого-нибудь молодого англичанина, который входит в огромную гостиную, когда все уже сидят. Он проходит мимо вереницы разряженных дам — те молчат. Зацепившись за платье одной из них, толкнув стул, на котором сидит другая, он с великим трудом пробирается к хозяйке дома и только тут замечает, что, выходя из кареты, подкатившей к подъезду, он нечаянно задел рукам колесо и выпачкался. Не может быть, чтобы вам никогда не приходилось видеть в жизни такие испуганные лица. Может быть, даже вы сами подолгу репетировали перед зеркалом, пока, наконец, светская жизнь не выработала в вас полнейшей самоуверенности и вы уже перестали бояться за свое появление в обществе.

— Ну, а Екатерина Медичи?

— Екатерина Медичи? А, черт, вот о ней-то я и позабыл! Думаю, что больше я ни разу не напишу ее имени. Это толстая женщина, еще свежая и, по имеющимся у меня сведениям, хорошо сохранившаяся для своих лет, с большим носом и плотно сжатыми губами, как у человека, испытывающего первые приступы морской болезни. Глаза у нее полузакрыты; она ежеминутно зевает; голос у нее монотонный, она совершенно одинаково произносит: «Как бы мне избавиться от ненавистой беарнезки?» и: «Мадлен! Дайте сладкого молока моей неаполитанской собачке».

— Так! И все же вложите ей в уста какие-нибудь значительные слова. Она только что отравила Жанну д'Альбре,— по крайней мере был такой слух,— должно же это на ней как-то отразиться.

— Нисколько. Если бы отразилось, то чего бы тогда стоила ее пресловутая выдержка? Да и потом, мне точно известно, что в тот день она говорила только о погоде.

— А Генрих Четвертый? А Маргарита Наваррская? Покажите нам Генриха, смелого, любезного, а самое главное, доброго. Пусть Маргарита сует в руку пажу любовную записку, а Генрих в это время пожимает ручку какой-нибудь фрейлине Екатерины.

— Если говорить о Генрихе Четвертом, то никто бы не угадал в этом юном ветренике героя и будущего короля Франции. У него назад тому две недели умерла мать, а он уже успел о ней позабыть. Ведет бесконечный разговор с доезжающим касательно следов оленя, которого они собираются загнать. Я вас избавлю от этой беседы — надеюсь, вы не охотник?

— А Маргарита?

— Ей нездоровилось, и она не выходила из своей комнаты.

— Нашли отговорку! А герцог Анжуйский? А принц Конде? А герцог Гиз? А Таван, Ретц, Ларошфуко, Телиньи? А Торе, а Мерю и многие другие?

— Как видно, вы их знаете лучше меня. Я буду рассказывать о своем друге Мержи.

— Пожалуй, я не найду в вашем романе того, что мне бы хотелось найти.

— Боюсь, что не найдете.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### ПЕРЧАТКА

*Cayóse un escarpín de la derecha  
Mano, que de la izquierda importa poco,  
A la señora Blanca, y amor loco  
A dos hidalgos disparó la flecha.*

*Lope de Vega. «El guante de doña  
Blanca» \*.*

Двор находился в Мадридском замке. Королева-мать, окруженная своими фрейлинами, ждала у себя в комнате, что король, прежде чем сесть на коня, придет к ней позавтракать. А король между тем, сопровождаемый владельческими князьями, медленно проходил по галерее, где собрались мужчины, которым надлежало ехать с ним на охоту. Он рассеянно слушал придворных и многим из них отвечал резко. Когда король проходил мимо двух

---

\* У сеньоры Бланки с правой руки,  
А может быть, и с левой — это безразлично, —  
Упала перчатка, и Амур-безумец  
Двоих идалго поразил стрелой.

*Лопе де Вега. «Перчатка доньи Бланки» (исп.).*

братьев, капитан преклонил колени и представил ему нового корнета. Бернар низко поклонился и поблагодарил его величество за незаслуженную честь.

— А, так это о вас говорил мне отец адмирал? Вы брат капитана Жоржа?

— Да, государь.

— Вы католик или гугенот?

— Я протестант, государь.

— Я спрашиваю только из любопытства. Пусть меня черт возьмет, если я придаю хоть какое-нибудь значение тому, какую веру исповедуют преданные мне люди.

Произнеся эти памятные слова, король проследовал к королеве.

Несколько минут спустя, как видно, для того, чтобы мужчинам было не скучно, в галерее появился рой женщин. Я расскажу только об одной красавице, состоявшей при дворе, столь обильном красавицами: я разумею ту, которая будет играть большую роль в моей повести, то есть графиню де Тюржи. На ней был костюм амазонки, свободный и в то же время изящный, маски она еще не надела. Ее черные как смоль волосы казались еще чернее от ослепительной белизны лица, везде одинаково бледного. Брови дугой, почти сросшиеся, сообщали ее лицу суровое выражение, но от этого весь ее облик ничего не терял в своем очаровании. Сначала в ее больших синих глазах можно было прочесть лишь высокомерие и пренебрежение, но, едва разговор оживлялся, зрачки у нее увеличивались и расширялись, как у кошки, в них загорался огонь, и тогда даже самому завзятому хлыщу трудно было не подпасть хотя бы на время под ее обаяние.

— Графиня де Тюржи! Как она сегодня хороша! — шептали придворные, и каждый из них пробирался вперед, чтобы полюбоваться на нее.

Бернар, стоявший у графини де Тюржи на дороге, был поражен ее красотой, и оцепенение его длилось до тех пор, пока широкие шелковые рукава ее платья не задела его камзола, — только тут он вспомнил, что надо посторониться.

Она, — быть может, не без удовольствия, — заметила волнение Бернара и соблаговолила заглянуть своими красивыми глазами в его глаза, а он мгновенно потупился, и щеки его покрылись живым румянцем. Графиня улыбну-

лась и, проходя мимо, уронила перчатку, но герой наш от растерянности стоял как вкопанный и не догадывался поднять ее. Тогда белокурый молодой человек (это был не кто иной, как Коменж), стоявший позади Бернара, оттолкнул его и, схватив перчатку, почтительно ее поцеловал, а затем отдал г-же де Тюржи. Графиня, не поблагодарив его, повернулась лицом к Бернару и некоторое время смотрела на него с убийственным презрением, потом, найдя глазами капитана Жоржа, нарочно громко сказала:

— Капитан! Вы не знаете, что это за ротозей? Сколько можно судить по его учтивости, он, наверное, гугенот.

Дружный смех привел несчастного Бернара в крайнее замешательство.

— Это мой брат, сударыня,— не таким громким голосом ответил ей Жорж.— Он только три дня в Париже. Клянусь честью, Лануа до того, как вы взяли на себя труд его обтесать, был нисколько не менее неуклюж, чем мой брат.

Графиня слегка покраснела.

— Это злая шутка — вот что я вам скажу, капитан. Об умерших дурно не говорят. Дайте руку,— меня просила с вами поговорить одна дама: она вами недовольна.

Капитан почтительно взял ее руку и подвел к амбразуре дальнего окна. Уходя, она еще раз оглянулась на Бернара.

По-прежнему ослепленный появлением прелестной графини, сгорая от желания любоваться ею и в то же время не смея поднять на нее глаза, Бернар почувствовал, что кто-то осторожно хлопнул его по плечу. Он обернулся и увидел барона де Водрейля; барон взял его за руку и отвел в сторону, чтобы, как он выразился, никто не мешал им поговорить с глазу на глаз.

— Дорогой друг! — сказал барон.— Вы новичок и, по всей вероятности, не знаете, как себя здесь вести.

Мержи посмотрел на него с изумлением.

— Ваш брат занят, ему некогда давать вам советы. Если позволите, я вам его заменю.

— Я не понимаю, что...

— Вас глубоко оскорбили. Вид у вас был озабоченный, и я решил, что вы обдумываете план мести.

— Мести? Кому? — покраснев до корней волос, спросил Мержи.

— Да ведь коротышка Коменж только что вас изо всех сил толкнул! Весь двор видел, как было дело, и ждет, что вы это так не оставите.

— В зале полно народу, — что же удивительного, если кто-то меня нечаянно толкнул?

— Господин де Мержи! С вами я не имею чести быть близко знаком, но с вашим братом мы большие друзья, и он может подтвердить, что я по мере сил следую Христовой заповеди прощать обиды. У меня нет никакого желания стравливать вас, но в то же время я почитаю за должное обратить ваше внимание на то, что Коменж толкнул вас *неумышленно*. Он толкнул вас потому, что хотел нанести вам оскорбление. Даже если б он вас не толкнул, он все равно вас унизил: подняв перчатку Тюржи, он отнял право, принадлежавшее вам. Перчатка лежала у ваших ног, *ergo* \*, вам одному принадлежало право поднять ее и отдать... Да вот, посмотрите туда! Видите в самом конце галереи Коменжа? Он показывает на вас пальцем и смеется над вами.

Мержи обернулся и увидел Коменжа, тот со смехом что-то рассказывал окружающим его молодым людям, а молодые люди слушали с явным любопытством. У Мержи не было никаких доказательств, что речь идет именно о нем, однако доброжелатель сделал свое дело: Мержи почувствовал, как его душой овладевает ярый гнев.

— Я найду его после охоты и думаю, что сумею... — начал он.

— Никогда не откладывайте мудрых решений. Кроме того, если вы вызовете своего недруга тотчас после того, как он причинил вам обиду, то вы гораздо меньше прогневаете бога, чем если вы это сделаете после долгих размышлений. Вы вызываете человека на дуэль в запальчивости, тут большого греха нет, и если вы потом деретесь, то единственно для того, чтобы не совершить более тяжкого греха — чтобы не изменить своему слову. Впрочем, я забыл, что вы протестант. Как бы то ни было, немедленно уговоритесь с ним о времени и месте встречи, а я вас сейчас сведу.

---

\* Следовательно (лат.).



— Надеюсь, он передо мной извинится.

— Об этом вы лучше и не мечтайте, дружище. Коменж еще ни разу не сказал: «Я был неправ». Впрочем, он человек порядочный и, разумеется, даст вам удовлетворение.

Мержи взял себя в руки и изобразил на своем лице равнодушие.

— Коль скоро Коменж меня оскорбил,— объявил Мержи,— я должен потребовать от него удовлетворения, и он мне его даст в любой форме.

— Чудесно, мой милый! Мне нравится ваша храбрость: ведь вам должно быть известно, что Коменж — один из лучших наших фехтовальщиков. По чести, оружием этот господин владеет хорошо. Он учился в Риме у Брамбиллы. Жан Маленький больше не решается скрещивать с ним клинки.

Говоря это, барон пристально вглядывался в слегка побледневшее лицо Мержи; между тем Бернар был больше взволнован самим оскорблением, чем уstraшен его последствиями.

— Я бы с удовольствием исполнил обязанности вашего секунданта, но, во-первых, я завтра причащаюсь, а во-вторых, я должен драться с де Ренси и не имею права обнажать шпагу против кого-либо еще<sup>21</sup>.

— Благодарю вас. Если дело дойдет до дуэли, моим секундантом будет мой брат.

— Капитан — знаток в этой области. Сейчас я приведу к вам Коменжа, и вы с ним объяснитесь.

Мержи поклонился, а затем, отвернувшись к стене, начал составлять в уме вызов и постарался придать своему лицу соответствующее выражение.

Вызов надо делать изящно,— это, как и многое другое, достигается упражнением. Наш герой первый раз вступил в дело — вот почему он испытывал легкое смущение, но его пугал не удар шпаги, он боялся сказать что-нибудь такое, что уронило бы его дворянское достоинство. Только успел он придумать решительную и вместе с тем вежливую фразу, как барон де Водрейль взял его за руку, и фраза мигом вылетела у него из головы.

Коменж, держа шляпу в руке, вызывающе-учтиво поклонился ему и вкрадчивым тоном спросил:

— Милостивый государь! Вы хотели со мной поговорить?

Вся кровь бросилась Бернару в лицо. Он, не задумываясь, ответил Коменжу таким твердым тоном, какого он даже не ожидал от себя:

— Вы наглец, и я требую от вас удовлетворения.

Водрейль одобрительно кивнул головой. Коменж присанился и, подбоченившись, что в те времена почиталось приличествующим случаю, совершенно серьезно сказал:

— Вы, милостивый государь, истец, следственно, право выбора оружия, коль скоро я ответчик, предоставляется мне.

— Выбирайте любое.

Коменж сделал вид, что призадумался.

— Эсток<sup>22</sup> — хорошее оружие, — сказал он, — но раны от него могут изуродовать человека, а в наши годы, — с улыбкой пояснил он, — не очень приятно являться к своей возлюбленной со шрамом через все лицо. Рапира оставляет маленькую дырочку, но этого совершенно достаточно. — Тут он опять улыбнулся. — Итак, я выбираю рапиру и кинжал.

— Превосходно, — сказал Мержи, повернулся и пошел.

— Одну минутку! — крикнул Водрейль. — Вы забыли условиться о времени и месте встречи.

— Придворные дерутся на Пре-о-Клер, — сказал Коменж. — Но, быть может, у вас, милостивый государь, есть другое излюбленное место?

— На Пре-о-Клер, так на Пре-о-Клер.

— Что же касается часа... По некоторым причинам я раньше восьми не встану... Понимаете? Дома я сегодня не ночую и раньше девяти не смогу быть на Пре.

— Хорошо, давайте в девять.

Отведя глаза в сторону, Бернар заметил на довольно близком от себя расстоянии графиню де Тюржи, — она уже рассталась с капитаном, а тот разговорился с другой дамой. Легко себе представить, что при виде прекрасной виновницы этого злого дела наш герой придал своему лицу важное и деланно беспечное выражение.

— С некоторых пор вошло в моду драться в красных штанах, — сообщил Водрейль. — Если у вас таких нет, я

вам вечером пришло. Кровь на них не видна,— так гораздо опрятнее.

— По мне, это ребячество,— заметил Коменж.

Мержи принужденно улыбнулся.

— Словом, друзья мои,— сказал барон де Водрейль, по-видимому, чувствовавший себя в своей родной стихии,— теперь нужно условиться только о секундантах и тьерсах<sup>23</sup> для вашего поединка.

— Этот господин совсем недавно при дворе,— заметил Коменж.— Ему, наверное, трудно будет найти тьерса. Я готов сделать ему уступку и удовольствоваться секундантом.

Мержи не без труда сложил губы в улыбку.

— Это верх учтивости,— сказал барон.— Иметь дело с таким сговорчивым человеком, как господин де Коменж,— право, одно удовольствие.

— Вам понадобится рапира такой же длины, как у меня,— продолжал Коменж,— а поэтому я вам рекомендую Лорана под вывёской Золотое солнце на улице Феронри — это лучший оружейник в городе. Скажите, что это я вас к нему направил, и он все для вас сделает.

Произнеся эти слова, он повернулся и как ни в чем не бывало примкнул к той же кучке молодых людей.

— Поздравляю вас, господин Бернар,— сказал Водрейль.— Вы хорошо бросили вызов. Мало сказать «хорошо» — отлично! Коменж не привык, чтобы с ним так разговаривали. Его боятся пуще огня, в особенности после того, как он убил великана Канильяка. Два месяца тому назад он убил Сен-Мишеля, но это к большой чести ему не служит. Сен-Мишель не принадлежал к числу опасных противников, а вот Канильяк убил не то пять, не то шесть дворян и не получил при этом ни единой царапины. Он учился в Неаполе у Борелли. Говорят, будто Лансак перед смертью поведал ему секрет удара, которым он и натворил потом столько бед. И то сказать,— как бы говоря сам с собой, продолжал барон,— Канильяк обокрал церковь в Осере и швырнул наземь святые дары. Нет ничего удивительного, что бог его наказал.

Мержи все это было неинтересно слушать, но, боясь, как бы Водрейль хотя бы на краткий миг не заподозрил

его в малодушии, он счел своим долгом поддержать разговор.

— К счастью, я никогда не обкрадывал церквей и не притрагивался к святым дарам,— заметил он,— значит, поединок мне не столь опасен.

— Позвольте дать вам еще один совет. Когда вы с Коменжем скрестите шпаги, бойтесь одной его хитрости, стоившей жизни капитану Томазо. Коменж крикнул, что острие его шпаги сломалось. Томазо, ожидая рубящего удара, поднял свою шпагу над головой, а между тем шпага у Коменжа и не думала ломаться и по самую рукоятку вошла в грудь Томазо, потому что Томазо, не ожидая колющего удара, не защитил грудь... Впрочем, вы на рапирах,— это не так опасно.

— Я буду драться не на жизнь, а на смерть.

— Да, вот еще что! Выбирайте кинжал с крепкой чашкой — это чрезвычайно важно для парирования. Видите, у меня шрам на левой руке? Это потому, что я однажды вышел на поединок без кинжала. Я повздорил с молодым Таларом и из-за отсутствия кинжала едва не лишился левой руки.

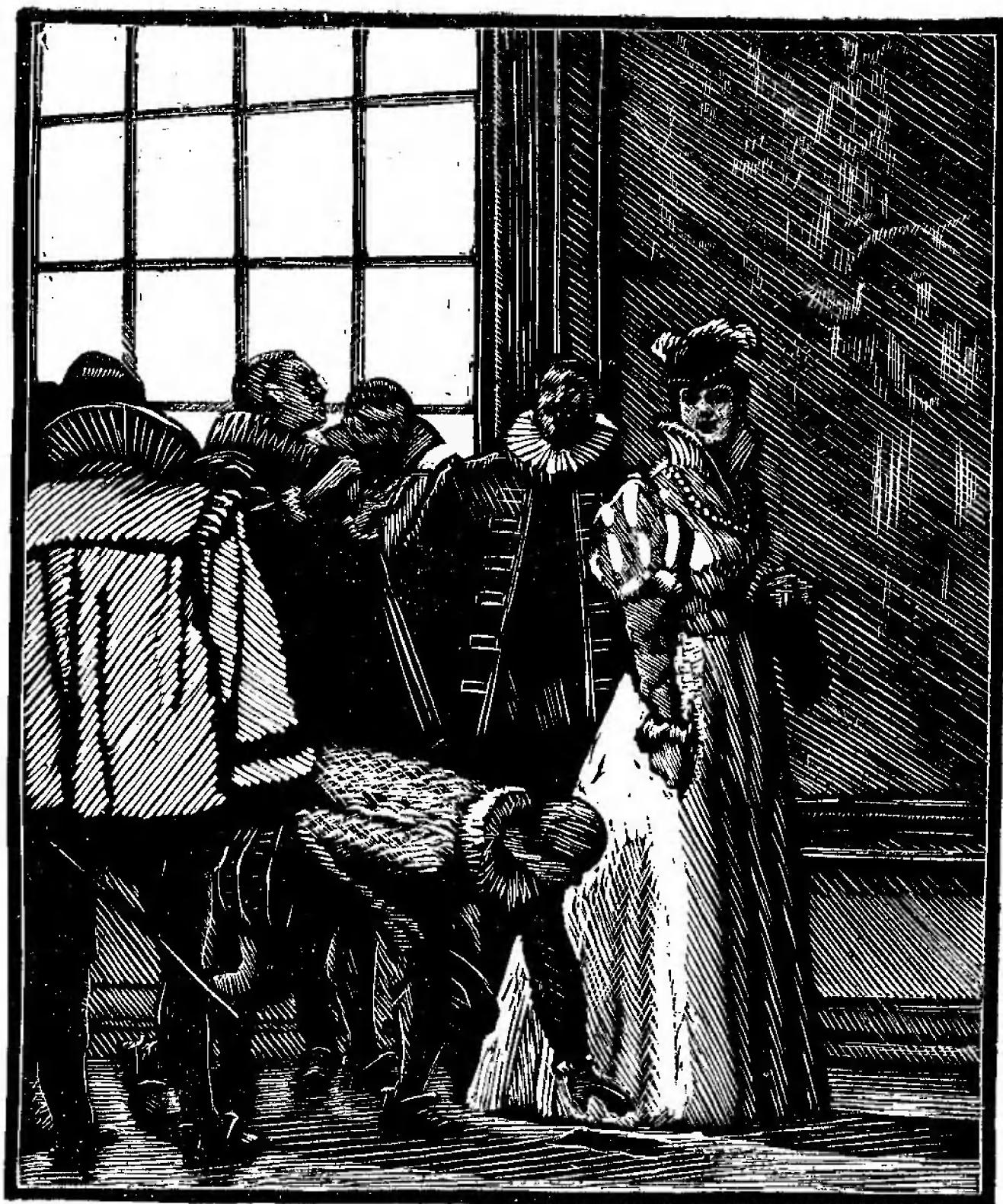
— А он был ранен? — с отсутствующим видом спросил Мержи.

— Я его убил по обету, который я дал моему покровителю, святому Маврикию. Еще не забудьте захватить полотна и корпии, это не помешает. Ведь не всегда же убивают наповал. Еще хорошо бы во время мессы положить шпагу на престол... Впрочем, вы протестант... Еще одно слово. Не думайте, что отступление наносит урон вашей чести. Напротив того, заставьте Коменжа как можно больше двигаться. У него короткое дыхание; загоняйте его, а потом, выждав удобный момент, кольните хорошенько в грудь, и из него дух вон.

Барон продолжал бы и дальше давать не менее полезные советы, если бы громкие звуки рогов не возвестили, что король сел на коня. Двери покоев королевы отворились, и их величества в охотничьих костюмах направились к крыльцу.

Капитан Жорж отошел от своей дамы и, подойдя к брату, хлопнул его по плечу и с веселым видом сказал:

— Везет тебе, повеса! Посмотрите на этого маменькиного сынка с кошачьими усами. Стоило ему появиться-



«Хроника царствования Карла IX»





ся — и вот уже все женщины от него без ума. Тебе известно, что прекрасная графиня четверть часа говорила со мной о тебе? Ну, так не зевай! На охоте все время скачи рядом с ней и будь как можно любезнее. Дьявольщина, да что с тобой? Уж не заболел ли ты? У тебя такое вытянутое лицо, как у протестантского попа, которого сейчас поведут на костер. Да ну же, черт побери, развеселись!..

— У меня нет особого желания ехать на охоту, я предпочел бы...

— Если вы не поедете на охоту, Коменж вообразит, что вы трусите, — шепнул ему барон де Водрейль.

— Идем! — сказал Бернар и провел ладонью по горячему лбу.

Он решил рассказать о своем приключении брату после охоты. «Какой стыд! — сказал он себе. — Вдруг госпожа де Тюржи подумала бы, что я трушу!.. Вдруг бы ей показалось, что я отказываюсь от удовольствия поохотиться, потому что мне не дает покоя мысль о предстоящей дуэли!»

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### ОХОТА

*The very butcher of a silk button, a duellist, a duellist, a gentleman of the very first house,—of the first and second cause: Ah! the immortal passado! the punto reverso!*

*Shakespeare. «Romeo und Juliette»\*.*

Во дворе замка суеилось великое множество дам и кавалеров, нарядно одетых, верхом на знатных конях. Звуки рогов, лай собак, громкие голоса острящих всадников — все это сливалось в шум, радующий слух охотника, но несносный для обычного человеческого слуха.

Бернар машинально пошел вслед за братом во двор и случайно оказался подле прелестной графини, си-

---

\* Он настоящий губитель шелковых пуговиц, дуэлянт, дуэлянт, дворянин с ног до головы, знаток первых и вторых поводов к дуэли. Ах, бессмертное *passado! Punto revesso!*

*Шекспир. «Ромео и Джульетта» (англ.).*

девшей, уже в маске, верхом на горячей андалусской лошадке, бившей копытом о землю и в нетерпении грызшей удила. Но и на этой лошади, которая поглотила бы все внимание заурядного всадника, графиня чувствовала себя совершенно спокойно, точно сидела в кресле у себя в комнате.

Капитан под предлогом натянуть мундштук у андалусской лошадки приблизился к графине.

— Вот мой брат,— сказал он амазонке вполголоса, однако достаточно громко для того, чтобы его мог слышать Бернар.— Будьте с бедным мальчиком поласковей: он сам не свой с тех пор, как увидел вас в Лувре.

— Я уже забыла его имя,— довольно резким тоном проговорила она.— Как его зовут?

— Бернаром. Обратите внимание, сударыня, что перевязь у него точно такого же цвета, как у вас ленты.

— Он умеет ездить верхом?

— Вы скоро сами в этом удостоверитесь.

Жорж поклонился и поспешил к придворной даме, за которой он недавно начал ухаживать. Он слегка наклонился к седельной луке, взял лошадь своей дамы за уздечку и скоро позабыл и о брате и об его прекрасной и гордой спутнице.

— Оказывается, вы знакомы с Коменжем, господин де Мержи? — спросила графиня.

— Кто, я, сударыня?.. Очень мало,— запинаясь, проговорил Мержи.

— Но ведь вы только что с ним разговаривали.

— Это был первый наш разговор.

— Кажется, я догадываюсь, что вы ему сказали.

А глаза ее, смотревшие из-под маски, словно хотели заглянуть к нему в душу.

К великой радости Бернара, которого эта беседа смущала невероятно, к графине, догнав ее, обратилась какая-то дама. Тем не менее, сам не отдавая себе ясно-го отчета, зачем, он продолжал ехать рядом с графиней. Быть может, он хотел позлить этим Коменжа, следившего за ним издали.

Охотники выехали наконец из замка. Поднятый олень скрылся в лесу. Вся охота устремилась за ним, и тут Мержи с удивлением заметил, как ловко г-жа де Тюржи правит лошадью и с каким бесстрашием преодолевает



она встречающиеся на пути препятствия. Мержи ехал на берберийском коне превосходных статей и благодаря этому не отставал от нее, но, к его великой досаде, граф де Коменж, у которого конь был такой же удалый, тоже ехал рядом с г-жой де Тюржи и, невзирая на быстроту бешеного галопа, невзирая на увлеченность охотой, то и дело обращался к амазонке, а Бернар между тем завидовал в глубине души его легкости, беспечности, а главное, его способности болтать милую чепуху, которая, видимо, забавляла графиню и этим злила Бернара. И обоих соперников, вступивших в благородное соревнование, не останавливали ни высокие изгороди, ни широкие рвы,—они уже раз двадцать рисковали сломить себе шею.

Внезапно графиня, отделившись от охоты, свернула с дороги, по которой направились король и его свита, на боковую.

— Куда вы? — крикнул Коменж. — Вы собьетесь со следа! Разве вы не слышите, что рога и лай — с той стороны?

— Ну, так и поезжайте другой дорогой. Никто вас не неволит.

Коменж ничего не ответил и поворотил коня туда же, куда и она. Мержи поехал вместе с ними. Когда же они углубились в лес шагов на сто, графиня попридержала лошадь. Коменж, ехавший справа от нее, и Мержи, ехавший слева, последовали ее примеру.

— У вас славный боевой конь, господин де Мержи, — сказал Коменж, — он даже не вспотел.

— Это берберийский конь, брат купил его у одного испанца. Вот рубец от сабельного удара, — он был ранен под Монконтуром.

— Вы были на войне? — обратившись к Мержи, спросила графиня.

— Нет, сударыня.

— Значит, вы не испытали на себе, что такое огнестрельная рана?

— Нет, сударыня.

— А сабельный удар?

— Тоже нет.

Мержи почудилось, что она улыбнулась. Коменж насмешливо вздернул верхнюю губу.

— Ничто так не украшает молодого дворянина, как глубокая рана,— заметил он.— Ведь правда, сударыня?

— В том случае, если дворянин честно ее заслужил.

— Что значит «честно заслужил»?

— Славу приносит только та рана, которую человек получил на поле боя. А раны, полученные на дуэли,— это совсем другое дело. Они ничего, кроме презрения, во мне не вызывают.

— Я полагаю, что господин де Мержи, прежде чем сесть на коня, имел с вами разговор?

— Нет,— сухо ответила графиня.

Мержи подъехал к Коменжу.

— Милостивый государь! — сказал он тихо.— Как скоро мы присоединимся к охоте, мы с вами можем захватить в чащу, и там я постараюсь доказать вам, что я ничего не предпринимал для того, чтобы уклониться от встречи с вами.

Коменж бросил на него взгляд, в котором можно было прочесть и жалость и удовольствие.

— Тем лучше! Я не имею оснований вам не верить. Что же касается вашего предложения, то принять его я не могу: только мужичье дерется без свидетелей. Наши друзья, которых мы в это дело втянули, не простят нам, что мы их не подождали.

— Как вам будет угодно, милостивый государь,— сказал Мержи и пустился догонять графиню.

Графиня ехала с опущенной головой: казалось, она была занята своими мыслями. Все трое молча доехали до распутия,— тут и кончалась их дорога.

— Это не рог трубит? — спросил Коменж.

— По-моему, звук долетает слева, вон из того кустарника,— заметил Мержи.

— Да, рог, теперь мне это ясно. Могу даже сказать, что это болонская валторна. Будь я трижды неладен, если это не валторна моего приятеля Помпиньяна. Вы не можете себе представить, господин де Мержи, какая огромная разница между болонской валторной и теми валторнами, которые выделывают наши жалкие парижские ремесленники.

— Ее слышно издалека.

— А какой звук! Какая густота! Собаки, едва слышав его, забывают, что пробежали добрых десять миль.

Откровенно говоря, хорошие вещи делают только в Италии да во Фландрии. Как вам нравится мой валлонский воротник? К охотничьему костюму он идет. У меня есть воротники и брыжи «Сумбур» для балов, но и этот совсем простой воротник — вы думаете, его вышивали в Париже? Какое там! Мне его привезли из Бреды. У меня есть друг во Фландрии; если хотите, он вам пришлет такой же... Ах да! — перебил он себя и рассмеялся. — Какой же я рассеянный! Бог ты мой! Совсем из головы вон!

Графиня остановила лошадь.

— Коменж! Охота впереди! Судя по звуку рогов, оленя уже начали травить.

— По-видимому, вы правы, очаровательница.

— А вы разве не хотите принять участие в травле?

— Разумеется, хочу. Иначе мы лишимся славы охотников и наездников.

— В таком случае не мешает поторопиться.

— Да, наши лошади передохнули. Покажите же нам пример!

— Я устала, я дальше не поеду. Со мной побудет господин де Мержи. Поезжайте!

— Но...

— Сколько раз нужно вам повторять? Пришпорьте коня.

Коменж не трогался с места. Кровь прилила у него к щекам. Он бросал злобные взгляды то на Бернара, то на графиню.

— Госпоже де Тюржи хочется побыть вдвоем, — насмешливо улыбнувшись, сказал он.

Графиня показала рукой на кустарник, откуда долетали звуки рога, и кончиками пальцев сделала крайне выразительный жест. Но Коменж, видимо, все еще не склонен был уступать место своему сопернику.

— Что ж, придется сказать вам все начистоту. Оставьте нас, господин де Коменж, ваше присутствие мне несносно. Ну как, теперь вы поняли?

— Отлично понял, сударыня, — отвечал он с бешенством и, понизив голос, прибавил: — А что касается вашего нового любимчика... он недолго будет вас тешить... Счастливого оставаться, господин де Мержи, до свиданья!

Последние слова он произнес отдельно, а затем, дав коню шпоры, погнал его галопом.

Лошадь графини припустилась было за ним, но графиня натянула поводья и поехала шагом. Время от времени она поднимала голову и посматривала в сторону Мержи с таким видом, словно ей хотелось заговорить с ним, но потом снова отводила глаза, как бы стыдясь, что не знает, с чего начать разговор.

Мержи был вынужден заговорить первым:

— Я горжусь, сударыня, тем предпочтением, какое вы мне оказали.

— Господин Бернар! Вы умеете драться?..

— Умею, сударыня,— отвечал он с изумлением.

— Просто уметь — этого мало. Вы хорошо... вы очень хорошо умеете драться?

— Достаточно хорошо для дворянина и, разумеется, плохо для учителя фехтования.

— У нас в стране дворяне лучше владеют оружием, нежели те, что избрали это своим ремеслом.

— Да, правда, я слышал, что многие дворяне тратят в фехтовальных залах время, которое они могли бы лучше провести где-нибудь в другом месте.

— Лучше?

— Ну еще бы! Не лучше ли беседовать с дамами,— спросил он, улыбаясь,— чем обливаться потом в фехтовальной зале?

— Скажите: вы часто дрались на дуэли?

— Слава богу, ни разу, сударыня! А почему вы мне задаете такие вопросы?

— Да будет вам известно, что у женщины не спрашивают, с какой целью она что-нибудь делает. По крайней мере так принято у людей благовоспитанных.

— Обещаю придерживаться этого правила,— молвил Мержи и, чуть заметно улыбнувшись, наклонился к шее своего коня.

— В таком случае... как же вы будете вести себя завтра?

— Завтра?

— Да, завтра. Не прикидывайтесь изумленным.

— Сударыня...

— Отвечайте, я знаю все. Отвечайте!—крикнула она

и движением, исполненным царственного величия, вытянула в его сторону руку.

Кончик ее пальца коснулся его рукава, и от этого прикосновения он вздрогнул.

— Буду вести себя как можно лучше,— отвечал он наконец.

— Ответ достойный. Это ответ не труса и не задиры. Но вы знаете, что для начала вам уготована встреча с весьма опасным противником?

— Ничего не поделаешь! Конечно, мне придется трудно, как, впрочем, и сейчас,— с улыбкой добавил он.— Ведь до этого я видел только крестьянок, и не успел я привыкнуть к придворной жизни, как уже очутился наедине с прекраснейшей дамой французского двора.

— Давайте говорить серьезно. Коменж лучше, чем кто-либо из придворных, владеет оружием, а ведь у нас — драчун на драчуне. Он король записных дуэлистов.

— Да, я слышал.

— И что же, вас это не смущает?

— Повторяю: я буду вести себя как можно лучше. С доброй шпагой, а главное, с божьей помощью бояться нечего!..

— С божьей помощью!..— презрительно произнесла она.— Ведь вы гугенот, господин де Мержи?

— Гугенот, сударыня,— отвечал он серьезно; так он всегда отвечал на этот вопрос.

— Значит, поединок должен быть для вас еще страшнее.

— Осмелюсь спросить: почему?

— Подвергать опасности свою жизнь — это еще ничего, но вы подвергаете опасности нечто большее, чем жизнь,— вашу душу.

— Вы рассуждаете, сударыня, исходя из догматов вашего вероучения, догматы нашего вероучения более утешительны.

— Вы играете в азартную игру. На карту брошено спасение вашей души. В случае проигрыша,— а проигрыш почти неизбежен,— вечная мука!

— Да мне и так и так худо. Умри я завтра католиком, я бы умер, совершив смертный грех.

— Сравнили! Разница громадная! — воскликнула г-жа де Тюржи, видимо, уязвленная тем, что Бернар в

споре с ней приводит довод, основываясь на вероучении, которое исповедовала она.— Наши богословы вам объяснят...

— Я в этом уверен, они все объясняют, сударыня; они берут на себя смелость толковать писание, как им вздумается. Например...

— Перестаньте! С гугенотом нельзя затеять минутный разговор, чтобы он по любому случайному поводу не начал отчитывать вас от писания.

— Это потому, что мы читаем писание, а у вас священники — и те его не знают. Лучше давайте поговорим о другом. Как вы думаете, олень уже затравлен?

— Я вижу, вы очень стоите за свою веру?

— Опять вы, сударыня!

— Вы считаете, что это правильная вера?

— Более того, я считаю, что это лучшая вера, самая правильная, иначе я бы ее переменил.

— А вот ваш брат переменил же ее!

— У него были основания для того, чтобы стать католиком, а у меня свои основания для того, чтобы оставаться протестантом.

— Все они упрямы и глухи к голосу разума! — с раздражением воскликнула она.

— Завтра будет дождь,— посмотрев на небо, сказал Мержи.

— Господин де Мержи! Мои дружеские чувства к вашему брату, а также нависшая над вами опасность вызывают во мне сочувствие к вам...

Мержи почтительно поклонился.

— Вы, еретики, в реликвии не верите?

Мержи улыбнулся.

— Вы полагаете, что одно прикосновение к ним оскверняет?..— продолжала она.— Вы бы отказались носить ладанку, как это принято у нас, приверженцев римско-католической церкви?

— А у нас это не принято,— нам, протестантам, обычай этот представляется по меньшей мере бесполезным.

— Послушайте. Как-то раз один из моих двоюродных братьев повесил ладанку на шею охотничьей собаке, а затем, отойдя от нее на двенадцать шагов, выстрелил из аркебузы крупной дробью.

— И убил?

— Ни одна дробинка не попала.

— Чудо! Вот бы мне такую ладанку!

— Правда?.. И вы бы стали ее носить?

— Конечно. Коли она защитила собаку, то уж... Впрочем, я не уверен, не хуже ли еретик собаки... Я имею в виду собаку католика...

Г-жа де Тюржи, не слушая его, проворно расстегнула верхние пуговицы своего узкого лифа и сняла с груди золотой медальон на черной ленте.

— Возьмите! — сказала она. — Вы обещали ее носить. Вернете когда-нибудь потом.

— Если это будет от меня зависеть.

— Но вы будете бережно с ней обращаться?.. Не вздумайте кощунствовать! Обращайтесь с ней как можно бережнее!

— Ее дали мне вы, сударыня!

Г-жа де Тюржи протянула ему ладанку, он взял ее и повесил на шею.

— Католик непременно поблагодарил бы руку, отдавшую ему этот священный талисман.

Мержи схватил руку графини и хотел было поднести к губам.

— Нет, нет, поздно!

— А может, передумаете? Вряд ли мне еще когда-нибудь представится такой случай.

— Снимите перчатку, — сказала она и протянула ему руку.

Снимая перчатку, он ощутил легкое пожатие. И тут он запечатлел пламенный поцелуй на ее прекрасной белой руке.

— Господин Бернар! — с волнением в голосе заговорила графиня. — Вы будете упорствовать до конца, ничто вас не тронет? Когда-нибудь вы обратитесь в нашу веру ради меня?

— Почему я знаю! — отвечал он со смехом. — Попросите лучше, подольше. Одно могу сказать наверное: уж если кто меня и обратит, так только вы.

— Скажите мне положа руку на сердце: что, если какая-нибудь женщина... ну, которая бы сумела...

Она запнулась.

— Что сумела?..

— Ну да! Если б тут была, например, замешана лю-

бовь?.. Но смотрите: будьте со мной откровенны! Говорите серьезно!

— Серьезно?

Он попытался снова взять ее руку.

— Да. Любовь к женщине другого вероисповедания... любовь к ней не заставила бы вас измениться?.. Бог пользуется разными средствами.

— Вы хотите, чтобы я ответил вам откровенно и серьезно?

— Я этого требую.

Мержи, опустив голову, медлил с ответом. Признаться сказать, он подыскивал уклончивый ответ. Г-жа де Тюржи подавала ему надежду, а он вовсе не собирался отвергать ее. Между тем при дворе он был всего несколько часов, и его совесть — совесть провинциала — была еще ужасно щепетильна.

— Я слышу порсканье! — крикнула вдруг графиня, так и не дождавшись этого столь трудно рождавшегося ответа.

Она хлестнула лошадь и пустила ее в галоп. Мержи помчался следом за ней, но ни единого взгляда, ни единого слова он так от нее и не добился.

К охоте они примкнули мгновенно.

Олень сперва забрался в пруд, — выгнать его оттуда оказалось не так-то просто. Некоторые всадники спешили и, вооружившись длинными шестами, вынудили бедное животное снова пуститься бежать. Но холодная вода его доконала. Олень вышел из пруда, тяжело дыша, высунув язык, и стал делать короткие скачки. А у собак, наоборот, сил как будто прибавилось вдвое. Пробежав небольшое расстояние, олень почувствовал, что бегством ему не спастись; он сделал последнее усилие и, остановившись у толстого дуба, смело повернулся мордой к собакам. Тех, что бросились на него первыми, он поддел на рога. Одну лошадь он опрокинул вместе со всадником. После этого люди, лошади, собаки, став осторожнее, образовали вокруг оленя широкий круг и уже не решались приблизиться к нему настолько, чтобы он мог их достать своими грозными ветвистыми рогами.

Король с охотничьим ножом в руке ловко соскочил с коня и, подкравшись сзади, перерезал у оленя сухожилия. Олень издал нечто вроде жалобного свиста и тот-



час же рухнул. Собаки бросились на него. Они вцепились ему в голову, в морду, в язык, так что он не мог пошевелиться. Из глаз его катились крупные слезы.

— Пусть приблизятся дамы! — крикнул король.

Дамы приблизились; почти все они сошли с коней.

— Вот тебе, *парпайо!* — сказал король и, вонзив нож оленю в бок, повернул его, чтобы расширить рану.

Мощная струя крови залила королю лицо, руки, одежду.

«Парпайо» — это была презрительная кличка кальвинистов: так их часто называли католики.

Самое это слово произвело на некоторых неприятное впечатление, не говоря уже о том, при каких обстоятельствах оно было употреблено, меж тем как другие встретили его одобрительно.

— Король сейчас похож на мясника, — довольно громко, с брезгливым выражением лица произнес зять адмирала, юный Телиньи.

Доброжелатели, — а при дворе таковых особенно много, — не замедлили передать эти слова государю, и тот их запомнил.

Насладившись приятным зрелищем, какое являли собой собаки, пожиравшие внутренности оленя, двор поехал обратно в Париж. Дордогой Мержи рассказал брату, как его оскорбили и как произошел вызов на дуэль. Советы и упреки были уже бесполезны, и капитан обещал поехать завтра вместе с ним.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### ЗАПИСНОЙ ДУЭЛИСТ И ПРЕ-О-КЛЕР

*For one of us must yield his breath,  
Ere fram the field on foot, we flee.*

*«The duel of Stuart and Warton» \**

Несмотря на усталость после охоты, Мержи долго не мог заснуть. Охваченный лихорадочным волнением, он метался на постели, воображение у него разыгралось.

---

\* Ибо один из нас испустит дух,

Прежде чем мы, пешие, убежим с поля боя.

«Дуэль между Стюартом и Уортоном» (англ.).

Его преследовал неотвязный рой мыслей, побочных и даже совсем не связанных с завтрашним событием. Ему уже не раз приходило на ум, что приступ лихорадки — это начало серьезного заболевания, которое спустя несколько часов усилится и прикует его к постели. Что тогда будет с его честью? Что станут о нем говорить, особенно г-жа де Тюржи и Коменж? Он дорого дал бы за то, чтобы приблизить условленный час дуэли.

К счастью, на восходе солнца Мержи почувствовал, что кровь уже не так бурлит в его жилах, предстоящая встреча не повергала его больше в смятение. Оделся он спокойно; сегодняшней его туалет отличался даже некоторой изысканностью. Он представил себе, что на месте дуэли появляется прелестная графиня и, заметив, что он легко ранен, своими руками перевязывает ему рану и уже не делает тайны из своего чувства к нему. На луврских часах пробило восемь — это вернуло Бернара к действительности, и почти в то же мгновение к нему вошел его брат.

Глубокая печаль изображалась на его лице; было видно, что он тоже плохо провел эту ночь. Тем не менее, пожимая руку Бернару, он выдавил из себя улыбку и попытался показать, что он в отличном расположении духа.

— Вот рапира и кинжал с чашкой, — сказал он, — и то и другое — от Луно, из Толедо. Проверь, не слишком ли для тебя тяжела шпага.

Он бросил на кровать длинную шпагу и кинжал.

Бернар вынул шпагу из ножен, согнул ее, осмотрел кончик и остался доволен. После этого он обратил внимание на кинжал; в его чашке было много дырочек, проделанных для того, чтобы не пускать дальше неприятельскую шпагу, для того, чтобы она застряла и чтобы ее нелегко было извлечь.

— По-моему, с таким превосходным оружием мне не трудно будет себя защитить, — проговорил он.

Затем Бернар показал висевшую у него на груди ладанку, которую ему дала г-жа де Тюржи, и, улыбаясь, прибавил:

— А вот талисман — он защищает лучше всякой кольчуги.

— Откуда у тебя эта игрушка?

— Угадай!

Честолюбивое желание показать брату, что он пользуется успехом у женщин, заставило Бернара на минуту забыть и Коменжа и вынутую из ножен боевую шпагу, лежавшую у него перед глазами.

— Ручаюсь головой, что тебе ее дала эта сумасбродка графиня. Черт бы ее побрал вместе с ее медальоном!

— А ты знаешь, она дала мне этот талисман нарочно, чтобы я им сегодня воспользовался.

— Ненавижу я ее манеру — снимать перчатку и всем показывать свою красивую белую руку!

— Я, конечно, в папистские реликвии не верю, боже меня избави, — густо покраснев, сказал Бернар, — но если мне суждено нынче погибнуть, я все же хотел бы, чтобы она узнала, что, сраженный, я хранил на груди этот ее залог.

— Как ты о себе возомнил! — пожав плечами, заметил капитан.

— Вот письмо к матери, — сказал Бернар, и голос у него дрогнул.

Жорж молча взял его, подошел к столу, увидел маленькую библию и, чтобы чем-нибудь себя занять, пока брат, кончая одеваться, завязывал уйму шнурков, которые тогда носили на платье, начал было читать.

На той странице, на которой он наудачу раскрыл библию, он прочел слова, написанные рукой его матери:

1-го мая 1547 года у меня родился сын Бернар. Господи! Охрани его на всех путях твоих! Господи! Огради его от всякого зла!

Капитан закусил губу и бросил книгу на стол. Заметив это, Бернар подумал, что брату пришла в голову какая-нибудь богопротивная мысль. Он со значительным видом взял библию, снова вложил ее в вышитый футляр и благоговейно запер в шкаф.

— Это мамина библия, — сказал он.

Капитан в это время расхаживал по комнате и ничего ему не ответил.

— Не пора ли нам? — застегивая портупею, спросил Бернар.

— Нет, мы еще успеем позавтракать.

Оба приблизились к столу; на столе стояли блюда с пирогами и большой серебряный жбан с вином. За едой они долго, делая вид, что беседа их очень занимает, обсуждали достоинства вина и сравнивали его с другими винами из капитанского погреба. Каждый старался за бессодержательным разговором скрыть от собеседника истинные свои чувства.

Капитан встал первым.

— Идем,— сказал он хрипло.

С этими словами он надвинул шляпу на глаза и сбежал по лестнице.

Они сели в лодку и переехали Сену. Лодочник, догадавшийся по их лицам, зачем они едут в Пре-о-Клер, проявил особую предупредительность и, налегая на весла, рассказал им во всех подробностях, как в прошлом месяце два господина, один из которых был граф де Коменж, оказали ему честь и наняли у него лодку, чтобы в лодке спокойно драться, не боясь, что кто-нибудь им помешает. Г-н де Коменж пронзил своего противника насквозь — вот только фамилии его он, лодочник, дескать, к сожалению, не знает,— раненый свалился в реку, и лодочник так его и не вытащил.

Как раз когда они приставали к берегу, немного ниже показалась лодка с двумя мужчинами.

— Вот и они. Побудь здесь,— сказал капитан и побежал навстречу лодке с Коменжем и де Бевилем.

— А, это ты! — воскликнул виконт.— Кого же Коменж должен убить: тебя или твоего брата?

Произнеся эти слова, он со смехом обнял капитана.

Капитан и Коменж с важным видом раскланялись.

— Милостивый государь! — высвободившись наконец из объятий Бевиля, сказал Коменжу капитан.— Я почитаю за должное сделать усилие, дабы предотвратить пагубные последствия ссоры, которая, однако, не задела ничьей чести. Я уверен, что мой друг (тут он показал на Бевиля) присоединит свои усилия к моим.

Бевиль состроил недовольную мину.

— Мой брат еще очень молод,— продолжал Жорж.— Он человек безвестный, в искусстве владения оружием не искушенный,— вот почему он принужден выказывать особую щепетильность. Вы, милостивый государь, напротив того, обладаете прочно устоявшейся репутацией, ва-

ша честь только выиграет, если вам благоугодно будет признать в присутствии господина де Бевиля и моем, что вы нечаянно...

Коменж прервал его взрывом хохота.

— Да вы что, шутите, дорогой капитан? Неужели вы воображаете, что я стал бы так рано покидать ложе моей любовницы... чтобы я стал переезжать Сену только для того, чтобы извиниться перед каким-то сопляком?

— Вы забываете, милостивый государь, что вы говорите о моем брате и что таким образом вы оскорбляете...

— Да хоть бы это был ваш отец, мне-то что! Меня вся ваша семья весьма мало трогает.

— В таком случае, милостивый государь, вам волею-неволей придется иметь дело со всей нашей семьей. А так как я старший, то будьте любезны, начните с меня.

— Простите, господин капитан, по правилам дуэли мне надлежит драться с тем, кто меня вызвал раньше. Ваш брат имеет неотъемлемое, как принято выражаться в суде, право на первоочередность. Когда я покончу с ним, я буду в вашем распоряжении.

— Совершенно верно!—воскликнул Бевиль.—Иного порядка дуэли я не допущу.

Бернар, удивленный тем, что собеседование затянулось, стал медленно приближаться. Подошел же он как раз, когда его брат принялся осыпать Коменжа градом оскорблений, вплоть до «подлеца», но Коменж на все невозмутимо отвечал:

— После брата я займусь вами.

Бернар схватил брата за руку.

— Жорж! — сказал он.— Хорошую ты мне оказываешь услугу! Ты бы хотел, чтобы я оказал тебе такую же? Милостивый государь! — обратился он к Коменжу.— Я в вашем распоряжении. Мы можем начать когда вам угодно.

— Сию же минуту,—объявил тот.

— Ну и чудесно, мой дорогой,—сказал Бевиль и пожал руку Бернару.—Если только на меня не ляжет печальный долг похоронить тебя нынче здесь, ты далеко пойдешь, мой мальчик.

Коменж снял камзол и развязал ленты на туфлях,—этим он дал понять, что не согласится ни на какие уступ-

ки. Таков был обычай заправских дуэлистов. Бернар и Бевиль сделали то же самое. Один лишь капитан даже не сбросил плаща.

— Что с тобой, друг мой Жорж?—спросил Бевиль.— Разве ты не знаешь, что тебе предстоит схватиться со мной врукопашную? Мы с тобой не из тех секундентов, что стоят сложа руки в то время, как дерутся их друзья, мы придерживаемся андалусских обычаев.

Капитан пожал плечами.

— Ты думаешь, я шучу? Честное слово, тебе придется драться со мной. Пусть меня черт возьмет, если ты не будешь со мной драться!

— Ты сумасшедший, да к тому же еще и дурак,— холодно сказал капитан.

— Черт возьми! Или ты сейчас же передо мной извинишься, или я вынужден буду...

Он с таким видом поднял еще не вынутую из ножен шпагу, словно собирался ударить Жоржа.

— Ты хочешь драться? — спросил капитан.— Пожалуйста.

И он мигом стащил с себя камзол.

Коменжу стоило с особым изяществом один только раз взмахнуть шпагой, и ножны отлетели шагов на двадцать. Бевиль попытался сделать то же самое, однако ножны застряли у него на середине шпаги, а это считалось признаком неуклюжести и дурной приметой. Братья обнажили шпаги хотя и не столь эффектно, а все-таки ножны отбросили — они могли им помешать. Каждый стал против своего недруга с обнаженной шпагой в правой руке и с кинжалом в левой. Четыре клинка скрестились одновременно.

Жорж тем приемом, который итальянские учителя фехтования называли тогда *liscio di spada è cavare alla vita*<sup>24</sup> и который заключался в том, чтобы противопоставить слабости силу, в том, чтобы отвести оружие противника и ударить по нему, сразу же выбил шпагу из рук Бевиля и приставил острие своей шпаги к его незащищенной груди, а затем, вместо того чтобы проткнуть его, хладнокровно опустил шпагу.

— Тебе со мной не тягаться,— сказал он.— Прекратим схватку. Но смотри: не выводи меня из себя!

Увидев шпагу Жоржа так близко от своей груди,

Бевиль побледнел. Слегка смущенный, он протянул ему руку, после чего оба воткнули шпаги в землю, и с этой минуты они уже были всецело поглощены наблюдением за двумя главными действующими лицами этой сцены.

Бернар был храбр и умел держать себя в руках. Фехтовальные приемы он знал прилично, а физически был гораздо сильнее Коменжа, который вдобавок, видимо, чувствовал усталость после весело проведенной ночи. Первое время Бернар, когда Коменж на него налетал, ограничивался тем, что с великой осторожностью парировал удары и всячески старался путать его карты, кинжалом прикрывая грудь, а в лицо противнику направляя острие шпаги. Это неожиданное сопротивление разозлило Коменжа. Он сильно побледнел. У человека храброго бледность является признаком дикой злобы. Он стал еще яростнее нападать. Во время одного из выпадов он с изумительной ловкостью подбросил шпагу Бернара и, стремительно нанеся ему колющий удар, неминуемо проткнул бы его насквозь, если бы не одно обстоятельство, которое может показаться почти чудом и благодаря которому удар был отведен: острие рапиры натолкнулось на ладанку из гладкого золота и, скользя по ней, приняло несколько наклонное направление. Вместо того, чтобы вонзиться в грудь, шпага проткнула только кожу и, пройдя параллельно ребру, вышла на расстоянии двух пальцев от первой раны. Не успел Коменж извлечь свое оружие, как Бернар ударил его кинжалом в голову с такой силой, что сам потерял равновесие и полетел. Коменж упал на него. Секунданты подумали, что убиты оба.

Бернар сейчас же встал, и первым его движением было поднять шпагу, которая выпала у него из рук при падении. Коменж не шевелился. Бевиль приподнял его. Лицо у Коменжа было все в крови. Отерев кровь платком, Бевиль обнаружил, что удар кинжалом пришелся в глаз и что друг его был убит наповал, так как лезвие дошло, вне всякого сомнения, до самого мозга.

Бернар невидящим взором смотрел на труп.

— Бернар! Ты ранен? — подбежав к нему, спросил капитан.

— Ранен? — переспросил Бернар и только тут заметил, что рубашка у него намокла от крови..

— Пустяки,— сказал капитан,— шпага только скользнула.

Он вытер кровь своим платком, а затем, чтобы перевязать рану, попросил у Бевиля его платок. Бевиль поддерживал тело Коменжа, но тут он его уронил на траву и поспешил дать Жоржу свой платок, а также платок, который он нашел у Коменжа в кармане камзола.

— Фу, черт! Вот это удар! Ну и рука же у вас, дружище! Дьявольщина! Что скажут парижские записные дуэлисты, если из провинции к нам станут приезжать такие хвататы, как вы? Скажите, пожалуйста, сколько раз вы дрались на дуэли?

— Сегодня — уввы! — первый раз,— отвечал Бернар.— Помогите же ради бога вашему другу!

— Какая тут к черту помощь! Вы его так угостили, что он уже ни в чем больше не нуждается. Клинок вошел в мозг, удар был нанесен такой крепкой, такой уверенной рукой, что... Взгляните на бровь и на щеку — чашка кинжала вдавилась, как печать в воск.

Бернар задрожал всем телом. Крупные слезы покатились по его щекам.

Бевиль поднял кинжал и принялся внимательно осматривать выемки — в них было полно крови.

— Этому оружию младший брат Коменжа обязан поставить хорошую свечку. Благодаря такому чудному кинжалу он сделается наследником огромного состояния.

— Пойдем... Уведи меня отсюда,— упавшим голосом сказал Бернар и взял брата за руку.

— Не горюй,— молвил Жорж, помогая Бернару надеть камзол.— В сущности говоря, этого человека жалеть особенно не за что.

— Бедный Коменж! — воскликнул Бевиль.— Подумать только: тебя убил юнец, который дрался первый раз в жизни, а ты дрался раз сто! Бедный Коменж!

Так он закончил надгробную свою речь.

Бросив последний взгляд на друга, Бевиль заметил часы, висевшие у него по тогдашнему обычаю на шее.

— А, черт! — воскликнул он.— Теперь тебе уже не зачем знать, который час.

Он снял часы и, рассудив вслух, что брат Коменжа и так теперь разбогатеет, а ему хочется взять что-нибудь на память о друге, положил их к себе в карман.



Братья двинулись в обратный путь.

— Погодите! — поспешно надевая камзол, крикнул он. — Эй, господин де Мержи! Вы забыли кинжал! Разве можно терять такую вещь?

Он вытер клинок рубашкой убитого и побежал догонять юного дуэлянта.

— Успокойтесь, мой дорогой, — прыгнув в лодку, сказал он. — Не делайте такого печального лица. Послушайтесь моего совета: чтобы разогнать тоску, сегодня же, не заходя домой, подите к любовнице и потрудитесь на славу, так, чтобы девять месяцев спустя вы могли подарить государству нового гражданина взамен того, которого оно из-за вас потеряло. Таким образом мир ничего не потеряет по вашей вине. А ну-ка, лодочник, гребите веселей, получишь пистоль за усердие. К нам приближаются люди с алебардами. Это стражники из Нельской башни, а мы с этими господами ничего общего иметь не желаем.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

### БЕЛАЯ МАГИЯ

Ночью мне снилисьдохлая рыба и разбитые яйца, а господин Анаксарх мне сказал, что разбитые яйца идохлая рыба — это к несчастью.

*Мольер. «Блистательные любовники».*

Вооруженные алебардами люди составляли отряд караульных, находившийся по соседству с Пре-о-Клер на предмет улаживания ссор, которые в большинстве случаев разрешались на этом классическом месте дуэлей. Ехали стражники в лодке по своему обыкновению крайне медленно, с тем чтобы прибыть и удостовериться, что все уже кончено. И то сказать: их попытки водворить мир чаще всего не встречали ни малейшего сочувствия. А сколько раз бывало так, что ярые враги прерывали смертный бой и дружно нападали на солдат, которые старались их разнять! Вот почему обязанности дозора обыкновенно ограничивались тем, что солдаты оказы-

вали помощь раненым или уносили убитых. Сегодня стрелкам предстояло исполнить только эту вторую обязанность, и они сделали свое дело так, как это у них было принято, то есть предварительно опустошив карманы несчастного Коменжа и поделив между собой его платье.

— Дорогой друг! — обратился к Бернару Бевиль. — Даю вам благой совет: пусть вас с соблюдением строжайшей тайны доставят к мэтру Амбруазу Паре: если нужно зашить рану или вправить сломанную руку, — тут уж он мастак. По части ереси он, правда, самому Кальвину не уступит, но дело свое знает, и к нему обращаются самые ревностные католики. Одна лишь маркиза де Буасьер не захотела, чтобы ей спас жизнь гугенот, и храбро предпочла умереть. Спорю на десять пистолей, что она теперь в раю.

— Рана у тебя пустячная, — заметил Жорж, — через три дня заживет. Но у Коменжа есть в Париже родственники, — боюсь, как бы они не приняли его кончину слишком близко к сердцу.

— Ах, да! У него есть мать, и она из приличия возбудит против нашего друга преследование. Ну ничего! Хлопочите через Шатильона. Король согласится помиловать: ведь он что воск в руках адмирала.

— Мне бы хотелось, чтобы до адмирала это происшествие, если можно, не дошло, — слабым голосом молвил Бернар.

— А, собственно, почему? Вы полагаете, что старый бородач разозлится, когда узнает, с каким невиданным проворством протестант отправил на тот свет католика?

Вместо ответа Бернар глубоко вздохнул.

— Коменж хорошо известен при дворе, и его смерть не может не наделать шуму, — сказал капитан. — Но ты исполнил долг дворянина; в том, что случилось, нет ничего затрагивающего твою честь. Я давно не был у старика Шатильона — теперь мне представляется случай возобновить знакомство.

— Провести несколько часов за тюремной решеткой — удовольствие из средних, — снова заговорил Бевиль. — Я спрячу твоего брата в надежном месте — так, что никто не догадается. Он может там жить совершенно спокойно до тех пор, пока его дело не уладится. А то ведь в монастырь его как еретика вряд ли примут.

— Я очень вам благодарен,— сказал Бернар,— но воспользоваться вашим предложением не могу,— это вам повредит.

— Ничуть, ничуть, дорогой мой. На то и дружба! Я вас помещу в доме одного из моих двоюродных братьев— его сейчас нет в Париже. Дом в полном моем распоряжении. Я пустил туда одну старушку, она за вами приглядит. Старушка предана мне всецело, для молодых людей такие старушки — клад. Она понимает толк в медицине, в магии, в астрономии. Она мастерица на все руки. Но особый дар у нее к сводничеству. Разрази меня гром, если она по моей просьбе не возьмется передать любовную записку самой королеве.

— Добро! — заключил капитан.— Мэтр Амбруаз окажет ему первую помощь, а потом мы его незамедлительно переправим в тот дом.

Разговаривая таким образом, они причалили наконец к правому берегу. Не без труда взмолив Бернара на коня, Жорж и Бевиль отвезли его сперва к прославленному хирургу, оттуда — в Сент-Антуанское предместье, в уединенный дом, и расстались с ним уже вечером, уложив его в мягкую постель и вверив попечению старухи.

Если человек убил другого и если это первое на его душе убийство, то потом в течение некоторого времени убийцу мучает, преимущественно с наступлением ночи, яркое воспоминание о предсмертной судороге. В голове полно мрачных мыслей, так что трудно, очень трудно принимать участие в разговоре, даже самом простом — он утомляет и надоедает. А между тем одиночество пугает убийцу, ибо в одиночестве гнетущие мысли приобретают особую силу. Несмотря на частые посещения брата и Бевиля, первые дни после дуэли Бернар не находил себе места от страшной тоски. По ночам он не спал: рана воспалилась, и все тело у него горело,— это были самые тяжелые для Бернара часы. Только мысль, что г-жа де Тюржи думает о нем и восхищается его бесстрашием, несколько утешала его — утешала, но не успокаивала.

Дом, где жил Бернар, находился в глубине запущенного сада, и однажды, июльской ночью, когда Бернару стало нестерпимо душно, он решил прогуляться и подышать воздухом. Он уже накинул на плечи плащ и отпра-

вился к выходу, но дверь оказалась запертой снаружи. Он подумал, что старуха заперла его по рассеянности. Спала она далеко от него, в такой час сон ее должен был быть особенно крепок, и он рассудил, что ее все равно не дозовешься. Притом окно его было невысоко, земля под окном была мягкая, так как ее недавно перекапывали. Мгновение — и он в саду. Небо было все в тучах; ни одна звездочка не высывала кончика своего носа; редкие порывы ветра как бы пробивались сквозь толщу знойного воздуха. Было около двух часов ночи, кругом царила глубокая тишина.

Мержи прогуливался, отдавшись во власть своих мечтаний. Вдруг кто-то стукнул в калитку. В этом слабом ударе молотком было что-то таинственное; тот, кто стучал, должно быть, рассчитывал, что, едва услышав стук, ему отворят. Кому-то в такую пору понадобилось прийти в уединенный дом — это не могло не показаться странным. Мержи забился в темный угол сада, — оттуда он мог, оставаясь незамеченным, за всем наблюдать. Из дома с потайным фонарем в руке сейчас же вышла, вне всякого сомнения, старуха, — а кроме нее, и выйти-то было некому, — отворила калитку, и в сад вошел кто-то в широком черном плаще с капюшоном.

Любопытство Бернара было сильно возбуждено. Судя по фигуре и отчасти по платью, это была женщина. Старуха встретила ее низкими поклонами, а та едва кивнула ей головой. Зато она сунула старухе в руку нечто такое, отчего старуха пришла в восторг. По раздававшемуся затем чистому металлическому звуку, равно как и по той стремительности, с какой старуха нагнулась и стала что-то искать на земле, Мержи окончательно убедился, что ей дали денег. Старуха, прикрывая фонарь, пошла вперед, незнакомка — за ней. В глубине сада находилось нечто вроде зеленой беседки, — ее образовывали посаженные кругом липы и сплошная стена кустарника между ними. В беседку вели два входа, вернее сказать, две арки, посреди стоял каменный стол. Сюда-то и вошли старуха и закутанная в плащ женщина. Мержи, затаив дыхание, крался за ними и, дойдя до кустарника, стал так, чтобы ему было хорошо слышно, а видно настолько, насколько это ему позволял слабый свет, озарявший беседку.

Старуха сперва зажгла в жаровне, стоявшей на столе, нечто такое, что тотчас же вспыхнуло и осветило беседку бледно-голубым светом, точно это горел спирт с солью. Затем она то ли погасила, то ли чем-то прикрыла фонарь, и при дрожащем огне жаровни Бернару трудно было бы рассмотреть незнакомку, даже если бы она была без вуали и накидки. Старуху же он сразу узнал и по росту и по сложению. Вот только лицо у нее было вымазано темной краской, что придавало ей сходство с медной статуей в белом чепце. На столе виднелись странные предметы. Мержи не мог понять, что это такое. Разложены они были в каком-то особом порядке. Бернару показалось, что это плоды, кости животных и окровавленные лоскуты белья. Меж отвратительных тряпок стояла вылепленная, по-видимому, из воска человеческая фигурка высотой с фут, не более.

— Ну так как же, Камилла,— вполголоса произнесла дама под вуалью,— ты говоришь, ему лучше?

Услышав этот голос, Мержи вздрогнул.

— Немного лучше, сударыня,— отвечала старуха,— а все благодаря вашему искусству. Но только на этих лоскутах так мало крови, что я тут особенно помочь не могла.

— А что говорит Амбруаз Паре?

— Этот невежда? А не все ли вам равно, что он говорит? Рана глубокая, опасная, страшная, уверяю вас, ее можно залечить, только если прибегнуть к симпатической магии. Но духам земли и воздуха нужно часто приносить жертвы... а для жертв...

Дама быстро сообразила.

— Если он поправится, ты получишь вдвое больше того, что я тебе сейчас дала,— сказала она.

— Надейтесь крепко и положитесь на меня.

— Ах, Камилла! А вдруг он умрет?

— Не бойтесь. Духи милосердны, небесные светила нам благоприятствуют, черный баран — последнее наше жертвоприношение — расположило в нашу пользу того.

— Я с великим трудом раздобыла для тебя одну вещь. Я велела ее купить у одного из стрелков, которые обчистили мертвое тело.

Дама что-то достала из-под плаща, и вслед за тем Мержи увидел, как сверкнул клинок шпаги. Старуха взяла шпагу и поднесла к огню.

— Слава богу! На лезвии кровь, оно заржавело. Да, кровь у него, как все равно у китайского василиска: если она попала на сталь, так уж ее потом ничем не отчистишь.

Старуха продолжала рассматривать клинок. Дама между тем обнаруживала все признаки охватившего ее чрезвычайного волнения.

— Камилла! Посмотри, как близко от рукоятки кровь. Быть может, то был удар смертельный?

— Это кровь не из сердца. Он выздоровеет.

— Выздоровеет?

— Да, и тут же заболит болезнью неизлечимой.

— Какой болезнью?

— Любовью.

— Ах, Камилла, ты правду говоришь?

— А разве я когда-нибудь говорю неправду? Разве я когда-нибудь предсказываю неверно? Разве я вам не предсказала, что он одержит победу на поединке? Разве я вам не возвестила, что за него будут сражаться духи? Разве я не зарыла в том месте, где ему предстояло драться, черную курицу и шпагу, которую освятил священник?

— Да, правда.

— И разве вы не пронзили изображение его недруга в сердце, чтобы направить удар того человека, ради которого я применила свое искусство?

— Да, Камилла, я пронзила изображение Коменжа в сердце, но говорят, что его сразил удар в голову.

— Да, конечно, его ударили кинжалом в голову, но раз он умер, не значит ли это, что в сердце у него свернулась кровь?

Это последнее доказательство, видимо, заставило даму сдаться. Она умолкла. Старуха, смазав клинок шпаги елеем и бальзамом, с крайним тщанием завернула его в тряпки.

— Понимаете, сударыня, я натираю шпагу скорпионьим жиром, а он симпатической силой переносится на рану молодого человека. Молодой человек испытывает такое же точно действие африканского этого бальзама, как будто я лью ему прямо на рану. А если б мне припала охота накалить острие шпаги на огне, бедному раненому было бы так больно, словно его самого жгут огнем.

— Смотри не вздумай!

— Как-то вечером сидела я у огня и тщательно нати-  
рала бальзамом шпагу,— хотелось мне вылечить одного  
молодого человека, которого этой шпагой два раза изо  
всех сил ударили по голове. Натирала, натирала, да и  
задремала. Стук в дверь — лакей больного; говорит, что  
его господин терпит смертную муку; когда, мол, он ухо-  
дил, тот был словно на углях. А знаете, отчего? Шпа-  
га-то у меня, у сонной, соскользнула, и клинок лежал на  
углях. Я сейчас же сняла шпагу и сказала лакею, что  
к его приходу господин будет чувствовать себя отлично.  
И в самом деле: я насыпала в ледяную воду кое-каких  
снадобий, скорее туда шпагу, и пошла навещать боль-  
ного. Вхожу, а он мне и говорит: «Ах, дорогая Камилла!  
До чего же мне сейчас приятно! У меня такое чувство,  
как будто я ванну прохладную принимаю, а перед этим  
чувствовал себя, как святой Лаврентий на раскаленной  
решетке».

Старуха перевязала шпагу и с довольным видом мол-  
вила:

— Ну, хорошо. Теперь я за него спокойна. Можете  
совершить последний обряд.

Старуха бросила в огонь несколько щепоток душисто-  
го порошку и, непрерывно крестясь, произнесла какие-  
то непонятные слова. Дама взяла дрожащей рукой во-  
сковое изображение и, держа его над жаровней, с вол-  
нением в голосе проговорила:

— Подобно тому, как этот воск топится и плавится  
от огня жаровни, так и сердце твое, о Бернар Мержи,  
пусть топится и плавится от любви ко мне!

— Отлично. А теперь вот вам зеленая свеча,— она  
была вылита в полночь по всем правилам искусства.  
Затеплите ее завтра перед образом божьей матери.

— Непременно... Ты меня успокаиваешь, а все-таки  
я страшно тревожусь. Вчера мне снилось, что он умер.

— А вы на каком боку спали — на правом или на  
левом?

— А лежа на... на каком боку, видишь вещие сны?

— Скажите сперва, на каком боку вы обыкновенно  
спите. Я вижу, вы хотите прибегнуть к самообману, к са-  
мовнушению.

— Я сплю всегда на правом боку.

— Успокойтесь, ваш сон — к большой удаче.

— Дай-то бог!.. Но он приснился мне мертвенно-бледный, окровавленный, одетый в саван.

Тут она обернулась и увидела Мержи, стоявшего возле одного из входов в беседку. От неожиданности она так пронзительно вскрикнула, что ее испуг передался Бернару. Старуха не то нечаянно, не то нарочно опрокинула жаровню, и яркое пламя, взметнувшееся до самых верхушек лип, на несколько мгновений ослепило Мержи. Обе женщины юркнули в другой выход. Углядев лазейку в кустарнике, Мержи нимало не медля пустился за ними вдогонку, но, споткнувшись на какой-то предмет, чуть было не упал. Это оказалась та самая шпага, коей он был обязан своим исцелением. Для того чтобы убрать шпагу и выйти на дорогу, потребовалось время. Когда же он выбрался на широкую, прямую аллею и решил, что теперь-то ничто не помешает ему нагнать беглянок, калитка захлопнулась. Обе женщины были вне досягаемости.

Слегка уязвленный тем, что выпустил из рук столь прекрасную добычу, Мержи ощупью добрался до своей комнаты и повалился на кровать. Все мрачные мысли вылетели у него из головы, все угрызения совести, если только они у него были, все тревожные чувства, какие могло ему внушить его положение, исчезли точно по волшебству. Теперь он думал о том, какое счастье любить самую красивую женщину во всем Париже и быть любимым ею, а что дама под вуалью — г-жа де Тюржи, это для него сомнению не подлежало. Уснул он вскоре после восхода солнца, а проснулся уже белым днем. На подушке он нашел запечатанную записку, неизвестно как сюда попавшую. Он распечатал ее и прочел:

«Кавалер! Честь дамы зависит от Вашей скромности».

Спустя несколько минут вошла старуха и принесла ему бульону. Сегодня у нее против обыкновения висели на поясе крупные четки. Лицо она старательно вымыла, и кожа на нем напоминала уже не медь, а закопченный пергамент. Ступала она медленно, опустив глаза, — так идет человек, который боится, как бы земные предметы не отвлекли его от выпренних созерцаний.

Мержи решил, что, дабы наилучшим образом выказать ту добродетель, коей требовала от него таинствен-



ная записка, ему прежде всего надлежит получить точные сведения, что именно он должен от всех скрывать. Он взял у старухи бульон и, прежде чем она успела дойти до двери, проговорил:

— А вы мне не сказали, что вас зовут Камиллой.

— Камиллой?.. Меня Мартой зовут, господин хороший... Мартой Мишлен,—делая вид, что Мержи ее крайне удивил, молвила старуха.

— Ну хорошо, Мартой так Мартой, но этим именем вы велите себя звать людям, а с духами вы знаете под именем Камиллы.

— С духами?.. Иисусе сладчайший! Что это вы такое говорите?

Она осенила себя широким крестом.

— Полно, не стройте из меня дурачка! Я никому не скажу, этот разговор останется между нами. Кто эта дама, которая так беспокоится о моем здоровье?

— Какая дама?..

— Полно, не виляйте, говорите начистоту. Даю вам слово дворянина, я вас не выдам.

— Право же, господин хороший, я не понимаю, о чем вы толкуете.

Мержи, видя, как она прикидывается изумленной и прикладывает руку к сердцу, не мог удержаться от смеха. Он вынул из кошелька, висевшего у него над изголовьем, золотой и протянул старухе.

— Возьмите, добрая Камилла. Вы так обо мне заботитесь и до того тщательно натираете скорпионьим жиром шпаги, чтобы я поскорей поправился, что, откровенно говоря, мне давно уже следовало что-нибудь вам подарить.

— Да что вы, господин! Ну право же, ну право же, мне невдомек!

— Слушайте, вы, Марта, или, черт вас там знает, Камилла, не злите меня, извольте отвечать! Кто эта дама, для которой вы минувшей ночью так забавно ворожили?

— Господи Иисусе! Он осерчал... Уж не начинается ли у него бред?

Мержи, выйдя из терпения, швырнул подушку прямо старухе в голову. Та смиренно положила подушку на место, подобрала упавшую на пол золотую монету, но тут вошел капитан и избавил ее от допроса, последствий которого она опасалась.

КЛЕВЕТА

*King Henry IV*

*Thou dost belie him, Percy, thou dost belie him.*

*Shakespeare. «King Henry IV» \**

В то же утро Жорж отправился к адмиралу поговорить о брате. В двух словах он рассказал ему, в чем состоит дело.

Адмирал, слушая его, грыз зубочистку — то был знак недовольствия.

— Мне это уже известно, — сказал он. — Не понимаю, зачем вам понадобилось рассказывать о происшествии, о котором говорит весь город.

— Я докучаю вам, господин адмирал, единственно потому, что знаю вашу неизменную благосклонность к нашей семье, и смею надеяться, что вы будете так добры и замолвите перед королем слово о моем брате. Ваше влияние на его величество...

— Мое влияние, если только я действительно им пользуюсь, — живо перебил капитана адмирал, — основывается на том, что я обращаюсь к его величеству только с законными просьбами.

Произнеся слова «его величество», адмирал снял шляпу.

— Обстоятельства, вынудившие моего брата злоупотребить вашей отзывчивостью, к несчастью, в наше время стали явлением обычным. В прошлом году король подписал более полутора тысяч указов о помиловании. Милость короля нередко распространялась также и на противника Бернара.

— Зачинщиком был ваш брат. Впрочем, может быть, — и дай бог, чтобы это было именно так, — какой-нибудь негодяй его натравил.

---

\* Король Генрих IV  
Солгал ты, Перси, про него, солгал!

Шекспир. «Король Генрих IV» (англ.).

Сказавши это, адмирал взглянул на капитана в упор.

— Я кое-что предпринимал для того, чтобы предотвратить роковые последствия ссоры. Но вы же знаете, что господин де Коменж признавал только то удовлетворение, которое доставляет острое шпаги. Дворянская честь и мнение дам...

— Вот что вы внушаете молодому человеку! Вам хочется сделать из него записного дуэлиста? О, как горевал бы его отец, если б ему сказали, что сын презрел его наставления! Боже правый! Еще и двух лет не прошло с тех пор, как утихла гражданская война, а они уже забыли о потоках пролитой ими крови! Им все еще мало. Им нужно, чтобы французы каждый день истребляли французов!

— Если б я знал, что моя просьба будет вам неприятна...

— Послушайте, господин де Мержи: я бы еще мог по долгу христианина подавить в себе негодование и простить вашему брату вызов на дуэль. Но его поведение на дуэли было, как слышно...

— Что вы хотите сказать, господин адмирал?

— Что он дрался не по правилам, не так, как принято у французских дворян.

— Кто смеет распространять о нем такую подлую клевету? — воскликнул Жорж, и глаза его гневно сверкнули.

— Успокойтесь. Вызов вам посылать некому, — ведь пока еще с женщинами не дерутся... Мать Коменжа сообщила королю подробности, которые служат не к чести вашему брату. Они проливают свет на то, каким образом столь грозный боец так скоро пал от руки мальчишки, который еще совсем недавно в пажих мог бы ходить.

— Горе матери — великое, священное горе. Как она может видеть истину, когда глаза у нее еще полны слез? Я льщу себя надеждой, господин адмирал, что вы будете судить о моем брате не по рассказу госпожи де Коменж.

Колиньи, видимо, поколебался; язвительная насмешка уже не так резко звучала теперь в его тоне.

— Однако вы же не станете отрицать, что секундант Коменжа Бевиль — ваш близкий друг.

— Я его знаю давно и даже кое-чем ему обязан. Но

ведь он был приятелем и Коменжа. Помимо всего прочего, Коменж сам выбрал его себе в секунданты. Наконец, Бевилю служат порукой его храбрость и честность.

Адмирал скривил губы в знак глубочайшего презрения.

— Честность Бевиля! — пожав плечами, повторил он. — Безбожник. Человек, погрязший в распутстве!

— Да, Бевиль — честный человек! — твердо проговорил Жорж. — Впрочем, о чем тут говорить? Я же сам был на поединке. Вам ли, господин адмирал, ставить под сомнение нашу честь, вам ли обвинять нас в убийстве?

В тоне капитана слышалась угроза. Колиньи то ли не понял, то ли пропустил мимо ушей намек на убийство герцога Франсуа де Гиза, которое ему приписывали ненавидевшие его католики. Во всяком случае, ни один мускул на его лице не дрогнул.

— Господин де Мержи! — сказал он холодно и пренебрежительно. — Человек, отрекшийся от своей религии, не имеет права говорить о своей чести: все равно ему никто не поверит.

Капитан сначала вспыхнул, потом смертельно побледнел. словно для того, чтобы не поддаться искушению и не ударить старика, он на два шага отступил.

— Милостивый государь! — воскликнул он. — Только ваш возраст и ваше звание позволяют вам безнаказанно оскорблять бедного дворянина, порочить самое дорогое, что у него есть. Но я вас умоляю: прикажите кому-нибудь или даже сразу нескольким вашим приближенным повторить то, что вы сейчас сказали. Клянусь богом, я заставляю их проглотить эти слова, и они ими подавятся.

— Таков обычай господ записных дуэлистов. Я их правил не придерживаюсь и выгоняю тех моих приближенных, которые берут с них пример, — сказал Колиньи и повернулся к Жоржу спиной.

Капитан с адом в душе покинул дворец Шатильонов, вскочил на коня и, словно для того, чтобы утолить свою ярость, погнал бедное животное бешеным галопом, поминутно вонзая шпоры ему в бока. Он так летел, что чуть было не передавил мирных прохожих. И Жоржу еще повезло, что на пути ему не встретился никто из записных дуэлистов, а то при его тогдашнем расположении

духа он неминуемо ухватил бы за вихор случай обнажить шпагу.

Только близ Венсена Жорж начал понемногу приходить в себя. Он повернул своего окровавленного, взмыленного коня и двинулся по направлению к Парижу.

— Бедный ты мой друг! — сказал он ему с горькой усмешкой. — Свою обиду я вымещаю на тебе.

Он потрепал невинную жертву по холке и шагом поехал по направлению к дому, где скрывался его брат.

Рассказывая Бернару о встрече с адмиралом, он опустил некоторые подробности, не скрыв, однако, что Колиньи не захотел хлопотать за него.

А несколько минут спустя в комнату ворвался Бевиль и прямо бросился к Бернару на шею.

— Поздравляю вас, мой дорогой! — воскликнул он. — Вот вам помилование. Вы его получили благодаря заступничеству королевы.

Бернар не так был удивлен, как его брат. Он понимал, что обязан этой милостью даме под вуалью, то есть графине де Тюржи.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

### СВИДАНИЕ

Так вот что: барыня хотела быть здесь вскоре  
И очень просит вас о кратком разговоре.  
*Мольер «Тартюф».*

Бернар переехал к брату. Он лично поблагодарил королевую-мать, а потом снова появился при дворе. Войдя в Лувр, он сразу заметил, что часть славы Коменжа перешла по наследству к нему. Люди, которых он знал только в лицо, кланялись ему почтительно-дружественно. У мужчин, разговаривавших с ним, из-под личины заискивающей учтивости проглядывала зависть. Дамы не спускали с него глаз и заигрывали с ним: репутация дуэлиста являлась в те времена наиболее верным средством тронуть их сердца. Если мужчина убил на поединке трех-четырех человек, то это заменяло ему и красоту, и богатство, и ум. Коротко говоря, стоило нашему герою

появиться в Луврской галерее, и все вокруг зашептали: «Вот младший Мержи, тот самый, который убил Коменжа», «Как он молод!», «Как он изящен!», «Как он хорош собой!», «Как лихо закручены у него усы!», «Не знаете, кто его возлюбленная?»

А Бернар напрасно старался отыскать в толпе синие глаза и черные брови г-жи де Тюржи. Он потом даже съездил к ней, но ему сказали, что вскоре после гибели Коменжа она отбыла в одно из своих поместий, расположенное в двадцати милях от Парижа. Злые языки говорили, что после смерти человека, который за нею ухаживал, ей захотелось побыть одной, захотелось погоревать в тишине.

Однажды утром, когда капитан в ожидании завтрака, лежа на диване, читал *Преужасную жизнь Пантальюэля*, а Бернар брал у синьора Уберто Винибеллы урок игры на гитаре, лакей доложил Бернару, что внизу его дожидается опрятно одетая старуха, что вид у нее таинственный и что ей нужно с ним поговорить. Бернар тотчас же сошел вниз и получил из высохших рук — не Марты и не Камиллы, а какой-то неведомой старухи — письмо, от которого исходил сладкий запах. Перевязано оно было золотой ниткой, а запечатано широкой, зеленого воску, печатью, на которой вместо герба изображен был Амур, приложивший палец к губам, и по-кастильски написан девиз: *Callad*<sup>25</sup>. Бернар вскрыл письмо — в нем была только одна строчка по-испански, он с трудом понял ее смысл: *Esta noche una dama espera á V. M.*<sup>26</sup>.

— От кого письмо? — спросил он старуху.

— От дамы.

— Как ее зовут?

— Не знаю. Мне она сказала, что она испанка.

— Откуда же она меня знает?

Старуха пожала плечами.

— Пеняйте на себя: вы себе это накликали благодаря своей славе и своей любезности, — сказала она насмешливо. — Вы мне только ответьте: придете?

— А куда прийти?

— Будьте сегодня вечером в половине девятого у Германа Оксерского, в левом приделе.

— Значит, я с этой дамой увижусь в церкви?





«Хроника царствования Карла IX»





— Нет. За вами придут и отведут вас к ней. Но только молчок, и приходите один.

— Хорошо.

— Обещаете?

— Даю слово.

— Ну, прощайте. За мной не ходите.

Старуха низко поклонилась и, нимало не медля, вышла.

— Что же от тебя нужно было этой почтенной сводне? — спросил капитан, как скоро брат вернулся, а учитель музыки ушел.

— Ничего, — наигранно равнодушным тоном отвечал Бернар, чрезвычайно внимательно рассматривая изображение мадонны.

— Полно! У тебя не должно быть от меня секретов. Может, проводить тебя на свидание, посторожить на улице, встретить ревнивца ударами шпаги плашмя?

— Говорят тебе, ничего не нужно.

— Дело твое. Храни свою тайну. Но только я ручаюсь, что тебе так же хочется рассказать, как мне услышать.

Бернар рассеянно перебирал струны гитары.

— Кстати, Жорж, я не пойду сегодня ужинать к Водрейлю.

— Ах, значит, свидание сегодня вечером? Хорошенькая? Придворная дама? Мещаночка? Торговка?

— По правде сказать, не знаю. Меня должны представить даме... нездешней... Но кто она... понятия не имею.

— По крайней мере тебе известно, где ты должен с ней встретиться?

Бернар показал записку и повторил то, что старуха дополнительно ему сообщила.

— Почерк измененный, — сказал капитан, — не знаю, как истолковать все эти предосторожности.

— Наверно, знатная дама, Жорж.

— Ох, уж эти наши молодые люди! Подай им самый ничтожный повод — и они уже возмечтали, что самые родовитые дамы сейчас бросятся им на шею!

— Понюхай, как пахнет записка.

— Это еще ничего не доказывает.

Внезапно лицо у капитана потемнело: ему пришла на ум тревожная мысль.

— Коменжи злопамятны,—заметил он.—Может статья, они этой запиской хотят заманить тебя в укромное место и там заставить дорого заплатить за удар кинжалом, благодаря которому они получили наследство.

— Ну что ты!

— Да ведь не в первый раз мщение избирает своим орудием любовь. Ты читал библию. Вспомни, как Далила предала Самсона.

— Каким же я должен быть трусом, чтобы из-за нелепой догадки отказаться от, вернее всего, очаровательного свидания! Да еще с испанкой!..

— Во всяком случае, безоружным на свидание не ходи. Хочешь взять с собой двух моих слуг?

— Еще чего! Зачем делать весь город свидетелем моих любовных походов?

— Нынче так водится. Сколько раз я видел, как мой большой друг д'Арделе шел к своей любовнице в кольчуге и с двумя пистолетами за поясом!.. А позади шагали четверо солдат из его отряда, и у каждого в руках заряженная аркебуза. Ты еще не знаешь Парижа, мой мальчик. Лишняя предосторожность не помешает, поверь. А если кольчуга стесняет — ее всегда можно снять.

— У меня нет дурного предчувствия. Родственникам Коменжа проще было бы напасть на меня ночью на улице, если б они тайли против меня зло.

— Как бы то ни было, я отпущу тебя с условием, что ты возьмешь пистолеты.

— Пожалуйста, могу и взять, только надо мной будут смеяться.

— И это еще не все. Нужно плотно пообедать, съесть пару куропаток и изрядный кусок пирога с петушиными гребешками, чтобы вечером поддержать честь семейства Мержи.

Бернар ушел к себе в комнату и по крайней мере четыре часа причесывался, завивался, душился и составлял в уме красивые фразы, с которыми он собирался обратиться к прелестной незнакомке.

Читатели сами, верно, догадаются, что на свидание он не опоздал. Полчаса с лишним расхаживал он по церкви. Уже три раза пересчитал свечи, колонны, *ex-voto* \*, и вдруг какая-то старуха, закутанная в коричневый

---

\* Приношения по обету (лат.).

плащ, взяла его за руку и молча вывела на улицу. Несколько раз сворачивая с одной улицы на другую и все так же упорно храня молчание, она наконец привела его в узенький и, по первому впечатлению, необитаемый переулок. В самом конце переулочка она остановилась возле сводчатой низенькой дверцы и, достав из кармана ключ, отперла ее. Она вошла первой, Мержи, в темноте держась за ее плащ, шагнул следом за ней. Войдя, он услышал, как за ним задвинулись тяжелые засовы. Провожатая шепотом предупредила его, что перед ним лестница и что ему надо будет подняться на двадцать семь ступеней. Лестница была узкая, ступени неровные, разбитые, так что он несколько раз чуть было не загремел. Наконец, поднявшись на двадцать семь ступенек и взойдя на небольшую площадку, старуха отворила дверь, и яркий свет на мгновение ослепил Мержи. Он вошел в комнату и подивился изящному ее убранству, — внешний вид дома ничего подобного не предвещал.

Стены были обиты штофом с разводами, правда, слегка потертым, но еще вполне чистым. Посреди комнаты стоял стол, на котором горели две розового воску свечи, высились груды фруктов и печений, сверкали хрустальные стаканы и графины, по-видимому, с винами разных сортов. Два больших кресла по краям стола, должно быть, ожидали гостей. В алькове, наполовину задернутом шелковым пологом, стояла накрытая алым атласом кровать с причудливыми резными украшениями. Курильницы струили сладкий аромат.

Старуха сняла капюшон, Бернар — плащ. Он сейчас узнал в ней посланницу, приносившую ему письмо.

— Матерь божья! — заметив пистолеты и шпагу, воскликнула старуха. — Вы что же это, собрались великанов рубить? Прекрасный кавалер! Здесь если и понадобятся удары, то, во всяком случае, не сокрушительные удары шпагой.

— Я понимаю, однако может случиться, что братья или разгневанный муж помешают нашей беседе, и тогда придется им застлать глаза дымом от выстрелов.

— Этого вы не бойтесь. Скажите лучше, как вам нравится комната?

— Комната великолепная, спору нет. Но только одному мне здесь будет скучно.

— Кто-то придет разделить с вами компанию. Обещайте мне сначала одну вещь.

— А именно?

— Если вы католик, протяните руку над распятием (она вынула его из шкафа), а если гугенот, то поклянитесь Кальвином... Лютером... словом, всеми вашими богами...

— В чем же я должен поклясться? — перебил он ее, смеясь.

— Поклянитесь, что не станете допытываться, кто эта дама, которая должна прийти сюда.

— Условие нелегкое.

— Смотрите. Клянитесь, а то я выведу вас на улицу.

— Хорошо, даю вам честное слово, оно стоит глупейших клятв, коих вы от меня потребовали.

— Ну и ладно. Запаситесь терпением. Ешьте, пейте, коли хотите. Скоро вы увидите даму-испанку.

Она накинула капюшон и, выйдя, заперла дверь двойным поворотом ключа.

Мержи бросился в кресло. Сердце у него колотилось. Он испытывал почти такое же сильное и почти такого же рода волнение, как за несколько дней до этого на Пре-о-Клер при встрече с противником.

В доме царила мертвая тишина. Прошло мучительных четверть часа, и в течение этого времени его воображению являлась то Венера, сходявшая с обоев и кидавшаяся к нему в объятия, то графиня де Тюржи в охотничьем наряде, то принцесса крови, то шайка убийц и, наконец, — это было самое страшное видение — влюбленная старуха.

Все было тихо, ничто не возвещало Бернару, что кто-то идет, и вдруг — быстрый поворот ключа в замочной скважине — дверь отворилась и как будто сама собой тут же затворилась, и вслед за тем в комнату вошла женщина в маске.

Она была высокого роста, хорошо сложена. Платье, узкое в талии, подчеркивало стройность ее стана. Однако ни по крохотной ножке в белой бархатной туфельке, ни по маленькой ручке, которую, к сожалению, облегала вышитая перчатка, нельзя было с точностью определить возраст незнакомки. Лишь по каким-то неуловимым признакам, благодаря некоей магической силе или, если хотите, провидению, можно было догадаться, что ей не боль-

ше двадцати пяти лет. Наряд на ней был дорогой, изящный и в то же время простой.

Мержи вскочил и опустился перед ней на одно колено. Дама шагнула к нему и ласково проговорила:

— *Dios os guarde, caballero. Sea V. M. el bien venido* <sup>27</sup>.

Мержи посмотрел на нее с изумлением.

— *Habla V. M. español?* <sup>28</sup>.

Мержи не только не говорил по-испански, он даже плохо понимал этот язык.

Дама, видимо, была недовольна. Она села в кресло, к которому подвел ее Мержи, и сделала ему знак сесть напротив нее. Потом она заговорила по-французски, но с акцентом, причем этот акцент то становился резким, нарочитым, то вдруг исчезал совершенно.

— Милостивый государь! Ваша доблесть заставила меня позабыть осторожность, свойственную нашему полу. Мне захотелось посмотреть на безупречного кавалера, и вот я вижу этого кавалера именно таким, каким его изображает молва.

Мержи, вспыхнув, поклонился даме.

— Неужели вы будете так жестоки, сударыня, и не снимете маску, которая, подобно завистливому облаку, скрывает от меня солнечные лучи? (Эту фразу он вычитал в какой-то книге, переведенной с испанского.)

— Сеньор кавалер! Если я останусь довольна вашей скромностью, то вы не раз увидите мое лицо, но сегодня удовольствуйтесь беседой со мной.

— Ах, сударыня! Это очень большое удовольствие, но оно возбуждает во мне страстное желание видеть вас!

Он стал перед ней на колени и сделал такое движение, словно хотел снять с нее маску.

— *Росо а росо* <sup>29</sup>, сеньор француз, вы что-то не в меру проворны. Сядьте, а то я уйду. Если б вы знали, кто я и чем я рискнула, вызвав вас на свидание, вы были бы удовлетворены той честью, которую я вам оказала, явившись сюда.

— По правде говоря, голос ваш мне знаком.

— А все-таки слышите вы меня впервые. Скажите, вы способны полюбить преданной любовью женщину, которая полюбила бы вас?..

— Уже одно сознание, что вы тут, рядом...

— Вы никогда меня не видали, значит, любить меня не можете. Почему вы знаете, красива я или уродлива?

— Я убежден, что вы обольстительны.

Мержи успел завладеть рукой незнакомки, незнакомка вырвала руку и поднесла к маске, как бы собираясь снять ее.

— А что, если бы вы сейчас увидели пятидесятилетнюю женщину, страшную уродину?

— Этого не может быть.

— В пятьдесят лет еще влюбляются.

Она вздохнула, молодой человек вздрогнул.

— Стройность вашего стана, ваша ручка, которую вы напрасно пытаетесь у меня отнять,— все это доказывает, что вы молоды.

Эти слова он произнес скорее любезным, чем уверенным тоном.

— Увы!

Бернаром начало овладевать беспокойство.

— Вам, мужчинам, любви недостаточно. Вам еще нужна красота.

Она снова вздохнула.

— Умоляю вас, позвольте мне снять маску...

— Нет, нет!

Она быстрым движением оттолкнула его.

— Вспомните, что вы мне обещали.

После этого она заговорила приветливее:

— Мне приятно видеть вас у моих ног, а если б я оказалась немолодой и некрасивой... по крайней мере на ваш взгляд... быть может, вы бы меня покинули.

— Покажите мне хотя бы вашу ручку.

Она сняла надушенную перчатку и протянула ему белоснежную ручку.

— Узнаю эту руку! — воскликнул он. — Другой столь же красивой руки во всем Париже не сыщешь.

— Вот как? Чья же это рука?

— Одной... одной графини.

— Какой графини?

— Графини де Тюржи.

— А!.. Знаю, о ком вы говорите. Да, у Тюржи красивые руки, но этим она обязана миндальному притиранию, которое для нее изготовляют. А у меня руки мягче, и я этим горжусь.

Все это было сказано до того естественным тоном, что в сердце Бернара, как будто бы узнавшего голос прелестной графини, закралось сомнение, и он уже готов был сознаться самому себе в своей ошибке.

«Целых две вместо одной...— подумал он.— Решительно, мне ворожат добрые феи».

Мержи искал на красивой руке графини отпечаток перстня, который он заметил у Тюржи, но не обнаружил на этих округлых, изящных пальцах ни единой вдавленки, ни единой, хотя бы едва заметной полоски.

— Тюржи! — со смехом воскликнула незнакомка.— Итак, вы приняли меня за Тюржи? Покорно вас благодарю! Слава богу, я, кажется, чуточку лучше ее.

— По чести, графиня — самая красивая женщина из всех, каких я когда-либо видел.

— Вы что же, влюблены в нее? — живо спросила незнакомка.

— Может быть. Но только умоляю вас, снимите маску, покажите мне женщину красивее Тюржи.

— Когда я удостоверюсь, что вы меня любите... только тогда вы увидите мое лицо.

— Полюбить вас!.. Как же, черт возьми, я могу полюбить вас не видя?

— У меня красивая рука. Вообразите, что у меня такое же красивое лицо.

— Теперь я знаю наверное, что вы прелестны: вы забыли изменить голос и выдали себя. Я его узнал, ручаюсь головой.

— И это голос Тюржи?—смеясь, спросила она с сильным испанским акцентом.

— Ну конечно!

— Ошибаетесь, ошибаетесь, сеньор Бернардо. Меня зовут донья Мария... донья Мария де... Потом я вам назову свою фамилию. Я из Барселоны. Мой отец держит меня в большой строгости, но теперь он путешествует, и я пользуюсь его отсутствием, чтобы развлечься и посмотреть парижский двор. Что касается Тюржи, то я прошу вас не говорить со мной больше о ней. Я не могу спокойно слышать ее имя. Она хуже всех придворных дам. Кстати, вам известно, как именно она овдовела?

— Я что-то слышал.

— Ну так расскажите... Что вы слышали?..

— Будто бы она застала мужа в ту минуту, когда он изливал свой пламень камеристке, и, схватив кинжал, нанесла супругу довольно сильный удар. Через месяц бедняга скончался.

— Ее поступок вам представляется... ужасным?

— Признаться, я ее оправдываю. Говорят, она любила мужа, а ревность вызывает во мне уважение.

— Вы думаете, что я — Тюржи, вот почему вы так рассуждаете, однако я убеждена, что в глубине души вы относитесь к ней с презрением.

В голосе ее слышались грусть и печаль, но это был не голос Тюржи. Бернар не знал, что подумать.

— Как же так? — сказал он. — Вы, испанка, не уважаете чувство ревности?

— Не будем больше об этом говорить. Что это за черная лента у вас на шее?

— Ладанка.

— Я считала вас протестантом.

— Да, я протестант. Но ладанку дала мне одна дама, и я ношу ее в память о ней.

— Послушайте: если вы хотите мне понравиться, то не думайте ни о каких дамах. Я хочу заменить вам всех дам. Кто дал вам ладанку? Та же самая Тюржи?

— Честное слово, нет.

— Лжете.

— Значит, вы госпожа де Тюржи!

— Вы себя выдали, сеньор Бернардо!

— Каким образом?

— При встрече с Тюржи я ее спрошу, как она могла решиться на такое кощунство — вручить святыню еретику.

Мержи терялся все более и более.

— Я хочу эту ладанку. Дайте ее мне.

— Нет, я не могу ее отдать.

— А я хочу ладанку. Вы посмеете отказать мне?

— Я обещал ее вернуть.

— А что такое обещания! Обещание, данное фальшивой женщине, ни к чему не обязывает. Помимо всего прочего, берегитесь: почем знать, может, вы носите опас-



ный талисман, может, он нашептан! Говорят, Тюржи — злая колдунья.

— Я в колдовство не верю.

— И в колдунов тоже?

— Я немного верю в колдуний.— Последнее слово он подчеркнул.

— Ну дайте же мне ладанку,— может, я тогда сброшу маску.

— Как хотите, а это голос графини де Тюржи!

— В последний раз: вы дадите мне ладанку?

— Я вам ее верну, если вы снимете маску.

— Вы мне надоели с вашей Тюржи! Любите ее на здоровье, мне-то что!

Делая вид, что сердится, незнакомка отодвинулась от Бернара. Атлас, который натягивала ее грудь, то поднимался, то опускался.

Несколько минут она молчала, затем, резким движением повернувшись к нему, насмешливо проговорила:

— *Válame Dios! V. M. no es caballero, es un monje*<sup>30</sup>.

Ударом кулака она опрокинула две свечи, горевшие на столе, и половину бутылок и блюд. В комнате сразу стало темно. В то же мгновение она сорвала с себя маску. В полной темноте Мержи почувствовал, как чьи-то жаркие уста ищут его губ и кто-то душит его в объятиях.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

### В ТЕМНОТЕ

Ночью все кошки серы.

На ближайшей церкви пробило четыре часа.

— Боже! Четыре часа! Я едва успею вернуться домой, пока не рассвело.

— Бессердечная! Вы меня покидаете?

— Так надо. Мы скоро увидимся.

— Увидимся! Дорогая графиня! Ведь я же вас не видел!

— Ах, какой вы еще ребенок! Бросьте свою графиню. Я донья Мария. При свете вы удостоверитесь, что я не та, за кого вы меня принимаете.

— Где дверь? Я сейчас позову...

— Никого не надо звать. Пустите меня, Бернардо. Я знаю эту комнату, я сейчас найду огниво.

— Осторожней! Не наступите на битое стекло. Вы вчера устроили разгром.

— Пустите!

— Нашли?

— Ах, это мой корсет! Матерь божья! Что же мне делать? Я все шнурки перерезала вашим кинжалом.

— Надо попросить у старухи.

— Лежите, я сама. *Adiós, querido Bernardo!* \*.

Дверь отворилась и тут же захлопнулась. За дверью тотчас послышался веселый смех. Мержи понял, что добыча от него ускользнула. Он попробовал пуститься в погоню, но в темноте наткнулся на кресла, запутывался то в платьях, то в занавесках и так и не нашел двери. Внезапно дверь отворилась, и кто-то вошел с потайным фонарем в руке. Мержи, не долго думая, сдвинул вошедшую женщину в объятиях.

— Что? Попались? Теперь я вас не выпущу! — воскликнул он и нежно поцеловал ее.

— Оставьте, господин де Мержи! — сказал кто-то грубым голосом. — Вы меня задушите.

Мержи узнал по голосу старуху.

— Чтоб вас черт подрал! — крикнул он, молча оделся, забрал свое оружие, плащ и вышел из дому с таким чувством, точно он пил отменную малагу, а затем по недосмотру слуги влил в себя стакан противоцинготной настойки из той бутылки, которую когда-то давно поставили в погреб и забыли.

Дома Бернар не откровенничал со своим братом. Он только сказал, что это была, насколько он мог судить в темноте, дивной красоты испанка, но своими подозрениями относительно того, кто она такая, поделиться не захотел.

---

\* Прощайте, дорогой Бернардо! (исп.)

ПРИЗНАНИЕ

А м ф и т р и о н

Алкмена, я молю, послушайтесь рассудка —  
Поговорим без лишних слов.

М о л ь е р. *«Амфитрион».*

Два дня он не получал от мнимой испанки никаких известий. На третий день братья узнали, что г-жа де Тюржи накануне приехала в Париж и сегодня не преминет поехать на поклон к королеве-матери. Они поспешили в Лувр и встретились с ней в галерее — она разговаривала с окружавшими ее дамами. При виде Бернара она нимало не смутилась. Даже легкая краска не покрыла ее, как всегда, бледных щек. Заметив его, она, как старому знакомому, кивнула ему головой, поздоровалась, а затем нагнулась к его уху и зашептала:

— Надеюсь, теперь ваше гугенотское упрямство сломлено? Чтобы вас обратить, понадобилось чудо.

— То есть?

— А разве вы не испытали на самом себе чудотворную силу святыни?

Бернар недоверчиво усмехнулся.

— Мне придали силы и ловкости воспоминание о прелестной ручке, которая дала мне ладанку, и любовь, которую она во мне пробудила.

Графиня засмеялась и погрозила ему пальцем.

— Вы забываетесь, господин корнет! Разве можно со мной так говорить?

Она сняла перчатку и поправила волосы; Бернар между тем впился глазами в ее руку, а потом заглянул в живые, смотревшие на него почти сердито глаза очаровательной графини. Изумленный вид молодого человека вызвал у нее взрыв хохота.

— Что вы смеетесь?

— А что вы на меня так удивленно смотрите?

— Извините, но последние дни я только и делаю, что даюсь диву.

— Да что вы? Любопытно! Расскажите же нам хоть

об одном из удивительных происшествий, которые случаются с вами на каждом шагу.

— Сейчас и в этом месте я вам рассказывать о них не стану. А кроме того, я запомнил испанский девиз, которому меня научили назад тому три дня.

— Какой девиз?

— Он состоит из одного слова: *Callad*.

— Что же это значит?

— Как? Вы не знаете испанского языка? — глядя на нее в упор, спросил Бернар.

Графиня, однако, выдержала испытание, — она притворилась, что не постигает скрытого смысла его слов, и молодой человек, глядевший ей прямо в глаза, в конце концов под взглядом той, кому он бросал вызов, принужден был потупить взор.

— В детстве я знала несколько слов по-испански, а теперь, наверно, забыла, — совершенно спокойным тоном отвечала она. — Поэтому, если хотите, чтобы я вас понимала, говорите со мной по-французски. Ну, так что же это за девиз?

— Он советует быть молчаливым, сударыня.

— Вот бы нашим молодым придворным взять себе такой девиз, но только с условием, что они станут претворять его в жизнь. Однако вы человек сведущий, господин де Мержи! У кого вы учились испанскому языку? Верно уж, у какой-нибудь дамы?

Мержи взглянул на нее с нежной улыбкой.

— Я знаю по-испански всего лишь несколько слов, — тихо сказал он, — в моей памяти их запечатлела любовь.

— Любовь? — насмешливо переспросила графиня.

Она говорила громко, и при слове «любовь» дамы вопросительно поглядели в ее сторону. Мержи был слегка задет насмешливым ее тоном, такое обхождение с ним его коробило; он вынул из кармана полученную накануне записку на испанском языке и протянул ее графине.

— Я уверен, что вы не менее сведущи, чем я, — сказал он, — уж такой-то испанский язык вам не трудно будет понять.

Диана де Тюржи схватила записку, прочла, а может быть, только сделала вид, что прочла, и, залившись хохотом, передала даме, которая была к ней ближе всех.

— Вот, госпожа де Шатовье, прочтите эту любовную записку,—господин де Мержи недавно получил ее от своей возлюбленной и намерен, по его словам, подарить ее мне. Любопытней всего, что почерк мне знаком.

— В этом я не сомневаюсь,—довольно насмешливо, однако не повышая голоса, заметил Мержи.

Г-жа де Шатовье прочла записку, засмеялась и передала одному из кавалеров, тот передал другому, и скоро во всей галерее не осталось человека, который не знал бы, что к Мержи равнодушна какая-то испанка.

Когда взрывы хохота стали ослабевать, графиня насмешливым тоном спросила Мержи, красива ли та особа, которая написала ему записку.

— По чести, сударыня, она не уступает вам.

— Боже! Что я слышу! Вы ее, наверно, видели ночью, я же ее отлично знаю... Ну что ж, вас можно поздравить.

И она засмеялась еще громче.

— Прелесть моя!—обратилась к ней Шатовье.—Скажите, как зовут эту счастливцу испанку, которой удалось завладеть сердцем господина де Мержи?

— Я назову ее имя, но пусть сначала господин де Мержи скажет при всех этих дамах, видел ли он свою возлюбленную при дневном свете.

На Мержи нельзя было смотреть без улыбки: он чувствовал себя крайне неловко, лицо его выражало попеременно то замешательство, то досаду. Он молчал.

— Ну хорошо, довольно тайн,—молвила графиня.—Записку эту написала сеньора донья Мария Родригес. Ее почерк я знаю не хуже, чем почерк моего отца.

— Мария Родригес!—воскликнули дамы и опять расхохотались.

Марии Родригес перевалило за пятьдесят. В Мадриде она была дуэньей. Каким ветром ее занесло во Францию и за какие заслуги Маргарита Валуа взяла ее ко двору, остается загадкой. Быть может, Маргарита держала около себя это чудище, чтобы при сопоставлении резче означились ее прелести,—так художники писали красавицу вместе с уродливым карликом. В Лувре Родригес смешила всех придворных дам чванным видом и старомодностью нарядов.

Мержи внутренне содрогнулся. Он видел дуэнью и сейчас, к ужасу своему, вспомнил, что дама в маске на-

звала себя доньей Марией. У него все поплыло перед глазами. Он окончательно растерялся, а смех кругом становился все неудержимее.

— Она дама скромная,— продолжала графиня де Тюржи.— Лучшего выбора вы сделать не могли. Когда она вставит зубы и наденет черный парик, то еще хоть куда. Да и потом, ей, конечно, не больше шестидесяти.

— Она его приворожила! — воскликнула Шатовье.

— Так вы, значит, любитель древностей? — спросила еще одна дама.

— Жаль мн' мужчин,— вздохнув, произнесла фрейлина королевы.— На них часто находит блажь.

Бернар по мере сил защищался. На него сыпался град издевательских поздравлений, он был в глупейшем положении, но тут вдруг в конце галереи появился король, шутки и смех разом стихли. Все спешили уступить ему дорогу, говор сменился молчанием.

Король имел долгую беседу с адмиралом у себя в кабинете и теперь, непринужденно опираясь на плечо Колиньи, провожал его. Седая борода и черное платье адмирала составляли резкую противоположность с молодым лицом Карла и его блиставшим отделкой нарядом. Глядя на них, можно было подумать, что юный король с редкой для монарха проницательностью избрал своим фаворитом добродетельнейшего и мудрейшего из подданных.

Пока они шли по галерее, все взоры были прикованы к ним, и вдруг Мержи услышал над самым своим ухом чуть слышный шепот графини:

— Перестаньте дуться! Держите! Прочтете, только когда выйдете наружу.

Он держал в руках шляпу, и в ту же минуту что-то туда упало. Это был запечатанный лист бумаги, в который был завернут твердый предмет. Мержи переложил его в карман и через четверть часа, выйдя из Лувра, вскрыл — там оказались ключик и записка:

Этим ключом отворяется калитка в мой сад. Сегодня, в десять часов вечера. Я люблю Вас. Маски я уже не надену, и Вы увидите наконец донью Марию и

*Диану.*

Король проводил адмирала до конца галереи.

— Прощайте, отец,— сказал он и пожал ему руку.—

Вам известно, что я вас люблю, а я знаю, что вы мой — и телом и душою, со всеми потрохами.

Произнеся эти слова, король расхохотался на всю галерею. Когда же, возвращаясь в кабинет, он проходил мимо капитана Жоржа, то остановился и обронил:

— Завтра после мессы зайдите ко мне в кабинет.

Внезапно король оглянулся и с некоторым страхом посмотрел на дверь, в которую только что вышел Колиньи, затем проследовал в кабинет и заперся с маршалом Ретцем.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

### АУДИЕНЦИЯ

*Macbeth*

*Do you find  
Your patience so predominant in your nature,  
That you can let this go?*

*Shakespeare\*.*

В назначенный час капитан Жорж явился в Лувр. Как скоро о нем доложили, придверник поднял коверную портьеру и ввел его в кабинет короля. Государь сидел за маленьким столиком и, видимо, что-то писал; боясь, должно быть, потерять нить мыслей, которыми он был сейчас занят, он сделал знак капитану подождать. Капитан шагах в шести от стола замер в почтительной позе и от нечего делать стал водить глазами по комнате и изучать во всех подробностях ее убранство.

Убранство было весьма несложное; оно состояло почти исключительно из охотничьих принадлежностей, как попало развешанных по стене. Между длинной аркебузой и охотничьим рогом висела довольно хорошая картина, изображавшая деву Марию; над картиной была прикреплена к стене большая ветка букса. Столик, за которым писал государь, был завален бумагами и книгами. На полу валялись четки, молитвенничек, сетки для ловли птиц, сокольниковы колокольчики — все было свалено в

---

\* Макбет

Иль так вы терпеливы,  
Чтоб все спускать обидчику и впредь?

*Шекспир (англ.).*

одну кучу. Тут же на подушке спала большущая борзая собака.

Внезапно король в бешенстве швырнул перо на пол, и с языка у него сорвалась непристойная брань. Опустив голову, он несколько раз неровным шагом прошелся по кабинету, потом неожиданно остановился перед капитаном и, словно только сейчас заметив его, бросил на него испуганный взгляд.

— Ах, это вы! — слегка подавшись назад, воскликнул он.

Капитан поклонился ему до земли.

— Очень рад вас видеть. Мне нужно было с вами поговорить... но...

Король зацнулся.

Ловя окончание фразы, Жорж стоял с полуоткрытым ртом и вытянутой шеей, дюймов на шесть выставив левую ногу, — словом, если бы художник захотел изобразить ожидание, то более удачной позы для своей натуры он, по моему мнению, не мог бы выбрать. Король, однако, снова свесил голову на грудь, — мысли его, казалось, витали теперь бесконечно далеко от того, что он хотел было высказать.

Несколько минут длилось молчание. Король сел и усталым жестом провел рукой по лбу.

— Чертова рифма! — воскликнул он, топнув ногой, и вслед за тем раздалось звяканье длинных шпор, которые он носил на ботфортах.

Проснулась борзая и, решив, что хозяин ее зовет, вскочила, подошла к креслу, положила обе лапы ему на колени и, подняв острую свою морду, так что она оказалась гораздо выше головы Карла, разинула широкую пасть и без всяких церемоний зевнула, — собаку трудно было обучить хорошим манерам.

Король прогнал собаку, — она вздохнула и пошла на место.

Вновь как бы случайно встретившись глазами с капитаном, король сказал:

— Извините, Жорж! От этой...<sup>31</sup> рифмы меня в пот ударило.

— Я вам мешаю, ваше величество? — низко поклонившись, спросил капитан.

— Ничуть, ничуть, — отвечал король.



Он встал и в знак особого благоволения положил капитану руку на плечо. При этом он улыбался, но одними губами,— его отсутствующий взгляд не принимал в улыбку никакого участия.

— Вы еще не отдохнули после охоты? — спросил король. Приступить прямо к делу ему было, видимо, неловко.— С оленем пришлось повозиться.

— Государь! Если б позавчерашний гон меня утомил, я был бы недостоин командовать отрядом легкой кавалерии вашего величества. Во время последних войн господин де Гиз видел, что я не слезаю с коня, и прозвал меня «албанцем».

— Да, правда, мне говорили, что ты лихой конник. Скажи-ка, а из аркебузы ты хорошо стреляешь?

— Да, государь, недурно, хотя, конечно, до вашего величества мне далеко. Такое искусство не всем дается.

— Вот что, видишь эту длинную аркебузу? Заряди ее двенадцатью дробинками. Не сойти мне с этого места, если ты в шестидесяти шагах прицелишься в какого-нибудь безбожника и хоть одна из них пролетит мимо!

— Шестьдесят шагов — расстояние большое, но не очень. И все же с таким стрелком, как вы, ваше величество, я бы тягаться не стал.

— А в двухстах шагах ты из этой аркебузы всадишь в человека пулю, лишь бы пуля была соответствующего калибра.

Король вложил аркебузу в руки капитана.

— Красиво отделана и, должно думать, бьет метко,— внимательно осмотрев аркебузу и проверив спуск, заключил Жорж.

— Я вижу, мой милый, ты разбираешься в оружии. Возьми-ка на прицел — я хочу посмотреть, как это у тебя получается.

Капитан прицелился.

— Хорошая штука аркебуза! — медленно продолжал Карл.— В ста шагах одним таким движением пальца можно покончить с недругом,— перед меткой пулей ни кольчуга, ни панцирь не устоят!

Я говорил, что Карл IX то ли по привычке, которая появилась у него еще в детстве, то ли в силу врожденной застенчивости почти никогда не глядел в глаза своему собеседнику. Но сейчас он смотрел на капита-

на пристально, и выражение лица у него было необычное. Жорж невольно опустил глаза, тогда и король почти тотчас потупился. На минуту воцарилось молчание. Первым нарушил его Жорж.

— Хорошо быть искусным стрелком, а все же шпага и копье надежнее...

— Справедливо. Зато аркебуза...— Карл странно усмехнулся и вдруг спросил: — Говорят, Жорж, адмирал тебя горько обидел?

— Государь...

— Мне об этом известно доподлинно. И все же я бы хотел... Расскажи мне про это сам.

— Совершенная правда, государь. Я говорил с ним об одном злополучном деле, в котором я принимал самое живое участие...

— О дуэли твоего брата? Красив, негодник, и за себя постоять умеет: проколет кого угодно. Я таких людей уважаю. Коменж был хлыщ, он получил по заслугам, только и всего. Но за что же тебя изругал чертов бородач? Хоть убей, не могу взять в толк.

— Боюсь, что причиной тому злополучное различие вероисповеданий, мое обращение, о котором, как мне казалось, все давно забыли...

— Забыли?

— Вы, ваше величество, подали пример забвения религиозных распрей, ваше поразительное беспристрастие, справедливость...

— Да будет тебе известно, друг мой, что адмирал ничего не забывает.

— Я это заметил, государь.

Жорж снова потемнел в лице.

— Что же ты думаешь делать, Жорж?

— Кто, я, государь?

— Да. Говори без обиняков.

— Государь! Я бедный дворянин, адмирал — старик, я не могу вызвать его на дуэль. Кроме того, государь, — поклонившись, сказал он, видимо, желая учтивой фразой загладить впечатление, которое должна была, как он полагал, произвести на короля его дерзость, — если бы даже я имел возможность бросить вызов, я бы все-таки этого не сделал: меня бы остановил страх заслужить немилость вашего величества.

— Ну что ты! — молвил король и положил правую руку на плечо Жоржа.

— К счастью, — продолжал капитан, — разговор с адмиралом моей чести не затрагивает. А вот если бы кто-нибудь из тех, что со мной на равной ноге, осмелился усомниться в моей чести, я бы испросил у вашего величества соизволения...

— Значит, ты не намерен мстить адмиралу? А ведь этот... наглет не по дням, а по часам!

Жорж широко раскрыл глаза от изумления.

— И он же тебя оскорбил, черт возьми, смертельно оскорбил, как мне передавали! — продолжал король. — Дворянин — не лакей: есть вещи, которые нельзя простить даже государю.

— Как же я ему отомщу? Драться со мной — это он сочтет ниже своего достоинства.

— Допустим. Но...

Король опять взял аркебузу и прицелился.

— Понимаешь?

Капитан попятился. Самый жест монарха был достаточно выразителен, а демоническое выражение его лица не оставляло никаких сомнений относительно того, что этот жест обозначал.

— Как, государь? Вы мне советуете...

Король изо всех сил стукнул об пол прикладом и, устремив на Жоржа бешеный взгляд, крикнул:

— Советую? А, чтоб! Ничего я тебе не советую.

Капитан не знал, что ему делать. В конце концов он поступил так, как поступили бы многие на его месте: поклонился и опустил глаза.

Карл мгновенно изменил тон:

— Это вовсе не значит, что если бы ты, мстя за свою честь, вогнал в него пулю... то мне это было бы безразлично. Клянусь потрохами папы, самое драгоценное, что есть у дворянина, — это его честь, и ради того, чтобы смыть с нее пятно, он не должен останавливаться ни перед чем. Притом Шатильоны надменны и нахальны, как подручные палача. Я же знаю: эти мерзавцы с наслаждением свернули бы мне шею и сели на мое место... При виде адмирала я иной раз готов выщипать ему бороду!

Капитан ничего не ответил на это словоизвержение, исходившее из уст обычно молчаливого человека.

— Ну так что же ты, в душу, в кровь, собираешься делать? Послушай: я бы на твоём месте подстерег его, когда кончится их протестантское собрание и он будет выходить,— вот тут бы ты из окна и выстрелил ему в спину. Тьфу, пропасть! Мой кузен Гиз был бы тебе благодарен, ты бы этим много поспособствовал умиротворению страстей в моём королевстве. Получается, что король Франции не столько я, сколько этот безбожник, понимаешь? В конце концов мне это надоело... Я говорю тебе напрямик: нужно отучить этого... дырявить честь дворянина. Он тебе дырявит честь, а ты ему продырявляешь шкуру — долг платежом красен.

— Убийство из-за угла не сшивает чести дворянина, оно только ещё сильнее разрывает ее.

Этот ответ оказал на государя такое действие, как если бы в него ударила молния. Остолбеневший, он все ещё держал в протянутых к капитану руках аркебузу — он точно без слов предлагал ему воспользоваться этим орудием мести. Король полуоткрыл рот, губы у него помертвели, глаза, дико смотревшие на Жоржа, казалось, заворачивали его и в то же время ощущали на себе силу жуткого этого заворачивания.

Наконец аркебуза выскользнула из дрожащих рук короля и с громким стуком упала на пол. Капитан бросился поднимать ее, а король сел в кресло и понурил голову. Губы у него шевелились, брови двигались — видно было, что в душе у него идет борьба.

— Капитан! — сказал он после долгого молчания. — Где стоит твой легкоконный отряд?

— В Мо, государь.

— Тебе придется съездить за ним и привести его в Париж. Через... через несколько дней получишь приказ. Прощай.

Король произнес это резко и раздраженно. Капитан низко поклонился, а Карл, указав на дверь, дал ему понять, что аудиенция окончена.

Капитан пятился к двери, отвешивая приличествующие случаю поклоны, как вдруг король вскочил и схватил его за руку.

— Держи по крайней мере язык на привязи. Понял?

Жорж ещё раз поклонился и прижал руку к сердцу. Выходя из королевских покоев, он слышал, как государь

сердитым голосом позвал собаку и щелкнул арапником, — должно быть, он собирался сорвать зло на неповинном животном.

Дома Жорж написал записку и велел передать ее адмиралу:

Некто, не любящий Вас, но любящий свою честь, советует Вам не доверять герцогу Гизу и, пожалуй, еще одному лицу, более могущественному, чем герцог. Ваша жизнь в опасности.

На бесстрашного Колиньи это письмо не произвело ни малейшего впечатления. Известно, что вскоре после этого, 22 августа 1572 года, выстрелом из аркебузы его ранил негодяй, по имени Морвель, которого за это прозвали *убийцей на службе у короля*.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

### НОВООБРАЩАЕМЫЙ

*'This pleasing to beschool'd in a strange  
tongue  
By female lips and eyes.*

*L. Byron. «D. Juan», canto II\*.*

Если любовники осмотрительны, то может пройти неделя, прежде чем общество догадается. По прошествии недели бдительность обыкновенно притупляется, предосторожности кажутся уже смешными. Взгляды, которыми обмениваются любовники, легко перехватить, еще легче истолковать — и вот уже все известно.

Связь графини и младшего Мержи тоже в конце концов перестала быть тайной для двора Екатерины. Множество явных доказательств могло бы открыть глаза даже слепым. Так, например, г-жа де Тюржи обыкновенно носила лиловые ленты, и у Бернара эфес шпаги, низ

---

\* Приятно изучать чужой язык  
Через посредство женских уст и глаз.

*Лорд Байрон. «Дон Жуан», песнь II (англ.).*

камзола и башмаки были украшены завязанными бантом лиловыми лентами. Графиня особенно не скрывала, что она терпеть не может бороды, а любит ловко закрученные усы. С недавнего времени Мержи стал тщательно выбривать подбородок, а его лихо закрученные, напмаженные и расчесанные металлической гребенкой усы образовывали нечто вроде полумесяца, кончики которого поднимались гораздо выше носа. Наконец, распустили слух, будто некий дворянин однажды чуть свет отправился по своим делам, и когда он проходил по улице Аси, то на его глазах калитка, ведущая в сад графини, отворилась, и из сада вышел человек, которого, как тот ни завертывался в плащ, дворянин сейчас узнал — это был сеньер де Мержи.

Но особенно всех удивляло и служило наиболее веским доказательством то, что юный гугенот, открыто глумившийся над всеми католическими обрядами, теперь ходит в церковь, участвует в процессиях, даже окунает пальцы в святую воду, а ведь еще так недавно он считал это чудовищным кощунством. Шепотом передавали друг другу, что Диана возвращает богу заблудшую овечку, а молодые дворяне протестантского вероисповедания говорили, что они, пожалуй, хорошенько подумали бы, не переменить ли им веру, если бы вместо капуцинов и францисканцев их наставляли молодые хорошенькие богомолки вроде графини де Тюржи.

Однако обращением Бернара пока что и не пахло. Он ходил с графиней в церковь, что правда, то правда, но ставши рядом, всю обедню, к вящему неудовольствию святош, шептал ей что-то на ухо. Мало того, что он сам не внимал богослужению, он отвлекал истинно верующих. А ведь тогда, как известно, всякая процессия представляла собой не менее любопытное увеселение, чем костюмированный бал. Наконец, Мержи не испытывал более угрызений совести, когда окунал пальцы в святую воду, единственно потому, что это давало ему право пожимать при всех прелестную ручку, которая всякий раз вздрагивала, ощутив прикосновение его руки. Как бы то ни было, хоть он и держался за свою веру, все же ему приходилось вести за нее жаркие бои, а на долю Дианы выпадал тем более значительный успех, что для богословских диспутов она обыкновенно выбирала такие ми-

нуты, когда Мержи было особенно трудно в чем-либо ей отказать.

— Милый Бернар! — сказала она в один из вечеров, обвив шею любовника длинными прядями своих черных волос и положив ему на плечо голову. — Сегодня мы с тобой слушали проповедь. Неужели же такие прекрасные слова не запали тебе в душу? Долго ты еще будешь к ним глух?

— Ах ты, моя дорогая! Если уж твой сладкий голос и твоя богословская аргументация, столь мощным подкреплением которой служат твои влюбленные взгляды, ничего не могли со мной поделать, то чего же ты ждешь, милая Диана, от гнусавого капуцина?

— Противный! Я задушу тебя!

Покрепче обмотав вокруг шеи Бернара одну из своих прядей, она притянула его к себе.

— Знаешь, как я развлекался во время проповеди? Пересчитывал жемчужины у тебя в волосах. Кстати, что ж ты их рассыпала по всей комнате?

— Так я и знала! Ты не слушал проповеди. И это каждый раз! Ну что ж, — продолжала она, и в голосе ее зазвучала грустная нотка, — я люблю тебя больше, чем ты меня, это ясно. Если б ты меня любил по-настоящему, ты бы уж давно перешел в мою веру.

— Диана! Ну к чему эти нескончаемые споры? Пусть спорят сорбонские богословы и наши пасторы, — неужели нет более веселого времяпрепровождения?

— Перестань... Ах, если б мне удалось тебя спасти, как бы я была счастлива! Знаешь, Бернардо: ради твоего спасения я согласилась бы пробыть в чистилище вдвое больше того, что мне предназначено.

Он улыбнулся и крепко обнял Диану, но она с выражением непередаваемой грусти оттолкнула его.

— А вот ты, Бернар, не принес бы такой жертвы ради меня. Тебя не пугает мысль, какой опасности подвергается моя душа, когда я отдаюсь тебе...

И тут из ее прекрасных глаз покатались слезы.

— Родная моя! Разве ты не знаешь, что любовь оправдывает многое и что...

— Да, я все это хорошо знаю. Но если б я сумела спасти твою душу, мне отпустились бы все мои грехи. Все те, которые мы с тобой совершили вместе, все те,

которые мы с тобой, возможно, еще совершим... все было бы нам отпущено. Этого мало, наши грехи послужили бы к нашему спасению!

Говоря это, она крепко-крепко обнимала его, и в той восторженной страстности, какой дышали ее слова, в этом странном способе проповедовать было, если принять во внимание обстоятельства, при которых проповедь произносилась, что-то до того смешное, что Мержи еле сдерживался, чтобы не прыснуть.

— Подождем еще с обращением, Диана. Когда мы с тобой состаримся... когда нам будет уже не до любовных утех...

— Что мне с тобой делать, противный? Зачем у тебя на губах демоническая усмешка? Разве я стану целовать такие губы?

— Вот я уже и не улыбаюсь.

— Хорошо, хорошо, только не сердись. Послушай, *querido Bernardo* \*: ты прочитал ту книгу, что я тебе дала?

— Да, еще вчера.

— Понравилась она тебе? Вот умная книга! Неверующие, и те, прочитав ее, прикусят язычки.

— Твоя книга, Диана,— сплошная ложь и нелепица. Это самое глупое из всех папистских творений. Ты так уверенно о ней рассуждаешь, а между тем даю голову на отсечение, что ты в нее даже не заглянула.

— Да, я еще не успела ее прочесть,— слегка покраснев, призналась Диана,— но я убеждена, что в ней много глубоких и верных мыслей. Гугеноты не даром бранят ее на все корки.

— Хочешь, я тебе просто так, от нечего делать, со священным писанием в руках докажу...

— Даже и не думай, Бернар! Упаси бог! Я не еретичка, я священного писания не читаю. Я тебе не дам подрывать мою веру. Ты только время зря потеряешь. Вы, гугеноты, такие начетчики, прямо ужас! На диспутах вы нам своей ученостью пыль в глаза пускаете, а мы, бедные католики, ни Аристотеля, ни библии не читали и не знаем, что вам ответить.

— А все потому, что вы, католики, желаете верить не рассуждая, не давая себе труда подумать, разумно

---

\* Милый Бернардо (исп.).



это или нет. Мы действуем иначе: прежде чем что-либо защищать, а главное, прежде чем что-либо проповедовать, мы изучаем.

— Ах, если б я была так же красноречива, как францисканец Жирон!

— Твой Жирон дурак и пустобрех. Кричать он здоров, а все-таки назад тому шесть лет во время открытого словопрения наш пастор Удар посадил его в лужу.

— Это ложь! Ложь, которую распространяют еретики!

— Как? Разве ты не знаешь, что во время спора, на виду у всех, капли пота со лба досточтимого отца капали прямо на Иоанна Златоуста, который был у него в руках? Еще по сему случаю один шутник сочинил стишки...

— Молчи, молчи! Не отравляй мне слух богопротивной ересью! Бернар, милый мой Бернар, заклинаю тебя: отрекись ты от прислужников сатаны,— они тебя обманывают, они тебя тащат в ад! Умоляю тебя: спаси свою душу, вернись в лоно нашей церкви!

Но уговоры не действовали на любовника Дианы: вместо ответа он недоверчиво усмехнулся.

— Если ты меня любишь,— наконец воскликнула она,— то откажись ради меня, ради любви ко мне от своего вредного образа мыслей!

— Милая Диана! Мне легче отказаться ради тебя от жизни, чем от того, что разум мой признает за истину. Как ты думаешь: может любовь принудить меня разубериться в том, что дважды два — четыре?

— Бессердечный!..

В распоряжении у Бернара было самое верное средство прекратить подобного рода пререкания, и он им пользовался.

— Ах, милый Бернардо! — томным голосом проговорила графиня, когда Мержи с восходом солнца волей-неволей собрался восвояси.— Ради тебя я погублю свою душу и не спасу твоей, так что мне и эта отрадная мысль не послужит утешением.

— Полно, мой ангел! Отец Жирон в лучшем виде даст нам с тобой отпущение *in articulo mortis* \*.

---

\* За секунду до смерти (лат.).

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ  
ФРАНЦИСКАНЕЦ

*Monachus in claustro  
Non valet ova duo;  
Sed quando est extra,  
Bene valet triginta \*.*

На другой день после бракосочетания Маргариты с королем Наваррским капитан Жорж по распоряжению министра двора выехал из Парижа к своему легкоконному отряду, стоявшему в Мо. Так как Бернар был уверен, что Жорж возвратится еще до конца празднеств, то при расставании с ним он не особенно грустил и легко покорился своей участи — несколько дней пожить одному. Г-жа де Тюржи отнимала у Бернара так много времени, что несколько минут одиночества его не пугали. По ночам он отсутствовал, а днем спал.

В пятницу, 22 августа 1572 года, адмирала ранил выстрелом из аркебузы один негодяй, по имени Морвель. Народная молва приписала это гнусное злодейство герцогу Гизу, поэтому герцог на другой же день, по всей вероятности, чтобы не слышать жалоб и угроз из лагеря реформатов, оставил Париж. Король сперва как будто вознамерился применить к нему строжайшие меры, но затем не воспрепятствовал его возвращению в Париж, возвращение же его ознаменовалось чудовищной резней — она была произведена ночью 24 августа.

Молодые дворяне-протестанты посетили адмирала, а затем, вскочив на добрых коней, рассыпались по улицам — они искали встречи с герцогом Гизом или с его друзьями, чтобы затеять с ними ссору.

Однако поначалу все обошлось благополучно. То ли

---

\* В обители за монаха  
Не дашь и пары яиц,

А только он выйдет за ее стены —

И за него уже можно дать целых три десятка (испорч. лат.).

народ не решился выступить, увидев, что дворян много, то ли он приберегал силы для будущего, во всяком случае, он с наружным спокойствием слушал их крики: «Смерть убийцам адмирала! Долой гизаров!» — и хранил молчание.

Навстречу отряду протестантов неожиданно выехало из-за угла человек шесть молодых дворян-католиков, среди них были приближенные Гиза. Тут-то бы и завязаться жаркой схватке, однако схватки не произошло. Католики, может быть, из благоразумия, может быть, потому, что они действовали согласно полученным указаниям, ничего не ответили на оскорбительные выкрики протестантов; более того, ехавший впереди отряда католиков молодой человек приятной наружности приблизился к Мержи и, вежливо поздоровавшись, заговорил с ним непринужденным тоном старого приятеля:

— Здравствуйте, господин де Мержи! Вы, конечно, видели господина де Шатильона? Ну, как он себя чувствует? Убийца схвачен?

Оба отряда остановились. Мержи, узнав барона де Водрейля, в свою очередь, поклонился ему и ответил на его вопросы. Кое-кто из католиков вступил в разговор с другими протестантами, но говорили они недолго и до пререканий дело не дошло. Католики уступили дорогу протестантам, и оба отряда разъехались в разные стороны.

Мержи отстал от своих товарищей: его задержал барон де Водрейль. Оглядев его седло, Водрейль сказал на прощание:

— Смотрите! Если не ошибаюсь, у вашего куцега подпруга ослабела. Будьте осторожны!

Мержи спешил и подтянул подпругу. Только успел он сесть в седло, как сзади послышался топот летящего крупной рысью коня. Мержи обернулся — прямо на него ехал незнакомый молодой человек, которого он сегодня первый раз видел, когда проезжал мимо отряда католиков.

— Видит бог, как бы я был рад поговорить один на один с кем-нибудь из тех, кто орал сейчас: «Долой гизаров!», — приблизившись, воскликнул молодой человек.

— Вам долго искать его не придется, — сказал Мержи. — Чем могу служить?

— А, так вы из числа этих мерзавцев?

Мержи без дальних размышлений вытащил из ножен шпагу и плашмя ударил ею приспешника Гизов по лицу. Тот мигом выхватил седельный пистолет и в упор выстрелил в Мержи. К счастью, загорелся только запал. Возлюбленный Дианы со страшной силой хватил своего недруга шпагой по голове, и тот, обливаясь кровью, полетел с коня. Народ, до последней минуты являвшийся безучастным свидетелем, мгновенно принял сторону раненого. На молодого гугенота посыпались камни и палочные удары, — тогда он, видя, что ему одному с толпой не справиться, рассудил за благо дать коню шпоры и умчаться галопом. Но когда он слишком круто повернул за угол, конь его упал, увлек за собою всадника и хотя не зашиб его, однако помешал ему тут же вскочить, так что разъяренная толпа успела окружить гугенота. Мержи прислонился к стене и некоторое время успешно отбивался от тех, кого могла достать его шпага. Но вот кто-то со всего размаху ударил по шпаге палкой и сломал лезвие, Бернара сбили с ног и, наверно, разорвали бы на части, когда бы некий францисканец, пробившись к нему, не прикрыл его своим телом.

— Что вы делаете, дети мои? — крикнул он. — Оставьте его, он ни в чем не виноват.

— Он гугенот! — завопила остервенелая толпа.

— Что ж из этого? Дайте ему срок — он покается.

Руки, державшие Мержи, тотчас отпустили его. Мержи встал, поднял сломанную свою шпагу и приготовился в случае нового натиска дорого продать свою жизнь.

— Пощадите этого человека, — продолжал монах. — Потерпите: еще немного, и гугеноты пойдут слушать мессу.

— «Потерпите, потерпите»! — с досадой повторило несколько голосов. — Это мы слышали! А пока что гугеноты каждое воскресенье собираются и смущают истинных христиан своим пением.

— А вы слышали пословицу: *повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить?* — весело спро-

сил монах.— Пусть еще немного поверещат — скоро по милости Августовской божьей матери вы услышите, как они запоют мессу по-латыни. А юного этого нечестивца отдайте в мое распоряжение: я из него сделаю настоящего христианина. Ступайте! Захотелось мяса, смотрите, не пережарьте его!

Толпа расходилась, ропща, но никто больше Бернара не трогал. Ему даже вернули коня.

— Впервые, отец мой, сутана не вызывает во мне неприязни,— сказал Мержи.— Я вам крайне признателен. Не откажите принять от меня этот кошелек.

— Если вы жертвуете его на бедных, молодой человек, то я его возьму. Да будет вам известно, что я к вам чувствую расположение. Я знаком с вашим братом и вам желаю добра. Переходите в нашу веру сегодня же. Следуйте за мной — я все мигом устрою.

— Ну, уж от этого вы меня увольте, отец мой. У меня нет ни малейшего желания менять веру. А откуда вы меня знаете? Как вас зовут?

— Меня зовут брат Любен, и я... Плутиска! Я часто вижу, как вы похаживаете возле одного дома... Молчу, молчу!.. Скажите, господин де Мержи: теперь вы допускаете, что монах способен делать людям добро?

— Я всем буду рассказывать о вашем великодушии, отец Любен.

— Сменять протестантское сборище на мессу не хотите?

— Еще раз говорю: нет. И в церковь буду ходить только ради ваших проповедей.

— Как видно, вы человек со вкусом.

— И к тому же ваш большой поклонник.

— Мне, мочи нет, досадно, что вы такой закоренелый еретик. Ну, я свое дело сделал — я вас предостерег. А там уж смотрите сами. Я умываю руки. Прощайте, мой мальчик.

— Прощайте, отец мой.

Мержи сел на коня и, слегка потрепанный, но весьма довольный тем, что дешево отделался, поехал домой.

ЛЕГКОКОННЫЙ ОТРЯД

*Jaffier*

*He amongst us  
That spares his father, brother, or his friend  
Is damned.*

*O t w a y. «Venice preserved» \*.*

Вечером 24 августа легкоконный отряд вступал в Париж через Сент-Антуанские ворота. Конники, судя по их запыленным сапогам и платью, совершили большой переход. Последние отблески заходящего солнца освещали загорелые лица солдат. На этих лицах читалась та безотчетная тревога, какую обыкновенно испытывают люди перед событием еще неизвестным, но, как говорит им сердце, мрачным.

Отряд шагом направился к обширному пустырю, тянувшемуся около бывшего Турнельского дворца. Здесь капитан приказал остановиться, затем отрядил в разведку десять человек под командой корнета, самолично расставил при въезде в ближайшие улицы караулы и, словно в виду неприятеля, приказал им зажечь фитили. Приняв эти чрезвычайные меры предосторожности, он вернулся и остановил свою лошадь перед фронтом отряда.

— Сержант! — крикнул он; тон у него сейчас был более строгий и властный, чем всегда.

Старый конник с расшитой перевязью и в шляпе с золотым галуном почтительно приблизился к своему командиру.

— У всех ли наших конников есть фитили?

— У всех, господин капитан.

— Пороховницы полны? Пуль достаточно?

— Достаточно, господин капитан.

— Отлично.

Капитан шагом поехал на кобыле перед фронтом малочисленного своего отряда. Сержант следовал за ним

\* Д ж а ф а р

Тот из нас,  
Кто пощадит отца, брата или друга,  
Да будет проклят!

О т у э й. «Спасенная Венеция» (англ.).

на расстоянии, которое могла бы занять лошадь. Он заметил, что капитан не в духе, и долго не решался подъехать к нему. Наконец осмелел.

— Господин капитан! Разрешите конникам задать лошадям корму! Ведь лошади с утра ничего не ели.

— Нельзя.

— Ну хоть горсточку овса? Мы бы это мигом?

— Не смей разнуздывать ни одну лошадь!

— А ведь если... как я слышал... лошадям ночью предстоит потрудиться... то, может быть, все-таки...

Офицер сделал нетерпеливый жест.

— Займите свое место в строю,— сухо сказал он и поехал дальше.

Сержант вернулся в строй.

— Ну что, сержант, стало быть, правда? Что же будет? Что такое? Что сказал капитан?

Ветераны забросали сержанта вопросами — на эту вольность по отношению к своему начальнику им давали право боевые заслуги и то, что они с давних пор вместе тянули солдатскую лямку.

— Жарко будет нынче,— сказал сержант тоном человека, который знает больше, да только не хочет рассказывать.

— А что? А что?

— Разнуздывать не велено ни на один миг... потому... кто его знает? Каждую минуту можем понадобится.

— Стало быть, драка? — спросил трубач. — А с кем, хотел бы я знать?

— С кем? — чтобы дать себе время обдумать ответ, переспросил сержант. — Дурацкий вопрос! С кем же еще, черт бы тебя подрал, как не с врагами короля?

— С врагами-то с врагами, да кто они, эти враги? — упорно продолжал допытываться трубач.

— Он не знает, кто такие враги короля!

Сержант соболезнующе пожал плечами.

— Враг короля — испанец, но он бы так, тишком, не подобрался, его бы заметили,— высказал предположение один из конников.

— Нет, это что-то не то,— вмешался другой. — Мало ли у короля врагов, кроме испанцев?

— Бертран прав,— заключил сержант,— я знаю, кого он имеет в виду.

— Кого же?

— Гугенотов,— отвечал Бертран.— Не надо быть колдуном, чтобы догадаться. Всем известно, что гугеноты заимствовали свою веру у немцев, а немцы — наши враги, что-что, а это уж я знаю наверное: мне в них не раз приходилось стрелять, особливо под Сен-Канте-ном — они там дрались, как черти.

— Так-то оно так,— снова заговорил трубач,— но ведь с ними заключили мир, и, если память мне не изменяет, шум из-за того был изрядный.

— Нет, они нам не враги,— подтвердил молодой конник, одетый лучше других.— Мы ведь собираемся воевать с Фландрией, и легкоконными войсками будет командовать граф Ларошфуко, а кто не знает, что Ларошфуко — протестант? Провалиться мне на этом месте, если он не протестант с головы до ног! У него и шпоры-то кондейские и шляпа гугенотская.

— Чума его возьми! — воскликнул сержант.— Ты, Мерлен, этого не знаешь, ты тогда еще в нашем полку не служил. Во время той засады, когда мы все чуть было не сложили головы в Пуату, под Ла-Робре, нами командовал Ларошфуко. У него всегда за пазухой нож.

— И он же говорил, что отряд рейтаров лучше, чем легкоконный эскадрон,— вставил Бертран.— Я это знаю так же верно, как то, что эта лошадь пегая. Мне рассказывал паж королевы.

Слушатели выразили негодование, однако это чувство скоро уступило место желанию узнать, с чем связаны воинские приготовления, против кого направлены те чрезвычайные меры предосторожности, которые принимались у них на виду.

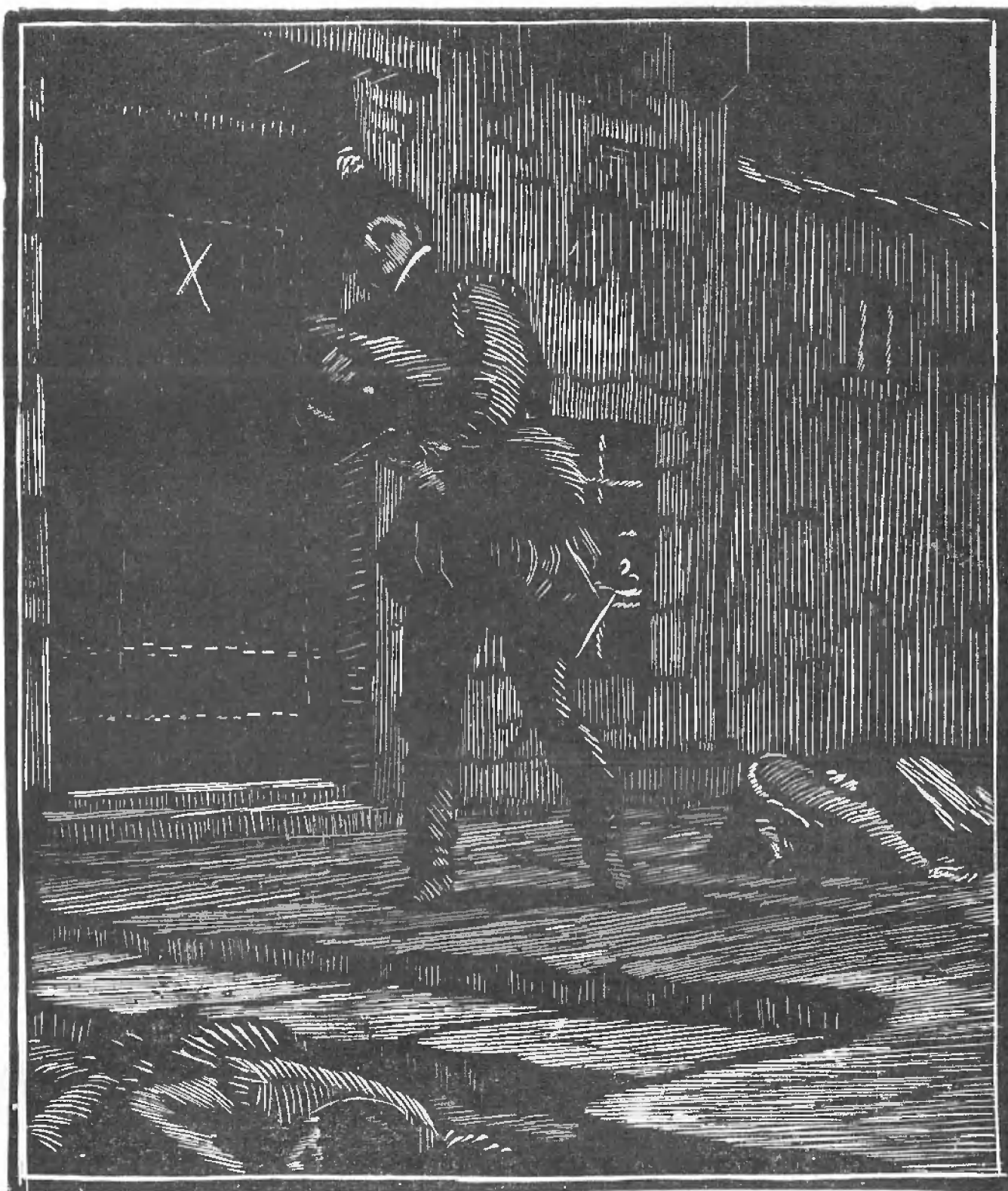
— Сержант, а сержант! — заговорил трубач.— Правда, вчера было покушение на короля?

— Бьюсь об заклад, это все орудуют... еретики.

— Когда мы завтракали в Андреевском кресте, хозяин передавал за верное, что они собираются упразднить мессу.

— Тогда все дни будут у нас скоромные,— философски заметил Мерлен.— Вместо котелка бобов кусочек солонинки — это еще беда невелика!





«Хроника царствования Карла IX»



— Да, но если гугеноты возьмут верх, то первым делом они перебьют, как все равно посуду, легкоконные отряды и заменят их этими псами — немецкими рейтарами.

— Ну, коли так, я бы им ребра пощупал. Тут поневоле станешь правоверным католиком, убей меня бог! Бертран! Ты служил у протестантов, — скажи: правда, что адмирал платил конникам всего лишь по восьми су?

— Да, и ни одного денье больше. У, старый сквалыга! Потому-то я после первого похода от него и удрал.

— А капитан-то нынче не в духе, — заметил трубач. — Малый он хороший, с солдатами поговорить любит, а тут за всю дорогу звука не проронил.

— Вести недобрые, — ввернул сержант.

— Какие вести?

— Уж верно, что-нибудь насчет гугенотов.

— Опять гражданская война начнется, — сказал Бертран.

— Тем лучше для нас, — подхватил Мерлен, — он во всем видел хорошую сторону. — Знай себе круши, села жги, гугеноток щекочи!

— Они, поди, затевают то же, что когда-то в Амбуге, — сказал сержант. — Потому-то нас и вызвали. Ну, мы порядок быстро наведем.

В это время из разведки вернулся корнет, приблизился к капитану и стал тихо ему докладывать, а его солдаты присоединились к товарищам.

— Клянусь бородой, ничего не понимаю, что творится в Париже! — заговорил один из тех, кто ходил в разведку. — На улицах мы ни одной кошки не встретили, зато в Бастилии полно солдат. На дворе швейцарские пики торчат — чисто колосья в поле!

— Их там не больше пятисот, — возразил другой.

— Гугеноты покушались на короля, вот это я знаю на верное, — продолжал первый, — и во время свалки великий герцог Гиз собственноручно ранил адмирала.

— Так ему, разбойнику, и надо! — вскричал сержант.

— Дело до того дошло, — продолжал конник, — что швейцарцы на своем чертовом тарабарском языке говорили: мол, слишком долго во Франции терпят еретиков.

— По правде говоря, за последнее время они что-то уж очень стали нос задирать, — сказал Мерлен.

— Уж так важничают, уж так спесивятся — можно подумать, что это они нас побили под Жарнаком и Мон-контуром.

— Они бы рады съесть мясо, а нам оставить кость, — молвил трубач.

— Добрым католикам давно пора их проучить.

— Доведись до меня, — сказал сержант, — прикажет мне король: «Перебей эту сволочь», — да пусть меня разжалуют, если я заставляю повторить этот приказ!

— Бель-Роз! А ну-ка, расскажи, что делал в городе корнет, — обратился к нему Мерлен.

— Он говорил с одним швейцарцем, похоже, с ихним офицером, но только я не расслышал, о чем. Тот ему сообщал что-то, знать, любопытное, потому корнет все только: «Ах, боже мой, боже мой!»

— Гляньте: к нам конники летят во весь мах. Уж верно, с приказом!

— Кажется, двое.

Капитан и корнет поехали к ним навстречу. Двое всадников быстро двигались по направлению к легкоконному отряду. Один из них, нарядно одетый, в шляпе, украшенной перьями, с зеленой перевязью, ехал на боевом коне. Спутник его, толстый, приземистый, коренастый, в черном одеянии, держал в руках большое деревянное распятие.

— Будет драка, это уж как пить дать, — сказал сержант. — Вон и священник — его послали исповедовать раненых.

— Не больно-то весело драться на голодное брюхо, — проговорил Мерлен.

Двое всадников попридержали лошадей, и когда они вплотную подъехали к капитану, им уже легко было остановить их.

— Целую руки господину де Мержи, — заговорил человек с зеленой перевязью. — Узнаете своего покорного слугу Тома де Морвеля?

До капитана еще не успела дойти весть о новом злодеянии Морвеля; он знал его только как убийцу славного де Муи. Вот почему он очень сухо ответил Морвелю:

— Я никакого господина де Морвеля не знаю. Полагаю, что вы явились объявить нам наконец, зачем мы здесь.

— Милостивый государь! Дело идет о спасении доброго нашего государя и нашей святой веры: им грозит опасность.

— Какая такая опасность? — презрительно спросил Жорж.

— Гугеноты злоумышляли на жизнь его величества. Однако преступный их заговор был, слава богу, вовремя раскрыт; ночью все истинные христиане должны объединиться и перерезать их сонных.

— Так муж силы Гедеон истребил мadianитян, — вставил человек в черном одеянии.

— Что такое? — содрогнувшись от ужаса, воскликнул Мержи.

— Горожане вооружены, — продолжал Морвель, — в город стянуты французская гвардия и три тысячи швейцарцев. Наши силы исчисляются примерно в шестьдесят тысяч человек. В одиннадцать часов будет подан сигнал — и пойдет потеха.

— Подлый душегуб! Это все мерзкая ложь! Король не дает распоряжений об убийствах, в крайнем случае он за них платит.

Однако Жорж тут же вспомнил о разговоре, который несколько дней тому назад вел с ним король.

— Потихе, господин капитан! Если бы служба королю не поглощала все мои помыслы, я сумел бы ответить на ваши оскорбления. Слушайте меня внимательно: я прибыл к вам от его величества с требованием, чтобы вы и ваш отряд следовали за мной. Нам вверены Сент-Антуанская улица и прилегающий к ней квартал. Я привез вам точный список лиц, которых нам надлежит отправлять на тот свет. Его преподобие отец Мальбуш обратится к вашим солдатам с наставлением и раздаст им белые кресты — такие кресты будут у всех католиков, а то в темноте можно принять своего за еретика.

— Я ни за что не приму участия в избиении спящих людей.

— Вы католик? Вы признаете Карла Девятого своим королем? Вам известна подпись маршала Ретца, повиноваться которому — ваш долг?

С этими словами Морвель достал из-за пояса бумагу и передал капитану. Мержи подозревал одного из своих конников, тот зажег о фитиль аркебузы пучок соломы и

посветил капитану, и капитан прочел составленный по всей форме указ, именем короля обязывавший капитана де Мержи оказать поддержку городскому ополчению и поступить в распоряжение г-на де Морвеля для несения службы, коей суть вышеназванный г-н де Морвель ему изъяснит. К указу был приложен перечень имен под заглавием: *Список еретиков, подлежащих умсрщвлению в Сент-Антуанском квартале*. Легкоконники не знали, что это за указ, они только видели при свете факела, который держал один из них, как глубоко он взволновал их начальника.

— Мои конники никогда не станут заниматься ремеслом убийц,— сказал Жорж и бросил бумагу в лицо Морвеля.

— При чем же тут убийство? — хладнокровно заметил священник.— Речь идет о справедливом возмездии еретикам.

— Орлы! — возвысив голос, крикнул Морвель легкоконникам.— Гугеноты хотят умертвить короля и перебить католиков. Их надо опередить. Ночью, пока они спят, мы их всех порешим. Их домá король отдает вам на разграбление!

Хищная радость звучала в крике, прокатившемся в ответ по рядам:

— Да здравствует король! Смерть гугенотам!

— Смирно! — громовым голосом крикнул капитан.— Здесь я командую, и больше никто... Друзья! Этот негодяй лжет. Но если даже и есть такой указ короля, все равно мои легкоконники не станут убивать беззащитных людей.

Солдаты молчали.

— Да здравствует король! Смерть гугенотам! — крикнули Морвель и его спутник.

Конники повторили за ними:

— Да здравствует король! Смерть гугенотам!

— Ну так как же, капитан? Повинуетесь? — спросил Морвель.

— Я больше не капитан! — воскликнул Жорж и сорвал с себя знаки отличия: перевязь и полумесяц.

— Задержите изменника! — обнажив шпагу, крикнул Морвель.— Убейте мятежника — он отказывается повиноваться королю!

Но ни один солдат не поднял руку на своего начальника... Жорж выбил шпагу из рук Морвеля, но убивать его не стал, он лишь ударил его эфесом по лицу, и при этом с такой силой, что тот полетел с коня.

— Прощайте, трусы! — сказал конникам Жорж. — Я думал, вы солдаты, а вы, как я посмотрю, убийцы, а не солдаты.

Затем он обратился к корнету:

— Альфонс! Если вы хотите, чтоб вас произвели в капитаны, то вот вам удобный случай: станьте предводителем этой шайки.

С этими словами он дал шпоры коню и галопом понесся в город. Корнет двинулся было за ним, однако немного погодя придержал коня, пустил его шагом, а потом и вовсе остановился, поворотил коня и присоединился к отряду, очевидно, решив, что хотя капитан дал ему совет в запальчивости, однако последовать ему стоит.

Все еще оглушенный ударом, Морвель, чертыхаясь, влез на коня. Монах, подняв распятие, призвал солдат не оставить в живых ни одного гугенота и утопить ересь в крови.

Упреки капитана внесли некоторое смятение в умы солдат, но как скоро он избавил их от своего присутствия и перед ними открылась перспектива вволю пограбить, они взмахнули саблями и поклялись исполнить все, что Морвель им бы ни приказал.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

### ПОСЛЕДНЕЕ УСИЛИЕ

*Soothsayer*  
*Beware the Ides of March!*

*Chakespere. «Julius Caesar» \*.*

В тот же вечер Бернар в обычное время вышел на улицу и, закутавшись в плащ под цвет стены его дома и нахлобучив шляпу, отправился, соблюдая надлежащую

---

\* Прорицатель  
Остерегись Ид Марта!  
Шекспир. «Юлий Цезарь» (англ.).

осторожность, к графине. Сделав несколько шагов, он повстречался с хирургом Амбруазом Паре, который лечил его, когда он был ранен. Нетрудно было догадаться, что Паре идет из дворца Шатильонов, и Мержи, назвав себя, спросил, что с адмиралом.

— Ему лучше, — отвечал хирург. — Рана не смертельная, адмирал — здоровяк. С божьей помощью поправится. Я ему прописал питье, — надеюсь, оно ему пойдет на пользу, ночь он проспит спокойно.

Какой-то простолудин, проходя мимо, услышал, что они говорят об адмирале. Отойдя с таким расчетом, чтобы его наглая выходка прошла безнаказанно, он крикнул:

— Ваш чертов адмирал скоро станцует сарабанду на виселице!

И пустился бежать со всех ног.

— Гадина! — сказал Мержи. — Меня зло берет, что нашему великому адмиралу приходится жить в городе, где у него столько врагов.

— К счастью, его дом хорошо охраняется, — заметил хирург. — Когда я уходил, на лестнице было полно солдат, и они зажигали фитили. Эх, господин де Мержи! Не любят нас местные жители... Однако уж поздно, мне надо в Лувр.

Они попрощались, Мержи продолжал свой путь, и розовые мечтания очень скоро заставили его позабыть адмирала и ненависть католиков. Со всем тем он не мог не заметить чрезвычайного оживления на улицах Парижа, обыкновенно пустевших с наступлением ночи. То ему попадались крючники с ношей на плечах, и у каждого из них ноша эта была такой странной формы, что Мержи в темноте склонен был принять ее за связку пик; то отряд солдат, шагавший молча, с ружьями «на плечо», с зажженными фитилями. То тут, то там распахивались окна, на мгновение появлялись люди со свечами и тотчас прятались.

— Эй, милый человек! — крикнул Мержи одному из крючников. — Куда это вы несете так поздно оружие?

— В Лувр, господин, на ночное увеселение.

— Приятель! — обратился Мержи к сержанту — начальнику дозора. — Куда это вы шагаете под ружьем?

— В Лувр, господин, на ночное увеселение.



— Эй, паж! Разве вы не при короле? Куда же идете вы и ваши товарищи и куда вы ведете коней в походной сбруе?

— В Лувр, господин, на ночное увеселение.

«На ночное увеселение! — заговорил сам с собой Мержи.— Все, как видно, посвящены в тайну — все, кроме меня. А впрочем, мое дело сторона. Государь волен развлекаться и без моего участия, меня не очень-то тянет смотреть на его увеселения».

Пройдя немного дальше, он обратил внимание на плохо одетого человека — тот останавливался перед некоторыми домами и мелом чертил на дверях кресты.

— Зачем вы, милый человек, помечаете дома? Вы что, квартирьер, что ли?

Незнакомец как сквозь землю провалился.

На углу той улицы, где жила графиня, Мержи едва не столкнулся нос к носу с шедшим в противоположном направлении человеком, завернувшимся, как и он, в широкий плащ. Хотя было темно и хотя оба явно старались проскочить незамеченными, они сейчас узнали друг друга.

— А, господин де Бевиль, добрый вечер! — сказал Мержи и протянул ему руку.

Бевиль, чтобы подать правую руку, сделал странное движение под плащом: переложил из правой руки в левую какой-то довольно тяжелый предмет. Плащ его слегка распахнулся.

— Привет доблестному бойцу, баловню красавиц! — воскликнул Бевиль.— Бьюсь об заклад, что мой благородный друг идет на свидание.

— А вы?.. Ох, и злы же на вас, как видно, мужья: если не ошибаюсь, вы в кольчуге, а то, что вы держите под плащом, дьявольски похоже на пистолеты.

— Нужно быть осторожным, господин Бернар, очень осторожным! — сказал Бевиль.

С этими словами он запахнул плащ так, чтобы не видно было оружия.

— Я весьма сожалею, что не имею возможности предложить вам сейчас свои услуги и шпагу, чтобы охранять улицу и стоять на часах у дверей дома вашей возлюбленной. Сегодня никак не могу, но в другой раз, пожалуйста, располагайте мною.

— Сегодня я не могу взять вас с собой, господин де Мержи.

Произнеся эту самую обыкновенную фразу, Бевиль, однако, странно усмехнулся.

— Ну, желаю вам удачи. Прощайте!

— Я вам тоже желаю *удачи!*

Последнее сказанное на прощанье слово Бевиль заметно подчеркнул.

Они расстались, но, сделав несколько шагов, Мержи услышал, что Бевиль его зовет. Он обернулся и увидел, что тот идет к нему.

— Ваш брат в Париже?

— Нет. Но я жду его со дня на день... Скажите, пожалуйста, вы принимаете участие в ночном увеселении?

— В увеселении?

— Да. Всюду говорят, что ночью во дворце будет увеселение.

Бевиль пробормотал что-то невнятное.

— Ну, еще раз прощайте,— сказал Мержи.— Я спешу... Понимаете?

— Погодите, погодите! Еще одно слово! Как истинный друг, я не могу не дать вам совета.

— Какого совета?

— Сейчас к ней не ходите. Завтра вы будете меня благодарить, поверьте.

— Это и есть ваш совет? Я что-то не возьму в толк. К кому это к ней?

— Ну, ну, не притворяйтесь! Если вы человек благоразумный, сей же час переправьтесь на тот берег Сены.

— Это что, шутка?

— Какая там шутка! Я говорю совершенно серьезно. Повторяю: переправьтесь через Сену. Если вас будет уж очень искушать дьявол, пойдите по направлению к якобинскому монастырю на улице Сен-Жак. Через два дома от святых отцов стоит довольно ветхий домишко, над дверью висит большое деревянное распятие. Вывеска странная, ну да это неважно. Постучите,— вам откроит приветливая старушка и из уважения ко мне примет с честью... Перенесите ваш любовный пыл на тот берег. У мамыши Брюлар премилые, услужливые племянницы... Вы меня поняли?

— Вы очень любезны. Душевно вам признателен.

— Нет, право, послушайте меня! Честное слово дворянина, там вам будет хорошо!

— Покорно благодарю, в другой раз я воспользуюсь вашим советом. А сегодня меня ждут,— сказал Мержи и сделал шаг вперед.

— Переправьтесь через Сену, милый друг, это мое последнее слово. Если с вами случится несчастье из-за того, что вы меня не послушались,— пеняйте на себя.

Бернара поразила необычно серьезный тон Бевиля. И на этот раз уже не Бевиль остановил его, а он Бевиля:

— Черт возьми, да что же это такое? Растолкуйте мне, господин де Бевиль, перестаньте говорить загадками.

— Дорогой мой! В сущности, я не имею права выражаться яснее, и все же я вам скажу: *переправьтесь за реку до глубокой ночи*. А теперь прощайте.

— Но...

Бевиль был уже далеко. Мержи побежал было за ним, но, устыдясь, что попусту теряет драгоценное время, пошел своей дорогой и наконец приблизился к заветной калитке. В ожидании, пока совсем не скроются из виду прохожие, он стал прогуливаться возле ограды. Он боялся привлечь внимание прохожих тем, что кто-то в такое позднее время входит в сад. Ночь выдалась чудная, от дуновения ветерка было не так душно, луна то выплывала, то пряталась за легкие белые облачка. Это была ночь для любви.

И вдруг улица как вымерла. Мержи мигом отворил калитку и бесшумно затворил. Сердце у него стучало, но сейчас он думал только о блаженстве, которое ожидало его у Дианы,— мрачные мысли, возникшие у него под влиянием странных речей Бевиля, мгновенно рассеялись.

Он подошел к дому на цыпочках. Одно окно было полурастворено, сквозь красную занавеску пробивался свет от лампы. То был условный знак. В мгновение ока Мержи очутился у своей любовницы в молельне.

Диана полулежала на низком диване, обитом синим шелком. Ее длинные черные волосы рассыпались по подушке. Глаза у нее были закрыты,— казалось, она борется с собой, чтобы не открыть их. Единственная в комнате серебряная лампа, подвешенная к потолку, ярко освеща-

ла бледное лицо и алые губы Дианы де Тюржи. Она не спала, но всякий при взгляде на нее невольно подумал бы, что она видит тяжелый сон. Но вот заскрипели сапоги Бернара, ступавшего по ковру,— Диана тотчас оторвала от подушки голову, открыла глаза, губы у нее зашевелились, она вся вздрогнула и с трудом удержала вопль ужаса.

— Я тебя испугал, мой ангел? — спросил Мержи, опустившись перед ней на колени и наклонившись над подушкой, на которую прекрасная графиня вновь откинулась головой.

— Наконец-то! Слава тебе, господи!

— Разве я опоздал? Полночь еще не скоро.

— Ах, да разве я о том?.. Бернар! Никто не видел, как ты вошел?

— Ни одна душа... Но что с тобой, моя радость? Почему ты не даешь мне своих прелестных губок?

— Ах, Бернар, если б ты знал!.. Умоляю: не мучь меня... Я страдаю невыносимо: у меня жестокая мигрень... голова как в огне...

— Бедняжка!

— Сядь поближе, но только, пожалуйста, не проси у меня сегодня ласк... Я совсем больна.

Она уткнулась лицом в подушку, и в тот же миг у нее вырвался жалобный стон. Потом она вдруг приподнялась на локте, откинула густые волосы, падавшие ей на лицо, схватила руку Мержи и приложила к своему виску. Бернар почувствовал, как сильно бьется у нее жилка.

— Приятно, что у тебя холодная рука,— молвила она.

— Милая Диана! Как бы я был рад, если б голова болела не у тебя, а у меня! — сказал Мержи и поцеловал ее в пылающий лоб.

— Ну да... А я была бы рада... Прикрой мне пальцами веки, так будет легче... Ах, если бы выплакаться,— может, боль и утихла бы, да вот беда: плакать я не могу.

Графиня умолкла; в тишине долго слышалось лишь ее прерывистое, стесненное дыхание. Мержи, стоя на коленях подле дивана, ласково гладил и время от времени целовал опущенные веки прелестной Дианы. Лево́й рукой он опирался на подушку; пальцы его возлюбленной порою судорожно сжимали его пальцы. Дыхание

Дианы, нежное и вместе с тем жаркое, возбуждающе щекотало ему губы.

— Родная моя! — сказал он наконец. — По-моему, ты страдаешь еще от чего-то больше, чем от головной боли. Какая у тебя кручина?.. И почему бы тебе не поведать ее мне? Любить — это значит делить пополам не только радости, но и горести.

Графиня, не открывая глаз, покачала головой. Она разомкнула губы, но членораздельного звука так и не издала; это усилие ее, видимо, утомило, и она снова уронила голову к Бернару на плечо. Вслед за тем часы пробили половину двенадцатого. Диана вздрогнула и, трепеща, приподнялась на постели.

— Нет, право, ты меня пугаешь, моя ненаглядная!

— Ничего... пока еще ничего... — глухим голосом проговорила она. — Как ужасен бой часов! Каждый удар словно раскаленное железо забивает мне в голову.

Диана подставила Бернару лоб, и он не нашел лучшего лекарства и лучшего ответа, как поцеловать его. Неожиданно она вытянула руки, положила их на плечи своему возлюбленному и, по-прежнему полулежа, впилась в него горящими глазами, которые, казалось, готовы были его пронзить.

— Бернар! — молвила она. — Когда же ты перейдешь в нашу веру?

— Ангелочек! Не будем сегодня об этом говорить. У тебя голова сильнее разболится.

— У меня болит голова от твоего упрямства... но тебя это не трогает. А между тем время не ждет, и если бы даже я сейчас умирала, все равно до последнего моего вздоха я продолжала бы увещевать тебя...

Мержи попытался заградить ей уста поцелуем. Это довольно веский довод, он служит ответом на все вопросы, с какими возлюбленная может обратиться к своему любовнику. Диана обыкновенно шла Бернару навстречу, но тут она решительно, почти с негодованием оттолкнула его.

— Послушайте, господин де Мержи! Я каждый день при мысли о вас и о вашем заблуждении плачу кровавыми слезами. Вы знаете, как я вас люблю! Вообразите же наконец, что я должна испытывать от одного созна-

ния, что человек, который мне дороже жизни, может в любую минуту погубить и тело свое и душу.

— Диана! Мы же условились больше об этом не говорить!

— Нет, несчастный, об этом нужно говорить! Кто знает, может, у тебя и часа не остается на покаяние!

Необычный ее тон и странные намеки невольно привели на память Бернару загадочные предостережения Бевиля. Им овладело непонятное ему самому беспокойство, но он тут же сумел себя перебороть, а то, что так усилился проповеднический пыл Дианы, он объяснил ее богобоязненностью.

— Что ты хочешь сказать, моя прелесть? Ты опасешься, что нарочно для того, чтобы убить гугенота, сейчас на меня упадет потолок, как прошлую ночь на нас свалился полог? Мы с тобой счастливо отделались — пыль на нас посыпалась, только и всего.

— Твое упрямство хоть кого приведет в отчаяние!.. Послушай: я видела во сне, что твои враги убивают тебя... Я не успела привести своего духовника, и ты, окровавленный, растерзанный, отошел в мир иной.

— Мои враги? По-моему, у меня их нет.

— Безумец! Кто ненавидит вашу ересь, тот вам и враг! Против вас вся Франция! Да, до тех пор, пока ты сам — враг господень и враг церкви, все французы обязаны быть твоими врагами.

— Оставим этот разговор, моя повелительница. А что касается снов, то пусть тебе их разгадает старуха Камилла — я в этом ничего не смыслю. Поговорим о чем-нибудь другом... Ты, кажется, была сегодня во дворце. Вот откуда, я уверен, взялась эта головная боль, которая тебя так мучает, а меня бесит!

— Да, я недавно оттуда, Бернар. Я видела королеву и ушла от нее... с твердым намерением сделать последнее усилие для того, чтобы ты переменял веру... Это необходимо, это совершенно необходимо!..

— Вот что, моя прелесть, — перебил ее Мержи, — коль скоро, несмотря на недомогание, у тебя хватает сил проповедовать с таким жаром, то мы могли бы, с твоего позволения, гораздо лучше провести время.

Она ответила на эту шутку полупрезрительным, полугневным взглядом.

— Заблудший! — как бы говоря сама с собой, тихо сказала она.— Почему я должна с ним церемониться?

А затем, уже громким голосом, продолжала:

— Я вижу ясно: ты меня не любишь. Для тебя что твоя лошадь, что я — разницы никакой. Лишь бы я доставляла тебе удовольствие, а до моих терзаний тебе дела нет!.. А я ради тебя, только ради тебя согласилась терпеть угрызения совести, такие, что рядом с ними все пытки, которые способна изобрести человеческая злоба,— ничто. Одно слово из твоих уст вернуло бы моей душе мир. Но ты этого слова никогда не принесешь. Ты не пожертвуешь ради меня ни одним из своих предрассудков.

— Дорогая Диана! Что ты на меня напала? Будь же справедлива, не давай себя ослеплять религиозному фанатизму. Ответь мне: где ты найдешь раба более покорного, чем я, у которого бы разум и воля всецело подчинялись тебе? Повторяю: умереть за тебя я готов, но уверовать в то, во что я не верю, я не в состоянии.

Слушая Бернара, она пожимала плечами и смотрела на него почти ненавидящим взглядом.

— Я не могу ради тебя сменить свои темно-русые волосы на белокурые,— продолжал он.— Я не могу в угоду тебе изменить свое телосложение. Моя вера — это, дорогая Диана, одна из частей моего тела, и оторвать ее от тела можно только вместе с жизнью. Пусть меня хоть двадцать лет поучают, я никогда не поверю, что кусок пресного хлеба...

— Замолчи! Не богохульствуй! — властным тоном прервала его Диана.— Все мои старания оказались тщетными. У всех у вас, кто только ни заражен ядом ереси, медные лбы, вы слепы и глухи к истине, вы боитесь видеть и слышать. Но пришло время, когда вы больше ничего уже не увидите и не услышите... Есть только одно средство уничтожить язву, разъедающую церковь, и его к вам применят!

Она в волнении прошла по комнате, а потом заговорила снова:

— Не пройдет и часа, как у дракона ереси будут отсечены все семь голов. Мечи наточены, верные наготове. Нечестивые исчезнут с лица земли.

Она показала пальцем на часы в углу комнаты.

— Смотри: тебе осталось четверть часа на покаяние.

Как скоро стрелка дойдет вон до той точки, участь твоя будет решена.

Не успела она договорить, как послышался глухой шум, напоминавший гул толпы, суетящейся на большом пожаре, и этот гул, сначала неясный, стремительно нарастал. Несколько минут спустя можно было уже различить колокольный звон и ружейные залпы.

— Какие ужасы ты мне сулишь! — воскликнул Мержи.

Графиня кинулась к окну и распахнула его.

Теперь ни стекла, ни занавески уже не сдерживали шума, и он стал более явственным. Можно было уловить и крики боли и ликующий рев. Насколько хватал глаз, над городом медленно поднимался к небу багровый дым. Все это и впрямь было похоже на огромный пожар, но комнату мгновенно наполнил запах смолы, который мог исходить только от множества зажженных факелов. Вслед за тем вспышка от залпа на мгновение осветила стекла соседнего дома.

— Избиение началось! — в ужасе схватившись за голову, воскликнула графиня.

— Какое избиение? О чем ты говоришь?

— Ночью перережут всех гугенотов. Так повелел король. Все католики взялись за оружие, ни один еретик не избегнет своей участи. Церковь и Франция спасены, а вот ты погибнешь, если не отречешься от своей ложной веры!

На всем теле у Мержи выступил холодный пот. Он растерянно посмотрел на Диану — лицо ее выражало ужас и вместе с тем ликование. Яростный вой, который лез ему в уши и которым полнился весь город, достаточно ясно доказывал, что страшная весть, которую ему сообщила Диана, — это не выдумка. Некоторое время графиня стояла неподвижно и, не произнося ни слова, пристально смотрела на него. Пальцем она показывала на окно, — видимо, она хотела подействовать на его воображение, чтобы он по этому зареву и по людоедским выкрикам представил себе, что там, на улицах, льется кровь. Постепенно выражение ее лица смягчилось. Злобная радость исчезла, ужас остался. Наконец она упала на колени и умоляюще заговорила:

— Бернар! Заклинаю тебя: не губи себя, обратись



в нашу веру! Не губи и своей жизни и моей: ведь я завишу от тебя.

Мержи, дико глянув на нее, стал от нее пятиться, а она, простирая к нему руки, поползла за ним на коленях. Ни слова ей не ответив, он кинулся к креслу, стоявшему в глубине молельни, и схватил свою шпагу, которую он там оставил.

— Несчастный! Что ты хочешь делать? — подбежав к нему, воскликнула графиня.

— Защищаться! Я им не баран, чтобы меня резать.

— Сумасшедший! Да тебя тысячи шпаг не спасут! Королевская гвардия, швейцарцы, мещане, простой народ — все принимают участие в избиении, нет ни одного гугенота, к груди которого не было бы сейчас приставлено десяти кинжалов. У тебя есть только одно средство спастись от гибели — стань католиком.

Мержи был отважен, однако, представив себе, какими грозными опасностями чревата для него эта ночь, он на мгновение почувствовал, что в сердце к нему заползает животный страх. Этого мало: с быстротою молнии мозг его пронзила мысль о спасении ценою отречения от веры отцов.

— Ручаюсь, что, если ты станешь католиком, тебе будет дарована жизнь, — сложив руки, молила Диана.

«Если отрекусь, то потом всю жизнь буду себя презирать», — подумал Мержи.

При одной этой мысли к нему вернулась твердость духа, которую еще усилило чувство стыда за минутную слабость. Он нахлобучил шляпу, застегнул портупею и, обмотав вокруг левой руки плащ, так чтобы он заменял ему щит, с решительным видом направился к выходу.

— Куда ты, несчастный?

— На улицу. Я не хочу, чтобы меня зарезали в вашем доме, у вас на глазах, — это будет вам неприятно.

Глубокое презрение, которое слышалось в его голосе, подействовало на графиню удручающе. Она стала у него на дороге. Он оттолкнул ее, и оттолкнул грубо. Тогда она ухватилась за полу его камзола и на коленях потащилась за ним.

— Пустите меня! — крикнул он. — Вы что же, хотите выдать меня убийцам? Возлюбленная гугенота принесет его кровь в жертву богу и тем искупит свои грехи.

— Не ходи, Бернар, умоляю тебя! У меня только одно желание — чтобы ты спасся. Живи на радость мне, мой золотой! Не губи себя ради нашей любви!.. Произнеси только одно слово, — клянусь тебе, ты будешь спасен.

— Чтобы я принял веру убийц и грабителей? Святые мученики, страдающие за евангелие! Я иду к вам!

Мержи рванулся, и графиня ничком повалилась на пол. Он уже отворял дверь, как вдруг Диана с быстротою молодой тигрицы вскочила, кинулась к нему и крепче сильного мужчины обхватила его руками.

— Бернар! — вне себя, со слезами на глазах, крикнула она. — Таким я люблю тебя еще больше, чем если бы ты стал католиком!

Она увлекла его к дивану и, упав вместе с ним, покрыла его лицо поцелуями и омочила слезами.

— Побудь тут, единственная любовь моя, побудь со мной, храбрый мой Бернар, — твердила она, сжимая его в объятиях и обвиняясь вокруг него, как змея вокруг жертвы. — Они не станут искать тебя здесь, в моих объятиях. Чтобы добраться до твоей груди, им придется сначала убить меня. Прости меня, мой любимый! Я не могла предупредить тебя, что твоя жизнь в опасности. Я была связана страшной клятвой. Но я тебя спасу или погибну вместе с тобой.

Тут раздался сильный стук во входную дверь. Графиня пронзительно вскрикнула, а Мержи вырвался из ее объятий, вокруг его левой руки по-прежнему был обмотан плащ, и в эту минуту он ощутил в себе такую силу и такую решимость, что, если бы перед ним выросла сотня убийц, он не колеблясь ринулся бы на них очертя голову.

Почти во всех парижских домах во входных дверях были проделаны маленькие квадратные, забранные мелкой железной решеткой отверстия, для того чтобы обитатели могли сперва убедиться, стоит отворить или нет. Многие предусмотрительные люди, которые если бы и сдались, так только после правильной осады, не чувствовали себя в безопасности даже за тяжелой дубовой дверью с железными планками, прибитыми толстыми гвоздями. Вот почему по обеим сторонам двери устраивались узкие бойницы, откуда было очень удобно, оставаясь невидимым, палить по осаждающим.

Старый конюший графини, поверенный ее тайн, рассмотрев в глазок, кто стучит, и учинив строгий допрос, доложил своей госпоже, что капитан Жорж де Мержи действительно просит впустить его. У всех отлегло от сердца. Дверь была отворена.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

### ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ АВГУСТА

Пускайте кровь! Пускайте кровь!  
*Приказ маршала Тавана.*

Бросив свой отряд, Жорж поспешил домой в надежде застать там брата, но тот, сказав слугам, что уходит на всю ночь, уже исчез. Жорж, живо смекнув, что брат у графини, побежал туда. Но избиение уже началось. Давка, толпы убийц, цепи, протянутые через улицы,— все это на каждом шагу преграждало ему путь. Жоржу пришлось идти мимо Лувра — здесь особенно свирепствовал фанатизм. В этом квартале жило много протестантов, вот почему он был наводнен католиками и гвардейцами, и они истребляли протестантов огнем и мечом. По энергическому выражению одного из тогдашних писателей<sup>32</sup>, «кровь со всех сторон стекалась к реке». Нельзя было перейти улицу без риска, что на вас в любую минуту не свалится труп, выброшенный из окна.

Дьявольская дальновидность убийц сказалась в том, что они почти все лодки, которых всегда здесь было много, переправили на тот берег; таким образом, многим из тех, что метались по набережной Сены в надежде сесть в лодку и спастись от врагов, оставалось либо утопиться, либо подставить головы под алебарды гонявшихся за ними солдат. Рассказывают, что в одном из дворцовых окон был виден Карл IX: вооруженный длинной аркебузой, он «стрелял по дичи», то есть по несчастным беглецам<sup>33</sup>.

Капитан, забрызганный кровью, переступая через трупы, на каждом шагу рискуя тем, что кто-нибудь из

душегубов по ошибке прикончит и его, шел дальше. Он обратил внимание, что у солдат и вооруженных горожан белые повязки на рукавах и белые кресты на шляпах. Он мог бы нацепить на себя эти отличительные знаки, но ему внушали отвращение и сами убийцы и те приметы, по которым они узнавали друг друга.

На берегу реки, недалеко от Шатле, кто-то его окликнул. Он обернулся и увидел человека, вооруженного до зубов, но, по-видимому, не применявшего оружия, хотя на шляпе у него был белый крест, и с самым независимым видом вертевшего в руках клочок бумаги. Это был Бевиль. Он безучастно смотрел на то, как с Мельничного моста бросают в Сену и мертвых и живых.

— За коим чертом тебя сюда принесло, Жорж? Чудо, что ли, какое совершилось, по наитию свыше ты выказываешь такую ревность о вере? Ведь ты, как я вижу, охотишься на гугенотов?

— А ты почему очутился среди этих мерзавцев?

— Кто, я? Дьявольщина, я наблюдаю! Прелюбопытное зрелище! Да, ты еще не знаешь, каков я мастак. Помнишь старика Мишеля Корнабона, ростовщика-гугенота, который еще так лихо меня обчистил?

— Негодяй! Ты его убил?

— Я? Убил? Фу! Я в дела вероисповедания не вмешиваюсь. Какое там убил — я спрятал его у себя в подвале, а он мне за это дал расписку, что получил с меня долг сполна. Таким образом, я сделал доброе дело и тотчас получил награду. Правда, чтобы скорее добиться от него расписки, я дважды приставлял к его виску пистолет, но уж, нелегкая меня возьми, выстрелить ни за что бы не выстрелил... Смотри, смотри! У женщины юбка зацепилась за бревно. Сейчас упадет... Нет, не упала! Ах ты черт! Занятно! Надо подойти поближе.

Жорж за ним не пошел.

«А ведь это один из наиболее достойных уважения дворян во всем городе!» — стукнув себя кулаком по голове, подумал он.

Он двинулся по улице Сен-Жос, безлюдной и темной — должно быть, никто из реформатов на ней не жил. Вокруг, однако, было шумно, и шум этот был здесь хорошо слышен. Внезапно багровые огни факелов осветили белые стены. Раздались пронзительные крики, и вслед

за тем Жорж увидел нагую, растрепанную женщину, державшую на руках ребенка. Она бежала с невероятной быстротой. За ней гнались двое мужчин и, точно охотники, преследующие хищного зверя, один другого подстегивали дикими криками. Женщина только хотела было свернуть в переулок, но тут один из преследователей выстрелил в нее из аркебузы. Заряд попал ей в спину, и она упала навзничь. Однако она сейчас же встала, сделала шаг по направлению к Жоржу и, напрягая последние усилия, протянула ему младенца, — она словно поручала свое дитя его великодушию. Затем, не произнеся ни слова, скончалась.

— Еще одна сука-еретичка околела! — крикнул стрелявший из аркебузы. — Я не успокоюсь до тех пор, пока не ухлопаю десяток.

— Подлец! — вскричал капитан и в упор выстрелил в него из пистолета.

Злодей стукнулся головой об стену. Глаза у него страшно выкатились из орбит, пятки заскользили по земле, и он, точно лишенная упора доска, покатился и упал бездыханный.

— Что? Убивать католиков? — крикнул его товарищ, у которого в одной руке был факел, а в другой окровавленная шпага. — Вы кто такой? Свят, свят, свят, да вы из королевских легкоконников! Вот тебе на! Вы дали маху, господин офицер.

Капитан выхватил из-за пояса второй пистолет и взвел курок. Головорез отлично понял, что означает движение, которое сделал Жорж, а также слабый звук щелкнувшего курка. Он бросил факел и пустился бежать без оглядки. Жорж пожалел для него пули. Он нагнулся, дотронулся рукой до женщины, распростертой на земле, и удостоверился, что она мертва. Ее ранило навывлет. Ребенок, обвив ее шею ручонками, кричал и плакал. Он был залит кровью, но каким-то чудом не ранен. Он уцепился за мать — капитан не без труда оттащил его и завернул в свой плащ. Убедившись после этой стычки, что лишняя предосторожность не помешает, капитан поднял шляпу убитого, сорвал с нее белый крест и прикрепил к своей. Благодаря этому он уже без всяких приключений добрался до дома графини.

Братья кинулись друг другу на шею и потом долго

еще сидели, крепко обнявшись, не в силах вымолвить ни слова. Наконец капитан вкратце рассказал, что творится в городе. Бернар проклинал короля, Гизов, попов, порывался выйти и помочь братьям, если они попытаются оказать сопротивление врагам. Графиня со слезами удерживала его, а ребенок кричал и звал мать.

Однако нельзя же было кричать, вздыхать и плакать до бесконечности — наконец заговорили о том, как быть дальше. Конюший графини сказал, что он найдет женщину, которая позаботится о ребенке. Бернару нечего было и думать выходить на улицу. Да и где он мог бы укрыться? Кто бы ему поручился, что резня не идет сейчас по всей Франции? Мосты, по которым реформаты могли бы перебраться в Сен-Жерменское предместье, откуда им легче было бы бежать в южные провинции, с давних пор сочувствовавшие протестантству, охраняли многочисленные отряды гвардейцев. Взывать к милосердию государя, когда он, разгоряченный бойней, требовал новых жертв, представлялось бесполезным, более того: неблагоприятным. Графиня славилась своей набожностью, поэтому трудно было предположить, чтобы злодеи стали производить у нее тщательный обыск, а слугам своим Диана доверяла вполне. Таким образом, ее дом казался наиболее надежным убежищем для Бернара. Было решено, что пока она спрячет его у себя, а там будет видно.

С наступлением дня избиение не прекратилось, — напротив, оно стало еще более ожесточенным и упорядоченным. Не было такого католика, который из страха быть заподозренным в ереси не нацепил бы на шляпу белого креста, не вооружился бы или не бежал доносить на гугенотов, которых еще не успели прикончить. Король заперся во дворце, и к нему не допускали никого, кроме предводителей головорезов, чернь, мечтавшая пограбить, примкнула к городскому ополчению и к солдатам, а в церквях священники призывали верующих никому не давать пощады.

— Отрубим у гидры все головы, раз навсегда положим конец гражданским войнам, — говорили они.

А чтобы доказать людям, жаждавшим крови и знамений, что само небо благословляет их ненависть и, дабы воодушевить их, явилось дивное чудо, они вопили:

— Идите на Кладбище убиенных младенцев и посмотрите на боярышник: он опять зацвел, его полили кровью еретиков, и это сразу его оживило и омолодило.

К кладбищу потянулись торжественные многолюдные процессии,— это вооруженные головорезы ходили поклониться священному кустарнику, а возвращались они с кладбища, готовые с вящим усердием разыскивать и умерщвлять тех, кого столь явно осуждало само небо. У всех на устах было изречение Екатерины. Его повторяли, вырезая детей и женщин: *Che pietà lor ser crudele, che crudeltà lor ser pietoso* — теперь человечен тот, кто жесток, жесток тот, кто человечен.

Удивительное дело: почти все протестанты побывали на войне, участвовали в упорных боях, и им нередко удавалось уравновесить превосходство сил противника своей храбростью, а во время этой бойни только два протестанта хоть и слабо, но все же сопротивлялись убийцам, причем из них двоих воевал прежде только один. Быть может, привычка воевать в строю, придерживаясь боевого порядка, мешала развернуться каждому из них в отдельности, мешала превратить свой дом в крепость. И вот матерые вояки, словно жертвы, предназначенные на заклание, подставляли горло негодяям, которые еще вчера трепетали перед ними. Они понимали мужество как смирение и предпочитали ореол страдальца ореолу героя.

Когда жажда крови была до некоторой степени утолена, наиболее милосердные из головорезов предложили своим жертвам купить себе жизнь ценой отречения от веры. Лишь очень немногие кальвинисты воспользовались этим предложением и согласились откупиться от смерти и от мучений ложью,— быть может, простительной. Над головами женщин и детей были занесены мечи, а они читали свой символ веры и безропотно гибли.

Через два дня король попытался унять резню, но если дать волю низким страстям толпы, то ее уже не уймешь. Кинжалы продолжали наносить удары, а потом уже и сам король, которого обвинили в потворстве нечестивцам, вынужден был взять свой призыв к милосердию обратно и даже превзошел себя в своей злобе, каковая, впрочем, являлась одной из главных черт его характера.

Первые дни после Варфоломеевской ночи Бернара часто навещал в укрытии его брат и всякий раз приводил новые подробности тех страшных сцен, коих свидетелем ему суждено было стать.

— Когда же наконец я покину этот край убийц и лиходеев? — воскликнул Жорж. — Я предпочел бы жить среди зверей, чем среди французов.

— Поедем со мной в Ла-Рошель, — говорил Бернар. — Авось, там еще не взяли верх головорезы. Давай вместе умрем! Если ты станешь на защиту этого последнего оплота нашей веры, то твое отступничество будет забыто.

— А как же я? — спрашивала Диана.

— Поедем лучше в Германию, а не то так в Англию, — возражал Жорж. — Там по крайней мере и нас не зарежут, и мы никого не будем резать.

Их замыслы не осуществились. Жоржа посадили в тюрьму за то, что он отказался повиноваться королю, а графиня, дрожавшая от страха, что ее возлюбленного накроют, думала только о том, как бы помочь ему бежать из Парижа.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

### ДВА МОНАХА

Капюшон ему надели,  
И готов монах.

*Народная песня.*

В кабачке, расположенном на берегу Луары, немного ниже Орлеана, ближе к Божанси, молодой монах сидел за столиком и, полуопустив широкий капюшон своей коричневой сутаны, с примерным усердием читал молитвенник, хотя уголок для чтения он выбрал довольно темный. Бусинки его четок, висевших у пояса, были крупнее голубиногo яйца; множество образков, державшихся на том же веревочном поясе, брнчало при малейшем его движении. Когда он поднимал голову и смотрел на дверь, был виден его красивый рот и закрученные в виде



турецкого лука молодецкие усы, которые могли бы сделать честь любому армейскому капитану. Руки у него были белые-белые, ногти длинные, аккуратно подстриженные,— все это наводило на мысль, что молодой чернец устава своего ордена строго не придерживается и никогда и в руки-то не брал ни заступа, ни грабель.

К нему подошла дородная крестьянка с налитыми щеками,— она исполняла здесь не только обязанности служанки, но и стряпухи; помимо всего прочего, она была хозяйкой этого заведения,— и, довольно неуклюже присев перед ним в реверансе, спросила:

— Что же это вы, отец мой, на обед себе ничего не закажете? Ведь уж полдень-то миновал.

— Долго еще не будет барки из Божанси?

— Кто ее знает! Вода убыла — особенно не разгонишься. Да барке еще и не время. Я бы на вашем месте пообедала у нас.

— Хорошо, я пообедаю. Только нет ли у вас отдельной комнаты? Здесь не очень приятно пахнет.

— Уж больно вы привередливы, отец мой. А я так ничего не чую.

— Не свиней ли палят возле вашего трактира?

— Свиней? Ой, насмешили! Свиней? Да, почти что. Свиньи они, свиньи — про них верно кто-то сказал, что жили они по-свински. Вот только есть этих свиней нельзя. Это,— прошу меня извинить, отец мой,— гугеноты, их сжигают на берегу, шагах в ста отсюда, вот почему здесь и пахнет паленым.

— Гугеноты?

— Ну да, гугеноты. Вам-то что? Еще аппетит из-за них портить? А комнатку, где бы вам пообедать, я найду, только уж не побрезгайте. Нет, теперь гугеноты не так скверно пахнут. Вот если б их не сжигать, вонь от них была бы—затыкай нос. Нынче утром их во какая куча на песке лежала высотой... как бы сказать? Высотой с этот камин.

— И вы ходили смотреть на трупы?

— А, это вы потому спрашиваете, что они голые! Но ведь они мертвые, ваше преподобие,— тут ничего такого нет. Все равно, что я бы на дохлых лягушек глядела. Видать, вчера в Орлеане потрудились на славу,— Луара нанесла к нам невесть сколько этой самой еретической

рыбы. Река-то мелеет, так их, что ни день, на песке находят. Вчера пошел работник с мельницы посмотреть сети,— линьки не попались ли, а там мертвая женщина: ее в живот алебардой ткнули. Глядите: вошла сюда, а вышла аж вон там, между лопаток. Он-то, конечно, предпочел бы вместо нее здорового карпа... Ваше преподобие! Что это с вами? Никак, вам дурно? Хотите, я вам до обеда стаканчик божансийского вина принесу? Сразу дурнота пройдет.

— Благодарю вас.

— Так что же вы желаете на обед?

— Что у вас есть, то и давайте... Мне безразлично.

— А все-таки? Скажу не хвалясь: у меня в кладовой стены ломаются.

— Ну, зажарьте цыпленка. И не мешайте мне читать молитвенник.

— Цыпленка! Цыпленка! Ай-ай-ай, ваше преподобие, нечего сказать, отличились! Кому угодно постом рот заткнет паутина, только не вам. Стало быть, вам папа разрешил по пятницам есть цыплят?

— Ах, какой же я рассеянный!.. Верно, верно, ведь сегодня пятница! *По пятницам мясной пищи не принимай.* Приготовьте мне яичницу. Спасибо, что вовремя предупредили, а то долго ли до греха?

— Все они хороши, голубчики! — ворчала себе под нос кабатчица.— Не напони, так они вам в постный день цыпленка уберут. А найдут у бедной женщины кусочек сала в супе, такой крик подымут — помилуй бог!

Отведя душу, кабатчица принялась готовить яичницу, а монах снова углубился в чтение.

— *Ave Maria* \*, сестра моя! — сказал еще один монах. Он вошел в кабачок, как раз когда тетюшка Маргарита, придерживая сковородку, собиралась перевернуть внушительных размеров яичницу.

Это был красивый седобородый старик, высокий, крепкий, плотный, краснолицый. Однако первое, что привлекало к нему внимание,— это огромный пластырь, закрывавший один глаз и половину щеки. По-французски он изъяснялся хотя и свободно, но с легким акцентом.

---

\* Радуйся, Мария (лат.).

Стоило ему показаться в дверях, как молодой монах еще ниже опустил свой капюшон, чтобы совсем не было видно лица. Однако тетушку Маргариту особенно поразило другое: день был жаркий, и того ради старый монах капюшон свой откинул, но едва он увидел собрата по ордену, так сейчас же его опустил.

— Как раз к обеду, отец мой! — молвила кабатчица. — Ждать вам не придется, и есть с кем разделить компанию.

Тут она обратилась к молодому монаху:

— Ваше преподобие! Вы, верно уж, ничего не имеете против отобедать с его преподобием? Его сюда привлек запах яичницы. Маслица-то я не пожалела!

— Боюсь, как бы не стеснить почтенного посетителя, — пролепетал молодой инок.

— Я бедный эльзасский монах... — низко опустив голову, пробормотал старик. — Плохо говорю по-французски... Боюсь, что мое общество не доставит удовольствия собрату.

— Будет вам церемонии-то разводить! — вмешалась тетушка Маргарита. — У монахов, да еще одного ордена, все должно быть общее: и постель и стол.

С этими словами она взяла скамейку и поставила ее у стола, как раз напротив молодого монаха. Старик сел боком — он чувствовал себя явно неловко. Можно было догадаться, что голод борется в нем с нежеланием остаться один на один со своим собратом.

Тетушка Маргарита принесла яичницу.

— Ну, отцы мои, скорей читайте молитву перед обедом, а потом скажете, хороша ли моя яичница.

Напоминание насчет молитвы повергло обоих монахов в еще пущее замешательство.

Младший сказал старшему:

— Читайте вы. Вы старше меня, вам эта честь и полагается.

— Нет, что вы! Вы пришли раньше меня — вы и читайте.

— Нет, уж лучше вы.

— Увольте.

— Не могу.

— Что мне с ними делать? Ведь так яичница простынет! — всполошилась тетушка Маргарита. — Свет еще не

видел таких церемонных францисканцев. Ну, пусть старший прочтет предобеденную, а младший — благодарственную...

— Я умею читать молитву перед обедом только на своем родном языке,— объявил старший монах.

Молодой, казалось, удивился и искоса поглядел на своего сотрапезника. Между тем старик, молитвенно сложив руки, забормотал себе в капюшон какие-то непонятные слова. Потом сел на свое место и, даром времени не теряя, мигом уплел три четверти яичницы и осушил бутылку вина. Его товарищ, уткнув нос в тарелку, открывал рот только перед тем, как что-нибудь в него положить. Покончив с яичницей, он встал, сложил руки и, запинаясь, пробубнил скороговоркой несколько латинских слов, последними из которых были: *Et beata viscera virginis Mariae*\*. Тетушка Маргарита только эти слова и разобрала.

— Прости, господи, мое прегрешение, уж больно несуразную благодарственную молитву вы прочитали, отец мой! Наш священник, помнится, не так ее читает.

— Так читают в нашей обители,— возразил молодой францисканец.

— Когда барка придет? — спросил другой.

— Потерпите еще немного—должна скоро прийти,— отвечала тетушка Маргарита.

Молодому иноку этот разговор, видимо, не понравился,— сделать же какое-либо замечание по этому поводу он не решился и, взяв молитвенник, весь ушел в чтение.

Эльзасец между тем, повернувшись спиной к товарищу, перебирал четки и беззвучно шевелил губами.

«Сроду не видала я таких чудных, таких несловохотливых монахов»,— подумала тетушка Маргарита и села за прялку.

С четверть часа тишину нарушало лишь жужжание прялки, как вдруг в кабачок вошли четверо вооруженных людей пренеприятной наружности. При виде монахов они только чуть дотронулись до своих шляп. Один из них, поздоровавшись с Маргаритой и назвав ее попросту «Марго», потребовал прежде всего вина и обед что-

---

\* И благословенно чрево девы Марии (лат.).

бы живо был на столе, а то, мол, у него глотка мохом поросла — давненько челюстями не двигал.

— Вина, вина! — заворчала тетушка Маргарита. — Спросить вина всякий сумеет, господин Буа-Дофен. А платить вы за него будете? Жером Кредит, было бы вам известно, на том свете. А вы должны мне за вино, за обеды да за ужины шесть экю с лишком, — это так же верно, как то, что я честная женщина.

— И то и другое справедливо, — со смехом подтвердил Буа-Дофен. — Стало быть, я должен вам, дорогая Марго, всего-навсего два экю, и больше ни денье. (Он выразился сильнее.)

— Иисусе, Мария! Разве так можно?..

— Ну, ну, хрычовочка, не вопи! Шесть экю, так шесть экю. Я тебе их уплачу, Марготон, вместе с тем, что мы здесь истратим сегодня. Карман у меня нынче не пустой, хотя, сказать по правде, ремесло наше убыточное. Не понимаю, куда эти прохвосты деньги девают.

— Наверно, проглатывают, как все равно немцы, — заметил один из его товарищей.

— Чума их возьми! — вскричал Буа-Дофен. — Надо бы это разнюхать. Добрые пистолы в костяке у еретика — это вкусная начинка, не собакам же ее выбрасывать.

— Как она нынче утром визжала, пасторская-то дочка! — напомнил третий.

— А толстяк пастор! — подхватил четвертый. — Что смеху-то с ним было! Из-за своей толщины никак не мог в воду погрузиться.

— Стало быть, вы нынче утром хорошо поработали? — спросила Маргарита, — она только что вернулась с бутылками из погреба.

— Еще как! — отвечал Буа-Дофен. — Побросали в огонь и в воду больше десяти человек — мужчин, женщин, малых ребят. Да вот горе, Марго: у них гроша за душой не оказалось. Только у одной женщины кое-какая рухлядишка нашлась, а так вся эта дичь четырех собачьих подков не стоила. Да, отец мой, — обращаясь к молодому монаху, продолжал он, — мы нынче утром убивали ваших врагов — еретическую нечисть и заслужили отпущение грехов.

Монах бросил на него беглый взгляд и снова принялся за чтение. Однако было заметно, что молитвенник дрожит в его левой руке, а правую он с видом человека, сдерживающего волнение, сжимал в кулак.

— Кстати об отпущениях,— обратившись к своим товарищам, сказал Буа-Дофен.— Знаете что: я бы не прочь был получить отпущение для того, чтобы поесть нынче скоромного. Я видел в курятнике у тетушки Марго таких цыплят — пальчики оближешь!

— Ну так давайте их съедим, черт побери! — вскричал один из злодеев.— Не погубим же мы из-за этого душу. Сходим завтра на исповедь, только и всего.

— Ребята! — заговорил другой.— Знаете, что мне на ум пришло? Попросим у этих жирных клобучников разрешения поесть скоромного.

— У них кишка тонка давать такие разрешения!

— А, мать честная!—вскричал Буа-Дофен.—Я знаю средство получше,—сейчас вам скажу на ухо.

Четверо негодяев придвинулись друг к другу вплотную, и Буа-Дофен шепотом принялся излагать им свой план, каковой был встречен взрывами хохота. Только у одного разбойника шевельнулась совесть.

— Недоброе ты затеял, Буа-Дофен,—накличешь ты на нас беду. Я не согласен.

— Молчи, Гильемен! Подумаешь, большой грех — дать кому-нибудь понюхать лезвие кинжала!

— Только не духовной особе!..

Говорили они вполголоса, и монахи делали заметные усилия, чтобы по отдельным долетавшим до них словам разгадать их замысел.

— Какая же разница? — громко возразил Буа-Дофен.— Да и потом, ведь это же он совершит грех, а не я.

— Верно, верно! Буа-Дофен прав! — вскричали двое.

Буа-Дофен встал и нимало не медля вышел из комнаты. Минуту спустя закудахтали куры, и вскоре разбойник появился снова, держа в каждой руке по зарезанной курице.

— Ах, проклятый! — закричала тетушка Маргарита.— Курочек моих зарезал, да еще в пятницу! Что ты с ними будешь делать, разбойник?

— Потихе, тетушка Маргарита, вы меня совсем оглу-

шили. Вам известно, что со мной шутки плохи. Готовьте вертела, все остальное я беру на себя.

Тут он подошел к эльзасскому монаху.

— Эй, отец! — сказал он. — Видите этих двух птиц? Ну так вот, сделайте милость — окрестите их.

Монах от изумления подался назад, другой монах закрыл молитвенник, а тетушка Маргарита разразилась бранью.

— Окрестить? — переспросил монах.

— Да, отец. Я буду крестным отцом, а вот эта самая Марго — крестной матерью. Имена своим крестницам я хочу дать такие: вот эта будет Форель, а эта — Макрель. Имена красивые.

— Окрестить кур? — вскричал монах и залился хохотом.

— А, чтоб вас, отец! Ну да, окрестить! Скорей за дело!

— Ах ты, срамник! — возопила Маргарита. — Ты думаешь, я тебе позволю такие штуки вытворять у меня в доме? Крестить птиц! Да ты что, на жидовский шабаш явился?

— Уберите от меня эту горластую, — сказал своим товарищам Буа-Дофен. — А вы, отец, сумеете прочесть имя оружейника, который сделал мой клинок?

Он поднес кинжал к самому носу старого монаха.

Тут молодой монах вскочил, но, должно быть, благоразумно решив набраться терпения, сейчас же сел на место.

— Как я буду, сын мой, крестить живность?

— Да это проще простого, черт побери! Так же точно, как вы крестите нас, рождающихся от женщин. Покропите им слегка головки и скажите: «Нарекаю тебя Форелией, а тебя Макрелией». Только скажите это на своем тарабарском языке. Итак, милейший, принесите стакан воды, а вы — шляпы долой, чтобы все было честь честью. Ну, господи благослови!

Ко всеобщему изумлению, старый францисканец сходил за водой, покропил курам головы и невнятной скороговоркой прочитал что-то вроде молитвы. Кончалась она словами: «Нарекаю тебя Форелией, а тебя Макрелией». Потом сел на свое место и, как ни в чем не бывало, преспокойно начал перебирать четки.

Тетушка Маргарита онемела от удивления. Буа-Дофен ликовал.

— Слышь, Марго,— сказал он и бросил ей кур,— приготовь нам *форель* и *макрель* — это будет превкусное постное блюдо.

Маргарита, несмотря на крестины, продолжала стоять на том, что это пища не христианская. Только после того как разбойники пригрозили ей короткой расправой, осмелилась она посадить на вертел новонареченных рыб.

А Буа-Дофен и его товарищи бражничали, пили за здоровье друг друга, драли глотку.

— Эй, вы! — заорал Буа-Дофен и, требуя тишины, грохнул кулаком по столу.— Предлагаю выпить за здоровье его святейшества папы и за гибель всех гугенотов. Клобучники и тетка Марго должны выпить с нами.

Три его товарища шумно выразили одобрение.

Буа-Дофен, слегка пошатываясь, встал,— он был уже сильно на взводе,— и налил стакан вина молодому монаху.

— Ну-с, ваше преподобие,— сказал он,— за нашего здоровейшего свящѣа... Ох, я оговорился!.. За здоровье нашего святейшего отца и за гибель...

— Я после трапезы не пью,— холодно заметил молодой монах.

— Нет, вы, прах вас побери, выпьете, а не то будь я неладен, если вы не дадите отчета, почему вы не желаете пить!

Сказавши это, он поставил бутылку на стол и поднес стакан ко рту молодого монаха, а тот, сохраняя совершенное наружное спокойствие, снова склонился над молитвенником. На книгу пролилось вино. Тогда монах вскочил, схватил стакан, но, вместо того, чтобы выпить, выплеснул его содержимое в лицо Буа-Дофену. Все покатились со смеху. Монах, прислонившись к стене и скрестив руки, не сводил глаз с негодея.

— Знаете что, милый мой монашек: шутка ваша мне не нравится. Если б вы не были клобучником, я бы вас, вот как бог свят, научил соблюдать приличия.

С этими словами он протянул руку к лицу молодого человека и кончиками пальцев дотронулся до его усов.



Монах побагровел. Одной рукой он взял обнаглевшего разбойника за шиворот, а другой схватил бутылку и с такой яростью трахнул ею Буа-Дофена по голове, что тот, обливаясь смешавшейся с вином кровью, замертво повалился на пол.

— Молодчина, приятель! — одобрил старый монах. — Для долгополого это здóрово!

— Буа-Дофен убит! — вскричали все три разбойника, видя, что их товарищ не шевелится. — Ах ты, мерзавец! Ну, мы тебе сейчас покажем!

Они вынули из ножен шпаги, однако молодой монах, выказав необычайное проворство, засучил длинные рукава сутаны, схватил шпагу Буа-Дофена и с самым решительным видом изготовился к битве. Тем временем его собрат вытащил из-под своей сутаны кинжал, клинок которого был не менее восемнадцати дюймов длиною, и, приняв столь же воинственный вид, стал рядом с ним.

— Ах вы, сволочь этакая! — гаркнул он. — Вот мы вас сейчас научим, как надо себя вести, как нужно драться!

Раз, раз — и все три негодяя, кто — раненый, кто — обезоруженный, попрыгали в окно.

— Иисусе, Мария! — воскликнула тетушка Маргарита. — Какие же вы храбрые воины, отцы мои! Вы поддерживаете честь своего ордена. Но только вот что: в моем заведении мертвое тело, теперь обо мне дурная слава пойдет.

— Да, умер он, как бы не так! — возразил старый монах. — Глядите: копошится. Ну, я его сейчас пособую.

С этими словами он подошел к раненому, схватил его за волосы и, приставив ему к горлу свой острый кинжал, совсем было собрался отхватить ему голову, но тетушка Маргарита и молодой монах его удержали.

— Боже милостивый! Что вы делаете? — вскричала Маргарита. — Разве можно убивать человека? Да еще такого, которого все считают за доброго католика, хотя на поверку-то он оказался совсем не таким.

— Я полагаю, что срочные дела призывают в Божанси не только меня, но и вас, — сказал молодой монах своему собрату. — Вот как раз и барка. Скорей!

— Ваша правда. Иду, иду.

Старик вытер кинжал и опять упрятал его под сутану. Расплатившись с хозяйкой, два храбрых монаха зашагали к Луаре, поручив Буа-Дофена заботам тетушки Маргариты, и та первым делом обшарила его карманы, уплатила себе его долг, затем вынула у него из головы уйму осколков и сделала ему перевязку по всем правилам, которым следуют в подобных случаях лекарки.

— Если не ошибаюсь, я вас где-то видел,— заговорил молодой человек со старым францисканцем.

— Пусть меня черт возьмет, коли ваше лицо мне незнакомо! Но только...

— Когда мы с вами встретились впервые, вы были, сколько я помню, одеты по-другому.

— Да ведь и вы?

— Вы — капитан...

— Дитрих Горнштейн, ваш покорный слуга. А вы тот самый молодой дворянин, с которым я обедал близ Этампа.

— Он самый.

— Ваша фамилия Мержи?

— Да, но теперь я зовусь иначе. Я брат Амвросий.

— А я брат Антоний из Эльзаса.

— Так, так. И куда же вы?

— В Ла-Рошель, если удастся.

— Я тоже.

— Очень рад вас видеть... Вот только, черт возьми, вы меня здорово подвели с молитвой перед обедом. Я же ни единого слова не знаю. А вас я сперва принял за самого что ни на есть заправского монаха.

— А я вас.

— Вы откуда бежали?

— Из Парижа. А вы?

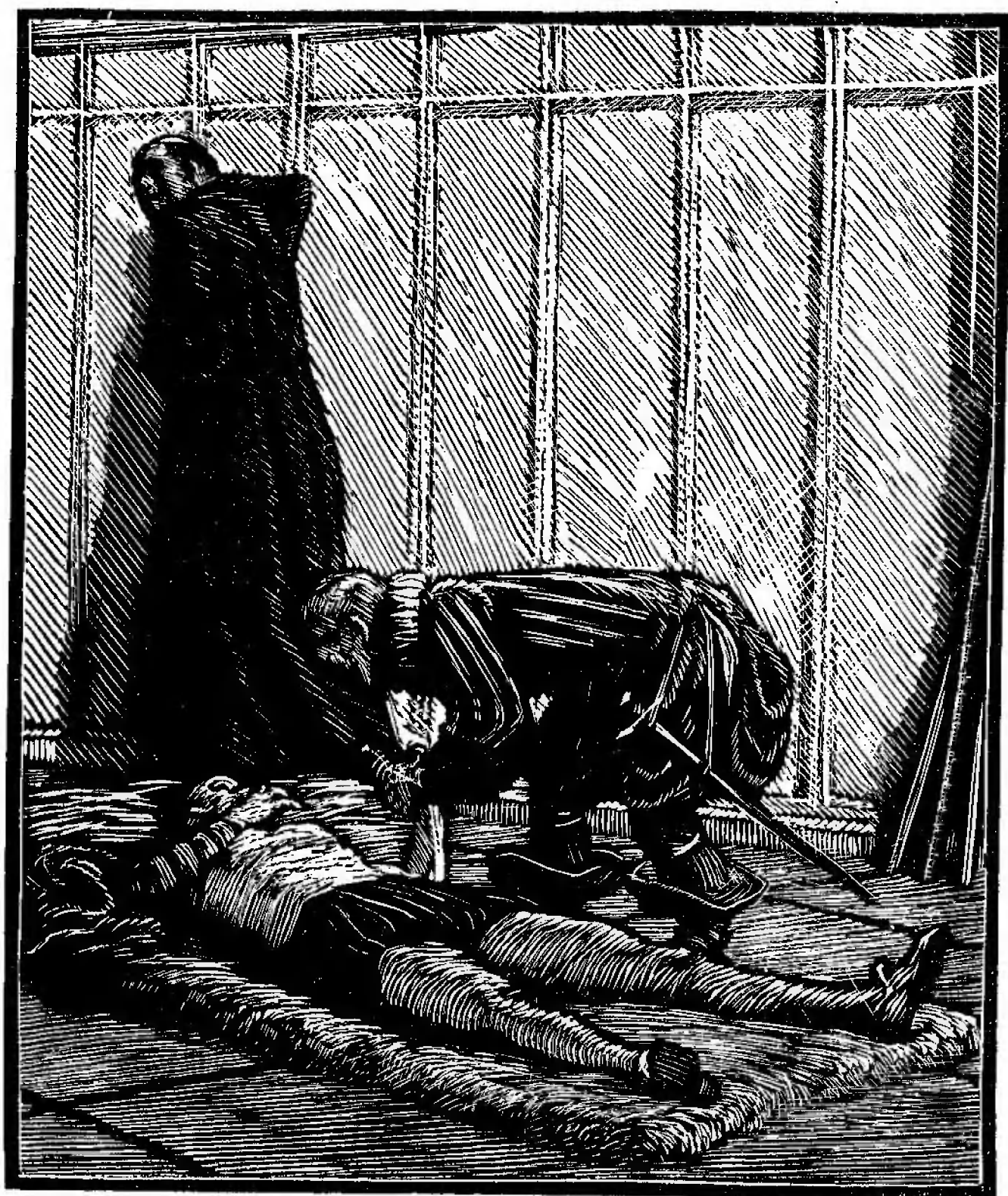
— Из Орлеана. Целую неделю скрывался. Бедняги рейтары... юнкер... все в Луаре.

— А Мила?

— Перешла в католичество.

— А как мой конь, капитан?

— Ах, ваш конь! Его у вас свел негодяй-трубач, и я наказал его розгами... Но я же не знал, где вы находитесь, так что отдать вам коня я никак не мог... Но я его берег до приятного свидания с вами. Ну, а теперь он, понятно, достался какому-нибудь мерзавцу паписту.



«Хроника царствования Карла IX»



— Тсс! О таких вещах вслух не говорят. Ну, капитан, давайте вместе горе горевать, будем помогать друг другу, как помогли только что.

— С удовольствием. Пока у Дитриха Горнштейна останется хоть капля крови в жилах, он будет играть в ножижки бок о бок с вами.

Они от чистого сердца пожали друг другу руку.

— А скажите, что за чепуху они пороли насчет кур, Форелий, Макрелий? Глупый народ эти паписты, нужно отдать им справедливость.

— Тише, говорят вам! А вот и барка.

Разговаривая таким образом, они вышли на берег и сели в барку. До Божанси они добрались без особых приключений, не считая того, что навстречу им плыли по Луаре трупы их единоверцев.

Лодочник обратил внимание, что почти все плывут лицом кверху.

— Они взывают к небу о мщении,— тихо сказал рейтарскому капитану Мержи.

Дитрих молча пожал ему руку.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### ОСАДА ЛА-РОШЕЛИ

*Still hope and suffer all who can?*

*Moore. «Fudge family» \*.*

Подавляющее большинство жителей Ла-Рошели перешло в реформатскую веру, и Ла-Рошель играла тогда роль столицы южных провинций и служила протестантству наиболее стойким оплотом. Широкая торговля с Англией и Испанией вызвала приток в Ла-Рошель значительных ценностей и внесла тот независимый дух, который таким притоком обыкновенно порождается и под-

---

\* Кто способен все претерпеть и не утратить надежды?

*Мур. «Семейство Фейдж» (англ.).*

держивается. Мещане, рыбаки, моряки, многие из которых представляли собой корсаров, рано привыкших к опасностям исполненной приключений жизни, — все они отличались энергией, заменявшей им дисциплину и военный опыт. Вот почему весть о резне, имевшей место 24 августа, ларошельцы приняли не с тупою покорностью, которая овладела большею частью протестантов и отняла у них веру в победу, — напротив, они прониклись той действительной и грозной решимостью, которую в иных случаях придает людям отчаяние. Они единодушно объявили, что согласны терпеть все, но что они даже в крайних обстоятельствах не откроют ворот врагу, который недавно обнаружил себя во всем своем вероломстве и жестокости. Пасторы пламенными речами укрепляли дух ларошельцев, и ларошельцы все как один, включая женщин, стариков и детей, дружно восстанавливали старые укрепления и возводили новые. Делались запасы продовольствия и оружия, снаряжались барки и суда. Коротко говоря, население, не теряя ни минуты, создавало и приводило в готовность многообразные средства обороны. К ларошельцам присоединились уцелевшие дворяне и своим описанием варфоломеевских зверств вселяли мужество в сердца наиболее робкие. Для людей, спасшихся от гибели, которая казалась неизбежной, война и ее превратности — это все равно что легкий ветерок для моряков, которых только что трепала буря. Мержи и его спутник увеличили собой число беглецов, вступавших в ряды защитников Ла-Рошели.

Парижский двор, напуганный этими приготовлениями, жалел, что не предотвратил их. В Ла-Рошель с предложением начать мирные переговоры выехал маршал Бирон. У короля были некоторые основания надеяться, что этот выбор будет приятен ларошельцам. Мало того, что маршал не принимал участия в Варфоломеевском побоище, — он спас жизнь многим видным протестантам и даже направил пушки вверенного ему арсенала против убийц, служивших в королевской армии. Он просил только о том, чтобы его впустили в город в качестве королевского наместника, и со своей стороны обещал охранять особые права и вольности, коими пользовались жители, а также предоставить им свободу вероисповедания. Но как можно было поверить обещаниям Карла IX после ис-

требления шестидесяти тысяч протестантов? Да и уже во время переговоров шло избиение протестантов в Бордо, солдаты Бирона грабили окрестности Ла-Рошели, а королевский флот задерживал торговые суда и блокировал порт.

Ларошельцы отказались впустить Бирона и объявили, что не станут заключать с королем никаких договоров до тех пор, пока им вертят Гизы, — то ли они в самом деле были уверены, что Гизы единственные виновники всех зол, то ли этот вымысел понадобился им, дабы успокоить совесть тех протестантов, которые считали, что верность королю должна стоять выше интересов религии. Договориться оказалось невозможным. Тогда король направил другого посредника — на сей раз его выбор пал на Лану. Лану, по прозвищу *Железная рука*, — он потерял в бою руку, и ему сделали искусственную, — был ярым кальвинистом; в последнюю гражданскую войну он выказал необыкновенную храбрость и недюжинные способности.

Это был самый искусный и самый верный помощник своего друга — адмирала. В Варфоломеевскую ночь он находился в Нидерландах, — там он руководил распыленными отрядами фламандцев, восставших против испанского владычества. Счастье ему изменило, и он вынужден был сдаться герцогу Альбе — тот обошелся с ним довольно милостиво. После того как потоки пролитой крови вызвали у Карла IX нечто похожее на угрызения совести, король вытребовал Лану и сверх ожидания принял его необычайно любезно. Этот ни в чем не знавший меры правитель вдруг ни с того ни с сего обладал протестанта, а незадолго перед этим вырезал сто тысяч его единоверцев. Казалось, сама судьба хранила Лану: еще во время третьей гражданской войны он дважды попадал в плен — сначала под Жарнаком, потом под Монконтуром, и оба раза его отпустил без всякого выкупа брат короля<sup>34</sup>, хотя некоторые военачальники доказывали, что этого человека выпускать опасно, а подкупить невозможно, и требовали его казни. Теперь Карл подумал, что Лану вспомнит о его великодушии, и поручил ему привести ларошельцев к повиновению. Лану согласился, но с условием, что король не станет добиваться от него ничего такого, что могло бы послужить ему не

к чести. Вместе с Лану выехал итальянский священник, которому было велено за ним присматривать.

Недоверие, выказанное к Лану на первых порах, оскорбило его. В Ла-Рошель его не пустили — встреча была назначена в небольшом подгороднем селе. Представители Ла-Рошели явились к нему в Тадон. Все это были его братья по оружию, но никто из них не пожелал обменяться с ним дружеским рукопожатием, — все сделали вид, что не узнают его, — ему пришлось назвать себя, и только после этого он заговорил о предложениях короля. Вот какова была суть его речи:

— Обещаниям короля следует верить. Гражданская война — худшее из всех зол.

Мэр Ла-Рошели, горько усмехнувшись, сказал:

— Мы видим перед собой человека, только похожего на Лану, — настоящий Лану никогда бы не предложил своим братьям покориться убийцам. Лану любил покойного адмирала, и, вместо того чтобы вести переговоры со злодеями, он поспешил бы отомстить за него. Нет, вы не Лану!

Эти упреки ранили несчастного посла в самое сердце; напомнив о заслугах, которые он оказал кальвинизму, Лану потряс своей искалеченной рукой и заявил, что он все такой же убежденный реформат. Недоверие ларошельцев постепенно рассеялось. Перед Лану раскрылись городские ворота. Ларошельцы показали ему свои запасы и даже стали его уговаривать возглавить их оборону. Для старого солдата это было предложение в высшей степени заманчивое. Ведь он принес присягу Карлу с таким условием, которое давало ему право поступать по совести. Лану надеялся, что если он станет во главе ларошельцев, то ему легче будет склонить их к миру; он рассчитывал, что ему удастся остаться верным и присяге и той религии, которую он исповедовал. Но он ошибался.

Королевское войско осадило Ла-Рошель. Лану руководил всеми вылазками, укладывал немало католиков, а вернувшись в город, убеждал жителей заключить мир. Чего же он этим достиг? Католики кричали, что он нарушил слово, данное королю, а протестанты обвиняли его в измене.

Лану все опостылело; он двадцать раз в день смотрел опасности прямо в глаза — он искал смерти.



ЛАНУ

Фенест

Этот человек пяткой не сморкается,  
ей-ей!

*Д'Обинье. «Барон Фенест».*

Осажденные только что сделали удачную вылазку против апрошей католического войска. Засыпали несколько траншей, опрокинули туры, перебили около сотни солдат. Отряд, на долю которого выпал этот успех, возвращался в город через Тадонские ворота. Впереди шел капитан Дитрих с аркебузирами,— по тому, какие разгоряченные были у них у всех лица, как тяжело они дышали, как настойчиво просили пить, видно было, что они себя не берегли. За аркебузирами шла плотная толпа горожан, среди них — женщины, должно быть, принимавшие участие в стычке. Вслед за горожанами двигались пленные, числом около сорока, почти все раненые,— две шеренги солдат еле сдерживали гнев народа, собравшегося посмотреть, как они будут идти. Арьберггард составляло человек двадцать всадников. Сзади всех ехал Лану, у которого Мержи был адъютантом. В его кирасе виднелась вмятина от пули, его конь был в двух местах ранен. В левой руке он еще держал разряженный пистолет, а конем правил с помощью прицепленного к поводьям крюка, торчавшего из его правого наручния.

— Пропустите пленных, друзья! — ежеминутно кричал он.— Добрые ларошельцы! Будьте человечны! Они ранены, они беззащитны, они больше нам не враги.

Чернь, однако, отвечала ему яростным воєм:

— Вздернуть папистов! На виселицу их! Да здравствует Лану!

Мержи и всадники, чтобы лучше действовали призывы их предводителя к милосердию, весьма кстати угощали то того, то другого древками пик. Наконец пленных отвели в городскую тюрьму и приставили к ним усиленную охрану,— здесь им уже можно было не бояться народной расправы. Отряд рассеялся. Лану, которого со-

проводило теперь всего лишь несколько дворян, спешил у ратуши как раз в ту минуту, когда оттуда выходили мэр, пастор в преклонных летах по имени Лаплас и кое-кто из горожан.

— Итак, доблестный Лану,— протягивая ему руку, заговорил мэр,— вы сейчас доказали убийцам, что после смерти господина адмирала еще остались на свете храбрецы.

— Все кончилось довольно благополучно,— скромно ответил Лану.— У нас всего только пять убитых да несколько человек раненых.

— Так как вылазкой руководили вы, господин Лану, мы с самого начала не сомневались в успехе,— сказал мэр.

— Э! Что мог бы сделать Лану без божьей помощи?— колко заметил старый пастор.— За нас сегодня сражался всемогущий господь. Он услышал наши молитвы.

— Господь дарует победы, он же их и отнимает,— за успехи на войне должно благодарить только его,— хладнокровно проговорил Лану и сейчас же обратился к мэру: — Ну так как же, господин мэр? Совет обсудил новые предложения его величества?

— Обсудил,— отвечал мэр.— Мы только что отправили герольда обратно к принцу и просили передать, чтобы он больше не беспокоился и новых условий нам не предъявлял. Впредь мы будем отвечать на них ружейными залпами, и ничем больше.

— Вам бы следовало повесить герольда,— снова заговорил пастор.— В писании ясно сказано: «И из среды твоей вышли некие злые, восхотевшие возмутить обитателей их города... Но ты не преминешь предать их смерти; твоя рука первой ляжет на них, а за нею рука всего народа».

Лану вздохнул и молча поднял глаза к небу.

— Он предлагает нам сдаться, а? — продолжал мэр.— Сдаться, когда стены наши держатся крепко, когда враг не решается приблизиться к ним, а мы каждый день наносим ему удары в его же окопах! Уверяю вас, господин Лану: если бы в Ла-Рошели не стало больше воинов, одни только женщины отразили бы натиск парижских живодедов.

— Милостивый государь! Если даже более сильному надлежит говорить о своем противнике с осторожностью, то уж более слабому...

— А кто вам сказал, что мы слабее? — прервал его Лаплас.— С нами бог. Гедеон с тремястами израильтян оказался сильнее всего мадианитянского войска.

— Вам, господин мэр, лучше, чем кому бы то ни было, известно, как нам не хватает боевых припасов. Пороху мало, я вынужден был воспретить аркебузирам стрелять издали.

— Нам пришет его из Англии Монтгомери,—возразил мэр.

— Огонь с небеси падет на папистов,—сказал пастор.

— Хлеб с каждым днем дорожает, господин мэр.

— Мы ожидаем английский флот с минуты на минуту, и тогда в городе опять всего будет много.

— Если понадобится, господь пошлет манну с небес! — запальчиво выкрикнул Лаплас.

— Вы надеетесь на помощь извне,— продолжал Лану,— но ведь если южный ветер продержится несколько дней, флот не сумеет войти в нашу гавань. А, кроме того, флот могут и захватить.

— Ветер будет северный! Я тебе это предсказываю, маловер! — провозгласил пастор.— Вместе с правой рукой ты утратил стойкость.

Лану, должно быть, твердо решил не отвечать пастору. По-прежнему обращаясь к мэру, и только к мэру, он продолжал:

— Противнику потерять десять человек не так страшно, как нам одного. Я боюсь вот чего: если католики усилят натиск, то как бы нам не пришлось принять условия потяжелее тех, которые вы теперь с таким презрением отвергаете. Я надеюсь, что король удовольствуется тем, что город признает его власть, и не потребует от нас невозможного, а потому, мне кажется, наш долг — отворить ему ворота: как-никак, ведь он наш властитель, а не кто-нибудь еще.

— У нас один властитель—Христос! Только безбожники способны назвать своим властителем свирепого Ахава — Карла, пьющего кровь пророков...

Несокрушимое спокойствие Лану выводило пастора из себя.

— Я хорошо помню,— сказал мэр,— слова господина адмирала, которые я от него услышал, когда он последний раз был в нашем городе проездом: «Король обещал мне обходиться одинаково со всеми своими подданными, что с католиками, что с протестантами». А через полгода король велел убить адмирала. Если мы отворим ворота, у нас повторится Варфоломеевская ночь.

— Короля ввели в заблуждение Гизы. Он раскаивается, ему хотелось бы как-нибудь искупить кровопролитие. Если же вы с прежним упорством будете отвергать мирные переговоры, то в конце концов вы этим озлобите католиков, королевство обрушит на вас всю свою мощь, и единственный оплот реформатской веры будет снесен с лица земли. Нет, милостивый государь, поверьте мне: мир, и только мир!

— Трус! — крикнул пастор.— Ты жаждешь мира, потому что боишься за свою шкуру.

— Господин Лаплас!..— остановил его мэр.

— Коротко говоря,— невозмутимо продолжал Лану,— мое последнее слово таково: если король согласится не ставить в Ла-Рошели гарнизона и не запрещать наши протестантские собрания, то нам надлежит отдать ему ключи города и присягнуть на верность.

— Изменник! — вскричал Лаплас.— Ты подкуплен тиранами!

— Бог знает, что вы говорите, господин Лаплас! — снова возмутился мэр.

Лану чуть заметно улыбнулся презрительной улыбкой.

— Видите, господин мэр, в какое странное время мы живем: военные говорят о мире, а духовные лица проповедуют войну... Уважаемый господин пастор! — неожиданно обратился он к Лапласу.— Пора обедать. Ваша супруга, по всей вероятности, ждет вас.

Эти последние слова взбесили пастора. Он не нашелся, что сказать, а так как пощечина избавляет от необходимости ответить что-нибудь разумное, то он ударил старого полководца по щеке.

— Господи твоя воля! Что вы делаете? — крикнул мэр.— Ударить господина Лану, лучшего нашего гражданина и самого отважного воина во всей Ла-Рошели!

Присутствовавший при этом Мержи вознамерился так огреть Лапласа, чтобы тот долго это помнил, однако Лану удержал его.

Когда ладонь старого безумца дотронулась до его заросшей седой бородой щеки, то на одно, быстрое, как мысль, мгновение глаза Лану сверкнули гневно и негодующе. Но затем его лицо вновь приняло бесстрастное выражение. Можно было подумать, что пастор ударил мраморный бюст римского сенатора или что полководца случайно задел какой-нибудь неодушевленный предмет.

— Отведите старика к жене,— сказал он одному из горожан, оттащивших от него престарелого пастора.— Велите ей поухаживать за ним: сегодня он явно не в себе... Господин мэр, прошу вас: наберите мне из жителей города пятьсот добровольцев,— я хочу произвести вылазку завтра на рассвете, когда солдаты совсем зачоченеют после ночи в окопах, словно медведи, если их поднять во время оттепели. Я замечал, что люди, которые спали под кровом, утром стоят дороже тех, что провели ночь под открытым небом... Господин де Мержи! Если вы не очень проголодались, давайте сходим на Евангельский бастион. Мне хочется посмотреть, подвинулись ли за это время работы противника.

Тут он поклонился мэру и, опершись на плечо молодого человека, отправился на бастион.

Перед самым их приходом выстрелила неприятельская пушка, и двух ларошельцев смертельно ранило. Камни были забрызганы кровью. Один из этих несчастных умолял товарищей прикончить его. Лану, облокотившись на парапет, некоторое время молча наблюдал за осаждающими, потом обратился к Мержи.

— Всякая война ужасна, а уж гражданская!..— воскликнул он.— Этим ядром была заряжена французская пушка. Навел пушку, поджег запал опять-таки француз, и двух французов этим ядром убило. Но лишить жизни человека, находясь от него на расстоянии полумили,— это еще ничего, господин де Мержи, а вот когда приходится вонзать шпагу в тело человека, который на вашем родном языке молит вас пощадить его!.. А ведь мы с вами не далее, как нынче утром, именно этим и занимались.

— Если б вы видели резню двадцать четвертого августа, если бы вы переправлялись через Сену, когда она была багровой и несла больше трупов, нежели льдин во время ледохода, вы бы не очень жалели тех людей, с которыми мы сражаемся. Для меня всякий папист — кровопийца...

— Не клеветецте на свою родину. В осаждающем нас войске чудовищ не так уж много. Солдаты — это французские крестьяне, которые бросили плуг ради жалованья, а дворяне и военачальники дерутся потому, что присягали королю на верность. Может быть, они поступают, как должно, а вот мы... мы бунтовщики.

— Почему же бунтовщики? Наше дело правое, мы сражаемся за веру, за свою жизнь.

— Сколько я могу судить, сомнения вам почти неизвестны. Счастливый вы человек, господин де Мержи, — сказал старый воин и тяжело вздохнул.

— А, чтоб ему пусто было! — проворчал солдат, только что выстреливший из аркебузы. — Этот черт не иначе как заколдован. Третий день выцеливаю, а попасть не могу.

— Это ты про кого? — спросил Мержи.

— А вон про того молодца в белом камзоле, с красной перевязью и красным пером на шляпе. Каждый день прохаживается перед самым нашим носом, как будто дразнит. Это один из тех придворных золотошпажников, что наехали сюда с принцем.

— Жаль, далеко, — заметил Мержи, — ну, все равно, дайте сюда аркебузу.

Один из солдат дал ему свою аркебузу. Мержи, положив для упора конец дула на парапет, стал прицеливаться.

— Ну, а если это кто-нибудь из ваших друзей? — спросил Лану. — Охота была брать на себя обязанности аркебузира!

Мержи хотел уже спустить курок, но эти слова его остановили.

— Среди католиков у меня только один друг. Но я твердо уверен, что он в осаде участия не принимает.

— Ну, а если это ваш брат, прибывший в свите принца...

Выстрел раздался, но рука у Мержи дрогнула,—пыль поднялась довольно далеко от гуляки. У Мержи и в мыслях не было, чтобы его брат находился в рядах католического войска, однако он был доволен, что промахнулся. Человек, в которого он стрелял, все так же медленно расхаживал взад и вперед и наконец скрылся за одной из куч свежевыкопанной земли, возвышавшихся вокруг всего города.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

### ВЫЛАЗКА

*Hamlet*  
*Dead, for a ducat dead!*  
*Shakespeare\*.*

Мелкий, холодный дождь зарядил на всю ночь и перестал, только когда побелевший восток предвозвестил зарю. По земле стлался такой плотный туман, что солнечным лучам трудно было его прорезать, и как ни пытался разогнать его ветер, то тут, то там оставляя в нем как бы широкие прогалы, а все же серые его клочья срастались вновь,—так волны, разрезанные кораблем, снова низвергаются и затопляют проведенную борозду. Из густой мглы выглядывали, точно из воды во время разлива, верхушки деревьев.

В городе неверный утренний свет, сливавшийся с огнями факелов, озарял довольно многочисленный отряд солдат и добровольцев, собравшихся на той улице, что вела к Евангельскому бастиону. Продрогнув от холода и сырости, всегда пробирающих до костей на зимней утренней заре, они переминались с ноги на ногу и топтались на месте. Они ругательски ругали того, кто спозаранку заставил их взяться за оружие, но как они ни бранились, все же в каждом их слове звучали бодрость и уверенность, какою бывают проникнуты солдаты,

---

\* Г а м л е т  
Ставлю золотой — мертв!  
Шекспир (англ.).

которыми командует заслуживший их уважение полководец. Они говорили между собой полушутя, полу-серьезно:

— Ох, уж эта окаянная *Железная рука*, *Полунощник* проклятый! Позавтракать не сядет, пока этих детоубийц не разбудит. Лихорадка ему в бок!

— Чертов сын! Разве он когда даст поспать?

— Клянусь бородой покойного адмирала: если сию секунду не затрещат выстрелы, я засну как все равно в постели!

— Ура! Водку несут! Сейчас у нас тепло разольется по жилам, а иначе в этом чертовом тумане мы бы наверняка схватили насморк.

Солдатам стали разливать водку, а в это время под навесом лавки Лану принялся излагать военачальникам, слушавшим его затаив дыхание, план предстоящей вылазки. Забил барабан; все разошлись по местам; пастор, благословив солдат, воззвал к их доблести и пообещал вечную жизнь тем, кому не суждено, возвратившись в город, получить награду и заслужить благодарность своих сограждан.

Пастор был краток; Лану, однако, нашел, что наставление затянулось. Теперь это был уже не тот человек, который накануне дорожил каждой каплей французской крови. Сейчас это был воин, которому не терпится поглядеть на схватку. Как скоро пастор кончил поучать и солдаты ответили ему: *Амен* \*, Лану заговорил твердо и сурово:

— Друзья! Пастор хорошо сказал: поручим себя господу богу и божьей матери Сокрушительнице. Первого, кто выстрелит наугад, я убью, если только сам уцелею.

— Сейчас вы заговорили по-иному,— шепнул ему Мержи.

— Вы знаете латынь? — резко спросил Лану.

— Знаю.

— Ну, так вспомните мудрое изречение: *Age quod agis* \*\*.

Он махнул рукой, выстрелила пушка, и весь отряд, шагая по-военному, направился за город. Одновременно

---

\* Аминь (лат.).

\*\* Делай свое дело (лат.).



из разных ворот вышли небольшими группами солдаты и начали тревожить противника в разных пунктах его расположения с тою целью, чтобы католики, вообразив, что на них нападают со всех сторон, не решились из боязни оголить любой из своих участков послать подкрепление туда, где им предполагалось нанести главный удар.

Евангельский бастион, против которого были направлены усилия подкопщиков католического войска, особенно страдал от батареи из пяти пушек, занимавшей горку, на которой стояла мельница, пострадавшая во время осады. От города батарея была защищена рвом и бруствером, а за рвом было еще выставлено сторожевое охранение. Но, как и предвидел протестантский военачальник, отсыревшие аркебузы часовых отказали. Нападавшие, хорошо снаряженные, подготовившиеся к атаке, были в гораздо более выгодном положении, чем люди, захваченные врасплох, не успевшие отдохнуть после бессонной ночи, промокшие и замерзшие.

Передовые вырезаны. Случайные выстрелы будят батарею, уже когда протестанты, овладев бруствером, взбираются на гору. Кое-кто из католиков пытается оказать сопротивление, но заочневшие руки плохо держат оружие, почти все аркебузы дают осечку, а у протестантов ни один выстрел зря не пропадает. Всем уже ясно, кто победит; протестанты, захватив батарею, выпускают кровожадный крик:

— Пощады никому! Помните двадцать четвертое августа!

На вышке мельницы находилось человек пятьдесят солдат вместе с их начальником. Начальник, в ночном колпаке и в подштанниках, держа в одной руке подушку, а в другой — шпагу, отворил дверь, чтобы узнать, что это за шум. Далекий от мысли о вражеской вылазке, он вообразил, что это ссорятся его солдаты. Он был жестоко наказан за свое заблуждение: удар алебарды свалил его на землю, он плавал в луже собственной крови. Солдаты успели завалить дверь, ведущую на вышку, и некоторое время они удачно защищались, стреляя из окон. Но подле мельницы высились кучи соломы и сена и груды хвороста для туров. Протестанты все это подожгли, огонь мгновенно охватил мельницу и стал подби-

ратся к вышке. Скоро оттуда донеслись умоляющие голоса. Крыша была объята пламенем и грозила обвалиться на головы несчастных. Дверь загорелась, заграждения, которые они тут устроили, мешали им выйти. Те, что прыгали в окна, падали в огонь или прямо на острия пик. Тут произошел ужасный случай. Какой-то знаменщик в полном вооружении тоже решил выскочить в узкое оконце. Его кираса, как того требовал довольно распространенный в описываемое время обычай, оканчивалась чем-то вроде железной юбки<sup>35</sup>, прикрывавшей бедра и живот и расширявшейся в виде воронки, чтобы юбка не мешала ходьбе. Для этой части вооружения окно оказалось слишком узким, а знаменщик с перепугу сунулся туда очертя голову, и почти все его тело оказалось снаружи, застряло — и ни туда, ни сюда, как в тисках. А пламя все ближе, ближе, вооружение накаляется, и он сам жарится на медленном огне, будто в печке или же в знаменитом медном быке, который был изобретен Фаларисом. Несчастный дико кричал и махал руками, тщетно зовя на помощь. Атаковавшие на мгновение притихли, потом дружно, точно по уговору, чтобы заглушить вопли горевшего человека, проорали боевой клич. Человек исчез в вихре огня и дыма, только его раскалившаяся докрасна, дымившаяся каска мелькнула среди рухнувших обломков вышки.

Во время боя тяжелые или же грустные впечатления стираются быстро: в солдатах силен инстинкт самосохранения, и они скоро забывают о чужих несчастьях. Одни ларошельцы преследовали беглецов, другие заклепывали пушки, разбивали колеса и сбрасывали в ров туры и трупы артиллеристов.

Мержи одним из первых спустился в ров и поднялся на вал; остановившись передохнуть, он нацарапал на орудии имя Дианы, затем вместе с другими принялся разрушать земляные работы противника.

Солдат взял за голову католического военачальника, не подававшего признаков жизни, другой схватил его за ноги, и оба принялись мерно раскачивать его с тем, чтобы потом швырнуть в ров. Неожиданно мнимый мертвец открыл глаза и, узнав Мержи, воскликнул:

— Господин де Мержи! Пощадите! Я сдаюсь, спасите меня! Неужели вы не узнаете вашего друга Бевиля?

Лицо у несчастного было залито кровью, и Мержи трудно было узнать в умирающем молодого придворного, которого он помнил жизнерадостным и веселым. Он вел бережно опустить Бевиля на траву, своими руками перевязал ему рану, а затем, положив поперек коня, приказал, соблюдая осторожность, отвезти его в город.

Пока он прощался с Бевилем и помогал свести коня с горки, на которой была расположена батарея, между городом и мельницей показалась ехавшая на рысях группа всадников. Судя по всему, это был отряд католического войска, намеревавшегося отрезать протестантам отступление. Мержи побежал предупредить Лану.

— Доверьте мне ну хотя бы сорок аркебузирова,—сказал он,— я схоронюсь с ними вон за той изгородью, всадники поедут мимо, и если они на всем скаку не повернут коней, прикажите меня повесить.

— Добро, мой мальчик! Когда-нибудь из тебя выйдет изрядный полководец. Эй, вы! Идите за этим дворянином и исполняйте все его приказания.

Бернар живо расставил аркебузирова за изгородью, приказал опуститься на одно колено, взять аркебузы на изготовку и строго воспретил стрелять без команды.

Всадники быстро приближались. Уже явственно слышно было, как чвякают по грязи конские копыта.

— Их начальник — тот самый пострел с красным пером на шляпе, в которого мы вчера не попали. Зато попадем сегодня.

Аркебузир, стоявший от него справа, кивнул головой как бы в знак того, что берет это на себя. Всадники были уже не более чем в двадцати шагах, их начальник повернулся к отряду, очевидно, для того, чтобы отдать приказ, но в эту самую минуту Мержи неожиданно вскочил и крикнул:

— Пли!

Начальник с красным пером на шляпе обернулся, и Бернар узнал Жоржа. Он потянулся к аркебузе стоявшего рядом солдата, чтобы отвести дуло, но, прежде чем он до нее дотронулся, заряд успел вылететь. Напуганные внезапным выстрелом, всадники бросились враспынную. Капитан Жорж, сраженный двумя пулями, упал.

ЛАЗАРЕТ

*F a t h e r*  
*Why are you so obstinate?*  
*P i e r r e*  
*Why you so troublesome, that a poor wretch*  
*Can't die in peace,*  
*But you, like ravens, will be croaking round*  
*him?*

*O t w a y. «Venice preserved» \*.*

Старинный монастырь, упраздненный городским советом Ла-Рошели, во время осады был превращен в лазарет для раненых. Из церкви были вынесены скамьи, престол и все украшения, пол застелили соломой и сеном, — сюда клали простых солдат. Для офицеров и дворян была отведена трапезная. Она представляла собой обширное, обитое старым дубом помещение с широкими стрельчатыми окнами, благодаря которым в трапезной было много света, а свет был нужен для непрерывных хирургических операций.

Сюда внесли и капитана Жоржа и положили на матрац, красный от его крови и от крови таких же несчастных, как он, лежавших до него в этом месте скорби. Подушку ему заменяла охапка соломы. С него только что сняли кирасу, на нем разорвали камзол и рубашку. Он был гол до пояса, но на правой руке еще оставались наручники и стальная перчатка. Солдат пытался остановить кровь, струившуюся у него из ран: его ранило в живот, чуть ниже кирасы, и легко ранило в левую руку. Бернар не способен был оказать брату мало-мальски существенную помощь — так он горевал. Он то, рыдая, падал перед ним на колени, то с воплями отчаяния катался по полу и все упрекал себя в том, что убил нежно любимого

\* М о н а х

Почему вы такой упрямый?

П ь е р

А почему вы такие назойливые, почему вы не даете несчастному  
 Умереть спокойно

И каркаете вокруг него, как воронье?

О т у э й. «Спасенная Венеция» (англ.).

го брата и самого близкого своего друга. Капитан, однако, не терял присутствия духа и старался успокоить Бернара.

Совсем близко от его матраца лежал бедняга Бевиль,— состояние у него было тоже тяжелое. Но черты его не выражали безучастной покорности, которая была написана на лице капитана. По временам он глухо стонал и оглядывался на Жоржа,—он словно просил, чтобы тот поделился с ним своею стойкостью и мужеством.

В помещение лазарета, держа зеленую сумку, в которой что-то, наводя страх на бедных раненых, брякало, вошел человек лет сорока, сухопарый, костлявый, лысый, с морщинистым лицом, и направился к капитану Жоржу. Это был довольно искусный для своего времени хирург Бризар, ученик и друг знаменитого Амбруаза Парре. Он, видимо, только что сделал кому-то операцию,—рукава у него были засучены до локтей, широкий фартук замаран кровью.

— Что вам нужно? Кто вы такой? — спросил Жорж.

— Я, милостивый государь, хирург. Если имя мэтра Бризара вам ничего не говорит, стало быть, вы человек малоосведомленный. Ну-с, позаимствуйте, как говорится, у овцы храбрости. В огнестрельных-то ранах я, слава тебе господи, знаю толк. Я хотел бы, чтобы у меня было столько мешков с золотом, сколько пуль я извлек у людей, которые сейчас здоровехоньки и мне того же желают.

— Вот что, доктор, скажите мне правду: рана, сколько я понимаю, смертельна?

Хирург прежде всего осмотрел левую руку.

— Ерунда! — сказал он и стал зондировать другую рану.

Немного спустя капитан уже корчился от боли и в конце концов правой рукой оттолкнул руку доктора.

— Ну вас к черту, проклятый лекарь! Не лезьте дальше! Я вижу по вашему лицу, что моя песенка спета.

— Видите ли, милостивый государь, я очень боюсь, что пуля задела сперва надчревную область, потом пошла выше и застряла в спинном хребте, именуемом нами по-гречески *рахис*. У вас отнялись и похолодели ноги — вот что меня в этом убеждает. Патогномонические признаки почти никогда не обманывают, а в таких случаях...

— Стреляли в упор, пуля в спинном хребте! Какого же черта еще нужно, доктор, чтобы отправить беднягу *ad patres*\*? Ну, так и перестаньте меня мучать, дайте умереть спокойно.

— Нет, он будет жить, он будет жить! — уставив на хирурга мутный взгляд, крикнул Бернар и стиснул ему руку.

— Да, будет — еще час, может быть, два, — хладнокровно заметил Бризар, — он крепыш.

Бернар снова упал на колени и, схватив руку Жоржа, оросил слезами стальную перчатку.

— Два часа? — спросил Жорж. — Ну вот и отлично. Я боялся дольше промучиться.

— Нет, я этому не верю! — рыдая, воскликнул Бернар. — Жорж! Ты не умрешь! Не может брат погибнуть от руки брата.

— Будет тебе! Успокойся! И не тряси меня! Во мне отзывается каждое твое движение. Пока я еще не очень страдаю, лишь бы так было и дальше, как сказал Дзани, падая с колокольни.

Бернар сел возле матраца, уронил голову на колени и закрыл руками лицо. Глядя на его неподвижную фигуру, можно было подумать, что он дремлет. Временами по всему его телу пробегала дрожь, словно его лихорадило, а из груди вырывались какие-то нечеловеческие стоны.

Хирург кое-как перевязал рану, только чтобы унять кровь, и теперь с самым невозмутимым видом вытирал зонд.

— Советую подготовиться, — сказал он. — Если хотите пастора, то пасторов здесь предостаточно. Если же вы предпочитаете католического священника, то один-то уж во всяком случае найдется. Я только что видел пленного монаха. Там отходит папистский военачальник, а он его исповедует.

— Дайте мне пить! — попросил капитан.

— Ни за что! Тогда вы умрете часом раньше.

— Час жизни не стоит стакана вина. Ну, прощайте, доктор! Рядом со мной вас ждут с нетерпением.

— Кого же вам прислать: пастора или монаха?

---

\* К праотцам (лат.).

— Ни того, ни другого.

— То есть как?

— Оставьте меня в покое.

Хирург пожал плечами и подошел к Бевилю.

— Отличная рана, клянусь бородой! — воскликнул он. — Эти черти добровольцы бьют метко.

— Ведь правда, я выздоравливаю? — сдавленным голосом спросил раненый.

— Вздохните, — проговорил Бризар.

Послышалось что-то вроде слабого свиста: это воздух выходил из груди Бевиля и через рану и через рот. В то же мгновение из раны забила кровавая пена.

Хирург, словно подражая странному этому звуку, свистнул, как попало наложил повязку, молча собрал инструменты и направился к выходу. Бевиль горящими, как факелы, глазами следил за каждым его движением.

— Ну как, доктор? — дрожащим голосом спросил он.

— Собирайтесь в дорогу, — холодно ответил хирург и удалился.

— Я не хочу умирать! Ведь я еще так молод! — воскликнул несчастный Бевиль и откинулся головой на охапку соломы, которая заменяла ему подушку.

Жорж просил пить, но из боязни ускорить его кончину никто не хотел дать ему стакан воды. Хорошо человекулюбие, если оно способно только длить страдания! В это время пришли навестить раненых Лану, капитан Дитрих и другие военачальники. Лану и Дитрих остановились у матраца Жоржа. Лану, опираясь на рукоять шпаги, смотрел то на одного брата, то на другого, и в глазах его отражалось сильное волнение, вызванное печальным этим зрелищем.

Внимание Жоржа привлекла фляга, висевшая на боку у немецкого капитана.

— Капитан! — молвил он. — Вы старый солдат?..

— Да, я старый солдат. От порохового дыма борода седеет быстрее, чем от возраста. Я капитан Дитрих Горнштейн.

— Взгляните на мою рану; как бы вы поступили на моем месте?

Капитан Дитрих оглядел его с видом человека, привыкшего смотреть на раны и судить об их тяжести.

— Я бы очистил свою совесть и, если бы нашлась бутылка рейнвейна, попросил, чтобы мне налили полный стакан,— отвечал он.

— Ну, вот видите, я прошу у этих олухов глоток скверного ларошельского вина, а они не дают.

Дитрих отстегнул свою весьма внушительных размеров флягу и протянул раненому.

— Что вы делаете, капитан? — вскричал один из аркебузиров.— Лекарь сказал, что если он чего-нибудь выпьет, то сию же минуту умрет.

— Ну и что ж из этого? По крайности получит перед смертью маленькое удовольствие... Держите, мой милый! Жалею, что не могу предложить вам вина получше.

— Вы хороший человек, капитан Дитрих,— выпив, сказал Жорж и протянул флягу своему соседу.— А ты, бедный Бевиль, хочешь последовать моему примеру?

Но Бевиль молча покачал головой.

— Ай-ай! Этого еще не хватало! — забеспокоился Жорж.— И умереть спокойно не дадут.

Он увидел, что к нему направляется пастор с библией под мышкой.

— Сын мой! — начал пастор.— Вы теперь...

— Довольно, довольно! Я знаю наперед все, что вы намереваетесь мне сказать. Напрасный труд. Я католик.

— Католик?—воскликнул Бевиль.— Значит, ты уже не атеист?

— Но ведь вы были воспитаны в лоне реформатской религии,— возразил пастор,— и в эту торжественную и страшную минуту, когда вы собираетесь предстать перед верховным судьей человеческих дел и помышлений...

— Я католик. Оставьте меня в покое, черт бы вас подрал!

— Но...

— Капитан Дитрих! Сжальтесь надо мной! Вы мне уже оказали важную услугу, теперь я прошу вас еще об одной. Прикажете ему прекратить увещания и иеремиады. Я хочу умереть спокойно.

— Отойдите,— сказал пастору капитан.— Вы же видите, что он не расположен вас слушать.

Лану подал знак монаху,— тот сейчас же подошел.

— Вот ваш священник,—сказал Лану капитану Жоржу,— мы свободу совести не стесняем.



— И монаха и пастора — обоих к чертям! — объявил раненый.

Монах и пастор стояли по обе стороны матраца, — они словно приготовились вступить друг с другом в борьбу за умирающего.

— Этот дворянин — католик, — сказал монах.

— Но родился он протестантом, — возразил пастор, — значит, он мой.

— Но он перешел в католичество.

— Но умереть он желает в лоне той веры, которую исповедовали его родители.

— Кайтесь, сын мой.

— Прочтите символ веры, сын мой.

— Ведь вы же хотите умереть правоверным католиком, не так ли?

— Простите этого слугу антихриста, — чувствуя поддержку большинства присутствующих, возопил пастор.

При этих словах какой-то солдат из ревностных гугенотов схватил монаха за пояс и оттащил его.

— Вон отсюда, выстриженная макушка! — заорал он. — По тебе плачет виселица! В Ла-Рошели давно уже не служат месс.

— Стойте! — сказал Лану. — Если этот дворянин желает исповедаться, пусть исповедует, — даю слово, никто ему не помешает.

— Благодарю вас, господин Лану... — слабым голосом произнес умирающий.

— Будьте свидетелями: он желает исповедаться, — снова заговорил монах.

— Не желаю, идите к черту!

— Он возвращается в лоно веры своих предков! — вскричал пастор.

— Нет, разрази вас гром, не возвращаюсь! Уйдите от меня оба! Значит, я уже умер, если вороны дерутся из-за моего трупа. Я не хочу ни месс, ни псалмов.

— Он богохульствует! — закричали в один голос служители враждующих культов.

— Во что-нибудь верить надо, — невозмутимо спокойным тоном проговорил капитан Дитрих.

— По-моему... по-моему, вы добрый человек, избавь-

те же меня от этих гартий... Прочь от меня, прочь, пусть я издохну, как собака!

— Ну, так издыхай, как собака! — сказал пастор и, разгневанный, направился к двери.

В ту же минуту к постели Бевиля, перекрестившись, подошел монах.

Лану и Бернар остановили пастора.

— Сделайте последнюю попытку, — сказал Бернар. — Пожалейте его, пожалейте меня!

— Милостивый государь! — обратился к умирающему Лану. — Поверьте старому солдату: наставления человека, посвятившего всю свою жизнь богу, обладают способностью облегчать воину его последние минуты. Не слушайте голоса греховной суетности, не губите свою душу из пустой рисовки.

— Милостивый государь! — заговорил Жорж. — Я давно начал думать о смерти. Чтобы быть к ней готовым, я ни в чьих наставлениях не нуждаюсь. Я никогда не любил рисоваться, а сейчас и подавно. Но слушать их вздор? Нет, пошли они к чертовой матери!

Пастор пожал плечами, Лану вздохнул. Оба опустили головы и медленным шагом двинулись к выходу.

— Приятель! — обратился к Жоржу Дитрих. — Раз вы говорите такие слова, стало быть, вам, наверно, чертовски больно?

— Да, капитан, мне чертовски больно.

— В таком случае надеюсь, что ваши речи не прогневают бога, а то ведь это здорово смахивает на богохульство. Впрочем, когда в теле человека сидит заряд, то уж тут, прах меня побери, не грех и ругнуться — от этого становится легче.

Жорж улыбнулся и еще раз отпил из фляги.

— За ваше здоровье, капитан! Лучшей сиделки, чем вы, для раненого солдата не найдешь.

Сказавши это, он протянул ему руку. Капитан Дитрих не без волнения пожал ее.

— *Teufel* \*! — еле слышно пробормотал он. — Если б мой брат Генниг был католиком и я вlepил бы ему в брюхо заряд... Так вот что означало предсказание Милы!

— Жорж, товарищ мой! — жалобным голосом заго-

---

\* Черт побери! (нем.).

ворил Бевиль.— Скажи мне что-нибудь! Мы сейчас умрем, это так страшно! Ты мне когда-то говорил, что бога нет, сейчас ты тоже так думаешь?

— Конечно! Мужайся! Еще несколько минут — и наши страдания кончатся.

— А монах толкует мне о вечном огне... о бесах... еще о чем-то... Но меня это не очень утешает.

— Враки!

— А что, если это правда?

— Капитан! Оставляю вам в наследство кирасу и шпагу. Жаль, что не могу лучше отблагодарить вас за то славное вино, которым вы по своей доброте меня угостили.

— Жорж, друг мой! — снова заговорил Бевиль.— Если б все, о чем он толкует, оказалось правдой, это было бы ужасно!.. Вечность!..

— Трус!

— Да, трус... Легко сказать! Будешь тут трусом, когда тебе сулят вечную муку.

— Ну, так исповедуйся.

— Скажи, пожалуйста, ты уверен, что ада не существует?

— Отстань!

— Нет, ты ответь: ты совершенно в этом уверен? Дай мне слово, что ада нет.

— Я ни в чем не уверен. Если черт есть, то мы сейчас убедимся, так ли уж он черен.

— А ты и в этом не уверен?

— Говорят тебе, исповедуйся.

— Ты же будешь смеяться надо мной.

Жорж невольно улыбнулся, потом заговорил уже серьезно:

— Я бы на твоём месте исповедался — так спокойнее. Тебя исповедали, соборовали, и теперь тебе уже нечего бояться.

— Ну что ж, я как ты. Исповедуйся ты сперва.

— Не буду.

— Ну уж это!.. Ты как хочешь, а я умру правоверным католиком... Хорошо, отец мой, я сейчас прочту *Confiteor* \*, только вы мне подсказывайте, а то я подзабыл.

---

\* Каюсь (лат.).

Пока он исповедовался, капитан Жорж еще раз хлебнул из фляжки, затем положил голову на жесткую свою подушку и закрыл глаза. С четверть часа он лежал спокойно. Потом вдруг стиснул зубы, но все же не мог удержать долгий болезненный стон и вздрогнул всем телом. Бернар, решив, что Жорж отходит, громко вскрикнул и приподнял ему голову. Капитан тотчас открыл глаза.

— Опять? — спросил он и легонько оттолкнул Бернара. — Полно, Бернар, успокойся!

— Жорж! Жорж! Ты гибнешь от моей руки!

— Ничего не поделаешь! Я не первый француз, которого убил брат... Полагаю, что и не последний. Но виноват во всем я... Принц вызволил меня из тюрьмы и взял с собой, и я тут же дал себе слово не обнажать шпаги... Но когда я узнал, что бедняга Бевиль в опасности... когда до меня донеслись залпы, я решил подъехать поближе.

Капитан опять закрыл глаза, но тут же открыл их и сказал Бернару:

— Госпожа де Тюржи просила передать, что она любит тебя по-прежнему.

Он ласково улыбнулся.

Это были последние его слова. Через четверть часа он умер — видимо, не очень страдая. Несколько минут спустя на руках монаха скончался Бевиль, и монах потом уверял, что он явственно слышал в небе ликующие голоса ангелов, принимавших в свои объятия душу раскаявшегося грешника, меж тем как в преисподней торжествующе завывали бесы, унося душу капитана Жоржа.

Во всех историях Франции рассказывается о том, как Лану, которому опостылела гражданская война и которого замучила совесть, потому что он воевал со своим королем, в конце концов покинул Ла-Рошель, как королевское войско вынуждено было снять осаду и как в четвертый раз был заключен мир, вскоре после чего Карл IX умер.

Утешился ли Бернар? Появился ли новый возлюбленный у Дианы? Это я предоставляю решить читателям, — таким образом, каждый из них получит возможность закончить роман, как ему больше нравится.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Нельзя ли установить такой взгляд и на отдельных лиц? Неужели воруящий сын вора несет одинаковую ответственность с человеком воспитанным, который стал злостным банкротом?

<sup>2</sup> Это предисловие было написано в 1829 году.

<sup>3</sup> Как доказательство крайнего двуличия Карла IX приводили одну его фразу, которая, на мой взгляд, представляет собой всего лишь грубую выходку человека, вполне равнодушного к религии. Папа чинил препятствия браку сестры Карла IX, Маргариты Валуа, с Генрихом IV, в то время протестантом. «Если святейший владыка не даст согласия,— сказал король,— я возьму сестрицу Марготон под руку и обвенчаю ее в протестантской церкви».

<sup>4</sup> Население Франции тогда равнялось приблизительно двадцати миллионам человек. Полагают, что во время второй гражданской войны число протестантов не превышало полутора миллионов, но у них было больше денег, солдат и полководцев.

<sup>5</sup> Во время второй гражданской войны протестанты в один день внезапно захватили больше половины французских крепостей. Католики имели теперь возможность сделать то же самое.

<sup>6</sup> Морвеля прозвали *убийцей на службе у короля*. См. Брантом.

<sup>7</sup> Слова Наполеона.

<sup>8</sup> Он приписывал убийство Колиньи и всю эту резню герцогу Гизу и принцам Лотарингского дома.

<sup>9</sup> Принц Конде.

<sup>10</sup> Искраженное немецкое слово *Reiter* — всадник.

<sup>11</sup> Разведчики, легкая кавалерия.

<sup>12</sup> Комический персонаж старинной народной песни.

<sup>13</sup> Так тогда называли профессиональных дуэлистов.

<sup>14</sup> Тогдашнее постоянное место дуэли. Пре-о-Клер тянулся против Лувра, между Малой Августинской улицей и улицей Бак.

<sup>15</sup> Это был цвет реформатов.

<sup>16</sup> Принца Людовика Конде, убитого под Жарнаком, католики обвиняли в притязаниях на королевский престол. Адмирала Колиньи называли Гаспаром.

<sup>17</sup> Польтро де Мере убил великого Франсуа, герцога Гиза, во время осады Орлеана, когда город находился в отчаянном положении. Колиньи довольно неудачно пытался отвести от себя обвинение в том, что убийство было совершено по его приказанию или, во всяком случае, при его попустительстве.

<sup>18</sup> Его брата.

<sup>19</sup> Согласно мирному договору, заключенному после третьей гражданской войны, при некоторых судебных палатах были учреждены комиссии; половина тех, кто входил в эти комиссии, исповедовала кальвинистскую веру. В обязанности комиссии входило разбирать дела, возникавшие между католиками и протестантами.

<sup>20</sup> «Она умерла,— пишет д'Обинье (*Всеобщая история*, т. II, гл. II),— от яда, который через надушенные перчатки проник к ней в мозг, а изготовил яд флорентинец мессир Рене, которого после этого все возненавидели, даже враги государыни».

<sup>21</sup> У записных дуэлистов существовало правило не затевать новой ссоры впредь до окончания прежней.

<sup>22</sup> Длинная обоюдоострая шпага.

<sup>23</sup> Свидетели часто не ограничивались ролью простых свидетелей — они дрались между собой. Тогда говорили: *секундировать, тьерсировать* кого-нибудь.

<sup>24</sup> Ударить по шпаге, чтобы отвести опасный для жизни удар. Все фехтовальные термины заимствовались тогда из итальянского языка.

<sup>25</sup> Молчите.

<sup>26</sup> Сегодня вечером вас будет ждать одна дама.

<sup>27</sup> Да храит вас господь. Милости просим.

<sup>28</sup> Вы говорите по-испански?

<sup>29</sup> Не все сразу.

<sup>30</sup> Прости, господи, мое согрешение! Вы монах, а не кавалер.

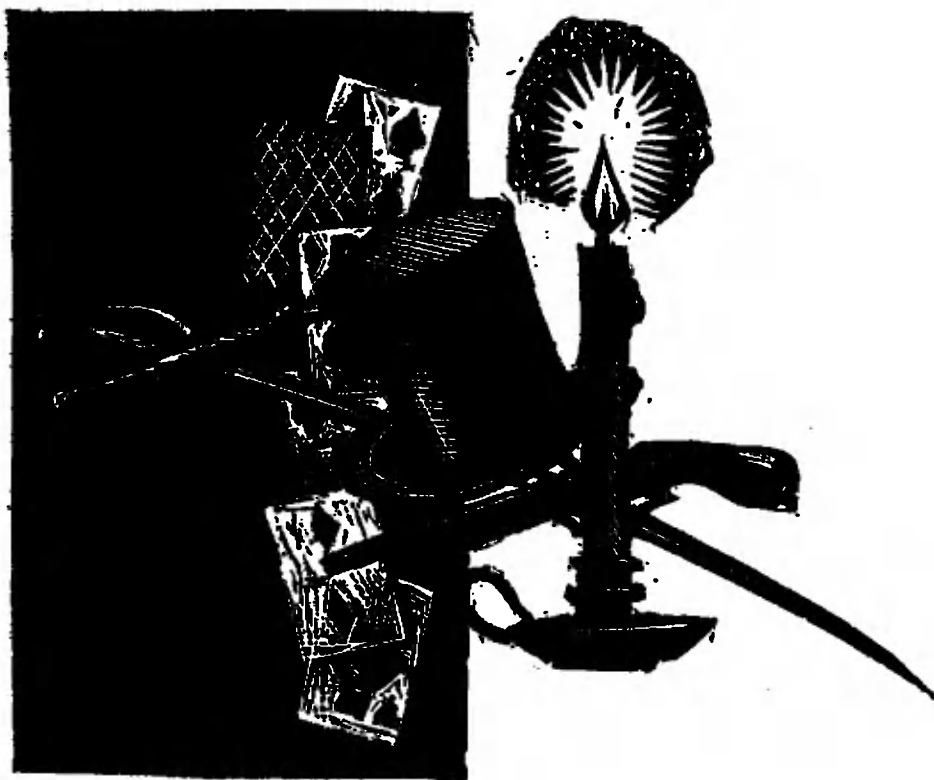
<sup>31</sup> Читателю предоставляется самому вставить эпитет.  
Карл IX любил выражения сильные, но зато не очень изящные.

<sup>32</sup> Д'Обинье, *Всемирная история*.

<sup>33</sup> Д'Обинье, *Всемирная история*.

<sup>34</sup> Герцог Анжуйский, впоследствии Генрих III.

<sup>35</sup> Подобного рода доспех выставлен в Артиллерийском музее. По превосходному рубеисовскому наброску, на котором изображен турнир, можно понять, как в таких железных юбках люди, однако, садились на коней. Седла были снабжены чем-то вроде табуреточек, которые входили под юбки и приподнимали всадников настолько, что их колени оказывались почти на одном уровне с головой коня. Что же касается человека, сгоревшего в своих латах, то об этом см. *Всемирную историю* д'Обинье.



**Мозаика**

# Маттео Фальконе



Если пойти на северо-запад от Порто-Веккьо в глубь острова, то местность начнет довольно круто подниматься, и после трехчасовой ходьбы по извилистым тропкам, загромажденным большими обломками скал и кое-где пересеченным оврагами, выйдешь к обширным зарослям *маки*. *Маки* — родина корсиканских пастухов и всех, кто не в ладах с правосудием. Надо сказать, что корсиканский земледелец, не желая брать на себя труд унаваживать свое поле, выжигает часть леса: не его забота, если огонь распространится дальше, чем это нужно; что бы там ни было, он уверен, что получит хороший урожай на земле, удобренной золой сожженных деревьев. После того как колосья собраны (солому оставляют, так как ее трудно убирать), корни деревьев, оставшиеся в земле нетронутыми, пускают на следующую весну частые побеги; через несколько лет они достигают высоты в семь-восемь футов. Вот эта-то густая поросль и называется *маки*. Она состоит из самых разнообразных деревьев и кустарников, перепутанных как попало. Только с топором в руке человек может проложить в них путь; а бывают *маки* такие густые и непроходимые, что даже муфлоны не могут пробраться сквозь них.





Если вы убили человека, бегите в *маки* Порто-Веккьо, и вы проживете там в безопасности, имея при себе доброе ружье, порох и пули; не забудьте прихватить с собой коричневый плащ с капюшоном\*, — он заменит вам и одеяло и подстилку. Пастухи дадут вам молока, сыра и каштанов, и вам нечего бояться правосудия или родственников убитого, если только не появится необходимость спуститься в город, чтобы пополнить запасы пороха.

Когда в 18... году я посетил Корсику, дом Маттео Фальконе находился в полумиле от этого *маки*. Маттео Фальконе был довольно богатый человек по тамошним местам; он жил честно, то есть ничего не делая, на доходы от своих многочисленных стад, которые пастухи-кочевники пасли в горах, перегоняя с места на место. Когда я увидел его два года спустя после того происшествия, о котором я намереваюсь рассказать, ему нельзя было дать более пятидесяти лет. Представьте себе человека небольшого роста, но крепкого, с вьющимися черными, как смоль, волосами, орлиным носом, тонкими губами, большими живыми глазами и лицом цвета невыделанной

---

\* *Piçone*. (Прим. автора.)

кожи. Меткость, с которой он стрелял из ружья, была необычной даже для этого края, где столько хороших стрелков. Маттео, например, никогда не стрелял в муфлона дробью, но на расстоянии ста двадцати шагов убивал его наповал выстрелом в голову или в лопатку — по своему выбору. Ночью он владел оружием так же свободно, как и днем. Мне рассказывали о таком примере его ловкости, который мог бы показаться неправдоподобным тому, кто не бывал на Корсике. В восьмидесяти шагах от него ставили зажженную свечу за листом прозрачной бумаги величиной с тарелку. Он прицеливался, затем свечу тушили, и спустя минуту в полной темноте он стрелял и три раза из четырех пробивал бумагу.

Такое необыкновенно высокое искусство доставило Маттео Фальконе большую известность. Его считали таким же хорошим другом, как и опасным врагом; впрочем, услужливый для друзей и щедрый к бедным, он жил в мире со всеми в округе Порто-Веккьо. Но о нем рассказывали, что в Кортэ, откуда он взял себе жену, он жестоко расправился с соперником, который слыл за человека опасного, как на войне, так и в любви; по крайней мере, Маттео приписывали выстрел из ружья, который настиг соперника в ту минуту, когда тот брился перед зеркальцем, висевшим у окна. Когда эту историю замяли, Маттео женился. Его жена Джузеппа родила ему сначала трех дочерей (что приводило его в ярость) и наконец сына, которому он дал имя Фортунато, — надежду семьи и продолжателя рода. Дочери были удачно выданы замуж: в случае чего отец мог рассчитывать на кинжалы и карабины зятьев. Сыну исполнилось только десять лет, но он подавал уже большие надежды.

Однажды ранним осенним утром Маттео с женой отправились в маки поглядеть на свои стада, которые паслись на прогалине. Маленький Фортунато хотел идти с ними, но пастбище было слишком далеко, кому-нибудь надо было остаться стеречь дом, и отец не взял его с собой. Из дальнейшего будет видно, как ему пришлось в том раскаяться.

Прошло уже несколько часов, как они ушли; маленький Фортунато спокойно лежал на самом солнцепеке и, глядя на голубые горы, думал, что в будущее воскресенье

он пойдет обедать в город к своему дяде *caporale* \*, как вдруг его размышления были прерваны ружейным выстрелом. Он вскочил и повернулся в сторону равнины, откуда донесся этот звук. Снова через неравные промежутки времени слышались выстрелы, все ближе и ближе; наконец на тропинке, ведущей от равнины к дому Маттео, показался человек, покрытый лохмотьями, обросший бородой, в остроконечной шапке, какие носят горцы. Он с трудом передвигал ноги, опираясь на ружье. Его только что ранили в бедро.

Это был бандит \*\*, который, отправившись ночью в город за порохом, попал в засаду корсиканских вольтижеров \*\*\*. Он яростно отстреливался и в конце концов сумел спастись от погони, прячась за уступы скал. Но он ненамного опередил солдат: рана не позволила ему добежать до маки.

Он подошел к Фортунато и спросил:

— Ты сын Маттео Фальконе?

— Да.

— Я Джаннетто Санпьеро. За мной гонятся желтые воротники \*\*\*\*. Спрячь меня, я не могу больше идти.

— А что скажет отец, если я спрячу тебя без его разрешения?

— Он скажет, что ты хорошо сделал.

— Как знать!

— Спрячь меня скорее, они идут сюда!

— Подожди, пока вернется отец.

— Ждать? Проклятье! Да они будут здесь через пять минут. Ну же, спрячь меня скорее, а не то я убью тебя!

Фортунато ответил ему с полным хладнокровием:

---

\* Капралами прежде назывались предводители, которых выбирали корсиканские коммуны, восставшие против феодальных сеньоров. В настоящее время так иногда называют человека, который благодаря своим владениям, связям и обширной клиентуре пользуется влиянием и обладает своего рода судебной властью в *riève*, то есть в кантоне. По старинному обычаю, корсиканцы делятся на пять сословий: дворяне (из них одни — *magnifici*, другие — *signori*), *caporali*, граждане, плебен и чужестранцы. (Прим. автора.)

\*\* Бандит — здесь в смысле скрывающийся преступник.

\*\*\* Вольтижеры — отряды стрелков, с недавнего времени набираемые правительством для того, чтобы они заодно с жандармами помогали полиции. (Прим. автора.)

\*\*\*\* В то время вольтижеры носили коричневые мундиры с желтыми воротниками. (Прим. автора.)

— Ружье твое разряжено, а в твоей *carchera* \* нет больше патронов.

— При мне кинжал.

— Где тебе угнаться за мной!

Одним прыжком он очутился вне опасности.

— Нет, ты не сын Маттео Фальконе! Неужели ты позволишь, чтобы меня схватили возле твоего дома?

Это, видимо, подействовало на мальчика.

— А что ты мне дашь, если я спрячу тебя? — спросил он, приближаясь.

Бандит пошарил в кожаной сумке, висевшей у него на поясе, и вынул оттуда пятифранковую монету, которую он, вероятно, припрятал, чтобы купить пороху. Фортунато улыбнулся при виде серебряной монеты; он схватил ее и сказал Джаннетто:

— Не бойся ничего.

Тотчас же он сделал большое углубление в копне сена, стоявшей возле дома. Джаннетто свернулся в нем клубком, и мальчик прикрыл его сеном так, чтобы воздух проникал туда и ему было чем дышать. Никому бы и в голову не пришло, что в копне кто-то спрятан. Кроме того, с хитростью дикаря он придумал еще одну уловку. Он притащил кошку с котятами и положил ее на сено, чтобы казалось, будто его давно уже не ворошили. Потом, заметив следы крови на тропинке у дома, он тщательно засыпал их землей и снова как ни в чем не бывало растянулся на солнцепеке.

Несколько минут спустя шестеро стрелков в коричневой форме с желтыми воротниками под командой сержанта уже стояли перед домом Маттео. Этот сержант приходился дальним родственником Фальконе. (Известно, что на Корсике более чем где-либо считаются родством.) Его звали Теодоро Гамба. Это был очень деятельный человек, гроза бандитов, которых он переловил немало.

— Здорово, племянничек! — сказал он, подходя к Фортунато. — Как ты вырос! Не проходил ли тут кто-нибудь сейчас?

— Ну, дядя, я еще не такой большой, как вы! — ответил мальчик с простодушным видом.

---

\* Кожаный пояс, заменяющий патронташ и сумку. (Прим. автора.)

— Подрастешь! Ну, говори же: тут никто не проходил?

— Проходил ли здесь кто-нибудь?

— Да, человек в остроконечной бархатной шапке и в куртке, расшитой красным и желтым.

— Человек в остроконечной бархатной шапке и куртке, расшитой красным и желтым?

— Да. Отвечай скорее и не повторяй моих вопросов.

— Сегодня утром мимо нас проехал священник на своей лошади Пьеро. Он спросил, как поживает отец, и я ответил ему...

— Ах, шельмец! Ты хитришь! Отвечай скорее, куда девался Джаннетто, мы его ищем. Он прошел по этой тропинке, я в этом уверен.

— Почему я знаю?

— Почему ты знаешь? А я вот знаю, что ты его видел.

— Разве видишь прохожих, когда спишь?

— Ты не спал, плут! Выстрелы разбудили тебя.

— Вы думаете, дядюшка, что ваши ружья так громко стреляют? Отцовский карабин стреляет куда громче.

— Черт бы тебя побрал, проклятое отродье! Я уверен, что ты видел Джаннетто. Может быть, даже спрятал его. Ребята! Входите в дом, поищите там нашего беглеца. Он ковылял на одной лапе, а у этого мерзавца слишком много здравого смысла, чтобы попытаться дойти до маки хромая. Да и следы крови кончаются здесь.

— А что скажет отец? — спросил Фортунато насмешливо. — Что он скажет, когда узнает, что без него входили в наш дом?

— Мошенник! — сказал Гамба, хватая его за ухо. — Стоит мне только захотеть, и ты запоешь по-иному! Следует, пожалуй, дать тебе десятка два ударов саблей плашмя, чтобы ты наконец заговорил.

А Фортунато продолжал посмеиваться.

— Мой отец — Маттео Фальконе! — сказал он значительно.

— Знаешь ли ты, плутишка, что я могу увезти тебя в Кортэ или в Бастию, бросить в тюрьму на солому, заковать в кандалы и отрубить голову, если ты не скажешь, где Джаннетто Санпьеро?

Мальчик расхохотался, услышав такую смешную угрозу. Он повторил:

— Мой отец — Маттео Фальконе.

— Сержант! — тихо сказал один из вольтижеров. — Не надо ссориться с Маттео.

Гамба был явно в затруднении. Он вполголоса переговаривался с солдатами, которые успели уже осмотреть весь дом. Это заняло не так много времени, потому что жилище корсиканца состоит из одной квадратной комнаты. Стол, скамейки, сундуки, домашняя утварь и охотничьи принадлежности — вот и вся его обстановка. Маленький Фортунато гладил тем временем кошку и, казалось, ехидствовал над замешательством вольтижеров и дядюшки.

Один из солдат подошел к копне сена. Он увидел кошку и, небрежно ткнув штыком в сено, пожал плечами, как бы сознавая, что такая предосторожность нелепа. Ничто не пошевелилось, лицо мальчика не выразило ни малейшего волнения.

Сержант и его отряд теряли терпение; они уже поглядывали на равнину, как бы собираясь вернуться туда, откуда пришли, но тут их начальник, убедившись, что угрозы не производят никакого впечатления на сына Фальконе, решил сделать последнюю попытку и испытать силу ласки и подкупа.

— Племянник! — проговорил он. — Ты, кажется, славный мальчик. Ты пойдешь далеко. Но, черт побери, ты ведешь со мной дурную игру, и, если б не боязнь огорчить моего брата Маттео, я увел бы тебя с собой.

— Еще чего!

— Но когда Маттео вернется, я расскажу ему все, как было, и за твою ложь он хорошенько выпорет тебя.

— Посмотрим!

— Вот увидишь... Но слушай: будь умником, и я тебе что-то дам.

— А я, дядюшка, дам вам совет: если вы будете медлить, Джаннетто уйдет в маки, и тогда потребуются еще несколько таких молодчиков, как вы, чтобы его догнать.

Сержант вытащил из кармана серебряные часы, которые стоили добрых десять экю, и, заметив, что глаза маленького Фортунато загорелись при виде их, сказал ему, держа часы на весу за конец стальной цепочки:

— Плутиска! Тебе бы, наверно, хотелось носить на груди такие часы, ты прогуливался бы по улицам Пор-

то-Веккьо гордо, как павлин, и когда прохожие спрашивали бы у тебя: «Который час?» — ты отвечал бы: «Поглядите на мои часы».

— Когда я вырасту, мой дядя капрал подарит мне часы.

— Да, но у сына твоего дяди уже есть часы... правда, не такие красивые, как эти... а ведь он моложе тебя.

Мальчик вздохнул.

— Ну что ж, хочешь ты получить эти часы, племянничек?

Фортунато, искоса поглядывавший на часы, походил на кота, которому подносят целого цыпленка. Чувствуя, что его дразнят, он не решается запустить в него когти, время от времени отводит глаза, чтобы устоять против соблазна, поминутно облизывается и всем своим видом словно говорит хозяину: «Как жестока ваша шутка!»

Однако сержант Гамба, казалось, и впрямь решил подарить ему часы. Фортунато не протянул руки за ними, но сказал ему с горькой усмешкой:

— Зачем вы смеетесь надо мной? \*

— Ей-богу, не смеюсь. Скажи только, где Джаннетто, и часы твои.

Фортунато недоверчиво улыбнулся, его черные глаза впились в глаза сержанта, он старался прочесть в них, насколько можно верить его словам.

— Пусть с меня снимут эполеты, — вскричал сержант, — если ты не получишь за это часы! Солдаты будут свидетелями, что я не откажусь от своих слов.

Говоря так, он все ближе и ближе подносил часы к Фортунато, почти касаясь ими бледной щеки мальчика. Лицо Фортунато явно отражало вспыхнувшую в его душе борьбу между страстным желанием получить часы и долгом гостеприимства. Его голая грудь тяжело вздымалась — казалось, он сейчас задохнется. А часы покачивались перед ним, вертелись, то и дело задевая кончик его носа. Наконец Фортунато нерешительно потянулся к часам, пальцы правой руки коснулись их, часы легли на его ладонь, хотя сержант все еще не выпускал из рук цепочку... Голубой циферблат... Ярко начищенная крышка... Она огнем горит на солнце... Искушение было слишком велико.

---

\* *Perchè te c...?* (Прим. автора.)

Фортунато поднял левую руку и указал большим пальцем через плечо на копну сена, к которой он прислонился. Сержант сразу понял его. Он отпустил конец цепочки, и Фортунато почувствовал себя единственным обладателем часов. Он вскочил стремительнее лани и отбежал на десять шагов от копны, которую вольтижеры принялись тотчас же раскидывать.

Сено зашевелилось, и окровавленный человек с кинжалом в руке вылез из копны; он попытался стать на ноги, но запекшаяся рана не позволила ему этого. Он упал. Сержант бросился на него и вырвал кинжал. Его сейчас же связали по рукам и ногам, несмотря на сопротивление.

Лежа на земле, скрученный, как вязанка хвороста, Джаннетто повернул голову к Фортунато, который подошел к нему.

— ...сын! — сказал он скорее презрительно, чем гневно.

Мальчик бросил ему серебряную монету, которую получил от него, — он признавал, что уже не имеет на нее права, — но преступник, казалось, не обратил на это никакого внимания. С полным хладнокровием он сказал сержанту:

— Дорогой Гамба! Я не могу идти; вам придется нести меня до города.

— Ты только что бежал быстрее козы, — возразил жестокий победитель. — Но будь спокоен: от радости, что ты наконец попался мне в руки, я бы пронес тебя на собственной спине целую милю, не чувствуя усталости. Впрочем, приятель, мы сделаем для тебя носилки из веток и твоего плаща, а на ферме Кресполи найдем лошадей.

— Ладно, — молвил пленник, — прибавьте только немного соломы на носилки, чтобы мне было удобнее.

Пока вольтижеры были заняты — кто приготовлением носилок из ветвей каштана, кто перевязкой раны Джаннетто, — на повороте тропинки, ведущей в маки, вдруг появились Маттео Фальконе и его жена. Женщина с трудом шла, согнувшись под тяжестью огромного мешка с каштанами, в то время как муж шагал налегке с одним ружьем в руках, а другим — за спиной, ибо никакая ноша, кроме оружия, недостойна мужчины.



При виде солдат Маттео прежде всего подумал, что они пришли его арестовать. Откуда такая мысль? Разве у Маттео были какие-нибудь нелады с властями? Нет, имя его пользовалось доброй славой. Он был, что называется, благонамеренным обывателем, но в то же время корсиканцем и горцем, а кто из корсиканцев-горцев, хорошенько порывшись в памяти, не найдет у себя в прошлом какого-нибудь грешка: ружейного выстрела, удара кинжалом или тому подобного пустячка? Совесть Маттео была чище, чем у кого-либо, ибо вот уже десять лет, как он не направлял дула своего ружья на человека, но все же он был настороже и приготовился стойко защищаться, если это понадобится.

— Жена! — сказал он Джузеппе. — Положи мешок и будь наготове.

Она тотчас же повиновалась. Он передал ей ружье, которое висело у него за спиной и могло ему помешать. Второе ружье он взял на прицел и стал медленно приближаться к дому, держась ближе к деревьям, окаймлявшим дорогу, готовый при малейшем враждебном действии укрыться за самый толстый ствол, откуда он мог бы стрелять из-за прикрытия. Джузеппа шла за ним следом, держа второе ружье и патронташ. Долг хорошей жены — во время боя заряжать ружье для своего мужа.

Сержанту тоже стало как-то не по себе, когда он увидел медленно приближавшегося Маттео с ружьем наготове и пальцем на курке.

«А что, — подумал он, — если Маттео — родственник или друг Джаннетто и захочет его защищать? Тогда двое из нас наверняка получат пули двух его ружей, как письма с почты. Ну, а если он прицелится в меня, несмотря на наше родство?..»

Наконец он принял смелое решение — пойти навстречу Маттео и, как старому знакомому, рассказать ему обо всем случившемся. Однако короткое расстояние, отделявшее его от Маттео, показалось ему ужасно длинным.

— Эй, приятель! — закричал он. — Как поживаешь, дружище? Это я, Гамба, твой родственник!

Маттео, не говоря ни слова, остановился; пока сержант говорил, он медленно поднимал дуло ружья так,

что оно оказалось направленным в небо в тот момент, когда сержант приблизился.

— Добрый день, брат! \* — сказал сержант, протягивая ему руку. — Давненько мы не виделись.

— Добрый день, брат!

— Я зашел мимоходом поздороваться с тобой и сестрицей Пеппой. Сегодня мы сделали изрядный конец, но у нас слишком знатная добыча, и мы не можем жаловаться на усталость. Мы только что накрыли Джаннетто Санпьери.

— Слава богу! — вскричала Джузеппа. — На прошлой неделе он увел у нас дойную козу.

Эти слова обрадовали Гамбу.

— Бедняга! — отозвался Маттео. — Он был голоден!

— Этот негодяй защищался, как лев, — продолжал сержант, слегка раздосадованный. — Он убил одного моего стрелка и раздробил руку капралу Шардону; ну, да это беда невелика: ведь Шардон — француз... А потом он так хорошо спрятался, что сам дьявол не сыскал бы его. Если бы не мой племянник Фортунато, я никогда бы его не нашел.

— Фортунато? — вскричал Маттео.

— Фортунато? — повторила Джузеппа.

— Да! Джаннетто спрятался вон в той копне сена, но племянник раскрыл его хитрость. Я расскажу об этом его дяде капралу, и тот пришлет ему в награду хороший подарок. А я упомяну и его и тебя в донесении на имя прокурора.

— Проклятье! — чуть слышно произнес Маттео.

Они подошли к отряду. Джаннетто лежал на носилках, его собирались унести. Увидев Маттео рядом с Гамбой, он как-то странно усмехнулся, а потом, повернувшись лицом к дому, плюнул на порог и сказал:

— Дом предателя!

Только человек, обреченный на смерть, мог осмелиться назвать Фальконе предателем. Удар кинжала немедленно отплатил бы за оскорбление, и такой удар не пришлось бы повторять.

Однако Маттео поднес только руку ко лбу, как человек, убитый горем.

---

\*. *Buon giorno, fratello* — обычное приветствие у корсиканцев. (Прим. автора)

Фортунато, увидев отца, ушел в дом. Вскоре он снова появился с миской молока в руках и, опустив глаза, протянул ее Джаннетто.

— Прочь от меня! — громовым голосом закричал арестованный.

Затем, обернувшись к одному из вольтижеров, он промолвил:

— Товарищ! Дай мне напиться.

Солдат подал ему флягу, и бандит отпил воду, поднесенную рукой человека, с которым он только что обменялся выстрелами. Потом он попросил не скручивать ему руки за спиной, а связать их крестом на груди.

— Я люблю лежать удобно, — сказал он.

Его просьбу с готовностью исполнили; затем сержант подал знак к выступлению, простился с Маттео и, не получив ответа, быстрым шагом двинулся к равнине.

Прошло около десяти минут, а Маттео все молчал. Мальчик тревожно поглядывал то на мать, то на отца, который, опираясь на ружье, смотрел на сына с выражением сдержанного гнева.

— Хорошо начинаешь! — сказал наконец Маттео голосом спокойным, но страшным для тех, кто знал этого человека.

— Отец! — вскричал мальчик; глаза его наполнились слезами, он сделал шаг вперед, как бы собираясь упасть перед ним на колени.

Но Маттео закричал:

— Прочь!

И мальчик, рыдая, остановился неподвижно в нескольких шагах от отца.

Подошла Джузеппа. Ей бросилась в глаза цепочка от часов, конец которой торчал из-под рубашки Фортунато.

— Кто дал тебе эти часы? — спросила она строго.

— Дядя сержант.

Фальконе выхватил часы и, с силой швырнув о камень, разбил их вдребезги.

— Жена! — сказал он. — Мой ли это ребенок?

Смуглые щеки Джузеппы стали краснее кирпича.

— Опомнись, Маттео! Подумай, кому ты это говоришь!

— Значит, этот ребенок первый в нашем роду стал предателем.

Рыдания и всхлипывания Фортунато усилились, а Фальконе по-прежнему не сводил с него своих рысьих глаз. Наконец он стукнул прикладом о землю и, вскинув ружье на плечо, пошел по дорогам в маки, приказав Фортунато следовать за ним. Мальчик повиновался.

Джузеппа бросилась к Маттео и схватила его за руку.

— Ведь это твой сын!— вскрикнула она дрожащим голосом, впиваясь черными глазами в глаза мужа и словно пытаясь прочесть то, что творилось в его душе.

— Оставь меня,— сказал Маттео.— Я его отец!

Джузеппа поцеловала сына и, плача, вернулась в дом. Она бросилась на колени перед образом богоматери и стала горячо молиться. Между тем Фальконе, пройдя шагов двести по тропинке, спустился в небольшой овраг. Попробовав землю прикладом, он убедился, что земля рыхлая и что копать ее будет легко. Место показалось ему пригодным для исполнения его замысла.

— Фортунато! Стань у того большого камня.

Исполнив его приказание, Фортунато упал на колени.

— Молись!

— Отец! Отец! Не убивай меня!

— Молись! — повторил Маттео грозно.

Запинаясь и плача, мальчик прочитал «Отче наш» и «Верую». Отец в конце каждой молитвы твердо произносил «аминь».

— Больше ты не знаешь молитв?

— Отец! Я знаю еще «Богородицу» и литанию, которой научила меня тетя.

— Она очень длинная... Ну все равно, читай.

Литанию мальчик договорил совсем беззвучно.

— Ты кончил?

— Отец, пощади! Прости меня! Я никогда больше не буду! Я попрошу дядю капрала, чтобы Джаннетто помиловали!

Он лепетал еще что-то; Маттео вскинул ружье и, прицелившись, сказал:

— Да простит тебя бог!

Фортунато сделал отчаянное усилие, чтобы встать и припасть к ногам отца, но не успел. Маттео выстрелил, и мальчик упал мертвый.

Даже не взглянув на труп, Маттео пошел по тропинке к дому за лопатой, чтобы закопать сына. Не успел он пройти и нескольких шагов, как увидел Джузеппу: она бежала, встревоженная выстрелом.

— Что ты сделал? — воскликнула она.

— Свершил правосудие.

— Где он?

— В овраге. Я сейчас похороню его. Он умер христианином. Я закажу по нем панихиду. Надо сказать зятю, Теодору Бьянки, чтобы он переехал к нам жить.

# Видение Карла XI



*There are more things in heav'n  
and earth, Horatio,  
Than are dreamt of in your  
philosophie.*

*Shakespeare. «Hamlet» \**

Над видениями и сверхъестественными явлениями принято смеяться. Тем не менее некоторые из них подтверждены такими показаниями, что не доверять им невозможно: в противном случае, если уж быть последовательными, надо огулом отвергнуть всякие исторические свидетельства.

Подлинность случая, о котором я сейчас расскажу, удостоверяет протокол, составленный по всем правилам и скрепленный подписями четырех достойных доверия свидетелей. Добавлю, что содержащееся в этом протоколе предсказание было известно и неоднократно упоминалось задолго до того, как события весьма недавние явились как бы его исполнением.

---

\* Горацій! Много в мире есть того,  
Что вашей философии не снилось.

*Шекспир. «Гамлет» (англ.).*



Карл XI, отец знаменитого Карла XII, был одним из наиболее деспотических, но зато и наиболее мудрых правителей Швеции. Он ограничил чудовищные привилегии знати, уничтожил могущество Сената и собственной властью издавал законы. Одним словом, он изменил олигархическую дотоле конституцию страны и принудил представителей сословий вручить ему самодержавную власть. Впрочем, это был человек просвещенный, храбрый, весьма приверженный к лютеранству, натура непоколебимая, трезвая, положительная и лишенная какого бы то ни было воображения.

Перед самым событием, о котором пойдет речь, он потерял свою жену Ульрику-Элеонору. Хотя его суровость к этой королеве приблизила, говорят, ее кончину, он питал к ней уважение и, казалось, был огорчен ее смертью больше, чем можно было ожидать от человека с таким черствым сердцем. После того, как это случилось, он стал еще мрачнее и молчаливее, чем прежде, и погрузился в государственные дела с рвением, свидетельствовавшим о настоящей потребности отогнать тяжелые мысли.

Однажды поздним осенним вечером он сидел в халате и домашних туфлях перед ярко пылавшим ками-

ном в рабочем кабинете своего стокгольмского дворца. При нем находились его камергер граф Браге, к которому он весьма благоволил, и врач Баумгартен, каковой, между прочим, отличался вольнодумством и хотел, чтобы все сомневались во всем, за исключением медицины. В этот вечер король вызвал его по поводу какого-то недомогания.

Было уже довольно поздно, и все же, против обыкновения, король не пожелал им доброй ночи, чтобы тем самым намекнуть, что им пора удалиться. Опустив голову и устремив взор на горящие поленья, он сидел, погруженный в глубокое молчание: присутствие этих людей его нисколько не развлекало, но, сам не зная почему, он боялся остаться один. Граф Браге хорошо видел, что его общество королю не очень приятно, и потому уже не раз высказывал опасение, не нуждается ли его величество в отдыхе. Движением руки король велел ему не двигаться с места. В свою очередь, и врач заговорил о вреде позднего бдения для здоровья. Но Карл процедил сквозь зубы:

— Останьтесь, мне еще не хочется спать.

Тогда начались попытки завязать беседу на те или иные темы, но разговор замирал на второй или третьей фразе. Казалось очевидным, что у его величества очередной приступ меланхолии, а в подобных обстоятельствах положение придворного всегда бывает довольно-таки щекотливым. Предполагая, что король затосковал о скончавшейся недавно супруге, граф Браге стал разглядывать портрет королевы, висевший тут же, в кабинете, а затем с глубоким вздохом воскликнул:

— Какое поразительное сходство! Как схвачено это выражение величия и вместе с тем кротости!..

— Ну что там!— резко возразил король, которому чудился упрек каждый раз, когда при нем упоминали королеву.— Портрет очень уж приукрашен! Королева-то была совсем некрасива.

Потом, сердясь на самого себя за эти жестокие слова, король встал и прошелся по комнате, чтобы скрыть волнение, которого он стыдился. У окна, выйдя во двор, он остановился. Ночь была темная, луна находилась в своей первой четверти.

Дворец, в котором живут сейчас шведские короли, не



был еще достроен, и Карл XI, который начал эту постройку, проживал в старом дворце, расположенном на той оконечности Риттерхольма, что выходит на озеро Мэлар. Это было обширное здание в форме подковы. В одном его конце помещался кабинет короля, а почти напротив находился большой зал, где собирались представители сословий, когда им предстояло выслушать какие-либо сообщения от короны.

Сейчас окна этого зала были словно озарены ярким светом. Королю это показалось странным. Сперва он подумал, что свет распространяется факелом в руке кого-то из слуг. Но что стал бы делать слуга в такой поздний час в зале, который уже давно не открывался? К тому же один факел не мог дать столь яркого света. Можно было бы предположить, что возник пожар, но дыма не было видно, стекла оставались целыми, не доносилось ни малейшего шума. Больше всего это походило на то, что зал для чего-то нарочно осветили.

Некоторое время Карл смотрел на озаренные окна, не говоря ни слова. Между тем граф Браге уже потянулся к шнуру звонка, чтобы вызвать одного из пажей и послать его выяснить причину этого необычного света. Но король остановил его.

— Я сам хочу пойти в этот зал,— промолвил он.

Произнеся эти слова, он побледнел, и лицо его приняло выражение какого-то благоговейного ужаса. Однако он вышел из кабинета твердым шагом. Камергер и врач последовали за ним со свечами в руках.

Сторож, у которого находились ключи, уже спал. Баумгартен пошел разбудить его и велел ему от имени короля тотчас же открыть зал собраний. Услышав столь неожиданный приказ, человек этот проявил крайнее удивление. Он поспешно оделся и предстал перед королем со своей связкой ключей. Сперва он открыл дверь галереи, которая служила прихожей или запасным выходом зала собраний. Король вошел — и каково же было его удивление, когда он заметил, что стены снизу доверху затянуты черным!

— Кто распорядился обить это помещение черной материей? — спросил он разгневанным тоном.

— Не могу знать, ваше величество,— в смущении ответил сторож,— последний раз, что я подметал галерею,

она была, как всегда, обита дубовыми панелями... А эта обивка никак не из королевских кладовых.

Но король быстро шагал вперед и прошел уже две трети галереи. За ним на близком расстоянии следовали граф и сторож. Врач Баумгартен немного отстал: он и боялся остаться один и страшился последствий приключения, начавшегося довольно необычным образом.

— Не ходите дальше, государь!—вскричал сторож.— Клянусь спасением души, тут не без колдовства. В такой час... и с тех пор, как скончалась ваша супруга, наша милостивая королева... Говорят, она блуждает в этой галерее... Спаси нас боже!

— Остановитесь, государь! — подхватил, в свою очередь, граф.— Слышите, из зала собраний доносится шум? Кто знает, какой опасности подвергается ваше величество!

— Государь! — взывал и Баумгартен, у которого порывом ветра задуло свечу.— Позвольте мне хотя бы вызвать два десятка ваших телохранителей.

— Войдем,— твердо сказал король, остановившись у дверей большого зала.— А ты, сторож, отпирай поживее.

Он ударил ногой в дверь, и шум, подхваченный эхом высоких сводов, прокатился по галерее, как пушечный выстрел.

Сторож так дрожал, что ключ его стучался о замок, но никак не мог войти в скважину.

— Старый солдат, а дрожишь! — промолвил Карл, пожимая плечами.— Ну же, граф, отойдите к двери!

— Государь! — сказал граф, отступив на шаг.— Повели мне ваше величество идти прямо на жерло датской или немецкой пушки, я без колебаний исполню ваш приказ. Но вы требуете, чтобы я бросил вызов силам ада.

Король вырвал ключ из рук сторожа.

— Я вижу,—произнес он презрительным тоном,— что должен действовать сам.

И, прежде чем спутники могли помешать ему, он открыл тяжелую дубовую дверь и вошел в зал со словами «Да поможет нам бог!» У его спутников любопытство пересилило страх или же им совестно было предоставить королю его участи: они вошли вслед за ним.

Бесчисленное количество факелов освещало огромный зал. Вместо старинной обивки с вытканными на ней изо-

бражениями людей стены затянуты были черной материей. С них в обычном порядке рядами свисали немецкие, датские и московские знамена — трофеи солдат Густава-Адольфа. Посередине бросались в глаза знамена шведские, покрытые траурным крепом.

Все скамьи заняты были многолюдным собранием. Представители четырех сословий государства \* заседали на положенных им местах. Все были в черном, и это множество человеческих лиц, казавшихся на темном фоне лучистыми, настолько слепило глаза, что ни один из четырех свидетелей необычного зрелища не смог найти в этой толпе ни одного знакомого лица.

На возвышении стоял трон, с которого король обычно обращался к собранию, и на нем они увидели окровавленный труп в королевском облачении. Справа от него стоял мальчик с короной на голове и скипетром в руке, а слева пожилой человек, или, вернее, призрак человека, опиравшийся на тронное кресло. На нем была парадная мантия, в которую облачались древние правители Швеции до того, как Ваза сделал ее королевством. Напротив трона, за письменным столом, на котором лежали толстые фолианты и свитки пергамента, сидело несколько человек с суровым и строгим выражением лица, в длинных черных одеяниях; по всей видимости, это были судьи. Между тронном и скамьями собрания находилась покрытая черным крепом плаха, а рядом с ней лежал топор.

Никто в этом сверхъестественном собрании, казалось, не заметил Карла и трех его спутников. Войдя в зал, они слышали сперва неясный гул голосов, в котором невозможно было разобрать ни одного отчетливо произнесенного слова. Затем старший по возрасту из судей в черном облачении, являвшийся, видимо, председателем, встал и трижды ударил ладонью по раскрытому перед ним фолианту. Тотчас же воцарилось глубокое молчание. Из двери, как раз напротив той, которую только что открыл Карл XI, в зал вошли молодые люди привлекательной внешности, в богатой одежде и со связанными за спиной руками. Они шли, высоко подняв голову и бес-

---

\* Дворянство, духовенство, буржуазия и крестьянство. (Прим. автора.)

трепетно глядя перед собой. Следом за ними выступал крепко сложенный человек в плотно облегавшем тело коричневом камзоле, держа концы веревок, которыми связаны были их руки. Тот, что шел впереди других и был, по-видимому, главным узником, остановился посреди зала перед плахой и посмотрел на нее с горделивым презрением. В то же мгновение труп, казалось, свела судорога, а из раны его потекла свежая яркая, алая кровь. Молодой человек опустился на колени, вытянул шею; топор блеснул и с глухим стуком опустился. Поток крови хлынул на подмостки трона и смешался с кровью трупа. А голова, подпрыгнув несколько раз на побагровевшем полу, покатилась к ногам Карла и забрызгала их кровью.

До этой минуты он был нем от изумления. Но ужасное зрелище развязало ему язык, он сделал несколько шагов к тронному возвышению и, обратившись к фигуре, облаченной в мантию правителя, смело произнес известную формулу:

«Если ты послан богом, говори. Если другим—отыди от нас».

Призрак ответил ему медленно и торжественно:

— Король Карл! Кровь эта прольется не при тебе (тут голос его стал менее внятным), но спустя еще пять царствований. Горе, горе, горе дому Ваза!

Тогда образы множества людей, составлявших это необычайное собрание, начали тускнеть и казались уже лишь слабо окрашенными тенями, а затем и вовсе исчезли. Призрачные факелы погасли, и свечи в руках Карла и его спутников освещали теперь только старинную тканую обивку стен, слегка колеблемую ветром. Некоторое время можно было еще слышать какие-то довольно мелодичные звуки, которые один из свидетелей сравнил с шумом ветра в листве, а другой со звоном струн арфы, рвущихся в то время, когда инструмент настраивается. У присутствующих не возникло разногласий насчет продолжительности видения: по их мнению, оно длилось минут десять.

Черные завесы, отрубленная голова, потоки крови, от которой побагровел пол,— все это исчезло вместе с призраками. Только на туфле Карла осталось красное пятно, и этого было бы достаточно для того, чтобы напомнить

ему сцену, разыгравшуюся ночью, если бы она и без того не запечатлелась в его памяти.

Вернувшись в свой кабинет, король приказал записать рассказ обо всем, что он видел, велел своим спутникам подписать его и подписал сам. Несмотря на все меры, принятые для того, чтобы содержание документа не было разглашено, он стал известен еще при жизни Карла XI. Он и по сей час существует, и никому не приходит в голову оспаривать его подлинность. Примечателен конец этой записи:

«А если то, что я здесь изложил,—пишет король,— не истинная правда, я отрекаюсь от надежды на лучшую жизнь за гробом, каковую, быть может, заслужил кое-какими добрыми делами, в особенности же ревностным трудом на благо моего народа и защитой веры моих предков».

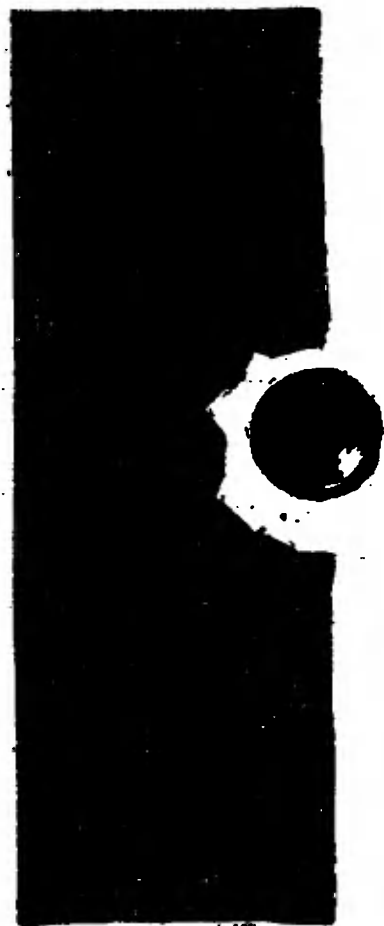
К этому мы добавим, что если вспомнить смерть Густава III и суд над его убийцей Анкарстремом, то можно обнаружить немало общего между этим событием и обстоятельствами данного удивительного пророчества.

Молодой человек, обезглавленный в присутствии представителей сословий, обозначал бы в таком случае Анкарстрема.

Венчанный королевской короной труп — Густава III.

Мальчик — его сына и преемника Густава-Адольфа IV.

Наконец, старик — герцога Судерманландского, дядю Густава IV, который был регентом королевства, а затем, после низложения своего племянника, сам стал королем.



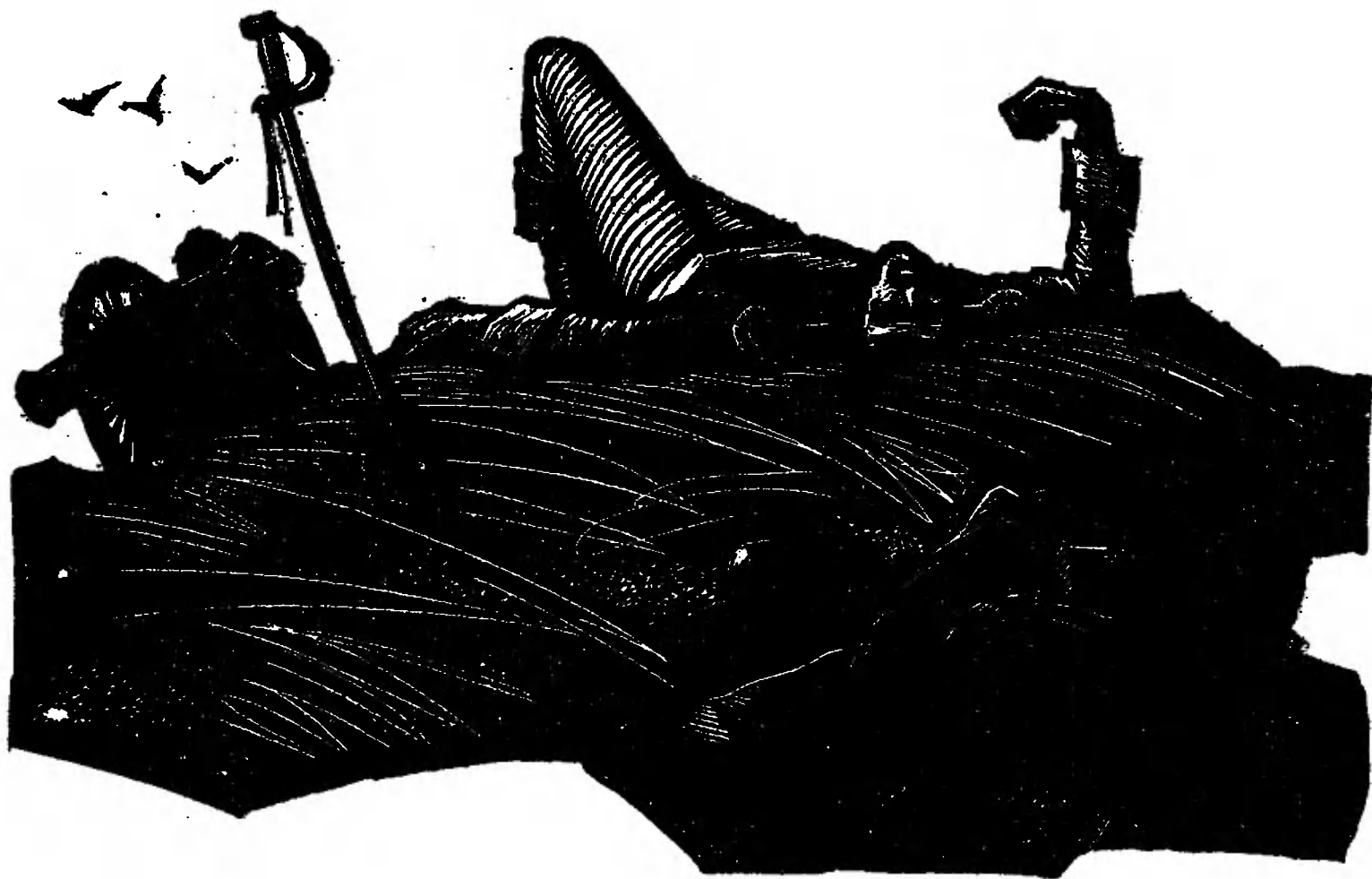
## Взятие редута

Один из моих друзей, офицер, несколько лет назад умерший в Греции от лихорадки, рассказал мне как-то о первом деле, в котором он участвовал. Его рассказ так поразил меня, что я записал его по памяти, как только у меня нашлось для этого время. Вот он.

Я прибыл в свой полк вечером четвертого сентября. Полковника я застал на биваке. Он принял меня сперва довольно нелюбезно, но, прочтя рекомендательное письмо генерала Б., изменил тон и сказал мне несколько приветливых слов.

Он представил меня капитану, который только что вернулся из рекогносцировки. Мой капитан, узнать которого поближе мне не довелось, был высокий брюнет с суровым, неприятным лицом. Начав службу простым солдатом, он заработал эполеты и крест на полях сражений. Слабый и сиплый голос удивительно не соответствовал его гигантской фигуре. Мне сказали, что этим странным голосом он был обязан пуле, пробившей его насквозь в битве при Иене.

Узнав, что я только что окончил военную школу в Фонтенбло, он поморщился и промолвил:



— Мой лейтенант погиб вчера...

Я понял, что он хотел сказать: «Вам придется его заменить, а вам это не под силу». У меня чуть не вырвалось резкое слово, но я сдержался.

Луна поднялась за Шевардинским редутом, расположенным на расстоянии двух пушечных выстрелов от нашего бивака. Она была огромная и красная, какой обычно бывает при восходе. Но в тот вечер она показалась мне невероятно большой. Черный силуэт редута одно мгновение вырисовывался на пылающем диске луны. Он напоминал вершину вулкана во время извержения.

Старый солдат, стоявший рядом, обратил внимание на цвет луны.

— Какая она красная! — молвил он. — Видно, дорого нам обойдется этот самый редут!

Я всегда был суеверен, и это предсказание, особенно в такую минуту, смутило меня. Я лег, но не мог заснуть. Я встал и начал прохаживаться, поглядывая на бесконечную цепь огней, тянувшихся по высотам за деревней Шевардино.

Решив, что сырой и холодный ночной воздух уже успокоил мое волнение, я вернулся к костру; старательно

укутавшись в плащ, я сомкнул глаза в надежде не раскрывать их до рассвета. Но сон бежал от меня. Мало-помалу мысли мои приняли мрачный оттенок. Я твердил себе, что среди сотен тысяч человек, собравшихся на этой равнине, у меня нет ни единого друга. Если я буду ранен, то попаду в лазарет, где невежественные лекари не станут особенно обо мне заботиться. Мне вспоминались рассказы о хирургических операциях. Сердце мое сильно билось, и я бессознательно, словно броней, старался прикрыть грудь платком и бумажником, лежавшими у меня во внутреннем кармане. Усталость меня одолевала, я засыпал поминутно, и поминутно какая-нибудь зловещая мысль возникала с новой силой и внезапно будила меня.

Наконец усталость взяла верх, и когда били зорю, я крепко спал. Мы построились, была сделана перекличка, затем ружья опять составили в козлы; все предвещало нам спокойный день.

Часа в три явился адъютант с приказом. Нам велели снова разобрать ружья; стрелки рассыпались по полю, мы медленно следовали за ними и через двадцать минут увидели, как русские передовые посты снялись и вошли в редут.

Одна артиллерийская батарея поместилась справа, другая слева, обе далеко впереди нас. Они открыли жаркий огонь по неприятелю, неприятель отвечал оживленно, и вскоре Шевардинский редут исчез в густых клубах дыма.

Неровная местность почти укрывала наш полк от огня русских. Их ядра (хотя они редко целили в нас, стреляя больше по нашим канонирам) пролетали над нашими головами, а если и падали, то лишь обдавали нас землей и мелкими камешками.

Как только был отдан приказ к наступлению, мой капитан устремил на меня внимательный взгляд, заставивший меня несколько раз с самым непринужденным видом, на какой только я был способен, провести рукой по моим начинавшим пробиваться усикам. Впрочем, я не боялся; моим единственным опасением было: как бы не подумали, что я боюсь. Безобидные ядра только укрепляли мое героическое спокойствие. Самолюбие говорило мне, что я подвергаюсь настоящей опасности, потому что



я действительно находился под пушечным огнем. Меня восхищала моя самоуверенность, и я предвкушал удовольствие, с каким буду рассказывать о взятии Шевардинского редута в салоне мадам Б., на улице Прованс.

Полковник прошел перед нашей ротой и сказал мне: — Ну, вам придется жарко для первого раза!

Я улыбнулся чрезвычайно воинственно и стал чистить рукав мундира, который упавшее в тридцати шагах ядро забрызгало грязью.

По-видимому, русские заметили, что их ядра не достигают цели, и потому перешли на гранаты, которые могли вернее настичь нас в ложбине, где мы засели. Довольно крупный осколок сорвал с меня кивер и убил рядом солдата.

— Поздравляю вас,— сказал капитан, когда я поднял кивер,—теперь вы можете быть спокойны на целый день.

Я знал эту солдатскую примету, согласно которой аксиома *non bis in idem* \* признается столь же верной на поле сражения, как и в зале суда. Я гордо надел свой кивер.

— Вот и пришлось поклониться волей-неволей,— проговорил я как мог весело.

Эта глупая шутка при данных обстоятельствах сошла за отличную.

— Я вас поздравляю,— продолжал капитан,— с вами больше ничего не случится, и к вечеру вы будете командовать ротой, потому что я чувствую, что нынче печь затоплена для меня. Всякий раз, когда я бывал ранен, офицер поблизости получал пулю в сердце, и,— прибавил он тише и почти стыдливо,— их имена всегда начинались на букву П.

Я прикинулся неверующим; многие поступили бы так же; многие, как и я, были бы поражены этими пророческими словами. Будучи новичком, я все-таки понимал, что не следует верить свои чувства и что надо всегда выказывать хладнокровие и отвагу.

Через полчаса огонь русских заметно ослабел; мы вышли из-за нашего прикрытия и двинулись к редуту.

В нашем полку было три батальона. Второму было

---

\* Не бывает, чтобы дважды попадало в одно и то же место (лат.).

приказано обойти редут сзади; два других должны были идти на приступ. Я был в третьем батальоне.

Выйдя из-за последней насыпи, которая нас прикрывала, мы были встречены частым ружейным огнем, не причинившим большого урона нашим рядам. Свист пуль меня удивлял: я часто оборачивался, чем вызывал подчас шутки товарищей, уже привыкших к этим звукам. «В конце концов,—подумал я,—сражение не такая уж страшная вещь».

Мы продвигались вперед беглым шагом, следуя за застрельщиками; вдруг русские три раза прокричали «ура» — три громких «ура», потом замолкли и перестали стрелять.

— Мне не нравится это молчание,— сказал мой капитан,— оно не сулит нам добра.

Я находил, что наши солдаты слишком шумливы, и невольно сравнивал их громкие крики с внушительным молчанием противника.

Мы быстро достигли подножия редута; частокол был сломан, а земля изрыта нашими ядрами. Солдаты бросились на эти свежие развалины с криком: «Да здравствует император!»,—гораздо более громким, чем этого следовало ожидать от людей, уже столько кричавших.

Я посмотрел вверх. Никогда не забыть мне зрелища, которое я увидел. Почти весь дым поднялся кверху и на высоте двадцати футов висел над редутом, как балдахин. Сквозь голубоватый туман позади полуразрушенного бруствера виднелись русские гренадеры с поднятыми ружьями, недвижные, как статуи. Я и сейчас будто вижу этих солдат: каждый левым глазом смотрел на нас, а правый был скрыт за наведенным ружьем. В амбразуре, в нескольких шагах от нас, человек возле пушки держал зажженный фитиль.

Я вздрогнул и подумал, что настал мой последний час.

— Ну, теперь попляшем! — крикнул капитан.— Добрый вечер!

Это были последние слова, которые мне пришлось от него услышать.

На редуте затрещали барабаны. Я увидел, как все ружья опустились. Я зажмурил глаза и услышал ужасающий грохот, а вслед за ним крики и стоны. Я открыл глаза, удивляясь, что еще жив. Редут снова заволокло

дымом. Вокруг меня были раненые и убитые. Капитан лежал у моих ног: ядром ему разmozжило голову, и меня забрызгало его мозгом и кровью. Из всей моей роты на ногах остались только шестеро солдат и я.

За этой бойней последовала минута оцепенения. Полковник, нацепив кивер на острие шпаги, с криком: «Да здравствует император!»—первым взобрался на бруствер; за ним тотчас бросились все уцелевшие. Что было дальше, почти изгладилось из моей памяти. Мы вошли в редут, сам не знаю как. Там мы дрались врукопашную среди такого густого дыма, что не видели противника. Вероятно, я наносил удары, потому что моя сабля оказалась вся в крови. Наконец я услышал крик «Победа!» — и, когда дым рассеялся, разглядел кровь и мертвые тела, устилавшие землю в редуте. Пушки были завалены горами тел. Человек двести солдат во французских мундирах толпились в беспорядке: одни заряжали ружья, другие обтирали штыки. Тут же было одиннадцать русских пленных.

Полковник, весь в крови, лежал на разбитом зарядном ящике у входа в редут. Несколько солдат теснилось вокруг него; я приблизился.

— Где самый старший капитан?— спросил он у одного сержанта.

Тот выразительно пожал плечами.

— А старший лейтенант?

— Вот господин офицер, который прибыл вчера,— ответил сержант с полным спокойствием.

Полковник горько усмехнулся.

— Ну, сударь,— сказал он мне,— примите командование; велите скорей укрепить вход в редут этими повозками: неприятель силен; генерал Кан пришлет вам подкрепление.

— Вы тяжело ранены, полковник?— спросил я.

— Моя песенка спета, милый мой, но редут взят!

## Таманго



Капитан Леду был бравый моряк. Он начал службу простым матросом, потом стал помощником рулевого. В битве при Трафальгаре осколком разбитой мачты ему раздробило кисть левой руки; руку ампутировали, а Леду списали с корабля, снабдив хорошими аттестациями. Он не любил спокойной жизни и, когда представился случай снова пуститься в плавание, поступил вторым помощником капитана на каперское судно. Деньги, вырученные за добычу, взятую с нескольких неприятельских кораблей, дали ему возможность купить книги и заняться теорией мореплавания, которое он в совершенстве изучил на практике. Несколько лет спустя он стал капитаном трехпушечного каперского люгера с экипажем в шестьдесят человек, и моряки каботажного плавания с острова Джерси до сих пор помнят о его подвигах. Заключение мира привело его в уныние: во время войны он скопил небольшой капитал и надеялся увеличить его за счет англичан. Обстоятельства заставили его предложить свои услуги мирным коммерсантам, и так как он слыл человеком решительным и опытным, ему охотно доверили судно. Когда запретили торговлю неграми и тем, кто хотел заниматься ею, пришлось не только обманывать бдительность французского таможенного надзора,



что было не так уж трудно, но, кроме того,— и это было опаснее — ускользать от английских крейсеров, капитан Леду стал незаменимым человеком для торговцев «черным деревом» \*.

В отличие от большинства моряков, подобно ему долго тянувших лямку на матросской службе, у него не было того непреодолимого страха перед новшествами и той косности, от которых они никак не могут избавиться, даже попав на высшие должности. Капитан Леду, напротив, был первым, кто предложил своему судовладельцу ввести в обиход железные баки для пресной воды. Наручники и цепи, запас которых обычно имеется на невольничьем судне, всегда были у него новейшей системы и тщательно смазывались для предохранения от ржавчины. Но больше всего прославил его среди работорговцев бриг, построенный под его собственным руководством и специально предназначенный для перевозки невольников: легкое парусное судно, узкое и длинное, как военный корабль, но в то же время вмещающее большое число негров. Он назвал этот бриг «Надежда». Он потре-

---

\* Так сами себя называют люди, торгующие неграми. (Прим. автора.)

бовал, чтобы междупалубные пространства, узкие, со впалыми стенками, были не выше трех футов четырех дюймов, и утверждал, что при такой высоте невольники не слишком большого роста могут сидеть достаточно удобно; а вставать... да зачем им вставать?

— Когда их привезут в колонии,— говорил Леду,— им и так слишком много придется быть на ногах!

Прислонясь спиной к внутренней обшивке, негры сидели двумя параллельными рядами, между которыми оставалось свободное место, на всех других невольничьих судах служившее только для прохода. Леду догадался поместить чернокожих и сюда, уложив их перпендикулярно к сидящим. Таким образом, его корабль вмещал на десяток негров больше, чем всякое другое судно того же водоизмещения. В крайнем случае можно было втиснуть еще несколько невольников, но нельзя же забывать о гуманности и надо же отвести каждому негру по меньшей мере пять футов в длину и два в ширину, чтобы он мог хоть немного размяться во время плавания, продолжавшегося шесть недель, а то и дольше.

— Ведь в конце концов,— говорил Леду своему хозяину, чтобы оправдать эту либеральную меру,— негры, в сущности, такие же люди, как и белые.

«Надежда» вышла из Нанта в пятницу, как потом вспоминали суеверные люди. Инспектора, добросовестно осмотревшие бриг, не обнаружили шести больших ящиков, наполненных цепями, наручниками и теми железными палками, которые, не знаю почему, называют «брусьями правосудия». Они не удивились также огромному запасу пресной воды, взятому на борт «Надежды», хотя по документам корабль шел только до Сенегала, чтобы закупить там дерево и слоновую кость. Переход, правда, невелик, но в конце концов лишняя предосторожность повредить не может. А вдруг их застанет штиль — что тогда делать без воды?

Итак, хорошо оснащенная и снабженная всем необходимым, «Надежда» отошла в пятницу. Леду, пожалуй, предпочел бы, чтобы мачты на его корабле были попрочнее; впрочем, пока он командовал судном, ему не пришлось на них жаловаться. Переход был удачный, и он быстро достиг берегов Африки. Он бросил якорь в устье реки Джоаль (если только я не спутал названия) в такое

время, когда английские крейсера не вели наблюдения за этой частью побережья. Сейчас же на борт «Надежды» явились туземные торговые агенты. Момент был как нельзя более удачный: Таманго, прославленный воин и продавец людей, как раз пригнал к берегу множество невольников и отдавал их по дешевой цене, вполне уверенный в том, что у него хватит сил и умения доставить на место сбыта новый товар, как только эта партия будет раскуплена.

Капитан Леду велел отвезти себя на берег и отправился с визитом к Таманго. Его привели в наспех построенную для негритянского вождя соломенную хижину, где тот ждал его в обществе двух своих жен, нескольких посредников и надсмотрщиков. По случаю встречи с белым капитаном Таманго принарядился. На нем был старый голубой мундир с еще сохранившимися нашивками капрала, но с каждого плеча свисало по два золотых эполета, пристегнутых к одной пуговице и болтавшихся один спереди, другой сзади. Мундир, надетый на голое тело, был коротковат для его роста, и между кальсонами из гвинейского холста и белыми отворотами мундира виднелась довольно большая полоса черной кожи, похожая на широкий пояс. На боку у него висела длинная кавалерийская сабля, подвязанная веревкой, а в руке он держал отличное дуствольное ружье английской работы. В таком наряде африканский воин считал себя элегантнее самого модного щеголя Парижа или Лондона.

Капитан Леду с минуту молча глядел на него, а Таманго, вытянувшись, как гренадер на смотре перед иностранным генералом, наслаждался впечатлением, которое, по его мнению, он производил на белого. Леду внимательно, взглядом знатока, осмотрел его и, обернувшись к своему помощнику, сказал:

— Вот это молодец! Я выручил бы за него не меньше тысячи экю, если бы доставил его живым и здоровым на Мартинику.

Они сели, и один матрос, знавший немного йолофский язык, взял на себя обязанности переводчика. После обмена учтивыми приветствиями, полагающимися в таких случаях, юнга принес корзину с бутылками водки; они выпили, и капитан, чтобы расположить к себе Таманго,

подарил ему красивую медную пороховницу, украшенную рельефным изображением Наполеона. Подарок был принят с подобающей благодарностью; все вышли из хижины, уселись в тени, поставив перед собой бутылки с водкой, и Таманго подал знак привести невольников, предназначенных для продажи.

Они появились, выстроенные длинной вереницей, сгорбленные от усталости и страха; на шее у каждого была рогатка длиной более шести футов, расходящиеся концы которой соединялись на затылке деревянной перекладной. Когда нужно тронуться в путь, один из надсмотрщиков кладет себе на плечо длинный конец рогатки первого невольника; тот берет рогатку идущего за ним человека, второй несет рогатку третьего и так далее. Если нужно передохнуть, вожак колонны втыкает в землю острый конец ручки своей рогатки, и вся колонна останавливается. Понятно, что нечего и думать о побеге, когда за шею тебя держит толстая палка в шесть футов длины.

Глядя на каждого проходившего перед ним невольника мужского или женского пола, капитан пожимал плечами, ворчал, что мужчины тщедушны, женщины слишком стары или слишком молоды, и жаловался на вырождение черной расы.

— Все мельчает, — говорил он. — Прежде все было по-другому: женщины были ростом в пять футов шесть дюймов, а мужчины могли вчетвером вертеть кабестан фрегата при подъеме главного якоря.

Однако, продолжая придирааться, он уже отбирал самых сильных и красивых негров. За этих он мог заплатить обычную цену, но остальных соглашался купить только с большой скидкой. Таманго отстаивал свои интересы, расхваливал товар, говорил о том, как мало осталось людей и как опасно торговать ими. В заключение он назвал цену — уж не знаю какую — за тех невольников, которых белый капитан хотел погрузить на свой корабль.

Как только переводчик выговорил по-французски цифру, названную Таманго, Леду чуть не упал от изумления и негодования; затем, бормоча ужасные проклятия, он встал, словно прекращая всякие переговоры с таким неразумным человеком. Но Таманго удержал его, и ему удалось, хотя и с трудом, усадить Леду на место. Отку-



порили еще одну бутылку, и торг возобновился. Теперь чернокожий, в свою очередь, стал возмущаться безрассудными и нелепыми предложениями белого. Они долго кричали, спорили, выпили чудовищное количество водки, но водка очень по-разному действовала на каждую из сторон. Чем больше пил француз, тем меньше предлагал он за невольников; чем больше пил африканец, тем больше он уступал. Таким образом, когда корзина опустела, они договорились. Дешевые ткани, порох, кремни, три бочки водки и пятьдесят кое-как отремонтированных ружей — вот что было дано в обмен на сто шестьдесят рабов. Чтобы скрепить сделку, капитан хлопнул ладонью по руке почти совсем опьяневшего негра, и невольники тут же были переданы французским матросам, которые поспешили снять с них деревянные рогатки и надеть им железные ошейники и кандалы — неоспоримое доказательство превосходства европейской цивилизации.

Оставалось еще около тридцати невольников — дети, старики, больные женщины. Корабль был полностью загружен.

Не зная, что делать с этим хламом, Таманго предложил его капитану по бутылке водки за штуку. Предложение было заманчиво. Леду вспомнил, как в Нанте на представлении *Сицилийской вечерни* в зал вошла целая компания — все люди крупные, тучные, и, несмотря на то, что партер был переполнен, им все-таки удалось разместиться благодаря сжимаемости человеческого тела. Он взял из тридцати рабов двадцать самых худощавых.

Тогда Таманго стал просить только по стакану водки за каждого из десяти оставшихся. Леду сообразил, что в почтовых каретах дети занимают половину места взрослого, и за них платят половину стоимости билета. Поэтому он купил трех детей, но заявил, что не возьмет больше ни одного негра. Таманго, видя, что ему не сбыть оставшихся семь невольников, схватил ружье и прицелился в женщину, стоявшую в ряду первой: это была мать троих детей, которых взял Леду.

— Покупай, — крикнул Таманго белому, — или я убью ее! Стаканчик водки, или я стреляю.

— На кой черт мне она? — возразил Леду.

Таманго выстрелил, и невольница упала мертвой.

— Следующий! — крикнул Таманго и направил ружье на дряхлого старика. — Стакан водки, или...

Одна из жен Таманго отвела его руку, и выстрел пришелся в воздух. Она узнала в старике, которого хотел убить ее муж, *гириота*, или колдуна, предсказавшего ей, что она будет королевой.

Увидев, что кто-то противится его воле, Таманго, взбешенный от выпитой водки, перестал владеть собой. Он сильно ударил жену прикладом и, повернувшись к Леду, сказал:

— Бери, я дарю тебе эту женщину.

Она была красива. Леду посмотрел на нее, улыбаясь, и взял ее за руку.

— Для нее-то у меня найдется местечко, — сказал он.

Переводчик был человек сострадательный. Он дал Таманго картонную табакерку и выпросил у него шесть оставшихся невольников. Он снял с них рогатки и отпустил на все четыре стороны. Они тут же разбежались, хотя и не знали, как доберутся до своей родины, находившейся за двести миль от побережья.

Тем временем капитан распрощался с Таманго и поспешил заняться погрузкой своего товара на корабль. Долго стоять в устье реки было небезопасно: могли вернуться английские крейсера, и Леду хотел на другой же день сняться с якоря. А Таманго улегся в тени на траву, чтобы проспать.

Когда он проснулся, корабль, уже под парусами, спустился вниз по реке. Чувствуя туман в голове от вчерашней попойки, Таманго потребовал к себе свою жену Айше. Ему ответили, что она имела несчастье прогневить его и он подарил ее белому капитану, а тот взял ее с собой на корабль. Услыхав это, ошеломленный Таманго хлопнул себя по лбу, потом схватил ружье, и, так как река перед своим впадением в море образовывала несколько извилин, он побежал кратчайшим путем к небольшой бухте, находившейся в полумиле от устья. Там он надеялся найти лодку, чтобы подплыть к бригу, который должен был задержаться на поворотах реки. Он не ошибся: в самом деле, он успел прыгнуть в лодку и догнать невольничий корабль.

Увидев его, Леду удивился; он удивился еще больше, когда Таманго потребовал обратно свою жену.

— Дареное назад не отбирают, — ответил он и повернулся к Таманго спиной.

Чернокожий настаивал, предлагал вернуть часть товаров, полученных им в обмен на невольников. Капитан рассмеялся; он заявил, что Айше отличная жена и он хочет оставить ее себе. Тут из глаз бедного Таманго полились потоки слез, и он стал испускать такие пронзительные крики, как будто ему делали хирургическую операцию. То он катался по палубе, призывая свою дорогую Айше, то бился головой о доски, словно хотел лишиться себя жизни. Капитан, по-прежнему невозмутимый, показывал на берег и знаками давал ему понять, что пора уходить; но Таманго упорствовал. Он дошел до того, что готов был отдать свои золотые эполеты, ружье и саблю. Все было напрасно.

Во время их спора старший помощник сказал капитану:

— Сегодня ночью у нас умерло трое невольников, место освободилось. Почему бы нам не взять этого здорового малого? Ведь он один стоит дороже тех троих, что умерли.

Леду рассудил, что Таманго можно легко продать за тысячу экю, что это путешествие, сулившее ему большие барыши, будет, вероятно, последним, что, раз уж он сколотил деньгу и покончил с торговлей рабами, не все ли ему равно, какая слава пойдет о нем на Гвинейском побережье: добрая или худая! К тому же вокруг было пустынно, и африканский воин находился всецело в его власти. Оставалось только отобрать у Таманго оружие. Подступаться к нему, пока он держал в руке ружье и саблю, было опасно.

И Леду попросил у него ружье, словно для того, чтобы посмотреть и удостовериться, стоит ли взять его в обмен на красавицу Айше. Пробуя затвор, он постарался высыпать весь заряд пороха. Старший помощник тем временем вертел в руках саблю Таманго, и, пока тот стоял безоружный, двое дюжих матросов бросились на него, опрокинули его на спину и принялись вязать. Чернокожий героически сопротивлялся. Придя в себя от неожиданности, он, несмотря на то, что был в невыгодном по-

ложении, долго боролся с двумя матросами. Благодаря его чудовищной силе ему удалось подняться. Ударом кулака он свалил на землю человека, державшего его за шиворот, оставил клочок своего мундира в руках второго матроса и, как бешеный, бросился на старшего помощника, чтобы отнять у него саблю. Взмахнув ею, тот полоснул его по голове и нанес ему большую, но неглубокую рану. Таманго снова упал. Его тотчас же крепко связали по рукам и ногам. Защищаясь, он испускал яростные крики и бился, как дикий кабан, попавший в западню; наконец, поняв, что всякое сопротивление бесполезно, он закрыл глаза и перестал двигаться. Только тяжелое и частое дыхание показывало, что он еще жив.

— Черт возьми!—вскричал капитан Леду.— Проданные им негры весело посмеются, увидев, что он тоже стал невольником. Вот когда они убедятся в том, что есть провидение!

А бедный Таманго истекал кровью. Сострадательный переводчик, который накануне спас жизнь шести рабам, подошел к нему, перевязал ему рану и попытался его утешить. Не знаю, что мог он ему сказать. Негр лежал неподвижно, как труп. Пришлось двум матросам снести его, словно тюк, вниз, на предназначенное ему место. Два дня он не пил и не ел; он почти не открывал глаз. Товарищи Таманго по рабству, бывшие его пленники, встретили его появление в своей среде с тупым удивлением. Он и теперь внушал им такой страх, что ни один из них не посмел надругаться над несчастьем того, кто был причиной их собственных мучений.

Подгоняемый попутным ветром с суши, корабль быстро удалялся от берегов Африки. Перестав опасаться появления английских крейсеров, капитан теперь думал только об огромных барышах, ожидавших его в колониях, куда он направлялся. Его «черное дерево» в пути не портилось. Никаких заразных болезней не было. Только двенадцать негров, из самых слабых, умерли от жары: сушая безделица. Чтобы его человеческий груз как можно меньше пострадал от утомительного плавания, капитан Леду приказал ежедневно выводить невольников на палубу. Несчастных выпускали тремя партиями, и в течение часа они запасались воздухом на целый день. Часть экипажа сторожила их, вооруженная до зубов из

опасения бунта; впрочем, с негров никогда не снимали всех оков. Иногда один из матросов, умевший играть на скрипке, угощал их концертом. И тогда любопытно было наблюдать, как все эти черные лица поворачивались к музыканту, как выражение тупого отчаяния постепенно сходило с них, и негры смеялись и хлопали в ладоши, если цепи позволяли им это. Моцион необходим для здоровья, поэтому капитан Леду завел полезный обычай: он часто заставлял невольников плясать, подобно тому как перевозимых на борту корабля лошадей во время долгого плавания заставляют топтаться на месте.

— Ну-ка, детки мои, попляшите, повеселитесь! — говорил капитан громовым голосом, щелкая длинным бичом.

И бедные негры тотчас же принимались прыгать и плясать.

Некоторое время рана Таманго не позволяла ему выходить наверх. Наконец он появился на палубе; гордо подняв голову среди боязливой толпы невольников, он прежде всего бросил грустный, но спокойный взгляд на огромное водное пространство, расстилавшееся вокруг корабля, затем лег, или, вернее, повалился, на доски палубы, даже не расположив поудобнее свои цепи. Леду, сидя на юте, спокойно курил свою трубку. Возле него Айше, без оков, одетая в нарядное платье из голубого ситца, обутая в красивые сафьяновые туфли, держала в руках поднос с бутылками, чтобы по первому приказанию капитана налить ему вина. Очевидно, она исполняла при нем почетные обязанности. Один из негров, ненавидевший Таманго, знаком показал ему в ту сторону. Таманго повернул голову, заметил Айше, вскрикнул и, стремительно вскочив, побежал к юту, прежде чем сторожившие невольников матросы успели помешать такому неслыханному нарушению корабельной дисциплины.

— Айше! — воскликнул он грозным голосом, и Айше испустила крик ужаса. — Ты думаешь, в стране белых нет Мама-Джумбо?

Матросы уже бежали к нему с поднятыми палками, но Таманго, скрестив руки, словно безразличный ко всему, спокойно вернулся на свое место, а Айше залилась

слезами и, казалось, окаменела от этих таинственных слов.

Переводчик объяснил, кто этот страшный Мама-Джумбо, одно имя которого внушало такой ужас.

— Это пугало негров,— сказал он.— Когда муж боится, чтобы его жена не сделала того, что делают многие жены как во Франции, так и в Африке, он угрожает ей Мама-Джумбо. Я собственными глазами видел этого Мама-Джумбо и понял, в чем тут хитрость, но чернокожие... они ведь такие простодушные, ничего не понимают. Представьте себе, однажды вечером, когда женщины развлекались танцами — устраивали *фольгар*, как они это называют на своем языке,— вдруг из небольшой рощи, очень густой и темной, доносится странная музыка. Кто играет, не видно, все музыканты спрятаны за деревьями. Тростниковые флейты, деревянные тамбурины — *балафо* и гитары, сделанные из выдолбленных половинок тыквы,— получается такая музыка, что под нее можно хоронить самого дьявола. Как только женщины слышат эту трескотню, они начинают дрожать от страха и бросаются врассыпную: они-то хорошо знают, что рыльце у них в пушку,— но мужья не пускают их. Тут из леса выходит длинная белая фигура, ростом с нашу брам-стенгу, с огромной, как котел, головой, с большущими, точно клюзы, глазами и огненной, как у дьявола, пастью. Это чудовище движется медленно-медленно и отходит от леса не больше, чем на полкабельтова. Женщины кричат: «Вот он, Мама-Джумбо!» Они вопят, как торговки устрицами. Тогда мужья и говорят им: «А ну-ка, негодницы, рассказывайте, изменяли вы нам или нет? Если солжете, Мама-Джумбо сожрет вас живьем!» Некоторые простушки сознаются, и тут уж мужья награждают их ту-маками.

— А что же это за белая фигура, что это за Мама-Джумбо? — спросил капитан.

— Ну, это какой-нибудь ловкач, закутанный в белую простыню; а голову чудища изображает выдолбленная тыква с зажженной внутри свечой, которую он несет на конце длинной палки. Вот и вся хитрость; чтобы обмануть чернокожих, не требуется большой смекалки. А все-таки этот Мама-Джумбо — остроумная выдумка; я не прочь, чтобы моя жена в него поверила.

— Что до моей,— сказал Леду,— то, если она и не боится Мама-Джумбо, она боится Мартина Кнута и хорошо знает, как бы я ее отделаю, если бы ей вздумалось меня провести. В семье Леду все мы такие; с нами шутки плохи, и хоть у меня только одна рука, она еще может поработать линьком. А что касается вашего молодчика, который болтает о Мама-Джумбо, скажите ему, чтобы он прикусил язык и не пугал мою красотку, или я прикажу так надрать ему спину, что кожа на ней из черной станет красной, как сырой ростбиф.

С этими словами капитан спустился к себе в каюту, позвал Айше и попытался ее утешить; но ни ласки, ни даже побои — ведь в конце концов можно же потерять терпенье! — не успокоили красавицу негритянку: слезы ручьем лились у нее из глаз. Капитан вернулся на палубу в мрачном расположении духа и придрался к вахтенному начальнику из-за какой-то команды, которую тот как раз отдавал рулевому.

Ночью, когда почти весь экипаж спал глубоким сном, караульные слышали сначала размеренное, торжественное, мрачное пение, доносившееся снизу, затем пронзительный женский визг. И тотчас же на весь корабль раздался громкий голос Леду, выкрикивавший ругательства и угрозы, и щелканье его страшного бича. Минуту спустя все опять погрузилось в молчание. На следующий день, когда Таманго появился на палубе, лицо его было все в кровоподтеках, но он держался так же гордо и решительно, как прежде.

Едва Айше заметила его со шканцев, где она сидела возле капитана, она вскочила с места, подбежала к Таманго, опустилась перед ним на колени и голосом, полным глубокого отчаяния, сказала:

— Прости меня, Таманго, прости!

С минуту Таманго пристально смотрел на нее, потом, заметив, что переводчик отошел в сторону, проговорил:

— Напильник! — и лег на палубу, повернувшись спиной к Айше.

Капитан выбранил ее, даже надавал ей пощечин и запретил разговаривать с прежним мужем; ему и в голову не пришло, что в их короткой беседе могло заклю-

чаться что-либо подозрительное, и он не задал ей ни одного вопроса.

Между тем Таманго, запертый вместе с другими чернокожими, день и ночь убеждал их предпринять героическую попытку вернуть себе свободу. Он говорил, что белых не так уж много, указывал на все возрастающую небрежность караульных; затем уверял, что сумеет отвезти их обратно на родину, не объясняя, правда, каким образом, хвастался своим знанием тайных наук, которые в таком почете у всех негров, и угрожал мстью дьявола тем, кто откажется помогать ему в его предприятии. Все эти переговоры он вел исключительно на языке племени пёлей, понятном большинству негров, но незнакомом переводчику. Авторитет оратора, привычка рабов трепетать перед ним и подчиняться ему прекрасно помогли его красноречию, и негры стали торопить Таманго назначить день их освобождения еще задолго до того, как сам он подготовился к осуществлению своего плана. Он уклончиво ответил заговорщикам, что время еще не пришло, ибо дьявол, являвшийся ему во сне, еще не определил срока, но что они должны быть готовы подняться по первому сигналу. Между тем он никогда не упускал случая испытать бдительность охраны. Как-то раз один из матросов, прислонив свое ружье к борту брига, зазевался на стаю летучих рыб, провожавших корабль. Таманго взял ружье и стал размахивать им, передразнивая матросов на учении. Не прошло и минуты, как у него отняли ружье, но он удостоверился в том, что может взять оружие, не вызывая немедленно подозрения; а когда придет время и оно понадобится ему всерьез, пусть тогда попробуют вырвать ружье из его рук!

Однажды Айше бросила ему сухарь, сделав знак, понятный ему одному. В сухаре был спрятан маленький напильник — от этого инструмента зависел успех заговора. Таманго не сразу показал напильник своим спутникам, но когда наступила ночь, он стал бормотать несвязные слова, сопровождая их странными жестами. Постепенно возбуждаясь все больше и больше, он начал испускать крики. Слыша меняющиеся интонации его голоса, можно было подумать, что он вступил в оживленный разговор с каким-то невидимым существом. Все



невольники дрожали от страха, не сомневаясь, что в это мгновение среди них находится дьявол. Таманго положил конец этой сцене, испустив радостный крик.

— Друзья! — воскликнул он. — Дух, которого я заклинал, наконец исполнил мою просьбу, и оружие нашего освобождения у меня в руках. Теперь вам нужно только немного мужества, и вы вернете себе свободу.

Он дал ближайшим к нему неграм пощупать напильник, и, как ни проста была его хитрость, эти еще более простые люди поверили ей.

После долгого ожидания настал великий день мщения и свободы. Заговорщики, связав себя торжественной клятвой, тщательно обсудили все и наметили план действий. Самые смелые во главе с Таманго должны были, когда наступит их очередь выйти на палубу, обезоружить караульных, другие — ворваться в каюту капитана и захватить все находившиеся там ружья. Тем, кто успеет перепилить свои кандалы, надлежало начать нападение; но, несмотря на упорную работу, продолжавшуюся в течение нескольких ночей, большинство невольников еще не могли по-настоящему принять участие в деле. Поэтому трем дюжим неграм было поручено убить человека, носившего в кармане ключ от кандалов, и сразу за тем освободить своих закованных товарищей.

В тот день капитан Леду был в прекрасном расположении духа. Вопреки своим правилам он простил юнгу, заслужившего наказание плетью, и, похвалив вахтенного начальника за умелое управление кораблем, объявил матросам, что он ими доволен, и пообещал, что на Мартинике, куда им вскоре надлежало прибыть, выдаст каждому наградные. Все матросы, обрадованные столь приятными перспективами, уже стали обдумывать, на что они потратят эти деньги. Они мечтали о водке и цветных женщинах Мартиники, когда на палубу вывели Таманго и других заговорщиков.

Невольники постарались подпилить свои цепи таким образом, чтобы это не бросилось в глаза, но чтобы при малейшем усилии они могли их разорвать. К тому же они так громко звенели цепями, что, слушая этот звон, мож-

но было подумать, будто сегодня на них вдвое больше оков, чем обычно. Подышав немного свежим воздухом, они все взялись за руки и принялись плясать, а Таманго затаил воинственную песнь своего племени\*, которую он пел в былые времена перед тем, как идти в бой. Немного погодя пляска прекратилась, и Таманго, словно выбившись из сил, растянулся у ног одного из матросов, который стоял, небрежно прислонившись к борту; все заговорщики сделали то же самое. Таким образом, каждый матрос оказался окруженным несколькими неграми.

Внезапно Таманго, незаметно разорвавший свои цепи, выпускает громкий крик, который должен служить условным сигналом, хватает за ноги стоящего возле него матроса и опрокидывает его на палубу; упершись ногой ему в живот, Таманго отнимает у него ружье и в упор стреляет в вахтенного начальника. В тот же миг остальные заговорщики нападают на других караульных, обезоруживают их и тут же закалывают. Со всех сторон несутся воинственные крики. Боцман, державший при себе ключ от кандалов, погибает одним из первых. Вслед за тем негры толпой врываются на верхнюю палубу. Те, кто не находит оружия, хватают рукоятки кабестана или весла шлюпок. В эту минуту участь европейцев была решена. Правда, на шканцах несколько матросов еще оказывали сопротивление, но им недоставало и оружия и решимости. Леду был еще жив и сохранял все свое мужество. Заметив, что душой заговора был Таманго, он сообразил, что, если удастся убить его, справиться с остальными будет нетрудно. Он громко окликнул его и кинулся к нему с саблей в руке. Таманго тотчас же бросился на него. Он держал ружье за конец ствола и размахивал им, как дубиной. Оба начальника встретились на одном из шкафутов, в этом узком проходе, соединяющем бак со шканцами. Таманго ударил первый. Белый увернулся ловким движением. Обрушившись на доски палубы, приклад сломался; сотрясение было столь сильным, что ружье выскользнуло из рук Таманго. Теперь он был беззащитен, и Леду с ликующей сатанической улыбкой уже взмахнул саблей, чтобы пронзить его. Но

---

\* У каждого негритянского вождя есть своя песня. (Прим. автора.)

Таманго был проворен, как пантеры его родины; он кинулся на врага и схватил его за руку, готовую нанести удар. Один силится удержать оружие, другой — вырвать его из рук противника. Во время этой яростной схватки оба упали, но африканец оказался внизу. Тогда Таманго, не теряя мужества, сдавил капитана и с таким бешенством впился зубами ему в горло, что кровь хлынула из него, как из-под клыков льва. Сабля выпала из ослабевших рук капитана. Таманго схватил ее, и, вскочив на ноги, с окровавленным ртом, испуская торжествующий крик, несколькими ударами прикончил своего уже полумертвого врага.

Победа была полной. Немногие уцелевшие матросы пытались вымолить пощаду у восставших, но все они, даже переводчик, который никогда не делал неграм зла, были безжалостно убиты. Старший помощник капитана умер с честью. Он отступил на корму, к одной из тех маленьких пушек, которые поворачиваются на оси и заряжаются картечью. Левой рукой он наводил пушку, а правой держал саблю и так хорошо защищался, что вокруг него собралась целая толпа чернокожих. Тогда, нажав спуск, он выстрелил из пушки, и среди плотной массы людей образовался широкий проход, устланный мертвыми и умирающими. Минуту спустя старший помощник был разорван.

Когда труп последнего белого, растерзанный и искромсанный, был выброшен за борт, негры, насытившись местью, подняли глаза к парусам, которые, все еще надуваясь от свежего ветра, казалось, по-прежнему повиновались угнетателям и, несмотря на торжество победивших, увлекали их в страну рабства.

«Значит, все напрасно? — подумали они с грустью. — Разве этот огромный фетиш белых захочет везти нас на родину после того, как мы пролили кровь его повелителей?»

Некоторые высказали предположение, что Таманго сумеет заставить его повиноваться. Тотчас же все громкими криками стали звать Таманго.

Он не спешил показаться. Его нашли в кормовой каюте; он стоял, опершись одной рукой на окровавленную саблю капитана, и с рассеянным видом протягивал другую руку своей жене Айше, которая целовала ее, стоя

на коленях. Радость победы не могла заглушить мрачной тревоги, сквозившей во всем его облике. Менее невежественный, чем остальные, он яснее их понимал трудность своего положения.

Наконец он появился на верхней палубе, изображая на лице спокойствие, которого не ощущал. Среди смутного гула сотни голосов, требовавших, чтобы он изменил путь корабля, он медленно подошел к рулю, словно хотел хоть немного отдалить ту минуту, которая должна была и для него и для других определить пределы его могущества.

Все негры на корабле, даже самые тупые, успели заметить, что движение судна зависит от какого-то колеса и находящегося против него ящичка; но механизм этот всегда был для них великой тайной. Таманго долго смотрел на компас, шевеля губами, как будто он читал начертанные на нем знаки; затем поднес руку ко лбу и принял задумчивый вид человека, мысленно что-то вычисляющего. Все негры стояли вокруг него, раскрыв рты и вытаращив глаза, и боязливо следили за каждым его движением. Наконец с тем смешанным чувством страха и уверенности, которое порождается невежеством, он резко повернул рулевое колесо.

Как благородный конь, вздымающийся на дыбы под шпорой неосторожного всадника, прекрасный бриг «Надежда» подпрыгнул на волнах от этого неслыханного маневра — словно, негодуя, он хотел утонуть в пучине вместе со своим невежественным кормчим. Необходимое соответствие между направлением парусов и руля было внезапно нарушено, и корабль накренился так круто, что, казалось, сейчас опрокинется. Его длинные рей окунулись в море. Многие негры свалились с ног, несколько человек вылетели за борт. Вскоре корабль гордо выпрямился на гребне волны, как будто хотел еще раз вступить в борьбу с гибелью. Ветер удвоил силу, и вдруг со страшным треском рухнули обе мачты, сломанные на несколько футов выше основания, покрывая палубу своими обломками и тяжелой сетью веревочных снастей.

Ипуская крики ужаса, перепуганные негры бросились к люкам; но так как ветер не встречал больше сопротивления, бриг выпрямился и стал мягко покачиваться на

волнах. Тогда самые смелые из чернокожих вернулись на верхнюю палубу и убрали загромождавшие ее обломки. Таманго стоял неподвижно, опершись локтем на коробку компаса и согнутой рукой закрывая лицо. Айше была возле него, но не смела заговорить с ним. Понемногу негры приблизились; поднялся ропот, вскоре превратившийся в бурю упреков и ругательств.

— Предатель! Обманщик! — кричали они. — Ты причина всех наших несчастий! Ты продал нас белым, ты принудил нас восстать против них. Ты хвалился своей мудростью, ты обещал отвезти нас на родину. Мы, безумцы, поверили тебе, и вот мы все чуть не погибли, потому что ты оскорбил фетиш белых.

Таманго гордо поднял голову, и окружавшие его чернокожие в страхе отступили. Он подобрал оба ружья, знаком приказал жене следовать за собой и, пройдя через раздавшуюся перед ним толпу, направился к носу корабля. Там он устроил нечто вроде вала из пустых бочек и досок, затем уселся посреди этого укрытия, откуда угрожающе торчали штыки двух его ружей. Его оставили в покое. Среди восставших одни плакали, другие, подняв руки к небу, призывали своих фетишей и фетишей белых; некоторые, стоя на коленях перед компасом, с благоговением следили за непрерывным движением его стрелки и умоляли его вернуть их на родину; иные в мрачном оцепенении лежали на верхней полубе. Среди этих людей, потерявших всякую надежду, представьте себе еще женщин и детей, воющих от ужаса, и десятка два раненых, взывающих о помощи, которую никто не думал им оказывать.

Вдруг на верхнюю палубу прибегает один негр; лицо его сияет. Он кричит, что обнаружил место, где белые хранили водку; его радость и все его поведение ясно показывают, что он уже ее попробовал. При этом известии крики несчастных на мгновение смолкают. Они бегут в камбуз и напиваются вволю. Через час они уже прыгали и смеялись на палубе, предаваясь всем крайностям скотского опьянения. Их пляски и песни сопровождались стонами и рыданиями раненых. Так прошел остаток дня и вся ночь.

Утром при пробуждении снова отчаяние. За ночь многие из раненых умерли. Корабль плыл, окруженный

трусами. Море волновалось, небо покрылось тучами. Стали держать совет. Несколько новичков в колдовском искусстве, не смевшие прежде и заикнуться о своем умении при Таманго, один за другим стали предлагать свои услуги. Испробовали несколько могущественных заклинаний. При каждой неудачной попытке уныние возрастало. Наконец негры снова вспомнили о Таманго, все еще не выходившем из своего укрытия. Как-никак, он был среди них самый мудрый; он один мог вывести их из ужасного положения, в которое они попали по его вине. Один старик, уполномоченный вести мирные переговоры, приблизился к нему. Он попросил его выйти и подать совет, но Таманго, непреклонный, как Кориолан, остался глух к его мольбам. Ночью, пользуясь общей растерянностью, он запасся сухарями и солониной. По-видимому, он твердо решил жить один в своем убежище.

Водка еще оставалась. С ней по крайней мере забываешь и море, и рабство, и близкую смерть. Спишь и видишь во сне Африку, леса каучуковых деревьев, крытые соломой хижины, баобабы, покрывающие своей тенью целые деревни. Снова, как и накануне, началась оргия. Так прошло несколько дней. Плакать, кричать, рвать на себе волосы, потом напиться и заснуть — вот все, что им оставалось в жизни. Многие умерли от пьянства, некоторые бросились в море или зарезались.

Однажды утром Таманго вышел из своей крепости и остановился у обломка грот-мачты.

— Рабы! — сказал он. — Во сне мне явился дух и открыл способ вывезти вас отсюда и привезти на родину. Своей неблагодарностью вы заслужили, чтобы я вас покинул, но мне жаль этих плачущих женщин и детей. Я вас прощаю. Слушайте меня.

Все чернокожие, почтительно склонив головы, столпились вокруг него.

— Одни только белые, — продолжал Таманго, — знают могущественные слова, которым повинуются эти большие деревянные дома, но мы можем по своему желанию управлять легкими лодками, похожими на лодки нашей родины.

Он показал на шлюпку и другие лодки, находившиеся на борту брига.

— Наполним их съестными припасами, сядем в них и будем грести по ветру; мой и ваш повелитель заставит его дуть в сторону нашей родины.

Ему поверили. Трудно было придумать более безрассудный план. Не умея пользоваться компасом, под незнакомым небом Таманго мог только блуждать наудачу. Он воображал, что если будешь грести все прямо перед собой, то в конце концов обязательно встретишь какую-нибудь землю, населенную неграми, потому что чернокожие владеют землей, а белые все живут на кораблях. Это он слышал от своей матери.

Вскоре все было готово к отплытию; но годными оказались только одна шлюпка и челнок. В них не хватало места для восьмидесяти оставшихся в живых негров. Пришлось бросить всех раненых и больных. Большинство просили убить их, но только не оставлять на произвол судьбы. Обе лодки, спущенные на воду с бесконечным трудом и отягощенные грузом, отошли от корабля в бурное море, ежеминутно грозившее поглотить их. Первым отчалил челнок. Таманго и Айше сидели в шлюпке, которая была гораздо тяжелее, больше нагружена и потому заметно отставала. Еще слышались жалобные крики несчастных, покинутых на борту брига, когда высокая волна перекатилась через шлюпку и захлестнула ее. Не прошло и минуты, как она пошла ко дну. С челнока увидели катастрофу, и его гребцы удвоили усилия, боясь, что им придется подобрать утопающих. Почти все, кто был в шлюпке, утонули. Только десять человек вернулись на корабль. В их числе были Таманго и Айше. Когда солнце село, они увидели, как челнок исчез за горизонтом; но что с ним стало, никому не известно.

Зачем стану я утомлять читателя отвратительным описанием мук голода? Около двадцати существ на узком пространстве, которых то треплет бурное море, то палит жгучее солнце, каждый день отнимают друг у друга жалкие остатки съестных припасов. Каждый кусок сухаря достается ценою борьбы, и слабый гибнет не потому, что сильный его убивает, а потому, что предоставляет ему умереть. Через несколько дней на борту брига «Надежда» остались в живых только Таманго и Айше.

Однажды ночью море волновалось, дул сильный ветер, и был такой мрак, что с кормы нельзя было различить нос корабля. Айше лежала на тюфяке в капитанской каюте. Таманго сидел у ее ног. Оба давно уже молчали.

— Таманго! — воскликнула Айше. — Все эти страдания ты терпишь из-за меня...

— Я не страдаю, — ответил он резко и бросил ей на матрац половину оставшегося у него сухаря.

— Сбереги его для себя, — сказала она, отодвигая сухарь, — я больше не хочу есть. Да и зачем? Разве мой час не настал?

Таманго ничего ей не ответил; он прошел, пошатываясь, на верхнюю палубу и сел у подножия сломанной мачты. Низко опустив голову, он стал насвистывать песню своего рода. Вдруг сквозь шум ветра и моря донесся громкий крик, показался свет. Потом он снова услышал крики, и вслед за тем большое черное судно стремительно пронеслось мимо брига, так близко, что реи прошли над его головой. Он рассмотрел только двух людей, лица которых были освещены фонарем, подвешенным к мачте. Эти люди еще раз крикнули что-то, и их корабль, гонимый ветром, сразу исчез во мраке. Без сомнения, вахтенные заметили судно, потерпевшее кораблекрушение, но бурная погода помешала им изменить курс. Мгновение спустя сверкнул огонь, и раздался пушечный выстрел; затем Таманго увидел огонь другой пушки, но уже не слышал никакого звука; потом он ничего больше не видел. На следующий день ни один парус не появлялся на горизонте. Таманго снова лег на тюфяк и закрыл глаза. В эту ночь умерла его жена Айше.

Некоторое время спустя английский фрегат «Беллона» обнаружил какое-то судно без мачт, по-видимому, покинутое своим экипажем. Когда к нему приблизились на шлюпке, там нашли мертвую негритянку и негра, до того исхудавшего и высохшего, что он походил на мумию. Он был без сознания, но жизнь еще теплилась в нем. Корабельный врач занялся им, ему оказали помощь, и когда «Беллона» прибыла в Кингстон, он был уже со-



вершенно здоров. Негра стали расспрашивать об его приключениях. Он рассказал все, что знал. Плантаторы острова требовали, чтобы его повесили, как негра-бунтовщика, но губернатор, человек гуманный, заинтересовался им и нашел, что его можно оправдать, так как, в сущности, он воспользовался законным правом самозащиты; к тому же те, кого он убил, были ведь всего-навсего французы. С ним поступили, как поступают с неграми, взятыми с захваченного невольничьего корабля. Ему вернули свободу, то есть заставили работать на правительство, но его кормили и платили ему по шесть су в день. Он был рослый и красивый человек. Командир 75-го полка увидел его и взял к себе литавщиком в полковой оркестр. Он немного выучился по-английски, но не любил разговаривать. Зато он неумеренно пил ром и сахарную водку. Умер он в больнице от воспаления легких.

## Федериго\*



Жил когда-то молодой дворянин по имени Федериго, красивый, стройный, любезный и добродушный, но крайне распущенный. Он до страсти любил игру, вино и женщин. Особенно игру. Никогда он не бывал на исповеди, а в церковь ходил разве только для того, чтобы найти повод для прегрешения. Вот однажды Федериго обыграл в пух и прах двенадцать юношей из богатых семей. (Впоследствии они стали разбойниками и погибли без покаяния в жаркой схватке с королевскими наемными солдатами.) Потом и сам Федериго быстро спустил свой выигрыш, а там и все свое имущество; и остался у него один замок за Кавскими холмами; туда он и удалился, стыдясь своей нищеты.

Три года он прожил в уединении: днем охотился, а под вечер играл в ломбер со своим арендатором. И вот как-то раз возвращается он домой с охоты, самой

---

\* Сказка эта широко известна в Неаполитанском королевстве. В ней можно обнаружить, как и во многих других рассказах местного происхождения, странное смешение греческой мифологии и христианских верований. Возникла она, по-видимому, в конце средневековья. (Прим. автора.)



удачной за все время, а Иисус Христос с двенадцатью апостолами стучится к нему в двери и просит приютить его. Душа у Федерико была добрая, ему приятно было, что пришли гости как раз тогда, когда есть чем их угостить. Ввел он странников в свое жилище, любезнейшим образом предложил им стол и кров и извинился, что принимает их не так, как они заслуживают: ведь они застали его врасплох. Господь наш отлично знал, что пришли они вовремя, но за искреннее радушие Федерико он простил тот оттенок тщеславия, который был в его словах.

— Что у вас есть, тем мы и будем довольны, — сказал Христос, — но только поторопитесь с ужином: время позднее, а вот он очень голоден, — прибавил Христос, указывая на святого Петра.

Федерико не нужно было повторять два раза; желая угостить своих гостей чем-нибудь получше, нежели добытое им на охоте, велел он арендатору зарезать последнего козленка и зажарить его на вертеле.

Ужин поспел, и вся компания села за стол. Об одном только жалел Федерико, что вино у него неважное.

— Сударь! — обратился он к Иисусу Христу.—

Хотел бы предложить вам лучшее вино,  
Но то, какое есть, от сердца подано.

На это господь бог, отведав вино, сказал:

— На что вы жалуетесь? У вас чудесное вино. Я уверен, что он подтвердит. (И господь указал пальцем на святого Петра.)

Святой Петр попробовал, объявил, что вино превосходное (*proprio stupendo*), и пригласил хозяина с ним выпить.

Федериго все это принимал за пустую любезность, однако на предложение апостола согласился. Каково же было его удивление, когда он обнаружил, что такого дивного вина он в жизнь свою не пивал, даже когда был на вершине благополучия! Догадавшись по этому чуду о присутствии спасителя, он сейчас же поднялся из-за стола: он считал себя недостойным вкушать в таком святом обществе. Но господь приказал ему сесть на свое место, и Федериго сел без всяких церемоний. После ужина, за которым служил им арендатор с женою, Иисус Христос удалился с апостолами в помещение, которое для них приготовили. А Федериго, оставшись наедине с арендатором, сыграл с ним обычную партию в ломбер, выпивши остаток чудесного вина.

Когда на следующий день святые путники собрались в одной из нижних зал, Иисус Христос сказал Федериго:

— Мы очень довольны приемом, который ты нам оказал, и хотим тебя наградить. Проси у нас три милости по своему выбору, и они тебе будут даны, ибо дана нам вся власть на небесах, на земле и в преисподней.

Тогда Федериго вынул из кармана колоду карт, которую всегда носил при себе, и говорит:

— Господи! Сделай так, чтобы я всякий раз выигрывал, когда буду играть этими картами.

— Да будет так!—сказал Иисус Христос. (*Ti sia concesso.*)

Но святой Петр, стоявший подле Федериго, сказал ему шепотом:

— Несчастный грешник! О чем ты думаешь? Ты бы у господина просил спасения души.

— Я мало об этом забочусь,—отвечал Федериго.

— Еще осталось две милости,—молвил Иисус Христос.

— Господи! — продолжал хозяин.— Раз ты такой добрый, сделай, пожалуйста, чтобы всякий, кто влезет на апельсиновое дерево у моей двери, без моего позволения не мог оттуда слезть.

— Да будет так! — отвечал Иисус Христос.

Тут апостол Петр изо всех сил толкнул Федериго локтем и сказал:

— Несчастный! Разве тебя не страшит преисподняя, уготованная за твои прегрешения? Попроси у господина места в раю, пока не поздно...

— Время терпит,—отвечал Федериго и отошел от апостола.

Господь снова обратился к нему:

— Чего же ты хочешь как третью милость?

— Я хочу,—отвечал тот,— чтобы всякий, кто сядет на эту скамейку около моего очага, не мог с нее подняться без моего разрешения.

Господь внял и этому желанию и вместе со своими учениками удалился.

Последний апостол не успел уйти со двора, а Федериго уже захотелось попробовать силу своих карт; он позвал арендатора и принялся с ним играть, даже не смотря в карты. С первого же хода он выиграл партию, потом вторую, потом третью. Тогда, уверенный в своем успехе, он отправился в город и, остановившись в лучшей гостинице, снял самое дорогое помещение. Слух о его возвращении сейчас же распространился, и его

прежние собутыльники целой толпой явились навестить его.

— Мы думали, что ты исчез навсегда! — воскликнул дон Джузеппе. — Говорили, что ты стал отшельником.

— И правильно говорили, — отвечал Федериго.

— Что же ты делал эти три года, черт бы тебя побрал? — спросили все остальные.

— Молился, дорогие братья, — отвечал Федериго ханжеским тоном. — Вот мой часослов, — прибавил он, вынимая из кармана колоду карт, которую он берег, как драгоценность.

Ответ этот возбудил всеобщий смех; все были убеждены, что Федериго поправил свои дела в чужих краях за счет игроков менее искусных, чем те, среди которых он теперь находился, а они горели желанием разорить его еще раз. Некоторые возымели охоту тотчас же, без промедления, тащить его к игорному столу. Но Федериго попросил их отложить игру до вечера и пригласил в залу, где по его приказанию был приготовлен вкусный обед, которому все и оказали честь.

Обед этот был повеселее, чем ужин с апостолами; правда, тут пили только мальвазию да лакриму, но со-трапезники, за исключением одного, лучших вин и не пивали.

Еще до прихода гостей Федериго запасся колодой карт, совершенно схожей с первой, для того, чтобы в случае надобности подменить одну другою и, проиграв одну партию из трех или четырех, рассеять всякие подозрения у своих партнеров. Одну колоду положил он в правый карман, другую — в левый.

Отобедали. Честная компания села за зеленое поле. Федериго сначала положил на стол мирские карты и назначил скромные ставки на круг. Желая увлечься игрой и проверить свои силы, две первые партии играл он как мог лучше и проиграл обе, на что в душе подсадовал. Потом велел подать вина и, воспользовавшись минутой, когда выигравшие начали пить за свои успехи,

прошлые и будущие, взял мирские карты со стола и заменил их священными.

Началась третья партия. Федерико уже не следил за игрой и на свободе наблюдал, как играют другие; он нашел, что играют они нечестно. Открытие это доставило ему большое удовольствие. Теперь он мог со спокойной совестью очищать кошельки своих противников. Разорен он был не потому, чтобы они играли хорошо или им везло, а потому, что они плутовали... Поэтому он стал выше ценить свои силы, находя подтверждение этому в прошлых своих успехах. Уважение к самому себе (за что только оно не цепляется!), уверенность в том, что мы сейчас отомстим, уверенность в том, что мы сейчас огребем деньги,—все эти три чувства сладки человеческому сердцу. Федерико испытывал все три одновременно. Но, раздумывая о прошлом своем благополучии, он вспомнил о двенадцати юнцах, за счет которых он разбогател. Убедившись, что эти молодые люди были единственными честными игроками, с которыми ему приходилось иметь дело, он в первый раз почувствовал раскаяние в одержанных над ними победах. Темное облако сменило на его челе лучи радости, и он глубоко вздохнул, выиграв третью партию.

За ней последовало много других, из которых Федерико позаботился выиграть большую часть, так что в первый же вечер он заработал достаточно, чтоб оплатить обед и помещение за месяц. В этот вечер он только на это и рассчитывал. Разочарованные товарищи при прощании обещали собраться на другой день.

На другой день и в течение ряда следующих Федерико так искусно выигрывал и проигрывал, что в короткое время составил себе порядочное состояние, а об истинной причине этого никто не подозревал. Тогда он покинул гостиницу и поселился в большом дворце, где время от времени устраивал великолепные праздники. Красивые женщины оспаривали его внимание, са-

мые тонкие вина подавались ежедневно на его столе, и дворец Федериго слыл за средоточие наслаждений.

Играя осторожно в течение целого года, он решил отомстить виднейшим из местных дворян и пустить их по миру. Для этой цели, обратив в драгоценности большую часть своих денег, он за неделю вперед пригласил их на необычайный праздник, для которого раздобыл лучших музыкантов, скоморохов и все прочее. Праздник этот должен был закончиться азартнейшей игрой. У кого не хватало денег, те вытянули их у евреев, другие принесли с собой, что только имели,— и все спустили. Ночью Федериго уехал, захватив с собою деньги и драгоценности.

С этой минуты он поставил себе за правило играть священными картами только с нечестными игроками,— он считал себя достаточно искусным игроком, чтобы в остальных случаях обходиться без них. Так он объехал города всего света, везде играя, всегда выигрывая и наслаждаясь в каждой стране лучшим, что в ней можно было найти.

И все же воспоминание о двенадцати его жертвах не выходило у него из головы и отравляло ему все радости. Наконец в один прекрасный день он решил или освободить их, или погибнуть вместе с ними.

Укрепившись в этом решении, он взял в руки посох, вскинул мешок за спину и в сопровождении одной только своей любимой борзой по кличке «Маркезелла» отправился в преисподнюю. Дойдя до Сицилии, он забрался в Монджибелло, затем спустился через кратер настолько ниже подножия, насколько сама гора возвышается над Пьемонте. Оттуда, чтобы пройти к Плутону, нужно перейти двор, охраняемый Цербером. Пока Цербер увивался за его борзой, Федериго беспрепятственно перешел двор и постучался в дверь к Плутону.

Привели его пред очи царя бездны.

— Кто ты? — спросил тот.

— Игрок Федериго.



— Какого черта ты сюда пришел?

— Плутон!— молвил Федерико.— Если ты считаешь, что первый игрок мира достоин сыграть с тобою в ломбер, то я тебе предлагаю вот какие условия. Мы сыграем столько партий, сколько тебе угодно. Если я проиграю хоть одну, моя душа будет принадлежать тебе, как и все те, что населяют твои владения. Если же я выиграю, то за каждую выигранную партию я имею право выбрать по одной душе из подчиненных тебе и унести ее с собой.

— Ладно,— сказал Плутон.

И потребовал колоду карт.

— У меня карты с собой,— сказал Федерико и поспешно вынул из кармана заветную колоду.

Начали играть.

Первую партию выиграл Федерико; он потребовал себе душу Стефано Пагани, одного из тех двенадцати, которых он задумал спасти. Душу эту ему дали сейчас же, и он взял и положил ее в мешок. Выиграл он и вторую партию, потом третью — и так до двенадцати, причем каждый раз он требовал себе и прятал в мешок по одной из душ, которые ему хотелось освободить. Забрав все двенадцать, он предложил Плутону продолжать игру.

— Охотно,— отвечал тот (хотя ему уже надоело все проигрывать).— Но только выйдем отсюда на минуту. Здесь чем-то воняет.

Просто он искал предлога избавиться от Федерико, потому что, как только тот со своим мешком и двенадцатью душами вышел наружу, Плутон изо всех сил закричал, чтобы за ним закрыли двери.

Федерико снова прошел двор преисподней: Цербер так заигрался с борзой, что и не заметил его. Дошел он с трудом до вершины Монджибелло. Там он кликнул Маркезеллу, она сейчас же догнала его, и снова спустился к Мессине, радуясь духовной своей добыче так, как никогда не радовался мирским успехам.

Прибыв в Мессину, он сел на корабль с тем, чтобы провести остаток дней в своем старом замке.

.....  
(Через несколько месяцев Маркезелла произвела на свет множество маленьких чудищ, среди которых были даже трехголовые. Всех их бросили в воду.)

.....  
Через тридцать лет (Федериго было тогда семьдесят) приходит к нему Смерть и говорит, чтобы он привел в порядок свою совесть, потому что смертный час его настал.

— Я готов,— говорит умирающий,— но раньше, чем утащить меня, Смерть, дай мне, прошу тебя, плод с того дерева, что растет у моих дверей. Доставь мне это маленькое удовольствие, и я умру спокойно.

— Если тебе только этого надо,— говорит Смерть,— я охотно исполню твоё желание.

Влезла она на дерево сорвать апельсин. Захотела слезть — не может: Федериго не позволяет.

— Ну, Федериго, ты меня надул,— закричала она.— Теперь я в твоих руках. Дай мне свободу, я тебе обещаю десять лет жизни.

— Десять лет! Подумаешь! — говорит Федериго.— Если хочешь слезть, моя милая, нужно быть пощедрее.

— Двадцать дам.

— Шутишь!

— Тридцать дам.

— Ты до трети еще не дошла.

— Что же, ты еще сто лет хочешь прожить?

— Вроде этого, милая.

— Федериго! Ты не знаешь меры.

— Ну и что же! Я люблю жизнь.

— Ладно, получай сто лет,— говорит Смерть.— Ничего не поделаешь!

И тогда ей удалось слезть.

Как только она ушла, Федериго поднялся здоровешенек и начал заново жить с силами молодого человека и с опытностью старца. Все, что известно о новой его

жизни,— это то, что он продолжал с прежним рвением удовлетворять все свои страсти, особенно плотские желания, понемногу делая добро, когда представлялся к этому случай, но о спасении души так же мало заботясь, как и в продолжение первой своей жизни.

Прошло сто лет. Опять стучится к нему Смерть, а он лежит в постели.

— Готов? — спрашивает.

— Послал за духовником,— отвечает Федерико,— присядь к огоньку, пока он придет. Мне только отпущения грехов дожидаться — и я готов лететь с тобой в вечность.

Смерть, особа добродушная, села на скамейку, ждет целый час,— никакого священника не видно. Ей это начало надоедать; вот она и говорит хозяину:

— Старик! Второй раз тебя спрашиваю: неужели у тебя не было времени привести свою совесть в порядок за те сто лет, что мы с тобой не видались?

— У меня других дел было много,— отвечает старик и насмешливо улыбается.

Смерть возмутилась таким нечестием и говорит:

— Ну так у тебя не осталось ни одной минуты жизни!

— Полно! — сказал Федерико, в то время как она тщетно старалась приподняться.— Я по опыту знаю: ты покладистая, и ты не откажешь дать мне еще несколько лет передышки.

— Несколько лет, несчастный? — Говоря это, Смерть делала напрасные попытки сойти со своего места у камина.

— Ну, конечно. Только на этот раз я не буду требовательным, а так как дожить до старости мне не очень хочется, я для третьего раза удовольствуюсь сорока годами.

Смерть поняла, что какая-то сверхъестественная сила удерживает ее на скамейке, как в первый раз на апельсиновом дереве, но она была зла и продолжала упорствовать.

— Я знаю средство тебя образумить,— сказал Федерико.

И он подбросил три охапки хвороста в огонь. Мгновенно пламя наполнило весь очаг, и вскоре Смерти пришлось солоно.

— Помилосердствуй, помилосердствуй! — кричала она, чувствуя, как горят ее старые кости.— Обещаю тебе сорок лет здоровья!

При этих словах Федерико снял чары, и Смерть убежала, наполовину изжаренная.

Срок прошел, и опять она явилась за своей добычей. Федерико бодро ждал ее с мешком за плечами.

— Ну, теперь уж твой час пробил,—внезапно войдя, сказала она.— Никаких отсрочек! А зачем у тебя мешок?

— В нем души двенадцати игроков, моих друзей. Я когда-то освободил их из преисподней.

— Так пусть они отправляются туда обратно вместе с тобою,—сказала Смерть.

И, схватив Федерико за волосы, она пустилась по воздуху, полетела к югу и нырнула вместе со своей добычей в пропасть Монджибелло. Подошла к дверям ада и постучала три раза.

— Кто там? — спросил Плутон.

— Федерико-игрок,—ответила Смерть.

— Не отворять! — закричал Плутон, сразу вспомнив про двенадцать партий, которые он проиграл.— Этот бездельник обезлюдит все мое государство.

Так как Плутон отказался отворять, то Смерть перенесла своего пленника к воротам чистилища. Но сторожевой ангел не пустил его туда, узнав, что он находится в состоянии смертного греха. К великой досаде Смерти, которая и так сердита была на Федерико, пришлось ей тащить всю компанию к райской обители.

— Кто ты такой? — спросил святой Петр у Федерико, когда Смерть опустила его у входа в рай.

— Ваш бывший знакомый,—ответил Федерико,— тот, который когда-то угощал вас плодами своей охоты.

— Как ты смеешь являться сюда в таком виде? — закричал святой Петр. — Разве ты не знаешь, что небо не для таких, как ты? Ты и чистилища недостоин, а лезешь в рай!

— Святой Петр! — сказал Федерико. — Так ли я вас принимал, когда сто восемьдесят лет тому назад вы со своим божественным учителем просили у меня приюта?

— Так-то оно так, — отвечал святой Петр ворчливым тоном, но уже немного смягчившись, — однако я не могу на свой страх впустить тебя. Пойду доложу Иисусу Христу о твоём приходе. Посмотрим, что он скажет.

Доложили господу; подошел он к райским вратам и видит: Федерико коленопреклоненный стоит на пороге, а с ним двенадцать душ, по шести с каждой стороны. Тогда, исполнившись сострадания, он сказал Федерико:

— Тебя еще — куда ни шло. Но эти двенадцать душ, которым место в аду, я, по совести, не могу впустить.

— Как, господи! — воскликнул Федерико. — Когда я имел честь принимать вас в своем доме, вас ведь тоже сопровождало двенадцать путников, и я принял их вместе с вами как мог лучше!

— Этого человека не переспоришь, — сказал Иисус Христос. — Ну, входите, раз пришли. Только не хвастайтесь милостью, которую я вам оказал. Это может послужить дурным примером для других.



# Жемчужина Тоledo

*(Подражание испанскому)*

Кто скажет мне, когда лучше солнце: на восходе или на закате? Кто скажет мне, какое дерево лучше: оливковое или миндальное? Кто скажет мне: всех храбрей валенсиец или андалусец? Кто скажет мне: кто прекрасней всех женщин на свете? Я скажу вам, кто прекрасней всех женщин на свете: Аврора де Варгас, жемчужина Тоledo!

Чернолицый Тусани велел подать себе копье; щит велел он себе подать; копье он берет в правую руку, щит вешает себе на шею. Спускается он в свою конюшню, одну за другою осматривает сорок кобылиц, говорит:

— Берха — самая крепкая; на широкой ее спине умчу я жемчужину Тоledo, иначе, аллахом клянусь, не видать меня больше Кордове.

Выезжает он, скачет, достигает Тоledo и близ Сакатина старика встречает.

— Старик седобородый! Отнеси письмо это дону Гутьерре, дону Гутьерре де Сальданья. Если он мужчина, он выйдет на поединок со мною к фонтану Альмами.

Одному из нас должна принадлежать жемчужина Тоledo.

И взял старик письмо, взял его и отнес графу де Сальданья, когда тот в шахматы играл с жемчужиной Тоledo. Прочел граф письмо, прочел он вызов и так ударил рукой по столу, что все шахматы попадали на пол. Поднимается он и велит подать себе копье, доброго коня привести.



И жемчужина поднялась, вся дрожа: поняла она, что он идет на поединок.

— Сеньор Гутьерре, дон Гутьерре де Сальданья! Останьтесь, прошу вас, и поиграйте еще со мной.

— Не буду я больше играть в шахматы, игру на копьях сейчас я затею у фонтана Альмами.

Слезы Авроры не могли его удержать; ничто не удержит кавальеро, когда он идет на поединок.

Взяла свой плащ жемчужина Толедо, села на мула и поехала к фонтану Альмами.

Вокруг фонтана красен дерн, красна и вода в фонтане, но не от христианской крови стал красен дерн, стала красной вода в фонтане. Чернолицый Тусани навзничь лежит, копье дона Гутьерре сломилось в груди у него, капля за каплей теряет он кровь. Берха-кобыла глядит на него и плачет: не излечит она раны своего господина.

Сходит жемчужина с мула.

— Кавальеро! Не падайте духом: вы еще будете жить, вы еще женитесь на красавице мавританке; моя рука умеет залечивать раны, что наносит мой рыцарь.

— О белейшая из жемчужин! О прекраснейшая из жемчужин! Вынь из моей груди обломок копья — он ее раздирает; от холодной стали я леденею и цепенею.

Доверчиво приблизилась Аврора, но он, собравшись с силами, полоснул лезвием сабли прекрасное ее лицо.



## **Партия в триктрак**

Недвижные паруса висели, словно прилипнув к мачтам; море было, как зеркало; зной был удушлив, безветрие приводило в отчаяние.

В морском путешествии развлечения, которые могут доставлять себе обитатели корабля, немногочисленны. Увы! Люди слишком хорошо узнают друг друга, проводя вместе четыре месяца в деревянном жилище длиною в сто двадцать футов.

Вы видите, как подходит старший лейтенант, и вы уже знаете, что он сначала будет рассказывать вам о Рио-де-Жанейро, где он только что побывал; потом о пресловутом мосте под Эсслингом, построенном на его глазах гвардейским экипажем, в котором тогда служил и он. Недели через две вам уже известны его излюбленные выражения, все, вплоть до манеры расставлять знаки препинания в фразах, до различных интонаций его голоса. Он непременно сделает печальную паузу, когда в его рассказе первый раз встретится слово «император»... «Если бы вы тогда его видели!!!» (три восклицательных знака), — прибавляет он неизменно. А случай с лошадью трубача или с ядром, которое рикошетом сорвало сумку, где находилось семь с половиной тысяч франков в золоте и драгоценностях, и пр. и пр.! Млад-





ший лейтенант — великий политик; он каждый день обсуждает последний номер *Конститусьонеля*, вывезенный им из Бреста; если же он спустится с высот политики и снизойдет до литературы, то угостит вас разбором водевиля, который он только что видел. О боже!.. У судового интенданта была своя весьма интересная история. Когда в первый раз он нам рассказал, как он бежал с понтона в Кадисе, мы слушали его с восторгом; но, право же, при двадцатом повторении это уже было невыносимо... А мичманы, а гардемарины... Как вспомнишь их разговоры, волосы становятся дыбом. Капитан — обычно наименее скучный человек на корабле. В качестве деспотического начальника он находится в состоянии скрытой войны со всем своим штабом; он придирается, иногда притесняет, но зато какое удовольствие потихоньку проклинать его! Если у него есть какие-нибудь причуды, тягостные для подчиненных, то смеяться над своим начальником тоже не лишено приятности и служит некоторым утешением.

Офицеры корабля, на котором я находился, были превосходнейшие люди — все добрые малые, любившие друг друга братской любовью, но скучали они вовсю. Капитан был кротчайшим созданием, отнюдь не приди-

чивым (что встречается весьма редко). Свою диктаторскую власть он проявлял всегда очень неохотно. А все же каким долгим показалось мне это плавание! Особенно тягостно было безветрие, в полосу которого мы попали всего за несколько дней до того, как увидали землю!

Однажды после обеда, который мы от нечего делать тянули, насколько было возможно, мы все собрались на палубе в ожидании однообразного, но всегда величественного зрелища заката солнца на море. Одни курили, другие перечитывали в двадцатый раз какой-нибудь из трех десятков томов нашей жалкой библиотеки; все до слез зевали. Мичман, сидевший рядом со мной, занимался тем, что с важностью, достойной лучшего применения, бросал на дощатый пол палубы острием вниз кортик, который обычно носят при непарадной форме морские офицеры.

Это тоже своего рода развлечение, притом требующее известной ловкости для того, чтобы острие совершенно отвесно воткнулось в доску. Мне захотелось последовать примеру мичмана, и я попросил у капитана его кортик, так как своего у меня не было. Но он отказал мне. Он очень дорожил этим оружием, и ему было бы неприятно, если б оно послужило для такой праздной забавы. Прежде кортик этот принадлежал одному храброму офицеру, к несчастью, погибшему в последнюю кампанию... Я предчувствовал, что за этим последует какая-нибудь история. Я не ошибся. Капитан не заставил себя просить и начал рассказ. Что касается окружавших нас офицеров, из которых каждый наизусть знал злоключения лейтенанта Роже, они тотчас же потихоньку ретировались. Вот что рассказал мне капитан.

Когда я познакомился с Роже, он был на три года старше меня: он был лейтенантом, я — мичманом. Уверяю вас, это был один из лучших офицеров в нашей команде, к тому же с прекрасным сердцем, умница, образованный, талантливый — одним словом, очаровательный молодой человек. К несчастью, немного горд и обидчив; происходило это, вероятно, оттого, что он был

незаконным сыном и боялся, как бы его происхождение не лишило его положения в обществе. Но, по правде сказать, главным его недостатком было постоянное и непреодолимое желание первенствовать всюду, где бы он ни находился. Отца своего он никогда не видел, но тот выплачивал ему содержание, которого ему за глаза хватало бы, если бы Роже не был воплощенной щедростью. Все, что он имел, было к услугам его друзей. Придешь к нему после того, как он получит свое трехмесячное жалованье, сделаешь печальное и озабоченное выражение лица, а он сейчас же спросит:

— Что с тобой, приятель? Видно, если ты хлопнешь себя по карману, там не очень-то зазвенит... Полно! Вот мой кошелек. Бери, сколько нужно, и едем со мной обедать.

В Брест приехала молодая актриса, очень хорошенькая, по имени Габриэль, и сейчас же одержала ряд побед над моряками и гарнизонными офицерами. Ее нельзя было назвать безупречной красавицей, но она была хорошего роста, у нее были красивые глаза, маленькая ножка и достаточно наглый вид — все это очень нравится малым от двадцати до двадцати пяти лет. Говорили, что к тому же она самое капризное существо женского пола; ее манера играть не опровергала этой репутации. Иногда играла она восхитительно, так, что можно было признать ее за первоклассную артистку, а на следующий день в той же пьесе она была холодна, бесчувственна и произносила свою роль, как ребенок твердит катехизис. Наших молодых людей особенно заинтересовала следующая история, которую про нее рассказывали. Будто бы ее содержал, тратя на нее много денег, некий парижский сенатор, совершавший ради нее всяческие, что называется, безумства. В один прекрасный день человек этот, будучи у нее в гостях, надел шляпу; она попросила ее снять, даже принялась жаловаться на недостаток уважения к ней. Сенатор рассмеялся, пожал плечами и, усевшись плотнее в кресло, сказал: «Неужели же я не могу вести себя как дома у девицы, которую я содержу?» В ответ на это Габриэль дала ему своей белой ручкой такую увесистую оплеуху, что шляпа сенатора полетела в другой угол комнаты. В результате — полный разрыв. Банкиры и генералы делали ей со-

лидные предложения, но она на все отвечала отказом и сделалась актрисой, чтобы вести, по ее словам, независимый образ жизни.

Как только Роже ее увидел и узнал про эту историю, он решил, что особа эта как раз по нем, и, чтобы показать ей, насколько ее прелести его тронули, он с грубоватой откровенностью, в которой упрекают нашего брата — моряка, прибегнул к такому способу. Он купил лучших и самых редких, какие только можно было найти в Бресте, цветов, составил из них букет, перевязал его красивой розовой лентой, а в бант очень аккуратно вложил сверток из двадцати пяти золотых: в данную минуту это было все его состояние. Я помню, что в антракте пошел с Роже за кулисы. Он сказал Габриэль коротенький комплимент насчет грации, с какой она носит костюм, поднес букет и попросил разрешения нанести ей визит. Все это высказано было в двух словах.

Покуда Габриэль видела только цветы и красивого молодого человека, который их подносит, она ему улыбалась и сопровождала свои улыбки премилыми поклонами; но когда она взяла букет в руки и почувствовала тяжесть золота, ее физиономия изменилась быстрее, чем поверхность моря под тропическим ураганом. И действительно, она была не менее сердита, чем ураган; изо всей силы она бросила букет и золотые монеты в лицо моему бедному другу, и тот целую неделю после этого ходил с синяками. Раздался звонок режиссера. Габриэль вышла на сцену и сыграла все шиворот-навыворот.

Роже сконфуженно подобрал свой букет и сверток с монетами и отправился в кофейную; там он поднес букет (уже без денег) кассирше, а воспоминание о жестокой красавице постарался утопить в пунше. Это ему не удалось, и, очень досадуя, что никуда не может показаться с подбитым глазом, он все же безумно влюбился в строптивую Габриэль. Он ей писал по двадцати писем в день. И какие это были письма! Смиренные, нежные, почтительные... Их можно было бы адресовать какой-нибудь принцессе. Первые были возвращены ему нераспечатанными, последующие остались без ответа. Роже тем не менее сохранял кое-какую надежду, пока мы не обра-

тили внимание на то, что театральная фруктовщица заворачивала апельсины в любовные письма Роже, которые Габриэль отдавала ей из утонченной злобы. Это был страшный удар для гордости нашего друга. Страсть его однако не уменьшалась. Он говорил, что посватается к актрисе; когда же ему сказали, что морской министр не даст ему на это согласия, он объявил, что застрелится.

В это самое время офицерам линейного полка Брестского гарнизона вздумалось заставить Габриэль повторить какие-то водевильные куплеты, а она закапризничала и отказалась. Офицеры и актриса так старались переупрямить друг друга, что они свистками заставили опустить занавес, а она лишилась чувств. Вы знаете, какая публика в партере гарнизонного города. Офицеры сговорились между собой, что начиная со следующего же дня они будут беспощадно освистывать провинившуюся, что они ей не дадут сыграть ни одной роли, пока она надлежащим смирением не искупит свою вину. Роже не присутствовал на этом представлении, но он в тот же вечер узнал о скандале, взволновавшем весь театр. и о том, какая месть замышляется назавтра. Решение было принято им немедленно.

На другой день, как только Габриэль появилась на сцене, с офицерских мест раздались оглушительные шиканье и свист. Роже, поместившийся нарочно поблизости от скандалистов, поднялся и запротестовал, позволив себе по отношению к самым шумным из них столь оскорбительные выражения, что вся их ярость тотчас же обратилась на него. Тогда с величайшим хладнокровием он вынул свою записную книжку и стал заносить в нее фамилии, которые ему со всех сторон выкрикивали. Он принял бы вызов от всего полка, если бы из духа товарищества в дело не вмешались многие морские офицеры и не вызвали большую часть его противников. Шум поднялся невероятный.

Весь гарнизон был посажен под арест на несколько дней; но когда офицеров выпустили на свободу, мы должны были рассчитаться со всеми нашими противниками. На место поединка сошлось около шестидесяти человек. Роже довелось драться с тремя офицерами: одного он убил, а двух других тяжело ранил, сам не получив ни

одной царапины. Я был менее удачлив: какой-то проклятый лейтенант, который оказался бывшим учителем фехтования, так хватил меня в грудь шпагой, что я чуть не умер. Поверьте, эта дуэль, или, лучше сказать, эта битва, представляла собой прекрасное зрелище. Флот одержал верх, и полк принужден был покинуть Брест.

Разумеется, высшее начальство не забыло того, кто был виновником этой ссоры. В продолжение двух недель к дверям его был приставлен караул.

К тому времени, как арест с него был снят, я вышел из госпиталя и отправился его навестить. Каково же было мое удивление, когда, войдя к нему, я застал его завтракающим с глазу на глаз с Габриэль! По-видимому, они уже давно пришли к полному соглашению. Они уже говорили друг другу «ты» и пили из одного стакана. Роже представил меня своей любовнице как своего лучшего друга и сообщил ей, что я был ранен в стычке, причиной которой была она. За это я получил поцелуй от прекрасной особы. Наклонности у этой девицы были весьма воинственные.

Три месяца они были вполне счастливы и не разлучались ни на минуту. Габриэль, казалось, страстно любила Роже, а он признавался, что до встречи с нею не знал, что такое любовь.

В гавань прибыл голландский фрегат. Офицеры дали обед в нашу честь. Различных вин было выпито более чем достаточно. Наконец убрали со стола; эти господа говорили по-французски очень плохо, и потому собравшиеся, не зная, чем заняться, принялись за игру. У голландцев, по-видимому, было много денег, а их старший лейтенант рвался играть так крупно, что никто из нас не рисковал составить ему партию. Роже, который обычно никогда не играл, решил, что нужно поддержать национальную честь. Итак, он стал играть и отвечал на все ставки голландского лейтенанта. Сначала он был в выигрыше, потом стал проигрывать. Выигрыш и проигрыш несколько раз чередовались, и противники разошлись, закончив игру вничью. Мы дали ответный обед голландским офицерам. Снова была игра. Роже и лейтенант возобновили схватку. Одним словом, в течение нескольких дней они сходились то в кофейной, то на корабле, перепробовав всевозможные игры (особенно часто



играли они в триктрак) и все время повышали ставки, так что в конце концов дошли до двадцати пяти наполеондоров за партию. Это была огромная сумма для таких неимущих офицеров, как мы,—больше чем двухмесячное жалованье! К концу недели Роже проиграл все свои наличные деньги, да еще в придачу три или четыре тысячи франков, которые он взял займы у кого только мог.

Вы, конечно, понимаете, что в конце концов у Роже и Габриэль хозяйство и касса сделались общими; это означало, что Роже, недавно получивший из дому значительную сумму, вложил в общий котел в десять или в двадцать раз больше, чем актриса. Тем не менее он всегда смотрел на общие деньги главным образом как на собственность своей любовницы и удержал для своих личных надобностей каких-нибудь полсотни наполеондоров. Однако теперь он должен был прибегнуть к этому резерву, чтобы продолжать игру. Габриэль на это не сказала ни слова.

Деньги на хозяйство отправились туда же, куда и карманные деньги. Вскоре Роже пришлось поставить последние двадцать пять наполеондоров. Он играл до ужаса старательно, так что партия вышла долгая и упорная. Наступила такая минута, что для Роже, за которым была очередь бросать кости, осталась только одна возможность выиграть: помнится, надо было выкинуть шесть и четыре. Была уже поздняя ночь. Один офицер, долго следивший за их игрой, заснул в кресле. Голландец устал, и ему хотелось спать; к тому же он много выпил пуншу. Один Роже был насторожен. Им владело отчаяние. Он весь дрожал, бросая кости. Он с такой силой швырнул их на игральную доску, что одна свеча от сотрясения упала на пол. Голландец сначала посмотрел на свечу, которая залила воском его новые брюки, а потом уж на кости. Они показывали шесть и четыре. Роже, бледный как смерть, получил двадцать пять наполеондоров. Они продолжали игру. Счастье улыбнулось моему несчастному другу, хотя он делал промах за промахом и так сам себе загораживал ходы, будто хотел проиграть. Голландский лейтенант упорствовал: он удваивал, удесятерял ставки и все время проигрывал. Как сейчас вижу: высокий блондин, флегматичный, и

лицо как будто восковое. Наконец он поднялся, проиграв восемьдесят тысяч франков, и выплатил их без малейших признаков волнения.

Роже сказал ему:

— Сегодняшняя игра не идет в счет: вы почти засыпали; я не возьму ваших денег.

— Вы шутите,— ответил флегматичный голландец,— я очень хорошо играл, но мне не везло. Я уверен, что в любой момент могу вас обыграть в пух и прах. Прощайте!

И они расстались.

На следующий день мы узнали, что в отчаянии от проигрыша он застрелился в своей каюте, предварительно осушив чашу пунша.

Восемьдесят тысяч франков, выигранные Роже, лежали на столе, и Габриэль смотрела на них с улыбкой удовлетворения.

— Вот мы и богаты!— сказала она.— Что мы будем делать с такой кучей денег?

Роже ничего не отвечал; казалось, он не мог прийти в себя после смерти голландца.

— Нужно натворить всяких глупостей,— продолжала Габриэль.— Деньги эти так легко пришли к нам, что истратить их следует с такой же легкостью. Купим коляску и будем дразнить коменданта порта и его жену. Мне хочется бриллиантов, кашемира. Попроси отпуск и поедem в Париж. Здесь нам ввек не истратить всех этих денег!

Она остановилась и взглянула на Роже. Он не слушал ее, он сидел, подперев голову рукою, не поднимая глаз; казалось, самые мрачные мысли бродили у него в голове.

— Что с тобою, Роже? — воскликнула она, положив руку ему на плечо.— Дуешься ты на меня, что ли? Слова из тебя не вытянешь.

— Я очень несчастен,— произнес он с подавленным вздохом.

— Несчастен! Господи прости, уж не раскаиваешься ли ты в том, что ощипал этого толстого *мингера*?

Он поднял голову и посмотрел на нее остановившимся взором.

— Что за важность,— продолжала она,— что он



отнесся к этому так трагически и выпустил себе из головы остатки мозгов? Я не жалею проигравшихся игроков. Пусть уж лучше его деньги находятся в наших руках, чем в его. Он истратил бы их на выпивку да на табак, между тем как мы... мы затеем массу чудачеств, одно элегантнее другого.

Роже ходил по комнате, опустив голову и полузакрыв глаза, полные слез. Вам стало бы жалко его, если бы вы его видели.

— Знаешь,— сказала Габриэль,— кому неизвестна твоя романтическая чувствительность, тот мог бы подумать, что ты сплутовал в игре.

— А если это так и есть? — произнес он глухим голосом, останавливаясь перед ней.

— Вздор! — ответила она с улыбкой.— У тебя ума не хватит, чтобы сплутовать в игре.

— Да, я сплутовал, Габриэль, сплутовал, как жалкий подлец.

Она поняла по его волнению, что он говорит правду. Она села на кушетку и некоторое время молчала.

— Лучше бы...— наконец промолвила она взволнованно,— лучше бы ты убил десять человек, чем сплутывал в игре.

Полчаса длилась мертвая тишина. Они оба сидели на софе и ни разу не взглянули друг на друга. Роже встал первый и довольно спокойно пожелал ей доброй ночи.

— Доброй ночи,— ответила она сухо и холодно.

Роже мне потом рассказывал, что он покончил бы с собою тогда же, если бы не боялся, что наши товарищи отгадают причину его самоубийства. Он не хотел, чтобы имя его было покрыто позором.

На следующий день Габриэль была весела, как обычно. Она словно позабыла о вчерашнем признании. А Роже сделался мрачным, капризным, угрюмым, почти не выходил из своей комнаты, избегал друзей и часто целыми днями не говорил ни слова со своей любовницей. Я приписывал его печаль чувствительности, вполне законной, но чрезмерной, и несколько раз пробовал его утешить, но он решительно отвергал эти утешения, выказывая полнейшее равнодушие к судьбе своего несчастного партнера. Однажды он позволил себе даже

яростный выпад против голландской нации и пытался мне доказать, что во всей Голландии не найдется ни одного порядочного человека. А между тем тайком он собирал сведения о семье голландского лейтенанта; но никто ничего не мог ему сообщить.

Месяца полтора спустя после несчастной партии в триктрак Роже нашел у Габриэль записку, писанную каким-то гардемаринном, в которой тот, по-видимому, благодарил ее за проявленную к нему благосклонность. Габриэль была воплощенный беспорядок, и вышеупомянутая записка валялась у нее на камине. Не знаю, изменила ли она Роже, но тот уверился в этом и пришел в бешенство. Единственными чувствами, способными еще привязать его к жизни, были любовь и остаток гордости, и вдруг сильнейшее из этих чувств внезапно рушилось! Он осыпал оскорблениями надменную комедиантку; удивительно, как при своей несдержанности он ее не поколотил.

— Должно быть, — говорил он, — этот фатишка вам дорого заплатил? Вы ведь только деньги и любите. Вы согласились бы расточать свои ласки самому грязному из наших матросов, лишь бы у него было чем платить.

— А почему бы и нет? — холодно возразила актриса. — Да, я взяла бы деньги у матроса, но... не стала бы его обворовывать.

У Роже вырвался крик ярости. Дрожа, он выхватил свой кортик и с минуту смотрел на Габриэль блуждающим взором; потом, сделав над собою страшное усилие, швырнул оружие к ее ногам и бросился вон из комнаты, чтобы не поддаться жестокому искушению.

В тот вечер, довольно поздно проходя мимо его квартиры, я увидел у него свет и зашел попросить какую-то книгу. Он что-то писал с сосредоточенным видом и, казалось, едва заметил, что я нахожусь в комнате. Я сел около письменного стола и стал вглядываться в его черты; они так изменились, что будь на моем месте кто-нибудь другой, он узнал бы его с трудом. Вдруг я обнаружил на столе уже запечатанное письмо, адресованное мне. Я сейчас же распечатал его. Роже извещал меня, что он решил покончить с собой, и возлагал на меня различные поручения. Пока я читал, он

продолжал писать, не обращая на меня внимания: он прощался с Габриэль... Можете себе представить мое удивление! Пораженный его решением, я воскликнул:

— Как! Ты хочешь покончить с собой? Ты, такой счастливый человек?

— Друг мой! — сказал он, запечатывая письмо. — Ты ничего не знаешь. Ты не имеешь понятия, кто я такой. Я мошенник. Я столь презренный человек, что гулящая девка может меня оскорбить, и я так живо чувствую свою низость, что не смею прибить ее.

Тут он рассказал мне историю партии в триктрак и все, что вы уже знаете. Я был взволнован не меньше, чем он. Я не знал, что ему сказать; я пожимал ему руки, на глазах у меня выступили слезы, но я не мог говорить. Наконец мне пришло в голову убедить его, что он не должен упрекать себя в том, что сознательно разорил голландца: в сущности говоря, при помощи плутовства он выиграл у него только двадцать пять наполеондоров.

— Значит, — вскричал он с горькой иронией, — я мелкий вор, а не крупный! При моем честолюбии быть простым воришкой!

И он расхохотался.

Я залился слезами.

Вдруг дверь отворилась. Вошла женщина и бросилась ему на грудь; то была Габриэль.

— Прости меня! — воскликнула она, сжимая его в объятиях. — Прости меня! Я чувствую, что люблю тебя теперь, когда ты совершил поступок, в котором так раскаиваешься. Хочешь, я тоже украду?.. Я уже украла... Да, я украла: я украла золотые часы... Что может быть хуже?

Роже недоверчиво покачал головой; но чело его как будто бы прояснилось.

— Нет, бедное дитя, — сказал он, тихонько отстраняя ее, — я непременно должен убить себя. Я слишком страдаю, я не в состоянии переносить боль, которую я испытываю.

— Ну, хорошо! Если ты хочешь умереть, Роже, я умру вместе с тобой! Без тебя что значит для меня жизнь? Я не труслива, я стреляла из ружья и сумею убить себя, как любой мужчина. К тому же я играла в трагедиях, у меня есть опыт.

Вначале у нее были слезы на глазах, но эта последняя фраза заставила ее рассмеяться; даже у самого Роже она вызвала улыбку.

— Ты смеешься, мой офицер! — воскликнула она, хлопая в ладоши и целуя его. — Ты не убьешь себя!

Она продолжала его целовать, то плача, то смеясь, то ругаясь, как матрос. Она была не из тех женщин, что боятся крепких слов.

Между тем я отобрал у Роже пистолеты и кортик и сказал ему:

— Милый Роже! У тебя есть возлюбленная и есть друг, которые тебя любят. Поверь, ты еще можешь быть счастлив в этой жизни.

Я поцеловал его и вышел, оставив его наедине с Габриэль.

Мне думается, нам удалось бы лишь отсрочить его гибельное намерение, если бы он не получил от министра приказ отправиться в качестве старшего лейтенанта на фрегате, в задачи которого входило пробиться сквозь английскую эскадру, блокировавшую порт, и крейсировать затем в Индийском океане. Дело было рискованное. Я дал ему понять, что лучше с честью умереть от английской пули, чем самому прекратить свое существование без славы и без всякой пользы для отечества. Он дал обещание не убивать себя. Половину из восьмидесяти тысяч франков он роздал матросам-инвалидам и вдовам и сиротам моряков. Остальные он передал Габриэль, перед этим давшей клятву, что она употребит деньги исключительно на благотворительные цели. Бедная девушка твердо намеревалась сдержать свое слово, но порывы ее были скоротечны. Впоследствии я узнал, что несколько тысяч она раздала бедным. На остальные она накупила тряпок.

Мы с Роже сели на прекрасный фрегат «Галатея». Матросы были храбры, хорошо обучены и вымуштрованы, но командовал нами полнейший невежда, воображавший себя Жаном Бартом только потому, что ругался не хуже каптенармуса, коверкал язык и никогда не изучал теории той профессии, которую и на практике-то знал кое-как. Тем не менее на первых порах судьба ему благоприятствовала. Мы благополучно вышли из рейда: нам помог резкий ветер, принудивший блокирующую эс-

кадру уйти в открытое море. Наше крейсирование мы начали с того, что у берегов Португалии спалили английский корвет и судно Ост-Индской компании.

К индийским водам мы подвигались медленно: ветер был не попутный, и капитан наш так неудачно маневрировал, что от его неловкости наше плавание становилось еще опаснее. Ни одного дня не проходило без какого-нибудь приключения: то нас преследовали превосходящие нас силы, то мы гнались за торговыми судами. Но ни полная опасностей жизнь, ни хлопотливая служба на фрегате не могли рассеять печальные мысли, которые преследовали Роже. Когда-то он слыл за самого деятельного и блестящего офицера в нашем порту; теперь он ограничивался только исполнением своих обязанностей. Как только оканчивалась служба, он запирался в своей каюте, где у него не было ни книг, ни бумаги. Несчастный целыми часами лежал на койке и не мог заснуть.

Однажды, видя его удрученное состояние, я решился заговорить с ним:

— Послушай, милый! Ты расстраиваешься из-за пустяков. Ты стащил у толстого голландца двадцать пять наполеондоров, а угрызений совести у тебя больше, чем на миллион! А скажи: когда ты был любовником жены префекта в\*\*\*, у тебя не было угрызений совести? А между тем она стояла подороже, чем двадцать пять наполеондоров.

Он повернулся на своем тюфяке, ничего мне не ответив.

Я продолжал:

— В конце концов у твоего преступления (ведь ты утверждаешь, что это — преступление) был достойный уважения повод, и оно проистекало из возвышенного чувства.

Он повернулся ко мне лицом, и в его взгляде сверкнуло бешенство.

— Конечно. Что случилось бы с Габриэль, если бы ты проиграл? Бедная девушка! Она продала бы для тебя последнюю рубашку... Если бы ты проиграл, ты бы обрек ее на нищету... Именно ради нее, из любви к ней ты сплутывал... Есть люди, которые из-за любви убивают других... убивают себя... Ты же, милый Роже, сделал

больше. Людям вроде нас с тобой требуется гораздо больше мужества, чтобы — назовем вещи своими именами, — чтобы украсть, чем для того, чтобы покончить с собой.

— Теперь, может быть, я вам кажусь смешным, — обратился ко мне капитан, прерывая свой рассказ. — Но уверяю вас, что в ту минуту дружеские чувства к Роже придавали мне красноречие, которого в настоящее время я в себе не нахожу. И, черт бы меня побрал, я говорил совершенно искренне, я верил в то, что говорил! Да, тогда я был еще молод!

Роже помолчал, потом протянул мне руку.

— Друг мой! — сказал он, по-видимому, сделав над собой большое усилие. — Ты меня приукрашиваешь. Я жалкий подлец. Когда я сплутовал в игре с голландцем, я думал только о том, чтобы выиграть двадцать пять наполеондоров, — вот и все. О Габриэль я совсем тогда не думал, вот почему я себя презираю... Оценить свою честь меньше, чем в двадцать пять наполеондоров!.. Какая низость!.. О, я был бы счастлив, если бы мог сказать: «Я совершил кражу, чтобы спасти Габриэль от нищеты...» Нет, нет... О ней я не думал... В ту минуту я не был влюбленным... я был игроком... я был вором... Я украл деньги, чтобы присвоить их... и поступок этот унизил, опустошил меня до такой степени, что теперь у меня нет ни мужества, ни любви... Я живу и не думаю больше о Габриэль... я конченный человек.

Он казался таким несчастным, что, попроси он у меня пистолеты, чтобы застрелиться, я, вероятно, дал бы ему их.

В одну из пятниц (тяжелый день!) большой английский фрегат «Алкеста» погнался за нами. На нем было пятьдесят восемь пушек, тогда как у нас всего тридцать восемь. Мы подняли все паруса, чтобы ускользнуть от него, но его ход был быстрее нашего, и он с каждой минутой к нам приближался; было очевидно, что до наступления темноты нам придется вступить в неравный бой. Капитан позвал к себе Роже, и они совещались доб-

рых четверть часа. Роже вернулся на палубу, взял меня под руку и отвел в сторону.

— Через два часа,— сказал он,— завяжется бой. Наш храбрец, который сейчас дерет горло на шканцах, совсем потерял голову. У нас было два выхода: один, наиболее благородный,— это подпустить к себе врага, затем, взяв его на abordаж, перебросить ему на борт сотню головорезов; другим выходом, тоже неплохим, хотя и менее красивым, было — несколько облегчить себя, выбросив в море часть наших пушек. Тогда мы смогли бы близко подойти к африканскому берегу, что виден там, налево от нас. Англичанин побоялся бы сесть на мель и был бы вынужден дать нам возможность уйти от него. Но наш... капитан — ни трус, ни герой: он предоставит врагам издали громить нас, с часок продержится, а потом с честью сдастся. Тем хуже для тебя: тебя ждут портсмутские понтоны. А я, я туда не собираюсь.

— А может быть,— сказал я,— мы первыми же выстрелами причиним врагу такие повреждения, что он вынужден будет прекратить погоню?

— Послушай: я не хочу попасть в плен, я хочу быть убитым; пора с этим покончить. Если, на беду, я буду только ранен, дай мне слово, что ты бросишь меня в море. Оно должно быть смертным одром для такого моряка, как я.

— Что за вздор! — воскликнул я.— Хорошие поручения ты мне даешь!

— Ты исполнишь свой долг верного друга. Ты знаешь: мне нужно умереть. Вспомни: я согласился не кончать жизнь самоубийством только в надежде, что буду убит. Ну, обещай мне исполнить мою просьбу, а не то я обращусь за этой услугой к подшкиперу, и он не откажет мне.

Подумав, я сказал:

— Даю тебе слово, что, если ты будешь смертельно ранен, без надежды на выздоровление, я исполню твое желание. В этом случае я согласен избавить тебя от мучений.

— Я буду смертельно ранен или просто буду убит.

Он протянул мне руку, я крепко ее пожал. С этой

минуты он стал спокойнее, даже какой-то воинственный задор заиграл на его лице.

К трем часам пополудни выстрелы носовых орудий противника начали задевать наши снасти. Тогда мы свернули часть парусов, стали в траверс к «Алкесте» и открыли беглый огонь; англичане тоже спуску нам не давали. После пальбы, длившейся примерно час, наш капитан, все делавший невпопад, решил попробовать абордаж. Но у нас было уже много убитых и раненых, а у остальных пропал боевой пыл; к тому же наши снасти немало пострадали, а мачты были сильно повреждены. В ту минуту, как мы распустили паруса, чтобы подойти к англичанам, наша грот-мачта, ничем больше не поддерживаемая, рухнула со страшным грохотом. «Алкеста» воспользовалась замешательством, произведенным этой бедою: она прошла мимо нашей кормы и на половинном расстоянии пистолетного выстрела разрядила в нас все свои бортовые орудия; так она прошла вдоль всего нашего несчастного фрегата, который мог противопоставить ей с этой стороны только две маленькие пушки.

В эту минуту я находился около Роже, который рубил ванты, еще державшие свалившуюся мачту. Я почувствовал, что он крепко сжимает мне руку. Оборачиваюсь и вижу: он опрокинулся на палубу и весь залит кровью. Он только что получил заряд картечи в живот.

Капитан подбежал к нему.

— Что делать, лейтенант? — вскричал он.

— Прибить флаг к обломку мачты и пустить судно ко дну.

Капитану не очень понравился этот совет, и он сейчас же отошел.

— Ну, — произнес Роже, — не забудь своего обещания.

— Пустяки! — ответил я. — Ты еще поправишься.

— Бросай меня за борт! — закричал он с ужасными ругательствами, хватая меня за полы. — Ты видишь, я все равно подохну; бросай меня в море; я не хочу видеть, как спустят флаг.

К нему подошли два матроса, чтобы отнести его в трюм.



— К пушкам, мерзавцы! — закричал он. — Палите картечью, цельтесь в верхнюю палубу! А ты — раз ты не держишь слова, я тебя проклинаяю, считаю за самого трусливого и подлого человека!

Рана его, очевидно, была смертельна. Я видел, как капитан подозвал гардемарина и приказал ему спустить флаг.

— Дай мне руку, — сказал я Роже.

В то самое мгновение, когда флаг наш был спущен...

— Капитан! У бакборта кит! — прервал рассказчика подбежавший мичман.

— Кит! — вскричал капитан, просияв от радости и прервав свой рассказ. — Живо! Шлюпку в море! Лодку в море! Все шлюпки в море! Гарпуны, веревки! И т. д. и т. д.

Так мне и не удалось узнать, как умер бедный лейтенант Роже.



## Этрусская ваза

Огюста Сен-Клера не любили в так называемом «большом свете»; главная причина заключалась в том, что он старался нравиться только тем, кто приходился ему по сердцу. Он шел навстречу одним и тщательно избегал других. К тому же он был беспечен и рассеян. Однажды вечером при выходе из итальянской оперы маркиза А. обратилась к нему с вопросом: «Как пела Зонтаг?» «Да, маркиза», — отвечал Сен-Клер, приятно улынувшись, но думая о другом. Такой странный ответ ни в каком случае нельзя было приписать робости с его стороны; и с знатным вельможей, и с знаменитостью, и даже с самой модной красавицей он обращался так же свободно, как если бы говорил с равным себе. Маркиза объявила, что Сен-Клер заносчив и дерзок до невероятия.

Однажды в понедельник г-жа Б. пригласила его на обед; она долго с ним разговаривала, и, уходя, он сказал, что никогда еще не встречал более очаровательной женщины. Г-жа Б. набиралась ума в течение месяца, с тем чтобы потом израсходовать этот ум у себя дома в один вечер. Сен-Клер встретился с ней в четверг на той же неделе. На этот раз она показалась ему скучноватой. Результат следующего затем посещения был тот,



что Сен-Клер решил не появляться больше в ее гостиной. Г-жа Б. поспешила объявить всем и каждому, что Сен-Клер — человек совершенно невоспитанный и притом самого дурного тона.

Он родился с сердцем нежным и любящим; но в молодости, когда так еще легко воспринимаются впечатления — впечатления, отражающиеся потом на всей жизни, — его слишком пылкая натура навлекла на него насмешки товарищей. Он был горд и самолюбив. Он, как ребенок, дорожил чужим мнением. Он призвал все свои силы, стараясь научиться скрывать все то, что, по его тогдашним понятиям, считалось унижительною слабостью. Цель была достигнута; но такая победа над собой обошлась ему дорого. Перед людьми ему действительно удавалось скрывать ощущения нежной души своей; однако ж терзался он ими тем сильнее, чем больше замыкался в самом себе. В свете приобрел он вскоре печальную известность человека равнодушного и неотзывчивого; когда он оставался наедине с самим собою, его встревоженному воображению представлялись страдания, тем более жгучие, что он ни с кем никогда не хотел делить их.

Сказать по правде, найти друга нелегко! Нелегко?

Вернее сказать, невозможно. Существовали ли когда-нибудь два человека, не имевшие тайны один от другого? Сен-Клер не верил в дружбу, и это замечено было всеми. Он был холоден и сдержан в обществе с молодыми людьми. Он никогда ни о чем не расспрашивал; все его мысли и большая часть его действий оставались для них загадкой. Французы вообще любят говорить о себе; Сен-Клеру приходилось иногда против воли выслушивать задушевную исповедь знакомых. Его друзья—под этим названием надо разуместь тех, кого мы видим раза два в неделю,—законно жаловались на его недоверчивость; и в самом деле, тот, кто без повода с нашей стороны разоблачает перед нами свои тайны, обижается обыкновенно, если мы не платим ему тою же монетой. Взаимность в разоблачении сердечных тайн считается как бы общим правилом.

— Он всегда застегнут на все пуговицы,—говорил о нем красивый эскадронный командир Альфонс де Темин.—К этому проклятому Сен-Клеру нельзя питать ни малейшего доверия.

— Я думаю, что он близок к иезуитам,—возразил Жюль Ламбер.—Один знакомый клятвенно уверял меня, что дважды видел, как он выходил из церкви Сен-Сюльпис. Никто не знает его настоящих мыслей. Я по крайней мере в его обществе чувствую себя связанным.

Разговаривающие расстались. На Итальянском бульваре Альфонс де Темин встретил Сен-Клера, шедшего с поникшей головой и смотревшего в землю. Он остановил его, взял под руку и тут же выложил перед ним свои любовные похождения с г-жой \*\*\*, муж которой был груб и ревнив.

В тот же вечер Жюль Ламбер проиграл в экарте все свои деньги. Он стал танцевать. Танцуя, он неумышленно толкнул какого-то господина, который, проиграв в тот вечер значительную сумму денег, был сильно не в духе. Последовал обмен резкими словами; результатом был вызов на дуэль. Жюль Ламбер попросил Сен-Клера быть его секундантом и в то же время занял у него денег, которые так потом и не возвратил.

Сен-Клер, несмотря на все о нем сказанное, был, однако ж, человек приятный в общении. Его недостатки вредили только ему лично. Он был услужлив, часто при-

ветлив, и редко бывало с ним скучно. Он много путешествовал, много читал, но говорил о своих путешествиях и читанных им книгах не иначе, как когда настоятельно его к тому принуждали. Он был высок ростом, приятной наружности; черты его отличались благородством; в них отражался ум; лицо его всегда, однако ж, дышало спокойствием; в улыбке его было что-то привлекательное.

Я забыл одно важное обстоятельство. Сен-Клер отличался большой внимательностью к женщинам; он предпочитал их беседу мужской. Любил ли он? Вопрос разрешить было трудно. Во всяком случае, если такой наружно холодный человек любил кого-нибудь, предметом его страсти могла быть только — это все знали — хорошенькая графиня Матильда де Курси. Это была молодая вдова, которую посещал он с редким постоянством. Предположения основывались на следующих доводах: утонченное, почти церемонное обращение Сен-Клера с графиней; то же и с ее стороны; он старался не произносить в свете имя графини; когда же он бывал к тому вынужден, то никогда не присоединял похвалы к ее имени; дальше, до того как Сен-Клер был представлен графине, он любил музыку, она выказывала тогда столько же расположения к живописи; после знакомства вкусы обоих вдруг переменились. И наконец, графиня в прошлом году отправилась на воды; шесть дней спустя Сен-Клер поспешил за нею последовать.

, . . . . .  
, . . . . .

Обязанность историка вынуждает меня сообщить, что в одну июльскую ночь, за несколько мгновений до восхода солнца, калитка парка отворилась и пропустила человека, который вышел на дорогу, принимая такие же точно предосторожности, как вор, опасющийся быть застигнутым. Парк и поместье принадлежали графине де Курси, человек, вышедший из калитки, был не кто другой, как Сен-Клер. Женщина, закутанная в шубку, проводила его до самой калитки; она вытянула шею и жадно следила за ним глазами, в то время как он торопливо спускался по тропинке, огибавшей стену парка. Сен-Клер остановился, осмотрелся вокруг и рукою сделал знак женщине, чтобы она скрылась. Прозрачность лет-

ней ночи позволила ему различить на прежнем месте бледное лицо женщины. Он вернулся назад, подошел к ней и нежно обнял. Ему хотелось уговорить ее вернуться домой, но столько еще оставалось сказать ей! Беседа продолжалась минут десять, затем в стороне слышался голос крестьянина, выходившего на работу. Торопливый поцелуй, калитка быстро захлопнулась, и Сен-Клер стал быстро удаляться.

Он шел знакомой дорогой. Он то подпрыгивал от радости, ускорял шаг и ударял по кустам палкой, то внезапно останавливался или медленно продолжал путь, оглядывая небо, начинавшее алеть на востоке. Можно было принять его за сумасшедшего, вырвавшегося на свободу. Полчаса спустя он остановился у двери небольшого уединенного домика, снятого им на все лето. У него был ключ; он вошел. Он бросился на диван и здесь, уставив глаза в одну точку и блаженно улыбаясь, принялся размышлять и грезить наяву. Воображение рисовало перед ним картину самого полного счастья. «Как я счастлив! — повторял он ежеминутно. — Наконец-то встретил я сердце, которое меня поняло!.. Да, я встретил свой идеал, приобрел в одно и то же время и друга и обожаемую женщину... Какой характер!.. Какая пылкая душа!.. Нет, до меня она никого не любила!..» Движимый тщеславием, от которого не свободны лучшие наши побуждения, он прибавлял: «Красивее женщины нет в Париже!» И воображение рисовало ему все ее прелести. «Она меня предпочла! У ее ног было избранное общество. Гусарский полковник, красавец и храбрец, и притом совсем не фат... Молодой писатель, пишущий такие прелестные акварели, прекрасно играющий в салонных спектаклях... Наконец, тот русский ловелас, побывавший на Балканах и служивший при Дибиче. А главное Камилл Т\*\*\* с его умом, изящными манерами, великолепным шрамом на лбу... И ни на кого из них она не обратила внимания. А я!..» И он снова и снова повторял: «Как я счастлив, боже, как я счастлив!..» Он встал, отворил окно: он задыхался; минуту спустя он принялся расхаживать по комнате, затем снова бросился на диван.

Счастливый любовник почти всегда так же скучен, как любовник несчастливый. Один из моих друзей, находившийся попеременно то в том, то в другом положении,

нашел способ заставлять меня выслушивать его: он угощал меня отличным завтраком, во время которого я разрешал ему говорить о своей любви сколько угодно, но после кофе я чувствовал настоятельную потребность переменить тему разговора.

Не имея возможности приглашать на завтрак всех моих читателей, я избавляю их от дальнейших любовных мечтаний Сен-Клера. К тому же нельзя постоянно витать в облаках. Сен-Клер был утомлен; он зевнул, потянулся, убедился, что на дворе совсем рассвело и что надо наконец подумать о сне.

Проснувшись и взглянув на часы, он увидел, что времени ему оставалось ровно столько, чтобы одеться и ехать в Париж на званый завтрак в кругу молодых приятелей.

Откупорили еще одну бутылку шампанского, число прежде выпитых предоставляю определить читателю. Достаточно знать, что общество пришло уже в то состояние, которое на завтраках в молодой холостой компании наступает довольно быстро: все говорили одновременно, и головы крепкие начали беспокоиться за слабые.

— Желательно было бы, — произнес Альфонс де Темин, не пропускавший случая поговорить об Англии, — желательно было бы ввести в Париже лондонский обычай, состоящий в том, что каждый предлагает тост в честь любимой женщины. Таким способом мы могли бы наконец узнать, о ком вздыхает наш друг Сен-Клер.

Он налил стакан вина и подлил своим соседям.

Сен-Клер, несколько смущенный, собирался ответить, но Жюль Ламбер опередил его.

— Обычай хорош, я его одобряю! — сказал он, приподнимая стакан.

— Господа! — провозгласил он. — За здоровье всех парижских модисток, исключая тридцатилетних, кривых, хромых и тому подобных.

— Уррра!.. Уррра!.. — прокричали молодые англоманы.

Сен-Клер привстал и поднял стакан.

— Господа! — сказал он. — Сердце мое не столь любвеобильно, как сердце моего друга Жюля, но оно более постоянно. Мое постоянство тем более похвально, что я уже давно нахожусь в разлуке с дамой моего сердца.

Уверен заранее, что вы одобрите мой выбор, если только я не встречу между вами соперника... Господа, за здоровье Джудитты Паста! За скорое возвращение к нам этой первой трагической актрисы в Европе!..

Темин хотел посмеяться над тостом; аплодисменты остановили его. Отделавшись таким образом, Сен-Клер считал, что он вышел из положения, и успокоился.

Разговор коснулся сначала театра. Драматическая цензура послужила поводом для перехода к политике. От лорда Веллингтона перешли к английским лошадям, а после английских лошадей, по весьма естественному течению мыслей, занялись женщинами. Молодежь выше всего ценит красивых лошадей и хорошеньких любовниц.

Потом стали обсуждать, каким способом легче всего приобрести желаемое. Лошади покупаются, некоторые женщины также, но о таких не стоит и говорить. Сен-Клер, скромно признав свою неопытность в этом щекотливом деле, все же сказал, что, по его мнению, чтобы понравиться женщине, нужно прежде всего отличаться какою-нибудь оригинальною чертою, не быть похожим на других. Но существует ли общая формула оригинальности? Он думает, что нет.

— По-вашему, стало быть, у хромого или горбатого больше преимуществ, чем у человека стройного, сложенного, как все? — спросил Жюль.

— Вы несколько преувеличиваете, — возразил Сен-Клер, — тем не менее я стою на своем. Возьмем пример: будь я горбат, я не застрелился бы с горя, а пытался бы одерживать победы над прекрасным полом. Прежде всего я обратился бы только к двум типам женщин: таким, у которых особенно чувствительное сердце, или таким — а их много, — которые стремятся прослыть оригинальными, эксцентричными, как говорят в Англии. Первым я стал бы расписывать весь ужас моего положения, всю жестокость природы по отношению ко мне. Я постарался бы их разжалобить, сумел бы внушить им мысль, что я способен на страстную любовь. Я убил бы на дуэли соперника и отравил бы себя слабой дозой опиума. Спустя несколько месяцев мой горб перестали бы замечать, и тогда от меня самого зависело бы воспользоваться первым припадком чувствительности. Что же касается женщин, выдающих себя за оригиналок, то победа



над ними была бы еще легче. Стоило бы только убедить их, будто точно и непреложно установлено, что горбун не может рассчитывать на успех у женщин, и они немедленно пожелали бы опровергнуть общее мнение.

— Каков донжуан! — вскричал Жюль Ламбер.

— Господа, давайте переломаем себе ноги, раз мы не имели счастья родиться горбатыми! — вскричал полковник Боже.

— Я совершенно разделяю мнение Сен-Клера, — подхватил Гектор Рокантен, который был не больше трех с половиной футов ростом. — Часто случается, что самые красивые, самые модные женщины отдаются таким людям, которых вы, красавцы, никогда не сочли бы опасными...

— Гектор, встаньте, пожалуйста, и позвоните, чтобы нам дали еще вина, — проговорил Темин самым естественным тоном.

Карлик встал, и, глядя на него, каждый с улыбкою припомнил басню о лисице с отрубленным хвостом.

— А я, — сказал Темин, — чем больше живу, тем больше убеждаюсь, что приятная наружность — при этом он самодовольно глянул в зеркало, висевшее против него — и умение со вкусом одеваться были всегда теми оригинальными чертами, которые покоряют самых неприступных.

Он щелкнул по обшлагу фрака, чтобы сбросить приставшую крошку хлеба.

— Полноте! — вскричал карлик. — С красивым лицом и платьем от Штауба приобретешь разве таких женщин, которых бросишь через неделю: они прискучат после второго свиданья. Чтобы заставить себя полюбить — полюбить по-настоящему, — нужно кое-что другое... нужно...

— Угодно пример? — перебил Темин. — Убедительный пример? Все вы знали Масиньи, знали, что это была за личность: манеры, как у английского грума, в разговоре совершенная лошадь. Но он был красив, как Адонис, и повязывал галстук не хуже Бреммеля. В сущности, это был один из скучнейших людей, каких мне приходилось видеть.

— Он чуть было не уморил меня от скуки, — подхватил полковник Боже. — Представьте, раз как-то пришлось мне проехать вместе с ним двести миль.

— А знаете ли вы,— спросил Сен-Клер,— что он был виновником смерти всем вам известного бедного Ричарда Торнтона?

— Полно,— возразил Жюль,— разве вы не знаете, что Торнтон убили разбойники недалеко от Фонди?

— Да, конечно, но, как увидите, Масиньи был по меньшей мере соучастником этого убийства. Несколько путешественников, в том числе и Торнтон, опасаясь разбойников, сговорились ехать в Неаполь вместе. Масиньи решил к ним присоединиться. Как только Торнтон узнал об этом, он из страха, вероятно, пробыть несколько дней в его обществе пустился в путь, не дожидаясь остальных. Он поехал один, а чем дело кончилось, вы знаете.

— Торнтон был прав,— сказал Темин,— из двух смертей он избрал самую легкую. На его месте всякий поступил бы так же. Значит, вы признаете, что Масиньи был скучнейшим человеком на свете? — прибавил он, помолчав.

— Признаем! — подхватили все в один голос.

— Будем справедливы, господа,— сказал Жюль,— сделаем исключение для \*\*\*, особенно, когда он излагает свои политические планы.

— Признаете ли вы также,— продолжал Темин,— что госпожа де Курси женщина на редкость умная?

Наступило минутное молчание. Сен-Клер опустил голову; ему представилось, что глаза всех присутствующих устремлены на него.

— Кто же в этом сомневается? — произнес он наконец, продолжая смотреть в тарелку с таким видом, как будто его занимали нарисованные на ней цветы.

— Я утверждаю,— сказал Жюль, возвышая голос,— что она — одна из трех самых прелестных женщин Парижа.

— Я знал ее мужа,— сказал полковник,— он часто показывал мне женины письма: они были очаровательны.

— Огюст,— перебил Гектор Рокантен, обращаясь к Сен-Клеру,— представьте же меня графине! Вы, говорят, пользуетесь большим влиянием в ее салоне.

— В конце осени,— пробормотал Сен-Клер,— когда

она вернется в Париж... Мне... мне кажется, что она никого не принимает в деревне.

— Дайте же мне наконец договорить! — вскричал Темин.

Снова наступило молчание. Сен-Клер сидел на своем стуле, как подсудимый в зале суда.

— Вы не видели графиню три года тому назад, Сен-Клер (вы были тогда в Германии), — продолжал Альфонс де Темин с убийственным хладнокровием, — и, следовательно, вообразить себе не можете, какова была в то время графиня. Прелесть! Свежа, как роза, а главное — жива и весела, как бабочка. И знаете ли, кто из бесчисленных ее поклонников более других удостоился ее расположения? Масиньи! Глупейший и пустейший из людей вскружил голову умнейшей из женщин. Скажете ли вы после этого, что с горбом можно достигнуть такого успеха? Поверьте: требуется лишь приятная наружность, хороший портной и смелость.

Сен-Клер страдал невыносимо. Он собрался уже обвинить рассказчика во лжи, но боязнь скомпрометировать графиню удержала его. Ему хотелось произнести несколько слов в ее оправдание, но язык не повиновался. Губы его дрожали от бешенства. Он тщетно искал косвенный предлог, чтобы придраться и начать ссору.

— Как! — вскричал Жюль с видом крайнего удивления. — Госпожа де Курси могла отдаться Масиньи? *Frailty, thy name is women!* \*

— Доброе имя женщины — сущий пустяк! — произнес Сен-Клер голосом резким и презрительным. — Каждому позволительно трепать его ради острого словца и...

Пока он говорил, он вспомнил с ужасом этрусскую вазу, которую много раз видел на камине в парижском салоне графини. Он знал, что это был подарок Масиньи после возвращения его из Италии, и, словно для того, чтобы усилить подозрение, ваза последовала за графиней в деревню. И каждый вечер, откалывая свою бутоньерку, графиня ставила ее в этрусскую вазу.

Слова замерли у него на губах; он видел только одно, помнил только об одном — этрусская ваза!

«Хорошее доказательство! Основывать подозрение на такой безделице!» — скажет какой-нибудь критик.

---

\* О женщины, вам имя — вероломство! (англ.)

Были ли вы когда-нибудь влюблены, господин критик?

Темин находился в слишком хорошем расположении духа, чтобы обидеться на тон Сен-Клера. Он отвечал с веселым добродушием:

— Я повторяю только то, что говорилось тогда в свете. Связь эта считалась несомненной в ту пору, когда вы находились в Германии. Впрочем, я мало знаю госпожу де Курси; скоро полтора года, как я у нее не был. Может быть, все это выдумки и Масиньи мне солгал. Но вернемся к начатому разговору; если даже приведенный мною пример неверен, я все-таки высказал верную мысль. Всем вам известно, что самая умная женщина во Франции, женщина, сочинения которой...

В эту минуту дверь отворилась, и на пороге показался Теодор Невиль. Он только что вернулся из путешествия по Египту.

— Теодор? Так скоро!..

Его засыпали вопросами.

— Ты привез настоящий турецкий костюм? — спросил Темин. — Привез арабскую лошадь и египетского грума?

— Что за человек паша? — спросил Жюль. — Когда же наконец он объявит себя независимым? Видел ли ты, как с маху сносят голову одним ударом сабли?

— А альмеи? — спросил Рокантен. — Красивы ли каирские женщины?

— Встречались ли вы с генералом Л.? — спросил полковник Боже. — Как сформировал он армию паши? Не передавал ли вам для меня сабли полковник С.?

— Ну, а пирамиды? Нильские пороги? Статуя Мемнона? Ибрагим-паша? — и т. д.

Все говорили одновременно. Сен-Клер думал только об этрусской вазе.

Теодор сел, поджав под себя ноги (привычка, заимствованная им в Египте, от которой он не мог отучиться во Франции), выждал, пока все устанут расспрашивать, и заговорил скороговоркой, чтобы труднее было перебивать его:

— Пирамиды! Поистине это — *regular humbug* \*. Они совсем не так высоки, как о них думают; всего на четыре

---

\* Форменное надувательство (англ.).

метра выше Мюнстерской башни Страсбургского собора. Древности намозолили мне глаза; не говорите мне про них: мне дурно делается при одном виде иероглифа. Столько путешественников этим занималось! Целью моей поездки было понаблюдать характер и нравы того пестрого населения, которым кишат улицы Каира и Александрии,—всех этих турок, бедуинов, коптов, феллахов, могребингов; я сделал несколько заметок, пока был в лазарете. Какая гадость этот лазарет! Надеюсь, вы не верите в заразу. Я спокойно покуривал трубку, находясь между тремястами зачумленными. Кавалерия там хороша, полковник, хороши также лошади. Покажу вам потом отличное оружие, которое я оттуда вывез. Приобрел я, между прочим, превосходный *джерид*, принадлежавший когда-то пресловутому Мурад-бею. У меня для вас, полковник, *ятаган*, для Огюста *ханджар*. Вы увидите мою *мечлу*, мой *бурнус* и мой *хаик*. Знаете ли вы, что при желании я мог бы привезти с собою женщин? Ибрагим-паша прислал из Греции такое множество их, что невольницу можно купить за грош... Но из-за моей матушки... Я много говорил с пашою. Черт возьми, он умен и без предрассудков! Вы не можете себе представить, как хорошо он разбирается в наших делах. Ему известны малейшие тайны нашего кабинета, честное слово. Из беседы с ним я почерпнул много ценных сведений о различных политических партиях во Франции. В настоящее время он очень интересуется статистикой. Он выписывает все наши газеты. Знаете ли вы, что он заядлый бонапартист? Только и разговору, что о Наполеоне. «Какой великий человек *Бунабардо!*» — твердил он мне. *Бунабардо* — так называют они Бонапарта.

— «Джурдина» — это Журден,— прошептал де Темин.

— Сначала,— продолжал Теодор,— Мохамед-Али был со мною настороже. Вы знаете, как вообще турки недоверчивы. Он, черт его возьми, принимал меня за шпиона или иезуита. Он ненавидит иезуитов. Но вскоре он понял, что я просто путешественник без предрассудков, живо интересующийся обычаями, нравами и политическим положением Востока. Тогда он перестал стесняться и заговорил по душам. На последней аудиенции— это была уже третья — я решился чистосердечно ему за-

метить. «Не постигаю,— говорю,— почему твое высочество не объявит себя независимым от Порты». «Господи! — воскликнул он.— Я бы рад, да боюсь, что либеральные газеты, заправляющие всем в твоей стране, не поддержат меня, когда я провозглашу Египет независимым». Очень красивый старик, прекрасная седая борода, никогда не смеется. Он угощал меня отличным вареньем. Из всего того, однако ж, что я подарил ему, больше всего приглянулась ему коллекция рисунков Шарле, где были изображены различные мундиры имперской гвардии.

— Паша романтик? — спросил Темин.

— Он вообще мало занимается литературой, но вы, конечно, знаете, что вся арабская литература романтична. У них, между прочим, есть поэт Мелек-Айятальянефус-Эбн-Эсраф, издавший за последнее время *Раздумья*, по сравнению с которыми *Раздумья* Ламартина кажутся классической прозой. Приехав в Каир, я нанял учителя арабского языка и начал читать коран. Уроков я взял немного, но для меня этого было достаточно, чтобы почувствовать дивные красоты в языке пророка и понять также, насколько плохи все наши переводы. Угодно видеть арабское письмо? Взгляните на это слово, начертанное здесь золотом; это значит: Аллах, то есть Бог.

Тут он показал нам грязное письмо, извлеченное им из надушенного шелкового кошелька.

— Сколько времени пробыл ты в Египте? — спросил Темин.

— Полтора месяца.

Путешественник продолжал описывать все до мельчайших подробностей. Почти тотчас после его прихода Сен-Клер вышел и поскакал к своему загородному дому. Бешеный галоп его коня мешал ему сосредоточиться. Он лишь смутно сознавал, что счастье его разбито и что винить в этом можно только мертвеца и этрусскую вазу.

Вернувшись домой, Сен-Клер бросился на диван, где еще накануне так долго, так сладко мечтал о своем счастье. Он с особым восторгом упивался вчера той мыслью, что его возлюбленная была не похожа на других женщин, что за всю свою жизнь она любила только его одного и что никогда она не полюбит никого другого. Теперь этот чудный сон уступил место печальной, горькой

действительности. «Я обладаю красивой женщиной, и только. Она умна, но тем больше ее вина: она могла любить Масиньи!.. Теперь, правда, она любит меня, любит всею душой, как только может любить. Быть любимым так, как был любим Масиньи!.. Она просто уступила моим домогательствам, моему капризу, моей дерзкой настойчивости. Да, я обманулся. Между нашими сердцами не было настоящей склонности. Масиньи или я — это для нее безразлично. Он был красив — она любила его за красоту. Я иногда ее развлекаю. «Ну, что ж, — сказала она себе, — раз тот умер — буду любить Сен-Клера! Если Сен-Клер умрет или наскучит мне — тогда посмотрим».

Я твердо верю, что дьявол, присутствуя невидимкой, подслушивает всегда несчастного, который сам себя мучает. Такое зрелище должно забавлять врага рода человеческого. И как только жертва чувствует, что раны ее подживают, дьявол снова спешит разбедить их.

Сен-Клеру чудился голос, напевающий ему над самым ухом:

...Большая честь —  
Наследовать другому.

Он привстал и диким взором обвел комнату. Какая жалость, что он здесь один! Сен-Клер кого угодно разорвал бы сейчас в клочки.

Часы пробили восемь. Графиня ожидала его в половине девятого. «Полно, идти ли? И действительно, что за радость встречаться с возлюбленной Масиньи?» Он снова улегся на диван и закрыл глаза. «Буду спать!» — решил он. Полминуты пролежал он неподвижно, затем вскочил и побежал к часам, желая убедиться, сколько прошло времени. «Хорошо, если б было уже половина девятого! — подумал он. — Не к чему было бы тогда идти. Было бы слишком поздно». У него не хватало силы воли, чтобы остаться дома; он искал предлога. Внезапная болезнь обрадовала бы его теперь. Он прошелся по комнате, сел, взял книгу, но не мог прочесть ни одной строчки; подошел к пианино, но не раскрыл его. Он пошвыстел, окинул взглядом облачное небо и начал считать тополя перед окнами. Возвратясь к часам, он увидел, что не сумел протянуть и трех минут. «Нет, я не в силах за-

ставить себя не любить ее! — вскричал он, стиснув зубы и топнув ногой. — Она владеет мною; я раб ее, как Масиньи был ее рабом до меня! Повинуйся же, презренный, повинуйся, если у тебя не хватает духу порвать ненавистную цепь!» Он схватил шляпу и быстро вышел.

Когда страсть владеет нами, мы находим некоторое утешение для самолюбия, рассматривая нашу слабость с высоты нашей гордости. «Я уступаю, я слаб, это правда, — говорим мы себе, — но стоит мне захотеть...»

Сен-Клер медленно поднимался по дороге, ведущей к калитке парка; вдали уже мелькала перед ним фигура женщины в белом платье, выделявшемся на темной зелени деревьев; рука махала платком, будто давая знак. Сердце его сильно билось, колени дрожали; он не мог выговорить ни слова; он почувствовал вдруг необыкновенную робость, — он боялся, как бы графиня не прочла на его лице, что он в дурном расположении духа.

Он взял ее руку; она бросилась к нему на шею, он поцеловал ее в лоб и последовал за нею в комнаты молча, с трудом подавляя вздохи, теснившие ему грудь.

Одинокaя свечка освещала будуар графини. Оба сели. Прическа Матильды обратила на себя внимание Сен-Клера: розан украшал ее волосы. Накануне он принес ей прекрасную английскую гравюру, изображавшую портрет герцогини Портлендской, писанный Лесли (прическа была у нее та же, что теперь у графини), и сказал: «Простой розан в волосах мне больше по сердцу, чем сложные ваши прически». Он не любил драгоценностей; он был одного мнения с тем лордом, который, не стесняясь в выражениях, говорил: «В разряженной женщине, как в лошади, покрытой попоной, сам черт не разберется». Прошлою ночью, перебирая жемчужное ожерелье графини (у него была привычка непременно держать что-нибудь в руках во время разговора), Сен-Клер сказал ей: «Драгоценности нужны только для того, чтобы скрывать недостатки. Вы и без них очень хороши, Матильда». В тот же вечер графиня, придававшая значение каждому его слову, даже случайному, сняла с себя кольца, ожерелья, серьги и браслеты. В женском туалете, по его мнению, главную роль играла обувь; на этот счет у него, как и у многих других, были свои взгляды. Перед закатом солнца шел сильный дождь; трава бы-



ла еще совершенно мокрая. А графиня выбежала к нему навстречу в шелковых чулках и черных атласных туфельках... Что, если она простудится?

«Она меня любит», — сказал себе Сен-Клер и с грустью подумал о себе и о своем безумии. Он взглянул, невольно улыбнувшись, на Матильду. В душе его происходила борьба между подозрением и удовольствием видеть хорошенькую женщину, старавшуюся ему угодить всеми мелочами, которые имеют такую цену в глазах влюбленных.

Между тем сияющее лицо графини выражало любовь и веселое лукавство, делавшее его еще привлекательнее. Она достала что-то из лакированного японского ларца и, протягивая Сен-Клеру сжатый кулачок и не показывая, что в нем находится, сказала:

— На днях я разбила ваши часы. Они уже починены. Вот они.

Она передала ему часы, глядя на него нежно и шаловливо, закусив нижнюю губку, чтобы не рассмеяться. Господи, как прелестны были ее зубки! Какой белизной сверкали они на пылающем пурпуре ее губ! У мужчины бывает очень глупый вид, когда он холодно принимает ласки хорошенькой женщины.

Сен-Клер поблагодарил и собирался уже спрятать часы в карман, но она остановила его:

— Подождите! Откройте часы, посмотрите, хорошо ли они починены. Вы, такой ученый, вы, бывший ученик Политехнической школы, должны знать в этом толк.

— О, я мало в этом смыслю, — сказал Сен-Клер.

Он с рассеянным видом раскрыл часы. Каково же было его удивление, когда он увидел на внутренней стороне крышки миниатюрный портрет г-жи де Курси! Можно ли было после этого хмуриться? Лицо его просветлело; мысль о Масиньи исчезла. Он помнил только о том, что находится подле прелестной женщины и что женщина эта его обожает.

. . . . .

Послышалась песнь жаворонка, «глашатая зари»; на востоке длинные бледные лучи прорезывали облака. В такой же час Ромео прощался с Джульеттой; в этот классический час должны расставаться все влюбленные.

Держа в руке ключ от калитки, Сен-Клер стоял перед камином, внимательно глядя на этрусскую вазу, о которой мы уже говорили. В глубине души он все еще на нее сердился. Он был, однако ж, в хорошем расположении духа, и тут наконец ему пришла в голову простая мысль, что Темин мог солгать. В то время как графиня, желавшая проводить его до калитки, набрасывала на голову шаль, он стал сначала тихонько, потом все сильнее и сильнее постукивать по вазе ключом: можно было подумать, что он намерен разбить ее вдребезги.

— Боже мой! Осторожнее! — вскричала она. — Вы разобьете мою прелестную этрусскую вазу.

Она вырвала ключ у него из рук.

Сен-Клер был очень недоволен, но подчинился. Он повернулся спиной к камину, чтобы не поддаваться искушению, и, раскрыв часы, принялся рассматривать портрет графини.

— Кто писал его? — спросил он.

— Р\*\*\*. Кстати, меня познакомил с ним Масиньи. После своего пребывания в Риме он вдруг открыл в себе тонкий художественный вкус и сделался меценатом всех молодых живописцев. Я нахожу, что портрет в самом деле похож; разве только художник немножко польстил мне.

Сен-Клеру хотелось хватить часы об стену (после этого вряд ли удалось бы их починить). Он сдержался, однако ж, и снова спрятал их в карман. Заметив, что совсем рассвело, он вышел из дому, умоляя графиню не провожать его, быстрым шагом прошел через парк и вскоре очутился один среди полей.

«Масиньи, Масиньи! — мысленно восклицал он со сдержанным бешенством. — Неужели ты будешь вечно попадаться мне на пути?.. Живописец этот, без сомнения, написал другой такой же портрет для Масиньи!.. Каким надо быть глупцом, чтобы допустить хоть на минуту, что меня любили, как любил я!.. И все это только потому, что в волосах у нее розан и что она перестала носить драгоценности!.. У нее их полный ларчик... Масиньи, ценивший в женщине только туалеты, так любил драгоценности! Да, надо сознаться, у нее покладистый характер, большое умение принаравливаться к вкусам своих любовников. Черт побери, было бы в сто раз лучше, если

б она была просто куртизанкой и отдавалась за деньги. Тогда я мог бы по крайней мере думать, что она действительно меня любит,— она моя любовница, а я ей не плачу».

Вскоре другая мысль, еще более мучительная, мелькнула у него в голове. Через некоторое время траур графини кончался. С истечением годичного срока Сен-Клер должен был с ней обвенчаться. Он это ей обещал. Обещал? Нет. Он никогда не говорил с ней об этом, но таково было его намерение, и графиня о нем догадывалась. По его понятиям, это было равносильно клятве. Еще накануне он принес бы в жертву все, чтобы только ускорить час, когда он сможет объявить во всеуслышание о своей любви; теперь он содрогался при одной мысли связать судьбу свою с бывшей любовницей Масиньи.

«Но я должен, однако ж, это сделать, и так это и будет,— повторял он мысленно.— Бедняжка, она, наверное, думала, что мне известна ее прежняя связь. Говорят, что они не скрывали ее. И то сказать: она мало еще меня знает и потому не может понять... Она думает, что я люблю ее так же, как любил Масиньи. Что ж,— прибавил он не без гордости,— благодаря Матильде три месяца я был счастливейшим из людей; такое счастье стоит того, чтобы принести ему в жертву остаток жизни».

Он не ложился и все утро ездил верхом по лесу. В одной из аллей Верьерского леса он увидел всадника на отличной английской лошади; всадник еще издали назвал его по имени и подъехал к нему. То был Альфонс де Темин. Сен-Клер был в таком состоянии, когда одиночество особенно приятно; при встрече с Темином его дурное расположение духа сменилось сдержанной яростью. Темин не замечал этого, а может быть, даже находил удовольствие в том, чтобы дразнить его. Он болтал, смеялся, шутил, не обращая внимания на то, что Сен-Клер молчит. Увидев перед собою узенькую аллею, Сен-Клер тотчас же направил туда своего коня в надежде отвязаться от назойливого спутника, но он ошибся— назойливые люди не так легко расстаются со своими жертвами. Темин повернул коня, въехал в аллею и, догнав Сен-Клера, продолжал болтать как ни в чем не бывало.

Как я уже говорил, аллея была узка; две лошади едва-едва могли двигаться рядом; ничего, следовательно, нет удивительного, если Темин, при всем своем умении держаться в седле, задел ногу Сен-Клера, проезжая мимо него. Но досада уже накопилась в сердце Сен-Клера; он не в силах был ее сдерживать: привстав на стремянах, он ударил хлыстом по морде лошадь Темина.

— Черт подери! Огюст! Что с вами? — воскликнул Темин. — За что вы бьете мою лошадь?

— Зачем вы за мной едете? — диким голосом закричал Сен-Клер.

— Вы с ума сошли, Сен-Клер! Вы забываете, с кем говорите!

— Отлично помню, что говорю с наглецом.

— Сен-Клер!.. Вы, должно быть, рехнулись... Завтра вы или извинитесь передо мной, или ответите мне за вашу дерзость.

— Итак, до завтра, милостивый государь!

Темин остановил лошадь; Сен-Клер проехал вперед и вскоре исчез в лесу.

С этой минуты он почувствовал себя спокойнее. У него была слабость верить в предчувствия. Ему представилось, что завтра он будет убит и что в этом простейший выход из положения, в которое он попал. Прожить еще один день — и больше никаких забот, никаких терзаний. Вернувшись домой, он послал человека с запиской к полковнику Боже, написал несколько писем, пообедал с аппетитом и ровно в половине девятого был у калитки парка.

. . . . .

— Что с вами сегодня, Огюст? — спросила графиня. — Вы необыкновенно веселы, и тем не менее все ваши шутки не смешат меня нисколько. Вчера вы были сумрачны, а мне было так весело! Сегодня наши роли переменились. У меня ужасно болит голова.

— Да, дорогой друг, признаюсь, я был вчера очень скучен, а сегодня я много гулял, много двигался и чувствую себя превосходно.

— А я поздно встала, долго спала утром и все время видела тяжелые сны.

— Сны? Вы верите снам?

— Какой вздор!

— А я верю,— сказал Сен-Клер.— Бьюсь об заклад, вы видели сон, предвещающий какое-нибудь трагическое событие.

— Я никогда не могу запомнить то, что вижу во сне. Впрочем, постойте, начинаю припоминать... Я видела во сне Масиньи. Можете из этого заключить, что в моих снах не было ничего интересного.

— Масиньи! Мне думается, что вы не отказались бы увидеть его снова.

— Бедный Масиньи!

— Бедный Масиньи?

— Огюст, скажите мне, прошу вас, что с вами сегодня? В вашей улыбке есть что-то демоническое. Вы как будто смеетесь сами над собою.

— Ну вот! Вы тоже начали обращаться со мной, как разные почтенные старушки, ваши приятельницы.

— Нет, кроме шуток, Огюст, у вас сегодня такое выражение лица, какое бывает, когда вы разговариваете с людьми, которых недолюбливаете.

— Какая вы нехорошая! Дайте мне вашу ручку.

Он поцеловал её руку с иронической галантностью, и с минуту они пристально смотрели друг на друга. Сен-Клер первый опустил глаза.

— Как трудно прожить на этом свете, не прославившись злым человеком! — сказал он.— Для этого необходимо говорить только о погоде или об охоте, либо обсуждать вместе с вашими приятельницами-старушками бюджет их благотворительных учреждений.

Сен-Клер взял со стола какую-то записку.

— Вот,— сказал он,— счет вашей прачки; будем беседовать об этом предмете, мой ангел, по крайней мере вы не будете упрекать меня в том, что я злой.

— Вы меня просто удивляете, Огюст...

— Орфография этого счета напоминает мне письмо, найденное мною сегодня. Надо вам сказать, я разбирал сегодня свои бумаги; время от времени я навожу в них порядок. Так вот, я нашел любовное письмо, написанное мне швейкой, в которую я был влюблен, когда мне было шестнадцать лет. Каждое слово она писала особенным образом и притом крайне усложненно. Слог вполне соответствовал орфографии. Я был в то время немного

фатом и находил несовместным с моим достоинством иметь любовницу, которая не владела пером, как госпожа де Севинье. Я быстро с ней порвал. Перечитывая сегодня ее письмо, я убедился, что швейка по-настоящему меня любила.

— Прекрасно! Женщина, которую вы содержали...

— Очень щедро: я давал ей пятьдесят франков в месяц. Опекун мой был прижимист; он утверждал, что молодой человек, у которого много денег, губит себя и других.

— А эта женщина? Что же с ней случилось?

— Почему я знаю?.. Вероятно, умерла в больнице.

— Если б это была правда, Огюст... вы бы не говорили об этом таким равнодушным тоном.

— Если хотите знать, она вышла замуж за «порядочного человека», а я, сделавшись совершеннолетним, дал ей небольшое приданое.

— Какой вы, право, добрый!.. Зачем же вы хотите казаться злым?

— О, я очень добр!.. Чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что эта женщина действительно меня любила. Но в то время я не умел различить истинное чувство под смешной наружностью.

— Жаль, что вы не принесли мне это письмо. Я не стала бы ревновать... У нас, женщин, больше чутья, чем у вас; мы по стилю письма сейчас же узнаем, искренен ли писавший его, или он разыгрывает страсть.

— Что не мешает вам, однако ж, попадаться так часто в ловушку глупцов и хвастунов!

Произнеся эти слова, Сен-Клер смотрел на этрусскую вазу, и в его глазах и голосе было зловещее выражение, которого, однако ж, не заметила Матильда.

— Полно! Все вы, мужчины, хотите прослыть за донжуанов. Вам кажется, что обманываете вы, а между тем вы сами часто попадаете в руки доньям жуанитам, еще более развращенным, чем вы.

— Конечно, с вашим тонким умом вы, женщины, должны чувствовать глупца за целую милю. Я не сомневаюсь, например, что ваш друг Масиньи, который был и глупец и фат, умер девственником и мучеником...

— Масиньи? Он был далеко не так глуп. А потом, женщины тоже бывают глупые. Кстати, я вам расскажу

одну историю, случившуюся с Масиньи... Впрочем, я, кажется, уже вам ее рассказывала?..

— Никогда! — произнес Сен-Клер, и голос его дрогнул.

— Возвратясь из Италии, Масиньи влюбился в меня. Он был знаком с моим мужем; муж представил его мне как человека умного и со вкусом. Они были созданы друг для друга. Масиньи был сначала ко мне очень внимателен: преподносил мне акварели, выдавая их за свои, тогда как он попросту покупал их у Шрота, и беседовал со мною о музыке и живописи с видом знатока, не подозревая, как он смешон. Раз получаю я от него письмо невероятного содержания. В нем говорилось, между прочим, что я самая порядочная женщина в Париже — и по этой причине он хочет стать моим любовником. Я показала письмо кузине Жюли. Обе мы тогда были сумасбродками и решили сыграть с ним шутку. Как-то вечером собрались у нас гости, в числе которых был и Масиньи. Кузина вдруг говорит: «Я прочту вам объяснение в любви, — я получила его сегодня утром». Берет письмо и читает его во всеуслышание при общем хохоте! Бедный Масиньи!

Сен-Клер радостно вскрикнул и упал на колени. Схватив руку графини, он покрыл ее поцелуями и окропил слезами. Матильда была крайне удивлена; ей даже показалось, что с ним что-то неладное. Сен-Клер мог только вымолвить: «Простите меня! Простите!» Наконец он встал; на лице его сияла радость. В эту минуту он чувствовал себя счастливее, чем даже в тот день, когда Матильда в первый раз сказала ему: «Я люблю вас!»

— Я самый безумный, самый преступный человек на свете! — вскричал он. — Целых два дня меня мучили подозрения... а я не попытался объяснитьсь с тобой...

— Ты подозревал меня!.. Но в чем же?

— О, я заслужил твое презрение!.. Мне сказали, что ты раньше любила Масиньи...

— Масиньи?..

Она засмеялась. Затем, сделавшись снова серьезной, сказала:

— Огюст! Можно ли быть в самом деле настолько безумным, чтобы дать волю таким подозрениям, и настолько лицемерным, чтобы скрыть их от меня?

В ее глазах блеснули слезы.

— Умоляю, прости меня!

— Могу ли я на тебя сердиться, мой милый?.. Но хочешь, я поклянусь тебе...

— О, верю, верю! Мне не надо клятв...

— Но, ради бога, скажи мне, на чем основывал ты свои нелепые подозрения?

— Виною всему мой злосчастный характер... И еще... эта этрусская ваза... Я знал, что тебе подарил ее Массиньи...

Графиня в изумлении всплеснула руками, но тут же, заливаясь смехом, сказала:

— Моя этрусская ваза! Моя этрусская ваза!

Сен-Клер тоже не мог удержаться от смеха, хотя по щекам его катились крупные слезы. Он заключил Матильду в объятия и сказал:

— Я не выпущу тебя, пока не получу прощения...

— Прощаю тебя, безумец ты этакый! — проговорила она, нежно его целуя. — Сегодня я счастлива: в первый раз я вижу твои слезы; я не думала, чтобы ты мог плакать.

Высвободившись из его объятий, она схватила этрусскую вазу и, ударив об пол, разбила ее вдребезги. (Ваза принадлежала к числу очень редких. На ней изображен был в три краски бой лапифа с кентавром.)

В течение нескольких часов Сен-Клер был самым смущенным и самым счастливым из смертных.

. . . . .  
— Ну что? — спросил Рокантен, встретив полковника Боже вечером в кофейной Тортони. — Неужели это правда?

— К сожалению, да, — отвечал с грустным видом полковник.

— Расскажите же, как все произошло.

— Придаться не к чему. Сен-Клер сразу сказал мне, что он неправ, но хочет принести свои извинения только после того, как Темин сделает первый выстрел. Я не мог не одобрить его. Темин предложил бросить жребий, кому первому стрелять. Но Сен-Клер потребовал, чтобы первым стрелял Темин. Темин выстрелил. Я увидел, как Сен-Клер повернулся и тут же упал мертвым. Мне часто приходилось наблюдать, как солдаты, раненные на-



смерть, так же странно поворачивались, перед тем как испустить последний вздох.

— Это удивительно! — заметил Рокантен. — Что же сделал Темин?

— То, что делают в подобных случаях. Он с видом глубокого сожаления бросил на землю пистолет. Бросил с такой силой, что собачка сломалась. Пистолет английской фабрики Ментона. Не думаю, чтобы нашелся в Париже оружейник, способный его исправить.

. . . . .

В течение трех лет графиня никого не хотела видеть. Зимой и лето проводила она в своей усадьбе, редко выходя из комнаты, редко даже обмениваясь словами с горничной-мулаткой, знавшей о ее связи с Сен-Клером. По прошествии этого времени ее кузина Жюли вернулась из дальнего путешествия. Она почти насильно проникла к затворнице и нашла бедную Матильду страшно истощавшей и бледной; ей показалось, что перед ней труп женщины, которую она оставила такой прекрасной и полной жизни. Ей стоило огромных усилий извлечь Матильду из ее затвора и увезти на Гиерские острова. Там графиня протянула еще три-четыре месяца и наконец скончалась от «грудной болезни, вызванной семейными огорчениями», как уверял лечивший ее доктор М.



## Письма из Испании

*(Адресованные редактору Ла Ревю де Пари)*

### I

*Мадрид, 25 октября 1830.*

Милостивый государь! Бой быков все еще пользуется фавором в Испании, но среди представителей высших классов редко кто не испытывает некоторого стыда, признаваясь в пристрастии к подобного рода зрелищу, по существу, конечно, очень жестокому; вот почему испанцы подыскивают ему в оправдание разные серьезные доводы. Во-первых-де, это зрелище национальное. Одного слова *национальное* было бы вполне достаточно, так как в Испании лакейский патриотизм распространен так же сильно, как и во Франции. А затем, продолжают они, римляне проявляли себя еще большими варварами, чем мы, заставляя людей сражаться друг с другом. Кроме того, прибавляют экономисты, сельское хозяйство извлекает выгоду из этого обычая: высокие цены на боевых быков заставляют помещиков разводить огромные стада. Следует заметить, что далеко не всякий бык обладает свойством бросаться на людей и на лошадей и что на двадцать экземпляров с трудом найдется один, достаточно храбрый для того, чтобы выступать на арене;



остальные употребляются на полевых работах. Единственным аргументом, который никто не отваживается выставить и который остался бы, однако, неотразимым, является то, что независимо от своей жестокости зрелище это интересно, увлекательно и вызывает самые сильные ощущения, так что всякий, кто выдержал искушение первого испытания, не в силах от него отказаться. Даже иностранцы, в первый раз переступающие порог цирка (не иначе как с ужасом и из одного лишь желания добросовестно выполнить обязанности путешественника), даже иностранцы, говорю я, очень скоро начинают увлекаться боями быков в такой же мере, как и коренные жители Испании. К стыду человечества приходится признать, что война со всеми ее ужасами включает в себе прелесть необыкновенную, в особенности же для тех, кто наблюдает ее из укромного уголка.

Св. Августин рассказывает, что в молодости он питал страшное отвращение к боям гладиаторов, которых никогда не видел. Будучи вынужден отправиться вместе с другом на эту пышную бойню, он дал себе клятву во все время представления держать глаза закрытыми. Вначале он выполнял как следует свое обещание и старался думать о посторонних вещах, но от возгласа, выр-

вавшегося у народа при падении знаменитого гладиатора, он открыл глаза,— открыл и не мог уже больше закрыть. С тех пор он до самого своего обращения был страстным поклонником цирковых игр.

После столь великого святого мне стыдно ссылаться на самого себя, и тем не менее вам известно, что я не отличаюсь замашками антропофага. Когда я впервые вошел в мадридский цирк, я боялся, что не вынесу вида столь щедро проливаемой крови; я боялся, что расчувствуюсь (я не мог за себя ручаться) и покажусь смешным закоренелым завсегдатаям, предоставившим мне место в своей ложе. Ничего подобного. Первый бык был убит, а я и не думал об уходе. Прошло два часа, не прерываемых ни единым антрактом, и я все еще не был утомлен. Ни одна трагедия на свете не захватывала меня до такой степени. За время моего пребывания в Испании я не пропустил ни одного боя и со стыдом признаюсь, что бои со смертельным исходом я предпочитал тем, где быков только раздраживают, прикрепляя к концам их рогов небольшие шары. Разница здесь та же самая, что между схваткой до ранения противника и турниром с тупоконечными копьями. Тем не менее оба вида состязаний очень похожи, но во втором случае опасность для человека сводится почти что к нулю.

Канун состязания представляет собою тоже праздник. Во избежание несчастий быков пригоняют в цирковые стойла (*encierro*) только ночью; накануне дня, назначенного для боя, они пасутся на пастбище вблизи Мадрида (*el arroyo*—арройо). Организуются особые прогулки для того, чтобы посмотреть на быков, часто прибывающих сюда издалека. Целое скопище карет, всадников и пешеходов отправляется к *арройо*. Многие молодые люди одеваются в изящный костюм андалусского *махо* \* и блещут великолепием и роскошью, не допускаемыми простотой наших привычных нарядов. Прогулки эти, надо сказать, далеко не безопасны: быки находятся на свободе, проводникам не всегда бывает легко приводить их к послушанию, и любопытные должны сами оберегать себя от ударов.

Цирки (*plazas*) существуют почти во всех больших

---

\* Махо — щеголь из низших слоев общества. (Прим. автора.)

городах Испании. Самые здания отличаются очень простой, чтобы не сказать очень грубой, архитектурой. Обычно это большие дощатые бараки; амфитеатр города Ронды славится диковинкой потому только, что он весь сделан из камня. Это самый красивый цирк в Испании, подобно тому как замок Тундер тен-Тронк считался самым красивым в Вестфалии оттого, что в нем были окна и двери. Но какое значение может иметь убранство театра, если самый спектакль превосходен? Мадридский цирк вмещает около семи тысяч зрителей, свободно входящих и выходящих через многочисленные двери. Сидят здесь на деревянных или каменных скамьях \*, но есть несколько лож со стульями. Только ложа его католического величества отделана с некоторым изяществом.

Арена окружена крепким барьером высотой около пяти с половиной футов. На расстоянии двух футов от земли по обеим сторонам вокруг барьера идет деревянный карниз: это своего рода подножка или подставка, помогающая преследуемому тореадору легко перепрыгивать через загородку. Узкий проход отделяет ее от первого ряда скамей со зрителями, находящихся на той же высоте, что и барьер, и защищенных, помимо того, двойным рядом веревок, прикрепленных к прочным стойкам. Эта мера предосторожности введена недавно. Однажды бык не только перепрыгнул через барьер (что, в общем, случается довольно часто), но и бросился затем на ступеньки, где убил и изувечил немалое число посетителей. Считается, что протянутая веревка в достаточной степени предохраняет от повторения подобных несчастий.

На арену выходят четыре двери. Одна из них ведет в бычье стойло (*toril*), другая на бойню, где сдирают кожу с убитых быков и разделявают их туши. Остальные двери обслуживают человеческих персонажей этой трагедии.

Незадолго до представления тореадоры собираются в комнате, прилегающей непосредственно к цирку. Тут же рядом помещаются конюшни. Чуть подальше расположен госпиталь. Лекарь и священник находятся всегда поблизости.

---

\* За последние годы все скамьи амфитеатра заменены каменными, 1840. (Прим. автора.)

Комната, служащая фойе, украшена размалеванной мадонной, перед которой горят свечи; невдалеке стоит стол с маленькой жаровней, где лежат горящие угли. Каждый входящий тореадор снимает сначала шляпу перед статуей, наспех бормочет молитву, затем достает из кармана сигару, зажигает ее от жаровни и курит, беседуя с товарищами и завсегдатаями, являющимися сюда обсудить достоинства быков, которым предстоит бой.

Тем временем на внутреннем дворе всадники, сражающиеся верхом, готовятся к схватке, пробуя своих лошадей. Для этого они пускают их галопом прямо на стену и ударяют в нее длинной жердью, заменяющей пикку; не отрываясь от точки опоры, они упражняют своих коней в умение поворачиваться быстро и как можно ближе к стене. В скором времени вы увидите, что упражнения эти совсем не излишни. Лошади, употребляемые для этой цели,— бракованные клячи, скупаемые за бесценок. Прежде чем выпустить на арену, им (из опасения, что иначе их испугают крики толпы и вид быка) завязывают глаза и затыкают уши мокрой паклей.

Цирк представляет собой очень оживленную картину. Арена еще задолго до боя наполнена народом, а скамьи и ложи сливаются в одну неясную массу голов. Места делятся на два разряда: на теневой стороне находятся самые дорогие и удобные, зато солнечная сторона всегда занята неустрашимыми «любителями». Женщин бывает меньше, чем мужчин, большинство из них относится к категории *tanolas* (гризетки). Дело в том, что французские и английские романы испортили за последнее время испанок и лишили их уважения к старинным обычаям\*. Насколько я знаю, духовным лицам не запрещено присутствовать на этом зрелище, и тем не менее за все время я видел только одного человека в сутане (в Севилье). Мне говорили, что многие из них ходят туда переодетыми.

По сигналу, даваемому президентом корриды, старший альгуасил и двое других, одетых наподобие Кристиана,— все трое верхом впереди небольшой группы всад-

---

\* Ныне приходится наблюдать нечто прямо противоположное. (Прим. автора.)

ников,— очищают от народа арену и узкий коридор, проходящий между ареной и скамьями. Когда альгуасилы и их свита удаляются, герольд вместе с судебным приставом и пешими альгуасилами выходит на середину площади и читает указ, воспрещающий бросать что-либо на арену, смущать сражающихся криками, жестами и т. д. и т. д. Стоит ему появиться, как, несмотря на торжественную формулу: *«Именем короля, владыки нашего, коего да хранит господь на многие лета...»*— вихри свистков поднимаются отовсюду и не смолкают во все время чтения декрета, никогда, впрочем, не соблюдаемого. В цирке, и только в цирке, народ распоряжается самовластно и говорит и делает все, что захочет \*.

Тореро делятся на два основных класса: на *пикадоров*, сражающихся верхом с пикой в руке, и пеших *чуло*, которые дразнят быка, размахивая перед ним тканями ярких цветов. В категорию последних входят *бандерильеры* и *матадоры*; о них я еще буду говорить. Все одеты в андалусский костюм, почти такой же, как у Фигаро в *Севильском цирюльнике*, но пикадоры вместо коротких панталон и шелковых чулок носят штаны из толстой кожи с подбивкой из дерева и железа, предохраняющей ноги и бедра от рогов быка. Спешившись, они движутся наподобие широко расставленных ножек циркуля, а когда лошадь их сбрасывает, то иначе как с помощью чуло подняться они не могут. Седла у них турецкого фасона, с железными стременами, похожими на наши сабо, целиком закрывающими ступню.

Для того чтобы клячи их слушались, пикадоры пользуются шпорами, снабженными остриями длиной в два дюйма. Копье у них большое, очень прочное; оканчивается оно чрезвычайно острым железным шипом, но так как потеху необходимо бывает затягивать, то на шип этот насаживается веревочный кружок, не позволяющий железу проникать в тело быка глубже, чем на дюйм.

Один из конных альгуасилов подхватывает шляпой ключ, бросаемый президентом боя. Ключ этот ничего не отмыкает, и тем не менее всадник отвозит его человеку, обязанному открывать стойло, и в ту же минуту пускает-

---

\* После восстановления конституции декрет «короля-владыки» больше не оглашается. (Прим. автора.)

ся от него вскачь, преследуемый гиканьем толпы, кричащей, что бык на воле и гонится за ним. Шутка эта повторяется с каждым новым боем.

Тем временем пикадоры занимают свои места. Обычно на арену выезжают двое; внутри здания находятся еще два-три пикадора, готовых заместить товарищей в случае таких несчастий, как смерть, переломы и т. д. Человек двенадцать пеших чуло размещены на площадке на расстоянии, удобном для того, чтобы помогать друг другу.

Бык, которого заранее раздражают в его камерке, вылетает как бешеный. Сплошь и рядом он одним махом достигает середины арены и круто останавливается, пораженный шумом и окружающим его зрелищем. На загривке у него бантик из лент, приколотый маленьким крючком, всаженным прямо в кожу. Цвет этих лент указывает, в каком стаде (*vacada*) выкормлен бык, но опытные завсегдатаи уже по одному виду животного сразу узнают, из какой оно области и к какой принадлежит породе.

Подбегают чуло, размахивая яркими плащами, и стараются подманить быка к одному из пикадоров. Если бык храбрый, он бросается на врага не колеблясь. Пикадор, держа лошадь в сборе, зажимает копье под мышкой и становится как раз против быка; он выбирает момент, когда тот наклоняет голову, собираясь поразить противника рогами, и наносит ему удар копьем в загривок, но никак не в другое место\*; налегая на копье всей тяжестью, он направляет в то же время лошадь влево и старается остановить быка с правой стороны. Если все приемы выполнены умело, если пикадор силен и лошадь послушна, бык, увлеченный собственным натиском, проносится мимо, не задевая всадника. В таком случае чуло обязаны отвлечь внимание быка так, чтобы дать пикадору возможность отъехать подальше. Но часто животное отлично соображает, кто его ранил: оно мгновенно пово-

---

\* Однажды я видел, как опрокинутого пикадора, которому грозила неминуемая гибель, выручил его товарищ, заставивший быка отступить ударом копья в нос. Обстоятельство, казалось бы, извинительное. И тем не менее я слышал возгласы старых завсегдатаев: «Какой позор! Бить копьем в нос! Этого человека нужно убрать с арены». (Прим. автора.)



рачивается, настигает лошадь, вонзает ей в брюхо рога и опрокидывает ее вместе с всадником. К нему тотчас подбегают чуло: одни из них его поднимают, другие, размахивая плащами перед мордой быка, отвлекают, манят к себе животное, а потом удирают, бегом устремляясь к барьеру, который они перепрыгивают с поразительной ловкостью. Испанские быки бегают так же быстро, как лошадь, и если чуло окажется далеко от барьера, то спастись ему бывает трудно. Вот почему всадники, чья жизнь постоянно зависит от ловкости чуло, так редко отваживаются выезжать на середину арены; когда они это делают, их считают необыкновенными смельчаками.

Как только пикадор становится на ноги, он тотчас же взбирается на коня, если только ему удастся поднять его. Что за беда, если несчастное животное теряет потоки крови, если внутренности его волочатся по земле и опутывают ему ноги: пока лошадь в состоянии ходить, она обязана идти на быка! Если она околеваает, пикадор покидает арену и сию же минуту снова появляется на новой лошади.

Я говорил уже, что удары копья наносят быку поверхностные раны и имеют задачей только его раздражить. Однако от того, что он сшибается с всадником и конем, от пыла, который он проявляет, а главное, от последствий резких остановок с оседанием на коленные связки бык очень скоро устает. Сплошь и рядом случается, что боль от ударов его обескураживает, и тогда он не решается бросаться на лошадь или, выражаясь языком тавромахии, отказывается *входить*. Впрочем, если бык вообще силен, то к этому времени он убивает от четырех до пяти лошадей. Тогда пикадоры делают передышку, и дается сигнал к всаживанию бандериллий.

Так называются палочки длиной около двух с половиною футов, обернутые вырезанной фестонами бумагой и заканчивающиеся зубчатым острием, легко застревающим в ране. Чуло держат в каждой руке по одному дротику этого типа. Самым надежным способом их употребления считается следующий: человек осторожно подступает к быку сзади и потом вдруг начинает поддразнивать его, громко ударяя одной бандерильей о другую. Бык в изумлении оборачивается и немедленно атакует врага.

В ту минуту, когда животное его настигает и наклоняет голову для удара, чуло всаживает ему по бандерилье в обе стороны шеи, что бывает возможно только тогда, когда человек на мгновение оказывается перед самой мордой животного, почти что между рогами; чуло тотчас же отступает назад, пропускает быка и устремляется к барьеру, спасаясь в надежное место. Рассеянность, одно неуверенное, боязливое движение — и он погиб. Впрочем, знатоки считают обязанности бандерильера почти безопасными. Если чуло, всаживая бандерилью, по неосторожности падает, он и не думает о том, чтобы подняться, а неподвижно лежит на месте падения. Бык почти никогда не ранит лежащего, и совсем, конечно, не из великодушия, а потому, что, бросаясь в атаку, он закрывает глаза и проносится над человеком, ничего не видя. Иной раз он, однако, останавливается, обнюхивает лежащего, желая удостовериться, действительно ли он мертв, потом подается на несколько шагов назад и наклоняет голову с намерением взять его на рога, но в этих случаях быка окружают товарищи бандерильера и отвлекают его с таким усердием, что он бывает вынужден покинуть мнимого мертвеца.

Если бык обнаружил трусость, иначе говоря, если он не сумел выдержать четыре пики — это число считается обязательным, — зрители наподобие верховных судей присуждают его к особому рода пытке, являющейся сразу и наказанием и приемом, пробуждающим в нем гнев. Со всех сторон раздаются крики: *Fuego, fuego!* («Огня, огня!») И тогда пешим чуло вместо обычных орудий выдаются бандерильи, ручка которых обмотана пиротехническими патронами, а острие снабжено куском зажженного трута. Как только острие проникнет в кожу, трут соприкасается с фитилем ракет: они загораются, и пламя, бьющее в быка, обжигает его и заставляет проделывать скачки и пируэты, чрезвычайно веселящие публику. И действительно, какое чудесное зрелище представляет это огромное животное, истекающее пеной от бешенства, потрясающее пылающими бандерильями и беснующееся среди дыма и огня! К неудовольствию господ поэтов, мне приходится заявить, что ни у одного из всех когда-либо виденных мною животных не было в глазах так мало выражения, как у быка. Или, вернее, ни у одного

из них оно не менялось так слабо: бык почти неизменно выражает одну жестокую, звериную тупость. В редких случаях его страдание проявляется мычанием: раны либо раздражают его, либо пугают, но, прошу меня извинить, никогда не бывает у него такого вида, будто он раздумывает над своей судьбой; он никогда не плачет, подобно оленю. И поэтому он вызывает жалость только тогда, когда обращает на себя внимание храбростью\*.

Когда в шее у быка торчат три или четыре пары бандериллий, наступает момент его прикончить. Раздается дробь барабанов, и в ту же минуту один из заранее намеченных чуло, так называемый *матадор*, отделяется от группы своих тозарищей. Он богато одет; он покрыт золотом и шелком; в руках у него длинная шпага и пунцовый плащ, подвязанный к палке для того, чтобы им удобнее было оперировать: это называется *мулета*. Чуло подходит к ложе президента и с глубоким поклоном испрашивает у него позволения убить быка. Это простая формальность, которая обычно имеет место один раз за все время боя. Само собою разумеется, президент отвечает утвердительным кивком головы. Тогда матадор кричит ему *виват*, делает пируэт, швыряет шляпу на землю и идет навстречу быку.

Бой быков, подобно дуэли, имеет свои законы; нарушение их в такой же мере позорно, как и предательское убийство противника. Так, например, матадор обязан поразить быка в то место, где загривок сходится со спиной (испанцы называют его *крестом*). Удар наносится сверху вниз, как при второй позиции, и ни в коем случае не снизу. Лучше тысячу раз умереть, чем ударить быка снизу, сбоку или с тылу. Шпага, употребляемая матадорами, длинная, плоская и обоюдоострая; эфес у нее очень короткий, и заканчивается он шариком, на который необходимо налегать ладонью. Обращение с этим оружием требует огромного навыка и исключительной ловкости.

---

\* В иные дни, а также в торжественных случаях дрезко бандерилли обматывают длинной шелковой сеткой, в которой сидят маленькие живые птички. Когда острое бандерилли погружается в шею быка, она перерезывает узел, скрепляющий сетку, и птички вылетают наружу, причем предварительно долгое время трепыхаются у самых ушей животного. (Прим. автора.)

Для того, чтобы хорошо убить быка, нужно до тонкостей знать его характер. От этого знания зависит не только слава, но и самая жизнь матадора. Легко понять, что характеры у быков бывают столь же разнообразны, как у людей, тем не менее они разделяются на две резко обозначенные категории: на «ясных» и «темных». Я выражаюсь сейчас языком цирка. «Ясные» откровенно бросаются в атаку, в то время как «темные» хитрят и стараются напасть на человека предательским образом. Эти последние бывают необыкновенно опасны.

Прежде чем отважиться на удар, матадор подставляет быку мулету, поддразнивает его и внимательно следит, бросается ли он на нее открыто и в ту же самую минуту, как ее заметит, или же приближается медленно, стараясь выиграть расстояние и атаковать противника, когда тот, по его мнению, окажется настолько близко, что не сможет уклониться от удара. Очень часто приходится видеть, что бык грозно трясет головой, роет копытами землю, не проявляя желания наступать, а то даже медленно пятится назад, стараясь завлечь человека на середину арены, где ему уже невозможно спастись. Иные быки избегают атаки по прямой линии; они медленно, с усталым видом обходят человека, а затем, точно рассчитав пространство, летят на него, как стрела.

Человеку, хоть сколько-нибудь понимающему в тавромахии, бывает очень интересно наблюдать за тем, как сходятся бык и матадор; подобно двум искусным генералам, они, видимо, угадывают намерения друг друга и ежеминутно меняют тактику. Один поворот головы, косой взгляд, опущенное ухо раскрывают искушенному матадору замыслы врага. Вдруг нетерпеливый бык бросается на красную ткань, которой сознательно окутывает себя матадор. Сила животного такова, что ударом рогов он может свалить целую стену, а человек уклоняется от него легким наклоном корпуса, ускользает точно по волшебству, оставляя после себя одну легкую ткань, которую он поднимает над рогами быка, бросая вызов его неистовству. Порывистость заставляет быка намного обгонять противника; в таких случаях он круто останавливается, оседая на ноги, и от резких и сильных движений животное так устает, что затягивание подобного рода маневра уже само по себе представляет для него смер-

тельную опасность. Вот почему прославленный маэстро Ромеро говорит, что хороший матадор должен уметь убить восемь быков семью ударами шпаги. Один из них околевает от утомления и бешенства.

Когда матадор после ряда манипуляций с мулетой находит, что он достаточно изучил врага, он готовится нанести ему последний удар. Крепко держась на ногах, он помещается как раз напротив и застывает на некотором расстоянии, поджидая быка. Правая рука его, вооруженная шпагой, согнута на высоте головы, в то время как левая вытянута вперед и держит почти волочащуюся по земле мулету, побуждая быка опустить голову. Только тогда матадор и наносит смертельный удар всей силой руки, увеличенной тяжестью тела и натиском самого быка. Шпага, имеющая в длину три фута, часто уходит внутрь по самую рукоятку; если удар удачен, то человеку не о чем больше беспокоиться: бык сразу останавливается, кровь почти не течет, голова его запрокидывается, ноги дрожат, и он живой тяжелой грудой валится на землю. В ту же минуту со скамей раздается оглушительное *виват*; все машут платками, махо швыряют свои шляпы на арену, а герой-победитель скромно посылает во все стороны воздушные поцелуи.

Говорят, что в прежнее время никогда не делалось больше одной эстокады, но все на свете приходит в упадок, и в наши дни бык в редких случаях падает от первого удара. Если рана его производит впечатление смертельной, матадор воздерживается от новой атаки; с помощью чуло он заставляет быка делать круговые движения и поддразнивающими взмахами плаща доводит его до изнеможения. Когда бык падает, один из чуло приканчивает его ударом кинжала прямо в затылок; животное моментально издыхает.

Почти каждый бык выбирает себе в цирке особый пункт, к которому он постоянно возвращается. Это место носит название *querencia* \*. Обычно таким местом бывает дверь, через которую они выходят на арену.

Очень часто приходится видеть, что бык уносит в своем загривке роковую шпагу, эфес которой торчит у него из плеча, и медленным шагом пересекает арену, не

---

\* Пристрастие, привязанность (исп.).

обращая внимания ни на чуло, ни на плащи своих преследователей. Он думает только о том, где бы удобнее умереть. Отыскав подходящее место, он опускается на колени, потом ложится, утыкается головой в землю и спокойно умирает, если только удар кинжала не ускоряет его конца.

Если бык не желает нападать, матадор сам устремляется на него и в тот самый момент, когда бык опускает голову, поражает его шпагой (*estocada de volapié*); если же бык не опускает голову или если он все время убегает, то приходится прибегнуть к одному весьма жестокому средству. Человек, вооруженный длинной жердью, оканчивающейся серпообразным клинком (*media luna*), предательски перерезает ему коленные связки, и когда бык валится, его добивают ударом кинжала. Это единственный эпизод боя, вызывающий у всех отвращение. Это своего рода убийство. По счастью, случаи, когда приходится прибегать к подобным средствам, довольно редки.

Фанфары возвещают смерть быка. Немедленно трое запряженных мулов крупной рысью въезжают в цирк; рога быка перевязывают веревкой, пропускают в середину крючок, и мулы галопом волочат его по земле. В две минуты трупы лошадей и быка исчезают с арены.

Каждая схватка длится около двадцати минут, а во время представления обычно убивают восемь быков. В том случае, когда оно оказывается посредственным, президент боя по желанию публики дает согласие на одну-две добавочные схватки.

Как видите, ремесло тореро довольно опасное. В Испании умирает два-три тореро в год. Очень немногие доживают до старости. Если они не умирают на арене, последствия ран заставляют их скоро отказываться от продолжения карьеры. Знаменитый Пёпе Ильо за всю свою жизнь получил двадцать шесть ударов рогами; от последнего он погиб. Не один высокий заработок побуждает тореро избирать эту опасную профессию. Рукоплескания и слава заставляют их пренебрегать смертью. Как приятно одерживать победы на глазах пяти или шести тысяч зрителей! Вот почему нередко можно наблюдать, что любители из хороших семейств делят опасность и славу вместе с профессиональными тореро. Я видел в Се-

виле, как один маркиз и один граф выступали на публичной корриде в качестве пикадоров.

Надо сказать, что публика не выказывает по отношению к тореро никакого снисхождения. Малейшее проявление робости карается гиканьем и свистками. Самые грубые ругательства сыплются тогда отовсюду; иногда по настоянию публики — а это самое жестокое проявление ее возмущения — к тореро приближается альгуасил и, угрожая ему тюрьмой, требует немедленно выступить против быка.

Однажды актер Майкес, возмущенный видом матадора, стоявшего в нерешительности перед одним из самых «темных» быков, ругательски ругал его. «Сеньор Майкес! — ответил ему матадор. — Примите во внимание, что в нашем деле никогда не бывает надувательства, как у вас на сцене».

Жажда рукоплесканий, желание создать себе репутацию либо сохранить приобретенную славу вынуждают тореро всячески увеличивать опасности, которым они, естественно, себя подвергают. Пепе Ильо, а вслед за ним и Ромеро выходили к быку, имея на ногах кандалы. Хладнокровие этих людей в минуты самой грозной опасности заключает в себе нечто сверхъестественное. Недавно один пикадор по имени Франсиско Севилья был опрокинут после того, как лошади его распорол брюхо андалусский бык совершенно чудовищной силы и ловкости. Вместо того, чтобы поддаться на отвлекающие маневры чуло, бык устремился на человека, стал топтать его копытами и частыми ударами рогов бить его по ногам; заметив, однако, что они отлично защищены кожаными, подбитыми железом штанами, он повернулся и, наклонив голову, решил пронзить ему рогами грудь. Приподнявшись отчаянным усилием, Севилья ухватил одной рукой быка за ухо, запустил другую ему в ноздри и подсунул свою голову под морду разъяренного зверя. Напрасно бык его встряхивал, давил ногами, бил о землю; он ничего не мог поделать с такой хваткой. Мы с замешательством сердца следили за неравной борьбой. Это была, собственно, агония смельчака, и было как-то жалко, что она так затягивается; никто не мог ни крикнуть, ни вздохнуть, ни отвести глаз от этого ужасного зрелища, длившегося почти две минуты. В конце концов бык, по-



бежденный человеком в единоборстве, покинул его и погнался за чуло. Все ожидали, что Севилья будет на руках унесен с арены. Его подняли, но стоило ему подняться, и он сейчас же схватил плащ и стал подзывать быка, не думая ни об огромных сапогах, ни о громоздкой броне, защищавшей ноги. Плащ пришлось отнять у него насильно, а иначе он пошел бы на верную смерть. Ему подводят лошадь; он вскакивает на нее и бешено атакует быка посередине цирка. Доблестные противники сшибаются с такой страшной силой, что лошадь и бык падают на колени. Если бы вы могли слышать крики *виват*, видеть бурную радость и опьянение толпы при виде такой храбрости и такой удачи, вы позавидовали бы вместе со мной участи Севильи! Этот человек стал для Мадрида бессмертным.

Июнь 1842.

Р. С. Увы! Какую грустную новость мне только что сообщили! Франсиско Севилья в прошлом году скончался. Он умер, и не в цирке, где ему подобало бы погибнуть, а от болезни печени. Он умер в Караванчеле, вблизи чудесных деревьев, которые я так люблю, и вдали от публики, ради которой он столько раз рисковал жизнью.

В последний раз я видел его в Мадриде в 1840 году, полным отваги и безрассудства, как и в те дни, когда я писал прочитанное Вами письмо. Не менее двадцати раз я видел, как он, лежа под лошадью, у которой было распорото брюхо, валился на землю; я видел, как он ломал копья, меряясь силами со страшными быками Гавиры. «Если бы у Франсиско были рога,—говаривали в цирке,—ни один тореро не отважился бы с ним потягаться». Привычка к победам вдохновляла его на неслыханную смелость. Когда он выезжал на быка, он приходил в негодование от того, что животное не чувствует к нему страха. «Ты меня, значит, не знаешь?» — в бешенстве кричал пикадор. И, разумеется, он очень скоро показывал быкам, с кем они имели дело.

Однажды друзья доставили мне удовольствие отобедать в обществе Севильи; он ел и пил, как гомеровский герой, и оказался одним из самых веселых сотрапезников, каких мне доводилось встречать. Андалусские



ухватки, жизнерадостный нрав, южный говор, яркая метафоричность речи — все это приобретало необыкновенную прелесть у этого колосса, созданного природой, казалось, для того, чтобы сокрушать все и вся.

Одна испанская дама, бежавшая из Мадрида во время опустошений, производимых холерой, выехала в Барселону в дилижансе, в котором находился Севилья, направлявшийся в тот же самый город на корриду, объявленную за много дней до срока. В пути вежливость, галантность и предупредительность Севильи не ослабевали ни на минуту. У самой Барселоны санитарный кордон — безмозглый, как это всегда бывает, — оповестил путников, что им придется провести десять дней в карантине; исключение делалось для одного Севильи, столь желанного гостя, что к нему нельзя было применить санитарные законы. Но благородный пикадор отклонил оказанное ему предпочтение, столь для него выгодное: «Если даме и другим моим спутникам не дадут пропуска, я не буду у вас колоть».

Между страхом перед заразой и опасением пропустить блестящую корриду не могло быть места для колебаний. Кордон пошел на попятный, и отлично сделал, так как в случае упорства народ, наверное, поджег бы лазарет и служащих карантина.

Воздав дань похвал и сожалений праху Севильи, я должен поговорить еще об одной знаменитости, неограниченно господствующей теперь на арене. Французы так плохо осведомлены о жизни Испании, что по ту сторону Пиренеев, несомненно, найдутся люди, до сих пор не знающие имени Монтеса.

Все истинное и вымышленное, что было разглашено славой о таких классических матадорах, как Пепе Ильо и Пабло Ромеро, Монтес каждый понедельник демонстрирует на арене *национального*, как теперь выражаются, цирка. В нем соединяется все: отвага, изящество, хладнокровие и поразительная ловкость. Его присутствие воодушевляет весь цирк, увлекает и участников и зрителей. Плохих быков при нем не бывает, не бывает и трусливых чуло: каждый старается превзойти себя. Профессионалы сомнительной храбрости превращаются в героев, когда ими руководит Монтес: все они отлично знают, что при нем никто ничем не рискует. Одного его

движения достаточно, чтобы отвлечь в сторону разъяренного быка в ту самую минуту, когда тот собирается пронзить опрокинутого пикадора. *Media luna* ни разу еще не появлялась на аренах, где подвизался Монтес. Все быки — и «ясные» и «темные» — для него одинаково хороши: он их околдовывает, преображает и убивает, как и когда он хочет. Это первый из всех виденных мною тореро, который умеет *gallear el toro*, то есть становиться спиной к рассвирепевшему животному, а затем пропускать его под рукой. Он снисходит только до легкого поворота головы в то время, как бык на него бросается. Иной раз он перебрасывает плащ через плечо и, преследуемый быком по пятам, перебегает через арену; разъяренное животное гонится за ним и никак не может настигнуть, несмотря на то, что находится совсем близко от Монтеса и каждым ударом рогов задевает краешек его плаща. Уверенность, внушаемая Монтесом, так велика, что у зрителя пропадает всякое ощущение опасности, и он переживает одно только чувство восхищения.

Говорят, что Монтес питает очень мало симпатий к существующему режиму. Уверяют, что он был волонтером у роялистов и что он, в сущности, *sangrejo*, рак, иначе говоря, либерал. Хотя это и огорчает искренних патриотов, тем не менее и они не в силах устоять перед всеобщим восторгом. Я видел сам, как *descalzos* (санкюлоты) в неистовстве бросали ему свои шляпы и просили хотя бы одну минуту поносить их на голове: вот вам нравы шестнадцатого века. Брантом в одном месте пишет: «Я знавал немало молодых дворян, которые, прежде чем надеть шелковые чулки, просили своих дам и возлюбленных испробовать и носить их у них на глазах дней восемь или десять, а потом уже сами носили их с превеликим почтением и к великой радости для своего духа и тела».

Монтес производит впечатление человека благовоспитанного. Дом его поставлен на барскую ногу; он прекрасный семьянин; будущность его семьи обеспечена его талантом. Его светские манеры шокируют некоторых тореро, которые ему завидуют. Мне помнится, что он отказался обедать с нами в тот раз, когда мы пригласили Севилью. Севилья с обычной откровенностью высказал нам свое мнение о Монтесе: *Montes no fué realista, es buen*

*compañero, luciente matador, atiende a los picadores, pero es un... \**. Это значит, что вне цирка он ходит во фраке, никогда не бывает в тавернах и что манеры у него чересчур изысканные. Севилья—Марий тавромахии, Монтес—ее Цезарь.

## II

Валенсия, 15 ноября 1830.

Милостивый государь! После того как я описал Вам бой быков, мне остается только последовать неподражаемому правилу кукольного театра и от «сильного номера перейти к еще более сильному»: мне остается только рассказать Вам про казнь. Я недавно сам ее видел и готов поговорить о ней, если у Вас хватит храбрости меня читать.

Прежде всего я должен объяснить Вам, почему я присутствовал при казни. В чужой стране каждый из нас обязан все видеть, а потому всегда испытываешь опасение, что из-за минуты лени или отвращения пропустишь любопытную черту нравов. К тому же история несчастного повешенного заинтересовала меня: мне захотелось посмотреть на его лицо, наконец, мне было любопытно проверить силу своих нервов.

Вот история моего повешенного (я позабыл спросить, как его имя). Это крестьянин из окрестностей Валенсии, вызвавший к себе уважение и страх своим смелым и решительным нравом. Он был самым лихим парнем в деревне. Никто лучше его не танцевал, никто не кидал дальше свайку, никто не помнил больше старых романсов. Он совсем не был задирой, но все отлично знали, что из-за всякого пустяка у него легко зачесутся руки. Когда он с ружьем на плечах конвоировал путешественников, ни один бандит не отважился бы на нападение, даже если бы их чемоданы были набиты дублонами. На этого малого приятно было смотреть, когда он, накинув через плечо свою бархатную куртку, разваливался у до-

---

\* Монтес никогда не был роялистом, он отличный товарищ, блестящий матадор, всегда заботится о пикадорах, но он... (исп.).

роги и пыжился с видом собственного превосходства. Одним словом, он был *махо* в самом точном смысле этого слова. *Махо* — обозначает денди из низших классов общества и вместе с тем человека, болезненно щепетильного в вопросах чести.

У кастильцев существует нелестная для валенсийцев поговорка, поговорка, на мой взгляд, совершенно неправильная. Она гласит: «Мясо в Валенсии — трава, трава — как вода; мужчины у них бабы, а бабы — ерунда». Могу засвидетельствовать, что кухня в Валенсии отличная, женщины необыкновенно хорошенькие и такие белотелые, каких не сыскать ни в одной из всех остальных областей Испании, а что до местных мужчин, то их Вы скоро сами увидите.

Однажды происходил бой быков. Наш *махо* пожелал посмотреть на него, но в поясе у него не оказалось ни одного реала. Он рассчитывал, что знакомый роялист-волонтер, стоявший в тот день в карауле, его пропустит. Не тут-то было. Волонтер ни на йоту не отступил от приказа. *Махо* настаивал, волонтер упорствовал, завязалась перебранка. Под конец волонтер грубо толкнул его прикладом в живот. *Махо* отошел, но кто заметил, какая бледность разлилась по его лицу, с какой силой сжались у него кулаки и раздулись ноздри, какое у него было выражение глаз, те подумали, что, мол, быть беде.

Через две недели грубый волонтер был послан с отрядом преследовать группу контрабандистов. Он заночевал на уединенном постоялом дворе (*venta*). Ночью он услышал голос; кто-то крикнул ему: «Откройте, я от вашей жены». Волонтер вышел полуодетый. Едва только он открыл дверь, как рубашка его загорелась от выстрела, а в грудь попала дюжина пуль. Убийца скрылся. Кто бы мог это сделать? Никто не в состоянии был разгадать. Само собою разумеется, что не *махо*, потому что всегда найдется десяток богомольных и верноподданных роялистов, готовых поклясться именем своей святой и поцеловать палец в удостоверение того, что каждая у себя в деревне видела нашего героя в тот самый час и в ту минуту, когда было совершено преступление.

И *махо* стал показываться в народе с безоблачным челом и невозмутимой миной человека, только что покон-

чившего с докучной заботой. С таким видом в Париже вечером после дуэли показывается у Тортони человек, храбро раздробивший руку какому-нибудь нахалу. Заметьте при этом, что убийство в здешних краях является своего рода дуэлью для бедных, и к тому же дуэлью, куда посерьезнее нашей, ибо от нее погибают обычно двое, тогда как наши благовоспитанные люди сплошь и рядом только царапают, а не убивают друг друга.

Все шло хорошо до тех пор, пока один альгуасил не переусердствовал (по одной версии потому, что недавно поступил на службу, по другой — оттого, что был влюблен в женщину, отдавшую свое предпочтение *махо*) и не вздумал арестовать нашего симпатичного юношу.

Пока дело ограничивалось угрозами, его соперник только посмеивался, но когда альгуасил пожелал схватить его за шиворот, *махо* заставил его проглотить бычий язык. Таково местное выражение, обозначающее удар ножом. Допустимо ли, однако, чтобы в результате законной самозащиты открывалась вакансия на место альгуасила?

Альгуасилов в Испании глубоко уважают, почти так же, как в Англии констеблей. За оскорбление их людей вешают. Поэтому *махо* был арестован, посажен в тюрьму, предан суду и осужден после очень длинного процесса, так как судебное разбирательство здесь идет еще медленнее, чем у нас.

При наличии доброй воли Вы со мною согласитесь, что человек этот не заслужил подобной участи, что он просто сделался жертвой несчастного случая и что судьи с чистой совестью могли вернуть его обществу, украшением которого ему надлежало быть (так выражаются адвокаты). Но судьи никогда не руководствуются такого рода возвышенными поэтическими соображениями: они единогласно приговорили его к смертной казни.

Проходя однажды вечером по площади Рынка, я увидел работников, устанавливавших при свете факелов особым способом сколоченные сваи, напоминавшие собою букву П. Солдаты, окружавшие их кольцом, отгоняли любопытных. Дело заключалось в следующем. Виселица (речь идет именно о ней) сооружается по оброку, и работники, привлекаемые для этой цели, не имеют права отказываться, иначе они будут объявлены мятежниками.

В виде своеобразной компенсации власти стараются о том, чтобы выполнение этой обязанности, почитаемой в народе чуть ли не бесчестьем, происходило втайне. Поэтому их окружают солдатами, разгоняющими толпу, а самая работа производится ночью: таким образом, никто их не может узнать, и на следующий день они не рискуют удостоиться клички висельных плотников.

Тюрьмой в Валенсии служит старинная готическая башня довольно красивой архитектуры, особенно со стороны фасада, выходящего на реку. Она находится на окраине города и является одним из главных въездов в город. Называется она *Puerta de los Serranos*\*. С ее высокой площадки видны воды Гуадалавьяра, пять мостов, валенсийские бульвары и веселая равнина вокруг города. Смотреть на поля для человека, заключенного в четырех стенах,— довольно грустное удовольствие, но это все-таки удовольствие, и поэтому нельзя не поблагодарить тюремщика, разрешающего заключенным всходить на площадку. Для арестанта самая ничтожная утеха всегда представляет собой ценность.

Из этой самой тюрьмы должны были вывести осужденного и затем верхом на осле направить его по наиболее людным улицам города на площадь Рынка, где ему предстояло покинуть этот мир.

Ранним утром я уже находился у *Puerta de los Serranos* в обществе одного знакомого испанца, любезно согласившегося сопровождать меня. Я рассчитывал застать там большую толпу, собравшуюся спозаранку; я, однако, ошибся. Ремесленники спокойно работали в своих мастерских; крестьяне уезжали из города, распродав свои овощи. Только двенадцать драгун, выстроенных у входа в тюрьму, указывали на то, что сейчас должно произойти что-то особенное. Такое безразличие к зрелищу казни не следует, по моему мнению, объяснять чрезмерной чувствительностью валенсийцев. Я не склонен, однако, подобно моему gidу, предполагать, будто зрелища эти им надоели и не представляют для них никакого интереса. Возможно, что это равнодушие объясняется трудолюбием, свойственным местным уроженцам. Любовь к труду отличает их не только от всех осталь-

---

\* Ворота Горцев (исп.).

ных жителей Испании, но, пожалуй, и от всех вообще европейцев.

В одиннадцать часов двери тюрьмы открылись. В ту же минуту оттуда вышла довольно многочисленная процессия францисканцев. Впереди двигалось большое распятие, которое нес *кающийся* в сопровождении двух церковных служек, державших длинные палки, оканчивающиеся наверху фонарями.

Распятие из раскрашенного картона, в человеческий рост высотой, было выполнено с совершенно исключительным даром имитации. Испанцы, стремящиеся сделать религию устрашающей,—большие мастера в передаче ран, контузий и следов пыток, вынесенных мучениками. На распятие, которое должно было фигурировать при казни, не пожалели ни крови, ни сукровицы, ни синих опухолей. Это был самый отвратительный из всех когда-либо виденных мною анатомических препаратов. Человек, несший ужасное изображение, остановился перед воротами. Солдаты продвинулись немного ближе. Сотня любопытных расположилась сзади на таком расстоянии, чтобы можно было видеть и слышать все происходящее. В ту же минуту показался осужденный в сопровождении духовника.

Я никогда не забуду его лица. Он был очень высок и худощав, на вид лет тридцати. Высокий лоб, густые волосы, черные, как смоль, и прямые, как щетина на щетке. Большие, глубоко запавшие глаза, казалось, пылали. Он был бос и одет в длинное черное одеяние, на котором как раз против сердца был нашит красно-синий крест. Это знак, отличающий смертников. Ворот рубашки, весь в складочках, точно брыжи, спадал ему на плечи и грудь. Тонкий беловатый шнур, отчетливо выделявшийся на черной ткани одежды, опоясывал его тело затейливыми узлами, поддерживавшими его руки и ладони в положении, которое принимают на молитве. В руках он нес небольшое распятие и изображение пресвятой девы. Духовник был полный, низенький, упитанный, краснощекий и, видимо, добродушный человек, но он, должно быть, с давних пор занимался этим делом и видывал всякие виды.

За духовником следовало бледное существо, слабое и хрупкое, с мягким и робким выражением лица. Оно



было одето в коричневую блузу и короткие штаны с черными чулками. Я принял бы его за нотариуса или альгуасила на отдыхе, если бы на голове у него не было серой широкополой шляпы вроде тех, которые носят на бое быков пикадоры. При виде распятия он почтительно снял шляпу, и тут я заметил на ее тулье маленькую лестницу из слоновой кости, прикрепленную в виде кокарды. Это был палач.

Осужденный принужден был согнуться, чтобы пройти в калитку, затем он выпрямился во весь рост, необыкновенно широко раскрыл глаза, обвел быстрым взглядом толпу и глубоко вздохнул. Мне казалось, что он тянул в себя воздух с тем удовольствием, какое испытывает человек, долго сидевший в узком и душном подземелье. У него было странное выражение: совсем не страх, а какое-то беспокойство. Вид у него был покорный. Ни заносчивости, ни напускной храбрости. Я подумал, что при сходных обстоятельствах я был бы не прочь иметь такую же выправку.

Духовник велел ему опуститься перед распятием на колени: он повиновался и поцеловал стопы отвратительного изображения. Все присутствующие были растроганы и хранили глубокое молчание. Духовник заметил это и, подняв руки, чтобы высвободиться из широких рукавов, стеснявших его ораторские жесты, начал говорить речь, которую он произносил, очевидно, не в первый раз, произносил громко, подчеркнуто и вместе с тем монотонно, так как в ней регулярно повторялись одни и те же интонации. Он отчетливо и вполне правильно выговаривал каждое слово на отличном кастильском языке, который был, надо думать, очень мало понятен осужденному. Он начинал каждую фразу визгливым тоном, потом поднимался до фальцета, а кончал на густых и низких нотах.

В общем, он говорил осужденному, которого называл своим братом, следующее: «Вы заслужили свою смерть; присуждая вас к виселице, вам выказали даже снисхождение, ибо преступления ваши безмерны». Он сказал несколько слов о совершенных в свое время убийствах и долго толковал о том, что в юности казнимый стал безбожником и что безбожие и привело его к гибели. Затем, постепенно воодушевляясь, он продолжал: «Но что



такое эта заслуженная вами казнь, которую вы сейчас претерпите, по сравнению с неслыханными страданиями, перенесенными ради вас нашим божественным спасителем? Посмотрите на эту кровь, на эти раны...» и т. д. Следовало длинное перечисление крестных мук, описываемых с преувеличениями, свойственными испанскому языку, и разъясняемых на примере отвратительной статуи, о которой я уже упоминал. Конец речи был много удачнее начала. Здесь, хотя и слишком пространно, говорилось о том, что милосердие господа бесконечно и что искреннее раскаяние может обезоружить его гнев.

Осужденный поднялся с колен, довольно сурово взглянул на священника и сказал: «Отец! Достаточно было сказать, что я отправляюсь на небо. Пойдем!»

Духовник вернулся в тюрьму, весьма довольный своей проповедью. Два францисканца заступили его место возле осужденного; им надлежало покинуть его в самую последнюю минуту.

Сначала осужденного уложили на циновку, которую палач потянул к себе, но не сильно, точно по молчаливому уговору между ним и виновным. Это чистая формальность, создающая видимость исполнения буквы приговора, гласящего: «Удавить, провлачив сначала на вретище».

Покончив с этим, несчастного взгромоздили на осла, которого палач подвел на недоуздке. По бокам шагали францисканцы, а впереди двигались длинные ряды монахов этого ордена и мирян, состоящих членами братства *Desamparados* \*. Не были забыты ни хоругви, ни кресты. За ослом следовали нотариус и два альгуасила в черных фраках французского покроя, коротких штанах, шелковых чулках, при шпаге и верхом на дрянных лошаденках в очень скверной сбруе. Кавалерийский пикет замыкал шествие. В то время как процессия медленно подвигалась, монахи глухо пели литании, а какие-то люди в плащах обходили толпу и протягивали присутствующим серебряные подносы, собирая милостыню для горемыки (*por el pobre*). Деньги идут на мессы за упокой души; каждому доброму католику, отправляющемуся на

---

\* Беззащитные (исп.).

виселицу, должно быть отрадно видеть, что подносы сравнительно быстро наполняются крупными монетами. Подают все. Несмотря на все свое безбожие, я положил лепту с самым почтительным чувством.

Сказать по правде, я люблю католические церемонии и очень хотел бы в них верить. В такого рода обстановке они имеют то преимущество, что действуют на толпу гораздо сильнее, чем наша тележка, жандармы и невзрачное, омерзительное шествие, сопровождающее во Франции каждую казнь. А кроме того (и за это я особенно люблю кресты и процессии), они лучше всего помогают скрасить последние минуты осужденного. Начать с того, что похоронная пышность льстит человеческому тщеславию — чувству, покидающему нас позже всех остальных. А затем, с детства почитаемые, молящиеся за него монахи, песнопения, голоса людей, собирающих на мессы, — все это должно его оглушать, отвлекать, не позволять думать об ожидающей его участи. Стоит ему повернуть голову направо — и францисканец твердит ему о бесконечном милосердии божием. Слева другой францисканец каждую минуту готов превозносить мощное предстательство св. Франциска. Он идет на казнь, как рекрут среди двух офицеров, которые наблюдают и уговаривают. «Но у него не остается ни одной минуты покоя!» — воскликнет философ. Тем лучше. Непрерывно поддерживаемое возбуждение мешает ему отдаться своим мыслям, которые измучили бы его гораздо сильнее.

Только тут я понял, почему монахи — и как раз те, что принадлежат к орденам нищенствующих, — оказывают такое влияние на простолюдинов. Да простят мне наши нетерпимые либералы, но монахи эти являются утешением и опорой несчастных от самой их колыбели и до смерти. Что же может быть ужаснее подобной каторги: в течение трех дней подряд беседовать с человеком, посылаемым на смерть! Думаю, что если бы мне грозило повешение, я ничего не имел бы против двух францисканцев для собеседования.

Маршрут, по которому следовала процессия, был довольно извилистый, так как нужно было выбирать самые широкие улицы.

Я пошел со своим провожатым по более короткой

дороге с тем расчетом, чтобы еще раз выйти навстречу осужденному.

Я заметил, что в промежуток времени между выходом из тюрьмы и появлением на той улице, где я его снова увидел, несчастный сгорбился. Он мало-помалу сдавал: голова его упала на грудь и держалась как будто только на коже шеи. И тем не менее я не обнаружил на его лице испуганного выражения. Он, не отрываясь, смотрел на образок, бывший у него в руках. А когда бедняга отводил глаза, он глядел на двух францисканцев и слушал их с видимым интересом.

Мне следовало бы тогда же ретироваться, но меня стали упрашивать пройти на главную площадь и подняться к какому-то торговцу, где я мог посмотреть на казнь с высоты балкона или уклониться при желании от зрелища и отступить в глубину комнаты. Я согласился.

Никакой давки на площади не было. Торговки фруктами и зеленью не покинули своих мест. Всюду можно было свободно пройти. Виселица, украшенная гербом Арагона, стояла напротив изящного здания мавританского стиля, напротив Шелковой биржи (*La Lonja de Seda*). Рыночная площадь здесь большая. Вокруг стоят узкие, но высокие дома, на каждом этаже железные балконы. Издали их можно принять за большие клетки. Значительное число балконов осталось совсем без зрителей. На том балконе, где у меня было место, я застал двух молоденьких девушек лет шестнадцати — восемнадцати, удобно расположившихся на стульях и с самым непринужденным видом обмахивавшихся веером. Обе они были прехорошенькие, а по их опрятным платьям из черного шелка, по атласным туфлям и мантильям, украшенным кружевами, я заключил, что это дочери какого-нибудь зажиточного буржуа. Догадка моя вполне подтвердилась, так как девушки, беседовавшие на валенсийском диалекте, понимали и вполне правильно говорили по-испански. На одной стороне площади была воздвигнута часовня. Эта часовня и виселица, стоявшая поблизости, были оцеплены большим каре, составленным из роялистов-волонтеров и строевых частей.

После того как солдаты перестроились, пропуская процессию, осужденного сняли с осла и подвели к часовне, о которой я только что упомянул. Тем временем палач

осмотрел веревку и лестницу, а по окончании осмотра подошел к осужденному, все еще распростертому на земле, положил ему руку на плечо и сказал по обычаю: «Брат! Пора!»

Все монахи, кроме одного, отошли в сторону, и палач, надо думать, завладел жертвой. Подводя ее к лестнице (вернее, к деревянным сходням), он старался держать перед глазами несчастного свою широкую шляпу и тем самым закрыть от него виселицу, но осужденный стал отталкивать шляпу головой, желая показать, что он достаточно храбр для того, чтобы смотреть на орудие собственной казни.

Часы начали отбивать полдень в то время, как палач поднимался по сходням, волоча за собой человека, подвигавшегося с трудом, так как он был обращен к ним спиной. Сходни были широкие, перила были устроены только с одного края. Монах шел ближе к перилам, а палач и его жертва — с другой стороны. Монах не переставая говорил и все время жестикулировал. Когда они добрались до площадки и палач с необычайным проворством набросил петлю на шею осужденного, мне сказали, что монах велел ему читать «Верую». Потом он вынул голос и крикнул: «Братья! Присоедините ваши моления к молитве бедного грешника». Я услышал, как нежный голос взволнованно произнес рядом со мною: «Аминь». Я повернул голову и увидел, что это слово произнесла одна из хорошеньких валенсиек, щеки у нее покраснелись, она стремительно обмахивалась веером. Она внимательно смотрела в сторону виселицы. Я повернул глаза туда же: монах спускался по сходням, осужденный висел в воздухе, на плечах у него был палач, а его прислужник тянул жертву за ноги.

Р. С. Не знаю, простит ли Ваш патриотизм мое пристрастие к Испании. Раз уж мы с Вами заговорили о казнях, я скажу еще, что не только предпочитаю испанские казни нашим, но предпочитаю равным образом их каторгу той, на которую мы ссылаем ежегодно около полутора тысяч мошенников. Само собою разумеется, я не говорю о каторге в Африке, которой я не видел. Зато в Толедо, Севилье, Гранаде и Кадисе я видел множество *presidarios* (каторжников), которые не показались мне бесконечно несчастными. Они были заняты прокладкой

и починкой дорог. Одежда на них очень скверная, но на их лицах не замечалось того мрачного отчаяния, какое бывает у наших каторжных. Они ели из больших котлов свой *pucho* (похлебка), почти такой же, как у охраняющих их солдат, и покуривали в тени сигары. Особенно мне понравилось, что народ не сторонится их, как у нас во Франции. Объясняется это очень просто: во Франции человек, ссылаемый на каторгу,—вор, а иногда и того хуже; в Испании дело обстоит иначе: там в самые разные эпохи глубоко порядочных людей осуждали на каторгу за то, что убеждения их не совпадали с убеждениями правителей; хотя число политических жертв крайне незначительно, все же оно оказалось достаточным для того, чтобы переменить взгляды общества на ссыльных. Гораздо лучше вежливо обойтись с мошенником, чем оскорбить приличного человека. Вот почему все им дают огня, чтобы прикурить сигару, и называют их «мой друг» или «товарищ». Даже стража ничем не показывает, что они для нее люди другой породы.

Если это письмо не показалось Вам чудовищно длинным, я расскажу Вам еще про одну мою недавнюю встречу, которая даст Вам представление о том, как народ обращается с каторжниками.

Выехав из Гранады в Байлен, я увидел по дороге высокого малого в веревочных сандалиях, подвигавшегося вперед хорошим военным шагом. Следом за ним бежал небольшой пудель. Одежда на прохожем была особенная, непохожая на платье встречавшихся мне крестьян. Несмотря на то, что лошадь ехала рысью, он без всякого труда поспевал за мной и вступил со мной в разговор. Вскоре мы с ним подружились. Проводник мой говорил ему «сударь», «ваша милость» (*Usted*). Они беседовали об одном господине из Гранады, коменданте на местной каторге, которого оба знали. Когда наступило время завтракать, мы остановились у домика, и нам отпустили вина. Человек с собачкой вытащил из сумки кусок соленой трески и предложил мне. Я попросил его присоединить свои запасы к нашему завтраку, и мы с аппетитом закусили втроем. Должен вам сказать, что все мы пили из одной бутылки, так как стакана нельзя было сыскать на целую милю в окружности. Я спросил, зачем он стесняет

себя, путешествуя с таким маленьким щенком. Он ответил, что путешествие его связано с этой собачкой, так как комендант отправил его в Хаэн, чтобы передать животное одному своему знакомому. Не видя на нем формы и слыша, что он упоминает о коменданте, я осведомился, не стражник ли он.

— Нет, я ссыльный.

Я был слегка озадачен.

— Как же вы не заметили, какое на нем платье? — воскликнул мой проводник.

Вообще мой гид, честный погонщик мулов, ни разу не нарушил правил вежливости. Он подавал бутылку сначала мне, так как я был барин, потом протягивал ее ссыльному и только под конец пил сам; он обращался к нашему спутнику с той изысканной учтивостью, какую испанские простолюдины соблюдают по отношению друг к другу.

— За что же вы попали в ссылку? — спросил я своего попутчика.

— Ах, сударь, случилась беда! Я оказался причастным к расстрелам (*Fué por una desgracia! Me hallé en unas muertes*).

— Как так?

— Вот как это случилось. Я был стражником. Я и человек двадцать моих товарищей конвоировали партию ссыльных из Валенсии. По дороге друзья ссыльных вздумали было их отбить, и каторжники взбунтовались. Наш начальник был в большом замешательстве. В случае освобождения ссыльных на него падала ответственность за все беспорядки, которые они могли учинить. Он принял наконец решение и скомандовал: «Открыть огонь по пленным». Мы выстрелили, убили пятнадцать человек, а затем отогнали их товарищей. Все это происходило во время нашей пресловутой конституции. Когда французы снова вернулись и отняли ее, против нас, стражников, был начат процесс, так как в числе убитых оказалось несколько видных роялистов, сосланных в свое время конституционалистами. Нашего начальника уже не было в живых, а потому принялись за нас. Мой срок уже на исходе, а так как комендант доверяет мне за хорошее поведение, он и послал меня в Хаэн

вручить это письмо и щенка коменданту тамошней каторги.

Мой проводник был роялист, а ссыльный был сторонником конституции, тем не менее они сохраняли самые добрые отношения. Когда мы снова пустились в путь, пудель до того ослабел, что ссыльный был вынужден завернуть его в куртку и положить себе на спину. Рассказы этого человека меня очень занимали. Сигары, которыми я его угощал, и завтрак, который мы с ним поделили, до такой степени расположили его в мою пользу, что он пожелал проводить меня до Байлена.

— Дорога здесь беспокойная, — сообщил он мне, — в Хаэне я возьму ружье у знакомого, и, повстречай мы с вами даже шайку разбойников, они не отнимут у вас и носового платка.

— Но если вы не вернетесь вовремя к коменданту, — возражал я, — вам могут накинуть срок и продлить его, пожалуй, на год!

— Ну, это пустое! Напишите мне, однако, бумажку, удостоверяющую, что я вас действительно сопровождал. Иначе я не буду спокоен, отпустив вас одного по такой дороге.

Я, несомненно, согласился бы на проводы, если бы он не поссорился с моим проводником. Вот как это вышло.

Пройдя следом за нашими лошадьми около восьми испанских миль, несмотря на то, что кони шли рысью все время, пока позволяла дорога, он вдруг заявил, что не отстанет от нас и в том случае, если мы поедem галопом. Проводник стал над ним подтрунивать. Лошади наши были совсем не клячи. У нас оставалось еще с четверть мили гладкой дороги, а у ссыльного была на спине собака. Заключили пари. Мы поскакали, но у этого нечистого духа ноги оказались, как у настоящего стражника, и лошади наши не смогли его обогнать. Самолюбивый проводник не нашел в себе сил простить ссыльному такого рода конфуз. Он перестал с ним разговаривать. Когда мы доехали до Кампильо де Арена, проводник повел себя так, что ссыльный, со свойственной испанцу тактичностью, почувствовал себя лишним и удалился.

Мадрид, ноябрь 1830.

Милостивый государь! Я снова вернулся в Мадрид после того, как в течение нескольких месяцев колесил во всех направлениях по Андалусии, этой классической стране бандитов, и не встретил нигде ни одного! Мне даже стыдно. Я приготовился к нападению бандитов, имея, однако, в виду не оборону, а беседу и вежливые расспросы об их образе жизни. Посматривая на свой костюм с продранными локтями и на свой мизерный багаж, я жалею о том, что разминулся с этими господами. За удовольствие повидать их стоило бы пожертвовать легоньким портпледом.

Но хотя я и не видел бандитов, зато я не слышал других разговоров, как только о них. На каждой остановке для перемены мулов возчики и трактирщики засыпают вас жалостными рассказами об убитых путешественниках и похищенных женщинах. Событие, о котором вам рассказывают, неизменно происходит накануне и как раз на том участке дороги, через который вам нужно проехать. Путник, совсем еще незнакомый с Испанией и не успевший поэтому запасться неподражаемым равнодушием кастильца, *la flemma castellana*, невзирая на всяческий скептицизм, невольно поддается настроению такого рода рассказов. День здесь кончается куда быстрее, чем у нас, в нашем северном климате; сумерки длятся мгновение, а потом — особенно неподалеку от гор — поднимается ветер, который, несомненно, показался бы жарким в Париже, но тут по сравнению с палящей жарой производит впечатление холодного и неприятного. В то время как вы кутаетесь в свой плащ и надвигаете на глаза дорожную шапку, вы замечаете, что эскортирующая вас охрана высыпает из ружей порох. В удивлении вы спрашиваете, что означает подобный маневр, а смельчаки, сопровождающие вас, отвечают с высоты империяла, куда они забираются, что хотя они храбрее храброго, но тем не менее не в силах тягаться с целой шайкой разбойников. В случае нападения мы можем ожидать пощады, только если мы докажем, что у нас не было и мысли о самообороне.

— К чему же тогда связываться с этими людьми и их никчемными ружьями?



— О, они незаменимы в схватках с *rateros*, иначе говоря, с разбойниками-любителями, грабящими путешественников только тогда, когда к тому представляется случай; эти обычно нападают вдвоем или втроем.

Путник начинает раскаиваться, что захватил с собой так много денег. Он смотрит, который час у него на брегете, и думает, что видит свои часы в последний раз. Как приятно было бы знать, что они спокойно висят у него на камине в Париже! Он спрашивает у *mayoral* (кондуктора), не снимают ли разбойники с пассажиров вещи.

— Иной раз снимают, сударь. В прошлом месяце севильский дилижанс остановили возле Карлогы, и все пассажиры прибыли в Эсиху, можно сказать, ангелочками.

— Ангелочками? Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, что бандиты сняли с них решительно все, не оставив даже рубахи на теле.

— Черт побери! — восклицает путешественник, застегивая сюртук.

Но он слегка оправляется и даже посмеивается, заметив, что его спутница, молодая андалуска, благоговейно целует себе большой палец и шепчет: *Jesùs, Jesùs!*\* (Известно, что люди, осенившие себя крестным знаменем и поцеловавшие свой большой палец, неизменно выходят сухими из воды.)

Наступила ночь. По счастью, на безоблачном небе встает яркая луна. Вдали уже обозначается вход в отвратительное ущелье длиною по меньшей мере в полумиллю.

— Кондуктор! Это и есть то самое место, где когда-то остановили дилижанс?

— Да, сударь, и убили при этом пассажира. Эй, кучер! — кричит кондуктор. — Не хлопай больше бичом, а не то ты их сюда приманишь.

— Кого? — спрашивает пассажир.

— Разбойников, — отвечает кондуктор.

— Черт подери! — восклицает путник.

— Сударь! Глядите туда: вон там, на повороте доро-

---

\* Иисусе, Иисусе! (Исп.)

ги... как будто люди?.. Они прячутся под этой высокой скалой.

— Да, сударыня! Один, два, три, шесть наездников.

— Ой, Иисусе!.. (Следует крестное знамение и целование большого пальца.)

— Кондуктор! Вы видите, что там?

— Вижу.

— Один из них держит длинную палку; может быть, это ружье?

— Это ружье.

— Как вам кажется, это честные люди (*buena gente*)? — тревожно спрашивает молоденькая андалуска.

— Кто их знает! — отвечает кондуктор, пожав плечами и опустив углы губ.

— Если так... Господи, прости нас грешных! — И она прячет свое лицо в жилет вдвойне взволнованного путника.

Экипаж летит, как ветер: восьмерка здоровенных мулов несется крупной рысью. Всадники останавливаются: они выстраиваются в линию для того, чтобы перегородить дорогу. Нет, они расступаются; трое сворачивают влево, трое — вправо: очевидно, они собираются окружить экипаж со всех сторон.

— Возница! Остановите мулов, если встречные этого потребуют; не подставляйте нас под ружейный залп.

— Не беспокойтесь, господа; я заинтересован в этом не менее вашего.

Экипаж подъезжает так близко, что уже можно рассмотреть большие шляпы, турецкие седла и белые кожаные гетры шестерых всадников. Если бы можно было видеть лица, воображаю, какие глаза, какие бороды и шрамы представились бы нашим взорам. Сомнения быть не может: это разбойники, и у них ружья.

Первый разбойник подносит руку к полям своей шляпы и произносит густым и мягким голосом: *Vayan Uds. con Dios!* (С богом!). Этим приветствием обычно обмениваются путники в дороге.

— *Vayan Uds. con Dios!* — говорят в свой черед остальные всадники, вежливо сторонясь и пропуская вперед экипаж: это честные фермеры, задержавшиеся на рынке в Эсихе и теперь возвращающиеся вместе домой,

с оружием в руках, под влиянием всеобщего страха перед разбойниками!

После нескольких встреч в таком же роде люди перестают верить в бандитов. Мало-помалу вы так привыкаете к свирепым лицам крестьян, что настоящие бандиты показались бы вам просто честными земледельцами, довольно долго не брившими бороды. Один молодой англичанин, с которым я подружился в Гранаде, долгое время вполне безнаказанно ездил по самым сомнительным дорогам Испании; в конце концов он начал упорно отрицать самое существование бандитов. Однажды он был остановлен двумя подозрительными субъектами с ружьями в руках. Он в ту же минуту решил, что перед ним подвыпившие крестьяне, пожелавшие в шутку его напугать. На все требования отдать им деньги он отвечал только смехом и заявлениями, что они его не проведут. Для того чтобы вывести его из заблуждения, один из разбойников вынужден был огреть его по голове прикладом; шрам от этого удара он показывал мне еще три месяца спустя.

Испанские разбойники убивают путешественников в редких случаях. Сплошь и рядом они довольствуются тем, что отбирают у них деньги, не открывая чемоданов и не производя обыска. Но полагаться на это не следует. Однажды юный мадридский щеголь ехал в Кадис с двумя дюжинами великолепных рубашек, выписанных из Лондона. Бандиты задержали его около Каролины, и, после того как у него были отобраны все унции, лежавшие в кошельке, а равно перстни, цепочки и любовные сувениры, которых не могло не быть у этого кумира дам, главарь шайки вежливо заметил, что белье его банды, обязанной держаться в отдалении от обитаемых мест, давно уже нуждается в стирке. Рубахи были развернуты, расхвалены, а затем атаман со словами из *Сицилийца*: «Рыцарь с рыцарем может позволить себе подобную вольность» — сунул несколько штук в свою суму, сбросил черные лохмотья, пробывшие на нем месяца полтора, и с удовольствием облачился в великолепное батистовое белье пленного юноши. Все остальные разбойники поступили точно так же; в результате несчастный путешественник в одну минуту лишился своего гардероба, а вместо этого получил кучу тряпья, коснуться которого он не

посмел даже кончиком трости. Кроме того, ему пришлось выслушать шутки бандитов. Атаман насмешливо-серьезным тоном, которым превосходно владеют андалусцы, сказал ему на прощанье, что он никогда не забудет оказанной ему услуги и при первой встрече постарается возвратить столь любезно предоставленные рубашки и взять обратно свои.

— А главное,— добавил он,— не забудьте отдать выстирать рубашки этих сеньоров. Мы заберем их, когда вы поедете обратно в Мадрид.

Молодой человек, рассказавший мне про грабеж, жертвой которого он сделался, уверял, что он охотнее простил разбойникам похищение рубашек, чем эти мерзкие шутки.

В разное время испанское правительство серьезно принималось за очистку больших дорог от воров, которые испокон веков по ним безвозбранно разгуливают. Усилия эти никогда не приводили к окончательным результатам. Стоило уничтожить одну шайку, как сейчас же образовывалась другая. Иному генерал-губернатору после долгих хлопот удавалось изгнать всех разбойников своего округа, но тогда они наводняли соседние области.

Природа этой страны, гористой и не имеющей хороших проезжих дорог, чрезвычайно затрудняет полное искоренение разбоя. В Испании, как и в Вандее, существует огромное число уединенно расположенных хуторов (*aldeas*), лежащих в нескольких милях от обитаемых местностей. Расставив гарнизон во всех этих хуторах и поселках, власть очень скоро вынудила бы разбойников пойти на капитуляцию или умереть от голода; но где взять столько денег и столько солдат?

Хуторяне, само собою разумеется, заинтересованы в том, чтобы поддерживать хорошие отношения с бандитами, месть которых бывает ужасна. Эти последние, со своей стороны, зависят от хуторян в вопросах снабжения, ухаживают за ними, крупно платят за всякого рода поставки, а иногда выделяют им долю из награбленного.

Необходимо еще отметить, что профессия разбойника сплошь и рядом не расценивается еще как бесчестная. Грабеж на больших дорогах в глазах очень и очень мно-

гих является актом оппозиции, протестом против тиранических законов. А потому человек, у которого нет ничего, кроме ружья, и который достаточно смел, чтобы бросить вызов правительству, является своего рода героем, почитаемым мужчинами и обожаемым женщинами. И поистине есть нечто горделивое в том, чтобы провозгласить, подобно герою старинного романа:

*A todos los desafio,  
Pues a nadie tengo miedo! \**

Будущий бандит обычно начинает с контрабанды. Его торговлю стесняет пограничная стража. Для девяти десятых населения тот факт, что люди придираются к приличному малому, по сходной цене продающему сигары много лучше казенных, поставляющему женщинам шелка, английские товары и сплетни со всей десятимильной округи, является вопиющей несправедливостью.

Стоит стражнику убить или отобрать у него лошадь — и контрабандист разорен; к тому же у него появляется основание для мести: он делается бандитом. Однажды кто-то спросил, что случилось с одним бравым молодцом, бывавшим у всех на виду за последние месяцы и считавшимся первым человеком в этих местах.

— Увы! — ответила какая-то женщина. — Его заставили скрыться в горы. Он ни в чем не был виноват, бедняжка. И такой всегда милый! Храни его господь!

Иные честные души возлагают на правительство ответственность за все беспорядки, учиняемые бандитами: «Это оно, — говорят они, — толкает на крайности всех горемык, которые хотят спокойно жить и заниматься своим делом».

Прототипом испанского разбойника, идеалом героя проезжих дорог, Робин Гудом или Роке Гинартом нашего времени, является знаменитый Хосе Мария по прозвищу *el Tempranito*, Утренний. Это человек, о котором говорят все от Мадрида до Севильи и от Севильи до Малаги. Красивый, отважный, вежливый (постольку, поскольку ему позволяет его разбойничье ремесло), — вот каков этот Хосе Мария! Когда он останавливает дили-

---

\* Я всем бросаю вызов,  
Ибо никого не боюсь! (исп.).

жанс, он подает дамам руку, помогая выйти, и заботится о том, чтобы им было удобно сидеть в тени, так как нападения его происходят главным образом в дневное время. Ни одного ругательства, ни одного грубого слова; напротив, довольно-таки почтительное обращение и природная вежливость, которая ему никогда не изменяет. Снимая кольцо с руки женщины, он говорит: «Сеньора! Такая красивая ручка не нуждается в украшениях». И в то время как кольцо уже скользит с ее пальца, он (по выражению одной испанской дамы) целует руку с таким видом, будто поцелуй для него дороже перстня. Кольцо он снимал точно по рассеянности, а поцелуй затягивал возможно дольше. Уверяют, что он всегда оставлял путешественникам деньги на проезд до ближайшего города и никогда никому не отказывал в разрешении сохранить драгоценность, дорогую по связанным с нею воспоминаниям.

Мне описывали внешность Хосе Марии. Это высокий молодой человек, лет двадцати пяти — тридцати, хорошо сложенный, с веселым, открытым лицом, с зубами, как жемчуг, и необыкновенно выразительными глазами. Обычно он одет в костюм махо, стоящий очень больших денег. Белье у него самой ослепительной белизны, а руки сделали бы честь парижскому или лондонскому денди.

Он бродит по большим дорогам каких-нибудь пять-шесть лет. Родители предназначали его к церковной карьере, так что он изучал теологию в Гранадском университете; но, как видно, это не было его призванием, потому что однажды ночью он пробрался к благородной девице. Конечно, любовь может оправдать очень многое, но тут было замешано насилие, нанесение раны слуге... мне так и не удалось выяснить всю эту историю. Отец девушки поднял большой шум; начался уголовный процесс. Хосе Мария был принужден бежать и скрылся в Гибралтаре. Там вследствие недостатка денег он заключил договор с английским купцом, обязуясь распродать контрабандным путем большую партию запрещенных товаров. Один знакомый, с которым он поделился своим планом, донес на него. Пограничная стража узнала дорогу, по которой он поедет, и устроила засаду. Мулы, которыми он управлял, были захвачены, но он

отдал их после жестокой схватки и убил или ранил нескольких стражников. С тех пор у него остался один выход: обирать проезжих.

Необыкновенное счастье сопровождало его вплоть до сегодняшнего дня. Голова его оценена, его приметы и обещание уплатить восемь тысяч реалов всякому (будь то даже соучастник), кто доставит его живым или мертвым \*, вывешены у ворот каждого города. И тем не менее Хосе Мария безнаказанно продолжает свое опасное ремесло и разъезжает от границ Португалии вплоть до округа города Мурсии.

Его шайка невелика, но составлена из людей, верность и решительность которых испытывались годами. Однажды он во главе десятка отборных молодцов захватил врасплох на Гасинском подворье семьдесят волонтеров-роялистов, посланных по его следам, и всех их обезоружил. Говорят, что после этого он медленным шагом двинулся в горы, гоня перед собой двух мулов, тащивших семьдесят карабинов, захваченных в виде трофея.

Об его искусстве стрелять из ружья рассказывают чудеса. Сидя на лошади, пущенной галопом, он попадает в ствол оливкового дерева на расстоянии в сто пятьдесят шагов. Один пример даст Вам представление о его великодушии и ловкости.

Капитан Кастро, храбрый и энергичный офицер, преследующий разбойников по соображениям личной чести и во исполнение своего военного долга, узнал через кого-то из шпионов, что Хосе Мария в заранее определенный день заедет на уединенный хутор, где у него была любовница. По наступлении срока Кастро сел на коня и, не желая возбуждать подозрения большим количеством спутников, ограничился всего лишь четырьмя уланами. Несмотря на все предосторожности, которые он принял для отвода глаз, Хосе Марию все-таки успели предупредить. В то время как Кастро, миновав глубокое ущелье, стал выезжать на равнину, где находился хутор любовницы бандита, двенадцать всадников на хороших

---

\* Когда я жил в Севилье, какой-то человек заметил однажды утром, что на Трианских воротах под объявлением с приметами Хосе Марии были приписаны карандашом следующие слова: «Подпись поименованного здесь лица: Хосе Мария». (Прим. автора.)

конях неожиданно выехали ему во фланг и оказались гораздо ближе, чем он, к ущелью, которое одно только и могло обеспечить ему отступление. Уланы считали себя погибшими. Но вот из толпы разбойников галопом отделяется всадник на буланом коне и на всем скаку останавливается шагах в ста от Кастро.

— Хосе Мария не попадает в ловушку! — крикнул он. — Капитан Кастро! Какое зло я вам сделал и почему вам так хочется выдать меня властям? Я могу убить вас, но теперь храбрые люди сделались редкостью, а потому я дарю вам жизнь. Вот вам, однако, памятка, которая научит вас избегать меня. Бью в кепи!

С этими словами он прицелился и прострелил верх капитанского кепи. В ту же минуту он дернул поводья и скрылся вместе со своими спутниками.

А вот другой образчик его учтивости.

Неподалеку от Андúхара на мызе справляли свадьбу. Новобрачные уже приняли поздравления друзей, и все собирались усесться за стол под большим фиговым деревом, стоявшим у дверей дома. Присутствовавшие проголодались, а к аромату жасминов и цветущих апельсиновых деревьев примешивались между тем более существенные запахи, подымавшиеся от блюд, под тяжестью которых ломился стол. Вдруг появился всадник, выехавший из рощицы, находящейся на расстоянии пистолетного выстрела от дома. Незнакомец проворно соскочил с коня и провел его на конюшню, посылая рукой приветствия собравшимся. Никого уже больше не ожидали, но в Испании каждого проезжего охотно приглашают на праздничную трапезу. К тому же неизвестный, судя по костюму, был, по-видимому, важной персоной. Новобрачный тотчас же отправился пригласить новоприбывшего к обеду.

В то время как все шепотом спрашивали, кто такой незнакомец, нотариус из Андúхара, присутствовавший на свадьбе, вдруг побледнел, как мертвец. Он попробовал было подняться с места, отведенного ему рядом с невестой, но колени его подгибались, а ноги отказывались идти. Один из сотрапезников, с давних пор подозреваемых в принадлежности к контрабандистам, подошел к невесте и произнес:

— Это Хосе Мария; вряд ли я ошибусь, если ска-



жу, что он явился сюда, чтобы наделать беды (*para hacer una tuerte*). У него зуб на нотариуса. Что делать? Помочь тому скрыться? Бесполезно, потому что Хосе Мария его сейчас же нагонит. Задержать разбойника? Но дело в том, что шайка его, по всей вероятности, находится где-нибудь поблизости, а кроме того, у него за поясом пистолеты, и он никогда не расстается с кинжалом. Скажите, сеньор нотариус: что вы такое ему сделали? — Ничего! Решительно ничего!

Кто-то шепотом сообщил, что два месяца назад нотариус отдал своему фермеру распоряжение, чтобы в случае, если Хосе Мария когда-нибудь попросит у него выпить, тот подсыпал ему в вино порцию мышьяка.

Совещание еще продолжалось, и олья\* оставалась нетронутой, когда появился наконец незнакомец и сопровождавший его жених. Сомнения не оставалось: то был Хосе Мария. Он бросил на ходу кровожадный взгляд на нотариуса — тот начал дрожать, точно его била лихорадка; потом он вежливо поклонился невесте и попросил разрешения потанцевать у нее на свадьбе. Она и не подумала, конечно, отказать или сделать недовольное лицо. Хосе Мария взял табурет из пробкового дуба, придвинул его к столу и бесцеремонно подсел к невесте, поместившись между ней и нотариусом, который, видимо, с минуты на минуту готов был лишиться чувств.

Приступили к еде. Хосе Мария был необыкновенно любезен и внимателен к своей соседке. Когда было подано самое хорошее вино, невеста взяла рюмку *монтильи* (которая, по-моему, гораздо вкуснее хереса), пригубила ее, а затем поднесла бандиту. Такого рода вежливость оказывают за столом только тем, кого особенно почитают. Это так называемая *fineza* \*\*. К сожалению, обычай этот не практикуется в хорошем обществе, усиленно торопящемся здесь, как и везде, отрешиться от своих национальных привычек.

Хосе Мария принял бокал, рассыпался в благодарностях, попросил невесту считать его своим слугой и сказал, что он с радостью исполнит всякое ее желание.

---

\* Похлебка (*исп.*).

\*\* Утонченная любезность (*исп.*).

Тогда невеста, затрепетав, робко склонилась к уху своего страшного соседа и проговорила:

— Сделайте мне одно одолжение.

— Хоть тысячу! — вскричал Хосе Мария.

— Умоляю вас, забудьте те недобрые намерения, с которыми вы к нам, должно быть, пожаловали. Пообещайте мне, что из расположения ко мне вы простите своих врагов и не станете устраивать скандал у меня на свадьбе.

— Нотариус! — произнес Хосе Мария, повернувшись к трепетавшему законоведу. — Благодарите даму. Если бы не она, я прикончил бы вас, прежде чем вы успели бы переварить свой обед. Теперь вам нечего бояться, я не сделаю вам никакого зла.

И, налив ему в рюмку вина, он с довольно злой усмешкой прибавил:

— Итак, нотариус, за мое здоровье! Вино здесь хорошее и не отравленное!

Несчастному нотариусу показалось, что он глотает целую сотню булавок.

— Ну, дети мои, — закричал разбойник, — давайте веселиться (*vaia de broma*), и да здравствует новобрачная!

Он проворно вскочил, сбегал за гитарой и экспромтом сложил куплет в честь молодых.

Одним словом, до конца обеда и в течение всего бала, который за ним последовал, он вел себя так мило, что у женщин навертывались на глаза слезы при мысли, что этот очаровательный юноша скончает когда-нибудь свои дни на виселице. Он плясал, пел и угодил всем и вся. Около полуночи двенадцатилетняя девочка, едва прикрытая отвратительным рубищем, приблизилась к Хосе Марии и сказала ему несколько слов на цыганском жаргоне. Хосе Мария вздрогнул, побежал на конюшню и быстро вывел оттуда своего чудесного коня. Затем он подошел к невесте, придерживая одной рукой поводья.

— Прощайте, радость моя (*hija de mi alma*), я никогда не забуду минут, проведенных сегодня с вами. Это большое счастье, какого у меня не было уже много, много лет. Будьте добры, примите эту безделушку на па-

мать о бедняке, который был бы счастлив подарить вам золотые россыпи.

И он протянул ей красивое кольцо.

— Хосе Мария! — ответила новобрачная. — Пока в этом доме останется хоть один кусок хлеба, половина будет принадлежать вам.

Разбойник пожал руку всем сотрапезникам, не исключая нотариуса, расцеловался с женщинами, а затем быстро прыгнул в седло и поехал в горы. Только тогда нотариус вздохнул свободно. Через полчаса прибыл отряд стражников, но никто, разумеется, не видел и не слышал разыскиваемого ими человека.

Испанский народ, знающий наизусть романсы о двенадцати пэрах, воспевающий подвиги Рено де Монтобана, естественно, должен испытывать живейший интерес к человеку, который один только и воскрешает в наши прозаические времена рыцарские доблести древних витязей.

Есть еще и другое весьма серьезное основание для популярности Хосе Марии: он необыкновенно щедр. Нажить деньги ему ничего не стоит, а потому он легко тратит их на обездоленных. По слухам, ни один бедняк ни разу не обращался к нему без того, чтобы не получить обильного подаяния.

Один погонщик мулов рассказывал мне, что после потери мула, составлявшего все его богатство, он бросился бы вниз головой в Гуадалкивир, если бы не шкатулочка с шестью унциями злота, переданная его женой каким-то неизвестным. Он был глубоко убежден, что это подарок Хосе Марии, которому он указал брод в тот день, когда разбойника нагоняли стражники.

Я закончу это длинное письмо еще одним примером благодеяний моего героя.

Один бедный возчик из округа Кампильо де Ареназ направлялся в город с грузом уксуса. По местному обычаю уксус был налит в бурдюки, и вез его на себе тощий, ошипанный осел, почти подыхавший от голода. На узкой тропинке попался навстречу этому уксуснику незнакомый человек, которого можно было по костюму принять за охотника; стоило ему увидеть осла, как он покотился со смеху.

— Ну и одер же у тебя, приятель! — воскликнул

он.—Сейчас ведь не карнавал, а ты выводишь его на улицу.

И он заливался хохотом.

— Сударь! — грустно ответил задетый за живое погонщик.—Хоть он у меня и дрянной, а все-таки я зарабатываю благодаря ему на хлеб. Я человек бедный, у меня нет денег, чтобы завести себе другого.

— Что? — вскричал весельчак.—Ты кормишься этим паршивым осликом? Но ведь не пройдет недели, как он у тебя подохнет! Слушай,—продолжал он, протягивая малому увесистый мешочек,—у старика Эрреры продается отличный мул; он просит за него полторы тысячи реалов. Вот тебе деньги. Купи этого мула сегодня же да смотри не торгуйся и не откладывай! Если завтра в пути я повстречаю тебя с этим ужасным ослом, то не будь я Хосе Мария, если я не сброшу вас обоих в пропасть.

Погонщик, оставшись с глазу на глаз с мешочком, решил было, что это сон. Полторы тысячи реалов чистоганом были налицо. Он знал, что такое клятва Хосе Марии, а потому тотчас же отправился к Эррере и поспешил обменять свои реалы на прекрасного мула.

В ту же ночь Эрреру внезапно разбудили. Один из стоявших перед ним людей занес кинжал, другой приблизил к его носу глухой фонарь.

— Ну, давай живее деньги!

— Что вы, государи мои, да у меня в доме не сыщешь даже и куарто!

— Ложь: ты продал мула за полторы тысячи реалов, и выплатил тебе их такой-то, родом из округа Кампильо.

Доводы их были неотразимы, и полторы тысячи реалов были им быстро выданы, или, вернее, возвращены обратно.

Р. S. Хосе Мария умер несколько лет тому назад.

В 1833 году король Фердинанд ознаменовал принятие присяги малолетней королеве Изабелле дарованием всеобщей амнистии, которой пожелал воспользоваться и этот знаменитый разбойник.

Правительство назначило ему даже пенсию в размере двух реалов в день для того, чтобы он никого не трогал. Так как суммы этой было недостаточно для нужд

человека, предававшегося разного рода изящным порокам, Хосе Мария был вынужден принять место, предложенное ему администрацией дилижансов. Он сделался карабинером (*escopetero*) и стал охранять экипажи, которые сам прежде так часто грабил. В течение некоторого времени все обходилось благополучно: старые товарищи не то боялись его, не то щадили. Но однажды группа особенно дерзких грабителей остановила севильский дилижанс, невзирая на то, что его сопровождал Хосе Мария. Он начал уговаривать их, сидя на империале; авторитет, которым он пользовался среди прежних товарищей, был настолько велик, что они порешили было удалиться, не производя никакого насилия, но в это время главарь шайки, по прозвищу *Цыган (el Gitano)*, бывший в свое время правой рукой Хосе Марии, выстрелил в него в упор из ружья и уложил на месте.

1842.

#### IV

### ИСПАНСКИЕ ВЕДЬМЫ

Древности, особенно римские древности, мало меня трогают. Сам не знаю, как я позволил уговорить себя поехать в Мурвьедро посмотреть развалины Сагунта. Я очень там устал, плохо питался и ничего не увидел. Во время путешествий всегда терзаешься страхом, что по возвращении не сможешь утвердительно ответить на неизбежный вопрос, который вас ожидает: «Вы, конечно, видели?..» Почему я принужден видеть то, что видели другие? Я путешествую не с определенной целью, я не антиквар. Мои нервы приучены к волнующим впечатлениям, и я не могу решить, что я вспоминаю с большим удовольствием: старые кипарисы Сегри в Хенералифе или гранаты и чудесный виноград без косточек, которые я ел под этими почтенными деревьями.

Тем не менее я без скуки совершил поездку в Мурвьедро. Я нанял лошадь и валенсийского крестьянина, который сопровождал меня пешком. Он оказался большим болтуном, порядочным плутом, но, в общем, славным и довольно забавным спутником. Он пускал в ход самое пламенное красноречие и искусную дипломатию, чтобы выудить у меня реалом больше условленной меж-

ду нами цены за наем лошади, и в то же время с таким азартом защищал мои интересы в гостиницах, будто он оплачивал счета из собственного кармана. Каждое утро он предъявлял мне счет с бесконечным рядом «кроме того»: за починку ремней, новые гвозди, вино, чтобы натирать лошадей, которое, без сомнения, он выпивал сам,— но вместе с тем все это обходилось мне очень дешево. У моего валенсийца была способность заставлять меня покупать всюду, где мы проезжали, массу бесполезных мелочей, особенно ножей местной работы. Он учил меня, как нужно класть большой палец на лезвие, чтобы надлежащим образом вспороть противника, не обреза палец. Потом эти чертовские ножи оказывались необыкновенною тяжестью. Они бренчали в моих карманах, били меня по ногам, одним словом, причиняли мне такое беспокойство, что для того, чтобы избавиться от них, оставалось только подарить их Висенте.

Вечный его припев был:

— Как будут довольны друзья вашей милости, когда увидят, сколько прелестных вещей вы привезли им из Испании!

Я никогда не забуду мешка сладких желудей, который моя милость купила, чтобы привезти друзьям, и который она съела весь до единого желудя при помощи верного своего проводника, еще не доехав до Мурвьедро.

Висенте видел белый свет, так как он торговал оршадом в Мадриде, но добрая часть суеверий, свойственных его соотечественникам, у него сохранилась. Он был очень набожен, но за те дни, что мы провели вместе, я имел случай наблюдать, какая забавная была у него религия. Господь бог его совсем не беспокоил, он о нем всегда говорил безучастно. Но зато он чтил святых и особенно божью мать. Он мне напоминал старых сутяг, заматерелых в своем ремесле, у которых существует правило, что лучше иметь знакомства среди мелких чиновников, чем покровительство самого министра.

Чтобы понять его культ пресвятой девы, нужно знать, что в Испании не одна божья мать. В каждом городе есть своя, и местные жители издеваются над соседней. Божья мать Пенискольская (Пенискола — городок, произведший на свет почтенного Висенте), по

его мнению, была лучше, чем все остальные, вместе взятые.

— Значит,— сказал я ему однажды,— есть много божьих матерей?

— Конечно, в каждой провинции своя.

— А на небе сколько их?

Вопрос его, по-видимому, затруднил, но тут пришел на помощь катехизис.

— В небе только одна,— ответил он с запинкой, как человек, который повторяет затверженную фразу, не понимая ее смысла.

— Так что, если вы сломаете себе ногу,— продолжал я,— к какой божьей матери вы обратитесь: к той, что на небе, или к какой-нибудь другой?

— К божьей матери Пенискольской, разумеется (*por supuesto*).

— А почему же не к Столповой, что в Сарагосе, которая творит столько чудес?

— Пустое! Она хороша для арагонцев!

Я хотел задеть провинциальный патриотизм, его слабую струнку.

— Если Пенискольская божья мать сильнее Столповой, значит, валенсийцы бóльшие негодяи, чем арагонцы, раз для отпущения грехов им нужно такую влиятельную покровительницу?

— Ах, сударь, арагонцы не лучше других! Разница в том, что мы, из Валенсии, знаем силу нашей Пенискольской божьей матери и часто слишком на нее полагаемся.

— Как вы думаете, Висенте: не по-валенсийски ли говорит Пенискольская владычица с господом богом, когда просит его величество отпустить вам ваши прегрешения?

— По-валенсийски? Нет, сударь,— живо возразил Висенте,— вы отлично знаете, на каком языке говорит божья мать.

— Право, не знаю.

— По-латыни, разумеется.

...На вершинах не очень высоких гор королевства Валенсии часто попадаются развалины замков. Как-то, когда я проезжал мимо одной из таких развалин, мне вздумалось спросить у Висенте, не водятся ли там при-

видения. Он заулыбался и сообщил, что в их краях привидений не бывает. Потом подмигнул и с видом человека, который отшучивается, ответил:

— Ваша милость, наверно, у себя на родине видела их.

В испанском языке нет слова, которое бы точно передавало смысл слова «привидение». *Duende*, которое вы найдете в словарях, скорее соответствует домовому и обозначает маленькое шаловливое существо. *Duendecito* — маленький *duende* — можно сказать о молодом человеке, который спрятался в комнату девушки, чтобы напугать ее или с другим каким намерением. Что же касается длинных белых призраков, закутанных в саван или влачащих цепи, их в Испании никто не видел, и о них не говорят. Есть еще заколдованные мавры, о проделках которых рассказывают в окрестностях Гранады, но, в общем, это довольно добродушные привидения: показываются они обычно среди бела дня и покорно просят, чтобы их крестили, о каковом обряде они не удосужились позаботиться при жизни. Если вы им сделаете это одолжение, они вам за труды откроют какой-нибудь хороший клад. Прибавьте к этому заросшего волосами лешего, прозываемого *el velludo*, изображение которого находится в Альгамбре, да лошадь без головы\*, которая тем не менее отлично скачет по камням, коими завален овраг между Альгамброй и Хенералифе, — вот вам почти полный список призраков, которыми пугают или забавляют детей.

К счастью, верят еще в колдунов и особенно в ведьм. В километре от Мурвьедро, на отлете, стоит маленький кабачок. Я умирал от жажды и остановился у дверей. Прехорошенькая девушка, не очень загорелая, вынесла мне большой кувшин из пористой глины, в котором вода сохраняет свою свежесть. Когда бы Висенте ни проезжал мимо кабачков, ему всякий раз хотелось пить, и он уговаривал меня под благовидным предлогом туда зайти. На этот раз он не выказал никакого желания остановиться. «Уж поздно,—говорил он,— а ехать еще далеко. В четверти километра отсюда есть гостиница получше, там мы найдем самое славное вино во всем

---

\* *El caballo descabezado*. (Прим. автора.)



королевстве, за исключением пенискольского, разумеется». Я был непреклонен. Я выпил поданную мне воду, съел *gazpacho* \*, приготовленный собственноручно Карменситой, и даже зарисовал ее в своем дорожном альбоме.

Меж тем Висенте чистил лошадь перед дверью, нетерпеливо посвистывая; по-видимому, ему противно было входить в дом.

Мы поехали дальше. Я часто упоминал о Карменсите. Висенте покачивал головой.

— Плохой дом! — сказал он.

— Почему плохой? *Gazpacho* был отличный.

— Не удивительно! Может быть, его черт варил!

— Черт? Почему вы так говорите? Пряностей было туда слишком много положено или у этой доброй женщины черт за повара?

— Кто его знает!

— Что же... она ведьма?

Висенте беспокойно осмотрелся, чтобы убедиться, что за ним никто не наблюдает, подогнал лошадь прутком и, продолжая бежать рядом со мной, слегка поднял голову, раскрыл рот и поднял глаза к небу—обычный знак утверждения у людей, которых, не получая от них ответа на данный вопрос, готов бываешь счесть молчаливыми. Моё любопытство было возбуждено; мне доставляло большое удовольствие убеждаться, что проводник мой не такой уж свободомыслящий, как я опасался.

— Так что, она ведьма?—повторил я, придерживая лошадь.— А как же дочка?

— Ваша милость знает поговорку: *primerо р..., luego alcahueta, pues bruja* \*\*. Дочка только начинает, а мамаша добралась до конца.

— Почему вы знаете, что она ведьма? Что она такого сделала?

— То, что все они делают. У нее дурной глаз \*\*\*. Она

---

\* Холодная похлебка (исп.).

\*\* Сначала шлюха, потом сводня, затем ведьма. (Прим. автора.)

\*\*\* *Mal de ojos* — это не недостаток зрения, а недостаток, причиняемый глазом, влияние дурного взгляда. Часто в королевстве Валенсия детям на запястье повязывают красную ленточку, чтобы предохранить их от дурного глаза. (Прим. автора.)

ребят сушит, портит маслины, мулов морит, всякие коз-ни строит.

— А вы знаете кого-нибудь, кто пострадал от этих козней?

— Знаю ли я? Да, она с моим двоюродным братом знатную штуку сыграла.

— Расскажите, пожалуйста.

— Брат-то не очень любит, когда об этом говорят. Но теперь он в Кадисе; я думаю, с ним никакого несчастья не произойдет, если я расскажу...

Я дал Висенте сигару и рассеял этим его сомнения. Он нашел доказательство неопровержимым и начал так:

— Надо вам сказать, сударь, что брата моего зовут Энрикес, родом он из Грао, что в Валенсии, моряк и рыбак по роду занятий, человек честный, отец семейства, добрый христианин, как и все у них в роду. Я тоже могу этим похвастаться, хотя я и бедный человек. А ведь столько есть людей побогаче меня, да вера-то у них неправая. Ну вот, значит, брат мой рыбак живет в домике неподалеку от Пенисколы, потому как сам он родом из Грао, а семейные его в Пенисколе. Родился он в отцовской лодке, а уж коли родился он на море, то не удивительно, что вышел из него добрый моряк. Он побывал в Индии, Португалии, всюду. Если не ходил он на большом корабле, то отправлялся рыбачить на собственной лодке. Вернется, привяжет лодку канатом к колу и спокойно ложится спать. Вот как-то утром собрался он на ловлю, пошел отвязать канат — и что же? Привязал он свою лодку, как добрый матрос, а тут видит: канат привязан так, как старуха своих ослиц привязывает. «Озорники, верно, вчера вечером в моей лодке баловались, — подумал он, — поймаю — так уж задам им трепку!» Поехал, наловил рыбы, возвращается. Привязал лодку и для предосторожности завязал двойным узлом. Ладно. На следующий день смотрит: узел развязан. Брат взбесился, но начинает догадываться, чьи это штуки... Все-таки взял новую веревку и, не отчаиваясь, еще раз накрепко привязывает свою лодку. Куда там! На завтра никакой новой веревки, а висит обрывок старого, сгнившего каната, к тому же и парус порван — доказательство, что ночью его распускали. Брат думает: «Не озорники ездят ночью на моей лодке, они бы не посмели развер-

тивать парус, побоялись бы перекувырнуться. Видно, это вор».

Что же он делает? Вечером он прячется в лодку и ложится на то место, куда он запихивал свой хлеб и рис, когда отправлялся на несколько дней. Набросил на себя, чтобы лучше закрыться, свой старый плащ и притаился. В полночь—заметьте, в полночь—вдруг слышит он голоса, будто много народу бежит к берегу. Он высунул кончик носа,—господи боже, какие там воры! Не воры, а двенадцать старух, босых, простоволосых... Брат мой — человек смелый, против воров был у него за поясом хорошо отточенный нож. Но, когда пришлось иметь дело с ведьмами, храбрость его оставила. Он закрылся плащом с головой и поручил себя Пенискольской богородице, чтобы она скрыла его от этих мерзких женщин.

Скорчился он, забился в уголок и ждет в страхе, что с ним станет. Ведьмы отвязали веревку, наставили парус и пустились в море. Если бы лодка была лошадью, можно было бы сказать, что мчались они сломя голову. Как бы то ни было, по морю они летели, как на крыльях. Лодка неслась так шибко, что ветер в ушах свистел и вар растопился \*. Удивительного в этом ничего нет,—у ведьм ветер всегда к услугам. Им черт поддувает. Меж тем брат слышит, что они болтают, смеются, копошатся, хвастаются, сколько зла они наделали. Некоторых он знал, другие, должно быть, явились издалека, и он их никогда не видел. Феррер, эта старая ведьма, у которой вы сегодня задержались, сидела у руля. В конце концов они остановились, пристали к берегу, выскочили из лодки и привязали ее к большому камню. Когда брат мой Энрикес перестал слышать их голоса, он осмелился вылезти из своей дыры. Ночь была не очень светлая, но все-таки он хорошо видел: высокий тростник качается от ветра, дальше яркий огонь. Будьте уверены, что там справляли шабаш... Энрикес расхрабрился, соскочил на берег и срезал несколько тростинок. Потом снова забился в уголок

---

\* Я не посмел прервать моего проводника, чтобы спросить, что это за явление. Может быть, быстрота движения производила такое повышение температуры, что вар топился. Вернее всего, друг мой Висенте, никогда не бывавший на море, худо во всем этом разбирался. (Прим. автора.)

и спокойно стал дожидаться, когда ведьмы вернутся. Приблизительно через час они возвращаются, садятся, поворачивают лодку и несутся с такой же быстротой.

«При такой шибкой езде,—подумал мой брат,—мы скоро будем в Пенисколе».

Все шло прекрасно, как вдруг одна баба говорит: «Сестрицы! Три часа бьет!»

Не успела она это сказать, как все они разлетелись и исчезли. Ведь они только до трех часов могут колобродить.

Лодка остановилась, и брату пришлось взяться за весла. Бог знает, сколько времени он провел в море, прежде чем успел добраться до Пенисколы. Больше двух дней. Приехал измученный. Съел кусок хлеба, выпил рюмку водки и пошел к пенискольскому аптекарю. Тот человек ученый и знает все зелья. Брат показывает ему тростинки, которые он привез с собой.

— Откуда они? — спрашивает у аптекаря.

— Из Америки,—отвечает аптекарь,—такие тростинки растут только в Америке. Хоть бы вы их тут посеяли, все равно не вырастут.

Брат аптекарю больше ничего не сказал, а пошел прямо к Феррер.

— Пака! — говорит.— Ты ведьма.

Та отнекивается, говорит:

— Что ты, бог с тобой!

— А вот тебе доказательство: ты за одну ночь едешь в Америку и обратно. Я ездил с тобой сегодня ночью, и вот улика. Смотри: вот тростинки, это я там срезал.

Висенте рассказывал взволнованно, с жаром; дойдя до этого места, он протянул мне руку и поднес пучок только что сорванной им травы. Я невольно откинулся назад, мне показалось, что это американский тростник.

Висенте продолжал:

— Ведьма говорит: «Не болтай. Вот тебе мешок рису. Бери его и оставь меня в покое».

А Энрикес ей:

— Нет, я не оставляю тебя в покое, пока ты не дашь мне амулет, чтобы я мог вызвать ветер вроде того, что гнал нас в Америку в любое время.

Ведьма дала ему пергамент в тыкве, и теперь он все-

гда берет его с собой в море. На его месте я бы давно бросил в огонь и пергамент и всю эту музыку. Или бы отдал священнику. Ведь кто с дьяволом заключает договор, всегда оказывается в накладе.

Я поблагодарил Висенте за его историю и, чтобы отплатить той же монетой, прибавил, что у меня на родине ведьмы обходятся без лодки и что обычный их способ передвижения — метла, на которую эти ведьмы садятся верхом.

— Ваша милость отлично знает, что это невозможно,— холодно возразил Висенте.

Я был поражен его недоверчивостью. Я счел это за неуважение ко мне, между тем я не выразил ни малейшего сомнения в справедливости истории с тростником. Я выразил ему свое негодование и строгим тоном добавил, чтобы он не смел говорить о вещах, недоступных его пониманию, и что, если бы мы находились во Франции, я бы представил ему сколько угодно свидетелей подобных фактов.

— Если ваша милость это видела, значит, это правда,— заметил Висенте,— но если вы не видели, то я всегда буду говорить, что ведьме ездить верхом на метле нельзя. На метле хоть два прутика да перекрещиваются между собой. И вот вам готов крест. Как же тогда ведьмы могут пользоваться метлою?

Доказательство было неопровержимое. Я вышел из затруднения, сказав, что бывают разные метлы. На березовой метле, конечно, ведьме трудно ездить, но на метле из дрока, травинки которого прямые и жесткие, или на волосяной метле — ничего не может быть проще. Всякий легко поймет, что на такой метле можно объехать весь мир.

— Мне многие говорили, сударь,— сказал Висенте,— что в вашей стране много колдунов и ведьм.

— Это происходит оттого, друг мой, что у нас нет инквизиции.

— Тогда, конечно, вашей милости доводилось встречаться с людьми, которые продают амулеты на всякие случаи жизни. Я видел сам, как они действуют.

— Рассказывайте так, будто я ничего не знаю об этих историях,— попросил я его.— А потом я вам скажу, правда это или нет.

— Ну так вот, сударь, слышал я, что у вас есть люди, которые продают их тем, кто их покупает. За мешок песет можно купить кусочек тростинки с узелком на одном конце и простой пробкой на другом. В тростинке этой находятся маленькие существа — *animalitos*, — через которых можно получить все, чего только ни пожелаешь. Вы лучше меня знаете, чем нужно их кормить... Мясом некрещеных детей, сударь. Если же владелец тростинки не может достать такого мяса, ему приходится от себя отрезать кусок... (Волосы на голове у Висенте встали дыбом). Есть нужно давать один раз в сутки, сударь.

— Вы сами видели такие тростинки?

— Не хочу врать, сам не видал. Но я отлично знал некоего Ромеро, сотни раз я пил с ним (тогда я еще не знал, кто он такой). Ромеро этот был сагалом \*. Он заболел так, что *потерял свой дух* и не мог больше бегать. Ему советовали отправиться на богомолье, чтобы исцелиться, но он говорил:

— А куда я буду ходить на богомолье, кто будет кормить моих детей?

Вот он и болтался как неприкаянный среди колдунов и тому подобной сволочи, и они продали ему кусочек тростинки, о котором я вам говорил. С тех пор, сударь, этот Ромеро мог бы зайца поймать на бегу. Никто из сагалов не мог с ним сравниться. Вы знаете, какое это ремесло, как оно утомительно и опасно! Теперь он бежит перед мулами и покуривает себе сигару. Он от Валенсии до Мадрида пробежал бы без передышки. Остались на нем кожа да кости. Если глаза у него будут все так же вваливаться, то скоро он затылком будет смотреть. Это нечистый его гложет.

Для других вещей, не для ходьбы, есть другие наговоры. Амулеты, что предохраняют вас от свинца и стали, делают вас, как говорится, жестким. У Наполеона был такой амулет, потому его и не могли убить в Испании. Хотя есть, конечно, очень простое средство...

---

\* Сагал (*zagal*) — нечто вроде нашего кучера. Он держит за повод переднюю пару мулов и правит ими, продолжая бежать даже во время галопа. Если он остановится, его раздавит экипажем. В современных дилижансах сагалом неправильно называется человек, который привязывает тормоза, помогает грузить и т. п. — то, что у англичан зовется *cad*. (Прим. автора.)

— Отлить серебряную пулю,— прервал я его, вспомнив о пуле, которою бравый виг. пронзил лопатку Клеверхаузу.

— Серебряная пуля может пригодиться,— продолжал Висенте,— только отлить ее нужно, положив в сплав монету с изображением ангела, как на старинных песетах. Но еще лучше взять просто свечку с престола, за которым служили обедню. Вы льете священный воск в форму для пуль и будьте уверены, что ни амулет, ни панцирь, никакая чертовщина не смогут предохранить колдуна от такой пули. Хуан Коль, прославившийся в свое время под Тортосой, был убит восковой пулей, всаженной ему храбрым партизаном. Когда он умер, партизан стал его обшаривать и увидел, что вся грудь у него покрыта фигурами и знаками, выжженными пушечным порохом; на них висели пергаменты и всякая всячина. Хосе Мария, о котором говорит вся Андалусия, знает заговор от пуль, но беда будет, если в него пустят восковую пулю. Вы знаете, как он обращается со священниками и монахами, когда они попадают к нему в руки? Он знает, что пуля, которая его убьет, будет освящена священником.

Висенте рассказывал бы еще, но в эту минуту мы увидели на повороте дороги замок Мурвьедро, и разговор принял другой оборот.

*Валенсия, ноябрь 1830,*

## V

### ВЕЛИКИЕ МАСТЕРА В МАДРИДСКОМ МУЗЕЕ

*Письмо к редактору журнала «Артист»,*

Любезный редактор!

Музей — довольно красивое здание, превосходно расположенное в самом аристократическом квартале города, между Прадо и Буэн Ретиро. Оно со всех сторон окружено деревьями, а это приятная неожиданность в огромной, лишенной зелени пустыне Мадрида. Внешне здание не отличается архитектурной выразительностью, но отнюдь не производит неприятного впечатления. За-

слуга в открытии музея принадлежит Марии-Луизе, которую испанцы прозвали *Португалкой*: работы по его постройке, начатые давно, прерваны были из-за «бедствий войны». На стенах здания можно обнаружить следы нашествия 1809 года: на них еще и сейчас легко разобратить сделанные французскими и английскими солдатами надписи, напоминающие о том, как переменчивы успехи в этих вечных столкновениях.

Похоже, что во всех странах архитекторам доставляет какое-то странное удовольствие оказывать, елико возможно, самые плохие услуги живописцам, словно между ними существует своего рода профессиональное соперничество. Если строится музей, то можете быть уверены, что они позабудут только одно — обеспечить приличное освещение картин. «Мне для моего музея,— говорил один знаменитый архитектор,— требуется очень много окон на фасаде. Пусть уж Рафаэль и Тициан устраиваются как хотят: для меня окна — прежде всего. К тому же музей—это, вообще говоря, дворец, украшенный картинами».

С картинами Мадридского музея обращаются не лучше, чем у нас. С освещением там обстоит настолько плохо, что почти целый день картины, выставленные против окон, нельзя, в сущности, как следует рассмотреть: дневной свет бьет прямо в покрытые лаком полотна и отражается в них, как в зеркале. Что касается других, то есть висящих между окнами, то их разглядеть можно, но не без труда, и они очень проигрывают из-за ослепительной яркости испанского неба. Чтобы уловить тонкие, изысканные тона Веласкесов и Ван-Дейков, приходится слегка закрывать глаза шляпой. Упрека этого нельзя, впрочем, отнести к тем залам музея, где хранятся шедевры итальянской школы. В них источники света расположены удачно — наверху, но испанская и фламандская школы принесены в жертву.

Осенью и зимой пол покрыт половиками, как почти во всех испанских хороших домах. Мне нравится, и меня даже трогает эта забота о публике. Очень важно, чтобы любителя живописи не отвлекали в картинной галерее неприятные ощущения: чтобы у вас не зябли ноги, чтобы вы не чувствовали сырости и многих других неприятных явлений, из-за которых так быстро улечиваются



самые отрадны́е чувства. Должен также поблагодарить директора, расставившего в музее достаточное количество широких, удобных диванов, на которых можно предаться сладостной, томной мечтательности, обычно вызываемой в нас созерцанием шедевров искусства. Диваны эти, обитые красным бархатом и украшенные золотой бахромой, служили во время последней сессии кортесов. Непохоже, чтобы они в скором времени вновь обрели свое первоначальное назначение.

Доступ в музей свободный: он открыт для публики два раза в неделю, а иностранцы могут посещать его ежедневно по предъявлении паспортов. По воскресеньям широкого доступа в музей нет; жаль, что в Париже дело обстоит не так. В этот день целая толпа нянек, мастеровых и солдат топчется в картинной галерее просто от безделья. Они осматривают интерьер кухни, писанный Дроллингом, *Страшный суд* уж не знаю какого там старинного немецкого мастера, изумляются размерам шиферной доски, на которой Даниэле ди Волатерра дважды написал Голиафа, сраженного Давидом, но не обращают ни малейшего внимания на полотна великих мастеров, к несчастью, несколько потемневших и поблекших. Толчея эта приводит к тому, что в галерее поднимается ужасная пыль, из-за которой приходится часто устраивать уборку, а для сохранности картин нет ничего пагубнее. Однако я был бы крайне недоволен, если бы у нас поступили, как в Англии, где войти в картинную галерею можно только во фраке тонкого сукна и вообще одетым как джентльмен. В Мадридский музей впускают всех — и в сапогах и в *альпаргатах*, и хорошо и плохо одетых. Но так как в дни доступа простой народ на работе, получается, что в картинной галерее бывает немного публики — только те, кто хочет смотреть картины, а не прогуливаться взад и вперед. Такие посетители жертвуют ради картин своим трудовым днем, и потому можно предположить, что это подлинные ценители. Сколько знаменитых художников вышло из ремесленного люда!

Очень часто испанцы, показывая свои богатые собрания картин или великолепные библиотеки, вздыхают и грустно говорят: «Увы! Ничего у нас не осталось: французы забрали все». Я же склонен думать, что французы

напрасно оставили здесь столько сокровищ искусства, которые зачастую недооцениваются своими законными владельцами. Что бы там ни забрали французы, но Мадридский музей, несомненно, один из богатейших в Европе. Он превосходит даже наши, если не количеством картин, то, во всяком случае, качеством. В Мадридском музее не увидишь того количества посредственных полотен, какое можно с удивлением найти в Лувре наряду с шедеврами величайших мастеров.

Та часть музея, в которой развешаны произведения различных итальянских школ, особенно богата вещами Тициана. Два портрета Филиппа II и один Карла V, верхом, относятся, на мой взгляд, к самой зрелой поре этого художника. Больше всего понравилась мне картина, изображающая вакханалию. Богатейший колорит сочетается в ней с верным и изящным рисунком. Не могу понять, благодаря какому искусному способу он сумел создать впечатление упругости изображенной им плоти. Никогда не видел я ничего сладострастнее, чем нагая женская фигура на левой стороне картины.

Среди нескольких прекрасных полотен Леонардо да Винчи я отметил портрет Монны Лизы Джоконды,— по-видимому, несколько измененную копию портрета, который находится у нас в Лувре. Фон этой картины — уже не любезный сердцу Леонардо да Винчи пейзаж с островерхими скалами. Он очень темный и очень ровный. Цвет драпировок тоже иной.

Всем иностранцам велят приходить в восторг от картины Рафаэля, выдержанной в кирпичном цвете, которая изображает Христа во время крестного пути. Это знаменитая *Spasimo di Sicilia* — ее можно было видеть в Париже, где она реставрировалась. Я должен сознаться, что картина эта мне совсем не понравилась. У большинства фигур лица какие-то искаженные; ученики Христа и святые жены представляются мне до того мощными и мускулистыми, что с их стороны просто непростительно не попытаться применить силу для спасения своего всеблагого учителя. Святой Иоанн должен был быть чем-то совершенно противоположным атлету: бьюсь об заклад, что это был красивый юноша, бледный и хрупкий, с задумчивым выражением лица, а никак не грузчик, с такой свирепой рожей, что от нее одной Ироду и

Пилату стало бы не по себе. Говорят, что при реставрации в этой картине многое изменили. От всего сердца желаю, чтоб это было действительно так. Тут же, почти рядом, висит Святое семейство того же Рафаэля; на мой взгляд, оно куда выше, чем *Spasimo*. Но лучшие вещи Рафаэля, какие я видел, находятся в Эскориале: это *Мадонна с жемчужиной* и *Мадонна с рыбой*. Я советую путешественникам полюбоваться, как шедевром выразительности, работой Креспи — ликом богоматери, обнимающей мертвого сына.

В галереях фламандской и голландской живописи картин еще больше, чем в итальянской галерее. Обращаешь внимание на огромное количество полотен Рубенса, в большинстве превосходных. Не перестаю удивляться плодовитости этого мастера, который занимался ведь не одной только живописью, — он был также посланником, а кроме того, много времени уделял удовольствиям. Как он находил время для работы? В этом музее можно видеть оригинал знаменитого *Острова любви*, копий которого известно очень много. Его повесили рядом с другой отличной картиной, но на совершенно иной сюжет: священник несет святые дары больному. Из работ Рубенса больше всего поразила меня правдивостью и силой чувств та, что известна под названием *Медного змия*. Моисей, сопровождаемый Аароном, обращается с речью к евреям. Он явно осыпает их упреками, видимо, говорит долго и не без иронии. У ног его повергнулся ниц человек, молящий о пощаде. Другой, устремляясь к нему с протянутыми руками, словно вопит от боли и ужаса. Справа от зрителя умирает девушка, укушенная ядовитой змеей. Она не в силах говорить, но с мольбой смотрит на пророка. Мать старается оторвать от девушки еще обвивающуюся вокруг ее тела змею, а несколько евреев указывают на нее Моисею, словно рассчитывая, что это зрелище способно смягчить его гнев. Любая картина Рубенса хороша колоритом; эта хороша и рисунком и выразительностью. Голова умирающей девушки написана изумительно. Вдобавок даже у итальянских мастеров не найти больше изящества и экспрессии.

В этой галерее я нашел не очень много Ван-Дейков, но говорят, что по Тенирсам она самая богатая в Европе.

В ней имеются также отличные Метсю, Кюйпы, Йордансы и много картин Снайдерса, изображающих животных.

Само собой разумеется, в этом музее сосредоточено большое количество картин испанской школы. Только тут я видел целое собрание вещей Веласкеса. Портреты Карла IV и его семьи занимают в этой прекрасной галерее достойное место.

Надо отметить, что работы этого мастера вообще редко встречаются даже в Испании. Меня восхищает разнообразие его манеры. Его портреты то тщательно выписаны, вполне закончены, то написаны нарочито небрежными мазками, с расчетом на эффект. Но какую бы манеру он ни применил, ему всегда удается замечательно передать колорит и свежесть живой плоти. Если уж упрекнуть его в чем-нибудь, то, пожалуй, я нашел бы, что он придает всем лицам слишком одинаковое выражение: оно всегда немного натянутое и серьезное. Впрочем, Веласкес в данном случае, может быть, только слишком тщательно подражал природе. Он ведь изображал двор, и какой двор! Удивляться ли тому, что все лица на его портретах горделиво надменны при полнейшем отсутствии мысли?

Не нравится мне композиция его исторических картин. *Сдача Бреды*, например,— просто серия портретов на одном полотне, и каждый человек на картине больше думает о зрителе, чем о действии, в котором ему полагается принимать участие. Пейзажи Веласкеса набросаны рукой мастера, поражают своим колоритом и живописными эффектами.

Не менее полно здесь и собрание Мурильо. Различные манеры, которые были свойственны ему в разные периоды его жизни, представлены большим количеством образцов. Следует отметить, что Мурильо никогда не покидал Испании и видел лишь очень мало работ великих мастеров Фландрии и Италии. Он искал моделей в природе, которая была у него перед глазами, и, мне кажется, ни один художник не был оригинальнее и непосредственнее, чем он. Он почти не прибегал к идеализации. В первый период своего творчества он выбирал модели не за их красоту: говорили даже, что он отдавал предпочтение лицам диким и угрюмым, какие так часто встре-

чаются у людей из народа в южной Испании. Позже он оценил изящество и научился выражать его. Именно он открыл тот тип Мадонн, который можно найти на его родине в Севилье, в Кадисе и на юге Пиренейского полуострова. Говорят, что для Мадонн ему часто служила натурщицей его дочь. Не сказал бы, что им вообще свойственно то выражение божественной чистоты, какое подобало бы матери божьей: это страстные и меланхолические девушки, еще не знавшие любви. Если бы я мог получить в собственность какую-либо из его картин, находящихся в Мадридском музее, я выбрал бы молящегося святого Бернарда, к которому нисходит богоматерь, благосклонно дарящая устам святого несколько капель своего божественного молока. Не думаю, что на свете есть картина, более способная ввести в грех благочестивого, но еще молодого монаха. Богоматерь так красива и выставляет напоказ столько прелестей, обычно скрываемых от мирских людей, что дьяволу легко возбудить дремлющие чувства: прочтите льюисовского *Монаха*.

Впрочем, лучшие картины Мурильо находятся в Королевском музее. *Святая Елизавета*, *Преображение на горе, покрытой снегом*, которые можно было видеть в Париже, — теперь в Королевской академии, а чтобы познакомиться со всей мощью его таланта, надо поехать в Севилью. Шедевры его, как мне кажется, находятся в Монастыре капуцинов, в церкви Благодати и в церкви Августинцев.

После творений этих двух великих мастеров можно не без удовольствия посмотреть картины Рибейры, Алонсо Кано, Роэласа, Сурбарана, Моралеса, Пачеко, Тобара, Леонардо и еще многих других, чьи имена почти не известны за пределами Испании.

Кроме открытых для публики галерей музея, там есть и закрытый зал, куда допускаются только лица, предъявляющие особый пропуск. В них развешаны изображения обнаженных тел, которые могли бы смутить дам. Вспомним, что патронесса музея еще совсем юная королева.

Осматривая этот особый зал и не обнаружив там ничего особо непристойного, испытываешь даже некоторое разочарование. Впрочем, в нем развешаны перво-

классные картины Рубенса, Тициана, Паоло Веронезе и др. Особенно поразили меня *Диана, приказывающая раздеть Калисто, Нимфы, застигнутые сатирами* Рубенса, и *Женщина на ложе отдохновения* Тициана. Отметил я также прекрасную *Еву* кисти Альберта Дюрера и великолепную *Дидону* — насколько помнится, работы Корреджо.

Но я видел слишком много красивых вещей зараз, глаза у меня затуманились, — нельзя ведь смотреть прямо на солнце. Созерцать в один день все светила живописи, особенно из отряда колористов, — это уж чересчур.

# **Приложение**



# Сражение

1

## СРАЖЕНИЕ

В 1812 году, в начале войны между Соединенными Штатами и Англией, в ополчении при войске генерала Уайна служил капитаном некий Огест Сеймур, рослый, статный молодой человек, преисполненный рыцарских чувств. Как страстный приверженец свободы, он жаждал послужить ее делу не только лишь мечом и с этой целью сочинил трагедию *Вильгельм Телль*, а также эпическую поэму, озаглавленную *Вашингтон*. В бумагах, оставшихся после Сеймура, не было найдено ни одного наброска этой поэмы, а потому о ней мы и воздержимся говорить. Что до трагедии, то нетрудно угадать, каково может быть произведение двадцатилетнего юноши, отроду не видавшего других стран, кроме своей родины, и весьма смутно представлявшего себе Швейцарию и ее освободителя. Он наводнил трагедию превыспренними тирадами о свободе, не поскупился на проклятия тиранам, а главное, на нравоучительные вирши в республиканском духе. Как Алонсо Эрсилья, Сеймур писал на биваке и с присущим его возрасту простосердечием воображал, что своими песнями одушевит американцев, наподобие Тиртея, а мечом устршит англичан не хуже





знаменитой французской девственницы. Однако же директор ...ского театра не взял его опуса. Сеймур, поправив пьесу, представил ее снова и стал ждать своей участи, но тут случай ускорил благоприятное решение.

Командир Сеймурова полка был богатый сахаропромышленник, по причине крайней осторожности предпочитавший держаться подальше от пушечных ядер. Тем не менее он принужден был подчиниться безоговорочному приказу генерала и пойти в атаку на вражескую батарею. Со вздохом отдал он приказ наступать, но тут обнаружилось, что подпруга у его седла как на грех ослабела, он поневоле спешился и битых четверть часа подтягивал ее, а тем временем колонна ополченцев пошла в атаку под командой майора. Когда она была в двадцати шагах от батареи, англичане дали яростный залп и скосили первый ряд американцев. Майор был убит, ополченцы частью разбежались. Старый сержант первый бросился на англичан и тем вдохнул отвагу в остальных. Сеймур схватил знамя и ринулся вперед, вслед за храбрым сержантом. Увлеченные примером, ополченцы захватили батарею, неприятельские канониры были перебиты у своих орудий. В схватке Сеймур упал навзничь на пушку с простреленным картечью плечом и разможенной банником головой.

## ПЕРВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Американские войска за последнее время не были избалованы успехом. О взятии батареи протрубили во всех газетах Соединенных Штатов, и Сеймура восхваляли тем больше, чем ожесточеннее поносили незадачливого командира за то, что он не вовремя спохватился подтягивать подпругу. Во всех странах света, даже наименее зараженных духом аристократизма, куда приятнее восторгаться молодым красавцем офицером, нежели некрасивым стариком сержантом, а потому бедняга, первый бросившийся на батарею, был совершенно забыт.

Директор театра, человек дельный, правильно рассудил, что, коль скоро молодой человек берет штурмом батареи, значит, и трагедии он пишет хорошие, и поспешил начать репетиции пьесы, под шумок разгласив, что автор ее — прославленный юный герой. А юный герой лежал меж тем в постели с забинтованной головой и от скуки читал шиллеровского *Вильгельма Телля*, ибо он обладал большей дозой вкуса и меньшей — тщеславия, нежели положено поэту.

Сравнив то, что сочинил сам, с тем, что сочинил Шиллер, он, как Платон, чуть было не поддался соблазну бросить свое творение в огонь. Он написал просьбу вернуть ему пьесу, но опоздал — ее уже сыграли на театре.

Переполненный зрителями зал едва не рухнул от рукоплесканий, когда актер, исполнявший роль Вильгельма Телля, объявил имя молодого сочинителя. Каждый сразу увидел в Вильгельме Телле Вашингтона и постарался уловить малейший намек на современные обстоятельства. Спектакль имел небывалый успех. Хотя Сеймур втайне стыдился похвал произведению, которое сам считал никуда не годным, однако это известие живо его обрадовало и способствовало скорому выздоровлению. Помнится, что статья в *Нэшнэл Интервьюер* начиналась так: «Колумбия могла похвалиться перед миром великим полководцем, великим государственным мужем, великим философом. Недоставало ей лишь поэта... Но вот она обрела и его. Плачь, Англия! Сеймур низверг твоего Шекспира».

Стоило Сеймуру с рукой на перевязи выйти на улицу, как вокруг подымался восторженный шепот. Будь голова у него здоровее, она не выдержала бы такого испытания.

## ЖЕНИТЬБА

Входя однажды в светскую гостиную между двумя рядами дам, поднимавшихся на цыпочки, чтобы разглядеть его, Сеймур увидел в углу залы молодую девицу, единственную, которая не привстала и даже глазами в его сторону не повела. Сеймур сильнее был уязвлен ее пренебрежением, нежели обрадован вниманием всех остальных дам; он подсел к прекрасной незнакомке и постарался внушить ей благоприятное мнение о своем уме и скромности, поспешив замять разговор о несравненном *Вильгельме Телле*, который тотчас по его приходе завели в гостиную.

Сеймур стал говорить об актерах, как полагается, не в меру захваливая их.

— Как вам понравился У.? — спросил он соседку.

— Друг мой! Я не видела пьесы и вообще не хожу в театр, — ответила она.

Он понял по ответу, что она квакерша, и задумал, вскружив ей голову, побороть ее показное равнодушие. Он всецело занялся ею, беседовал с ней одной. И хотя поддержать разговор оказалось нелегко, он был вознагражден сполна, услышав от мисс Ребекки Грифитс, что ни с кем в жизни она еще не беседовала столь долго.

Несколько дней спустя его ввели в родительский дом девицы, а через месяц он стал ее признанным обожателем.

Поначалу Сеймур думал только сломить ее равнодушие, теперь же сам увлекся не на шутку. Однажды вечером, прогуливаясь с милой его сердцу красавицей вдоль берега Делавэра, он по всей форме изъяснился в своих чувствах и настойчиво просил ответить, благосклонна ли она к нему. Барышня призналась без малейших колебаний, что любит его сильнее, чем родного брата, «однако же, — добавила она, — никогда не стану я женой человека, чье ремесло — убивать себе подобных».

Услышав эти слова, Сеймур швырнул шпагу в воды Делавэра и поклялся прекрасной Ребекке, что будет впредь служить благу родины одной только молитвой. Влюбленные упали друг другу в объятия, и на завтра мисс Грифитс стала миссис Сеймур, а мистер Сеймур послал в конгресс прошение об отставке.



## История Рондино

Его звали Рондино. Сирота с раннего детства, он был оставлен на попечение деревенского старосты, который приходился ему дядей, но, будучи человеком скупым, обращался с ним дурно. Когда Рондино пришло время призываться, староста твердил всем и каждому:

— Надеюсь, Рондино попадет в солдаты и мы от него избавимся. Из этого бездельника ничего путного не выйдет. Рано или поздно он осрамит нашу семью. Ручаюсь, что он кончит на виселице.

Говорят, что староста ненавидел Рондино по неблагоприятным причинам. Он распоряжался небольшим наследством племянника и не спешил с отчетом. Так ли, нет ли, но Рондино зачислили в рекруты, и он покинул свою деревню, уверенный, что по наущению дяди жеребьевка была подтасована и он стал жертвой явного обмана.

Очутившись в полку, он частенько не являлся на сбор и вообще выказывал столь упорное неповиновение, что его отправили в дисциплинарный батальон. Наказание, видимо, сильно подействовало на него, он обещал вести себя примерно и сдержал слово. Спустя несколько месяцев его вернули в полк. После этого он исправно нес солдатскую службу и всеми силами старался отличиться перед своими начальниками. Он был грамотен, ум имел сметливый. По истечении короткого времени его произвели в капралы, а вслед за тем — в сержанты.



Однажды полковник сказал ему:

— Рондино! Срок вашей службы истекает. Но я думаю, что вы останетесь с нами.

— Нет, господин полковник, я хочу возвратиться домой.

— Напрасно. Вы уже в чине сержанта, а ежели и впредь будете похвально себя вести, то скоро дослужитесь до фельдфебеля. Оставшись в полку, вы упрочите свое благополучие, тогда как в деревне вы умрете с голоду либо будете обузой вашим родным.

— Господин полковник! Я располагаю небольшим состоянием.

— Ошибаетесь. Ваш дядя пишет мне, что ваше воспитание потребовало таких издержек, каких вам вовек не возместить. Кстати, ежели бы вы знали его мнение о вас, вы повременили бы возвращаться к нему. Он пишет, чтобы я во что бы то ни стало удержал вас в полку, что вы негодник, что все вами гнушаются и ни один крестьянин во всей округе не даст вам работы.

— Он это говорит?

— Могу показать письмо.

— Пусть так! Хочу увидеть родные края.

Пришлось дать согласие на его отставку; ее сопровождали почетными аттестациями.

Рондино без промедления явился к своему дяде,

укорил его в несправедливости и дерзко потребовал возврата принадлежащего ему имущества. Староста заспорил, вышел из себя, вытащил путанные счета, и в конце концов ссора достигла такого накала, что он ударил Рондино. Тот выхватил кинжал и уложил старика на месте. После этого убийца покинул деревню и попросил приюта у одного из своих друзей, который жил в горах, на уединенной мызе.

Вскоре три жандарма отправились туда, чтобы взять его. Рондино подстерег их на глухой дороге, одного убил, другого ранил, а третий обратился в бегство. Со времен гонений на карбонариев в Пьемонте жандармов недолюбливают, и тот, кто их побеждает, неизменно заслуживает всеобщее одобрение. Рондино прослыл героем среди окрестных жителей.

Новые стычки с вооруженной силой принесли Рондино такой же успех, что и первая, и еще увеличили его славу. Говорят, будто бы за два-три года он убил или ранил десятка полтора жандармов. Он часто менял пристанище, но никогда не отдалялся от своей деревни больше чем на семь-восемь миль. Он никогда не крал; только заметив, что его запасы истощаются, он просил четверть экую у первого встречного, чтобы купить свинца и пороху. Ночевал он обычно на уединенных фермах. Перед сном он запирал все двери и ключи уносил в отведенную ему комнату. Оружие клал рядом с собой, а перед домом выставлял дозор — огромного пса, который неотступно следовал за Рондино и чьи грозные клыки хорошо были знакомы его недругам. На рассвете Рондино возвращал ключи и благодарил хозяев, а они обычно просили его принять немного припасов.

Один мой знакомый, богатый помещик А., видел его тому года три. Шла жатва, и А. присматривал за работниками, как вдруг заметил, что к нему приближается хорошо сложенный человек, крепкий, с лицом мужественным, но совсем не свирепым; у него было ружье, однако в пятидесяти шагах от жнецов он прислонил его к дереву, приказал псу посторожить и, подойдя к А., попросил не отказать ему в небольшом подаении.

— Почему вы не работаете вместе с моими людьми? — спросил А., приняв его за обыкновенного нищего.

Беглец улыбнулся и сказал:

— Я Рондино.

Ему тотчас же предложили несколько пистолей.

— Я никогда не беру больше четверти эку,— возразил он.— Этого довольно, чтобы наполнить порохом мой рожок. Но раз уж вы хотите помочь мне, благоволите распорядиться, чтобы мне дали поесть,— я голоден.

Он взял немного хлеба и сала и хотел немедленно удалиться, унося с собой свой обед, но А. удержал его еще на несколько минут, любопытствуя получше разглядеть человека, чье имя было у всех на устах.

— Вам бы следовало уехать отсюда,— сказал он Рондино.— Рано или поздно вас схватят. Перебирайтесь в Геную или Францию, оттуда достигнете Греции, там вы найдете военных, наших соотечественников, они хорошо примут вас. Я охотно ссужу вас деньгами на дорогу.

— Благодарю вас,— отвечал Рондино после некоторого раздумья.— Я не мог бы жить нигде, кроме родины, и я постараюсь, чтобы меня еще не скоро повесили.

Однажды несколько завзятых грабителей разыскали Рондино и сказали ему:

— Этой ночью в известном нам месте проедет советник из Турина, при нем 40 тысяч лир; ежели ты нас поведешь, мы его задержим, и ты получишь долю атамана.

Рондино гордо поднял голову и с презрением посмотрел на них.

— За кого вы меня принимаете? — сказал он.— Я честный беглец, а не вор. Больше ко мне с подобными затеями не суйтесь, не то пожалеете.

Он оставил их и пошел навстречу советнику. Уже смеркалось, когда Рондино, завидев карету, остановил ее, взобрался на козлы и приказал кучеру продолжать путь. Между тем советник дрожал от страха, с минуты на минуту ожидая смерти. Но вот карета въезжает в ущелье, и внезапно появляются грабители. Рондино крикнул им:

— Карета под моей защитой; вы меня знаете; только посмейте напасть — будете иметь дело со мной!

Он вскинул ружье, а пес его ждал только знака, чтобы кинуться на разбойников. Они расступились перед каретой, и вскоре она уже была в полной безопасности. Советник предложил крупную награду своему спасителю, но Рондино отказался.

— То, что я сделал,— долг каждого честного челове-

ка,— сказал он.— Нынче мне ничего не требуется, но ежели вы хотите доказать мне свою признательность, велите только вашим крестьянам дать мне четверть эку, когда у меня кончится порох, и накормить обедом, когда я проголодаюсь.

Рондино схватили два года тому назад. Вот как это произошло. Однажды он заночевал в доме священника; по обыкновению, он отобрал все ключи, но священник изловчился один ключ припрятать, и, как только Рондино уснул, он послал мальчишку-слугу уведомить ближайший жандармский пост.

У пса Рондино было необыкновенное чутье на врагов его хозяина, и он еще издали угадывал их приближение. Разбуженный громким лаем, Рондино попытался ускользнуть из деревни, но у всех выходов уже стояла охрана. Тогда он поднялся на колокольню и приготовился к осаде. С наступлением утра он открыл огонь из всех окон и вскоре принудил жандармов укрыться в соседних домах, отказавшись от прямой атаки. Перестрелка длилась почти до вечера. Рондино не получил ни единой раны и уже вывел из строя трех жандармов. Но у него не было ни хлеба, ни воды, а духота становилась нестерпимой. Он понял, что пришел его час. Внезапно он появился в окне дома с белым платком, привязанным к стволу ружья. Огонь прекратили.

— Мне наскучила такая жизнь,— сказал он.— Я готов сдаться, но я не хочу, чтобы победа надо мной послужила к славе жандармов. Пошлите за офицером из гарнизона, и я сдамся ему.

В деревню как раз входила рота под командой офицера; условие Рондино было принято. Солдаты построились в боевом порядке перед колокольней, и Рондино тотчас вышел. Он приблизился к офицеру и сказал ему твердым голосом:

— Сударь! Возьмите моего пса, вы будете им довольны. Обещайте мне позаботиться о нем.

Офицер обещал. Рондино тут же разбил приклад своего ружья и спокойно дал увести себя солдатам, которые оказывали ему знаки глубокого уважения.

Около двух лет он ожидал приговора; он выслушал его с превеликим хладнокровием и пошел на казнь без страха, но и без бравады.



## ТВОРЧЕСТВО МЕРИМЕ 20-х ГОДОВ

(«Гузла», «Хроника царствования Карла IX», «Мозаика»)

Ранние литературные опыты Проспера Мериме до нас не дошли. Безвозвратно утрачены наброски драмы, которую он затевал со своим старшим другом Стендалем. Сохранился лишь один эпизод романа, над которым Мериме работал в сентябре 1823 года вместе с маркизом де Вареном. Уничтожена (очевидно, самим автором) рукопись драмы «Кромвель». Уцелела лишь первая новелла Мериме, «Сражение», рукопись которой помечена: 29 апреля 1824. Опубликована новелла была лишь в 1887 году.

Первой книгой Мериме стал «Театр Клары Гасуль» (1825). Если эта литературная мистификация была скоро раскрыта и подлинный автор книги ни у кого не вызывал сомнений, то несколько иначе была встречена читателями и критикой следующая книга Мериме, появившаяся на книжных прилавках в конце июля 1827 года,—его «Гузла, или сборник иллирийских песен, записанных в Далмации, Боснии, Хорватии и Герцеговине». О своей работе над ней Мериме подробно рассказал в письме к С. А. Соболевскому от 18 января 1835 года, но и тут он не удержался от элементов мистификации. Забавную историю о путешествии, которое Мериме и его друг Жан-Жак Ампер решили сначала описать, чтобы затем проверить на месте, во многом ли они ошиблись, следует признать удачным вымыслом. Вряд ли соответствовал действительности и рассказ Мериме о балладах «Гузлы», якобы сочинявшихся по утрам, после одной или двух сигар, в ожидании позднего завтрака. Песни «Гузлы» не были созданы с той завидной легкостью, о которой впоследствии столь охотно рассказывал автор; появлению книги предшествовала большая работа.

Возникновение замысла книги следует отнести приблизительно к 1820 году, когда Мериме и Ампер действительно планировали поездку по Италии и южнославянским странам. Одной из книг, которая могла побудить Мериме обратиться к славянскому народному творчеству, был роман Шарля Нодье «Жан Сбогар» (1818). Среди произведений, которым Мериме в какой-то мере

старался подражать, называют «Народные песни современной Греции» Клода Форьея, «Героические песни греческих горцев и матросов» Непомюсена Лемерсье, «Шотландские пограничные песни» Вальтера Скотта, переведенные Арто, и еще ряд аналогичных изданий, появившихся между 1823 и 1826 годом. Работая в 1825 и 1826 годах над книгой, Мериме почерпнул нужные ему сведения из ряда путевых очерков и исследований. В первую очередь среди них следует упомянуть «Путешествие по Далмации» итальянского аббата Альберто Фортиса (1740—1803), а также книги Лорана Пукевиля (1770—1838) «Путешествие по Греции» и «Путешествие в Пелопоннес, в Константинополь и Албанию». Был знаком Мериме и с рядом других работ, в том числе с «Мемуарами» венецианца Карло Гоцци, с исследованием дома Кальме о привидениях; он не прошел мимо и мелких заметок и справок о славянских странах в «Глоб», газете, которую Мериме постоянно читал и в которой, между прочим, впервые выступил в печати. Некоторые сведения писатель мог позаимствовать и у своих друзей и знакомых, бывавших на Балканах или занимавшихся славянскими языками и историей,— у того же Ампера, у своего дальнего родственника Фюльжанска Френеля, наконец, у своих русских знакомых, с которыми Мериме начинает все чаще встречаться в эти годы. Среди последних можно назвать русского дипломата и французского поэта Ксаверия Ксаверьевича Лабенского (1800—1855).

Если, работая над «Театром Клары Гасуль», Мериме не делал из этого секрета, то свою причастность к «Гузле» он стремился сохранить в тайне. Издана книга была не каким-либо известным парижским издателем, а страсбургским типографом Левро, незадолго перед тем открывшим свое отделение в столице.

Многочисленные отзывы критики были в общем положительными; никто из рецензентов не усомнился в подлинности иллирийских песен, «переведенных» неизвестным автором. Более того, судя по некоторым отзывам, Мериме удалась и вторая мистификация: ему поверили, что он натурализовавшийся во Франции итальянец, а в «переводе» обнаружили ряд явных «итальянизмов»! Лишь в некоторых рецензиях высказывалось сомнение в том, что «переводчик» действительно итальянец, и предлагалось говорить не столько о переводах, сколько об удачных подражаниях, основанных, конечно, на непосредственном знакомстве с южнославянским фольклором.

Автором одной из наиболее развернутых и интересных рецензий был Гёте, писавший в ней: «Мы обратили внимание на то, что в слове *Guzla* скрывается имя *Cazul*, и нам вспомнилась та замаскированная испанская цыганка с театральных подмостков, которая недавно так мило над нами посмеялась... Пусть господин Мериме поэтому на нас не сердится, если мы здесь объявим его автором «Театра Клары Гасуль» и сборника «Гузла» и тут же попросим еще не раз позабавить нас такими подкидышами, если только это будет ему угодно». Как видим, Гёте не дал себя мистифицировать и обнаружил подделку. Правда, он мог знать о подлинном авторе «Гузлы» не только от ее издателя, с которым встречался в Веймаре, но и от самого Мериме, пославшего ему

27 августа экземпляр «Гузлы» со следующей надписью: «Его превосходительству господину графу Гёте в знак уважения от автора «Театра Клары Гасуль». О готовящейся книге Гёте мог услышать и от Ампера, посетившего 23 апреля 1827 года Гёте в Веймаре и беседовавшего с ним о «Театре Клары Гасуль» и о его авторе.

С интересом была встречена книга Мериме в славянских странах. Адам Мицкевич в конце 1827 или начале 1828 года перевел из нее балладу «Морлак в Венеции». Три баллады — «Пламя Перрушича», «Черногорцы» и «Экспромт» — под общим заглавием «Морлацкие песни» были напечатаны в 1828 году в «Сыне отечества» (№ 14). В первой половине 30-х годов несколько баллад «Гузлы» перевел Пушкин. Появились переводы баллад «Гузлы» и на немецкий и английский языки.

В 1829 году Мериме поместил в журнале «Ревю де Пари» еще три баллады — «Волшебное ружье», «Бан Хорватии» и «Умиравший гайдук», перепечатанные затем в сборнике «Мозаика» (1833). В 1842 году Мериме собрал все эти баллады, добавив к ним новую — «Милош Обилич». Так был установлен автором окончательный состав и текст «Гузлы». При жизни Мериме книга издавалась еще семь раз, но уже без каких бы то ни было изменений.

Первым обращением Мериме к национальной тематике была его драматическая хроника «Жакерия», изданная в июне 1828 года. В следующей своей работе писатель опять обращается к французской истории: он пишет «Хронику царствования Карла IX». В январском номере журнала «Ревю франсэз» за 1829 год появляется глава XVII «Хроники» («Аудиенция»); а в начале марта уже вся книга выходит в изд-ве Александра Менье. Как видим, роман был написан очень быстро — всего за несколько месяцев. Эта поспешная работа не вполне удовлетворила Мериме, и он тщательно правил текст романа при каждом новом его переиздании (1832, 1842, 1847, 1853).

Мериме в период работы над «Хроникой» опирался не на труды и публикации ученых, а на подлинные свидетельства современников и участников событий. Основными источниками романа Мериме были книги поэта-гугенота Агриппы д'Обинье, обширнейшие жизнеописания и мемуары Брантома, записки военачальников Монлюка и Лану, дневники парижского горожанина Пьера де л'Этуала.

В многочисленных рецензиях, появившихся вскоре же после выхода романа в свет, особо отмечалась свобода Мериме от преувеличений и односторонности романтической школы. Критика подчеркивала лаконизм языка, мастерство в изображении характеров.

Отклики на «Хронику» появились и в иностранной печати. Вскоре ее стали переводить на иностранные языки. В Германии «Хроника» вышла уже в 1829 году; через год ее напечатало одно из американских издательств; «Литературная газета» Дельвига в конце мая 1830 года (№ 28) поместила главу XI «Хроники» под названием «Поединок».

Отправив в типографию рукопись «Хроники», Мериме пишет новеллу «Маттео Фальконе», которая через несколько лет откро-

ет сборник его произведений, вобравший в себя почти всю его литературную продукцию 1829—1832 годов,— «Мозаику». В 1829 году в журнале «Ревю де Пари» появляются новеллы Мериме: «Маттео Фальконе» (3 мая), «Видение Карла XI» (26 июля), «Таманго» (4 октября), «Федерико» (15 ноября) и «Жемчужина Толедо» (27 декабря). Новелла Мериме 1829 года — «Взятие редута» — появилась в сентябре в «Ревю франсэз».

В январской книжке «Ревю де Пари» за 1830 год появилась новелла Мериме «Этрасская ваза». В феврале 1830 года газета «Насьональ» печатает небольшую новеллу Мериме «История Рондино». Сам автор никогда ее не переиздавал. Напечатана вновь она была лишь в 1929 году. В июне 1830 года в «Ревю де Пари» появляется новелла Мериме «Партия в триктрак».

Когда подписчикам рассылался июньский номер журнала с новеллой Мериме, ее автор был уже в пути: 27 июня он покинул Париж, направляясь в Испанию. Путевые очерки Мериме, написанные в форме писем, адресованных главному редактору журнала, появляются в «Ревю де Пари» уже после возвращения писателя в Париж (в начале декабря 1830 года): первое — о бое быков — в январской книжке за 1831 год, второе — о казни — в середине марта, третье — о разбойниках — 26 августа 1832 года, четвертое — «Испанские ведьмы» — в декабре 1833 года. Кроме того, в парижском журнале «Артист» в марте 1831 года было напечатано еще одно «испанское письмо» Мериме, рассказывающее о мастерах живописи в Мадридском музее.

В первой половине 1833 года Мериме собрал большинство своих произведений 1829—1832 годов и составил из них книгу. Она была напечатана парижским издателем И. Фурнье, носила название «Мозаика» и появилась в книжных лавках в июне.

Еще до выхода сборника непосредственно по журнальным публикациям многие новеллы Мериме были переведены на русский язык (причем иногда сразу в нескольких журналах). В «Литературных прибавлениях» к «Русскому инвалиду» появились «Маттео Фальконе» (1832, № 81—82), «Видение Карла XI» (1833, № 104), «Жемчужина Толедо» (1834, № 8), «Этрасская ваза» (1833, № 75—76); в «Сыне отечества» — «Маттео Фальконе» (1835, № 49), «Этрасская ваза» (1832, ч. 149), первое «Письмо из Испании» (1831, ч. 141); в «Московском телеграфе» появилась новелла «Взятие редута» (1830, № 34), в «Телескопе» — третье «Письмо из Испании» (1832, № 14), наконец, во второй части пятитомника «Рассказчик, или Избранные повести иностранных авторов, изданные Николаем Гречем» (1832) была напечатана «Партия в триктрак».

Настоящее собрание сочинений Проспера Мериме является наиболее полным из всех когда-либо выходивших на русском языке. В первых двух томах впервые собрана вся художественная проза Мериме.

## КОММЕНТАРИИ

### ГУЗЛА

Стр. 53. ... баллады шотландского рубежа — народные шотландские баллады, относящиеся, очевидно, к XIV веку и ставшие очень популярными в начале XIX столетия, в эпоху романтизма.

...романсы о Сиде. — Так назывались короткие эпические песни, возникшие в Испании в XIV—XV веках и повествующие о национальном герое испанского народа Руй Диасе, прозванном Сидом Кампеадором (XI в.).

Ампер, Жан-Жак (1800—1864) — сын знаменитого математика и физика Андре-Мари Ампера, один из близких друзей Мериме, его школьный товарищ по коллежу Генриха IV, историк и литературный критик.

Стр. 54. Фортис, Альберто (1740—1803), аббат, итальянский ученый-натуралист; в 1778 году он выпустил свое двухтомное «Путешествие по Далмации».

Бауринг, Джон (1792—1872) — английский литератор и поэт-переводчик, автор большого числа переводов и переложений народных песен многих европейских стран, главным образом славянских.

Гергардт, Вильгельм (ум. в 1858) — немецкий фольклорист-любитель, собиравший и переводивший на немецкий язык образцы народных песен различных европейских стран, в том числе и славянских. Его двухтомный сборник «Вила. Сербские народные песни» вышел в свет в конце 1827 года, уже после появления книги Мериме.

Стр. 55. «Письма португальской монахини» (1669) — блестящая мистификация французского писателя и дипломата Габриэля де Лаверня де Гийерага (1628—1685), выданная им за подлинные пять писем португальской монахини Марианны Алькофорадо к французскому офицеру де Шамильи.

Спалатто — ныне югославский город Сплит,

Стр. 57. *Аян* — так назывались не только мэры южнославянских городов, но вообще городская знать.

Стр. 63. *Подеста* — в средневековой Италии глава городского магистрата; так же назывались наместники в принадлежавших Италии городах Балканского полуострова.

Стр. 67. *Богомилы* — сторонники одного из еретических учений, получившего широкое распространение в Южной Европе в X—XII веках. Возникла ересь в конце IX века в Болгарии; названа по имени одного из пропагандистов этой ереси, болгарского священника Богомила. Католическая церковь жестоко преследовала этих еретиков, организовав против них специальный (так называемый «альбигойский») крестовый поход (1209).

Стр. 72. ...так называемое славонское. — Славонией называлась область, населенная по преимуществу хорватами и расположенная на севере современной Югославии, между Боснией и венгерской границей.

Стр. 74. *Арнауты*. — Так турки называли албанцев.

Стр. 79. *Битва Тридцати* — один из самых значительных эпизодов так называемой «Бретонской войны» (1341—1365). Это сражение тридцати французских рыцарей, сторонников Карла Блуа, возглавляемых Бомануаром, и тридцати английских, под командованием Ричарда Бенборо, состоялось 27 марта 1351 года близ Плоэрмеля, в Бретани, и закончилось полным разгромом англичан.

*Пандуры*. — Эти наемные отряды пехоты употреблялись не только для борьбы с гайдуками, как пишет Мериме, но и в «регулярных» войнах.

Стр. 95. ...то есть полубратья, полусестры. — В данном случае Мериме спутал значения русских приставок «по» и «полу».

Стр. 96. *Каррака* — большое парусное судно.

Стр. 98. *Дом Кальме* (1672—1757) — французский ученый монах-бенедиктинец. Дом — сокращенное лат. *dominus* — господин.

Стр. 105. *Бим-баши* — так в турецкой армии назывался начальник тысячи.

Стр. 114. *Мейендорф*, Георгий Казимирович (1790—1863) — русский военный и путешественник. Его книга «Путешествие из Оренбурга в Бухару» вышла в Париже в 1826 году.

Стр. 122. *Беккер*, Бальтазар (1634—1698) — голландский богослов-протестант; в ряде своих работ он отрицал вмешательство «нечистой силы» в человеческую судьбу.

Стр. 125. *Алькоран* — то же, что коран.

Стр. 141. *Кади* — судья у мусульман.

Стр. 142. «*Смарра*» — повесть Шарля Нодье (1780—1844), созданная под влиянием знакомства со славянским фольклором. Вышла в свет в 1821 году. Слово «смарра» Нодье в предисловии к своей повести объясняет как «кошмар, наваждение».

*Арсенал* — одна из крупнейших парижских библиотек, возникшая в XVIII веке. Ее хранителем долгие годы был Шарль Нодье.

Стр. 146. *Себастиани*, Франсуа-Орас (1772—1851) — французский маршал и дипломат; в 1806—1807 годах был французским послом в Константинополе.

## ХРОНИКА ЦАРСТВОВАНИЯ КАРЛА IX

Стр. 149. Фукидид (ок. 460 — ок. 395 до н. э.) — древнегреческий историк.

Аспазия (вторая половина V в. до н. э.) — возлюбленная афинского государственного деятеля и полководца Перикла (499—429 до н. э.).

Мезре, Франсуа (1610—1683) — французский историк.

Монлюк, Блез де Монтескью (ок. 1499—1577) — французский полководец, участник Религиозных войн; его «Комментарии» охватывают события 1521—1574 годов.

Брантом, Пьер де Бурдейль (1540—1614) — французский мемуарист, автор многотомной серии жизнеописаний замечательных людей его времени; в 1856 году Мериме написал предисловие к новому изданию собрания сочинений Брантома (см. том V настоящего издания).

Д'Обинье, Теодор Агриппа (1552—1630) — французский поэт, историк и политический деятель, один из ближайших соратников Генриха IV в его войнах с католиками. В 1855 году Мериме издал роман д'Обинье «Приключения барона де Фенеста» с большим предисловием.

Таван, Жан (1555—1630) — французский историк и мемуарист, рьяный католик.

Лану, Франсуа (1531—1591) — французский полководец, один из крупных протестантских военачальников, автор мемуаров.

Этуаль, Пьер Тезан (1546—1611) — французский мемуарист, автор «Мемуаров-дневников» (впервые изданы в 1744 году).

Стр. 150. Мехмет-Али (1769—1849) — вице-король Египта. Описанное избиение мамелюков произошло в Каире 1 марта 1811 года.

Стр. 151. ...изречение Фигаро... — Мериме цитирует пьесу Бомарше «Преступная мать» (д. II, явл. 7).

...одного министра, которого я здесь называть не стану... — Намек на предвыборные махинации французского премьер-министра Вилеля в ноябре 1822 и в 1824 году.

Стр. 152. Герцог Гиз — Анри де Лорен (1550—1588), один из вождей католической партии и инициаторов Варфоломеевской резни.

Адмирал — то есть Гаспар де Колиньи (1519—1572), глава протестантской партии.

Бираг, Рене (1507—1583) — государственный деятель и кардинал, хранитель печати, затем канцлер Франции. Его обвиняли в том, что он был одним из организаторов Варфоломеевской ночи.

Стр. 153. Екатерина — Екатерина Медичи (1519—1589) — жена французского короля Генриха II, мать Франциска II, Карла IX и Генриха III.

Принц Конде — Луи де Бурбон (1530—1569), дядя будущего короля Генриха IV, один из вождей протестантов. Попав в плен к католикам в битве при Жарнаке, он был убит Монтескью по распоряжению герцога Анжуйского (будущего Генриха III).

...тогдашних ультрароялистов — намек на партию крайних реакционеров, пришедших к власти при Карле X (1824—1830).



Стр. 154. *Ассуэр* — так в библии назван один из персидских царей, преследовавший евреев.

Стр. 155. *Жанна д'Альбре* (1528—1572) — королева Наваррская, жена Антуана де Бурбона, мать будущего Генриха IV; пользовалась большой популярностью среди протестантов. Предполагают, что она была отравлена по приказанию Екатерины Медичи. Умерла 9 июня 1572 года.

*Король Наваррский* — то есть будущий Генрих IV. Титул короля Наварры он получил в 1572 году, после смерти своей матери.

*Принц Конде* — здесь имеется в виду Анри де Бурбон (1552—1588), один из вождей протестантов.

*Герцог Альба*, Фердинанд Альварес де Толедо (1508—1582) — испанский полководец и государственный деятель.

Стр. 156. *Лотарингский дом* — старинная французская феодальная фамилия, владевшая обширными землями на северо-востоке Франции; Гизы были из этой семьи.

...в память отца... — то есть в память Франсуа де Лоррена, герцога Гиза (1519—1563), который был одним из вождей католической партии. Убит протестантом Жаном Польтро де Мере.

...угеноты, дважды их осаждавшие... — Протестантские войска осаждали Париж в 1562 и 1567 годах.

...одна из сестер короля была выдана замуж за принца... — Речь идет о Маргарите Французской (1553—1615), дочери Генриха II и Екатерины Медичи, в 1572 году ставшей женой Генриха Наваррского.

Стр. 157. Эпиграф к главе первой — из драмы Байрона «Преображенный урод» (ч. 1, явл. 2. Песня солдат).

Стр. 158. *Гаспар де Шатильон* — то есть адмирал де Колиньи.

Стр. 162. ...бой под Дре... — Сражение под Дре состоялось в 1562 году. Победу одержали католики во главе с герцогом Франсуа де Гизом.

...бой... под Арне-ле-Дюк. — Эта битва состоялась 25 июня 1570 года. Победу одержали протестанты.

Стр. 163. *Во время... осады Орлеана...* — Войска католиков под командованием Франсуа де Гиза осадили Орлеан в 1563 году.

Стр. 165. *Монморанси*. — Речь идет, очевидно, о коннетабле Анн де Монморанси (1493—1567), советнике королей Франциска I и Генриха II.

Стр. 167. ...в бою под Монконтуром... — Битва под Монконтуром произошла в 1569 году; войска католиков наголову разбили отряды протестантов под начальством Колиньи.

Стр. 171. *Фон Фалькенштейн* — персонаж немецких народных легенд.

Стр. 172. *Ларошфуко*, Франсуа (ок. 1531—1572) — родственник Конде, один из вождей протестантов.

Стр. 173. Эпиграф к главе второй — из комедии Мольера «Смешные жеманницы» (явл. 7). Перевод Н. Яковлевой.

Стр. 175. *Подобно персам под Саламином...* — Битва под Саламином (остров у побережья Греции) между греками под командованием Фемистокла и персами произошла в 480 г. до н. э.

Стр. 176. *Махаон и Подалирий* — сыновья и ученики легендарного древнегреческого врача Эскулапа,



Стр. 180. Эпиграф к главе третьей — из драмы Шекспира «Цимбелин» (д. II, явл. 4). Перевод Ф. Миллера.

Стр. 182. ...собирались захватить Амбуаз.— Речь идет о так называемом «Амбуазском заговоре» — попытке протестантов захватить короля Франциска II, чтобы вырвать его из-под влияния Гизов (1560).

Стр. 184. Селле, Пьер (1504—1580) — французский государственный деятель, председатель парижского магистрата.

Монморанси, Торе — сын коннетабля Анн де Монморанси.

Стр. 187. ...каждый выпад... острогу обидную... — цитата из комедии Мольера «Ученые женщины» (д. IV, явл. 3).

Стр. 188. ...ловкости и задиристости Коменжа.— Мериме придал этому персонажу черты характера Ливаро, одного из приближенных Генриха III.

Стр. 192. Эпиграф к главе четвертой — из комедии Мольера «Дон Жуан, или Каменный гость» (д. V, явл. 2). Перевод А. Федерова.

Стр. 194. Жодель, Этьен (1532—1573) — французский поэт и драматург, один из предшественников классицизма.

Стр. 195. «Красавчик-карапузик принц...» — Эту песенку приводит Брантом в своем «Жизнеописании принца Конде».

... в сражении под Жизнейлем... — Сражение произошло 17 ноября 1568 года.

Стр. 196. ...под Жарнаком... — Битва под Жарнаком состоялась в 1569 году; войска католиков под командованием герцога Анжуйского одержали решительную победу над кальвинистами; их предводитель принц Луи де Конде был ранен и взят в плен.

...привели следующий стих... — Мериме цитирует Овидия («Фасты», I, 493).

Стр. 197. «Повесть о преужасной жизни великого Гаргантюа...» — первая книга романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Вышла в 1534 году.

Стр. 198. Ахав — упоминаемый в библии царь Израиля; побуждаемый своей женой Иезавелью, он перешел в язычество и жестоко преследовал евреев.

Стр. 200. Эпиграф к главе пятой — из первой книги романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (гл. 27).

Стр. 203. ...ввернул в море две тысячи свиней.— Брат Любен играет на словах Христа: «Не мечите бисер перед свиньями» — и на евангельском рассказе о том, как Христос изгнал бесов из двух одержимых и вселил их в свиней.

Стр. 207. Эпиграф к главе шестой — из драматической хроники Шекспира «Король Ричард III» (д. V, явл. 3). Перевод Б. Лейтина.

Стр. 208. Дандело — брат Колиньи; умер от лихорадки 7 мая 1569 года.

Стр. 214. Сбор в Мадридском замке... — Мадридский замок построен под Парижем (на территории нынешнего Булонского леса) итальянским архитектором делла Роббья для Франциска I в 1529 году. Назван так потому, что как раз в это время Франциск находился в плену в Испании.

Стр. 215. ...посмотрите его бюст в Ангулемском музее.— Ангу-

лемский музей — собрание скульптур, созданное в 1824 году; позднее вошло в Лувр. Бюст Карла IX из этого собрания приписывается Жермену Пилону или мастеру его круга.

Стр. 216. *Бсарнезка* — то есть Жанна д'Альбре.

*Маргарита Наваррская* — жена будущего Генриха IV.

Стр. 217. *Герцог Анжуйский* — брат короля, будущий король Генрих III.

*Ретц, Альбер де Гонди (1522—1602)*, герцог, — маршал Франции, крупный военный и политический деятель, дипломат.

*Телиньи, Луи* — зять Колиньи; убит во время Варфоломеевской ночи.

*Мерю* — Шарль де Монморанси, третий сын коннетабля Анни де Монморанси.

Эпиграф к главе девятой — из пьесы Лопе де Вега «Перчатка доньи Бланки» (д. II, явл. 10).

Стр. 225. Эпиграф к главе десятой — из трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» (д. II, явл. 4). Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

Стр. 235. Эпиграф к главе одиннадцатой — из опубликованной Вальтером Скоттом антологии «Песни шотландского рубежа, состоящие из исторических и романтических баллад».

Стр. 243. *Нельская башня* — одна из сторожевых башен в Париже, сооруженная в XII веке. Первоначально входила в систему городских укреплений, затем служила тюрьмой и караульным помещением для городской стражи.

Эпиграф к главе двенадцатой — из комедии Мольера «Блистательные любовники» (д. I, явл. 2).

Стр. 244. *Паре, Амбруаз* (ок. 1517—1590) — знаменитый французский ученый и врач-хирург. С 1536 года — личный врач французских королей. Убежденный протестант, Паре тем не менее не подвергся преследованиям во время Варфоломеевской ночи.

Стр. 246. ...ни одна звездочка не высывала кончика своего носа... — Цитата из комедии Мольера «Сицилиец» (явл. 1).

Стр. 252. Эпиграф к главе тринадцатой — из драматической хроники Шекспира «Король Генрих IV» (ч. I, д. I, явл. 3). Перевод Е. Бирюковой.

Стр. 255. *Венсен* — замок в окрестностях Парижа (построен в XIV в.), одна из резиденций французских королей.

Эпиграф к главе четырнадцатой — из комедии Мольера «Тартюф» (д. III, явл. 2). Перевод М. Лозинского.

Стр. 256. «*Преужасная жизнь Пантагрюэля*» — вторая часть романа Рабле; появилась в 1532 году.

Стр. 267. Эпиграф в главе шестнадцатой — из комедии Мольера «Амфитрион» (д. II, явл. 2). Перевод В. Брюсова.

Стр. 271. Эпиграф к главе семнадцатой — из трагедии Шекспира «Макбет» (д. III, явл. 1). Перевод Ю. Корнеева.

Стр. 281. *Иоанн Златоуст (347—407)* — константинопольский патриарх. Здесь речь идет о сборнике его проповедей.

Стр. 282. Эпиграф к главе девятнадцатой — из первой книги романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (гл. 42).

*На другой день после бракосочетания Маргариты с королем*

Наваррским...— Торжественная церемония состоялась 18 августа 1572 года.

Стр. 286. Эпиграф к главе двадцатой — из трагедии английского драматурга Томаса Отуэя (1652—1685) «Спасенная Венеция» (д. III, явл. 2).

Стр. 288. *Сен-Кантен* — французский город и крепость на реке Сомме. В 1557 году после осады был взят войсками герцога Савойского, выступавшего в войне с Францией на стороне Испании.

Стр. 291. *Геден* истребил мадианитян... В библии рассказывается, как народ Израиля страдал от набегов мадианитян (одно из древних арабских племен), пока их не разбил израильский военачальник Геден.

Стр. 293. Эпиграф к главе двадцать первой — из трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» (д. I, явл. 2). Перевод М. Зенкевича.

Стр. 321. Эпиграф к главе двадцать четвертой — из сатиры английского поэта Томаса Мура (1779—1852) «Семейство Фсидж в Париже» (1818).

Стр. 323. *Бирон*, Арман де Гонто (1524—1592) — французский полководец, особенно отличившийся в войнах Генриха IV.

Стр. 324. *Вместе с Лану выехал итальянский священник...* — Это был аббат Гадань, шпион, состоявший на службе у Екатерины Медичи.

Стр. 325. Эпиграф к главе двадцать пятой — из романа Агриппы д'Обинье «Приключения барона де Фенеста» (кн. II, гл. 19).

Стр. 327. *Монтгомери*, Габриэль де Лорж (1530—1574) — капитан шотландской гвардии Генриха II. Он смертельно ранил короля на турнире (1559). Впоследствии Монтгомери стал одним из вождей протестантов и, попав в руки католиков, был казнен.

Стр. 331. Эпиграф к главе двадцать шестой — из трагедии Шекспира «Гамлет» (д. III, явл. 4). Перевод М. Лозинского.

Стр. 334. *...жарится в... медном быке...* — Способ казни, придуманный агригентским тираном Фаларисом (VI в. до н. э.).

Стр. 336. Эпиграф к главе двадцать седьмой — из трагедии Томаса Отуэя «Спасенная Венеция» (д. V, явл. 1).

Стр. 337. *...Позаимствуйте, как говорится, у овцы храбрости.* — Мериме перефразирует Рабле. В «Гаргантюа и Пантагрюэле» (кн. I, гл. 6) сказано: «Ты ведь у меня храбрая, как овечка».

Стр. 338. *Дзанни* — популярная маска итальянской народной комедии дель арте.

Стр. 344 *...Карл IX умер.* — Карл IX умер 30 мая 1574 года.

## МОЗАИКА

МАТТЕО ФАЛЬКОНЕ

Стр. 349. *...когда я посетил Корсику...* — В действительности Мериме, работая над новеллой, еще ни разу не был на Корсике; он посетил этот остров лишь в августе 1839 года. После этого он внес ряд поправок в текст новеллы.

## ВИДЕНИЕ КАРЛА XI

В собрание сочинений Мериме на русском языке рассказ включается впервые.

Стр. 362. Эпиграф к новелле — из трагедии Шекспира «Гамлет» (д. I, явл. 5). Перевод Б. Пастернака.

Стр. 363. Карл XI (1655—1697) — шведский король; самостоятельно правил с 1672 года.

Карл XII (1682—1718) — шведский король. Разбитый Петром I под Полтавой (1709), он стал терпеть одно поражение за другим и был убит при осаде Фридрихсхальда.

Стр. 367. Густав-Адольф (1594—1632) — король Швеции с 1611 года. Одержал ряд значительных побед во втором периоде Тридцатилетней войны (был убит в битве при Лютцене).

Ваза, Густав (1496—1560) — шведский король с 1523 года. Возглавив борьбу за независимость Швеции, подчинявшейся Дании, Ваза стал первым королем независимой Швеции и основателем династии, которая прервалась в 1837 году.

Стр. 369. Густав III (1746—1792) — шведский король с 1771 года. Восстановив в стране крайний абсолютизм, он вызвал этим недовольство дворянства, составившего против него заговор. В ночь с 15 на 16 марта 1792 года во время костюмированного бала Густав III был смертельно ранен молодым шведским дворянином Анкарстремом.

Густав-Адольф IV (1778—1837) — шведский король с 1792 года. Был низложен в 1809 году.

Герцог Судерманландский (1748—1818) — дядя Густава IV; после низложения последнего вступил на шведский престол под именем Карла XIII. Не имея наследников, он передал шведский престол французскому маршалу Бернадотту.

## ВЗЯТИЕ РЕДУТА

Стр. 370. ...умерший в Греции от лихорадки... — Намек на участие некоторых французов в освободительной борьбе греческого народа против турецкого владычества.

...в битве при Иене. — Это сражение произошло 14 октября 1806 года; наполеоновские войска наголову разбили прусскую армию, открыв себе дорогу на Берлин.

...окончил военную школу в Фонтенбло... — Неточность Мериме: открытая Наполеоном в 1803 году в Фонтенбло офицерская школа в 1808 году была перенесена в Сен-Сир.

Стр. 371. Шевардинский редут — редут на левом фланге русской армии накануне Бородинской битвы, сильно выдвинутый вперед. Бой за редут произошел 24 августа (5 сентября) 1812 года, за два дня до генерального сражения.

Стр. 373. ... аксиома «*non bis in idem*» — выражение, принятое в судебной практике, означающее, что за одно и то же преступление дважды не карают.

## ТАМАНГО

Стр. 376. *В битве при Трафальгаре* — 21 октября 1805 года в Гибралтарском проливе у мыса Трафальгар английская эскадра под командованием адмирала Нельсона (погибшего в этом бою) разгромила объединенный франко-испанский флот.

*Каперское судно* — принадлежащее частному владельцу судно, имевшее разрешение во время войны нападать на вражеские корабли, разоружать и грабить их.

*Люгер* — небольшое двухмачтовое парусное военное судно.

*Джерси* — небольшой остров в проливе Ламанш, принадлежащий Англии.

*Заключение мира...* — Имеется в виду мир, заключенный Францией и Англией в 1814 году после первого отречения Наполеона.

Стр. 378. *Джоаль* — небольшой порт на западном побережье Африки.

Стр. 379. *Мартиника* — один из самых крупных островов в группе Малых Антильских островов (Вест-Индия). В этой старой французской колонии в XIX веке широко применялся труд негров-рабов, вывезенных из Африки.

*Йолофский язык* — язык одного из самых крупных негритянских племен Сенегала. Йолофский язык относится к сенегальско-гвинейской группе суданской семьи африканских языков.

Стр. 381. *«Сицилийская вечерня»* — трагедия французского поэта Казимира Делавиня (1793—1843), поставленная в 1819 году в парижском театре «Одеон» и пользовавшаяся большим успехом. В ней рассказывается о восстании в Сицилии в 1282 году против захвативших остров французов. На этот сюжет значительно позже Верди написал свою известную оперу.

Стр. 394. *...как Кориолан...* — Римский военачальник Кориолан в 493 г. до н. э., поссорившись с гражданами своего города, осадил его, став во главе врагов Рима. Он отказывался разговаривать со всеми посланцами родного города; лишь его мать Ветурия, пришедшая во главе римских женщин, заставила его смириться и снять осаду.

Стр. 396. *Кингстон* — город и крупнейший порт острова Ямайка.

## ФЕДЕРИГО

Стр. 398. *Кавские холмы* — холмы у небольшого городка Кава, расположенного южнее Неаполя.

Стр. 404. *Монджибелло* — местное название вулкана Этны.

## ПАРТИЯ В ТРИКТРАК

Стр. 412. *Триктрак* — старинная французская игра в шашки, которые передвигают в зависимости от количества очков, выбрасываемых на костях.

*...о пресловутом мосте под Эсслингом...* — Этот мост соединял остров Лобау с левым берегом Дуная. Он позволил французским войскам быстро перейти реку и разбить австрийскую армию под Эсслингом (май 1809 г.).

Стр. 413. «Конститусьонель» — основной орган либеральной оппозиции в период Реставрации.

...бежал с понтона в Кадисе...— Французы, вынужденные капитулировать в 1808 году в испанском городе Байлене, содержались на понтонных судах в гавани Кадиса.

Стр. 414. ...в последнюю кампанию...— Речь идет о кампании 1813—1814 годов, последней кампании Наполеона перед его первым отречением.

Стр. 420. Мингер (голландск.) — господин.

Стр. 424. Жан Барт (1651—1702) — французский моряк; сын простого рыбака, в молодости пират, он дослужился до чина капитана и командовал эскадрой.

Стр. 427. Портсмутские понтоны — то есть плавучая тюрьма для военнопленных в английском портовом городе Портсмуте.

### ЭТРУСКАЯ ВАЗА

Стр. 430. Зонтаг, Генриэтта (1805—1854) — немецкая певица, с успехом выступавшая в Париже на сцене Итальянской оперы.

Стр. 434. Дибич, Иван Иванович (1785—1831) — русский фельдмаршал, участник войны 1812 года и ряда других кампаний.

Стр. 436. Паста, Джудитта (1798—1865) — итальянская певица; с успехом выступала в Париже и Лондоне.

Веллингтон, Артур (1769—1852), герцог — английский полководец, командовавший войсками союзников в битве под Ватерлоо.

Стр. 437. ...басню о лисице с отрубленным хвостом.— Мериме намекает на басню Лафонтена, в которой рассказывается, как лисица, у которой отрубили хвост, убеждала зверей в его бесполезности и советовала всем также отрубить себе хвосты.

Брембель, Джорж (1778—1840) — английский великосветский щеголь и законодатель мод.

Стр. 438. Фонди — небольшой городок недалеко от Неаполя.

Стр. 439. *Frailty thy name is women!* — слова Гамлета о своей матери (д. I, явл. 2). Перевод Б. Пастернака.

Стр. 440. ...самая умная женщина во Франции...— намек на французскую писательницу г-жу де Сталь (1766—1817).

Альмеи — танцовщицы на Ближнем Востоке.

Стр. 441. Джерид — небольшой дротик.

Мурад-бей (1750—1801) — начальник египетских мамелюков; разбитый в 1798 году наполеоновскими войсками, перешел на сторону французов.

Ханджар (арабск.) — тонкий обоюдоострый кинжал.

Мечла — плащ.

Хаик — покрывало для защиты от солнца.

«Джурдина — это Журден» — цитата из комедии Мольера «Мещанин во дворянстве» (д. V, явл. 1).

Стр. 442, Шарле, Никола-Тусен (1792—1845) — французский художник-баталист и рисовальщик.

Стр. 444. *Лесли*, Чарльз-Роберт (1794—1859) — английский художник-портретист.

Стр. 445. ...«*глашатая зари...*» — слова из трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» (д. III, явл. 5).

Стр. 450. *Севинье*, Мария де Рабютен-Шанталь (1626—1696) — французская писательница; ее многочисленные письма из факта личной переписки стали значительным явлением французской прозы.

Стр. 451. *Шрот* — известный парижский торговец произведениями искусства.

Стр. 452. ...*бой лапифа с кентавром*. — Речь идет об одном из эпизодов древнегреческой мифологии: кентавры, полулюди-полулошади, приглашенные на свадьбу царя племени лапифов Пейри-тоя с Гипподамией, вздумали похитить невесту, что послужило поводом к битве кентавров с лапифами.

*Тортони* — кафе на Итальянском бульваре в Париже.

Стр. 453. *Гиерские острова* — небольшой архипелаг у южных берегов Франции, недалеко от Тулона.

## ПИСЬМА ИЗ ИСПАНИИ

### I

Стр. 455. *Св. Августин рассказывает...* — Здесь Мериме допускает ошибку: Августин (354—430 гг. н. э.) действительно рассказывает в своей «Исповеди» об увлечении боями гладиаторов, но не о своем, а его друга Алипия.

Стр. 457. *Замок Тундер тен-Тронк* — намек на комическую деталь из повести Вольтера «Кандид» (гл. I).

Стр. 458. *Криспин* — тип слуги из итальянской народной комедии; его костюм состоял из черных панталон и такой же куртки.

Стр. 459. *После восстановления конституции...* — Конституционная монархия после долгой борьбы демократических сил испанского общества была установлена в стране в июле 1834 года. До этого конституция провозглашалась в Испании дважды: при французах в 1812 году и в период революционного подъема 1820—1823 годов.

Стр. 467. *Майкес*, Исидоро (1768—1820) — испанский актер, ученик Тальма и м-ль Марс, реформатор испанского театра. В 1824 году Мериме писал о Майкесе в газете «Глоб».

Стр. 471. *Марий* (156—86 гг. до н. э.) — римский военачальник, выходец из семьи богатых провинциальных торговцев.

### II

Стр. 472. ...*поцеловать палец...* — Считалось, что это увеличивает силу клятвы.

Стр. 476. ...*на ... кастильском языке...* — то есть кастильском диалекте испанского языка; этот диалект лег в основу литературного языка Испании,

Стр. 482. ...во время нашей пресловутой конституции.— Речь идет о конституции, обнародованной Фердинандом VII в 1820 году под влиянием революционных выступлений народных масс.

Когда французы снова вернулись и отняли ее...— Французские войска вошли в Испанию для подавления революции и оказания помощи Фердинанду VII.

### III

Стр. 487. ...со словами из «Сицилийца»...— Мериме приводит слова Али, слуги-турка молодого французского дворянина Адраста из комедии Мольера «Сицилиец, или Любовь — живописец».

Стр. 489. Роке Гинарт — главарь разбойничьей шайки, действовавшей в Испании в начале XVII века. Сервантес в «Дон Кихоте» вывел его как тип благородного разбойника.

Стр. 495. Двенадцать пэров и Рено де Монтобан — герои французского средневекового эпоса.

Стр. 496. ...Фердинанд ознаменовал принесение присяги малолетней королеве Изабелле...— Испанский король Фердинанд VII (1784—1833) завещал трон своей дочери Марии-Луизе (1830—1904), царствовавшей под именем Изабеллы II.

### IV

#### Испанские ведьмы

Стр. 497. Сегри — мавританский род.

Хенералифе — дворец мавританского стиля в Гранаде.

Стр. 507. ...бравый виг пронзил лопатку Клеверхаузу.— Речь идет о распространенной в Англии легенде о смерти Грехема-Джона Клеверхауза, шотландского дворянина, поднявшего шотландских горцев против Вильгельма Оранского (1688). Якобы заключив договор с дьяволом, Клеверхауз был неуязвим на поле брани. Его смогла поразить лишь пуля, отлитая из серебра и отмеченная крестом.

### V

#### Великие мастера в мадридском музее

Это письмо на русском языке печатается впервые.

Стр. 507. Музей — довольно красивое здание...— Испанский король Карл III поручил строительство этого здания архитектору Хуану де Вильянуэва в 1785 году, предполагая разместить в нем музей естественной истории.

Стр. 508. Заслуга в открытии музея принадлежит Марии-Луизе...— Ошибка Мериме: музей был открыт благодаря жене Фердинанда VII Марии-Изабелле, но уже после ее смерти (1818), 19 ноября 1819 года.



...нашествия 1809 года...— Речь идет о войне Наполеона в Испании.

Стр. 509. ...последней сессии кортесов.— Либеральная конституция была отменена в Испании в 1823 году; после этого кортесы (испанский парламент) не собирались.

Дроллинз, Мартин (1750—1817) — немецкий художник-жанрист.

«Страшный суд» — Мериме, быть может, имеет в виду картину фламандского художника Якоба Иорданса на эту тему.

Даниэле ди Волатерра (1509—1566) — итальянский художник, ученик Микеланджело, автор картин на библейские сюжеты.

...Голиафа, сраженного Давидом...— Согласно библейской легенде, юноша Давид благодаря своей ловкости и находчивости убил гиганта Голиафа.

Стр. 510. Монна Лиза Джоконда — находящаяся в музее Прадо копия знаменитой картины Леонардо да Винчи долгое время считалась подлинным авторским повторением.

*Spirito di Sicilia*. — Эта картина Рафаэля долгое время принадлежала одному монастырю в Палермо, затем была подарена испанскому королю Филиппу IV. В 1809 году она была увезена в Париж как военная добыча. В 1818 году картина была переведена с доски на холст и возвращена Луи-Филиппом Фердинанду VII.

Ирод (I в. н. э.) — тетрарх Галилеи; согласно библейским легендам, при нем был казнен Иисус Христос.

Стр. 511. Пилат, Понтий (I в. н. э.) — правитель Иудеи; по библейскому преданию, он не воспротивился казни Христа, хотя и знал о его невиновности.

Креспи, Даниэле (1590—1633) — итальянский живописец, один из представителей искусства барокко.

«Остров любви» — более правильное название этой картины Рубенса — «Сад любви».

«Медный змий» — теперь эта картина приписывается Ван Дейку.

Тенирс, Давид Младший (1610—1690) — фламандский художник-жанрист. В Прадо находится одно из лучших в мире собраний его картин.

Метсю, Габриэль (1629—1667) — голландский художник-жанрист. Мериме ошибается: в Прадо есть только одна его картина.

Кюйп, Якоб Герритс (1594—1651) — голландский художник; писал портреты, а также картины на библейские и бытовые темы. В Прадо есть лишь одна его картина.

Стр. 512. Иорданс, Якоб (1593—1678) — фламандский художник; писал портреты, а также картины на библейские, исторические и бытовые темы.

Снайдерс, Франс (1579—1657) — фламандский художник; писал главным образом натюрморты и животных.

Портреты Карла IV и его семьи...— Портретная серия Гойи, а не картины Веласкеса.

Стр. 513. «Монах» Льюиса — роман английского писателя

Мэтью-Грегори Льюиса (1775—1818), своей фантастикой оказавший заметное влияние на литературу романтизма.

*Рибейра, Хосе* (ок. 1591—1652) — испанский живописец и офортист; писал картины на религиозные, мифологические и бытовые темы, а также портреты.

*Кано, Алонсо* (1601—1667) — испанский живописец; скульптор и архитектор; писал картины на религиозные темы.

*Роэлас, Хуан де лас* (1558—1625) — испанский художник, работавший главным образом в Севилье; автор картин на библейские и исторические темы.

*Моралес, Луис* (ок. 1509—1586) — испанский художник, автор картин преимущественно на библейские сюжеты.

*Пачеко, Франсиско* (1571—1654) — испанский художник, ученик Веласкеса.

*Тобар, Алонсо Мигель* (1678—1758) — испанский художник; последователь Мурильо.

*Леонардо, Хосе* (1616—1656) — испанский художник; писал картины на религиозные и исторические темы.

Стр. 513—514. *Диана, приказывающая раздеть Калисто...* — Эпизод из античной мифологии: нимфа Калисто, возлюбленная Зевса, была превращена в медведя и убита на охоте богиней Дианой.

*Дидона* — персонаж античной мифологии; после гибели Трои у нее нашел приют Эней; Дидона влюбилась в Энея и, когда он покинул ее, покончила с собой.

...*Дидону* — насколько помнится, работы Корреджо. — Мери-ме ошибался: в Прадо нет ни одной подлинной картины этого художника,

## П Р И Л О Ж Е Н И Е

### С Р А Ж Е Н И Е

На русском языке печатается впервые.

...Стр. 516. ...*в начале войны между Соединенными Штатами и Англией...* — Речь идет о второй войне Англии и США в 1812—1815 годах.

*Уайн, Энтони* (1745—1796) — американский генерал, участник войны за независимость Соединенных Штатов.

*Эрсилья, Алонсо* (1533—1594) — испанский поэт; принял участие в завоевании Чили и во время похода написал поэму «Араукана».

*Тиртей* (VII в. до н. э.) — древнегреческий элегический поэт, воодушевлявший спартанцев во время их войны с мессенцами.

### И С Т О Р И Я Р О Н Д И Н О

На русском языке печатается впервые.

Стр. 522. *Карбонарии* — члены основанной в Италии в начале XIX века тайной революционной организации.

А. М и х а й л о в

## СОДЕРЖАНИЕ

*Валентина Дынник. Проспер Мериме . . . . . 3*

*ГУЗЛА. Перевод Н. Рыковой . . . . . 53*

*ХРОНИКА ЦАРСТВОВАНИЯ КАРЛА IX. Перевод  
Н. Любимова . . . . . 149*

### МОЗАИКА

*Маттео Фальконе. Перевод О. Лавровой . . . . . 348*

*Видение Карла XI. Перевод Н. Рыковой . . . . . 362*

*Взятие редута. Перевод Е. Лопыревой . . . . . 370*

*Таманго. Перевод А. Тетеревниковой . . . . . 376*

*Федериго. Перевод М. Кузмина . . . . . 398*

*Жемчужина Толедо. Перевод М. Кузмина . . . . . 410*

*Партия в триктрак. Перевод М. Кузмина . . . . . 412*

*Этрусская ваза. Перевод Д. В. Григоровича . . . . . 430*

*Письма из Испании*

*I. Перевод Б. Кржевского . . . . . 454*

*II. Перевод Б. Кржевского . . . . . 471*

*III. Перевод Б. Кржевского . . . . . 484*

*IV. Испанские ведьмы. Перевод М. Кузмина . . . . . 497*

*V. Великие мастера в мадридском музее. Перевод  
Н. Рыковой . . . . . 507*

## ПРИЛОЖЕНИЕ

*Сражение. Перевод Н. Касаткиной . . . . . 516*

*История Рондино. Перевод В. Топер . . . . . 520*

*Творчество Мериме 20-х годов. А. Михайлов . . . . . 525*

*Комментарии . . . . . 527*

Индекс 70664.

Проспер М е р и м е  
Собрание сочинений в 6 томах.  
Том I.

Технический редактор  
А. Ш а г а р и н а.

---

Подп. к печ. 14/X 1963 г. Тираж 350 000 экз.  
Изд. № 1848. Зак. 1903. Форм. бум. 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Физ. печ. л. 17,0 + 7 вкл. иллюстраций.  
Условн. печ. л. 28,6. Уч.-изд. л. 28,74.  
Цена 90 коп.

---

Ордена Ленина типография газеты «Правда»  
имени В. И. Ленина. Москва, А-47,  
улица «Правды», 24.





